КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ:

PRO ET CONTRA

Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»

К. Н. ЛЕОНТЬЕВ: PRO ET CONTRA

Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей после 1917 г.

Антология
Книга 2

Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
Санкт-Петербург
1995

Л. А. ТИХОМИРОВ

Тени прошлого. К. Н. Леонтьев

Мое знакомство с Константином Николаевичем Леонтьевым относится к двум последним годам его жизни, 1890 и 1891. Сам я в это время был уже человеком вполне сложившимся, выработавшим все основы своего миросозерцания [так что он не оказал вообще никакого влияния на мои взгляды]. Мы встретились как люди, умственно равноправные, и то, что оказалось у нас сходным и родственным, — было каждым выработано самостоятельно и различными путями. Благодаря меня за присылку [ему моей] брошюры «Социальные миражи современности», Леонтьев сам писал мне из Оптиной пустыни: «Приятно видеть, как другой человек и *другим путем* (подчеркнуто Леонтьевым) приходит почти к тому же, о чем мы сами давно думали» (7 авг<уста> 1891 г.). Но мы приходили именно только к «почти» тому же. Разница все же была и осталась. [Некоторые мои взгляды, основанные на наблюдении социально-политической жизни Европы, являлись для него новыми и неожиданными. С другой стороны, для меня были новы его взгляды на византийский элемент в России, так как я в то время был довольно поверхностно знаком с византизмом. Все это вместе взятое, и сходство и различие, — и взаимное уважение самостоятельности мысли — быстро сблизило нас, и у обоих рождало даже проекты совместной работы.]

Ко времени личного знакомства мы уже знали друг друга заочно. Греческие его повести я читал [уже] давно. В 1889 же году Грингмут (Владимир Андреевич) обратил мое внимание на «Восток, Россию и славянство» как в высшей степени замечательное произведение. Он прибавил, что почти во всем согласен с Леонтьевым. Но Катков (Михаил Никифорович) об этой же книге отозвался, что «*Леонтьев дописался до чертиков*». Грингмут же был и называл себя безусловным учеником Каткова. Думаю поэтому, что он не «почти во всем», а только кое в чем согла-

шался со взглядами Леонтьева. Как бы то ни было, конечно, и я не мог не признать «Восток, Россию и славянство» одним из замечательнейших произведений русского ума.

Со своей стороны, Леонтьев отнесся с большим вниманием к нашумевшим тогда брошюрам моим, [вполне] обрисовывавшим мое мировоззрение. Таким образом, когда Грингмут познакомил нас в 1890 году лично, — мы встретились как будто давно знакомые.

Эта встреча произошла в Москве. Леонтьев жил тогда еще в Оптиной Пустыни, где я никогда не бывал, но наезжал в Москву, помнится, три раза по разным делам. В то время на Страстном бульваре, близ Тверской, против самого монастыря была гостиница «Виктория», не роскошная, но пользовавшаяся репутацией очень приличной. В ней останавливались многие известные лица, как Ольга Алексеевна Новикова, Владимир Карлович Саблер и т. п. Тут же останавливался и Леонтьев.

В первый приезд он занимал большую комнату с отделениями во втором этаже. Во второй приезд я его застал уже в первом этаже: ему было трудно подыматься на второй. Вообще, все время нашего знакомства его здоровье постоянно ухудшалось, он становился все более хилым, несмотря на то что ему не было и 60 лет*. Между прочими недомоганиями он серьезно страдал болезнью почек и [даже] приезжал в Москву отчасти для врачебного совета и производства анализов. «Многие раны грешнику», — повторял он.

После Оптиной Пустыни он приезжал еще раз в Москву из Сергиевского Посада и останавливался в гостинице «Париж» на Тверской. За все эти пребывания в Москве я бывал у него постоянно. Ездил к нему и в Сергиев Посад, где он жил в Новой Лаврской гостинице. В общей сложности за краткое время нашего знакомства я видел его очень часто, сидя подолгу, беседуя большею частию наедине, серьезно и сердечно. Мы сошлись очень быстро, сообщая друг другу и интимные подробности жизни, и свои духовные запросы, делясь мыслями о будущем. [Разница лет не составляла помехи дружескому сближению, потому что я по пережитому, выстраданному и продуманному был много старше своих лет, тогдашних 38 и 39 лет.]

Быть может, вследствие этих частых личных бесед у нас не было большой переписки, из которой у меня сохранилось всего 6–7 писем. Два или три письма я отдал не то о. Иосифу Фуделю,

---

* Он родился в 1831 году, умер в 1891 году, 60-ти лет от роду (*Примеч. Л. Тихомирова*).

не то А. А. Александрову, когда у них затевалась какая-то публикация воспоминаний о Леонтьеве. Может быть, эти письма даже напечатаны, но, конечно, без моего имени, так как я просил, безусловно, не упоминать обо мне.

Когда я познакомился с Леонтьевым, он уже был физически не по летам хил, не мог много ходить, даже и в церкви обзаводился стулом, чтобы сидеть при богослужении. Тряска и шум железной дороги его чрезвычайно утомляли, и он в первое же свидание произнес целую обвинительную речь против этого способа передвижения. В современной жизни, говорил он, все соединяется для того, чтобы выводить человека из душевного равновесия, раздергивать ему нервы, не давать возможности ни глубоко наблюдать жизнь, ни спокойно обдумывать ее явления. Прежде, бывало, проедешь на лошадях несколько сот верст — так наберешься множетва знаний и мыслей, видишь страну, ее природу, ее жизнь и обитателей, их обстановку. По железной дороге мчишься как угорелый, ничего не видя, кроме вагонов и вокзалов, одинаковых повсюду. Шум, гвалт, тряска, свистки — приводят голову в одурманенное состояние. В вагоне даже и с соседями трудно разговаривать: каждую минуту остановки, пассажиры входят и уходят, собирают и раскладывают вещи, суетятся, тормошат друг друга. И так — пролетаешь сотни верст, ничего не видя, с оглушенной головой, раздраженными нервами и притупленной мыслью.

Физическая слабость Константина Николаевича нисколько, однако, не отражалась на его душевном состоянии. В этом отношении он казался моложе своих лет. Его мысль всегда оставалась ясной и светлой, ощущения свежими и тонкими. Он всем интересовался, способен был увлекаться. Лицо его бросалось в глаза: худощавое, с тонкими чертами, оно было выразительно и подвижно. Голос оставался свеж и звучен, речь — остроумна, полна счастливо найденных выражений. Все у него было изящно, дышало аристократичностью, культурно выработанной породой. Рода его я, впрочем, не знаю. Фамилия матери его была Карабанова, и от Карабановых у него оставалось в Калужской губернии имение, в котором он некоторое время проживал. Совершенно не знаю обстановки его воспитания, но у него проявлялась какая-то прирожденная властность, стародворянская тонкость вкуса, а также и стародворянская распущенность. Вообще, он производил впечатление утонченно развитого русского барина. С этим связано и его какое-то физиологическое отвращение от всякого «хамства».

Хуже «хамства» для него не было ничего на свете. А что такое «хамство»? Неразвитость умственная, неразвитость вкуса, неразвитость личности, отсутствие собственного достоинства и неуважение к чужому достоинству, отсутствие великодушия и истинного мужества, вообще ряд черт, противоположных понятию «рыцарства» и «благородства».

В первое время моего знакомства с Леонтьевым на обычном фоне его пессимистического настроения часто проскальзывали полоски светлого оптимизма. Не очень-то веря этому, он все-таки поддавался иллюзорной надежде на национальное возрождение России. Такой самообман был в ту эпоху вполне естественен. Те, кто не переживал лично времени Александра III, — не могут себе и представить резкой разницы его с эпохой Александра II. Это были как будто две различные страны. В эпоху Александра II весь прогресс, все благо, в представлении русского общества, неразрывно соединялись с разрушением исторических основ страны. При Александре III вспыхнуло национальное чувство, которое указывало прогресс и благо в укреплении и развитии этих исторических основ. Остатки прежнего, антинационального, европейского, каким оно себя считало, были еще очень могущественны, но, казалось, шаг за шагом отступали перед новым, национальным. Эта «реакция» национального против европейско-революционного была так сильна, что даже пессимистический Леонтьев преувеличивал ее значение, и мы по этому предмету спорили с ним. Я говорил, что антинационально-революционное движение у нас непременно скоро возобновится. Леонтьев же полагал, что национальная «реакция» продолжится еще много времени и [следовательно, разовьет] успеет развить большие силы для противодействия антинациональному. «Сколько времени, по Вашему мнению, может длиться эта реакция?» — спрашивал он. Я отвечал: «Лет пять-шесть»... Он только плечами вздернул. «Что Вы! Уж, по крайней мере, лет 25». Мой глазомер оказался вернее, и вспышка прежнего антинационально-революционного настроения произошла у нас немедленно с началом нового царствования Николая II. Леонтьеву, однако, этого уже не довелось увидеть, и он последние годы жизни провел в надежде, что в России в широком национальном масштабе может повториться тот же процесс возрождения, который он пережил в самом себе.

Ему казалось, что он замечает это и по своей личной судьбе. До тех пор не признаваемый, отрицаемый и более всего игнорируемый родной страной, он теперь почувствовал как будто некоторое признание. О нем там-сям заговорили, стали искать зна-

комства с ним. В сущности, таких людей было очень немного, но на Константина Николаевича, по сравнению с прежним, и это производило впечатление. В Москве у него тогда бывали Грингмут, Говоруха-Отрок, цензор Залетов, некто Чуффрин, студент Погожев (Евгений Николаевич, писавший под псевдонимом Евгений Поселянин), студент Духовн<ой> академии Попов (Иван Васильевич, впоследствии профессор); бывали, конечно, Александров (Анатолий Александрович) и тогдашний редактор «Русск<ого> обозрения» кн. Цертелев (Дмитрий Николаевич). Бывал, конечно, я. Священник Фудель в это время находился в провинции. Думаю, что я перечислил чуть ли не всех его посетителей. Число небольшое. Все они, конечно, уважали его и ценили, и Константин Николаевич имел вид патриарха этого маленького круга националистов. Это его утешало и окрыляло надеждами; он начинал думать, что в России есть еще над чем работать, и планы работ начинали роиться в его голове. Вообще, ему дано было провести конец жизни в относительно светлом настроении. Он мог думать, что он не изгой в своей родине, а первая ласточка той весны, которая изукрасит [своими] свежими цветами Россию, совсем было посеревшую в пыли своего [национального самоотречения] псевдоевропеизма.

Аналогия между своими личными переживаниями и возможной эволюцией России легко могла представляться уму Леонтьева, потому что в пережитом им переломе было не появление чего-либо безусловно нового, а возрождение старого. Он был глубоко русский тип как до своего перелома, так и в самом переломе и после него. Он в самом себе нес ту двойственность, которая раздирает современную русскую душу, совмещающую две [совершенно] противоположные основы жизни и эволюции. Их борьба и составила психологическую драму, пережитую Леонтьевым.

Душа его всегда хранила в подсознательной области старорусский тип строителей Земли Русской. Воспитание сделало из него «интеллигента» новой России, отрицателя органических основ своей страны и потому глубокого «нигилиста». Нигилизм косматый, неумытый, в нечищенных сапогах — претил брезгливости тонко развитого, эстетического дворянства. Но сущность нигилизма порождалась самой же дворянской культурой, по мере того как высший образованный класс отрешался от [русских] исторических основ, делаясь нечувствительным к их «категорическим императивам». Это совершалось под знаменем европейской культуры, но из чужой культуры можно брать в лучшем случае только *плоды* ее, а не те корни [, на которых развивается растение, создающее эти плоды], которые порождают эти пло-

ды. Отрешаясь от своих корней и не имея возможности прирасти к чужим, — мы [обречены] обрекались на господство отрицания над положительным творчеством. Такова и была участь исторической работы нашей интеллигенции.

Ее очень характеристическую черту составляет уничтожение веры в Бога, вследствие чего личность человека остается без всяких сдержек. Она может дерзать на все, чего захочет, на овладение чем хватает ее силы. Это — основа нигилизма, как вульгарного, так и утонченного, ницшеанского, который дает разрешение на такое дерзание не каждому первому встречному, а натуре высшей [«сверхчеловеку», становящемуся своего рода Богом для человеческой мелкой сошки], «сверхчеловеческой». У Леонтьева, с его дворянским презрением к мелкой сошке, с его утонченной мыслью и эстетизмом, и были черты ницшеанские. Когда у него не было Бога, он мог дерзать на все. Конечно, он не делал ничего, относящегося к категории презираемого им «хамства», но там, где его соблазняло эстетическое сластенство, у него были поступки прямо безобразные, вроде истории с Феничкой, о которой он многим рассказывал.

Леонтьев по специальности был врачом, кончил курс в Москве и состоял сначала врачом на службе. В одном глухом угле хозяин, где он проживал, опасно заболел, и Леонтьев очень внимательно ухаживал за ним. Хорошенькая Феничка, жена больного, очень любившая мужа, не знала, как и угодить доброму доктору. Но, на беду, у него зашевелилась эстетическая чувственность, и он стал соблазнять Феничку. «Эх, Феничка, вы мне все предлагаете разные угощения, а мне нужно только одно», т. е. ее саму. Он ей так прямо и сказал, и она отдалась ему. Леонтьев не подумал даже о том, что сначала это могло случиться просто из страха рассердить доктора и оставить мужа беспомощным. Потом она, однако, привязалась к соблазнителю, да, вероятно, ей стыдно было и глядеть в глаза мужу, начавшему поправляться. Леонтьеву уже нужно было уезжать, и Феничка умоляла взять ее с собой. Но Константин Николаевич начисто отказался и прямо сказал, что он вовсе не намеревался себя навсегда связывать. Не знаю, что сталось с бедной Феничкой, и узнал ли муж о поступке доктора, которого он горячо благодарил за заботливость. Но я, конечно, не мог не высказать Леонтьеву, что он нарушил тут элементарнейшие требования порядочности. Он с этим ничуть не согласился.

«Ведь я тогда не верил в Бога, — возразил он. — Конечно, если Бог запрещает, то я должен слушаться. Но если Бога нет, почему же мне стесняться? Ведь это мне было очень приятно.

Почему я должен был лишать себя удовольствия? Да ведь и Феничке было приятно, а муж ничего не знал».

Таким образом, по его рассуждению, только Бог может устанавливать нравственный закон. Бога нельзя не послушаться и по страху перед Ним, и по нравственному перед Ним преклонению. Если же Бога нет, — можно делать что угодно. Нравственный «категорический императив» вытекает только из божественной сферы. Страшен только *грех*, а если нет Бога, то и грех не страшен. И [нет и греха. И этих] грехов он совершал очень достаточно. Я не допытывался о них, и даже неприятно было слышать его признания, в которых он доходил до циничности, замечая иногда: «Бывало и похуже». Но он сам говорил об этом, как будто испытывая потребность исповеди и самообличения.

В таком состоянии неверия и усыпления нравственного «императива» находился он, когда в 1863 году перешел на службу Министерства иностранных дел и начал исполнять должность консула в различных местах Турции. Здесь он оставался до 1873 года, и это десятилетие было эпохой его полного внутреннего перелома. Этот психологический процесс произошел далеко не случайно именно в Турции. Напротив, нигде Леонтьев не мог найти более благоприятных условий для пробуждения в своей душе старорусского человека, выработанного византизмом, но уже дремавшего под оболочкой новорусского европеизма. Только здесь он мог ощутить еще живые веяния того органически ему родного, которое в России было всюду густо заштукатурено и закрашено при перестройке жизни на европейский лад. В Адрианополе, где Леонтьев служил, в Константинополе, где он часто бывал, в Салониках, в Албании — он попал в атмосферу фанариотов, хранителей точек зрения древней Византии. Он увидел повсюду, даже на Кандии, — жизнь, в которой православие свято оберегалось как палладиум национального самосохранения. Он познакомился с церковной иерархией, всецело проникнутою тем же византизмом. Даже в турецкой мусульманской среде весь быт строился на религиозной дисциплине. Религиозно-социальная жизнь, так сильно потускневшая в России, здесь охватывала Леонтьева во всей своей свежести и поэтической красоте. Для эстетика эта красота имела огромное значение. Она приковывала чувство его к тому, на чем мысль без посредства чувства не остановилась бы так легко.

Леонтьев жил до тех пор без веры в Бога и на всей свободе побуждений своей автономной личности, не признающей над собою никакого владыки. Эта автономность, конечно, давала ему легкий доступ к *наслаждению*, но я полагаю, что она не давала

ему *счастья*. Он делал все, что хотел, но ощущал свою жизнь пустою, без глубокого содержания, не связанною ничем, но зато и не связанною ни с чем великим в мире. Беспочвенная автономность вытекала у Константина Николаевича не из существа его души, а из интеллигентного воспитания, из внешней коры, которая облекала существо души. Существо же это — наследие органической национальной жизни — было, наоборот, проникнуто потребностью живого единения с тем, что составляет величайшую, основную силу бытия, и такого же единения с какой-либо великой социальной коллективностью. Пусть такое единение связывает свободу, но только оно одно дает полноту жизни, а потому и счастье. Здесь, в атмосфере византийских преданий, Леонтьев почуял *родной* голос, открывающий ему эту психологическую истину, родной п<отому>, ч<то> это был тот самый голос, который говорил о благочестивых строителях старой Русской Земли. От них была рождена душа Леонтьева и здесь, на почве древней Византии, ощутила свое истинное содержание, сознала себя. Не сразу это, конечно, совершилось. Но внутренний человек, пробуждаясь в Леонтьеве, начал пробиваться сквозь внешнюю кору, в которую был закутан воспитанием, рвал нити, связывающие его с наносным европеизмом, срастался снова с древними корнями, от которых был оторван. Этот процесс завершился наконец «переломом», возрождением в Леонтьеве его основного, органического типа, и презрительным отбросом маски европеизированного типа. Константин Николаевич, конечно, и сам не мог бы сказать, с какого времени в нем стал пробуждаться внутренний человек, но ясно, что это не могло произойти сразу и что у него был более или менее долгий период, в течение которого назревала повелительная потребность *прийти к Богу*.

Внешне заметным, даже драматическим образом этот перелом проявился в 1870 году (а может быть, и в 1869). Леонтьев по делам службы, а отчасти просто для удовольствия, приехал куда-то в довольно далекую от Константинополя дачную местность, прелестную в смысле природы, очень глухую в смысле культурном. Время было летнее, жаркое. Там и сям появлялась сильная холера. Расположившись в своей временной квартире, Константин Николаевич должен был принять как консул каких-то наших торговцев, жаловавшихся на взятки или притеснения турецких властей. Обязанность защищать торговцев вообще была для него неприятна. «Я, — говорил он, — по правде сказать, терпеть не могу этих купчишек. Сами мошенник на мошеннике, а туда же: не смей с него турок взять взятки». Но приходилось, конечно, исполнять долг службы. Побеседовал он

с ними и отпустил. Торговцы же, по случаю приезда консула, поднесли ему, в виде приветствия, икону. Леонтьев даже не взглянул, какая икона, но в стене был гвоздь, и он приказал ее тут повесить. Затем он отправился гулять, заходил в ресторан, возвратился домой усталый и разгоряченный от жары, разделся и с удовольствием улегся спать у открытого окошка, обвеваемый прохладным ветерком. Так он заснул. Проснулся он уже прямо от холода и тут же почувствовал конвульсии в животе. Начались понос и рвота, все признаки холеры. Что делать? В местечке не было ни врача, ни аптеки. Леонтьев приказал слуге отправить призывные телеграммы в Константинополь. Но это было почти бесполезно. Нетрудно было рассчитать, что он может умереть несколько раз, прежде чем кто-нибудь успеет прибыть на помощь. Его охватил страх, между тем припадки все усиливались. Он лежал, изнемогая, на диване, и взгляд его случайно упал на икону, повешенную на стене против него. Оказалось, что это была Божия Матерь. Он невольно стал всматриваться. Она глядела на него грустно и строго. Ему между тем становилось все хуже. Смерть наводила на него ужас. Не хотелось умирать, страстно хотелось жить. Пристальный взгляд Божией Матери начал раздражать его. Ему казалось, что Она пророчит ему смерть, и он в припадке ярости крикнул иконе, потрясая кулаком: «Рано, матушка, рано! Ошиблась. Я бы мог еще много сделать в жизни». Припадки гнева и холеры чередовались у него, и наконец его охватило чувство беспомощной покорности. Он начал *молиться* Божией Матери, умоляя Ее спасти его и обещая, что, если Она сохранит его в живых, — он примет монашество *.

И тут произошло нечто, показавшееся ему чудом. Он вдруг вспомнил — точно кто-то шепнул ему, — что у него есть опиум. По случаю распространения холеры он обычно брал его с собой при поездках. Как он мог забыть это? Он бросился к чемодану и действительно нашел драгоценный пузырек. Леонтьев как врач хорошо знал дозировку и проглотил максимальную порцию опиума, неопасную для жизни. Лекарство быстро подействовало, он впал в забытье, крепко заснул и спал чуть не целые сутки. Проснулся он — здоровый, холерические припадки исчезли. Прибывший со всей поспешностью врач оказался уже не нужен.

---

* Этот эпизод неодинаково передается в воспоминаниях о Леонтьеве. Я рассказываю так, как слышал от него самого и помню совершенно отчетливо. В кавычках ставлю фразу, которую вспоминаю буквально (*Примеч. Л. Тихомирова*).

Так совершилось первое проявление перелома в душе Леонтьева. Но состояние его чувства и сознания оставалось смутно и хаотично. В Бога он все-таки не верил, а Божию Матерь сознавал как живое существо, полное благости. Он чувствовал к Ней глубокую благодарность, а в то же время и страх. Нарушить данное Ей обещание он считал совершенно невозможным, но и исполнение его, при более хладнокровном размышлении, оказывалось чем-то фантастическим. Нужно было оставить службу, разрушить все планы жизни — и все это при отсутствии веры в Бога. Об этих сложностях не с кем было даже посоветоваться, не возбуждая толков, что он просто сходит с ума.

Среди таких недоумений он решил поехать на Афон, где в Русском Пантелеймоновском монастыре тогда славился отец Иероним как «старец» великой духовной мудрости. Нетрудно было придумать для поездки служебный предлог, и Леонтьев отправился на монашеский полуостров, «удел Божией Матери», во всем консульском величии. В то время консул на Ближнем Востоке представлял совсем не ту скромную величину, как в государствах Западной Европы. Это было лицо очень важное, с большими полномочиями и влиянием. Для произведения должного впечатления на восточные умы он окружался и пышным церемониалом. И теперь Константин Николаевич ехал к месту смиренного покаяния на превосходном коне, с эскортом вооруженных кавасов в живописных костюмах. По дороге его встречали колокольным звоном, а Русский монастырь принял представителя России еще более торжественно. Настоятель со всей братией вышел к Святым воротам, приветствовал именитого посетителя соответственным словом, потом пригласил в церковь, потом следовало угощение. Наконец нужно было и отдохнуть, но Леонтьев заявил, что ему необходимо переговорить с о. Иеронимом, и желание его было немедленно исполнено.

И вот именитый посетитель, которого о. Иероним только что встречал с таким почетом, оставшись с ним наедине, бросается ему в ноги и умоляет немедленно постричь его в монашество. При этом он сознается, что в Бога не верит. Нервный и взволнованный вид Леонтьева еще более поразил о. Иеронима. Он старался его успокоить, начал объяснять, что невозможно так сразу постригаться, необходимо сначала устроить свои дела в миру, чтобы быть свободным, необходимо подготовиться, пройти послушание и т. д. Да и как же, не веря в Бога, идти в монахи? Много пришлось о. Иерониму за несколько свиданий толковать с мудреным посетителем о Боге, вере и неверии, о монашестве и т. д. Хотя отсрочки крайне огорчали Константина Николаеви-

ча, но эти беседы осветили предстоящий ему путь жизни, и поездка на Афон оказалась плодотворною.

Препятствий для пострига оказывалось и долго оставалось очень много. Не знаю, когда женился Константин Николаевич, но, во всяком случае, уже это одно составляло большое препятствие, тем более что брак этот явился тяжким крестом в жизни Леонтьева. Он был страстно влюблен в жену свою, которую описывал как редкую красавицу, но затем ее постигла неизлечимая душевная болезнь. Она тяжелым бременем лежала на его руках, на его попечении, покинуть ее было невозможно. Но и помимо больной жены трудно было махнуть рукой на свои литературно-публицистические работы, которые теперь, более чем когда-либо, являлись в его глазах служением людям и Церкви. Наконец, нужно было иметь средства к существованию. Среди всех этих усложнений исполнение обета пострижения постепенно затянулось у Леонтьева почти на 20 лет и совершилось только в последний год его жизни.

Но подготовка к этому и работа над собой началась у него немедленно. Он вышел в отставку и прожил на Афоне целый год под руководством о. Иеронима. Это было в 1871/72 году. О. Иеронима он любил и чтил как никого и ставил выше отца Амвросия Оптинского, под руководством которого находился позднее. У меня сохранилось письмо Леонтьева, в котором он их сравнивает. Говоря о том, что для духовной жизни необходимы *катехизатор* (учитель теории), и *старец* (руководитель самой жизни в ее частностях), он поясняет:

«Для меня отец Иероним Афонский был и катехизатор, и старец (в 1871/72 году), но в Оптиной (с 74 до 78 года) дело слагалось иначе. Мне нужно еще тогда было кое-чему доучиваться, но *после Иеронима* отец Амвросий ничуть не удовлетворял меня. Слова его, всегда очень краткие, спешные, *элементарные*, на меня мало действовали. У него, вследствие жизни среди мира, а не в Афонском удалении, и паства была несравненно многолюднее, чем у Иеронима*. Кроме того — он уже и в 1874 году был гораздо слабее Иеронима и, наконец, у него, *видимо*, не было тех философских и богословских наклонностей, которые были в высшей степени сильны у Иеронима... Иероним сам находил удовольствие по целым часам спорить и рассуждать со мной о вере, монашестве, загробной жизни, о дьяволе и т. п. Он и о своей молодости и прошлой жизни охотно рассказывал мне...

* Почему он мог уделять Леонтьеву гораздо меньше времени (*Примеч. Л. Тихомирова*).

[От. Амвросий ничего не рассуждал, все торопился, все просил говорить короче и уходить скорее…] К тому же я невольно видел разницу в размерах дарований — не *духовных*, эти могли быть *равны*, а природных. У Иеронима были *оба* ума, и теоретический, и практический; он и рассуждал замечательно, и делал дело превосходно. И *учил* общему, и *руководил частностями*. В от. Амвросии я нашел только практический ум, только руководителя. К тому же, почти неожиданно обращенный незадолго до того Иероним<ом> к самому существенному — к "страху греха", которого до 72 года у меня уже с юности не было, — *влюбленный* даже в него*, как женщина, всюду преследуемый его величественной, весьма суровой и обожаемой тенью, я беспрестанно и невольно сравнивал их, и (увы!) к невыгоде моего нового пастыря. Не к *нравственной* невыгоде! О нет! Они оба нравственно были очень высоки, оба жизнью святы… скорее уж к эстетической, что ли, невыгоде. От. Иероним *никогда* не смеялся, улыбался по два-три раза в год, никогда *не шутил*. От. Амвросий всегда был весел, часто шутил, любил разные поговорки и рифмы в народном вкусе, и мне вначале это ужасно не нравилось. От. Иероним спообен был сказать о чувстве изящного так: "Да! Что делать! У кого это чувство сильно, тот от него не отделается. Надо стараться дать ему только безгрешное направление". От. Амвросий *ничего* такого мне не говорил. От. Иероним (самоучка из старооскольских купцов 20—30-х годов) читал с удовольствием Хомякова и *Герцена* и рассуждал со мною о них. От. Амвросий давно уже почти ничего не читал… И если бы не Климент, то не знаю, к чему бы привели меня поездки в Оптину» **.

Эти объяснения Леонтьева достаточно показывают, какое значение в его развитии имело пребывание на Афоне и руководство о. Иеронима. Недаром его воспоминания об Афоне дышат таким светлым чувством. Впрочем, то же светлое чувство охватывало для него и всю жизнь Ближнего Востока, на котором он ощутил свою старорусскую, византийско-русскую душу, аскетически религиозную, социально дисциплинированную, проникнутую иерархичностью, а в бытовом отношении полную самобытной красотою. Параллельно с этим у него все более развивалось отрицание и отвращение в отношении современного европейского

---

* То есть в Иеронима (*Примеч. Л. Тихомирова*).

** О. Климент (Зедергольм) сделался *катехизатором* Леонтьева, а о. Амвросий — *старцем*. На Афоне то и другое соединялось в Иерониме (*Примеч. Л. Тихомирова*).

прогресса, демократического, элитарного и материалистического, в своей средней однородности подавляющего самостоятельность и высоту личности.

[По выходе в отставку и] после пребывания на Афоне Леонтьев возвратился в Россию и, живя в своей калужской деревне, посещал недалекую Оптину Пустынь в полумонашеском положении ученика о. Климента Зедергольма и о. Амвросия. [Он в это время и писал.] Так прошло 4 года. Он достиг уже больших успехов в личной выработке. Он дошел до счастья веры в Бога. Но литература не могла ему давать достаточно средств, а срок прежней службы не давал права на пенсию. Леонтьев решил снова поступить на службу и несколько лет пробыл членом Московского цензурного комитета, пока не вышел (в 1887 г.) вторично в отставку. [На этот раз друзья могли ему уже выхлопотать пенсию, и он поселился в Оптиной Пустыни, где за смертью Климента поступил окончательно под руководство о. Амвросия.] Разумеется, все жгучие интересы жизни Леонтьева не имели уже ничего общего со службой; и в Московском цензурном комитете сохранилось только воспоминание о разных причудливых его выходках. Так, например, в повести какого-то либерального беллетриста, отданной на рассмотрение Леонтьева, одно из действующих лиц в разговоре с другим выражало сентенциозное замечание: «И генералы берут взятки». Леонтьев подумал и вместо «генералы» поставил «либералы»: «И либералы берут взятки»... Автор в ужасе прибегает к нему и начинает горячее объяснение. «Что же такого нецензурного находит он в этой фразе, и разве не случается, чтобы генералы брали взятки?» — Леонтьев отвечает: «А разве не случается, что и либералы брали взятки?» — «Но ведь у меня речь идет вовсе не о либералах, а о генералах». — «А я, — отвечает цензор, — не могу разрешить таких нареканий на столь высокие чины». Автор, и совершенно справедливо, начинает ему доказывать, что фраза в такой переделке делается совершенно бессмысленной, потому что никакого либерала в повести нет. Леонтьев стоит на своем. Сторговались наконец на том, что совсем выбросили злополучную фразу: не осталось ни генерала, ни либерала.

Другой раз Леонтьев чрезвычайно задержал разрешение одной совершенно невинной народной повести. Автор несколько раз бегал в Комитет и наконец пошел к Леонтьеву на квартиру, прося поскорее надписать разрешение, так как повесть совершенно безупречна и прочесть ее можно очень быстро. Леонтьев сначала отделывался разными, явно слабыми отговорками. Но автор указывал, что ведь и он и издатель терпят от такой медли-

тельности серьезный ущерб. Издатель теряет время публикации, автор не получает гонорара. Леонтьев, прижатый к стене, наконец раскрыл свой секрет:

—Да что ж мне делать, когда *он* все не удосуживается прочесть Вашей повести!

— Кто такой «он»? — спросил удивленный автор.

— Да мой Федька…

Что же оказалось? Леонтьев *сам* не рассматривал книжек для народа, а отдавал своему лакею Федору. Как будто просто почитать для развлечения. Когда Федор приносил ее обратно, он его расспрашивал:

— Ну что ж, понравилась книжка?

— Хорошая книжка, занятная.

— А может быть, там есть что-нибудь против Бога, против святыни?

— Как можно-с! Ничего такого нет…

— Ну, это хорошо. А то иной раз Бог знает что пишут… Вот тоже против царя пишут…

— Ни-ни. Ничего против государя нет. Книжка очень занимательная.

Тогда Леонтьев, без дальнейших размышлений, надписывал: «Печать разрешается». На этот раз Федька почему-то заленился прочесть повестушку.

Эту историю рассказывал мне в Петербурге сослуживец по Главному управлению Садовский, бывший при Леонтьеве в Московском цензурном комитете. Леонтьев тогда объяснял в Комитете причину такого своеобразного рассмотрения народных книг. Авторы, говорил он, обыкновенно либеральничают и стараются провести какую-нибудь «тенденцию», а в то же время желают и спрятать ее от внимания цензуры. Но если Леонтьев сам начнет читать, то хитрости автора тотчас обнаружатся для него и он принужден будет запретить книжку. Между тем авторы так усердно затушевывают свою тенденцию, что народ может совсем не заметить ее. Тогда, значит, книжка безвредна и ее можно печатать. Поэтому он и дает ее прочитать Федьке. Если он ничего не заметит, то, следовательно, и прочие подобные ему читатели никаких вредных влияний не воспримут.

Когда Леонтьев окончательно оставил службу, его влиятельные друзья, кажется главным образом Тертий Иванович Филиппов, уже могли выхлопотать ему пенсию, и он поселился в Оптиной Пустыни. Жил он в полумонашеском положении, на собственной квартире, под духовным руководством отца Амвросия, к которому успел «приучиться». Не знаю, почему о. Амвро-

сий все оттягивал постриг, который совершился, да и то *тайный*, лишь в 1891 году, перед отъездом в Сергиево. Причины *тайного* пострига понятны. Монах лишается пенсии, а Леонтьеву нужно было и самому жить да еще и содержать и других лиц. Но почему тайный постриг не совершился раньше — это уже дело духовнических соображений отца Амвросия.

Что касается Тертия Филиппова — они с Леонтьевым были близкие друзья, на «ты», постоянно поддерживали переписку, обменивались мыслями и планами. Филиппов навещал Леонтьева и в Оптиной Пустыни. Константин Николаевич по этому поводу рассказывал забавный анекдот. Приехал Филиппов и, не застав Леонтьева дома, отправился в гостиницу, приказав лакею: «Скажи барину, что *Тертий* приехал». Слуга переврал поручение и доложил Леонтьеву: «Заходил тут один господин и велел сказать, что *черти* приехали». Леонтьев рассмеялся: «Черти приехали? Где же они остановились?»

О Филиппове он рассказывал не один раз. Их сближали и вкусы, и сходство мировоззрений, иногда и совместная деятельность. Филиппов был большой поклонник Греческой Церкви. В то время шла борьба болгар против Константинопольской Патриархии за свою автокефальность, раздутую до антиканоничности. Наша Церковь или, точнее сказать, правительство (в лице обер-прокуроров гр. Дмитрия Андреевича Толстого и Победоносцева) сочувствовало болгарам и молчаливо смотрело на подрыв прав и интересов Константинополя. Леонтьев, будучи очень невысокого мнения о славянах и во всех отношениях предпочитая греков, об руку с Филипповым ратовал за Константинопольскую Патриархию. Его статьи, относящиеся к этому делу, горячи и очень сильны. Вообще, Леонтьев, кажется, всегда являлся единомышленником с Филипповым. Их связывали даже вкусы, как, например, к русской народной песне, и вообще — бытовому художественному творчеству народа. У Тертия Ивановича, как известно, было немало даже ученых трудов по народной песне, а что касается [хороводов] плясок, то он, когда был помоложе, хотя уже в чинах, любил лично участвовать в них в деревне и даже славился у девушек как хороводчик. Это мне рассказывал сам Леонтьев о своем друге. Нужно заметить, что Тертий Иванович в более молодые годы славился также своим голосом и был превосходный певец. В свои студенческие времена (в Московском университете) он раз, не думая об этом, сорвал сходку. Сходка, очень оживленная, собралась в Новом университете, но в разгар ее вдруг послышались крики: «Господа, Тертий поет в саду» (Старого университета), и студенты один за другим стали уходить послушать Тертия, так что сходка уничтожилась.

Разумеется, Леонтьев и Филиппов постоянно обменивались мыслями и о серьезных вопросах.

Ко времени нашего знакомства бурная жизнь Константина Николаевича уще совершенно улеглась и вошла в правильное русло. Его мировоззрение вполне определилось. Его религиозные убеждения и личные верования стали уже тверды и устойчивы. Все прежние сомнения и колебания сделались воспоминанием далекого прошлого. И хотя он чувствовал себя усталым, однако еще не собирался умирать, а думал о новой работе, новой борьбе. Во мне он предполагал во многих отношениях соратника и не только интересовался обменом мыслей, но даже очень заботился о том, чтобы мы спелись и в отношении практической работы. Очень характеристична была его мысль о нашей совместной работе по выяснению социализма.

Дело это возникло так. Когда он еще жил в Оптиной Пустыни, я написал статью «Социальные миражи современности» (которая потом вышла и отдельным изданием) и в ней доказывал, что коммунистическое общество должно являться очень деспотическим, но фактически не эгалитарным, а расслоенным, при очень сильном и властном верхнем правящем слое. Эта статья возбудила чрезвычайное внимание Леонтьева, но совсем не в том смысле, как можно было бы думать. Он из нее вывел заключение не против коммунизма, а за него, пришел почти в восторг. Когда он приехал в Москву, он с живейшим интересом стал меня расспрашивать о подробных основаниях моего мнения и говорил, что если так, — то коммунизм будет, стало быть, явлением очень полезным. Рассказал мне, между прочим, что уже поделился своими впечатлениями с Тертием Ивановичем и писал ему [излагаю, конечно, приблизительно], что Тихомиров указывает в социализме совершенно необыкновенные стороны; мы боялись социализма, а оказывается, что он восстановит в обществе дисциплину. «Странно некако влагаеши ты мне в ушеса», — отвечал Тертий. Рассказывая об этом, Леонтьев шутливо нарисовал сценку из будущего социалистического строя:

«Представьте себе. Сидит в своем кабинете коммунистический действительный Тайный Советник (как он будет тогда называться — это безразлично) и слушает доклад о соблюдении народом постных дней... Ведь религия у них будет непременно восстановлена — без этого нельзя поддержать в народе дисциплину... И вот чиновник докладывает, что на предстоящую Пятницу испрашивается в таком-то округе столько-то тысяч разрешений на получение постных обедов. Генерал недовольно хмурится:

— Опять! Это, наконец, нестерпимо. Ведь надо же озаботиться поддержанием физической силы народа. Разве мы можем дать им питательную постную пищу? Отказать половине!

Докладчик сгибается в дугу.

— Ваше Высокопревосходительство (или как у них там будут титуловать!), это совершенно справедливо, но осмелюсь доложить, Ваше Высокопревосходительство циркулярно разъяснили начальникам округов, как опасно подрывать и ослаблять привычную религиозную дисциплину в народных массах. Начнут покидать обрядность, и где они остановятся? Осмелюсь доложить...

Генерал задумывается.

— Да... конечно... Не знаешь, как и быть с этим народом... Ну — давайте доклад.

И он надписывает: "Разрешается удовлетворить ходатайства"».

Он обрисовал эту гипотетическую сценку будущего живо и весело, гораздо интереснее, чем я теперь умею передать. Разумеется, говорилось это шутливо, но в Леонтьеве на эту тему зашевелилась серьезная философская социальная мысль, связанная с теми общими законами развития и упадка человеческих обществ, которые он излагает в «Востоке, России и славянстве». Он об этом серьезно задумался [даже много думал, по словам его], ища место коммунизма в общей схеме развития, и ему начинало казаться, что роль коммунизма окажется исторически не отрицательною, а положительною. Он думал, что вопрос этот важно было бы обстоятельно разработать, но для этого у него не хватало практических знаний по социализму и коммунизму, вследствие чего и явилась мысль — разработать вопрос *совместно со мной*. Вот что он мне писал по этому поводу уже из Сергиевского Посада 20 сентября 1891 года, настойчиво приглашая приехать к нему:

«Кроме разговоров о службе, я имею в виду переговорить с Вами о другом деле, не знаю — важном или не важном, — я на него смотрю так или этак, смотря по личному настроению. Желал бы знать, что Вы скажете о нем. Я имею некий особый взгляд на коммунизм и социализм, который можно формулировать двояко: во 1-х, так — *либерализм есть революция* (смешение, ассимиляция); *социализм есть деспотическая организация* (будущего); и иначе: *осуществление социализма* в жизни будет выражением *потребности приостановить* излишнюю *подвижность* жизни (с 89 года XVIII стол<етия>).

Сравните кое-какие места в моих книгах с теми местами Вашей последней статьи, где Вы говорите о неизбежности неравноправности при новой организации труда, — и Вам станет по-

нятным главный пункт нашего соприкосновения. Я об этом давно думал и не раз принимался писать, но, боясь своего невежества по этой части, всякий раз бросал работу неоконченной.

У меня есть *гипотеза* или, по крайней мере, довольно смелое *подозрение*; у Вас несравненно больше знакомства с подробностями дел. И вот мне приходит на мысль предложить Вам некоторого рода сотрудничество, даже и подписаться обоим и плату разделить. Впрочем, если бы это удалось, то дело так важно, что о плате можно много и не думать (по крайней мере, ныне). Если бы эта работа оказалась, с точки зрения "оппортунизма", неудобной для печати, то я удовлетворился бы и тем, чтобы мысли наши были ясно изложены в рукописи. Я об этом сотрудничестве с Вами ad hoc еще в Оптиной много думал».

Он меня очень звал к себе переговорить серьезно о совместной работе. Однако до серьезных разговоров мы так и не добрались. Через два месяца после своего письма он уже скончался, и хотя мы за это время еще виделись, но при обстановке, неудобной для отдельных разговоров.

Что касается вопроса о *службе*, о котором он упоминает, то дело в том, что я крайне тяготился положением газетного работника, необходимостью снискивать хлеб писанием лишь газетных пустяков. Я рвался поступить на службу, чтобы жить жалованьем, а писать только то, что меня занимало и вдохновляло. Я просил всех друзей помочь мне в этом, говорил Кирееву, Новиковой и т. д., писал и Победоносцеву. Но только один Леонтьев, сам бывший *писателем*, а не *газетчиком*, понимал мои чувства. Он хотел пустить в ход Тертия Филиппова. Поступление на службу очень затруднялось тем, что я лишь недавно был освобожден от надзора полиции. Но я мог рассчитывать, что П. Н. Дурново (Директор полиции) не станет мне мешать. Он был умен и понимал, что отдача меня под надзор полиции была совершенной бессмыслицей. К сожалению, это было сделано по Высочайшему Повелению, а потому не могло не учитываться всеми властями, у которых можно было бы хлопотать о принятии меня на службу. Может быть, Леонтьев, очень заботливо ко мне относившийся, и успел бы чего-нибудь добиться, но он слишком скоро умер. Так я и остался пришпиленным к мелкой газетной работе.

Но он уже в этом не виноват. Он во всех отношениях старался расчистить мой жизненный путь, возлагая большие надежды на мою писательскую деятельность. Точно так же он заботился о моей духовно-религиозной выработке, которую находил самым слабым моим пунктом, — и, нужно сказать, — совершенно

справедливо. Я, конечно, был верующим, и христианином, и православным, но все это шло слишком из *головы*, при чрезвычайной слабости *сердечного чувства*. Мы с ним об этом говаривали очень откровенно, потому что я и сам понимал религиозное значение эмоции и очень страдал от слабости ее у меня. Леонтьев очень за меня в этом отношении сокрушался и старался помочь мне. Помню ту грусть, с которой он заговорил об этом со мною в первый раз:

«Лев Александрович, дорогой, да почему же — когда у Вас разум так ясно говорит о *вере*, почему сердце холодно? Как же у Вас это так выходит?» Он как-то пригнулся ко мне, голос понизился, принял какие-то нежные интонации. Казалось, он так и хотел бы перелить в меня свою сердечную веру... У него в это время религиозное состояние достигло уже полного расцвета. Он, бывший атеист, приобрел именно горячую *сердечную* веру, которая оставалась непоколебимой даже в такие минуты, когда в разуме появлялись облачка каких-то сомнений. А это у него все-таки бывало.

Раз он говорил со мной о *прозорливости*, о таинственном *влиянии*, проявляющихся у старцев вроде Иеронима Афонского, Амвросия Оптинского, Варнаввы и т. п. Потом вдруг запнулся и неожиданно заметил:

— Да это наш христианский *гипнотизм*... Признаюсь, меня смущают явления гипнотизма. *Я стараюсь об этом не думать*...

Почему он смущался? Вера хотела видеть *чудо* в прозорливости и духовном влиянии, видеть действие особых божественных сил. А разум медика и естественника задавал лукавый вопрос: какая же объективная разница между гипнотизмом «христианским» и обыкновенным? Леонтьев не умел определить разницы и «старался не думать» о неприятном вопросе.

Впрочем, вера его не подрывалась такими недоумениями. Он давно жил в атмосфере уверенности, что во всем, великом и малом, мистическом и естественном, совершается воля Божия, без которой ничего не может с ним случиться, ни приятного, ни скорбного. Это налагало печать на всю его обыденную жизнь.

Помню, раз я зашел к нему в его отсутствие. Сел подождать. Прибыл он страшно утомленный, сбросил верхнее платье и оказался в подряснике. Не здороваясь со мной, он прежде всего обратился к образам и начал молиться, отвешивая низкие поясные поклоны. Молился довольно долго, минуты три. Потом поздоровался со мной, позвонил и заказал подать чаю, а сам тяжело опустился в кресло.

— Совсем замучился, изморился. Тело плохо служит. Многие раны грешнику.

Принесли чай, он пил с видимым наслаждением. Душистый горячий напиток освежил его, и он, повеселевши, обратился ко мне:

— Вот, Лев Александрович, видите, как нужно понимать дары Божии, милость Божию. Так у нас, в монастырях, понимается попечение Божие. Вы думаете — только в великих делах? Нет, во всем, самом даже малом. Вот я был уставши, теперь с удовольствием напился чаю, и стало мне так легко и хорошо. Это милость Божия, это Бог послал, и я Его благодарю. Он добр, всякое утешение посылает. Как же не любить Его!

А если посылает Бог «многие раны грешнику» — все равно: и в этом Его благость. Его любовь к нам. Нужно грешника вразумить, очистить. Бог делает это по милосердию. Как же не благодарить Его, как не любить такого доброго, попечительного Господа! Эти точки зрения христианской философии перешли уже у Леонтьева в состояние *сердечной* веры, которая соединена с постоянной *любовью* к Богу и дает человеку *счастье*. Леонтьев очень настойчиво проповедовал *страх Божий*, но, собственно, потому, что в этом чувстве проявляется полное убеждение в *реальности* бытия Бога, а потому и сознание, что возбудить Его гнев — очень опасно. Конечный же результат веры — это *любовь*. Леонтьев уже имел ее, и потому ему было жаль меня, для которого, при сухости сердечной веры, недоступно оставалось счастье, ею даваемое. Он и старался мне всячески помочь, и, можно сказать, не оставлял меня в покое настояниями, чтобы я пошел в духовной жизни таким путем, который приводит к сердечной вере. Для этого нужно прежде всего руководство «старца».

У меня сохранилось [одно] письмо его по этому поводу (то же, где он проводит сравнение между о. Иеронимом и о. Амвросием) [так что я могу уже не излагать его мысли, а привести подлинные слова]: «В Вас, — писал он, — я вижу нечто такое, что меня за Вас тревожит. Боюсь быть откровенным, боюсь оскорбить как-нибудь, боюсь лишиться Вашего доброго расположения. Но в надежде на то, что Господь расположит сердце Ваше принять слова мои так же искренно и просто, как я их говорю, — буду откровенен. Вы на прекрасном пути, Вы ищете именно того, что нужно искать, но я замечаю в Вас какую-то нерешительность и вредную медленность. В чем же? Да хоть бы и в том, например, что Вы, вероятно, и могли бы побывать в Оптиной и *видеть* от. Амвросия… но откладывали и теперь жалеете. И еще, Вы чувствуете потребность найти духовника и говорите, что “страшно”. Почему же страшно? Во 1-х, наши русские духовники и даже знаменитые старцы скорее *слишком* снисходительны,

чем чересчур строги в своих требованиях. Или потому страшно, что вдруг он, духовник, не понравится, а менять нехорошо? Так ли? Или еще что-нибудь, чего я не придумаю? Многое, многое можно по этому поводу Вам сказать. Но вот что: *сделайте опыт послушания* (т. е. против воли, против расположения). Послушайтесь для опыта меня, окаянного и многогрешного, только один раз, не по убеждению практического разума, а по другому чувству. Во едину из следующих суббот приезжайте ко мне без Ко <компании>, в половину третьего, что ли; ночуйте у меня, у меня теперь квартира просторная, расхода, кроме вагона и извозчиков, не будет*. Пробудете у меня все воскресенье до последнего вечернего поезда. *Поговорим*. Часов около 12 в воскресенье Вы съездите к отцу Варнавве, а то и я за ним могу коляску послать; он бодр и деятелен: приедет. Хотя, по правде сказать, я думаю, что Вам *пока* нужнее *катехизатор* (учитель теории), чем старец (руководитель жизни самой в ее *частностях*). В старцы я, разумеется, не гожусь, и смешно даже мне и думать об этом! Но катехизатором, не лишенным пригодности, сам от. Амвросий удостоивал меня признавать. Для старчества нужна *особая* благодатная сила. Для проповеди и обучения теории достаточно искренней собственной веры и некоторых умственных способностей. Иногда эти свойства соединяются в одном лице, иногда они раздельны». Говоря затем о своем личном духовном воспитании у о. Иеронима, о. Амвросия и о. Климента Зедеогольма, он продолжает:

«Климент все-таки приучил меня к от. Амвросию, да и я сам уже привык постепенно к тому духовному *понуждению*, которого Вы напрасно боитесь и называете *ложью* (точно Л. Н. Толстой)! Не знаю, г<оспода> умные люди, как вас избавить от Ваших чрезмерных от себя требований, а если суховато, то сейчас — "это ложь"! А Спаситель сказал: "*Нудящие* себя восхищают Царство Небесное". И в *вере* полезно постепенное понуждение. [Я понудил себя обходиться одной *мистической* силой.] ...Ну, прощайте. Помолитесь-ка Богу, чтобы Он по милосердию Своему помог мне приучить Вас хотя бы к от. Варнавве так, как меня Климент приучил к от. Амвросию. А главное, не думайте, что нужны какие-нибудь необычайные молитвы, а очень просто: Господи, помоги мне приобрести то-то и то-то, укажи мне путь Твой».

---

* Он постоянно заботился о *расходах* моих, потому что я тогда зарабатывал очень мало и весьма нуждался (*Примеч. Л. Тихомирова*).

С сердечной благодарностью вспоминаю я и теперь об этой доброй заботливости Константина Николаевича. Но не воспользовался я ею, не умел отказаться от *своей* воли. Да и его жизнь была уже на исходе, и не имел бы он времени «приучить» меня к от. Варнавве, у которого я не раз бывал, подобно сотням прочих богомольцев, но к руководству которого ни разу не обращался.

Вообще, пока Леонтьев жил в Оптиной и только изредка наезжал в Москву, трудно было что-нибудь совместно делать. А пребывание его в Сергиевском Посаде продолжалось всего три месяца, так что ни одного возникавшего плана не было времени осуществить. Такова была участь и еще одного проекта, о котором мы заговорили чуть ли не в 1890 г. и к которому несколько раз возвращались в беседах, но не успели оформить даже в предположениях своих.

Дело касалось организации особого общества, которое Леонтьев в шутку прозвал «Иезуитским Орденом». «Ну что же, Лев Александрович, — спрашивал он, — когда же мы приступим к учреждению своего Иезуитского Ордена?» Но к этой сложной задаче мы даже и близко не подошли.

Конечно, тут дело касалось вовсе не какого-нибудь Иезуитского Ордена, а мысли наши бродили вот над чем. Борьба за наши идеалы встречает организационное противодействие враждебных партий. Мы все являемся разрозненными. Правительственная поддержка скорее вредна, чем полезна, тем более что власть — как государственная, так и церковная — не дает свободы действия и навязывает свои казенные рамки, которые сами по себе стесняют всякое личное соображение. Необходимо поэтому образовать особое Общество, которое бы поддерживало людей нашего образа мыслей — повсюду, в печати, на службе, в частной деятельности, всюду выдвигая более способных и энергичных. Очень важное и трудное условие составляет то, чтобы Общество было *неведомо* для противников, а следовательно, ему приходится и вообще быть *тайным*, т. е., другими словами, нелегальным. Это главное условие его силы, хотя, конечно, создает для него постоянный риск правительственного преследования. Для ослабления ударов с этой стороны — в случае расследования — Общество должно иметь такой вид, что оно не «общество», а просто случайное единение знакомых между собою единомысленных людей. Следовательно, в Обществе этом не должно быть никаких внешних признаков организации, как, например, устав, печать, списки членов, протоколы заседаний и т. п. Трудности на этом пути предвиделись огромные, но толь-

ко тайное общество давало бы возможность сильного действия. Как все это устроить? Каких людей привлекать? Каков должен быть не писанный, а устный устав? Ничего этого мы ни разу не обсуждали. Только в одном пункте мы, кажется, были с первого слова единомысленны: что Общество нужно и что оно, по необходимости, должно быть секретным, тайным. Поэтому-то Леонтьев и шутил, что мы затеваем «иезуитский орден». Но основание нашего Общества было потруднее, чем учреждение Иезуитского Ордена, все-таки не тайного, а только имеющего тайны, как выражаются о своих ложах франкмасоны. Если бы мы с Константином Николаевичем дошли до серьезного обсуждения этого плана, то нет сомнения, что я бы и предложил поставить Общество на двойном уставе: один *явный*, безобидный, преследующий какие-нибудь банальные цели — научные или благотворительные, для отвода глаз, а другой *тайный*, содержащий *действительные* цели организации. Но, повторяю, этот план остался у нас в зародыше, заглавием ненаписанного романа. Последний месяц жизни Леонтьева нам мешало серьезно поговорить об этом уже одно то, что мы оба в это время особенно горячо углубились в заботу о моих «духовных запросах». Они и для меня, и для него составляли более неотложную «злобу дня». О них Леонтьев упоминает даже в последнем ко мне, коротеньком письме 4 ноября 1891 г., которое заканчивается словами: «Простите, больше ни слова не скажу. Была лихорадка, ослабел, принял 12 гр. хинина. Теперь голова плоха».

Но его 12 гр. хинина не помогли, и через восемь дней, 12 ноября, он уже скончался от инфлюэнцы (воспаление легких), припадком которой, конечно, и была упоминаемая им «лихорадка».

Его схоронили у Черниговской Божией Матери около Гефсиманского скита, поблизости от кельи о. Варнаввы. Я не присутствовал ни при его кончине, ни на погребении. Но более 20 лет ни разу не был [в Гефсиманском скиту] у Черниговской Божией Матери без того, чтобы не посетить его могилу. Над ней возвышалась небольшая чугунная часовенка с неугасимой лампадой, кротко мерцавшей, как тихий свет веры, выращенной наконец Константином Николаевичем в своей душе, страдающей и бурной. Теперь, вероятно, угасла в бурях времени эта лампадка, но теплится, конечно, лампада просветленного сердца его там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная.

Н. А. БЕРДЯЕВ

Константин Леонтьев

Очерк из истории русской религиозной мысли

ГЛАВА I

Происхождение. Молодость в Москве. Натурализм и эстетизм. Любовь. Начало литературной деятельности. Служба в Крыму. Искание счастья в красоте

I

Константин Николаевич Леонтьев — неповторимо индивидуальное явление. Нужен особый вкус, чтобы полюбить и оценить его. Хорошо говорит о нем В. В. Розанов: «Он как не имел предшественников (*все* славянофилы не суть его предшественники), так и не имел школы. Я, впрочем, наблюдал, что вполне изолированный Леонтьев имеет сейчас и, вероятно, всегда имел и будет иметь 2–3, много 20–30, в стране, в цивилизации, в культуре, настоящих поклонников, хранящих "культ Леонтьева", понимающих до последней строчки его творения и предпочитающих его "литературный портрет" всем остальным в родной и в неродных литературах». Трудно отыскать К. Леонтьева на большой дороге, на основной магистрали русской общественной мысли. Он не принадлежит ни к какой школе и не основал никакой школы, он не характерен ни для какой эпохи и ни для какого течения. Он ни за кем не следовал, и никто за ним не следовал. Он много писал на политические злобы дня, страстно относился к самым жизненным историческим задачам своего времени, но не имел влияния, несмотря на признанный огромный дар свой, и остался одиноким, непонятым, никому не пригодившимся, интимным мыслителем и художником. В почти злободневные

политические статьи свои К. Леонтьев вложил самые интимные свои мысли, предчувствия и прозрения. Леонтьевский подход к вечным темам через слишком временные остался чуждым и непонятным «правому» лагерю, к которому он был формально и официально близок, и ненавистен и отвратителен лагерю «левому». И опять хорошо говорит об этом Розанов: «Западники отталкивают его с отвращением, славянофилы страшатся принять его в свои ряды — положение единственное, оригинальное, указывающее уже самою необычайностью своею на крупный, самобытный ум; на великую силу, место которой в литературе и истории нашей не определено». — Все творчество К. Леонтьева насыщено волей к власти и культом власти. Но в жизни оставался он самым безвластным человеком. Он знает лишь эстетику власти, а не действительную власть. Он был одинок, не понят и не признан потому, что он был первым русским эстетом. В его время эстетизм был чужд в России всем направлениям.

Когда вникаешь в образ К. Леонтьева и в судьбу его, иногда кажется, что он был так мало понят, так мало оценен, так одинок у себя на родине, потому что много было в нем нерусских черт, чуждых русскому чувству жизни, русскому характеру, русскому миросозерцанию. Он пишет в одном из своих писем, что *думает не о страдающем человечестве, а о поэтическом человечестве*. Это равнодушие к «страдающему человечеству» и это искание «*поэтического человечества*» не могло не показаться чужим и даже отталкивающим широким слоям русской интеллигенции. К. Леонтьев не был гуманистом или был им исключительно в духе итальянского Возрождения XVI века. Он должен был казаться русскому обществу чужестранцем уж из-за своего острого и воинствующего эстетизма. Эстеты появились у нас лишь в начале XX века, но и то по подражанию, а не по природе, по «направлению», а не по чувству жизни. К. Леонтьев был также романтиком. Романтизм — западное явление, рожденное на католической и протестантской духовной почве, чуждое православному Востоку. У К. Леонтьева был культ любви к женщине, которого почти не знают русские. У него была латинская ясность и четкость мысли, не было никакой расплывчатости и безгранности. В мышлении своем он был физиолог и патолог. И это черта, чуждая русским и нелюбимая ими. К. Леонтьев был аристократ по природе, по складу характера, по чувству жизни и по убеждению. И это не русская в нем черта. Русские — демократичны, они не любят аристократизма. Славянофилы были очень типичными русскими барами-помещиками, но в барстве их не было ничего аристократического. Аристократизм есть яв-

ление западное. Почти все русские писатели, русские мыслители прошли через увлечение народнически-демократическими идеями, этими идеями пленялись у нас и слева и справа. К. Леонтьев был совершенно чужд народнически-демократических увлечений, в его душе не было тех струн, которые пробуждают народолюбивые чувства и склоняют к демократическим идеям. В этом отношении с Леонтьевым можно сравнить лишь Чаадаева, который также прожил всю жизнь одиноким чужестранцем. Но парадоксально и оригинально в Леонтьеве то, что при такой совокупности свойств он всегда хотел держаться *русского* направления, и поэтому его по недоразумению зачислили в славянофильский лагерь. Он, конечно, никогда не был славянофилом и во многом был антиподом славянофилов. Но он не был и западником, подобно Чаадаеву. Он не принадлежит никакому направлению и никакой школе. Он не типичен и не характерен, как типичны и характерны славянофилы, как типичны и характерны в другом отношении русские радикальные западники, — он сам по себе. Он человек исключительной судьбы. К. Леонтьев принадлежит к тем замечательным людям, для которых основным двигателем является не потребность дела, служения людям или объективным целям, а потребность разрешить проблему личной судьбы. Он занят самим собой перед лицом вечности. Поэтому он не находит себе места, меняет профессии, не может ни на чем успокоиться. Он то врач, то консул, то литератор, то цензор, то монах. Он решает объективные вопросы в связи с субъективным вопросом своей судьбы. Стиль его жизни, стиль его писаний совершенно объективный. Он из тех, для кого субъективное и объективное отождествляются. Такие люди особенно интересны. Вот как характеризует он стремления своей юности: «Мне было тогда 23 года; я жил личной жизнью воображения и сердца, искал во всем поэзии, и не только искал, но и *находил* ее. Я желал и приключений, и труда, и наслаждений, и опасностей, и энергической борьбы, и поэтической лени...» Розанов имел основания сказать о К. Леонтьеве: «Он отличался вкусами, позывами гигантски напряженными к ultra-биологическому, к жизненно *напряженному*. Его "эстетизм" был синонимичен или, пожалуй, вытекал или коренился на анти-*смертности* или, пожалуй, на *бессмертии красоты*, прекрасного, прекрасных форм». Вся жизнь К. Леонтьева распадается на две половины — до религиозного переворота 1871 г. и после религиозного переворота. И в первую и во вторую половину жизни он решает проблему личной судьбы. Но в первую половину жизни он решает эту проблему под знаком искания счастья в красоте, искания «ultra-

биологического», «жизненно напряженного». Во вторую половину жизни он решает эту проблему под знаком искания спасения от гибели. *Эстетическая упоенность жизнью и религиозный ужас гибели — вот два мотива всей жизни К. Леонтьева.* Инстинкт «анти-смерти» и «бессмертия красоты» действует и в том и в другом жизненном периоде.

II

Национальные, сословные, семейные инстинкты и традиции преломляются в неповторимой индивидуальности, и так создается человек. Органическая наследственность человека, его происхождение, предания, которыми окружено его детство, — все это не случайные оболочки человека, не наносное в нем, от чего он может и должен совершенно освободиться, все это — глубокие связи, определяющие его судьбу. Не случайно Константин Леонтьев родился дворянином, как не случайно он родился русским. Связь его с предками не была случайной эмпирической связью, она имеет отношение к глубочайшему ядру его жизни. К. Леонтьева нельзя себе иначе представить, как русским барином, барином не только по физическому, внешнему его облику, но и по внутреннему, духовному его облику. Без барства Леонтьева, без аристократических его инстинктов непонятна вся его судьба и необъяснимо все его миросозерцание. Он духом своим принадлежит своей родине и своему роду. Большие, творческие люди перерастают род свой, выходят из быта своего, но они предполагают в роде и в быте почву, их питавшую и воспитавшую. Л. Толстой невозможен вне вскормившего и вспоившего его дворянско-помещичьего быта, вне того рода, против которого он восстал с небывалым радикализмом. Дворянин может восстать на дворянство, барин может дать негодующую и уничтожающую критику барства, но он делает это по-дворянски и по-барски. Л. Толстой так же до конца остался барином в своем отрицании барства, как К. Леонтьев в своем утверждении.

Константин Николаевич Леонтьев родился 13 января 1831 г. в сельце Кудиново Мещовского уезда Калужской губернии. По его словам, родился он, как и Вл. Соловьев, на 7 месяце. Отец его Николай Борисович был ничем не замечательный человек и никакого влияния на сына своего на оказал. Подобно многим другим дворянам, он служил в гвардии, был удален из полка за буйство и жил потом помещиком средней руки. Средства у него были небольшие. В своих воспоминаниях К. Н. отзывается об отце довольно непочтительно: «Отец мой был из числа тех лег-

комысленных и ни к чему не внимательных русских людей (и особенно прежних дворян), которые и не отвергают ничего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не умен, и не серьезен». К. Н. отнесся к смерти отца совершенно равнодушно. Есть основания думать, что он был незаконный сын. Все его детские впечатления и все чувства его были направлены на мать. Мать его Феодосия Петровна во всех отношениях стояла выше отца, и трудно понять даже, почему она вышла за него замуж. Она принадлежала к старому дворянскому роду Карабановых. Вот как описывает К. Леонтьев образ деда своего Петра Матвеевича Карабанова: «Он был, может быть, один из самых "выразительных" представителей того рода прежних русских дворян, в которых иногда привлекательно, а иногда возмутительно сочеталось нечто тонко "версальское" с самым странным, по своей необузданной свирепости, "азиатским". Истинный барин с виду, красивый и надменный донельзя, во многих случаях великодушный рыцарь, ненавистник лжи, лихоимства и двуличности, смелый до того, что *в то время* решился кинуться с обнаженной саблей на губернатора, когда тот позволил себе усомниться *в истине его слов*... слуга Государю и *отечеству преданный,* энергический и верный, любитель стихотворства и всего прекрасного, Петр Матвеевич был в то же время властолюбив до безумия, развращен до преступности, подозрителен донельзя и жесток до бессмыслия и зверства». Не случайно был у К. Леонтьева такой дед. Некоторые черты деда передались внуку. И в нем было сочетание «версальской» тонкости и свирепости, хотя и очень смягченной. Образ матери занимает центральное место в первых впечатлениях и в детских воспоминаниях К. Н. С ней связаны его первые эстетические и религиозные впечатления, оставившие след на всей его жизни. Первые религиозные переживания, которые навсегда запомнились К. Н., срослись у него с эстетическими. И образ красивой и изящной матери сыграл тут немалую роль. «Помню картину, помню чувство. Помню кабинет матери, полосатый, трехцветный диван, на котором я, проснувшись, ленился. Зимнее утро, из окон виден сад наш в снегу. Помню, сестра, обратившись к углу, читает по книжке псалом: "Помилуй, мя, Боже!" "окропиши мя исопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!". Эти слова я с того времени запомнил, и они мне очень нравились. Почему-то особенно трогали сердце... И когда уже мне было 40 лет, когда матери не было на свете, когда после целого ряда сильнейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и поехал на Афон к рус-

ским монахам, то от этих утренних молитв в красивом кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад и от этих слов псалма мне все светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, любимый и теплый свет. Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии. А любовь может снова возжечь в сердце и угасшую веру. Любя веру и ее поэзию, захочется опять верить. "Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит". Я с тех пор никогда не могу вспомнить о матери и родине, не вспомнивши этих слов псалма; до сих пор не могу их слышать, не вспоминая о матери, о молодой сестре, о милом Кудинове нашем, о прекрасном обширном саде и о виде из окон этой комнаты. Этот вид не только летом, когда перед окнами цвело в круглых клумбах столько роз, но и зимою был исполнен невыразимой, только близким людям вполне понятной поэзии!» У К. Н. с детства была эстетическая любовь к православному богослужению, и это сыграло немалую роль в его религиозном перевороте.

Первые острые, пронзающие эстетические восприятия жизни К. Леонтьев испытал в связи с образом своей матери и образом своей родной усадьбы Кудиново. Так материнское лоно — родной матери и родной земли — было изначально обвеяно для него красотой. «В нашем милом Кудинове, в нашем просторном и веселом доме, которого теперь нет и следов, была комната окнами на запад, в тихий, густой и обширный сад. Везде у нас было щеголевато и чисто, но эта казалась мне лучше всех; в ней было нечто таинственное и малодоступное и для прислуги, и для посторонних, и даже для всей семьи. Это был кабинет моей матери... Мать любила уединение, тишину, чтение и строгий порядок в распределении времени и занятий. Когда я был ребенком, когда еще "мне были новы все впечатленья бытия"... я находил этот кабинет прелестным... У матери моей было сильное воображение и очень тонкий вкус ». «Летом были почти всюду цветы в вазах, сирень, розы, ландыши, дикий жасмин; зимою всегда пахло хорошими духами. Был у нас, я помню, особый графинчик, граненый и красивый, наполненный духами, с какой-то машинкой, которой устройство я не понимал тогда, не объясню и теперь... Была какая-то проволока витая, и был фитилек, и что-то зажигалось; проволока накаливалась докрасна, и комната наполнялась благоуханием легким и тонким, постоянно, ровно и надолго... Воспоминания об этом очаровательном материнском "Эрмитаже" до того связаны в сердце моем и с самыми первыми религиозными впечатлениями детства, и с ранним сознанием красот окружающей природы, и с драгоценным

образом красивой, всегда щеголеватой и благородной матери, которой я так неоплатно был обязан всем (уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса в ежедневной жизни)». По словам самого К. Н., у матери его был характер не ласковый и не нежный, а суровый, сердитый и вспыльчивый. Но отношение его к матери напоминает влюбленность, и чувство это осталось у него навсегда. И он никогда не хотел оскорбить тех чувств и идеалов, которым мать его была верна до гроба. Это были монархические чувства и консервативные идеалы, и они срослись для К. Леонтьева с образом прекрасного. С образом прекрасного навсегда связалось у него и родное Кудиново, которое под конец жизни принужден он был продать мужику, запутавшись в долгах. Он всю жизнь прожил под обаянием поэзии и красоты русских помещичьих усадеб. И возненавидел все то, что убивало эту поэзию и красоту. Либерально-эгалитарный прогресс убивал все то прекрасное, что связано было для него с образом родной матери и родной усадьбы. Навсегда запечатлелся в его сердце день именин его сестры и восторженное восприятие красоты цветов в Кудинове. «С этой минуты у меня явилось и осталось на всю жизнь ясное, сознательное представление о первых красотах весны и лета; о том, что цветы в вазе на столе — это что-то веселое, молодое, благородное какое-то, возвышенное... Все, что только люди думают о цветах, я стал думать лишь с этого утра 18 мая. И с тех пор я не могу уже видеть ни ирисов, ни сирени, ни нарциссов, даже на картине, чтобы не вспомнить именно об этом утре, об этом букете, об этих именинах сестры». У К. Леонтьева очень рано кристаллизовалась определенная эстетика жизни, и она стала господствующей в нем стихией. Все жизненные явления он оценивал этой своей неизменной эстетикой и построил целую теорию эстетического критерия как самого всеобъемлющего. Даже Афон, Оптина Пустынь, монашество не поколебали в нем этой эстетики, о которую все для него разбивалось и от которой он не мог отречься, так как она была заключена в его ноуменальном существе.

В романе «Подлипки», который носит в значительной степени автобиографический характер, К. Леонтьев описывает поэзию дворянской усадьбы и вкладывает в героя своего Ладнева свои собственные тончайшие эстетические переживания. Ладнев, как и К. Леонтьев, дорожит *изяществом в чувственности*, его не соблазняет неизящное, простое. Но эстетическое упоение жизнью и эстетическая ее оценка имеют обратной своей стороной разочарование, меланхолию и пессимизм, ибо в жизни пре-

обладает уродство и красота оскорбляется на каждом шагу. Эти разочарования, меланхолия и пессимизм очень рано начались у К. Н. Он не обольщал себя надеждой, что в земной жизни может восторжествовать красота. Он рано увидал, что красота идет на убыль, что *то, что люди называют «прогрессом», несет с собой смерть красоте*. Он почувствовал это раньше, чем французские «декаденты», символисты и католики конца XIX века [1], но пережил это с еще бóльшим трагизмом, ибо искал *эстетики жизни* и не мог утешиться *эстетикой искусства*, как утешался Гюисманс и др. Уже герой «Подлипок», жаждавший любви, сладострастия и упоения жизнью, восклицает: «О, Боже мой! не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным, как свежий осенний день?.. Эта светлая одинокая жизнь не лучше ли и душного брака, где должны так трагически мешаться и жалость, и скука, и бедные проблески последней пропадающей любви, и дети, и однообразие?». Такие мысли очень рано зародились у К. Леонтьева, в самом начале его жизненного пути. Он чувствовал непроходимую пропасть между поэзией романтической любви и браком, семьей. Об этом не раз писал он впоследствии. Вот какие ноты звучат в конце романа «Подлипки»: «Как душно везде. Даже великие люди... как кончали они? Смерть и смертью... К чему же привела их жизнь?.. Как жива передо мною картина, где Наполеон в круглой широкой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину... Перед ним какая-то дама и негр, обремененный ношей... Как ему скучно! И еще картина: m-me Bertrand с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть. Еще я вижу Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке... как душно в его комнате! Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано; Руссо, муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж... и это еще все великие люди! Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?». К. Леонтьев вошел в жизнь романтиком, но романтиком суровым и беспощадным, не убаюкивающим себя «красными умыслами». Он был предтечей неоромантического движения конца XIX и начала XX века, первым мучеником этого движения духа, самым серьезным, не останавливающимся на полпути, все доводившим до конца. Свое вступление в жизнь он прекрасно характеризует словами героя «Египетского голубя»: «После первых удач, сообразных с моими идеалами, я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми навеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным,

мистически неразгаданным. Приучая себя к борьбе, я вместе с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждаться тем, что посылала мне судьба. Немногие умели так, как я умел, восхищаться розами, не забывая ни на миг ту боль, которую причиняли мне тогда же даже и самые мелкие шипы!». Страстное участие в живописной драме земного бытия, попытки разгадать ее глубокий и таинственный смысл, окунувшись в ее пучину, принесли ему глубокие разочарования и страдания, привели его к паническому ужасу гибели и обратили к таинственному и неразгаданному смыслу бытия.

III

По окончании гимназии в 1849 г. К. Леонтьев поступил сначала в Ярославский лицей, но в том же году был переведен в Московский университет на медицинский факультет. Медицина не была избрана им по призванию, а под давлением внешних обстоятельств и по желанию матери. Врачом он был недолгий период своей жизни, и бóльшая часть его жизни не имела никакого отношения к медицине. Да и весь склад личности К. Н. очень не подходил для медицинской деятельности. Но занятие медициной не прошло для него бесследно. Он прошел естественно-научную школу, в ней выработались навыки его мысли, и он навсегда остался натуралистом по складу своего мышления. Натурализм К. Леонтьева был одним из определяющих элементов его духовной жизни, и он связался с его эстетизмом, а позднее и с его религиозностью. Он остался анатомом, физиологом и патологом человеческого общества и пользовался методом аналогии, сравнивая процесс упростительного смешения в общественной жизни с процессом болезни, напр<имер> с воспалением легких. У К. Н. Леонтьева была французская ясность ума, он всегда мыслил резко и чеканно. Ему совершенно чужда была всякая метафизическая туманность и неясность. Немецкое метафизическое глубокомыслие его не привлекает, он нехорошо себя чувствует в этом своеобразном царстве. К. Леонтьев — замечательный мыслитель, острый и радикальный, но он не философ по характеру своего образования, по складу ума и по культуре ума. В слишком отвлеченных философских вопросах он всегда чувствует себя беспомощным. Мышление его было натуралистическое и художественное, ясное и образное, мысль его не могла двигаться в абстракциях. В умственном типе его было что-то романское. И не случайно, что в начале жизни ему пришлось пройти медицинскую школу, столь чуждую его призванию. Во всем творче-

стве К. Леонтьева чувствуется, что образование его не было гуманитарным. Он пережил увлечение естественными науками. Он был и остался реалистом и в своей общественной философии, и в своей беллетристике, и в своей публицистике, и в самом подходе своем к религиозным вопросам. С этим реализмом соединял он романтику чувств; но он никогда не был идеалистом. Это — умственный темперамент, полярно противоположный Вл. Соловьеву.

Период студенческой жизни в Москве не был радостным и счастливым для К. Н. Он болел, нуждался в деньгах, чувствовал отчуждение от медицины и от товарищей-студентов. Требования к жизни у него были огромные. Он искал жизни повышенной, яркой, разнообразной, искал жизни, а не смысла жизни. Веры у него в то время не было никакой. И он переживает период острой меланхолии, которая так характерна для даровитых юношей, полных бурных стремлений, не находящих себе удовлетворения. Сам он хорошо характеризует свое состояние: «Мне тогда очень тяжело было жить на свете — я страдал тогда от всего: от нужды и светского самолюбия, от жизни в семье, которая мне многим не нравилась, от занятий в анатомическом театре над смрадными трупами разных несчастных и покинутых людей... от недугов телесных, от безверия, от боязни, *что отцвету, не успевши расцвесть,* от боязни рано умереть, "sans avoir connu la passion, sans avoir été aimé!" *». Романтическая жажда любви, предчувствие ее восторгов и боязнь уйти из жизни, не испытав этих высших подъемов жизненного напряжения, особенно интересна и значительна в этих словах, в которых К. Н. вспоминает свою юность. В одном месте он признается, что мать его довольно женоподобно воспитывала. И в самом складе его натуры были черты женственные. Это может удивить тех, которые знают К. Леонтьева по его свирепой и жестокой публицистике. Но это делается несомненным, когда глубже вникаешь в его личную судьбу. Слишком сложный характер, романтическая окраска жизни чувств, сильное преобладание эстетизма, невозможность найти себе устойчивое место в жизни, бурные стремления и вечная неудовлетворенность — все эти свойства предполагают присутствие, наряду с резко мужскими чертами, и женственной черты, не однополое, а двуполое, муже-женственное строение души. Жажда любви, вечное искание любовных восторгов и невозможность найти единую, утоляющую, истинно брачную любовь обыкновенно говорит о сложном сочетании муж-

* Так и не познав страсти, так и не побывав любимым *(франц.)*.

ских и женских начал в характере человека. Таков был К. Леонтьев. Он придавал огромное значение красивой внешности, изяществу и физической силе. Черта натур эротических. С Боткиным[2] он обращается грубо, потому что ему не нравится его внешность. Подобно многим романтическим и идеальным юношам своего времени, он увлекался Жорж Санд, и она оказала большое влияние если не на развитие его мыслей, то на развитие его чувств. К. Н. говорит, что в молодости он был и романтиком и нигилистом... Юность свою он называет «мечтательной, тщеславной и отвратительно-страдальческой». Тогда в нем происходила жестокая борьба поэзии с нравственностью. Политикой молодой К. Н. не интересовался. «О государственных собственно вопросах и я не размышлял в эти годы; я даже вовсе тогда не понимал их и не искал понимать, сводя все на вопросы или личного счастья, или личного достоинства, или к поэзии встреч, борьбы, приключений и т. д.». Революциями он интересовался исключительно со стороны драматизма, поэзии борьбы, а не со стороны перестройки общества. К. Леонтьев принадлежал к тому типу ярких людей, которые «больше думали *о развитии* собственной личности, чем о пользе людей». К этому типу принадлежал и великий Гете.

В этот московский период К. Н. влюбился в одну девицу, Зинаиду Яковлевну Кононову, и пользовался взаимностью. Отношения их продолжались пять лет и «принимали разные формы, от дружбы до самой пламенной страсти». Отношения эти были, по-видимому, неясные, не определившиеся окончательно, и они не давали окончательного удовлетворения. Эта первая известная нам любовь К. Н. кончается разрывом, и инициатива разрыва принадлежит ему. З. Я. Кононова выходит замуж по расчету. К. Н. имел большой успех у женщин, и это продолжалось всю жизнь. Он был очень красив. Тургенев говорит о К. Н., что он «чрезвычайно joli garçon*», и в глаза ему говорит: «При вашей внешности, при ваших способностях, если бы вы были более лихим, — вы бы с ума сводили многих женщин». Сам К. Н. признается, что успех у женщин больше его радовал, чем признание его таланта. Как характерно для этого периода жизни К. Н. место его воспоминаний, в котором он сопоставляет свою жизнь с жизнью Каткова, у которого жена была «худа, плечи высоки, нос велик», квартира была «труженническая» и халат «обыкновенный»: «...побывавши у него, я возвращался в свои отдаленные, просторные и приличные три комнаты, смотрелся

* красивый юноша *(франц.)*.

в зеркало и видел... и в нем и во всем другом... много, очень много надежд... Семьи, слава Богу, около меня давно уже не было. З. меня ждала наверху, в хороших комнатах, сидя на шелку и сама в шелках. Душистая, хитрая, добрая, страстная, самолюбивая... Tu demande, si je t'aime, говорила она, ah! je t'adore... Mais non! J'aurais voulu inventer un mot... * Это не то, что мадам Каткова... Бедный, почтенный, но все-таки бедный Катков. Тургенев, по крайней мере, холост, барин, очень красив, bel homme **, у него 2000 душ... Это другое дело». К. Н. сам советует З. выйти замуж за другого. Он «приносит любовь в жертву свободе и искусству». «Он приносил в жертву и молодую страсть, и надежды на тихое семейное счастье, возможное с такой умной и доброй женщиной, неизвестному будущему поэзии, приключений и славе!» К. Н. боится брака и семейной жизни. Он хочет остаться свободным, хочет сохранить поэзию, которой грозит опасность от семейного счастья, детей и пр. Он готов пожертвовать счастьем и личной любовью во имя творческой жизни. Его отталкивает реализация мечты. Это — романтическая черта в характере К. Леонтьева. Он порывает не только с любимой женщиной, но и со своим другом, неким Георгиевским, которого он характеризует как одного из самых умных, почти гениальных людей, когда почувствовал, что теряет свободу, что находится в слишком большой от него зависимости, что стеснен его навязчивыми оценками. К. Н. хочет остаться совершенно свободным и одиноким для искания сильной, разнообразной и красивой жизни. Он, как и все романтики, надеялся еще впереди испытать что-то самое могущественное, небывалое и прекрасное и хотел сбросить все препятствия со своего пути.

IV

По своей природе и по своему дарованию К. Леонтьев прежде всего художник. Неудовлетворенные творческие стремления, сопровождающиеся томлением и меланхолией, должны были разрядиться в творчестве. Эти стремления, как и у многих творческих натур, не нашли себе осуществления в жизни и реализовались в литературе. К. Н. окончательно ощутил в себе призвание художника под напором мучительных жизненных переживаний. Первым его литературным произведением была комедия «Же-

* Ты спрашиваешь, люблю ли я тебя... ах! я тебя обожаю... Но нет! Мне хотелось бы придумать другое слово... *(франц.)*.

** красавец *(франц.)*.

нитьба по любви», написанная в 1851 г. Ему тогда был 21 год. По словам самого К. Н., первое его произведение было целиком основано на тонком анализе болезненных чувств. Свой первый литературный опыт К. Н. решается отнести к Тургеневу. Из писателей он встречал Хомякова и Погодина, но они ему не нравились. Тургенева же он любил как писателя и находился под его влиянием. В своих воспоминаниях «Мои дела с Тургеневым» [3] К. Н. очень интересно описывает чувства, с которыми он шел к Тургеневу. Эстетизм К. Н. и его аристократизм впервые тут сказались очень ярко. «Я не знал ни наружности, ни состояния Тургенева и ужасно боялся встретить человека *негодного в герои,* некрасивого, скромного, небогатого, одним словом, жалкого труженика, которых вид и так уже прибавлял яду в мои внутренние язвы. Терпеть не мог я смолоду бесцветности, скуки и буржуазного плебейства». К. Н. описывает наружность Тургенева и первое впечатление от встречи с ним. Эстетические опасения рассеялись. «Руки *как следует* красивые, “des mains soignées *”, большие, мужские руки... Такой барин». Тургенев оказался «гораздо *героичнее* своих героев». Тургенев первый оценил художественный дар К. Леонтьева. Он очень покровительствовал начинающему писателю и много сделал для него. «Ваше произведение болезненное, но очень хорошее». Так оценил он «Женитьбу по любви». Тургенев имел огромное значение в меланхолической и несчастной юности К. Леонтьева, он способствовал просветлению его жизни. «*Очень многому* в этом просветлении моей жизни был главной причиной Тургенев. Он наставил и вознес меня; именно *вознес;* меня нужно было тогда вознести, хотя бы только для того, чтобы *поставить на ноги*. До того первые два года московской студенческой жизни были для меня жестоки; до того я был безжалостно истерзан и непониманием близких людей, и внешними обстоятельствами, и первыми неожиданными телесными недугами, и бурным вихрем впервые серьезно *перерождающейся мысли*». Тургенев старался напечатать в журналах первые произведения К. Н., но они были запрещены цензурой, что впоследствии сам К. Н. одобрял. Первые литературные выступления К. Н. имели успех, его хвалили и одобряли. Краевский поощрял его писать побольше. Катков очень хорошо относился к нему. Как не соответствует это начало литературной деятельности тому невниманию и непониманию, которое он встретил, когда в зрелом возрасте писал лучшие свои вещи! О Тургеневе вспоминает он с теплым чувством признательности. Из-за

* ухоженные руки *(франц.)*.

Тургенева главным образом порвал он со своим другом Георгиевским, так как не мог вынести его резких отзывов. После «Женитьбы по любви» К. Н. пишет роман «Булавинский завод», но не заканчивает его. Для напечатания его встретились цензурные затруднения. Вспоминая долгое время спустя о замысле этого романа, К. Н. говорит: «Цензура была бы совершенно права, если бы не пропустила "Булавинского завода" в том виде, в каком на досуге, от времени до времени, я в течение двух лет обдумывал его продолжение. Содержание его было в высшей степени безнравственно, особенно со стороны эротической... В то время уже мало-помалу подкрадывалась к уму моему та вредная мысль, что "нет ничего безусловно нравственного, а все нравственно или безнравственно только в *эстетическом* смысле... Что к кому идет"». — Эта мысль, что «критерий *всему* должен быть не нравственный, а эстетический», что «даже сам Нерон мне дороже и ближе Акакия Акакиевича или какого-нибудь другого простого и доброго человека... эта мысль, говорю я, которая начиная приблизительно с 25-го года моей жизни и почти до 40 легла в основу моего мировоззрения в эти зрелые годы мои, уже и в ту раннюю пору начала проникать в мои произведения...» К. Н. окончательно почувствовал себя писателем, сознал свое призвание. Это ослабило его меланхолическое настроение. Но он недоволен своей манерой писать, чувствует в себе недостаток смелости быть до конца самим собой, ложный стыд. Он хотел бы «одну вещь гениальную написать, пусть она будет в бесстыдстве искренна, но прекрасна. Ты умрешь, а она останется». Он чувствует противоположность между наукой и искусством. Московский студенческий период его жизни кончается, в нем назревает кризис, и кризис этот разрешается внезапным изменением внешних условий, которому он с радостью пошел навстречу.

V

Крымская война потребовала медиков на театр военных действий. К. Н., не окончив пятого курса, получил степень лекаря и, изъявив желание поступить на военно-медицинскую службу, в 1854 г. был определен в полк батальонным лекарем. В августе того же года он переехал в Керчь младшим ординатором госпиталя, а затем в Еникале. Вся жизнь, и внешняя и внутренняя, меняется, он переходит в совершенно иную атмосферу, более близкую к природе, вращается среди простых, некультурных людей и, может быть, впервые чувствует наслаждение жизнью. Меланхолия и слабость проходят. В Крыму он возмужал и сфор-

мировался. «Вспоминая в то время свое болезненное, тоскующее, почти мизантропическое студенчество, я не узнавал себя. Я стал за это время здоров, свеж, бодр; я стал веселее, спокойнее, тверже, на все смелее, даже целый ряд литературных неудач за эти семь лет ничуть не поколебали моей самоуверенности, моей почти мистической веры в какую-то особую и замечательную звезду мою». На свою жизнь в Керчи он смотрит как на лекарство. Он, поэт, мыслитель и художник, притворяется на время «младшим ординатором и более ничего». Ему было приятно, что никто не знает, кто он, что самолюбие его не страдает от людей. Он полюбил там впервые экзотическую жизнь, непохожую на жизнь в Москве и Калуге. «Так было сладко на душе... Страна вовсе новая, полудикая, живописная; холмы то зеленые, то печальные, на берегу широкого пролива; красивые армянские и греческие девушки. Встречи новые. Одинокие прогулки по скалам, по степи унылой, по набережной при полной луне зимой. Татарские бедные жилища... Воспоминания о страсти, еще не потухшей, о матери далекой, о родине русской». Он вспоминает с ужасом и стыдом, что в Москве «болезненно любил, болезненно мыслил, беспокойно страдал, все высокими и тонкими страданиями». «Я гляделся в зеркало, видел, до чего эта простая, грубая и деятельная жизнь даже телесно переродила меня: здесь я стал свеж, румян и даже помолодел в лице до того, что мне давали все не больше 20 лет... И я был от этого в восторге и начинал почти любить даже и взяточников, сослуживцев моих, которые ничего “тонкого” и “возвышенного” не знают и знать не хотят!» У К. Н. было много любовных историй. И одна из этих крымских любовных историй, по-видимому, не более глубокая, чем все остальные, имела роковые последствия на всю его жизнь, брачно связав его с женщиной, с которой у него не было ничего общего. Для всей жизни К. Н. характерно обилие и разнообразие романов, но романов не глубоких, не захватывающих его сердце, не клавших печати на его духовную жизнь. Он так и не встретил своей избранницы, своей суженой. Он не познал истинной любви. У него была страстная, но эротически не утонченная натура. Он слишком хорошо познал Афродиту простонародную, но так и не познал Афродиты Небесной [4]. Это имело определяющее значение для его духовной жизни, и этим отчасти нужно объяснить исключительно монашески-аскетический, суровый и безрадостный тип его религиозности. Романтизм леонтьевской эротики не был глубоким, он не искал, подобно Вл. Соловьеву, Небесной Подруги [5]. Его эротика исключительно земная и языческая. И он сам всегда противопоставлял ее своему христианст-

ву. В то время как Вл. Соловьев связывал свою эротику со своим христианством, у К. Леонтьева нельзя найти никаких следов религиозного культа вечной женственности. Его религиозность не «софийная» [6], если употреблять термин, который стал популярен в нашем поколении. Такое отношение К. Н. к женственному началу и к эротике определилось очень рано. И он остался таким же, когда сделался монахом. Для К. Н. характерно, что он не мог избрать себе всю жизнь единого предмета любви, как и единого призвания, как и единого места жительства, как и близкого и родного круга людей. В миру он был странником и успокоился лишь в Оптиной Пустыни.

В письмах к матери из Крыма, написанных с большим лиризмом и нежностью, К. Н. жалуется на недостаток материальных средств. Материальная нужда преследовала его всю жизнь. Это было большим испытанием для его барски-аристократических инстинктов, для его эстетизма, требовавшего пластической красоты окружающей обстановки, для его неприспособленности к какой-либо хлебной профессии. Эстетизм К. Леонтьева был по преимуществу живописно-пластический. А такие люди очень страдают от некрасивой и безвкусной обстановки, им нужна воплощенная красота, богатство жизни. «Как вспомнишь, — пишет К. Н. матери из Крыма, — что уже скоро 25 лет, а все живешь в нужде и не можешь даже достичь того, чтобы быть хоть одетым порядочно, так и станет немного досадно, вспомнишь, сколько неудач на литературном поприще пришлось перенести с видимым хладнокровием, сколько всяких дрязг и гадостей в прошедшем, так и захочется работать, чтобы поскорее достичь хоть 1000 р<ублей> с<еребром> в год». Те же жалобы слышны в письмах К. Н., написанных уже стариком, под конец жизни. Материальная необеспеченность была его роком, как и роком многих замечательных людей. Он любил богатство и блеск. Но Провидение, для высших каких-то целей, предназначило ему бедность в жизненный удел. Он должен был зарабатывать себе насущный хлеб, в то время как питал отвращение к типу труженика. Всякая хлебная работа представлялась ему мещанством и претила его барским вкусам. Он любил внешнюю красоту жизни, но был бескорыстным человеком и не умел устраиваться в жизни. Характерная судьба, выпадающая на долю многих исключительных людей, прошедших через жизнь непонятыми и одинокими. В этом есть таинственный для нас, высший смысл.

Спокойная жизнь в Еникале начала тяготить К. Н. Мирная профессия военного врача была не по нем. Его потянуло на войну. Он хотел приключений и сильных впечатлений. В нем было

что-то от тех русских молодых людей, которые в 20-е годы прошлого века стремились на Кавказ и участием в Кавказских войнах хотели утолить свою жажду сильной и разнообразной жизни, заглушить тоску от спокойной и однообразной цивилизованной жизни. И это — романтическая черта. Любовь к войне и идеализация войны остались у К. Н. навсегда. В войне он видел противоположность современной буржуазной цивилизации. По тем же внутренним мотивам К. Н. любил и восточных разбойников. Он не любил литературного общества и всегда держался в стороне от него. «Мне и народ, и знать, les deux extrêmes *, всегда больше нравились, чем тот средний, профессорский и литературный круг, в котором я принужден был вращаться в Москве. Я хотел быть на лошади... Где в Москве лошадь? Я хотел леса и зимою: где он?.. Мне из литераторов и ученых *лично* никто не нравился для общества и жизни... Я на всех почти ученых и литераторов смотрел как на необходимое зло, как на какие-то жертвы общественного темперамента и любил жить далеко от них». В словах этих, столь искренних, как и все, что написано К. Н., звучат мотивы, родственные пушкинскому Алеко. Но культурная обстановка русского общества в эпоху К. Леонтьева осложнилась. Военные эстетически привлекали его более, чем литераторы и профессора. Он искал эстетики жизни, искал счастья в красоте. И не мог найти ни эстетики жизни, ни счастья в красоте у окружавшего его культурного общества, у русской интеллигенции. Подобно французским романтикам, инстинкты его природы толкали его к экзотике. Война была для него прежде всего эстетическим феноменом. «Я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой и тяжелой войны. И, на мое счастье, пришлось увидеть разом — и Крым и войну». Он был храбр, любил приключения. Он не любил серой, обыденной жизни, обыденного труда, обыденных отношений, обыденных чувств. Он всю жизнь бежал от обыденной, прозаической жизни: сначала в восточную экзотику, потом на Афон и в Оптину Пустынь. Поэтому он не любил семейной обстановки, родственников, братьев. Только к матери было у него поэтическое отношение. «Я в то время стал находить, что поэт, художник, мечтатель и т. п. *не должен иметь никаких* этих братьев, сестер и т. д. ... Нужно мне было дойти до 40 лет и пережить крутой перелом, возвративший меня к *положительной* религии, чтобы я был в силах вспомнить, что привязанность к родным имеет в себе нечто более христианское, чем дружба с чужими по своевольному избра-

* две крайности *(франц.)*.

нию сердца и ума... Мое воспитание, увы! строго христианским не было». Но инстинктов своих К. Н. никогда не удалось побороть. Он находит, что в Кудинове, «где аллеи в саду так длинны и таинственны, где самый шум деревьев для меня как будто осмысленнее и многозначительнее, чем тот же шум в других местах, должно существовать то, *в чем я находил поэзию*». Поэзию он находил в матери, в горбатой тетке и няне, в братьях же не находил ее. Обыденность и прозу войны К. Н. тоже не мог бы принять и полюбить. Его издалека пленяла лишь поэзия войны, лишь эстетика ее, лишь несходство ее обстановки с той обыденной обстановкой, в которой живут родственники, литераторы и все современное цивилизованное общество. Он лишь слегка прикоснулся к войне и вынес из нее повышенные эстетические переживания.

Но скоро его начала тяготить жизнь военного врача в Крыму. В нем зародились творческие литературные замыслы. Он сознавал себя писателем по призванию. Шесть месяцев провел он в отпуску у крымского помещика Шатилова и начал писать большой роман «Подлипки». В 1857 г. он получил увольнение от службы и возвратился в Москву. По приезде в Москву ему сейчас же пришлось хлопотать о месте. Он в конце концов остановился на месте домашнего врача в Нижегородской губернии, в имении баронессы Розен. Жизнь в имении бар<онессы> Розен протекала спокойно и весело. Он прожил там два года. Но и там начинается у него томление, искание иной, более богатой и сложной жизни. Положение сельского врача делалось для него невыносимым. Он решает окончательно бросить медицинскую деятельность и переехать к себе в Кудиново. Но в Кудинове он остался недолго. Его тянет в Петербург, в центр умственной жизни. Он решает посвятить себя исключительно литературной деятельности и жить литературным трудом.

VI

Как и всегда это бывает, Петербург не оправдал его надежд и принес ему много разочарований. Литература не могла обеспечить его. Приходилось давать уроки и делать переводы с иностранного. Эта черная работа была для него очень тягостна. К. Н. надеялся в Петербурге проводить свои идеи, иметь влияние. Но идеи его и настроение слишком резко отличались от господствовавших в 60-е годы, он был несвоевременен, не нужен и непонятен. Он был одинок в своем эстетизме. Культура красоты была чужда людям 60-х годов. Ему же были чужды либерально-демо-

кратические идеи и настроения того времени. В 1862 году он окончательно порывает с остатками прогрессивных, либерально-эгалитарных идей и делается консерватором. Этот эстетический разрыв очень ярко и образно описан К. Н. Однажды шел он по Невскому с неким Пиотровским, сотрудником «Современника» и учеником Чернышевского и Добролюбова. Они приблизились к Аничкову мосту. К. Н. спросил у своего спутника: «Желали бы вы, чтобы во всем мире все люди жили все в одинаковых, чистых и удобных домиках? — Пиотровский ответил: Конечно, чего же лучше? — Тогда я сказал: Ну так я не ваш отныне! Если к такой ужасной прозе должно привести демократическое движение, то я утрачиваю последние симпатии свои к демократии. Отныне я ей враг! До сих пор мне было неясно, чего прогрессисты и революционеры хотят... — В это время мы были уже на Аничковом мосту или около него. Налево стоял дом Белосельских, розоватого цвета, с большими окнами, с кариатидами; за ним по набережной Фонтанки видно было Троицкое подворье, выкрашенное темно-коричневой краской, с золотым куполом над церковью, а направо, на самой Фонтанке, стояли садки рыбные, с их желтыми домиками, и видны были рыбаки в красных рубашках. Я указал Пиотровскому на эти садки, на дом Белосельских и на подворье и сказал ему: Вот вам живая иллюстрация. Подворье во вкусе византийском — это церковь, религия; дом Белосельских в виде какого-то “рококо” — это знать, аристократия; желтые садки и красные рубашки — это живописность простонародного быта. Как это все прекрасно и осмысленно! И все это надо уничтожить и сравнять для того, чтобы везде были маленькие, одинаковые домики или вот такие многоэтажные казармы, которых так много на Невском. — Как вы любите картины! — воскликнул Пиотровский. — Картины в жизни, — возразил я, — не просто картины для удовольствия зрителя; они суть выразители какого-то внутреннего, высокого закона жизни — такого же нерушимого, как и все другие законы природы». Очень характерно для К. Леонтьева, что политические симпатии его окончательно сформировались не под влиянием отвлеченной мысли или переживаний нравственного порядка, а под влиянием образно-пластических впечатлений. Он сделался «консерватором», потому что увидел, что прекрасное на стороне церкви, монархии, войска, дворянства, неравенства и т. д., а не на стороне современного равенства и средней буржуазности. Образ прекрасного был для него связан с разнообразием. Прекрасно лишь общество, основанное на разнообразии, на дифференциациях, на неравенстве. Это стало аксиомой его общественной

философии. Это не только критерий красоты, но и критерий жизненности. Кризис он пережил бурно и мучительно. Нужно было отказаться от Жорж Санд и Тургенева, от западных учителей, от гуманизма. «Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба *идей* в уме моем была до того сильна в 60 году, что я исхудал и почти целые петербургские ночи проводил без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья... Я *идеями* не шутил, и нелегко мне было сжигать то, чему меня учили поклоняться и наши и западные писатели». И здесь, когда К. Н. описывает свой политический переворот, как и позже, когда он описывает свой религиозный переворот, он намекает на какие-то *сердечные влияния*. В эротической природе К. Н. всегда существовало место его внутренней жизни, связанное с его отношением к женщинам, которое он никогда не раскрывает до конца.

У К. Н. Леонтьева формируется миросозерцание, во многом предвосхищающее Ницше. Это миросозерцание называют «эстетическим аморализмом». Впервые выражено оно в романе «В своем краю» устами блестящего Милькеева. «Необходимо страдание и широкое поле борьбы... Я сам готов страдать, и страдал, и буду страдать... И не обязан жалеть других рассудком... Идеал всемирного равенства, труда и покоя? Избави Боже!» «Нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм; наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата. Главный элемент разнообразия есть личность, она выше своих произведений... Многосторонняя сила личности или односторонняя доблесть ее — вот более других ясная цель истории; будут истинные люди, будут и произведения! Что лучше — кровавая, но пышная духовно эпоха Возрождения или какая-нибудь нынешняя Дания, Голландия, Швейцария, смирная, зажиточная, умеренная? *Прекрасное — вот цель жизни* (курсив мой. — *Н. Б.*), и добрая нравственность, и самоотвержение ценны только как одно из проявлений прекрасного, как свободное творчество добра. Чем больше развивается человек, тем больше он верит в прекрасное, тем меньше в полезное». «Не в том дело, чтобы не было нарушения закона, чтобы не было страданий, но в том, чтобы страдания были высшего разбора, чтобы нарушение закона происходило не от вялости или грязного подкупа, а от страстных требований лица! И Креон у Софокла прав как закон, повелевающий убить Антигону, и Антигона, которая, любя брата, похоронила его, —права!» «Нравственность есть только уголок прекрасного... Иначе куда же деть Алкивиада, алмаз, тигра и т. д.».

«А как же оправдать насилие?» — спрашивают Милькеева. «Оправдайте прекрасным, одно оно верная мерка на все». «Что бояться борьбы и зла?.. Поэзия та велика, в которой добро и зло велики. Дайте и злу и добру свободно расширить крылья, дайте им простор... Отворяйте ворота: вот вам, создавайте; вольно и смело... Растопчут кого-нибудь в дверях — туда и дорога! Меня — так меня, вас — так вас... Вот что нужно, что было во все великие эпохи... Если для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима леди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости и лавочной осторожности... Кровь не мешает небесному добродушию... Жанна д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел? И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости?.. Одно столетнее, величественное дерево дороже двух десятков безличных людей, и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры». Как необычны и странны эти речи в России 60-х годов, жившей гуманными, либерально-демократическими идеями и стремлениями! Для русской интеллигенции это был голос из другого мира, и он не мог быть услышан. Услышан мог быть этот голос лишь в начале XX века, когда мы узнали уже и Ницше, и Ибсена, и французских эстетов. Кровные инстинкты К. Леонтьева, его понимание прекрасного, его отвращение к утилитаризму отталкивали его от прогрессивного лагеря. Но он не мог остаться одиноким созерцателем. Он искал эстетики жизни, а не эстетики искусства. И он связал себя с лагерем консервативным, так как в великом прошлом была эстетика жизни. Консерватизм не требовал служения человеческой пользе и всеобщему благу, он оставлял свободное место для красоты и потому уже имел для К. Н. бóльшую привлекательность. Консервативное направление было очень непопулярно в широких кругах русского общества и нравственно заподазривалось. К. Н. пришлось быть против всех, плыть против течения. «*Эстетику приличествует* во время неподвижности быть за движение, во время распущенности — за строгость; художнику прилично было быть либералом при господстве рабства, ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии; немножко libre penseur * (хоть немножко) при лицемерном ханжестве, набожным — при безбожии... т. е. не гнуть перед толпой "ни помыслов, ни шеи"». Миросозерцание К. Леонтьева сложилось в атмосфере «демагогии», и он стал аристократом; в атмосфере «безбожия» — и он стал набожным. Он исполнил долг эстетика и художника.

---

* вольнодумцем *(франц.)*.

У К. Н. Леонтьева было большое художественное дарование, которое не развернулось до конца, так как было пресечено пережитым им религиозным кризисом. Романы первого периода его творчества не принадлежат к лучшим его произведениям. В них есть прекрасные места, но написаны они неровно. Художественной цельности в них нет. К. Леонтьев был импрессионистом, когда об импрессионизме еще ничего не говорилось. Для своего времени он был новым и оригинальным художником. Он не был отравлен народничеством, не проводил никаких общественных тенденций. У него была большая свобода и смелость. Как художник он очень эротичен, не по-русски эротичен. И сам он потом аскетически осудил свой эротизм. Он великолепно передает те томительно-прекрасные чувства, которые вызывает прошлое. В первых произведениях К. Н. чувствуется что-то тургеневское. Впоследствии творчество его приобрело большую силу и остроту. Он романтик и реалист с очень сильным преобладанием красочности. В историях русской литературы не отводят никакого места К. Леонтьеву, и это показатель низкого уровня нашего культурного сознания и наших эстетических вкусов. К. Леонтьев как художник стоит в стороне от большого пути русской литературы, он почти не русский художник. Но он будет еще оценен как представитель чистого искусства. Он любил красивое и отвращался от уродливого — явление редкое в нашей русской литературе.

В 1861 г. К. Н. внезапно отправился в Феодосию и там, не предупреждая родных, обвенчался с Елизаветой Павловной Политовой, полуграмотной и красивой мещанкой, дочерью феодосийского грека — мелкого торговца. С ней у него, по-видимому, была связь во время его пребывания в Крыму. Он был в нее влюблен, но влюбленность эта была неглубокой. К. Н. считал себя обязанным к этому браку, и он не был для него физически неприятен. Он предпочитал простых и наивных девушек образованным и светским. В браке К. Н. на первый взгляд есть что-то бессмысленное и жестокое для него по тем последствиям, которые ему пришлось нести всю жизнь. Но такие события не бывают случайными, в них есть свой высший смысл. У К. Леонтьева и должна была быть такая жена — красивая гречанка, простая и полуграмотная, добродушная и незначительная, его не понимающая и внутренне с ним не связанная. И не случайно она сошла с ума, и он должен был жить с женой, находящейся в состоянии слабоумия и опустившейся. Характер эротизма К. Н. вел к такой судьбе. В сумасшествии жены он видел расплату за своих грехи. На семью он склонен был смотреть как на «ужас-

ную прозу» и даже «каторгу», если она не скрашивается иконой в углу, пенатами у очага или стихами Корана. После женитьбы К. Н. еще острее почувствовал недостаток материальных средств. Он пробовал поселиться в Кудинове, но и там жить нельзя было. Он начал унывать и приходить в отчаяние. В конце концов он решается взять место и останавливается на дипломатической службе. Через знакомого своего брата, вице-директора Азиатского Департамента Стремоухова, он определяется в Азиатский Департамент [7]. После девятимесячной службы в центральном учреждении он в 1863 г. получает назначение секретарем консульства на о. Крите и уезжает туда вместе с женой. На Востоке начинается новый, самый яркий период его жизни. Там он находит эстетику жизни, которой не мог нигде до сих пор найти. Но там же переживает он и религиозный кризис, после которого жизнь его становится под знак искания спасения.

ГЛАВА II

Дипломатическая служба на Востоке. Экзотика Востока и буржуазность Запада. Повести «Из жизни христиан в Турции», «Египетский голубь». Греко-болгарский вопрос. Религиозный переворот. Афон. Возвращение в Россию

I

Консульская жизнь К. Леонтьева на Ближнем Востоке была периодом высшего цветения его жизни в миру, упоения жизнью, почти достижения того счастья в красоте, которого он искал и не находил в России. На Восток бежал он от буржуазной европейской цивилизации, которой проникалась все более и более и Россия. Так англичане бежали в Италию, французы к диким народам и на Дальний Восток. Романтическое томление влекло людей, раненных уродливостью окружающей их жизни, вдаль, в страны с ярким и живописным бытовым укладом, не похожим на бытовой уклад слишком привычный и опостылевший. Мы иначе воспринимаем и переживаем свой собственный быт и быт экзотических стран и народов. Наш собственный быт для нас слишком часто бывает мучительной прозой, и наше отношение к нему связано с борьбой за существование и повседневными интересами. Быт других народов, особенно народов экзотических, воспринимается нами как поэзия, мы не прикованы к нему никакими нуждами, он не изуродован для нас гнетущей обыденностью. Это остро переживали Шатобриан и Стен-

даль, Гоген и П. Клодель, прерафаэлиты и В. Патер[8]. Романтическое бегство от обыденности в экзотику мы встречаем и у К. Леонтьева. Он проповедовал самобытное русское направление и русский самобытный идеал культуры. Он много говорил о красоте и своеобразии русского быта в отличие от Западной Европы, изуродованной мещанской цивилизацией. Но это был самообман, часто встречающийся. В России К. Н. почти всегда испытывал тоску и томление. Ни в чем не видно, чтобы он эстетически и с упоением переживал русский быт. Гораздо сильнее он воспринимал его обыденность и уродство и испытывал вечное недовольство и томление по иным краям. В отличие от славянофилов К. Леонтьев не был бытовым человеком. Он был уже оторван от родовой почвы. Эстет не может быть человеком быта. Своеобразие и красоту русского быта и русского культурного типа он переживал главным образом на Востоке, в Турции и Греции, и из прекрасного далека строил свое учение о культурной самобытности России. Так Тютчев переживал свое славянофильство главным образом в Риме. Цветущая сложность и разнообразие жизни К. Леонтьева на Востоке были уходом из русского быта, из русской обыденности.

К. Н. — человек сложной культуры. Отвращение его к современной культуре, борьба против культуры и идеализация старого быта, первобытной силы — все это так характерно для культурного человека, влюбленного в сложную и прекрасную культуру. Мы с этим явлением хорошо знакомы по французам. К. Леонтьев был уже человеком того сложного сознания, которое идею и созерцаемый образ красоты ставит выше крови, племени, которое уже оторвано от родовой почвы. Потому и была так трагична судьба К. Леонтьева, в то время как судьба славянофилов не была так трагична. Ни Киреевский, ни Хомяков, ни Аксаков не стали бы искать на Востоке сложности и разнообразия, красочности и пластичности. У славянофилов не было того надлома, от которого пошли новые души. Славянофилы старого типа, типа не вполне исчезнувшего и в наше время, не могли бы в таком тоне описывать свое упоение консульской службой на Востоке: «Я ужасно люблю ее, эту службу, совсем не похожую на нашу домашнюю, обыкновенную службу. В этой деятельности было столько именно не европейского, не “буржуазного”, не “прогрессивного”, не нынешнего; в этой службе было столько простора личной воле, личному выбору добра и зла... Столько простора самоуправству и вдохновению!.. Жизнь турецкой провинции была так пасторальна, с одной стороны, так феодальна — с другой!» Это говорит герой прелестной повести «Египет-

ский голубь». Но в герое этом К. Н. описывает свою жизнь и все слова его принадлежат ему самому. В «Египетском голубе» отразилось языческое упоение жизнью и красотой ее. В конце повести К. Н. пишет как человек, уже окончательно потерявший веру в земную жизнь, в возможность земной радости, в прочность красоты здесь, на земле: «Я начал писать это в одну веселую минуту, когда я осмелился подумать на мгновение, что и для меня песня жизни не совсем еще спета. *Тогда,* когда на персиковой ветви ворковал мой бедный голубь, у меня было такое множество желаний, я так любил в то время жизнь... Самые страдания мне иногда невыразимо нравились». «Я верил тогда *в какие-то мои права* на блаженство земное и на *высокие идеальные радости* жизни!» Быстротечные минуты радости и счастья он пережил с необычайной остротой. «Как я счастлив, о Боже! Мне так ловко и тепло в моей меховой русской шубке, крытой голубым сукном. Как я рад, что я русский. Как я рад, что я еще молод! Как я рад, что я живу в Турции! О, дымок ты мой милый и серый, дымок домашнего труда! О, как кротко и гостеприимно восходишь ты передо мной над черепицами многолюдного тихого города! Я иду по берегу речки, от Махель-Нэпрю, а заря вечерняя все краснее и прекраснее. Я смотрю вперед, и вздыхаю, и счастлив... И как не быть мне счастливым? По берегу речки, по любимой моей этой прелестной дороге от Махель-Нэпрю к городским воротам растут кусты черной ежевики... Вот здесь, на восхитительном *для меня* (да, *для меня,* только *для моего* исполненного радости сердца), на восхитительном изгибе берега, на кусте три листочка поблекших, все они белые с одной стороны и такие темно-бархатные, такие черные с другой. И на черном этом бархате я вижу серебряные пятна, — звездочки зимней красоты... Я счастлив... Я страдаю... Я влюблен без ума... влюблен... Но в кого? Я влюблен в здешнюю жизнь; я люблю всех встречных мне по дороге; я люблю без ума этого старого бедного болгарина с седыми усами, в синей чалме, который мне сейчас низко поклонился; я влюблен в этого сердитого, тонкого и высокого турка, который идет передо мной в пунцовых шальварах... Мне хочется обоих их обнять; я их люблю одинаково!» Вот в какой атмосфере упоенности жизнью, эстетических экстазов протекало время службы К. Н. на Балканах. Это не походит на то душевное состояние, которое он испытывал в Москве, в Петербурге, в деревне. Он осуществлял «долг жизненной полноты». В самый разврат сумел он вложить много поэзии и красоты. Именно этот период жизни К. Н. дает основание В. В. Розанову открыть в нем алкивиадовское начало. «Рассматривая по смерти

этого *монаха* его библиотеку, я увидал толстый том с надписью: “Alcibiade” — французская монография о знаменитом афинянине. Такого воскрешения афинизма, шумных “агора” афинян, страстной борьбы партий и чудного эллинского “на ты” к богам и к людям — этого я никогда еще не видал ни у кого, как у Леонтьева. Все Филальеры и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, сравнительно с этим калужским помещиком, который и не хотел никому подражать, но был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажженного дома возлюбленной». Розанов увидал в К. Леонтьеве что-то «дикое и царственное», «человека пустыни», «коня без узды». «Леонтьев был первый из русских и, может быть, европейцев, который открыл “пафос” туретчины, ее воинственности и женолюбия, религиозной наивности и фанатизма, преданности богу и своеобразного уважения к человеку. “Ах ты, турецкий игумен”, не мог я не сказать, перечитав у него разговор одного муллы с молодым турком, полюбившим христианку». Розанов не понимал К. Леонтьева в полноте духовного образа и духовного пути, не хотел знать Леонтьева-христианина. Но Леонтьев на Востоке в конце 60-х и начале 70-х годов был таким, каким его описывает Розанов. Он был влюблен в турок и ислам. И он навсегда получил какую-то прививку от ислама, которая сказалась и на его христианстве и искажала его.

II

Начал свою службу на Востоке К. Н. на острове Крите, который произвел на него чарующее впечатление. «Полгода в Крите, — вспоминает он, — были каким-то очаровательным медовым месяцем моей службы; там я гулял по берегу морскому, мечтал под оливками, знакомился с поэтическими жителями этой страны, ездил по горам». Криту К. Н. посвятил свои прелестные рассказы «Очерки Крита», «Крозо», «Хамад и Макалы» *. На Крите он пробыл не более полугода. Он ударил хлыстом французского консула, который позволил себе оскорбительно отозваться о России. После этого он был отозван в Адрианополь и через 4 месяца назначен секретарем консульства в Адрианополь. Во время отсутствия консула он сам управлял консульством. Адрианополь не очень ему нравился, ему неприятно было

* В первом издании названия искажены, следует: «Хризо», «Хамид и Маноли» *(Примеч. составителя).*

тамошнее буржуазное общество. Кроме того, он страдал от недостатка денег, запутался в долгах, ему не хватало жалованья при барских его привычках, и он находил, что должность секретаря не соответствует его возрасту. В Адрианополе его приглашали на местные празднества, и он танцевал под турецкую музыку с хорошенькими девушками предместий. Он любил также устраивать состязания борцов. В 1867 г. К. Н. назначили вице-консулом в Тульчу. Жизнь в Тульче была для него более обеспеченной и приятной. «Я желаю одно, — пишет он К. А. Губастову, — свить навек мое гнездо в Тульче... Здесь есть и движение, и покой, и восток, и запад, и север, и юг». Русский посол в Константинополе гр. Игнатьев одобрял К. Н. Во время жизни в Тульче начались первые признаки умопомешательства жены К. Н., повидимому, от ревности, на почве измен мужа. И эта болезнь жены была тяжелым испытанием всей дальнейшей жизни К. Н. В 1869 г. он назначается консулом в Янину. Там он заболел лихорадкой. В 1871 г. К. Н. назначается консулом в Салоники. Вообще он делает быструю дипломатическую карьеру.

В этот восточный, консульский период жизни языческий культ любви и сладострастия достигает у К. Леонтьева высшего своего напряжения. На Востоке было у него большое количество серьезных увлечений и любовных похождений. Эротическая фантазия его была безудержна и беспредельна. Жену свою он по-своему любил, но изменял ей на каждом шагу. Туземки Ближнего Востока были для него большим соблазном. Своему приятелю по дипломатической службе на Востоке К. Губастову он пишет: «Чтобы вполне постичь поэзию Адрианополя, послушайте моих советов: 1) не откладывая заведите себе любовницу, простенькую болгарку или гречанку; 2) ходите почаще в турецкие бани; 3) постарайтесь добыть турчанку, это уж не так трудно; 4) не радуйтесь вниманием франков и не хвалите madame Badetti; 5) гуляйте почаще на берегу Тунджи и вспоминайте меня; 6) подите когда-нибудь с кавасом к мечети Султан Баязета и устройте там на лужайке, около киоска, борьбу молодых турок, под звук барабана; это прелесть!» Нужно полагать, что К. Н. сам следовал тем советам, которые давал Губастову. Были у него и болгарки, и гречанки, и турчанки. В другом письме тому же Губастову он пишет: «Не думайте, чтобы моя личная жизнь была бесцветна. К сожалению, она очень бурна. Вы говорите, зачем я все думаю о страждущем человечестве (т. е. критянах), а не о себе. Во 1-х, я думаю не столько о страждущем, сколько о поэтическом человечестве, а во 2-х, тут и я не забыт». В том же письме он сообщает о болезни жены и о том, что она подурнела. И еще пишет он

все тому же Губастову: «Есть сердечные дела, да еще какие!». К. Н. отделяет любовь от брака и семьи. «Брак есть разделение труда, тяжкий долг, святой и неизбежный, но тяжелый, налагаемый обществом, как подати, работа, война и пр. Работа и война имеют свои поэтические и сладкие минуты, ими можно восхищаться, но надо понимать, что одна большей частью нестерпимо скучна, а другая очень опасна и тяжела. Отчего же на брак не хотят смотреть как на общественное тягло, которое иногда не лишено поэзии, но от войны и тяжелой работы отличается тем, что война опасна, но не скучна, а работа большей частью скучна, но не опасна физически. Брак же для женщины опасен физически, а для мужчины — скучен большей частью крайне. Я согласен с тем французом, который сказал: "L'amour n'a rien à faire avec les devoirs penibles et sevères du mariage..." *. Не понимаю и ревности к законной жене. Это что-то чересчур первобытное». К. Н. чуждо было трудовое чувство жизни, он был слишком барин и аристократ. Труд и бремя брака и семьи противны его эстетике; романтик восстает в нем против всякой прозы и обыденности. Позже, когда романтизм в нем ослабел и победил монашеский аскетизм, он писал: «*Романтический и моральный идеализм и христианский спиритуализм — большая разница.* Брак есть духовное таинство, а не достижение сердечного идеала. Последний может легко обмануть, а таинство для верующего человека — все будет таинством. Верующий человек и в несчастливом браке о святыне этого таинства не забудет». У К. Н. была прирожденная склонность к многоженству, и он не видел никаких разумных оправданий моногамического брака. В этом отношении он был турок, и сердечные влечения более склоняли его к исламу, чем к христианству. Христианство он всегда утверждал вопреки своей природе, во имя обуздания ее. «Многоженство должно быть отвергаемо лишь на основании христианского догмата, на основании *веры*... А на основаниях одного *разума* можно, *пожалуй,* и *полиандрию* проповедовать... Но если мы устраним вмешательство положительной религии, то остается для подобного решения лишь одно средство — *художественное чувство*. С точки зрения эстетической, мы, хотя и озираясь с некоторым страхом, сознаемся, что, к стыду нашему, нам султан турецкий нравится больше, чем "честный" европейский безбожник или даже деист, живущий почему-то невозмутимо со своей рациональной женою не "во славу Божию", а во славу "ра-

* В тягостных и суровых обязанностях брака любовь не нуждается *(франц.)*.

зума"». В этом отношении К. Н. резко отличается от славянофилов, людей очень добродетельных и преданных идеалу семейственности. На Востоке ему не нравится у православных недостаток романтизма в любви. «Я знал очень хорошо, *что именно* мне не нравится на Востоке... Мне не нравилась тогда сухость единоверцев наших в любви. Мне ненавистно было отсутствие в их сердечной жизни того романтизма, к которому я дома в России с самого детства привык. С этой, и только с одной этой, стороны я был "европейцем" до крайности. Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого аскетического романтизма... и до того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой культом так проникнуты стихи Гете, А. де Мюссе, Пушкина и Фета». У христиан Востока не поется блестящая ария страстной любви. «Есть и другая сторона жизни, тесно связанная с вопросом о романтизме в сердечных делах; это вопрос *о семье*... Всякий знает, как отношения между христианской семьей и сердечным романтизмом многосложны, противоречивы и вместе с тем неразрывны и глубоки. То дополняя друг друга в разнообразной и широкой жизни обществ истинно развитых и возводя семейный идеал до высшей степени чистоты, изящества и поэзии, то вступая в раздирающую и трагическую борьбу, романтический культ нежных страстей и, быть может, несколько сухой с первого взгляда спиритуализм христианского воздержания проникают духом своим издавна всю историю западных обществ, господствуя даже и в бессознательных сердцах, то в полном согласии, увенчанные благодатью церкви, то вступая в эту страшную и всем нам так близко, так болезненно знакомую коллизию, в ту коллизию, которой и драма, и поэзия, и роман, и музыка, и живопись обязаны столькими великими и вдохновенными моментами. На Востоке у христиан образованного класса я этого ничего не видел». Эти свои романтические чувства и мысли К. Н. вкладывает в уста героя «Египетского голубя». По «романтическому культу нежных страстей» он был «европейцем». Романтизм этот не характерен не только для христиан Востока, но не характерен и для русских. В русской литературе почти нет культа любви. К. Леонтьев был более «европейцем», чем сам это сознавал и чем это принято о нем думать. Он был влюблен в старую Европу, рыцарскую, католическую, романтическую. Он ненавидел лишь современную буржуазно-демократическую Европу, и ненавидел ее за то, что она изменила своим святыням, своей былой красоте. «Христианство не отрицает обманчивого и коварного изящества зла; оно лишь учит нас бороться против него и посылает на помощь ангела молитвы и отречения. Поэтому-то

и родственность романтизма эротического и романтизма религиозного в душе нашей так естественна и так опасна». Так может говорить лишь «европеец», западный, а не восточный человек. К. Н. принадлежит острый афоризм о фраке, как «куцем трауре, который Запад надел с горя по своему великому, религиозному, аристократическому и артистическому прошедшему». Такого рода ненависть к европейскому фраку могла быть лишь у человека, влюбленного в великое прошедшее Запада. Все это очень важно для правильного понимания миросозерцания К. Леонтьева. По душевным своим основам он не имеет почти ничего общего со славянофилами, и соприкосновение его теоретического миросозерцания со славянофильством очень поверхностно. Правильно сопоставлять К. Леонтьева с Чаадаевым, как это и делает хорошо знавший его Губастов.

III

Жизнь К. Леонтьева на Востоке дала огромные импульсы для его творчества. Можно сказать, что самые значительные произведения его написаны под влиянием переживаний и мыслей, рожденных на Востоке. Восток окончательно сформировал его духовную личность, страшно обострил его политическую, философскую и религиозную мысль, возбудил его художественное творчество, которое посвящено главным образом жизни христиан в Турции. Если бы К. Леонтьев не служил дипломатом на Балканах, то его творческий облик был бы иным. Все его мышление и все его творчество насыщены образами Востока. Он почти не может вести своего размышления иначе как отталкиваясь от восточной темы. На них развивает он мысли, имеющие мировое значение. Восточные образы неразрывны для него с красотой и радостью жизни. С этим связана некоторая узость леонтьевского творчества, некоторая однотонность, недостаток разнообразия. На Востоке прежде всего искал и осуществлял он эстетику жизни, но также и эстетику искусства. К. Н. не мог жить только искусством, подобно французским эстетам, как не мог жить философским созерцанием, отвлеченной мыслью. Ему нужна была разнообразная жизнь, окруженная образами пластической красоты. Эстетика его не выносила ничего среднего, умеренного, неяркого. Более всего К. Н. любил Константинополь и там находил эстетику жизни, которой в такой полноте не мог найти нигде. «Я люблю самую *жизнь* этого посольства (в Константинополе), — пишет он Губастову, — его интересы, мне родственны там все занятия, и в среде этого общества мало есть

лиц, о которых я вспоминаю без удовольствия, приязни и благодарности. Я люблю самый город, острова, греков, турок... все люблю там, и будьте уверены, что я *ежедневно терзаюсь мыслию* о том, что не могу придумать средство переселиться туда навсегда. Ни Москва, ни Петербург, ни Кудиново, ни самая выгодная должность где попало, ни даже монастырь самый хороший — не могут удовлетворить меня так, как Константинополь... Только разнообразная жизнь Константинополя (где есть и отшельники на о. Халки, в лесу, и гостиная Игнатьевых, и политическая жизнь, и *поздняя обедня,* и бесконечный материал литературы)... Только эта сложная жизнь могла удовлетворить моим *нестерпимо* сложным потребностям». У него навсегда осталось томление по Константинополю и мечта вернуться туда. С Константинополем были связаны заветные мечты его. И трудно сказать, какой Константинополь был ему дороже, Константинополь византийский или Константинополь турецкий. Константинополь и Греция имели для К. Леонтьева то же значение, которое для многих имели Рим и Италия. Он чувствовал и любил красоту старой Европы, но он не жил ею непосредственно, не черпал из нее источников творческого вдохновения. Его слишком отталкивала современная буржуазная Европа. Все надежды его на цветущую и сложную культуру были связаны с Востоком. Он придавал огромное значение внешнему стилю жизни и пластической ее стороне. То, что европейские люди надели фрак и пиджак, он считал роковым и для их духа. Он видел в этом знак внутреннего процесса разложения и смерти. На Востоке процесс разложения еще не так далеко зашел, хотя роковые признаки его Леонтьев видел и предрекал последствия его.

«Все истинные художники, все поэты, все мыслители, одаренные эстетическим чувством, не любили *среднего человека*». «Все истинные поэты и художники *в душе* любили дворянство, высший свет, двор, военное геройство». «Байрон бежал из *цивилизованных* стран в *запущенные тогда и одичалые* сады Италии, Испании и Турции. Тогда в Турции еще жил Али-паша Янинский, которого свирепость была живописнее *серой* свирепости французских коммунаров; в Италии в то время было еще восхитительное царство развалин и плюща, калабрийских разбойников, Мадонн и монахов. “Ограниченный” Сардинский король не запирал еще первосвященника римского в ватиканскую тюрьму и не обращал еще с помощью людей *прогресса* всемирного города в простую столицу неважного государства[9]. В Испании боя быков еще не стыдились тогда. И, даже сражаясь за Грецию, великий человек не предвидел, что интересная Греция “Корса-

ра" в Фустанелле — есть лишь плод азиатского давления, спасительного для поэзии, и что освобожденный от турка корсар наденет дешевый сюртучишко и пойдет болтать всякий вздор на скамьях афинской "говорильни"». «Без мистики и пластики религиозной, без величавой и грозной государственности и без знати блестящей и прочно устроенной — какая же будет в жизни поэзия?.. Не поэзия ли всеобщего р*ационального мещанского счастья?..*» К. Н. более всего заботила не «эстетика отражений» на полотне или в книгах, а эстетика *самой жизни*. Он все еще верил и надеялся, что эстетика жизни, эстетика *единства в разнообразии* сохранится на Востоке, тогда как на Западе казалось ему безнадежно проигранным дело эстетики жизни, — там и «эстетика отражений» скоро будет невозможна. Он видел, что экзотический, живописный быт Востока разрушался. Особенно остро подмечал он этот прогресс у балканских славян, которых не любил и с которыми не связывал никаких надежд. Все надежды его были связаны с византийским духом, с греческим православием и с Турцией, которые препятствуют либерально-эгалитарному прогрессу и спасают от разложения. Наблюдения над жизнью славян в Турции и на Балканах поколебали в нем веру в племенной, национальный принцип и привели к отрицательному отношению к панславизму. О национальной политике потом им были высказаны необычайно острые и глубокие мысли. Внутренняя драма К. Н., которая привела его к религиозному кризису, к ужасу гибели и исканию спасения, была в том, что он страстно искал земной радости, земной прелести и земной красоты и не верил в прочность и верность всего земного. Чувство гибели всего земного, тленности земной красоты было у него уже до духовного перелома. Это чувство было заложено в его романтическом темпераменте. Как романтик хотел он во имя красоты противоречий, страданий и неосуществимости желаний. Романтическая эстетика К. Н. требовала существования зла наряду с добром. Это повлияло и на все его понимание христианства.

В такой духовной атмосфере окончательно созрел в К. Леонтьеве художник. Он пишет прекрасные, красочные повести из жизни христиан в Турции, которые ждут еще справедливой оценки. В некоторых рассказах он обнаруживает изумительный объективный дар художественного воспроизведения быта Востока. Таковы повести и рассказы, помещенные во втором томе собрания сочинений, — «Очерки Крита», «Хризо» и др. Очень хороша старинная восточная повесть «Дитя души». Наряду с этим он пишет вещи совершенно субъективные, представляющие автобиографическое отражение его собственной судьбы. Так, лучшая

из его субъективных вещей, «Египетский голубь», написанная позже, имеет огромное значение для его биографии. Вся повесть ведется от лица человека, искавшего, подобно самому К. Н., счастья в красоте и упоении жизнью Востока, где он служит дипломатом. Бóльшая часть повествования окрашена языческой радостью и упоенностью, проникнута своеобразным леонтьевским эротизмом, но написана после того, как герой пережил внутреннюю катастрофу и потерял все надежды на земное счастье. Он стоит в церкви в один из дней, когда все земное, самое прекрасное и радостное, оказалось неверным и непрочным, и, когда диакон стал молить о христианской кончине жизни нашей «безболезненной» и «мирной» и о «добром ответе на суде Христовом», он «вдруг почувствовал желание положить глубокий поклон и встал с земли не скоро и, касаясь лбом пола, думал: "Вот этого, конечно, и только этого, мне должно желать"». И образ пленявшей его Маши Антониади далеко отодвинулся от него. Повесть «Египетский голубь» написана ретроспективно, но она насыщена мотивами восточной жизни К. Н. и отражает время его консульской службы со всеми обманчивыми и неверными радостями.

Одно из лучших художественных творений К. Леонтьева — это повесть «Исповедь мужа» («Ай-Бурун»). Впоследствии он резко осудил это произведение и не хотел, чтобы оно было перепечатано. Вот его собственный отзыв: «В высшей степени безнравственное, чувственное, языческое, дьявольское сочинение, тонко-развратное; ничего христианского в себе не имеющее, но смелое и хорошо написано; с искренним чувством глубоко развращенного сердца... Я бы просил *в этом виде* ее не печатать — *грех!* и грех великий! Именно *потому,* что написана хорошо и с чувством». В этом суде над собственным произведением есть что-то мучительное, напоминающее драму Гоголя или Боттичелли [10]. «Исповедь мужа» очень тонкая вещь, новая по духу, в русской литературе единственная в своем роде. Она отражает очень тонкий эротизм сложной души, столь непохожей на людей 60-х годов, столь чуждой им. Психология любви человека средних лет к молодой девушке, согласие отказаться от нее и помочь ее любви к другому — все это описано с тонкостью и изяществом, почти не бывшими в русской литературе. Большой роман «Одиссей Полихрониадес» из греческой жизни К. Н. считал лучшим своим произведением. Но мнение автора для нас не обязательно. В «Одиссее Полихрониадесе» есть много хорошего, в нем есть великолепное знание жизни греков, но он растянут и скучноват. Большие вещи не очень удавались Леонтьеву. Он все же был писателем импрессионистического темперамента. И даже в сти-

ле эпически-этнографическом ему лучше удавались небольшие вещи. Больше всего работал К. Н. над серией романов под общим заглавием «Река времен». Они должны были быть связным повествованием о русской жизни с 1811 г. и по 1862 г. Возможно, что в них окончательно развернулось бы дарование К. Леонтьева. Но им не суждено было увидать света. У К. Н. было большое и оригинальное художественное дарование, и он мог бы выйти на совершенно самостоятельный путь, если бы отдался художественному творчеству. Но он не мог отдаться ему по духовной природе своей и по духовному пути своему. К. Леонтьев не мог создать совершенных произведений ни в какой области. Он творил жизнь свою. И в этом отношении судьба его была характерно русской судьбой, судьбой русского писателя, искавшего самой жизни и спасения, несмотря на многие его западные черты.

IV

Восточный вопрос был в центре размышлений К. Леонтьева. На нем кристаллизовалась вся его философия общества и философия истории. В сложной и запутанной восточной политике он занял совершенно оригинальное положение, резко отделявшее его от традиционных славянофильских точек зрения. На Балканах К. Леонтьев любил греков и турок и не любил славян, особенно болгар. Во всех столкновениях сочувствие его всегда было на стороне греков и даже турок против славян. Его отталкивал демократизм балканских славян. Он видел в южном славянском мире торжество ненавистных ему европейских либерально-эгалитарных начал и предсказывал окончательную и скорую победу в этом мире всеуравнивающего европейского мещанства. Он не видел у южных славян тех крепких начал, которые противились бы этому роковому разрушительному процессу. Аристократическая нелюбовь К. Леонтьева к демократизму славян была в нем какой-то нерусской чертой, отличавшей его от славянофилов. Он предпочитал поляков, ему нравился их аристократизм, их верность католичеству. На Востоке он высоко ценил греков как хранителей византийского православия. У греков сильно было монашество, и они боролись за церковные начала против демократического прогресса. Лишь в верности традициям и преданиям византизма видел он серьезную преграду для мирового процесса разложения и опошления, в который вовлечены и все балканские народы. У славян он не находил верности византийским началам. Турок он любил эстетически за их старый, неевропейский, красочный быт, у него ведь был «пафос туретчи-

ны». Власть турок мешала народам Балканского полуострова окончательно ввергнуться в пучину европейского демократического прогресса. Он считал эту власть благоприятной для охранения древнего православия на Востоке. Он приветствовал турецкие гонения на христиан. «Пока было жить страшно, пока турки часто насиловали, грабили, убивали, казнили, пока в храм Божий нужно было ходить ночью, пока христианин был собака, он был более человек, т. е. идеальнее. В двадцатых и тридцатых годах этого столетия были еще добровольные мученики, были матери, которые говорили сыновьям, как лакедемонские матери: "Лучше пусть убьют тебя турки, нежели видеть мне тебя изменником Христу". В монастыри шли прежде богатые и высокопоставленные люди. Богатые, знатные фанариоты [11], молдавовалашские бояре приносили в дар на церкви и обители огромные имения... Эти политические успехи Церкви послужили косвенно и неожиданно к ослаблению православия сердечного, личного, мистического. Свобода открыла настежь двери мелочным европейским влияниям, мелкому самодовольству». Вот почему не могло быть у К. Леонтьева пафоса освобождения славян. Он дорожил на Востоке не славизмом, а византизмом. Интересы Церкви ставил он на первом плане и им подчинял интересы политические. Европейский демократический прогресс он считал для православия и для славянства более опасным, чем турецкий гнет и турецкие насилия над христианами. И он готов был сохранить подольше власть Турции на Балканах, чтобы не побеждали ненавистные ему освободительно-уравнительные начала. Туретчина предохраняет от мещанства. Либеральное и демократическое славянофильство было ему противно, претило всем его инстинктам, он решительно разошелся с И. Аксаковым в славянской политике на Востоке [12]. И его готовы были признать изменником славянофильским идеалам и традициям русской политики на Востоке. К. Леонтьев был более прозорлив и видел дальше. Многие его предсказания сбылись. Он проникал в глубь действующих в истории мировых начал. Он не находился во власти политических интересов и эмоций сегодняшнего дня. Его интересовали в восточном вопросе судьбы Церкви, судьбы человечества, судьбы России в мире. Но Леонтьев никогда не пробовал применить к русскому православию тех истин, которые он высказывал о православии балканских славян. Можно ведь было бы также сказать, что гонения, когда «в храм Божий нужно будет ходить ночью», способствовали бы возрождению православия в России, а господствующее положение и покровительство вели к упадку православия. Не только туретчина, но и большевизм предохра-

няют христиан от мещанства. В отличие от славянофилов и Данилевского К. Леонтьев отрицал самостоятельность славянства и единство их культуры. Он не верил вообще в самостоятельность племенного, национального принципа и не соглашался признать его верховенство. Должна быть высшая идея, образующая национальность, целиком ее себе подчиняющая. Такой высшей идеей он считал византизм. Но славяне на Востоке как раз очень слабо представляют эту высшую идею, они не являются верными ее рыцарями, они раскрыты для действий иных, низших, либерально-демократических идей. Панславизм К. Леонтьев считал опасным для России, для русской идеи в мире. «Я понял, что все славяне, южные и западные, именно в том, столь дорогом для меня *культурно-оригинальном смысле,* суть для нас, русских, не что иное, как *неизбежное политическое зло,* ибо народы эти до сих пор в лице "интеллигенции" своей ничего, кроме самой пошлой и обыкновенной *современной буржуазии,* миру не дают». Как подозрительно относился К. Н. к идее Восточно-славянского союза [13], как претил ему славянский демократизм, видно из жестоких слов его о чехах, которых он еще более не любил, чем славян балканских: «Было бы большим счастьем, если бы немцы *заставили* бы нас предать чехов на совершенное съедение германизму. Иначе можно опасаться, что они попадут тоже в состав великого Восточно-славянского союза; это было бы великим бедствием. Чехи — это европейские буржуа по преимуществу; буржуа из буржуа; "честные" либералы из "честных" либералов. Их претенциозное и либеральное бюргерство гораздо вреднее своим мирным вмешательством, чем бунт польской шляхты. Это тоже *химическое,* внутреннее отравление. Их гуситизм гораздо опаснее иезуитизма... Если бы нужно было проиграть два сражения немцам, чтобы *обстоятельства* заставили нас с радостью отдать им чехов, то я, с моей стороны, желаю от души, чтобы мы эти два сражения проиграли!». Слова эти будут для многих звучать отталкивающе и почти отвратительно, но они сказаны с обычным для К. Н. радикализмом, искренностью и безграничной смелостью. Он не щадит ни себя, ни других. Он так же хочет насилия немцев над чехами, как и насилия турок над балканскими славянами, чтобы славянство не окончательно обмещанилось. Он хотел не освобождения славян, а порабощения и угнетения славян, так как верил, что под гнетом славяне будут духовно выше и оригинальнее, при свободе же обмещанятся, потеряют своеобразие и либерально-демократические принципы поставят выше Церкви и старых святынь. В имманентные духовные силы славянства К. Н. не верил, не видел в нем ника-

ких преимуществ. Он отдавал предпочтение не только грекам, но и немцам, и туркам. Он — крайний антиславянофил по своим инстинктивным симпатиям и верованиям, более антиславянофил, чем многие наши западники, многие наши либералы и демократы. И Аксаков и славянофилы решительно восстали против парадоксальных мнений К. Леонтьева. Леонтьев не сочувствовал национальному движению среди балканских славян. «С первого взгляда все это движение христиан кажется не столько *демократическим,* сколько *национальным*. Но это лишь одна из *особых форм* общего прогресса демократизации всей Европы, как Западной, так и Восточной». Если турки будут изгнаны из Царьграда и Россия не заменит трудного охранительного давления собственной дисциплиной, то Царьград превратится в центр международной революции, который затмит Париж. Поэтому, по мнению К. Н., Царьград должен быть турецким до тех пор, пока он не сделается русским. Он боится не только разгрома Турции, но и Австрии. «*Бойтесь того, чтобы наше торжество не зашло слишком далеко; чтобы не распалась Австрия и чтобы мы не оказались внезапно и без подготовки лицом к лицу с новыми миллионами эгалитарных и свободолюбивых братьев-славян!*» Эти смелые, радикальные и парадоксальные мысли К. Леонтьева не могли иметь успеха. Он не мог иметь влияния в славянской политике. Влияние всегда имеют средние мысли. «Реакционность» К. Леонтьева была преждевременной, он заглянул слишком вперед. Потом он писал: «Было время, лет десять, пятнадцать тому назад, я еще мечтал своими статьями сделать какую-то “пользу”... я верил тогда еще наивно, что я “*кому следует* открою глаза”... Я постоянно оправдан позднейшими событиями, но не людской догадкой и не современной справедливостью критики. Теперь я разучился воображать себя очень нужным и полезным; я имею достаточно оснований, чтобы считать свою литературную должность если не совсем уже бесполезной, то, во всяком случае, *преждевременной*».

В греко-болгарской церковной распре К. Леонтьев решительно стал на сторону греков, в то время как на стороне болгар было русское общественное мнение, и славянофилы, и Катков, и наш посол гр. Игнатьев [14]. Сущность этой распри заключается в том, что болгары, зависящие в церковном отношении от греческого патриарха в Константинополе, захотели самостоятельности и отделились от патриарха. Поместный собор в Константинополе в 72 г. объявил их «схизматиками». «Славянская» политика на Востоке требовала сочувствия болгарам. В этом видели борьбу за национальную независимость. Леонтьев же видел в этом

ущерб для Православной Церкви на Востоке, подрыв авторитета патриархов, победу «демократических» начал над «византийскими» началами. К. Н. всегда ставил интересы религиозно-церковные выше интересов национальных и государственных. Православная Церковь на Востоке была ему дороже славянства. Отношение русского общественного мнения к болгарам он называл болгаробесием. И с политической точки зрения он лучше других видел, что болгары не будут друзьями России. Но главное не в этом. Он не мог примириться с демократизацией Церкви, к которой вели национальные притязания болгар. Он был сторонником строго иерархического строя Церкви и скорее склонен был сочувствовать папизму, чем демократизму в Церкви. По его мнению, «и Катков, и Аксаков так и скончались в заблуждении по греко-болгарскому вопросу». «Разница только та, что у Аксакова заблуждение было, вероятно, более искреннее и вместе с тем более близорукое, опять-таки либерально-славянское по существу его *собственной веры;* а у Михаила Никифоровича — едва ли! Он имел тут, по всем приметам, другие виды, гораздо более дальнозоркие и вместе с тем более для Церкви вредные. Ему, видимо, хотелось вообще заблаговременно сокрушить силы всех восточных Церквей, чтобы в случае скорого разрешения восточного вопроса русскому чиновнику не было бы уже там ни в чем живых и твердых препон... Дух Феофана Прокоповича и подобных ему!» Такой патриотической политики, которая обращает Церковь в свое орудие, К. Н. не выносил. Церковь для него выше патриотизма. В этом мотиве он близок к Вл. Соловьеву. В греко-болгарском вопросе у К. Н. возникло разногласие с Игнатьевым, которое сделало затруднительной его дальнейшую дипломатическую службу на Востоке. К этому присоединились и причины чисто личного характера. Он должен был выйти в отставку. Приспособляться К. Н. не умел. Он отличался прямотой характера. В это время уже кончался период упоенности жизнью Востока; он пережил духовный кризис, изменивший все направление его жизни.

V

Никогда нельзя до конца понять, почему произошел с человеком духовный переворот, после которого он переходит внутренне в иное измерение. Остается какая-то тайна неповторимо индивидуального существования, для которой и переживший ее не всегда находит подходящие слова. Можно установить несколько типов религиозных обращений и описать действующие в них

мотивы. Но это всегда будут абстракции, не покрывающие сложной индивидуальной действительности. Наши догадки подводят к тайне пережитого переворота, но не проникают в последнюю ее глубину. Причины глубокого духовного потрясения, пережитого К. Н. в 1871 г., после которого начинается новая эра его жизни, не до конца ясны, и сам он говорит об этом лишь намеками. Для нас ясно, почему такой человек, как Леонтьев, должен был пережить глубокий религиозный переворот, и какого он типа, и что случилось именно в 71 г. Но что непосредственно предшествовало самому важному событию его жизни, недостаточно известно фактически и недостаточно понятно психологически. Признаки назревающего душевного переворота начинаются уже в 1869 г. Он пишет Губастову: «А главное — тоска такая на сердце, которую я еще в жизни не испытывал... Главною виною моя внутренняя жизнь». Началось разочарование, утомление, сомнение. Прошло упоение жизнью. Земная радость, земное счастье в красоте — недостижимы. Всякий грех несет за собой неотвратимую кару. Душевная почва была уже разрыхлена у К. Н. В июле 1871 г. он заболел сильным желудочным расстройством, которое принял за холеру. Доктор ему мало помогает, и он решает, что положение его безнадежно. Его охватывает ужас смерти и гибели. Очень характерно то, что говорит Губастов об этом моменте со слов самого К. Н.: «Болезнь возмутила его более всего с эстетической стороны. Он мне часто говорил потом о его ужасе умереть при такой прозаической обстановке». К. Н. заперся в темную комнату, чтобы не знать, когда день и когда ночь. И вот в одну из самых страшных минут с ним произошло чудо религиозного перерождения, описанное им в письме к Розанову. Есть какая-то недосказанность в его описании и объяснении происшедшего события, но это единственный источник о происшедшем с ним перевороте. «Причин было *много разом,* и *сердечных,* и *умственных,* и, наконец, тех *внешних* и, *по-видимому,* (только) *случайных,* в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежит, с одной стороны, уже тогда, в 1870—71 году, *давняя* (с 1861—62 г.) философская ненависть к формам и *духу новейшей европейской жизни;* а с другой — *эстетическая и детская* какая-то приверженность к *внешним формам* православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сильнейших и глубочайших потрясений (слыхали вы французскую поговорку: «cherchez la femme!», т. е. во всяком серьезном деле жизни «ищите женщину») и, наконец, внешнюю *случайность опаснейшей и*

неожиданной болезни и ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы и не написаны еще: и *гипотеза триединого процесса,* и "Одиссей Полихрониадес", и, наконец, не были еще высказаны о "юго-славянах" все те *обличения* в европеизме и безверии, которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей. Одним словом, *все главное мною сделано после 1872—73 гг.*, т. е. после поездки на Афон и после *страстного* обращения к *личному* православию... *Личная вера почему-то вдруг* докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в лето 1871 года, когда в Салониках, лежа на диване в страхе *неожиданной* смерти (от сильнейшего приступа *холеры*), я смотрел на образ Божьей Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я *ничего этого* предвидеть еще не мог и все литературные планы мои еще были даже очень смутны. Я думал в ту минуту не *о спасении души* (ибо вера в Личного *Бога* давно далась мне гораздо легче, чем вера в *мое собственное бессмертие*), я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти, и, *будучи уже заранее подготовлен* целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я *вдруг,* в одну *минуту, поверил* в существование и могущество этой *Божией Матери;* поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою *живую, знакомую,* действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: "Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел *в высшей степени* развратную, *утонченно* грешную жизнь! Подними меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в *простого и настоящего* православного, верующего *в среду и пятницу* и в чудеса, и даже постригусь в монахи"».

К. Н. был необыкновенно искренний, открытый, правдивый человек; это чувствуется в каждой его строчке. Описание величайшего переворота его жизни поражает своей простотой, отсутствием рисовки и прикрас. Закостенелый рационалист не найдет ничего особенного в происшедшем с К. Н. Человек испугался смерти и от страха прибег к помощи высших сил. Случаи такие бывали нередко. Переубедить такого рационалиста нелегко. Внешние факты сами по себе, в голой своей эмпиричности, ничего не доказывают. Но тот, кто привык видеть через внешнюю символику фактов духовную действительность, будет поражен проявлением в жизни К. Леонтьева действия Божьего Промысла. В происшедшем с ним религиозном перевороте, как и во

всяком религиозном перевороте, основной действующей причиной является ниспосланная ему Божья благодать. Душевная почва была готова, и Божья благодать совершила дело перерождения души. Характер духовного переворота предопределил религиозный тип К. Леонтьева. В его религиозном обращении действовала благодатная сила Божия, но сам он принадлежит к безблагодатному религиозному типу. Ужас гибели временной и вечной лег в основу его веры. Эстетическое отвращение к современной буржуазной цивилизации и буржуазному прогрессу укрепило в нем любовь к византийскому православию и к монашеству. Тип религиозности К. Н. был в своем зарождении и основном направлении дуалистическим. Для силы его религиозных переживаний необходимы полярные противоположности и контрасты. Отрицательное отталкивание усиливает его веру. Положительные благостные переживания в нем сравнительно слабы. Он принял христианство прежде всего как религию страха, а потом уже любви. В очень интересном письме к одному студенту, напечатанном в «Богословском вестнике», К. Н. так характеризует свой духовный перелом: «Мне недоставало тогда *сильного* горя; не было и тени *смирения,* я верил *в себя.* Я был тогда гораздо счастливее, чем в юности, и потому я был крайне самодоволен. С 69 года *внезапно* начался перелом; удар следовал за ударом. Я впервые *ясно* почувствовал над собою какую-то высшую десницу и захотел этой деснице подчиниться и в ней найти опору от *жесточайшей* внутренней бури; я искал только *формы* общения с Богом. *Естественнее* всего было подчиниться в *православной форме.* Я поехал на Афон, чтобы *попытаться* стать *настоящим* православным; чтобы меня строгие монахи *научили* веровать. Я согласен был им *подчиниться* умом и волей. Между тем *удары извне* сами по себе продолжались все более и более сильные; *почва* душевная была готова, и пришла наконец неожиданная минута, когда я, до тех пор вообще смелый, почувствовал незнакомый мне дотоле *ужас,* а не просто страх. Этот ужас был в одно и то же время и духовный и телесный; одновременно *и ужас греха и ужас смерти.* А до этой минуты я ни того, ни другого сильно не чувствовал. *Черта заветная была пройдена.* Я стал бояться *Бога и Церкви.* С течением времени *физический* страх опять *прошел,* духовный же остался и *все вырастал*». Религиозный ужас остался у К. Н. навсегда. Отныне жизнь его становится под знак искания спасения. Он дает обет поступить в монахи, если Матерь Божия спасет его жизнь. Молитва его была услышана, и он выздоровел. После этого через всю его жизнь проходит стремление уйти из мира в монастырь. Человек Возрожде-

ния, язычник до самой глубины своего существа, раскрывает в себе противоположный полюс. И жизнь его двоится. Он еще долгое время остается в миру, но тоска по монашеству не дает ему покоя.

По выздоровлении К. Н. немедленно через горы, верхом, отправляется на Афон к старцам. В первый раз он остался там недолго и возвратился в Салоники для того, чтобы найти там какой-то важный документ. Он нашел документ в чемодане. В том же чемодане находились и рукописи его романа «Река времен», над которым он долго работал и с которым много связывал. К. Н. берет все рукописи и неожиданно бросает в пылающий камин, где они сгорают. Действует он, по-видимому, в полусознательном состоянии. Он приносит первую жертву Богу, он жертвует тем, что дороже всего творцу. Пережитая К. Н. драма напоминает драму Гоголя, но последствия ее иные. Быть может, именно потому, что К. Н. начал новую жизнь после религиозного переворота с жертвы своим творчеством, творчество его не пресекается и не умаляется, а усиливается и расцветает. «Знаете ли Вы, — пишет он впоследствии А. Александрову, — что я две самые лучшие свои вещи, роман и не-роман («Одиссея» и «Византизм и славянство»), написал *после 1 1/2 года общения с афонскими монахами,* чтения аскетических писателей и *жесточайшей* плотской и духовной борьбы с самим собою?» И оптинские старцы благословляют его на писание, не требуют от него отказа от творчества. Сожжением «Реки времен» он уже что-то преодолевает в себе. В это время в Салониках он производит на других настолько странное впечатление, что в городе решили, что русский консул помешался. Он бросает консульство на произвол судьбы, извещает посла, что не может управлять им по болезни, и вновь едет на Афон. На этот раз он остается на Афоне около года. В то время на Афоне были замечательные старцы о. Иероним и о. Макарий [15], которые и делаются духовными руководителями К. Н. Для исполнения клятвенного обещания, данного Божьей Матери, К. Н. просит своих наставников постричь его в монахи. Но мудрые старцы отклоняют его просьбу. Они прозорливо видели, что К. Н. не готов еще для монашества, что характер у него слишком страстный и порывистый, что в миру не все еще предназначенное ему им изжито, что подвиг монашества был бы для него слишком труден. К. Н. возвращается в мир, но сохраняет в глубине души своей решение раньше или позже уйти в монастырь. Отныне миру он принадлежит лишь наполовину. Внешний вид его меняется. Он уже не имеет вида человека, ищущего наслаждения и упоенного земной жизнью.

По внешнему виду своему он производит впечатление осунувшееся, понуренное, сосредоточенное. Он снимает ненавистный ему сюртук и надевает что-то среднее между поддевкой и подрясником, кафтан, в котором остается до конца жизни, снимая его лишь в крайних случаях.

К. Н. выходит в отставку с пенсией и поселяется на продолжительное время в Константинополе. Вращается он главным образом в посольских кругах. На него смотрят как на мечтателя и неосновательного человека, но интересуются им и дружат с ним. Жизнь в Константинополе он считает счастливым временем своей жизни. Душевная буря после пребывания на Афоне улеглась. Он ведет светскую и разнообразную жизнь, внешне мало отличающуюся от прежней. Но внутренне он уже другой человек. Он остался эстетом и натуралистом, но религиозный мотив — искание спасения — делается господствующим. К. Н. окончательно становится православным, но окончательно христианином он не сделается никогда. Этот период константинопольской жизни был самым плодотворным в литературном отношении. В это время он написал самую значительную свою вещь «Византизм и славянство». У него выработалось цельное мировоззрение и явилась потребность изложить его. Свою философию истории и общества он приурочивает к вопросам славянской политики на Востоке. Таков его боевой темперамент. В это же время он написал «Одиссея Полихрониадеса», напечатанного в «Русском вестнике». А «Византизм и славянство» Катков отказался печатать в «Русском вестнике» [16]. Весной 1874 г. К. Н. окончательно и уже навсегда покидает Константинополь и Восток и возвращается сначала в Москву, а потом в Кудиново. Начинается новый, трудный и страдальческий период его жизни.

ГЛАВА III

«Византизм и славянство». Натуралистический характер мышления. Либерально-эгалитарный процесс. Аристократическая мораль. Эстетическое учение о жизни

I

У К. Н. Леонтьева не было сложных познавательных интересов и широкого познавательного кругозора. Идеи его — остры и радикальны, но не отличаются большим разнообразием и богатством. Он искал сложной и разнообразной жизни, а не сложного и разнообразного познания. Он не принадлежит к гностическо-

му духовному типу [17]. Это был человек необыкновенно сильного и острого ума, один из умнейших русских людей. Но ум его был по преимуществу эмпирический, а не метафизический. Он совсем не силен в диалектике и не может мыслить отвлеченно. Он сам признает, что для него непривычны «натуги непрерывной метафизико-диалектической нити» и что он заботится о «методе действительной жизни». Никакой философской школы у него не чувствуется, а всегда чувствуется школа натуралиста и дарование художника. «Сознаюсь, что когда я пишу, то больше думаю о живой психологии человечества, чем о логике; больше забочусь о наглядном изложении, чем о последовательности и строгой связи мыслей. Меня самого при чтении чужих произведений очень скоро утомляет строгая последовательность отвлеченной мысли; глубокие отвлечения мне тогда только понятны, когда при чтении у меня в душе сами собой являются *примеры,* живые образы, какие-нибудь иллюстрации, хотя бы смутно, туманно, мимолетно, но все-таки живописующие эту чужую логику, насильно мне навязанную; или же пробуждаются, вспоминаются какие-нибудь собственные *чувства,* соответствующие этим чужим отвлечениям. Самые же эти так называемые "начала" мне мало доступны... Когда мне говорят: *начало любви,* я понимаю эти слова очень смутно, до тех пор пока я не вспоминаю о разных живых проявлениях чувства любви... Вот как я слаб в метафизике». Он предпочитает богословие метафизике, потому что его можно прикрепить к Евангелию, к соборам, к папской непогрешимости и т. п. более зримым и осязаемым вещам. «Я не признаю себя сильным в метафизике, — пишет он А. А. Александрову, — и всегда боюсь, что я что-нибудь слишком реально и по-человечески, а не по-философски понял. Я *чувствую* психологию более конкретную, но когда начинается психология более *метафизическая,* у меня начинает "животы подводить" от страха, что я не пойму». В метафизике, в области отвлеченной мысли, он всегда пасовал перед Вл. Соловьевым и признавал его превосходство. Он не платоник, не созерцатель общих идей. Он остался натуралистом и в религиозный период своей жизни. Но его натуралистические исследования и построения были усложнены его эстетическими оценками и религиозными критериями. Натуралистические, эстетические и религиозные мотивы действуют в нем свободно и самостоятельно, не насилуя друг друга, но в конце концов ведут к высшей истине, в которой совпадают все критерии и оценки. К. Леонтьев был необычайно свободный ум, один из самых свободных русских умов, ничем не связанный, совершенно независимый. В нем было истинное сво-

бодомыслие, которое так трудно встретить в русской интеллигентской мысли. Этот «реакционер» был в тысячу раз свободнее всех русских «прогрессистов» и «революционеров». У него нужно искать свободомыслия, родственного свободомыслию Ницше. К. Н. говорит, что «свобода лица привела личность только к большей безответственности и ничтожеству». Он делает резкое различие между «юридической свободой лица и живым развитием личности, которое возможно даже и при рабстве». Он глубоко понял, что «индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций». «Свернувши круто, — пишет К. Н. со свойственным ему радикализмом и остротой, — с пути эмансипации общества и лиц, мы *вступили на путь эмансипации мысли*». И поистине все русское «эмансипационное» движение, освобождающее общество и лицо, не только не привело к эмансипации мысли, но окончательно поработило мысль. К. Леонтьев «эмансипировал» мысль — в этом одна из великих его заслуг. В нем было «живое развитие личности», «индивидуальность», а не индивидуализм, не отвлеченная «свобода лица».

В своих социологических исследованиях К. Леонтьев хотел быть холодным, безучастным к человеческим страданиям, объективным. В этом он был прямой противоположностью русской «субъективной школе в социологии» [18]. Как социолог он решительно не хочет быть моралистом и проповедовать любовь к человечеству. Он относится к социологии, как к зоологии, к которой, кстати сказать, имел вкус и склонность. «Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает. Гуманно может быть *сердце* того или другого правителя; но нация и государство — не человеческий организм. Правда, и они организмы, но другого порядка; они суть *идеи,* воплощенные в известный общественный строй. У *идей* нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно или смутно сознанные законы природы и истории». «Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. Все болит у древа жизни людской... *Боль для социальной жизни — это самый последний из признаков, самый неуловимый;* ибо он субъективен». Вот с какой умственной настроенностью подходит К. Леонтьев к исследованию общественного процесса. И этот пафос жестокого и беспощадного натуралиста, объективного физиолога и патолога человеческого общества находит себе санкцию в его эстетических оценках и в его религиозной вере. Он с религиозным пафосом и с эстетическим любованием утверждает действие железной природной необходимости в человеческом обществе, объективно-природные основы обще-

ства, не допускающие субъективного человеческого произвола. *В законах природы, действующих в истории, он видит Бога и красоту.* Он открывает божественное начало не в человеческой свободе, а в природной необходимости. В этом родствен он Ж. де Местру и французской контрреволюционной католической школе[19], хотя, по-видимому, он не был с ней знаком. Натурализм К. Леонтьева приводил к тому, что он не понимал категории свободы, не понимал творческого значения духа в жизни общества.

К. Н. был, в сущности, добрый, мягкий человек, с любовью и вниманием относившийся к людям. Это видно из его писем, из воспоминаний о нем, из всей истории его жизни. Уж, наверное, в нем было больше доброты и любви к людям, чем у Н. Михайловского, проповедовавшего гуманную и сердечную «субъективную социологию». Добрым и нежным человеком был ведь и Ж. де Местр. Опубликование его переписки всех изумило[20]. Не могли понять, как это тот, кто проповедовал апофеоз палача и искупление кровью невинных жертв, оказался таким прекрасным человеком. Жестокие идеи К. Леонтьева тоже внушали самое превратное о нем мнение. Он пишет о себе А. Александрову: «Я хоть и никогда не проповедую “чистую мораль” и терпеть не могу, когда пишут о “любви” к человечеству, но сам не совсем уже, как Вам, я думаю, известно, лишен нравственных и добрых чувств». В воспоминаниях своих он говорит о той «любви к людям, о которой я никогда не проповедовал пером, предоставляя это другим, но искренним и горячим движениям которой я, конечно, никогда не был чужд. Близкие мои знают это». И это подтверждают все знавшие его. К. Н. любил конкретных живых людей, встречавшихся ему на жизненном пути, он не любил отвлеченного человечества и отвлеченного человека, отвлеченного человеческого блага и человеческой пользы. Беспощадная натуралистическая социология не мешала этой любви к живым людям, она не допускала лишь любви к отвлеченному человечеству, к утопиям земного всеблаженства. Эстетика К. Н. относилась с отвращением к отвлеченному человечеству и к земному всеблаженству, но нисколько не противоречила любви к живым людям. Это очень важно выяснить о личности К. Леонтьева. И христианство его находило себе сердечный исход в любви к живым людям, а не <к> отвлеченному человечеству и отвлеченному человеческому благу. В обществе он видел организм иного порядка, чем организм человеческий, и к нему относился иначе, чем к живой человеческой душе. И в этом он возвышался над обычным русским отношением к проблеме общества, отношени-

ем сентиментальным, отрицающим органическую реальность общества и применяющим к нему исключительно субъективно-моральные категории. Благодаря такому подходу К. Леонтьеву удалось сделать некоторые социологические открытия, которые ждут еще своей оценки и которые подтверждаются жизненным общественным процессом. «Будем строги в политике; будем, пожалуй, жестоки и беспощадны в “государственных” действиях; но в “личных” суждениях наших не будем исключительны. Суровость политических действий есть могущество и сила национальной воли; узкая строгость личных суждений есть слабость ума и бедность жизненной фантазии». Вот почему К. Н. был добрым и мягким человеком и жестоким и суровым социологом. У нас же слишком часто бывает наоборот. Тип К. Н. не только эстетически, но и этически выше. Так и Ж. де Местр был выше, чем Ж. Ж. Руссо. Но всей тревожности и сложности вопроса об осуществлении христианской правды в жизни общества Леонтьев никогда не понимал из-за своего натурализма и прирожденного своего язычества.

На социологическое учение К. Леонтьева имел влияние Н. Данилевский своей книгой «Россия и Европа», хотя он и стоял многими головами ниже. Н. Данилевский тоже был натуралистом по складу ума и образованию. И он натуралистически обосновывал некоторые славянофильские идеи. Но уже Данилевский упрекал славянофилов в «увлечении общечеловеческим» и в том, что учение их «было не чуждо оттенка гуманитарности». Он уже учил натуралистически о периодах цветения и упадка, дряхления цивилизаций и в Европе, в романо-германском культурно-историческом типе, видел начало отцветания и одряхления. Данилевский развил теорию культурно-исторических типов и пытался установить самобытный славянский культурно-исторический тип, который должен идти на смену типу романо-германскому. Эта теория, довольно произвольная и в чистом виде совершенно неприемлемая, оплодотворила мысль К. Леонтьева и дала в нем оригинальные плоды. По складу мышления и подходу к вопросам Данилевский был ему ближе старых славянофилов, которые никакого непосредственного влияния на него не оказывали. И у Данилевского, и у Леонтьева было иное отношение к прошлому Европы, не такое отрицательное, как у старых славянофилов. Данилевский дает Леонтьеву научный аппарат, которым он пользуется для совершенно своеобразного построения, родившегося из совершенно других внутренних мотивов и интересов. Со свойственным К. Н. благородным бескорыстием, отсутствием завистливого и самолюбивого соревнования он оце-

нивает Данилевского и его влияние на себя выше, чем тот этого заслуживает, хотя нельзя отрицать того, что Данилевский был умный и своеобразный мыслитель. Но мышление самого К. Н. было жизненно-конкретным. Вот что говорит он о том, как написана лучшая его вещь, «Византизм и славянство», в которую он вложил всю свою общественную философию: «Без ученой подготовки, без достаточных книжных источников под рукой, подчиняясь только внезапно охватившему мою душу огню, я написал эту вещь "Византизм и славянство". Сила моего вдохновения в то время (в 73 году) была до того велика, что я сам теперь дивлюсь моей тогдашней смелости». Толчок для написания «Византизма и славянства» дала восточная политика. К. Н. не мог писать без непосредственных жизненных импульсов. Но внутренних побуждений, определявших всю его философию истории, нужно искать глубже. Это — побуждения прежде всего эстетические, в конце концов вызвавшие творческую работу мысли и давшие плод познавательный. Над философией истории, над судьбой обществ, государств и культур, над движущими пружинами общественного процесса К. Н. глубоко задумался прежде всего потому, что его эстетически ранила и ужаснула одна мысль, на которую натолкнула его картина современной Европы: «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах *для того только, чтобы французский или немецкий, или русский буржуа в безобразной, комической своей одежде* благодушествовал бы "индивидуально" и "коллективно" на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!».

Перед К. Леонтьевым стал образ *мещанства* как последний результат либерально-эгалитарного процесса, которым захвачена Европа. И он ужаснулся, содрогнулся от отвращения. Опасность европейского мещанства почувствовал уже Герцен, которого К. Н. очень любил и который имел на него некоторое влияние. Но К. Леонтьев острее почувствовал проблему мещанства и глубже поставил ее. И на Западе боролись против надвигающегося мещанства и буржуазности Карлейль [21], Ницще, Ибсен, Л. Блуа [22]. Но один лишь Л. Блуа, подобно К. Леонтьеву, углубил эту проблему до религиозных ее первооснов. К. Н. по-

чувствовал сначала эстетическую, а потом и религиозную ненависть к «прогрессу», который ведет к царству мещанства, он возненавидел свободу и равенство как главные, по его мнению, орудия мещанского царства. У К. Н. было иное отношение к Европе, чем у славянофилов. Он почти влюблен в великое прошлое Европы. Он любил в Европе «то, что в преданиях ее прекрасно: рыцарство, тонкость, романтизм», любил поэзию пап и противополагал ее прозе западных рабочих. «В жизни европейской было больше разнообразия, больше лиризма, больше сознательности, больше разума и больше страсти, чем в жизни других, прежде погибших исторических миров. Количество первоклассных архитектурных памятников, знаменитых людей, священников, монахов, воинов, правителей, художников, поэтов было больше, войны громаднее, философия глубже, богаче, религия беспримерно пламеннее (напр<имер>, эллино-римской), аристократия резче римской, монархия в отдельных государствах определеннее римской; вообще самые принципы, которые легли в основание европейской государственности, были гораздо многосложнее древних». И К. Н. не может простить Европе, что она отреклась от своего благородного прошлого. Это — совсем не славянофильская настроенность. Он не был врагом тех принципов, которые были положены в основу европейской культуры, — католичества, феодализма, рыцарства. Он был врагом измены этим принципам, самими же принципами эстетически восторгался. Мещанство победило католичество, аристократию, поэзию старой Европы. «Со времени объявления “прав человека”, ровно 100 лет назад, началось пластическое искажение образа человеческого на демократизируемой (т. е. опошляемой) земле». Умерла «поэзия жизни», и осталась лишь «поэзия отражений». «Поэзия жизни» была в средние века и в эпоху Возрождения. Эти эпохи только и любил К. Н. Идеал европейской демократии он называет «неслыханно прозаическим» и восхваляет Герцена за то, что тот понял это. Что вышло бы от торжества революционного социального идеала во Франции? «Обновилась ли бы народная физиономия француза? Ничуть — она стерлась бы еще более. Вместо нескольких сотен тысяч богатых буржуа мы бы получили миллионов сорок мелких буржуа. По роду занятий, по имени, по положению общественному они были бы не буржуа; по уму, по нравам, по всему тому, что, помимо политического положения, составляет сумму качеств живого лица и зовется его духовной физиономией или характером, — они были бы буржуа». К. Н. один из первых открыл духовную буржуазность социализма. «Глупо так слепо верить, как нынче большинство

людей, по-европейски воспитанных, в нечто невозможное, в конечное царство правды и блага на земле, в мещанский и рабочий, серый и безличный земной рай... Глупо и стыдно, даже людям, уважающим *реализм,* верить в такую *нереальную* вещь, как счастье человечества, даже и приблизительное... Смешно служить такому идеалу, несообразному ни с опытом истории, ни даже со всеми законами и примерами естествознания. Органическая природа живет разнообразием, антагонизмом и борьбой; она в этом антагонизме обретает единство и гармонию, а не *в плоском унисоне*. Если история есть лишь самое высшее проявление органической жизни на земле, то и тогда разумный реалист не должен быть ни демократом, ни прогрессистом в нынешнем смысле. Нелепо, оставаясь реалистом в геологии, физике, ботанике, внезапно перерождаться *на пороге социологии* в утилитарного мечтателя. Смешно, отвергая всякую положительную, ограничивающую нас, *мистическую ортодоксию,* считая всякую подобную веру уделом наивности или отсталости, поклоняться *ортодоксии прогресса,* кумиру поступательного движения». Нелепая и мелкая мечта о земном благоденствии противоречит всему — и эстетическим идеалам, и религиозным верованиям, и нравственным понятиям, и науке. Человеку нужен опыт, и он на опыте убедится, что «прогресс равномерного счастья» невозможен и что он лишь готовит почву для нового неравенства и новых страданий. «Я вправе презирать такое бледное и недостойное человечество, без пороков правда, но и без добродетелей, и не хочу ни шагу сделать для подобного прогресса!.. И даже больше! если у меня нет власти, я буду страстно мечтать о поругании идеала всеобщего равенства и всеобщего безумного движения; я буду разрушать такой порядок, если власть имею, ибо я слишком люблю человечество, чтобы желать ему такую спокойную, быть может, но пошлую и унизительную будущность!» «Прогрессивные идеи грубы, просты и всякому доступны. Идеи эти казались умными и глубокими, пока были достоянием немногих избранных умов. Люди высокого ума облагораживали их своими блестящими дарованиями; сами же идеи по сущности своей не только ошибочны, они, говорю я, грубы и противны. *Благоденствие земное* — вздор и *невозможность;* царство *равномерной и всеобщей человеческой правды* на земле — вздор и даже обидная *неправда, обида лучшим. Божественная истина Евангелия земной правды не обещала, свободы юридической не проповедовала,* а только нравственную, духовную свободу, доступную и в цепях. *Мученики за веру были при турках; при бельгийской конституции едва ли будут и преподобные*». Стиль

К. Н. достигает высокого патетизма. Никто еще не изобличал так гениально остро низости и уродства идеи земного равного благополучия человечества. Он — самый крайний враг эвдемонизма. «О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории! С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь. Рождается самодовольная карикатура на прежних людей; *средний рациональный европеец,* в своей смешной одежде, *неизобразимой* даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным; со своей ползучей по праху земному, практической благонамеренностью! Нет, никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идолом однородного, *серого рабочего, только рабочего и безбожно-бесстрастного* всечеловечества! Возможно ли любить такое человечество?..» «Не следует ли ненавидеть не самих людей, заблудших и глупых, — а такое *будущее* их, всеми силами даже и христианской души?» Ясно, что К. Н. эстетически любит *органические* периоды человеческой истории, *органическое* строение общества и не любит *критических* периодов, *критическое* строение общества. Общество было для него организмом, и выход его из органического состояния означал разложение и смерть. Проблема социологии и философии истории была для него не только биологическая проблема, но прежде всего эстетическая. Он задумывался над вопросами социологии и философии истории под влиянием эстетических впечатлений. И в сознании его произошло сближение и совпадение эстетических и натуралистических восприятий и критериев. Это отождествление эстетической и биологической оценки может быть охарактеризовано как элемент натуралистического оптимизма в его миросозерцании. Но, в противоречии со своими прозрениями неизбежности социальной революции, К. Леонтьев как будто бы считает невозможным и противоречащим греховной природе человека осуществление социализма и социальных утопий. В действительности же социальный идеал самого Леонтьева есть большая утопия, чем социализм.

II

Что представляют из себя с точки зрения социальной науки, бесстрастной натуралистической науки, те результаты европей-

ского прогресса, которые вызвали в К. Леонтьеве эстетическое отвращение и ужас? Что такое демократическое уравнение и смешение, надвигающееся царство мещанства как органический общественный процесс? У К. Н. есть и другой язык, которым он говорит об общественных явлениях, не только язык художника и эстетика, страстного публициста и политика — язык натуралиста-социолога. Сам он, по-видимому, придавал большое значение своей натуралистическо-социологической теории, ждал серьезной критики, но так и не дождался. Он не был ученым, не был специалистом, не обладал большой начитанностью, и люди академического склада назовут его дилетантом. Но самые глубокие интуиции в общественной философии принадлежат не ученым академического склада, а свободным мыслителям. Один Ж. де Местр или один Чаадаев сто́ит многих профессоров-специалистов. Необходимо прислушаться внимательнее, как К. Леонтьев говорит языком холодной, бесстрастной, суровой науки. «Что касается до социальной науки, то раз она принуждена была допустить, что всякое общество и государство, всякая нация и всякая культура — суть своего рода организмы, — а во всяком организме развитие выражается *дифференцированием* (органическим разделением) *в единстве,* то она должна допустить и обратное, т. е. что близость разложения выражается *смешением* того, *что прежде было дифференцировано,* а потом, при большой *однородности* положений, прав и потребностей, *ослаблением единства,* царившего прежде в богатой разновидности составных частей. Распадение же на части, как результат ослабления единства, есть конец всему». Подобно Спенсеру К. Леонтьев хочет найти *формулу* органического *развития* общества. Спенсера он не знал, когда писал «Византизм и славянство», но впоследствии прочел и признал, что у них общая исходная точка зрения. Понятие развития у Леонтьева чисто натуралистическое, оно взято из естественных наук и в нем нет нравственной оценки. Но он хочет найти не только формулу органического развития общества, но и формулу наибольшего органического совершенства общества, формулу его высшего цветения. «*Идея развития* соответствует в тех реальных, точных науках, из которых она перенесена в историческую область, *некоему сложному процессу* и, заметим, *нередко вовсе противоположному с процессом распространения, развития,* процессу как бы враждебному этому последнему процессу». Процесс развития в органической жизни значит вот что: «*Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему,* постепенная индивидуализация, *обособление, с одной стороны,*

от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от *простоты к оригинальности и сложности*. Постепенное осложнение элементов составных, *увеличение богатства внутреннего* и в то же время *постепенное укрепление единства*. Так что *высшая точка развития* не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях *есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством*». Единство в разнообразии, цветущая сложность — вот вершина органического развития. Но всякий живой организм не только развивается, но и разлагается, идет к смерти. Что такое разложение? Какова формула разложения? «Что бы развитое мы ни взяли, болезни ли (органический сложный и единый процесс) или живое, цветущее тело (сложный и единый организм), мы увидим одно, что разложению и *смерти второго* (организма) и *уничтожению первого* (процесса) предшествуют явления: упрощение составных частей, *уменьшение числа признаков, ослабление единства,* силы и вместе с тем *смешение*. Все постепенно *понижается, мешается, сливается,* а потом уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее, не собой уже и не для себя существующее. Перед окончательной гибелью индивидуализация как частей, так и целого слабеет. Гибнущее становится и однообразнее внутренне, и ближе к окружающему миру, и сходнее с родственными, близкими ему явлениями (т. е. *свободнее*)». Для К. Н. в обществе происходит совершенно тот же процесс, что и в организме. Разложение, упрощение и смешение есть болезнь, ведущая к смерти. Период смесительного упрощения есть период дряхлости общества. Равенство всегда есть дряхлость. К. Н. устанавливает три периода органического общественного процесса: «Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, *сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне,* а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую “нирвану”». «Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) *первичной простоты,* 2) *цветущей сложности* и 3) *вторичного смесительного упрощения*».

Эту свою формулу К. Н. применяет к новой истории. Теперь понятно, что означает мещанство современной Европы, отталкивающие результаты либерально-эгалитарного прогресса. Правда эстетического восприятия и эстетической оценки получила биологическое и социологическое обоснование. Европа вступила в

третий период, в период «вторичного смесительного упрощения», в европейских обществах начинается одряхление и смерть *.

Развитие кончилось, и началось разложение. То, что называют «прогрессом» современные либералы, демократы и социалисты, и есть разложение, умирание. Европа переживала период «сложного цветения» в эпоху Возрождения. «Новое сближение с Византией и, через ее посредство, с античным миром привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением, но которую лучше бы звать эпохой *сложного цветения* Запада; ибо такая эпоха, подобная Возрождению, была у всех государств и во всех культурах, эпоха *многообразного и глубокого развития, объединенного в высшем духовном и государственном единстве всего или частей*». Эпоха «сложного цветения» предполагает сложное, дифференцированное, разнородное и разнообразное строение общества, неравенство сословий и классов, существование аристократии, сильной государственности, великий людей, возвышающихся над массой, гениев и святых. Страсть к равенству и к смешению влечет общества и культуры к смерти. Демократические движения означают распадение общественного организма, наступление старости, умирание. К. Н. открывает что-то вроде закона энтропии в социальной жизни. «Вся Европа с XVIII столетия *уравнивается* постепенно, *смешивается вторично*. Она *была проста и смешана* до IX века; она хочет быть опять *смешана* в XIX веке. Она прожила 1000 лет! *Она не хочет более морфологии!* Она стремится посредством этого смешения к идеалу *однообразной простоты* и, не дойдя до него еще далеко, должна будет пасть и уступить место другим!» Что такое форма? «*Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться.* Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет... Кристаллизация есть деспотизм внутренней идеи». Деспотизм внутренней идеи в современном обществе исчезает, оно теряет форму и декристаллизуется. «Между эгалитарно-либеральным поступательным движением и идеей развития нет ничего логически родственного, даже более: *эгалитарно-либеральный процесс есть антитеза процессу развития*. При последнем внутренняя идея держит крепко общественный материал в своих организующих, деспотических объятиях и ограничивает его разбегающиеся, расторгающие стремления. Прогресс же, борющийся против всякого деспотизма — сословий, монастырей, даже бо-

* К. Леонтьев уже более 50 лет назад открыл то, что теперь на Западе по-своему открывает Шпенглер [23] (*Примеч. Н. А. Бердяева*).

гатства и т. п., есть *не что иное, как процесс разложения,* процесс вторичного *упрощения целого и смешение составных частей*... Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда; они сходны с явлениями, напр<имер>, холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно почти схожие (равенство) остовы и наконец в свободные: азот, водород, кислород и т. п.» «Европа вторично *смешалась в общем виде своем,* составные части ее стали против прежнего *гораздо сходнее, однообразнее, и сложность приемов* прогрессивного процесса есть сложность, подобная *сложности какого-нибудь ужасного патологического процесса,* ведущего шаг за шагом *сложный организм к вторичному упрощению трупа, остова и праха!*» А «все истинно великое, и высокое, и прочное вырабатывается *никак не благодаря повальной свободе и равенству, а благодаря разнообразию положений, воспитания, впечатлений и прав в среде, объединенной какой-нибудь высшей и священной властью*». Натуралистический процесс уравнения представляется К. Леонтьеву таинственным процессом. Все современные силы «являются лишь слепыми орудиями той *таинственной воли,* которая шаг за шагом ищет демократизировать, уравнять, смешать социальные элементы сперва всей романо-германской Европы, а потом, быть может, и всего человечества».

К. Леонтьев очень оригинально определяет отношение между прогрессистами и реакционерами. До периода цветущей сложности «все прогрессисты правы, все охранители не правы». «После цветущей и сложной эпохи, как только начинается процесс упрощения и *смешения* контуров, т. е. большее однообразие областей, смешение сословий, подвижность и шаткость властей, принижение религии, сходство воспитания и т. п., как только деспотизм формологического процесса слабеет, так, в смысле *государственного блага, все прогрессисты становятся не правы в теории, хотя и торжествуют на практике.* Они не правы в теории: ибо, думая исправлять, они разрушают; они торжествуют на практике: ибо идут легко по течению, стремятся по наклонной плоскости. Они торжествуют, они имеют громкий успех. *Все охранители и друзья реакции правы,* напротив, *в теории,* когда начнется процесс вторичного упростительного смешения; *ибо они хотят лечить и укреплять организм.* Не их вина, что нация не умеет уже выносить дисциплину отвлеченной государственной идеи, скрытой в недрах ее!» Это очень смелая постановка вопроса, в ней есть бесстрашный и подкупающий пессимизм. Точка

зрения К. Н. имеет мало общего с банальным реакционерством, это, во всяком случае, свободная и дальновидная точка зрения. К. Н. пытается дать единственное в своем роде биологическое, социологическое и эстетическое обоснование правды реакции. Его реакционерство вытекает из любви к развитию и цветению, к культуре. В этом своеобразие миросозерцания К. Леонтьева, на которое не было обращено достаточно внимания. Он — человек Возрождения и потому реакционер в наше время. Он менее всего мракобес. Его реакционерство связано с любовью к жизни, а не с отвращением к жизни. Он реакционер совсем иного типа, чем, напр<имер>, Победоносцев, который, впрочем, тоже был глубже и тоньше, чем принято о нем думать. «*Быть просто консерватором* в наше время было бы трудом напрасным. Можно любить прошлое, но нельзя *верить* в его даже приблизительное возрождение». «*В прогресс* надо верить, но не как в улучшение непременно, а только как в новое перерождение тягостей жизни, в новые виды страданий и стеснений человеческих. *Правильная вера в прогресс* должна быть *пессимистическая,* а не благодушная, все ожидающая какой-то *весны*... В этом смысле я считаю себя, напр<имер>, гораздо больше *настоящим* прогрессистом, чем наших либералов». Бесстрашие мысли характерно для К. Н. Он не делает себе никаких розовых и оптимистических иллюзий. Он прямо смотрит в глаза будущему, страшному и отвратительному для него будущему, и предсказывает о нем много верного, уже сбывшегося и сбывающегося. Эстетика К. Н. требовала пессимизма и отвращалась от оптимизма. Его натурализм и его эстетизм влекут его к пессимизму. В свободу же духа он не верит, не видит ее.

III

Натуралистический критерий и натуралистическая формула развития совпадают у К. Леонтьева с эстетическим критерием и эстетической формулой. Путь натуралистический и путь эстетический приводят его к одной и той же истине. Он открывает как бы предустановленную гармонию законов природы и законов эстетики, т. е. признает эстетический смысл природной жизни. «Замечательно, что с определением идеи развития в природе вещественной соответствует и основная мысль эстетики: единство в разнообразии, так называемая *гармония,* в сущности не только не исключающая антитезы и борьбы, и страданий, но даже требующая их». Эстетика К. Н. требует существования контрастов в общественной жизни, нуждается в существовании зла и тьмы

наряду со светом и добром. Но того же требует и природное цветение жизни. К. Леонтьев утверждает всеобщий характер эстетического критерия. В замечательном письме к о. И. Фуделю он предлагает такой чертеж:

Мистика (особенно положительная религия)	Критерий *только* для *единоверцев,* ибо нельзя христианина судить и ценить по-мусульмански и наоборот
Этика и *политика*	Только для человечества
Биология (физиология человека, животных и растений, медицина и т. д.)	Для всего органического мира
Физика (т. е. химия, механика и т. д.) и *эстетика*	Для *всего*».

Эстетический критерий он считает применимым ко всему, т. е. во всем бытии видит существенно эстетические признаки. Критерий же этический захватывает сравнительно узкую сферу. При столкновении эстетики с моралью К. Н. отдает онтологическое предпочтение эстетике. «В явлениях мировой эстетики есть нечто загадочное, таинственное и как бы досадное, потому что человек, *не желающий себя обманывать,* видит ясно, до чего часто эстетика с моралью и с видимой житейской пользой обречена вступать в антагонизм и борьбу... Юлий Цезарь был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича, и даже Скобелев был несравненно развратнее многих современных нам “честных тружеников”, и если у вспомнившего эти факты есть эстетическое чувство, то что ему делать — коли *невозможно отвергнуть,* что в Цезаре и Скобелеве в тысячу раз больше поэзии, чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном из сельских учителей». Этот «эстетический аморализм» сближает К. Леонтьева с Ницше. Но нужно сказать, что с более глубокой точки зрения ни К. Леонтьев, ни Ницше не были аморалистами. В конце концов К. Н. видел в красоте — добро, а в уродстве — зло. Вторичное упростительное смешение было для него не только уродством, но и злом. И вернее было бы сказать, что он утверждает не аморализм в общественной и исторической жизни, а иную мораль, несоизмеримую с моралью индивидуальной. Но его поразило и пленило, что «красивы, прекрасны, привлекательны и т. п. могут быть одинаково: какой-нибудь кристалл и Александр Македонский, дерево и сидящий под ним аскет». «Эстетика как кри-

терий приложима ко всему, начиная от минералов до человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам, и к социологическим, историческим задачам. Где много поэзии — непременно будет много веры, много религиозности и даже много *живой* морали... Эстетика *жизни* гораздо важнее отраженной эстетики искусства... Будет жизнь пышна, будет она богата и разнообразна борьбою сил божественных (религиозных) и с силами страстно-эстетическими (демоническими), *придут* и гениальные *отражения* в искусстве». К. Н. устанавливает тождество красоты с жизнью, с бытием. Эстетическая ценность для него — первоценность. В конце концов она тождественна со всякой ценностью, и с общественно-политической, и с моральной, и с религиозной. Самая борьба божественных и демонических начал оправдывается эстетически, но она нужна и для высших целей жизни, для полноты жизни. И самое столкновение эстетики с моралью служит полноте жизни. К. Н. исповедовал своеобразный эстетический пантеизм, который должен будет столкнуться с его религиозным теизмом. У него была своеобразная натурфилософия, но недостаточно раскрытая и обоснованная, не имеющая никакого гносеологического фундамента. В основе этой натурфилософии лежит отождествление эстетики и биологии, красоты и жизни. «Культура тогда высока и влиятельна, когда в этой развертывающейся перед нами исторической картине — много красоты, поэзии. Основной же общий закон красоты есть *разнообразие в единстве*». Аморалистом К. Н. можно назвать лишь в поверхностном и условном смысле. Ибо, в конце концов, он утверждает тождество эстетики и морали, он провозглашает особую мораль, как и Ницше. Для него самое существование морали требует разнообразия и контраста, т. е. того же, чего требует и эстетика. «Будет разнообразие — будет и *мораль*... Ибо даже всеобщее равноправие и равномерное благоденствие если бы и осуществилось на короткое время, то убило бы всякую мораль. Милосердие, доброта, справедливость, самоотвержение — все это только тогда и может проявляться, когда есть горе, неравенство положений, обиды, жестокость и т. д.». Основная идея всей жизни К. Н. — это необходимость и благостность неравенства, контраста, разнообразия, это идея и эстетическая, и биологическая, и социологическая, и моральная, и религиозная. Он прозревает ту онтологическую истину, что бытие есть неравенство, а равенство есть небытие. Он проповедует не аморализм, а более для него высокую мораль неравенства, мораль жизни в красоте. Он религиозно верил, что сам Бог хочет неравенства, контраста, разнообразия. Стремление к равенству, к смешению,

к однообразию — враждебно жизни и безбожно. Демоническая эстетика ближе к Богу, чем уравнительная мораль. Поэтому все эстетические оценки К. Н. имеют для него положительное и объективное социально-политическое, моральное и религиозное значение и смысл. И также можно сказать, что натуралистическая социологическая его теория имеет значение и смысл эстетический, моральный и религиозный. Эстетические оценки у него имеют характер целостных духовных оценок.

«Для меня сильный человек *сам по себе,* яркое историческое и психологическое явление *само по себе дорого*... Мне дорог Бисмарк *как явление, как характер, как пример* многим, хотя бы и даже так было, что он нам безусловный враг». Это оценка эстетическая прежде всего, но также и оценка моральная, в конце концов оценка религиозно-онтологическая. «*Только там много бытовой и всякой поэзии, где много государственной и общественной силы.* Государственная сила есть скрытый железный остов, на котором великий художник — история лепит изящные и могучие формы культурной человеческой жизни». Здесь опять эстетическая оценка совпадает с оценками другого порядка, общественно-государственной и моральной. «Все изящное, в каком бы то ни было роде, являясь в действительности, не может не крепить национальной жизни; оно красит и славит ее». И тут совпадение оценок. Приведу места, которые как будто бы оправдывают взгляд на К. Леонтьева как на аморалиста в политике, как на ужасного макиавеллиста. «Хорошие люди нередко бывают хуже худых. Личная честность, вполне свободная, самоопределяющая нравственность могут *лично же* и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах *нет ничего политического, организующего*. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству, если политическое воспитание их ложно, а Чичиков и городничие Гоголя несравненно иногда полезнее их для целого». «Я ничего не говорю *о сочувствиях, о страданиях* и т. п. Все эти сердобольные фразы ни к чему не ведут. Откровенное обращение к *интересам эгоистическим вернее*». «Какое дело честной, исторической, реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий? Ни к чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные! Что мне за дело в подобном вопросе до самих стонов человеческих?.. Государство есть как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному, не зависящему от нас, деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи». Эти мысли, положенные в основу

социологических исследований К. Н., полярно противоположны субъективизму и морализму в социологии. Но значит ли это, что он был аморалист? Нет, он видел бóльшую моральную высоту и правду в холодном объективизме, суровости, жестокости к человеческой природе, чем в субъективном человеческом произволе, в человеческих утилитарных чувствах, в идее блага человечества. Это — другая мораль, хотя и мало христианская. Когда К. Н. восклицает: «Вождей создает не парламентаризм, а *реальная свобода, т. е. некоторая свобода самоуправства*. Надо *уметь* властвовать беззастенчиво!», он не аморалист, он проповедник морали власти, морали вождей и водителей против морали масс и автономных личностей. «Где это законное, *священное право насилия над волей нашей* ослабло и в сознании самих принуждающих и в сердцах принуждаемых, там, где утратились одинаково и уменье смело властвовать, и уменье подчиниться с любовью и страхом, там уже не будет ни силы, ни жизни долгой, ни прочного, векового порядка». Здесь опять эстетическая оценка и эстетический критерий совпадают с моральным, с государственным, с биологическим. «*Известная степень лукавства в политике есть обязанность*». «Мистицизм практичнее, "рациональнее", так сказать, чем мелкое утилитарное безбожие». «Они все ставят идеалом будущего *нечто* самим себе подобное — *европейского буржуа*. Нечто *среднее;* ни мужика, ни барина, ни воина, ни жреца, ни британца или баска, ни черкеса или тирольца, ни маркиза в бархате и перьях, ни трапписта во власянице [24], ни прелата в парче... Эти люди прежде всего не знают и не понимают законов прекрасного, ибо всегда и везде именно этот средний тип менее эстетичен, менее выразителен, менее интенсивно и экстенсивно прекрасен, менее героичен, чем типы более сложные или более односторонне крайние... *Это ненаучно именно потому, что оно нехудожественно.* Эстетическое мерило самое верное, ибо оно *единственно* общее и ко всем обществам, ко всем религиям, ко всем эпохам приложимое». К. Н. убежден, что средний тип буржуа не только антиэстетичен, но и есть приближение к небытию, есть угашение жизни, т. е., в конце концов, аморален, антионтологичен, безбожен. Вот еще яркое место, подтверждающее верность моего истолкования К. Леонтьева. «Именно в социальной *видимой неправде* и таится невидимая социальная *истина;* глубокая и таинственная органическая истина общественного здравия, которой безнаказанно нельзя противоречить даже во имя самых добрых и сострадательных чувств. Мораль имеет свою сферу и свои пределы; политика свою. Политика, вносимая в дела личные — через

меру и ввиду лишь одной личной выгоды, — убивает внутреннюю, *действительную мораль*. Мораль, вносимая слишком простодушно и горячо в политические и общественные дела, колеблет, а иногда и разрушает государственный строй». «*Политика не этика*... Что делать. Она имеет свои законы, независимые от *нравственных*». «*Для развития великих и сильных характеров необходимы великие общественные несправедливости*». Политика у К. Н. имеет свою мораль, непохожую на мораль личную, нередко разрушающую общество и государство, понижающую жизнь. Эта мораль оправдывает рабство, насилие и деспотизм, если их ценою покупается государственная и национальная крепость, культурное цветение, самобытность духа. Он поет хвалу «*хроническому деспотизму,* всеми более или менее, волей и неволей, по любви и из страха, из выгод или из самоотвержения признаваемому и терпимому, в высшей степени *неравномерному и разнообразному деспотизму*». Он верит, что через деспотизм достигается могущество и цветение жизни, осуществляется не только красота, но и правда. На однородной почве, когда произошло уже смесительное упрощение, невозможно появление оригинальных мыслителей, на этой почве не рождаются гении. Требование разнородной почвы — не только эстетическое, но и нравственное. «Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду назначением человечества на земле, нет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были прожить под давлением трех атмосфер — чиновничьей, помещичьей и церковной, — хотя бы для того, чтобы Пушкин мог написать “Онегина” и “Годунова”, чтобы построился Кремль и его соборы, чтобы Суворов и Кутузов могли одержать свои национальные победы... Ибо слава... ибо военная слава... да, военная слава царства и народа, его искусство и поэзия — *факты;* это *реальные явления* действительной природы; это цели достижимые и вместе с тем высокие. А то безбожно-праведное и плоскоблаженное человечество, к которому вы исподволь и с разными современными ужимками хотите стремиться, такое человечество было бы гадко, если бы оно было возможно». Эти необычайно яркие и смелые слова, особенно в России, предполагают определенное нравственное сознание, проповедуют определенную мораль, иную мораль, чем та, которая всегда проповедовалась в широких кругах русской интеллигенции, которой учил Л. Толстой и все русские народники. Это — мораль ценностей, а не мораль человеческого блага. Сверхличная ценность выше личного блага. Достижение высших целей, целей сверхличных и сверхчеловеческих, оправдывает жертвы и страдания истории.

Называть это просто аморализмом есть явное недоразумение. И Ницше не был аморалистом, когда он проповедовал мораль любви к дальнему в противоположность морали любви к ближнему. Это — иная мораль. Но совпадает ли она с моралью христианской — это более чем сомнительно. Евангельской морали К. Леонтьев никогда не мог до конца принять. Он остается язычником в своем отношении к истории и обществу.

К. Леонтьев защищает мораль сильных и ярких индивидуальностей, мораль героическую против морали утилитарной, морали демократической середины. «С одной стороны, я уважаю барство; с другой — люблю наивность и грубость мужика. Граф Вронский или Онегин, с одной стороны, а солдат Каратаев и кто?.. ну, хоть Бирюк Тургенева, для меня лучше того "среднего" мещанского типа, к которому прогресс теперь сводит мало-помалу всех и сверху и снизу, и маркиза и пастуха». Прозаическую религию всеобщей пользы он ненавидел не только эстетически, но и нравственно. Идея всеобщего блага была для него безнравственной идеей. Это необходимо подчеркнуть, чтобы глубже понять К. Леонтьева, чем его обыкновенно понимают. «Это все лишь *орудия смешения* — это исполинская *толчея, всех и вся толкущая в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы;* все это *сложный алгебраический прием, стремящийся привести всех и вся к одному знаменателю. Приемы* эгалитарного прогресса — *сложны*; *цель груба,* проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель всего — *средний человек; буржуа,* спокойный среди миллионов таких же средних людей, тоже покойных». Слова эти проникнуты не только эстетическим, но и нравственным негодованием. К. Н. — решительный противник морали автономной личности: «Европейская мысль поклоняется человеку *потому только, что он человек,* поклоняться она хочет не за то, что он герой или пророк, царь или гений. Нет, она поклоняется не такому *особому и высокому развитию* личности, а просто индивидуальности *всякого* человека и *всякую личность* желает сделать счастливою (здесь, на земле), равноправною, покойною, надменно-честною и свободною в пределах *известной* морали. Это-то искание всечеловеческой равноправности и всечеловеческой правды, исходящей не от *положительного* вероисповедания, а от того, что философы зовут личной, *автономической* нравственностью, это-то и есть яд, самый тонкий и самый могучий из всех столь разнородных зараз, разлагающих постепенным действием своим все европейские общества». Мораль К. Н. стоит не за всякую личность, а за личность высокого качества, за высокое качество в личности, за подбор качеств. Это —

мораль качеств в противоположность морали количеств. У нас привыкли мораль понимать в смысле толстовском, и потому К. Леонтьев представляется совершенным отрицателем морали. По моральному сознанию своему К. Н. — антикантианец. Аристократическая мораль — особая мораль, а не аморализм. Как сознательный глашатай аристократической, качественной морали К. Н. говорит: «Даже и добродетели не все одинаково полезны всем классам людей, напр<имер>, сильное чувство личного достоинства в людях высшего круга порождает рыцарство, а разлитое в народной массе, оно возбуждает инзуррекции* парижских блузников... *Однообразие развития и тут оказывается антисоциальным*». Он не только эстетически, но и морально не понимает, почему «*сапожнику* повиноваться легче, чем *жрецу* или *воину,* жрецом благословенному». Ему и эстетически и нравственно одинаково отвратительны «и свирепый коммунар, сжигающий тюльерийские сокровища, и неверующий охранитель капитала». Он защищает эстетически и нравственно высокий душевный тип, когда говорит: «Смесь *страха и любви* — вот чем должны жить человеческие общества, если они жить хотят... Смесь любви и страха в сердцах... священный ужас перед известными идеальными *пределами,* любящий страх перед некоторыми *лицами*; чувство искреннее, а не притворное только для политики; благоговение при виде даже одних иных *вещественных предметов,* при виде иконы, храма, утвари церковной». Тип совершенно автономный, не чувствующий уже «священного ужаса» перед тем, что выше его, есть нравственно низменный душевный тип. «Без *насилия* нельзя. Неправда, что можно жить без насилия... *Насилие не только побеждает, оно и убеждает многих, когда за ним, за этим насилием, есть идея*... В трудные и опасные минуты исторической жизни общество всегда простирает руки не к ораторам или журналистам, не к педагогам или законникам, а к людям *силы,* к людям, *повелевать умеющим, принуждать дерзающим!*» Это — определенная мораль силы, столь непохожая на господствующее у русских моральное сознание, отрицающее моральное значение силы, заподозривающее ее. Но мораль эта не евангельская.

К. Леонтьев — враг гуманистической морали, один из самых страшных и крайних ее врагов. Он всей силой своего страстного темперамента, своего острого ума, своего необычайного дарования отрицал всякую связь христианства с гуманизмом. Он предвидел, чем кончится гуманизм, каковы будут его последние пло-

* От франц. *insurrection* — восстание *(Примеч. ред.)*.

ды. Он понимал, что гуманистическая свобода опустошает человека и должна превращать его в небытие. Он любил и почитал не вообще индивидуальность, не всякую индивидуальность, а оригинальную и яркую индивидуальность — «исключительное, обособленное, сильное и выраженное развитие характеров». Индивидуализм, автономизм враждебны такому развитию характеров, таким индивидуальностям. «Реальная свобода лица» возможна и при пытке. Как преклонялся К. Н. перед сильно выраженными и оригинальными характерами, видно из его оценки дела раскольника Куртина и казака Кувайцева. Раскольник Куртин заколол родного сына своего в жертву Богу. Он заставил сына надеть белую рубаху и нанес ему несколько ран в живот. Он любил сына и совершил преступление в религиозном экстазе. Казак Кувайцев держал у себя под тюфяком отрезанную руку, палец и волосы своей умершей возлюбленной. Куртин и Кувайцев отданы были под суд. «Конечно, — говорит К. Н., — никто не станет оспаривать у суда право карать поступки, подобные поступкам Куртина и Кувайцева. Но обыкновенный суд, точно так же, как и справедливая полицейская расправа, суть проявления лишь “*правды внешней*”, и ни государственный суд, ни *суд* так назыв<аемого> *общественного мнения,* ни полицейская расправа не исчерпывают бесконечных прав личного духа, до глубины которого не всегда могут достигать общие правила законов и общие повальные мнения людей. Судья обязан карать поступки, нарушающие общественный строй, но там только сильна и плодоносна жизнь, где почва своеобразна и глубока даже в незаконных своих произведениях. Куртин и Кувайцев могут быть героями поэмы более, чем самый честный и почетный судья, осудивший их вполне законно». Взор К. Н., полного «ненависти к иным бездушным и сухим сторонам современного европейского прогресса», обращается к Куртину и Кувайцеву, в которых он видит «характер трагического в жизни народа». В этом сказываются не только эстетические, но и моральные вкусы К. Н. Социологическое и моральное его учение полярно противоположно социологическому и моральному учению Н. Михайловского. К. Н. утверждает, что яркое развитие личности предполагает дифференцированное и сложное строение общества. Упростительное смешение общества ведет к отцветанию личности, к ее опустошению. Общественная нивелировка ведет к умиранию не только общественной, но и личной яркости и оригинальности. Индивидуализм Михайловского, требующий уравнения и смешения общественной среды, враждебен индивидуальности. Точка зрения Леонтьева находит себе подтверждение у исследователей совер-

шенно иного типа, напр<имер> у Зиммеля в его «Социальной дифференциации» [25]. Наряду с истиной социологического характера К. Н. выясняет истину этического характера. Сверхличные ценности, религиозные, культурные, государственные, выше личного блага. Личное благо должно склониться перед сверхличными ценностями. И это — бесспорная истина нравственного сознания, столь противоположного нравственному сознанию Толстого, Михайловского и мн<огих> русских людей. Но границы сознания К. Леонтьева были в том, что он не понимал значения свободы духа, что точка зрения его была не столько духовной, сколько натуралистической. Религиозная проблема человека не стояла перед ним во всей глубине. Леонтьев забывает, что христианство утверждает абсолютное значение всякого лица человеческого.

IV

К. Леонтьев пророчески чувствовал, что надвигается мировая социальная революция. В этом он резко отличается от славянофилов, у которых не было никаких катастрофических предчувствий. Он с большой остротой сознавал, что старый мир, в котором было много красоты, величия, святости и гениальности, разрушается. И этот процесс разрушения представлялся ему неотвратимым. В Европе не может уже быть остановлен процесс упростительного смешения. Вся надежда была на Россию и на Восток. Под конец и эту надежду он потерял. «Когда-нибудь погибнуть нужно; от гибели и разрушения не уйдет никакой земной общественный организм, ни государственный, ни культурный, ни религиозный». К. Н. любил «роковое», и в действии «роковых сил» он видел больше эстетики, чем в сознательных человеческих действиях. «Свершение исторических судеб зависит гораздо более от *чего-то* высшего и неуловимого, чем от человеческих, сознательных действий». Он не чувствовал эстетики человеческой свободы. Он отрицал действие свободного человеческого духа в истории. В этом он был близок к школе де Местра и Бональда. Но «роковые силы» против него. В мире не удается «все церковное, все самодержавное, все аристократическое, все охраняющее прежнее своеобразие и прежнюю богатую духом разновидность». «*Все идут к одному,* к какому-то среднеевропейскому типу общества и к господству какого-то среднего человека. И будут так идти, пока не сольются все в одну всеевропейскую республиканскую федерацию». Революция есть «всемирная ассимиляция», и она идет. В будущность монархического начала для Европы XX века может верить лишь тот, «кто не

умеет читать живую книгу истории». К. Н. предвидел, что либерализм неизбежно должен привести к социализму, и с гениальной прозорливостью определил характер грядущего царства. «Тот слишком *подвижный* строй, который придал всему человеческому эгалитарный и эмансипационный прогресс XIX века, очень непрочен и, несмотря на все временные и благотворные усилия консервативной реакции, должен привести или ко всеобщей катастрофе, *или к медленному, но глубокому перерождению человеческих обществ на совершенно новых и вовсе уже не либеральных, а, напротив того, крайне стеснительных и принудительных началах. Быть может, явится рабство в новой форме, вероятно в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин — государству*». О будущих социальных формах он говорит: «*Либеральны они не будут*... Уж во всяком случае, эта новая культура будет очень тяжела для многих, и замесят ее люди столь близкого уже XX века никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных». К. Н. понял раньше и лучше других, что гуманизм в социализме переродится в антигуманизм. Поэтому социализм он предпочитает либерализму и демократии. В социализме болезнь доходит до своего конца и может перейти в свою противоположность, может начаться возрождение. К либерализму К. Н. был особенно несправедливым. Социализм же, по его мнению, «служит бессознательную службу реакционной организации будущего». «Как вы думаете, гг. либералы, *вам* они что ли поставят памятник? Нет! Социалисты везде ваш умеренный либерализм презирают... И как бы ни враждовали эти люди против *настоящих охранителей* или против форм и приемов охранения, им неблагоприятных, *но все существенные стороны охранительных учений им самим понадобятся.* Им нужен будет *страх,* нужна будет *дисциплина,* им понадобятся *предания покорности, привычка к повиновению;* народы, удачно экономическую жизнь свою пересоздавшие, *но ничем на земле все-таки не удовлетворимые,* воспылают тогда новым жаром к *мистическим учениям*». В словах этих есть настоящее пророчество. Для России оно сбылось. К. Н. понял всю пустоту и ничтожество чувствительного гуманизма. «Социализм теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере *для некоторой части человечества*. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным, сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благоденствия и покоя. *И это как дважды два четыре* вот почему: эти будущие победители

устроятся *или свободнее,* либеральнее нас, *или, напротив того,* законы и порядки их будут несравненно стеснительнее наших, строже, принудительнее, даже *страшнее*. В последнем случае жизнь этих новых людей должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших, добросовестных монахов в строгих монастырях». К. Леонтьев глубоко проникал во внутреннюю диалектику общественного процесса. Он великий разоблачитель всех иллюзий. «Нет, не вывести насилие из исторической жизни, это то же, что претендовать выбросить один из основных цветов радуги жизни космической. Этот цвет, эта великая категория жизни придет в новой и сильнейшей форме. *Чума* почти исчезнет, чтобы дать место *холере*».

Ошибочно у К. Леонтьева было отождествление свободы и равенства. Поэтому он одинаково ненавидел свободу и равенство. Свобода была для него исключительно отрицательным понятием. К. Н. предсказывал появление на почве социализма во Франции великого вождя и могущественного диктатора. Для Франции он желает, чтобы «якобинский (либеральный) республиканизм оказался совершенно несостоятельным, и не перед *реакцией монархизма, а перед коммунарной анархией*... Торжество коммуны, *более серьезное, чем минутное господство 71 года,* докажет, несомненно, в одно и то же время и *бессилие "правого порядка", искренно проводимого в жизни (чем искреннее, тем хуже!), и невозможность вновь организоваться народу на одних началах экономического равенства.* Так что те государственные организмы, которым еще предстоит *жить,* поневоле будут вынуждены избрать новые пути, вовсе не похожие на те пути, по которым шла Европа с 89 года». К. Н. провидит не только всемирную революцию, но и всеобщую войну. Он предсказывает появление фашизма. Он жил уже предчувствием катастрофического темпа истории. У него вообще было сильное чувство истории в отличие от огромного большинства русских людей. Он «предпочитает сложность и драму *истории* бессмыслию земного абсолюта». Он никогда не искал Царства Божьего на земле, царства окончательной правды. Он предпочитал драматизм истории с противоречиями, с контрастами, с добром и злом, со светом и тьмой, с борьбой. И в этом он не был характерно русским человеком. Ему чуждо было русское искание всеобщего спасения, спасения всех людей и всего мира. По чувству истории, по оценке культуры и общественности он скорее западный человек. Он любил «ценности» культуры, хотя и не употреблял этого выражения. Спасения же он искал личного, а не общественного и не мирового. К эстетическому и натуралистическому подходу к общественному про-

цессу у него присоединяется еще подход религиозный. *То, что эстетически воспринимал он как уродливый образ мещанства, а натуралистически — как процесс одряхления и смерти, то религиозно предстало перед ним как предсказанный в Евангелии и Апокалипсисе конец.* И ему эстетически нравилось, что христианские апокалиптические пророчества говорят не о царстве правды на земле под конец, а об иссякании любви и победе начал антихристовых. Дуализма добра и зла, трагизма, страдания требовала его эстетика. Тезис натуралистической социологии и философии истории об одряхлении и смерти всех наций, государств и культур не может еще сам по себе быть истолкован апокалиптически, этот тезис не носит еще мирового характера. Но в истории произошло объединение человечества, объединение наций и культур, все делается всемирным. И одряхление и смерть объемлют весь мир, всю мировую культуру. Когда К. Н. потерял веру в Россию, он воскликнул: «*Окончить историю, погубив человечество;* разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной. *Ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет*». К машине, к техническим открытиям и к индустриальному прогрессу у него не было типического отношения романтика. Он не мог примирить поэзию с утилитарной наукой и машиной. И он искал спасения, искал сложности и разнообразия не в творчестве, а в охранении, в реакции. С этим связано его учение о византизме и о призвании России, но об этом нужно говорить отдельно. Поэзию государств с их силой и насилием в прошлом К. Леонтьев романтически преувеличивал. Он идеализировал аристократию историческую, смешивая ее с духовной аристократией.

V

Как оценить объективное, научное и философское значение социологического учения К. Леонтьева и его философию истории? Для придирчивой и формалистической мысли нашего времени прежде всего должны бросаться в глаза методологические и гносеологические недостатки этого учения. Неокантианцы, особенно сторонники Риккерта [26], не перенесут такого натурализма в общественных науках. Я не разделяю гносеологической схоластики Риккерта и в крайнем методологизме современной критической философии вижу упадок и вырождение философской мысли, отступничество от великих онтологических задач фило-

софии. Но в крайнем натурализме всего мышления К. Н. нельзя не видеть внутреннего противоречия. Объективизм и бесстрастие леонтьевской социологии кажущиеся — в действительности это социология очень страстная и эмоциональная. Характер образования и просвещения, связанного еще целиком с естественными науками и позитивным духом второй половины XIX века, сталкивается с интуициями нового духа, опередившего его эпоху. Философская культура К. Н. не стоит на высоте его смелых интуиций и прозрений. Замечательное учение К. Н., в котором ему удалось установить несомненные истины, не было достаточно углублено. Учение это может быть названо общественной морфологией. Оно устанавливает соотношение форм в общественной жизни. И многие положения этой общественной морфологии имеют объективное значение. Но К. Леонтьев не доходит до общественной онтологии, он остается в области общественной феноменологии. Его общественная философия не углублена до *онтологических* основ общественности. В качестве морфолога общественности он рассматривает общество как организм и изучает смену и соотношение форм. Наиболее ценно установленное К. Н. соотношение между цветущей сложностью общества и его дифференцированностью и морфологическим разнообразием, а с другой стороны, — между отцветанием и умиранием общества и упростительным смешением в нем. Но какой космический и онтологический смысл могут иметь эти положения? И в жизни природы, и в исторической жизни человеческих обществ происходит борьба хаотических и космических начал. Победа космических начал в обществе порождает иерархическое, дифференцированное, сложное его строение. Победа начал хаотических означает смешение и упрощение, низвержение иерархического строя и лада. Бурное стремление к равенству, к демократизации, которое на известной ступени обнаруживается в человеческих обществах, представляется подъемом хаотической стихии, которая не хочет, чтобы общество было космосом, иерархическим организмом. Одряхление и смерть общественных организмов означает распадение космического их строения и частичный возврат к хаосу. Демократизация воспринимается как возобладание хаоса над космосом, как смешение, снятие всех границ и дистанций, сообщающих всему форму. Поэтому процесс этот сам по себе не означает развития и прогресса. Он может вести к первоначальному состоянию, может превратить общество в хаотическую массу. Процесс этот может оказаться смертельным для личности, для самого образа человеческого. Он низвергает всякую высокую культуру. Такова одна сторона процесса. К. Н. вос-

принимал эту сторону необыкновенно чутко и прозорливо, прежде всего эстетически. Он умел это выразить в терминах естественно-научной социологии. Но есть и другая сторона прогресса демократизации — приобщение лишь внешне сдержанных хаотических сил к космосу, возможный подъем количеств до более высоких качеств. Метафизически углубить эту проблему он не сумел. Натуралистическую аналогию общества и организма он простирал слишком далеко, и потому смертоносный процесс упростительного смешения представлялся ему слишком роковым и неотвратимым. Он не чувствовал действия свободного человеческого духа в истории и само действие Промысла Божьего слишком натурализовал и склонен был отождествлять с законами природы. Он не видел, что жизнь общества есть не только жизнь природная, но и жизнь духовная. Вообще К. Н. не понимал тайны свободы. Эта тайна не пленяла его и не притягивала к себе. В этом была его ограниченность, ограниченность натуралистического миросозерцания. Поэтому он совершенно не дорожил свободой человеческого духа, раскрывшейся в христианстве, и склонен был отождествлять свободу с эгалитарным процессом. В этом корень его метафизической и моральной ошибки. С этим связано и отрицание права, прав человека, коренящихся в бесконечной природе человеческого духа. Он не умел связать свободы человеческого духа с христианством, с христианским откровением о человеке. К. Леонтьев не понимал, что обратной стороной смерти и развоплощения старых обществ является освобождение христианства от языческого быта. Сам он оставался язычником в отношении к истории и обществу. В его бурном восстании против гуманизма была большая правда и заслуга его. Но ему не открывалось положительное религиозное отношение к человеку. Эстетическое учение К. Леонтьева о жизни очень оригинально и применение эстетического критерия к общественности совершенно своеобразно. Эстетизм был новым явлением, резко отличавшим К. Н. от людей его эпохи. Но он не прошел через более утонченную эстетическую культуру конца XIX и начала XX века. Он не мог еще почувствовать прелести и красоты упадочного утончения культуры. Если бы он уже почувствовал и пережил этот закат, это очень усложнило бы его слишком прямолинейное учение об упростительном смешении и дряхлости обществ. В упадке и отцветании, в осени великих культур есть наибольшая сложность, неведомая эпохам расцвета. Это ускользало из кругозора К. Н. Он принадлежал к той эстетической эпохе, которой понятен Рафаэль, но непонятен Боттичелли. В учении К. Н., развитом главным образом в «Ви-

зантизме и славянстве», он соединил свое искание полноты жизни в красоте со своим исканием спасения. Соединение этих двух основных стремлений его жизни привело к глубоким и острым мыслям, к дерзновенному радикализму.

ГЛАВА IV

Стремление к монашеству. Борьба эстетики и аскетики. Нужда. Болезни. Жизнь в Москве. Оптина Пустынь. Принятие тайного пострига. Смерть. Духовное одиночество и непризнание. Отношения с Вл. Соловьевым. Отношение к русской литературе

I

Период от возвращения с Востока и до поселения в Оптиной Пустыни был самым тяжелым и несчастным в жизни К. Леонтьева. Вся его жизнь стоит под знаком нужды, болезней, духовного одиночества и непризнания. Внутренне же жизнь его поставлена под знак стремления к монашеству. Он ведет трудную борьбу со своей страстной языческой природой, со своей «демонической эстетикой». Осенью 1874 г. он съездил в Оптину Пустынь, находившуюся в 60 верстах от Кудинова, и там познакомился со старцем Амвросием, который имел определяющее влияние на его дальнейшую духовную жизнь, и с о. Климентом Зедергольмом, с которым сблизился и о котором написал книгу. Мать К. Н. вспоминает, что когда его маленьким привезли в Оптину Пустынь, ему там так понравилось, что он сказал: «Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь». В этом было какое-то детское предчувствие своей судьбы. В ноябре того же года К. Н. отправился в Николо-Угрешский монастырь под Москвой, чтобы пожить в гостинице, но вскоре переходит в келью, надевает подрясник и делается послушником. Он пробует проходить суровую школу монашеского послушания, исполняет самые тяжелые материальные работы. Но этот опыт послушничества продолжается недолго, около полугода. Монастырь не дает ему желанного покоя, он еще не готов для монашества, он тоскует по жизни на Востоке, по Константинополю. Из Николо-Угрешского монастыря он пишет Губастову: «С отчаянием я вижу, что Богу не угодно, видно, удостоить меня возвратиться туда (в Константинополь). Только там я понимаю, что живу: в других местах я только смиренно покоряюсь и учусь насильственно благодарить Бога за боль и скуку». И еще он пи-

шет тому же Губастову: «Я все рвусь мечтой то к Вам на Босфор, то в Герцоговину или Белград, то в Москву и Петербург, и мне иногда тяжело в этой тишине и в этом мире. Оттого я и сюда помолиться приехал на недолго, чтобы *заглушить* эту тоску по жизни и блестящей борьбе. Именно заглушить». Он до конца не мог победить двойственность своей природы. В нем остается «тоска по жизни и блестящей борьбе». И его мучит столкновение обета стать монахом с этой тоской. Он не столько духовно входит в монашескую жизнь, сколько эстетически переживает ее как контраст с жизнью мирской. Он нигде не находит себе успокоения, не находит себе места. Как писатель он не имеет успеха и влияния. Такая замечательная вещь, как «Византизм и славянство», проходит незамеченной. Материально он никак не может устроить своей жизни, он запутывается в долгах и испытывает нужду, на которую очень жалуется в своих письмах. Места он не может добыть. Имение его не приносит никакого дохода и так запутано, что ему грозит продажа с публичного торга. Отказаться от барских привычек он не мог. Он всегда держал при себе несколько человек слуг. Не мог обойтись без хорошей сигары после обеда. Любил всенощную на дому. Религиозный переворот и Афон не побороли в нем увлечения женщинами. Он влюблялся, и в него влюблялись. Но это сопровождалось угрызениями совести и страхом загробного наказания. К. Н. вступал в период душевной подавленности. Письма его к Губастову за это время оставляют тяжелое впечатление. «Кажется, что для меня все *живое кончено*... Все вокруг меня тает... Ждать больше нечего, ибо все оплакано давно, восхищаться нечем, а терять что???» «Я все умаляюсь, смиряюсь, все гасну для мира. Равнодушия моего я Вам выразить не могу». Иногда вырывается вопль отчаяния по поводу невыносимо тяжелого положения: «Выручайте, выручайте, друзья, а то очень плохо». Но в другом месте он пишет Губастову: «Благодарю искренно Бога за многое, почти за все, особенно за то великое мужество, которое Он во мне, при таких запутанных обстоятельствах, поддерживает». К. Н. преследует мысль о смерти. 1877 г. представляется ему роковым в его судьбе. Он так поглощен личными переживаниями, что остается совершенно равнодушным к Балканской войне. Он пишет Губастову, что у него «редко бывает середина», что «голова его постоянно увенчана либо терниями, либо розами».

В 1879 г., после тщетных поисков обеспечить жизнь, К. Н. едет в Варшаву помощником редактора «Варшавского дневника» кн. Н. Н. Голицына. В статьях, написанных в «Варшавском дневнике», он обнаруживает темперамент политического публи-

циста. Направление его делается все более и более реакционным. Революционное движение в русском обществе вызывает в нем резкий отпор. В статьях «Варшавского дневника» начинают звучать неприятные ноты типического реакционно-консервативного направления. Он делается менее свободным и оригинальным как мыслитель. К. Н., в строгом смысле слова, не принадлежал ни к какому лагерю, ни к какому определенному направлению, он был всем чужд. «Я ни к *какой* партии, ни к какому учению прямо сам не принадлежу; у меня *свое* учение». Консерваторы и славянофилы относились к нему как художнику и романтику не до конца серьезно. Он даже объяснял неуспех свой тем, что он не связан ни с каким определенным направлением. Но в нем начинает преобладать тот консервативно-реакционный стиль, который окончательно победил в эпоху Александра III. Стиль этот был уродлив и вульгарен и смягчался лишь необыкновенной даровитостью Леонтьева. Из глубоко обоснованного отвращения ко всему «левому» он слишком отождествлял себя с «правым», которое тоже ведь у нас не было слишком привлекательно. Он знал, что есть «темная» часть его души, которая «никогда в круг освещения “Московских ведомостей” и “Русского вестника” не попадала». И это была самая интересная и оригинальная часть его души. Какое дело было «Московским ведомостям» до идей К. Леонтьева, до его безумной романтики, до его эстетизма, до его непрактичного радикализма, из которого нельзя было сделать никаких применений к жизни. Правым дельцам он был не нужен. Катков его с трудом терпел. К. Н. сам чувствовал, что *пища его крута*. Он мало доступен, мало нужен для целей утилитарных, хотя бы и реакционных. Его понимают вульгарно. И иногда бывает досадно, что он сам соскакивает на вульгарную реакционность, неверно выражающую его глубокую, радикальную, благородно-аристократическую реакционность. Ничего подлинно духовно-аристократического в правом лагере не было и нет. К. Н. не был газетным публицистом и писал в газетах исключительно из нужды. В газетные статьи пытался он вложить свои заветные, самые глубокие мысли. Он не умел развивать систематически свои идеи, и важны у него острые формулы, отдельные чеканные фразы, разбросанные по мелким его статьям. Но вот необычайно оригинальный и свободный мыслитель иногда уступает место консервативному публицисту, прибегающему к формулам слишком затасканным. Это более всего чувствуется в статьях «Варшавского дневника». В Варшаве К. Н. нравился вид русских войск. Он всегда любил военных и предпочитал их штатским. У него был военный, а не штатский идеал. К поля-

кам он относился неплохо, поляки ему даже нравились. Работа в «Варшавском дневнике» продолжалась всего несколько месяцев. К. Н. отпросился в отпуск и вернулся совершенно больным в Кудиново. Дела «Варшавского дневника» пошли так плохо, что ему пришлось совсем оставить работу. Материальные неудачи и болезни вызывают в нем очень угнетенное состояние духа. Т. И. Филиппов, с которым К. Н. был в хороших отношениях, выхлопатывает ему наконец назначение цензором в Московский цензурный комитет. Цензором он прослужил шесть лет, и это был самый тяжелый период его жизни. Это — наименее плодотворный период и в литературном отношении.

В письмах к Т. И. Филиппову у него звучат скорбные ноты, усталые, жалобные и печальные. Он хочет иметь «каких-нибудь 75 руб. сер<ебром> в месяц *до гроба и ровно ничего не делать*. Вот блаженство!.. Вот счастье!.. ни газет не читать, ни *сочинять* ничего самому к сроку и за деньги. Ни монашеского послушания, ни борьбы, ни честолюбия мирского. В субботу всенощная, а в воскресный день поздняя обедня; изредка в козельском трактире закусить чего-нибудь получше, не знать почти, что делается на свете... Есть дни, в которые скорбь и уныние велики, но это скорбь о кофе в ноябре, *о теплой шапке новой;* о старых слугах, оставшихся в имении, которым тоже надо есть и которых бросить я *не могу!*.. Совесть шепчет, что Господь простит мне и помилует в день Страшного Суда. Беда в том, что эта восхитительная Нирвана, более животная, однако, чем аскетическая,— есть лишь один волшебный миг забвения... И действительность вопиет громко: "Смотри, ты лишен и того, что имеют многие скотоподобные люди, и у тебя нет и не будет ни 75, ни 50 руб. в месяц, верных и обеспеченных. У тебя есть лишь 49 руб. пенсии, которые ты должен отдавать своей доброй и убогой жене и ее служанке на содержание в Козельске; а ты должен что-то мыслить, что-то воображать, что-то писать и печатать, чтобы есть, спать, пить, курить и т. д."». В словах этих звучит большая усталость. А вот еще отрывок из письма к Филиппову: «Приезд жены в известном Вам положении рассудка и необходимость внезапного переезда в столицу, без всякого денежного запаса, привели наконец к тому, что... я просто ума не приложу, что, напр<имер>, даже есть завтра. Знакомые постоянно Христа ради помогают, кто 10, кто 20 — вот уже 3-й месяц. Уж я и стыдиться перестал». Денежные затруднения привели к тому, что Кудиново пришлось продать крестьянину. Этот период жизни связан также с ужасными болезнями. У К. Н. была бессонница, мигрени, поносы, рези в животе, раздражение мочевого пузыря, ка-

шель и болезнь гортани, трещины и сыпи на ногах и руках и отеки. Была также болезнь спинного мозга и сужение мочевого канала. В 1886 г. он заболел гнойным заражением крови и воспалением лимфатических сосудов в руке. Несколько раз он был при смерти. Он пишет Т. Филиппову: «Заслуженное наказание за *ужасную* прежнюю жизнь!.. И вот я после *двух последних острых болезней,* придя в себя наконец от жестоких и разнообразных страданий, до того нестерпимо возненавидел все свое прошедшее, не только давнее полубезбожное и блудное и гордое, самодовольное, но и ближайшее, когда я на Афоне стал малопомалу озаряться светом истины... Не смею даже и решительно молиться о полном исцелении, наприм<ер>, хоть главного недуга моего (сыпи и язв); боюсь, не стал бы я, окаянный, опять прежним в неблагодарности моей!» В письме к Губастову он пишет, что годы службы в Москве доканали его: «Вот где был скит. Вот где произошло "внутреннее пострижение" души в незримое монашество! Примирение со всем, кроме своих грехов и своего страстного прошедшего; равнодушие; ровная и лишь о покое и прощении грехов страстная молитва». Но К. Н. не был еще готов к окончательному уходу из мира, к монастырю, но вместе с тем не мог уже жить в миру, ничего, кроме скорбей, не испытывал в миру. В этом причина его угнетенного душевного состояния.

II

В 1887 г. К. Н. выходит в отставку и получает пенсию, на которую может кое-как жить. «С тех пор как я получил увольнение от службы, — пишет он Филиппову, — я впал в какой-то блаженный квиетизм и стал точно турок, который молится, курит и созерцает что-то». Весной того же года К. Н. переезжает в Оптину Пустынь на покой. Он помнит о своем обете принять монашество. После этого обета для него невозможна уже была настоящая радость в миру. Его тянуло в монастырь, как на свою новую родину. С Оптиной Пустынью его связывали два человека — иеромонах Климент Зедергольм и старец Амвросий. До переезда своего в Оптину Пустынь К. Н. часто ездил туда на свидание с о. Климентом Зедергольмом, отношения с которым имели большое значение в его жизни [27]. О. Климент Зедергольм был немец и протестант, сын пастора, перешедший в православие и принявший монашество. Он был человек образованный и культурный, и К. Н. мог говорить с ним обо всех беспокоивших его вопросах. О. Климент Зедергольм представлял необычное явле-

ние в Оптиной Пустыни. Он пришел туда из совсем другого мира. Он пришел в русский монастырь, славный своими традициями старчества, не только из светской культуры, он пришел из мира немецко-лютеранского, бесконечно далекого по духу своему. К. Н. интересовал и привлекал этот контраст. Образ о. Климента Зедергольма не представляется особенно привлекательным. Это был человек сильного характера, искавший правды Божией, но средний человек в миру и средний в монашестве. По духу своему он совсем не был старцем и не мог бы им стать. Он был очень крепким и ортодоксальным православным, как это и должно было быть с немцем и лютеранином, принявшим православие. Он не чувствовал себя вполне «дома» в православии. В духовном складе его остались черты протестантского благочестия и протестантской богобоязненности. В нем была моральная суровость и сухость. Никакой сложности в его натуре не было, это был довольно элементарный человек. К. Н. стоял многими головами выше его, но искал в нем церковной опоры и укрепления. И о. Климент Зедергольм имел для него значение, не вполне соответствующее его достоинствам. Несоизмеримо большее значение для духовной жизни К. Н. имел старец Амвросий, который в то время был светочем Оптиной Пустыни. О. Климент не был духовным руководителем К. Н., каким был о. Амвросий. Водительству о. Амвросия К. Н. окончательно отдался лишь после смерти о. Климента. «Когда Климент умер и я сидел в зальце о. Амвросия, ожидая, чтобы меня позвали, я помолился на образ Спаса и сказал про себя: “Господи! наставь же старца так, чтобы он был опорой и утешением! Ты знаешь мою борьбу! (Она тогда была ужасна, ибо тогда я еще мог влюбляться, а в меня еще больше!)”».

К. Н. снял у ограды монастыря двухэтажный дом, известный потом под названием «консульского дома». Со времени переселения в Оптину Пустынь начался более покойный и радостный период его жизни. Но ошибочно было думать, что жизнь К. Н. в Оптиной Пустыни сразу делается монашеской. Нет, он переносит туда всю свою обстановку, свои барские привычки, свои вкусы. Вот как описывает А. Александров жизнь К. Н. в Пустыни: «Сначала он уехал в Оптину Пустынь один и поселился на первое время в скиту ее; затем перебрался из него в небольшой двухэтажный дом-особняк с садом, расположенный сейчас же за монастырской оградой, который арендовал у монастыря до конца пребывания своего в Оптиной Пустыни. Сюда выписал он и супругу свою, Елизавету Павловну, и молодых верных слуг своих, Варю с Сашей, принанял повара не из дорогих и мальчика

из соседней деревни, Петрушу, в помощь Варе, у которой пошли уже дети, и Саше, которому прибавилась работа в саду и по уходу за купленною недорого лошадкой для катанья и редких поездок к соседям-помещикам, и зажил здесь совершенно своеобразною, какою-то полумонашескою, полупомещичьей жизнью, полною религиозно-трогательной, милой и тихой поэзии и пленительной красоты патриархального старинного православно-русского уклада, добродушно-барского и в то же время удивительно изящного и очень чуткого к движению современной государственной, общественной и литературной мысли». Слишком идиллический и благодушный характер этой картины жизни К. Н. оставляю на ответственность А. Александрова. В этом описании есть что-то не вполне соответствующее трагическому характеру жизни К. Н. Но остается верным, что в Оптиной Пустыни он жил барски-помещичьей жизнью. И это было в то время, когда душа его принимала постриг. Барство было органически неискоренимо присуще его природе, оно было его ноуменальным свойством. Губастов в своих воспоминаниях о К. Н., написанных неприятным тоном, свидетельствующим о том, что он не понимал размеров своего друга, говорит, что К. Н. не годился в монахи, что смирения его не хватало надолго. Это — поверхностное суждение. К. Леонтьеву приходилось преодолевать такие противоречия, такие трудности, такие соблазны, каких большинство монахов не знает. Послушание его и пострижение его имеют больший удельный вес, чем послушание и пострижение многих более простых и естественно цельных натур. К. Н. и на Афоне и в Оптиной Пустыни дозволял себе послабление и уклонение от требований Церкви. Настоящим монахом он не сделался никогда. Но и то, что сделал с собою этот природный язычник, этот турок, этот человек Возрождения Квинтвиченто, этот русский барин-самодур, представляет настоящее чудо перерождения. Вот как характеризует Губастов К. Н.: «По своей натуре Леонтьев был избалованный, причудливый, деспотичный в домашней жизни русский барин с “нетерпеливо сложными потребностями”, в которых он был, на свое несчастье, всегда рабом. После самого короткого с ним знакомства бросались в глаза черты русского помещика, родившегося и воспитавшегося еще при крепостном праве. Неумение обходиться без многих слуг, любовь быть ими окруженным, патриархально-деспотическое обращение с ними, расположение к сельской жизни, к деревенским забавам и пр. В нем сидел русский дворянин-аристократ». Он по-барски тратил слишком много и делал долги. Он был необыкновенно бескорыстным и щедрым человеком. По внешности это был ти-

пичный барин со старыми дворянскими манерами. Он дорожил тем, чтобы к нему относились не только как к писателю, но и к дворянину хорошего рода. Период жизни в Оптиной Пустыни был одним из самых плодотворных в писательской деятельности К. Н. В этот период им написаны: интересный критический этюд о Л. Толстом, «Анализ, стиль и веяние», «Записки отшельника», «Тургенев в Москве». Старец Амвросий благословил его на продолжение литературной деятельности. Все почти им написанное благословлено старцем. Это единственное в своем роде явление в истории русской литературы. Старцы одобряли внутренний духовный путь К. Леонтьева, считали его истинно православным. Бурная, полная страстных противоречий натура К. Н. утихает, он начинает обретать покой, он все более и более уходит из мира. В августе 1891 г. он принял тайный постриг с именем Климента. После пострижения К. Н., с благословения старца Амвросия, навсегда покидает Оптину Пустынь и поселяется в Троице-Сергиевской Лавре. Прощаясь, о. Амвросий сказал: «Скоро увидимся». Этим он предсказал и себе и К. Н. скорую смерть. О. Амвросий умер через два месяца после этого. Вскоре по приезде в Сергиевский Посад К. Н. заболел воспалением легких. 12 ноября 1891 г. болезнь свела его в могилу. Он погребен в Гефсиманском Скиту.

III

В московский и оптинский период своей жизни К. Н. поддерживал близкое общение с большим количеством людей. У него было много добрых приятелей. Появился и круг почитателей его среди молодежи. И все-таки К. Н. был одинок в своих самых заветных мыслях, не понят и не нужен. К людям он относился лучше, чем люди к нему. Те, которые знают Леонтьева исключительно по его «изуверским» писаниям, могут составить себе неверное представление о его личности. К. Н. был, в сущности, добрый человек, совсем не холодный и жестокий, очень внимательный к людям. У него был открытый и прямой характер, совсем не самолюбивый и не гордый по отношению к людям. Письма его очень откровенны и подкупают своей искренностью. В личной полемике он был мягким и деликатным. Это особенно видно по его полемике с Астафьевым, который грубо и резко напал на него. К. Н. не был человеком самоуверенным, он скорее был скромным, хотя и знал цену своим дарованиям. Особенно чувствуется эта скромность в писаниях последнего периода. В московский период своей жизни он начал встречаться с моло-

дежью и очень любил молодежь. Он очень хорошо и увлекательно говорил, был прекрасным повествователем. Молодежь он встречал на пятницах у П. Е. Астафьева, а потом молодежь стала ходить к нему на квартиру. Он любил, чтобы по вечерам к нему заходили. Но никакой «школы», никакого своего течения К. Н. не удалось образовать. Ю. С. Карцов, написавший хорошую статью в сборнике «Памяти Леонтьева», говорит: «Леонтьева побуждала сделаться реакционером его эстетическая мания: он опасался, как бы прогресс не уравнял и не уничтожил особенности народного быта. Ни графу Толстому, ни молодым московским лицеистам, собственно говоря, до эстетики не было никакого дела». Там же называет он К. Леонтьева «великомучеником идеи Красоты». Строение его духа казалось чужим в консервативном лагере. Его неохотно печатали, неохотно о нем писали. Очень характерны отношения между К. Н. Леонтьевым и Катковым. К. Н. был романтиком консервативной идеи; Катков был ее реалистом. К. Н. остался публицистом без влияния; Катков имел огромное влияние на нашу политику. По поводу «Византизма и славянства» Катков говорил, что Леонтьев договорился «до чертиков». К Каткову у К. Н. было сложное отношение. Он всегда защищал его как политического публициста и даже предлагал поставить ему при жизни памятник. Но, в сущности, Катков был ему глубоко чужд и даже противен. «Катков лично, — пишет К. Н., — производил на меня впечатление самого непрямого, самого фальшивого и неприятного человека». Он жалуется на пристрастность и нетерпимость Каткова, на его невнимание и недоброжелательство к людям. Он ставит Каткова выше себя как практического деятеля, но его теоретическое постижение ставит довольно низко. Основное разногласие у него с Катковым было по вопросу об отношении Церкви и государства. «*Государство — прежде; Церковь — после,* — видимо, думал Катков. Как будто русское государство может жить долго без постоянного возбуждения и подогревания *церковных* чувств». По поводу разговоров о «теории» Каткова К. Н. пишет: «Покойник, как человек высокого философского образования, бывший даже и сам философ по профессии, уважал (хотя и довольно холодно) теории других; допускал, что могут быть полезные и блестящие гипотезы и глубокие обобщения, но сам не имел уже ни времени, ни охоты ими заниматься... Ему было не до систем, не до теорий. Нечто подобное теории у него образовалось, видимо, только в последние годы. Это именно та смутная и нигде ясно не выраженная теория преобладания русского государства над восточной Церковью». Леонтьев и Катков не имели между собой

ничего общего. Но он лучше относился к Каткову, чем Катков к нему. Какие отношения были у Леонтьева со славянофилами? Из старых славянофилов ему не нравился Хомяков, казался незначительным И. Киреевский. И. Аксаков относился отрицательно и враждебно к публицистической деятельности К. Н. Как глубоко К. Н. расходился со славянофилами во взглядах на Россию и национальную политику, мы уже видели. С. Рачинский чувствовал к К. Н. «непобедимое отвращение». П. Астафьев так грубо и резко полемизировал с К. Н. по поводу статьи «Племенная политика как орудие всемирной революции», что тот обиделся и порвал с ним отношения. В правительственных кругах К. Н. тоже мало ценили. По поводу хлопот К. Н. о принятии его вновь на дипломатическую службу кн. Горчаков сказал: «Нам монахов не нужно». Из молодых людей, окружавших К. Н., близок ему был А. Александров. Но К. Н. жалуется, что тот *не духовно* его понял, когда он писал об интимных своих переживаниях. Он был в хороших отношениях с Т. И. Филипповым *, и отношения эти возникли на почве единомыслия в греко-болгарской распре. Но ни из чего не видно, чтобы Филиппов понимал святое святых К. Н., его внутренний пафос. Это были добрые отношения на почве внешнего консервативного единомыслия. Н. Н. Страхов и др<угие> считали К. Н. «чересчур православным». Победоносцев ценил К. Н. как мыслителя, но держался от него далеко. К. Н. дает очень острую характеристику Победоносцеву в письме к Филиппову: «Человек он очень полезный; но как? Он, как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но *расти* при нем ничто не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова; мороз; я говорю, сторож; безвоздушная гробница; старая “невинная” девушка и больше ничего!»

Большим утешением для К. Н. была высокая оценка его идей и всего его творческого дела со стороны замечательного писателя, принадлежащего уже новому духу, — В. В. Розанова. Розанов понял Леонтьева иначе и глубже, чем его до сих пор понимали. «Строй тогдашних мыслей Леонтьева, — говорит Розанов, — до такой степени совпадал с моим, что нам не надо было сговариваться, не надо было договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины, понятно друг в друге». Так никто еще не воспринимал К. Н. и не говорил о нем. Лишь в начале XX века явилось поколение людей, способных оценить К. Леонтьева так, как не способны были его оценить

* Государственным контролером (*Примеч. Н. А. Бердяева*).

люди времени Каткова, Аксакова, Победоносцева, С. Рачинского и др. В одном только Розанов расходится с К. Н. К. Н. — аристократ, барин. Розанов — демократ, «учитель уездной гимназии». Розанова возмущает восхищение К. Н. перед типом Вронского. Но Розанов мог уже понять эстетизм К. Н. и сложность его религиозной драмы. Он дает блестящую характеристику К. Н., в которой что-то угадывается в его необычайной личности, но угадывается не вполне и не до конца. «Великий эстетик и политик, — пишет Розанов в первой своей статье о Леонтьеве, — он видел в истории волнующиеся массы народов, их любил, ими восхищался; но, только эстетик и политик, он не заметил вовсе святого центра их общего движения, который незримо ведет, охраняет, поддерживает идущих. Он только различал бредущие толпы, натуралистические стада "человеческих голов", и все, замеченное им здесь, — точно, верно, научно; но есть и остался ему неизвестен в темном киоте святой образ, который и избрал эти толпы и ведет их к раскрытому и ожидающему шествия храму: и все то, что он так любил в истории, эти блестки свеч, волнующиеся хоругви, курящийся к нему дым, — существует вовсе не силою красоты в них, но долгом служения своего и своего предстояния маленькой черной иконке. Отсюда, из этого странного, почти языческого забвения, вытекает третья особенность нас занимающего писателя: чрезмерное преобладание в нем отрицания над утверждением, отвращающегося чувства над любовью, надеждою, порывом. Эстетическое начало есть по существу своему пассивное; оно вызывает нас на созерцание, оно удерживает, отвращает нас от всего, что ему противоречит; но бросить нас на подвиги, жертву — вот чего оно никогда не может. Люди не соберутся в крестовые походы, они не начнут революции, не прольют крови... из-за Афродиты земной. И ее одну знал и любил истинно К. Леонтьев. Афродита Небесная, начало эстетическое в человечестве, — вот что движет, одушевляет, покоряет человека полно; за что он проливал и никогда не устанет проливать кровь. Леонтьев не имел в будущем надежд; но это оттого, что, заботясь о людях, страшась за них, он, в сущности, не видал в них единственного, за что их можно уважать, — и не уважал. Слепой к родникам этических движений, как бы с атрофированным вкусом к ним, он не ощущал вкуса и к человеку — иного, чем какой мог ощутить к его одежде, к красоте его движений... Странная пассивность всех отношений к действительности — что зовут его "реакционерством" — была уже естественным плодом этого. Любить сохранившиеся остатки красоты в жизни, собрать ее осколки и как-нибудь сцементировать — это

было все, к чему он умел призывать людей». Характеристика блестящая, но не вполне верная. В ней противопоставляется демократическое чувствование жизни и истории чувствованию аристократическому. У К. Н. было своеобразное аристократическое моральное отношение к жизни и истории, он не был только эстетом-аморалистом. Его доброе и участливое отношение к окружающим людям, к близким опровергает аморалистическое истолкование его личности. Он видел душу индивидуального человека, любил ее и заботился о ней. Это недостаточно принимают во внимание о. К. Аг<г>еев и С. Булгаков, неожиданно сошедшиеся в некоторых своих оценках Леонтьева. Закржевский пытается даже по-модному изобразить его сатанистом, что совсем уже неосновательно. К. Н. был жесток в своей политической философии, но не в жизни. Он очень нуждался и бедствовал, но был щедр и всегда готов прийти на помощь людям. Он любил брать на свое попечение. У него были «дети души» — слуги Варя и Николай, к которым он относился с трогательной заботой. Письма его наполнены любовным вниманием к интимной жизни Вари и Николая. Он входит в их мелкие заботы, он женит их, страдает их страданиями. У него было исключительно хорошее отношение к слугам, как к членам семьи. Вообще была деятельная любовь к ближнему. Он веселился, мучился, радовался и горевал за близких. У К. Н. совсем не было той притупленности чувств в отношении к человеческим радостям и страданиям, которая свойственна упадочному эстетизму. Он — страстный человек, исполненный сочувствия и внимания к отдельным человеческим душам. У него было очень доброе, терпеливое, сочувственное отношение к своей полоумной жене, от которой ему много пришлось страдать. Он предпочитал ее другим женам и покорно нес ниспосланное ему испытание, видя в этом высший смысл. Его мучила грязь жены. Это нелегко было выносить ему, зажмуривавшему глаза, когда он брал спичку и видел грязные ногти. До конца оставался он эстетом, но в нем сильна была и религиозная мораль. «Я бы мог, — пишет он Александрову, — привести Вам из собственной жизни примеры борьбы поэзии с моралью. Сознаюсь, что у меня часто брала верх *первая,* не по недостатку *естественной* доброты и честности (они были сильны от природы во мне), а вследствие *исключительно эстетического мировоззрения*... И если *наконец,* старея, я стал (после 40 лет) предпочитать мораль — поэзии, то этим я обязан, право, не годам, не старости и болезням, но *Афону,* а потом *Оптиной*... Из человека с широко и разносторонне развитым воображением только *поэзия религии* может вытравить *поэзию изящной безнравст-*

венности». И дальше он пишет: «Поэзия жизни обворожительна, мораль очень часто — увы! — скучна и монотонна... *Вера, молитва, Церковь, поэзия религии православной со всей ее обрядностью и со всем аскетическим "коррективом" ее духа* — вот единственное средство опоэтизировать прозу семейной жизни». Это обнаруживает очень серьезный нравственный характер в К. Н., огромную духовную работу и духовное борение. «Люблю я, грешный, все *земное,* прекрасное; но уже дожил до того, что и *не умею* уже предпочитать *небесному,* когда есть возможность выбора!» Моральное сознание К. Н. было трансцендентное, а не имманентное, не автономное. И он эстетически оправдывал эту трансцендентную мораль. Это — моральное сознание не только глубоко противоположное моральному сознанию Канта и Толстого, но и моральное сознание не вполне христианское. Это — определенный моральный тип, а не тип аморальный, как хотят по-модному изобразить Леонтьева. Но Леонтьев действительно мало чувствовал внутреннюю душевную жизнь народных масс в истории. Его аристократическому сознанию массы представлялись материалом. В этом Розанов прав.

В письмах К. Н. прорываются горькие жалобы на людей, на одиночество, на тяжелую судьбу свою под старость. Особенно интересны в этом отношении его письма к Ольге Сергеевне Карцовой, которой он был очень заинтересован. В одном письме он сравнивает себя с породистой собакой, которой переехали зад телегой. Он вспоминает такую собаку в Крыму. «Не лучше ли было бы ее убить? А человеку, который верит в загробную жизнь и уставы церкви, нельзя этого сделать. А напротив, нужно молиться, чтобы пожить и иметь время искупить, что нужно. И надо жить, биться на месте с переехаанным задом!.. Да еще мы нарочно приходили, чтобы дать ей поесть, а тут друзья не находят возможным заехать, чтобы бросить кусок *душевной пищи*». Ю. С. Карцову он пишет: «Что за дело вам и вообще сверстникам вашим, полным здоровья и огня, еще способным верить в свой ум, свою правоту и свою неудачу до какого-то растерзанного трупа, на которого вы случайно наткнулись на пути своем. Еще спасибо, хоть снисходительно написали, а другой бы и этого не сделал... Я до того в последние годы привык к лени, низости, зверскому эгоизму встречных людей, что всякая просто человеческая черта по отношению ко мне дивит и радует». К семье Карцовых у К. Н. было романтическое отношение, с семьей этой у него связывались поэтические ассоциации. Семья состояла из матери, двух сестер и брата-дипломата, которого К. Н. считал одним из умнейших людей. Жили они в Петербурге. О вечерах,

проведенных у Карцовых, К. Н. вспоминает с задушевным лиризмом и нежностью. «Я никогда не забуду, — пишет он одной из сестер, — ни вашей дружбы, ни вашей доброты, ни вашего блестящего уменья разговора, ни вашей лампы, ни Андрюши, милого и лукавого, ни крепа атласной мебели, пополам с серой, с красными пуговицами, ни ваших двух старших тигрят, ко мне, все-таки грешному, столь ласковых, ни арфы, ни котлет, ни всенощных бдений моих на Миллионной... Если помнишь сердцем какую-нибудь местность в любимой деревне, например лужок или цветник, то с улыбкой симпатии вспоминаешь даже и тряпку, которую обронила мимоходом между фиалками и розами прохожая старая баба». Эти письма очень характерны для интимной, душевно-сердечной стороны природы К. Н., для романтизма его чувств, для печали его по красоте жизни. Но так писать может лишь человек, близкий к состоянию влюбленности. Вот письмо к Ольге Сергеевне Карцовой, из которого ясно, что он мечтал об amitié amoureuse* и был разочарован. «Еще письмо от Вас, О. С.; и письмо немножко получше других... Простите мне мое разочарование. Я весной, уезжая в Любань, имел глупость мечтать о какой-то иной переписке. Вообразите, какой смешной в мои годы романтизм: я мечтал, что вот девушка молодая, такая умная, красивая и страстная и вместе с тем практическая... и вот человек усталый, измученный борьбой, человек пожилой, но которого ум не стареет, у которого и сердце еще пробуждается иногда при виде прекрасного. Они дружны, очень дружны. Отношения их безупречны... Ему уж так мало нужно. Он иногда уже рад и тому, что *жив* еще, что смотрит на людей, на природу, что хоть как-нибудь участвует в движении умов. Ей с ним весело и легко, гораздо веселее, чем с большинством этих ужасных казенных молодых людей, которые ее окружают. Они переписываются, они смеются вместе, жалуются друг другу откровенно, понятно и подробно, когда можно, на то, что им скучно, тяжело, они рассуждают о Боге, о жизни, о любви даже, о любви вообще. И это длится годами. Она выходит замуж по любви или иначе, но поэтическая дружба их остается от этого нерушимой. Никто, даже и муж, не может ничего сказать против этой приязни, в которой нет и тени укоризны и только одно благоухание чести и ума... Не правда ли, как глупо?.. А вы пишете то о свадьбе какой-то подруги, до которой мне нет дела, то о том, что в Германии лучше встречали войска. Впрочем, даю Вам слово, что все это я говорю в последний раз... Вы хотели

* дружеской влюбленности (*франц.*).

простоты, т. е. откровенности: вот вам откровенность. Раз и навсегда! Больше не буду так писать, а буду писать в другом смысле просто, т. е. бесцветно и сдержанно... Нет! Ольга Сергеевна, вы очень умны может быть, но есть целый мир мыслей и чувств, для вас недоступных. Поймете ли вы, напр<имер>, вот что: поймете ли хорошо, умом ясно, сердцем горячо; поймете ли вы меня, если я вам скажу, что мне ничего не проходит *даром*. Ничего не прощается так, как прощается многим другим...»

Сердечно К. Н. не был утолен; он и под старость чувствовал романтическую тоску. Слишком ясно из писем, что О. С. Карцова не была подходящим объектом. В письме есть горечь разочарования. Так до конца К. Н. и не встретил близкой женской души, которая утолила бы его романтическую жажду. По-видимому, интимно близким, самым близким ему человеком была племянница Марья Владимировна Леонтьева, но для суждения об этих отношениях мы не имеем почти никаких материалов. Особенное отношение было у К. Н. к Ю. С. Карцову. Он ему пишет: «Попросивши *вас,* именно вас, приехать ко мне на один день во всей вашей и моей жизни, я остальное предоставляю судьбе и законам печальной человеческой природы... Только в вас, мой юный и хитрый тигр-поэт, я нахожу сочетание тех качеств и тех пороков, которые мне нужны для этой моей цели. Только Вам я поверю одному и только вашему совету я последую в этом предприятии. Хотя до вас касаться нужно осторожно, чтобы не исколоть и не изрезать руки до крови, но зато ведь из вас же можно перегонять драгоценное розовое масло, которого из другого никакими машинами не выжмешь...» Большая часть писем К. Н. обвеяна печалью... Он не встречает того понимания в людях, которое хотел бы встретить, не встречает на своем жизненном пути той любви, какую ему нужно было встретить. Ни глубокой любви, ни глубокой дружбы не выпадает на его долю. Он не познал духовной атмосферы поистине близких и до конца понимающих его людей. Он говорит про себя: «Я люблю работу мысли; но мне кажется, что я еще больше люблю *восхищаться,* люблю *адмирацию*». Такой натуре нужно было горячее общение с людьми, утоление душевных и сердечных потребностей. На некоторых людей, особенно молодых, К. Н. производил неотразимое впечатление. И. Колышко [28] так описывает впечатление, которое он производил: «Сухой, жилистый, нервный, с искрящимися, как у юноши, глазами, он обращал на себя внимание и этой внешностью своею, и молодым, звонким голосом, и резкими, но всегда грациозными движениями. Ему никак нельзя было дать 50 лет. Он говорил, или, вернее, импровизировал,

о чем — не помню. Вслушиваясь в музыку его красивого ораторского слога и увлекаясь его увлечениями, я едва успевал следить за скачками его беспокойной, как молния сверкавшей и извивавшейся мысли. Она как бы не вмещалась в нем, не слушалась его, загораясь пожаром то там, то сям и освещая далекие темные горизонты в местах, где менее всего ее можно было ожидать. Это была целая буря, ураган, порабощавший слушателей. Мне даже казалось, что он рисуется, играет своим обаянием, но не слушать его я не мог, как не мог не поражаться его огромной силой логики, огненности воображения и чем-то еще особенным, что не зависело ни от ума, ни от красноречия, но что было, пожалуй, труднее того и другого... Это что-то я иначе не могу назвать, как благородной воинственностью его духа и блестящей храбростью его ума...» И такой человек все-таки не оказал почти никакого влияния. Но был один человек, отношения с которым имели для К. Н. исключительное значение. Это был Вл. Соловьев. Отношения эти заслуживают специального рассмотрения.

IV

Встреча К. Леонтьева с Вл. Соловьевым, тоже одиноким, непонятым и опередившим свое время мыслителем, была самой значительной встречей его жизни. Они были разные люди, очень непохожие по своему умственному складу, по характеру своего образования, по интимной, душевной индивидуальности своей. Вл. Соловьев был метафизик, прошедший немецкую философскую школу, отвлеченный богослов и схоластик, гностик с оккультными склонностями, интимный поэт, посвятивший стихи свои небесной эротике, и политический публицист, склонный к гуманитарному либерализму и к слишком иногда прямолинейному применению христианства к общественности. Построения Вл. Соловьева были слишком гладки, слишком рационализированы, слишком ясны. В нем же самом было что-то неясное, не до конца раскрытое, недоговоренное. Он был один из самых загадочных русских людей, не менее загадочных, чем Гоголь, более загадочных, чем Достоевский. Достоевский в своем творчестве раскрыл себя, все свои противоречия, свое небо и свой ад, своего Бога и своего диавола. Соловьев же не раскрыл, а прикрыл себя в своих произведениях. Его нужно разгадывать по намекам, по отдельным строчкам, по интимным стихам. К. Леонтьев был натуралист, прошедший школу естественных наук, художник, беллетрист и эстет, совсем не гностик, без сложных созерцательно-познавательных запросов, политический мыслитель и публи-

цист очень сложной и углубленной мысли, для которого вопрос об отношении христианства к общественности ставился сложнодуалистически. У Вл. Соловьева была абстрактная и иногда обманчивая ясность мышления, что-то скрывающая и прикрывающая; у К. Леонтьева была конкретная, художественная ясность мышления, раскрывающая всю сложность его природы и его запросов. Как писатель Вл. Соловьев не художник, как человек не эстет. Лишь в лирических стихах умел он выразить свою интимную романтику. К. Леонтьев — сложная, яркая, единственная в своем своеобразии натура, но совсем не загадочная. Он — ясный в своем добре и в своем зле. Вл. Соловьев весь — неясный и загадочный, в нем много обманчивого. О. Иосиф Фудель, близко знавший К. Н., в своей интересной статье «К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях» очень верно говорит: «К. Леонтьев имел обыкновение высказываться в разговоре или печати *больше* и дальше того, что он на самом деле думал. Это тоже сыграло печальную роль в судьбе Леонтьева. Его страсть к парадоксам делала из него какое-то пугало для людей, не знавших его; а его *преувеличения* в области душевных излияний до сих пор окружают его *темным* ореолом какой-то исключительной безнравственности. Совершенно обратное явление представляет Соловьев. Он никогда не высказывал печатно всего того, что думал или говорил в кругу друзей». Во взаимных отношениях Леонтьева и Соловьева, в их романе, у Леонтьева более открытое, искреннее и горячее отношение к Вл. Соловьеву, чем у Соловьева к нему. К. Н. не только горячо полюбил Вл. Соловьева, но влюбился в него. Вл. Соловьев был самым большим пристрастием его жизни, для него он готов был сломить некоторые свои идейные симпатии. Он имел огромное на него влияние, быть может единственное в его жизни по своей силе. Слишком многое должно было отталкивать К. Н. в складе мыслей Вл. Соловьева, но он преодолел это отталкивание. К. Н. пишет: «Я его *очень* люблю лично, сердцем; у меня к нему просто физиологическое влечение». Это — влюбленность. К. Н. находился под обаянием Вл. Соловьева. Соловьев же относился к К. Н. с любовью, высоко ценил его, но в его отношении есть осторожность, оглядка, сдержанность, нет вполне отдающего себя порыва. Оба они чувствовали, что их соединяет какая-то общая, новая мука о России, что они открывают какой-то новый период нашей мысли, но поразному переживают это. Оба они были одинокие мыслители и мечтатели, не понятые своим временем. К. Н. пишет о. И. Фуделю о Соловьеве: «Что он — гений, это несомненно, и мне самому нелегко отбиваться от его “обаяния” (тем более что мы сердечно

любим друг друга); но все-таки надо отбиваться; надо признавать всякую гениальность, но не всякой подчиняться». И Соловьев высоко ценил К. Н. Он находит его «умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского». Он говорит К. Н.: «Я хочу напечатать в "Руси" Аксакова, что — нужно большое *бесстрашие,* чтобы в наше время говорить о *страхе* религиозном, а не об одной любви». К. Н. жалуется, что Соловьев сказал это, но не напечатал. Вообще, в то время как К. Н. всегда восторженно говорит и пишет о Вл. Соловьеве, Соловьев очень сдержан, не пишет о нем, как предполагал, не высказывается по существу. Серьезной критики К. Н. так и не дождался от Соловьева, хотя более всего ждал именно его критики и более всего ею дорожил. К. Н. делает Соловьева судьей в своем споре с Астафьевым по национальному вопросу. Но Вл. Соловьев сдержан и уклоняется. К. Н. с горечью говорит, что Соловьев его «предает» своим молчанием. Написанная потом статья Вл. Соловьева о К. Леонтьеве, хотя и оценивает его довольно высоко, но сдержанна и суха, она не проникает в глубь «проблемы Леонтьева». У Вл. Соловьева не было той способности «восхищаться», которая была у Леонтьева. К. Н. восклицает: «Но лучше я умолкну на мгновение, и пусть говорит вместо меня Влад. Соловьев, человек, у которого "я не достоин ремень обуви развязать", когда дело идет о религиозной метафизике и о внутреннем духе общих церковных правил». К. Н. совершенно лишен был всякого чувства соревнования, авторского самолюбия, зависти. Это — очень благородная и редкая в нем черта. Он был резким и крайним в отношении к идеям и мягким и деликатным в отношении к отдельным людям. Вл. Соловьев, наоборот, любил сглаживать крайности и противоречия в идеях, в личной же полемике был резок и беспощаден. Полемика Вл. Соловьева против славянофилов, против Данилевского и Страхова возмущала К. Н. и по существу, и по тону. Это было тяжелое испытание для его дружбы с Соловьевым. Но любовь его к Соловьеву выдержала это испытание. В ответ на запрос о. И. Фуделя, не поссорился ли он с Соловьевым, когда встретился после того, как они долго не виделись, К. Н. отвечает: «Не только не поссорились, но все обнимались и целовались. И даже больше он, чем я. Он все восклицал: "Ах, как я рад, что Вас вижу". Обещал приехать ко мне зимою. Да я не надеюсь».

Вл. Соловьев оказал большое влияние на К. Леонтьева в вопросе о будущем России, он пошатнул его веру в возможность в России самобытной, не европейской культуры. Мирился К. Н. и с тяготением Вл. Соловьева к католичеству. Но он не мог выне-

сти статьи Вл. Соловьева «Об упадке средневекового миросозерцания». Этого испытания его дружба к Соловьеву не выдержала. Он не мог ему простить сближения христианства с гуманитарным прогрессом и демократией — это уже посягало на святое святых К. Н., на самое интимное в его религии и эстетике. Страстная любовь к Вл. Соловьеву переходит в страстную вражду, вражду, на какую способен лишь влюбленный. Эта вражда отравила последние дни жизни К. Н. Перед смертью его более всего мучило отношение к Вл. Соловьеву. Он не находит уже в себе сил возражать на статью Соловьева, в которой видит измену святыням, уступку духу либерально-эгалитарного прогресса. «Перетерлись, видно, "струны" мои от долготерпения и без *своевременной* поддержки... Хочу поднять крылья и *не могу*. Дух отошел. Но с самим Соловьевым я после этого ничего общего не хочу иметь». Со свойственной К. Н. страстностью он предлагает добиться высылки Соловьева за границу и вырабатывает целый план гонения на него. Он его подозревает в неискренности. В письмах он называет Соловьева «сатаной» и «негодяем». Он предлагает духовенству возвысить голос против Соловьева. Хочет, чтобы митрополит сказал проповедь против смешения христианства с демократией и прогрессом. Он разрывает фотографию Соловьева. В столкновении Леонтьева с Соловьевым чувствуется бессилие. Его смущает Соловьев, так смущает, как не смущал никто еще в жизни. Он во многом покоряется ему. И во многом Соловьев был более прав. Он требовал осуществления христианской правды в общественной жизни. Но в чем-то последнем К. Н. не уступает Соловьеву. Столкновение и распря К. Леонтьева и Вл. Соловьева не разрешилась при жизни Леонтьева. Сначала Соловьев был сильнее Леонтьева и влиял на него. Но под конец жизни Вл. Соловьева стал побеждать дух Леонтьева, леонтьевский пессимизм по отношению к земной жизни, к истории. К. Леонтьев раньше Вл. Соловьева почуял победу антихристова духа. Сначала Леонтьев разочаровался в своем идеале русской самобытной культуры. Потом Соловьев разочаровался в своем идеале вселенской христианской общественности. Оба они подошли к темному пределу истории, к бездне. И взаимоотношения их для нас очень поучительны.

V

В последние годы своей жизни К. Н. тяжело переживал почти полное отсутствие литературного и идейного влияния, неуспех, непонимание, выпавшие на его долю. Он видел в этом за-

гадку своей личной судьбы и называл это своим fatum'ом. Он переживал это религиозно и видел в этом внутренний смысл. Он чувствовал, что «есть в его судьбе нечто особое». «Признавать мне себя недаровитым или недостаточно даровитым, "не художником" это было бы ложью и натяжкою. Это невозможно. Этого я никогда ни от кого не слыхал. Такого решения и смирение христианское вовсе не требует... Многие люди могли бы сделать много для моего прославления; они, видимо, сочувствовали мне, даже восхищались; но сделали очень мало. Неужели это явная недобросовестность их или мое недостоинство? Да! Конечно, недостоинство, но духовное, греховное, а не собственное умственное или художественное. Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл Его; вот как я приучил себя понимать свою судьбу. Не будь целой совокупности подавляющих обстоятельств, я, быть может, никогда бы и не обратился к Нему... Не нужен, не "полезен" мне был при жизни такой успех, какой мог бы меня удовлетворить и насытить. Достаточно, видно, для меня было "среднего" succés d'estime *, и тот пришел тогда, когда я стал ко всему равнодушнее... И, убедившись в том, что несправедливость людей в этом была только орудием Божьего гнева и Божьей милости, я давно отвык поддаваться столь естественным движениям гнева и досады на этих людей». «Может быть, после моей смерти обо мне заговорят, а вероятно, теперь на земле слава была бы мне не полезна, и Бог ее мне не дал». И он чувствует, что все складывается в этом отношении фатально. Он замечает, что разные обстоятельства мешают появлению статей о нем. Люди, в личном общении высоко ценившие его произведения и его идеи, так и не пишут предполагавшихся статей о нем. Он ждал, что историки подтвердят его учение об упростительном смешении. Но историки не заинтересовались им. Вполне равнодушным к этому он быть не мог. Его огорчало невнимание к его идеям, и в письмах он часто возвращается к этой теме с большой горечью. «Несколько хороших, строгих даже и справедливых, критических статей, при *сердечном* ко мне равнодушии, больше бы меня утешили, чем эта личная любовь без статей... Приближаясь все более и более к последнему дню расчета со всем земным, хотелось бы знать наконец, стоят ли чего-нибудь твои труды и твои мысли или ничего не стоят!.. Мне *самому, для себя* нужна была честная и строгая критика!» И его начинает раздражать, что Вл. Соловьев «все обнимает и целует и говорит: ах! как я рад Вас видеть!» У него является сомнение, ему начинает казаться, что

* умеренный успех (*франц.*).

писать не стоит. «В мои годы писать прямо и преднамеренно для печати, какая, скажите, может быть особая охота, если не видеть сильного сочувствия, если не *ощущать* ежедневно своего влияния». О своей статье «Анализ, стиль и веяние» он пишет Александрову в предположении, что она не будет принята в журнал в том виде, как написана: «Если "нет" — подарю Вам на память о человеке, который за все брался и ничем никому, кроме 3–4 человек, не угодил. Да и то больше благодаря личному знакомству!». «Я же *теперь, по предсмертному завету* моего великого учителя, буду писать впредь или по *нужде* (денежной), или по *большой* уж охоте, которой быть не может у 60-летнего человека, давно уже утомленного молчаливым презрением одних и недостойным предательством других». Все это звучит очень горько. К. Н. не был человеком с большим самолюбием, в нем не было чрезмерно развитого литературного честолюбия. Но есть предел невнимания. Писатель, сознающий свое призвание, не может чувствовать себя в пустыне, не может примириться с тем, что слов его никто не слышит. Новые поколения должны были прийти, чтобы К. Н. оценили и начали понимать его. По складу своего характера и по психологии своей К. Н. до конца оставался барином и не мог сделаться профессиональным литератором. Он писал по вдохновению или по внешним побуждениям. Но вдохновение его слабело от его fatum'а, от рокового непризнания и невнимания. В литературной судьбе К. Н. есть что-то типическое для одинокого, оригинального мыслителя, совершающего путь свой в стороне от больших дорог, на которых располагаются все «лагери» и все «направления». Влияние таких писателей, как Леонтьев, иначе определяется, чем влияние таких писателей, как Катков и И. Аксаков. В таком же положении был и Вл. Соловьев, который достиг признания и оценки лишь своих статей по национальному вопросу, несущественных для главного дела его жизни [29].

VI

Очень интересно и характерно отношение К. Леонтьева к русской литературе и русским писателям. Он был тонким критиком, для своего времени очень своеобразным, не похожим ни в чем на тех русских «критиков», которые долгое время были у нас властителями дум. К. Н. более интересовался эстетикой жизни, чем эстетикой искусства. Для эстета писал он об искусстве и литературе мало. В его творчестве и в его жизни не видно, чтобы он существенно жил интересами искусства и литературы

и искал в них восторгов и выходов из уродства жизни. От уродства жизни он бежал прямо в монастырь, а не в искусство. Красоты же он долгое время искал в политике и в истории, хотя пережил в этих своих исканиях одни горькие разочарования: он сам признается, что в политике он смелее, чем в эстетике. Для него «государство дороже двух-трех лишних литературных звезд». Он даже решается со свойственным ему радикализмом прямо сказать, что «в наше смутное время, и раздражительное, и малодушное, Вронские гораздо полезнее нам, чем великие романисты», т. е. полезнее самого Л. Толстого. Он искал жизни, а не «отражений жизни». И жизненное значение искусства он недооценивал. Из критических статей его наиболее замечателен этюд о романах Л. Толстого «Анализ, стиль и веяние». Это очень тонкий, по стилю несколько старомодный этюд. Для своего времени статья эта очень своеобразна и замечательна. В то время у нас еще царила утилитарная критика и самоценность искусства не признавалась. Еще в 60-е годы К. Н. провозгласил самоценность искусства и красоты и отстаивал права эстетической критики. Еще в 1860 году он писал в «Письме провинциала к Тургеневу»: «Если в творении нет истины прекрасного, которое само по себе есть факт, есть самое высшее из явлений природы, то творение падает ниже всякой посредственной научной вещи, всяких поверхностных мемуаров». В самых первых критических опытах К. Н. намечается возможность формальной эстетической критики. Моралистическая и общественно-утилитарная критика литературных произведений совершенно противна его эстетической природе. Формальная эстетическая критика, которой хотел К. Н. и которую пробовал осуществлять, не могла быть услышана и понята в 60-е, 70-е, да и 80-е годы. Он был предшественником нового литературного поколения, признавшего самоценность красоты. «Анализ, стиль и веяние» и есть первая и единственная в своем роде попытка подвергнуть романы Л. Толстого тонко-аналитической, формально-эстетической критике. Л. Толстого как романиста К. Н. очень любил и высоко ценил, особенно «Анну Каренину». Его пленяло, что Толстому принадлежит «инициатива восстановления эстетических прав высшего общества». У него были исключительные симпатии к Вронскому и князю Андрею как к мужественно-аристократическим типам, способным быть государственными деятелями. Очень тонко анализирует он несоответствие «Войны и мира» исторической эпохе и отдает предпочтение «Анне Карениной» как более совершенному художественному произведению. Пушкин, по мнению К. Н., вернее передает «веяние» эпохи. «Взыскательному цени-

телю, для наивысшей степени его эстетического удовлетворения, дороги не одни только *события,* ему дорога еще и та *общепсихическая музыка,* которая их сопровождает; ему дорого *веяние* эпохи». Во времена К. Леонтьева в русской литературе не слышно было таких слов, как «общепсихическая музыка». Он упредил свое время, предвосхитил настроение начала XX века. Очень тонки такие его определения: «Язык, или, общее сказать, постаринному *стиль,* или, еще иначе выражусь, манера рассказывать, — есть вещь внешняя, но эта внешняя вещь в литературе то же, что лицо и манеры в человеке: она — *самое видное,* наружное выражение *самой внутренней,* сокровенной жизни духа. В лицах и манерах у людей выражается несравненно больше бессознательное, чем сознательное; натура или выработанный характер больше, чем ум». Он утверждает субъективный подход к эстетической критике: «Эстетическая критика, подобно искреннему религиозному рассуждению, должна неизбежно исходить из живого *личного* чувства и стараться лишь оправдать и утвердить его логически... Там — личная *вера* прежде, общие подтверждения — после; здесь *субъективный вкус* сначала — разъяснения после». Для эстетической критики необходима эстетическая организация, не всякий может быть критиком. Необходима эстетическая восприимчивость. У нас же были критиками люди с атрофией эстетического вкуса.

По своей эстетической организации, по своим эстетическим вкусам К. Н. был скорее европейцем, чем русским. И самый эстетический вкус его к Востоку был западноевропейским, а не русским вкусом. Тут мы сталкиваемся с такой стороной К. Леонтьева, которая сразу может смутить и показаться не вполне понятной. К. Н. не особенно любил русскую литературу, не особенно ценил ее, не был поклонником ее стиля. В русской литературе его многое шокировало, казалось антиэстетическим. «Я все-таки нахожу, что в некоторых отношениях наша школа просто *несносна,* даже и в лице высших своих представителей. *Особенно несносна она со стороны того, что можно назвать в отдельных случаях прямо языком, а в других общее: внешней манерой или стилем*». Его отталкивает пристрастие русской литературы к уродству, нелюбовь к красоте. «У нас просто боятся касаться тех сторон действительности, которые идеальны, изящны, красивы. Это, говорят, не по-русски, это не русское! Живописцы выбирают всегда что-нибудь пьяное, больное, дурнолицее, бедное и грубое из нашей русской жизни. Русский художник боится изобразить красивого священника, почтенного монаха; нет! ему как-то легче, когда он изберет пьяного попа,

грубого монаха-изувера. Мальчики и девочки должны быть все курносые, гадкие, золотушные; баба — забитая; чиновник — стрекулист; генерал — болван и т. д. Это, значит, *русский тип*». Ему противно *отрицательное* направление русской литературы, которое он видит у великих русских писателей начиная с Гоголя. Его раздражает и отталкивает и морализм русских писателей, и их натурализм. В натурализме он обвиняет и Л. Толстого. Себя он называет «эстетическим мономаном, художественным психопатом». Он не выносит грубости и вульгарности в художественных произведениях. Не нравится ему и склонность русских писателей к психологическому анализу. «До смерти надоело это наше всероссийское "ковыряние" какое-то... И я ведь — воспитанник той же школы, но только протестующий, а не благоговеющий безусловно». Настоящему художнику, по его мнению, дороги выразительность и яркость. Он восторгается «многообразно-чувственным, воинственным, демонически пышным гением Пушкина». По вкусам своим он был человеком Возрождения, и русская литература казалась ему мрачной и тяжелой, не радующей, не ренессансной. Его огорчает порча стиля в русской литературе. И он с любовью вспоминает старых художников, особенно европейских. «Я нахожу, что старинная манера повествования *реальнее* в хорошем значении этого слова, т. е. правдивее и естественнее по основным законам нашего духа». Он хотел бы вырваться из рамки русской литературной школы. «Большинство у нас, — пишет он Александрову, — из рамки такого рода выйти *теперь еще* не могут:

Гоголь

Тургенев [ ] Достоевский

Толстой.

А я хочу разбить и сломать эту рамку!» «Надо с себя хотя бы на время свергнуть иго гоголевской школы, от которой и Лев Толстой освободиться не мог... Постарайтесь достать "Лукрецию Флориани" Жорж Санд. Вот высокая простота рассказа. Хотя, конечно, и совсем не христианская; но ведь и Венера Милосская не была иконой Богоматери — однако прекрасна». К. Н. любил цветущее, языческое искусство, эстетически любил все, что проникнуто духом Возрождения. Христианство же он любил исключительно монашеское, аскетическое. Русская литература была полна моральными христианскими мотивами, которые, по его мнению, не представляли ни настоящей цветущей культуры, ни настоящей религиозной христианской жизни. Или — Венера

Милосская, Возрождение, Пушкин, или — Афон, Оптина Пустынь, старец Амвросий. Больше других К. Н. любил Тургенева, любил Толстого, хотя и видел в нем порчу, признавал Писемского и превозносил выше меры Б. Маркевича. Но он не любил Гоголя, видел в нем источник порчи русской литературы и совсем не ценил Достоевского. Тут мы встречаемся с ограниченностью К. Н., с самым слабым его местом.

Гоголя К. Леонтьев считал родоначальником натуралистического и отрицательного направления в русской литературе. В этом была его коренная ошибка, которую он разделял со многими. Он не понимал характера гоголевского творчества, оно представлялось ему уродливым, он видел в нем истребление красоты. Еще в молодости, когда Гоголь был жив, у него не было желания видеть его. «За многое питал к нему почти личное нерасположение. Между прочим, и за “Мертвые души” или, вернее сказать, за подавляющее, безнадежно прозаическое впечатление, которое производила на меня эта “поэма”... Во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит *поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством ее литературных отражений!*» К. Н. любил не только красоту, но и красивое, и его отталкивали уроды и чудовища гоголевского творчества. Он не почувствовал странности и загадочности гоголевского творчества, которое должно было породить такие замечательные явления современной литературы, как творчество А. Белого. Из Гоголя же вышли Ф. Сологуб и А. Ремизов. Его беспокоило и отталкивало, что «Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож, или то, отчего это у него ни одна женщина в повестях на живую женщину не похожа: или это старуха вроде Коробочки и Пульхерии Ивановны, или какая-то тень, вроде Анунциаты и Оксаны; какое-то живописное отражение *красивой плоти,* не имеющей *души*». Тут К. Н. чувствует какую-то жуткость гоголевского творчества, но не умеет осмыслить этого своего чувства, не умеет понять, в чем тут дело. В творчестве Гоголя был уже поколеблен органически цельный образ человека. Гоголь — фантаст, он видит чудовища, а не людей. Он совсем не реалист. В его художественных восприятиях есть что-то, родственное художественному кубизму Пикассо. Но он один из самых совершенных русских художников, достигавший красоты в изображении зла и уродства. Это было вне поля зрения К. Н., воспитанного на старой эстетике.

Еще больше разочаровывает отрицательное и враждебное отношение К. Леонтьева к Достоевскому. Он пишет Александрову о Достоевском: «Мне похвалить его вовсе не легко: я его “урод-

ливых" романов терпеть не могу; хотя и понимаю их достоинства». Казалось, К. Н. должен был чувствовать родство с Достоевским — у него самого было трагическое чувство жизни, был сложный религиозный путь. Но он говорит о Достоевском такими словами, которые трудно ему простить, недостойными словами: «Во всяком случае, уж и то великая заслуга "Войны и мира", что там трагизм — трезвый, здоровый, не уродливый, как у стольких других писателей наших. Это не то, что у Достоевского, — трагизм каких-то ночлежных домов, домов терпимости и почти что Преображенской больницы. Трагизм "Войны и мира" полезен: он располагает к военному героизму за родину; трагизм Достоевского может, пожалуй, только разохотить каких-нибудь психопатов, живущих по плохим меблированным комнатам». В этих неприятных словах одного из самых замечательных русских мыслителей о величайшем русском гении чувствуется дурная аристократическая брезгливость и внешний эстетизм, закрывающий возможность проникнуть в духовную глубину. Внешний эстет побеждает у К. Н. психолога. Его отталкивает в творчестве Достоевского вульгарность и уродство, отсутствие изящества и красоты или, вернее, красивости. Он чувствует в нем демократа и филантропа. Это то, что К. Н. менее всего способен был простить. Он ставит Достоевского значительно ниже Толстого и готов преувеличить на счет Достоевского значение не только Писемского, но и Маркевича. Творчество Достоевского было отнесено им к некрасивому, и он не мог проникнуть в его тайны. Он эстетически не мог простить Достоевскому, что герои его — «психопаты». Он не чувствовал, что Достоевский открыл совершенно новую, небывалую красоту. «Публициста и моралиста я ценю в Достоевском несравненно выше, чем повествователя. "Дневник писателя" — не во гневе будь сказано поклонникам покойного романиста — для меня во сто раз драгоценнее всех его романов». Тут мы встречаемся с границами духовной организации К. Н., которые он не мог переступить. Что-то очень глубокое было ему недоступно. Нужно только понять, откуда взялась эта ограниченность в суждениях о Достоевском. Эстетический и религиозный склад К. Н. закрывал для него бесконечный мир Достоевского и все его великие откровения духа. По эстетическому своему складу он был человек Возрождения, любил красоту и красивость, любил силу жизни и цветение жизни, был аристократом и питал отвращение к тому разрыхлению и размягчению души, в котором теряется всякая форма. По религиозному же своему складу он был в суровом византийском православии, любил исключительно монашеский аскетизм, был пессимистом, от-

вращавшимся от всех земных надежд. Такой духовный склад должен был мешать ему подойти к Достоевскому. «Считать "Братьев Карамазовых" православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. Отцов и старцев Афонских и Оптинских». К. Н. был близок со старцем Амвросием и решительно заявляет, что старец Зосима выдуман Достоевским, ничего общего не имеет с Амвросием и взят не из православия. Он резко нападает на «розовое» христианство Достоевского. Он приписывает это «розовое» христианство филантропическим и гуманистическим склонностям Достоевского и считает его малоопытным в религиозных делах. «Достоевский мог по своей субъективной натуре вообразить, что он представляет нам реальное православие и русское монашество в "Братьях Карамазовых". Для Достоевского его собственные мечты о *небесном* Иерусалиме на *этой земле* были дороже как жизненной правды, так и истинных церковных нравов». К. Н. фактически был прав: старец Зосима имел мало общего со старцем Амвросием, он другого духа. Но ведь все творчество Достоевского носило не реалистический, а пророческий характер. Пророческий же дух был чужд К. Леонтьеву. К. Н. так далеко заходит в отрицании Достоевского как религиозного психолога, что отдает предпочтение Золя: «Творчество Золя (в "Проступке аббата Муре") гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сентиментальное сочинительство в "Братьях Карамазовых"». Пророческая религиозность «Братьев Карамазовых» была закрыта для К. Н. Но он был прав в своем утверждении, что Достоевский не отражал действительного русского православия, традиционного православного монашества, а творил новое. К. Н. хотел написать роман и в нем изобразить свое обращение, но так и не осуществил этого плана. «Хочется, чтобы и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности, стал верующим христианином и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно сатанинскую когда-то фантазию». Этот роман изобразил бы традиционную религиозную психологию — искание личного спасения. Достоевский же изобразил искание новой земли и нового неба, нового человечества, был человеком нового религиозного сознания.

К. Н. был эстет, он любил красоту и чувствовал красоту. Но эстетический вкус его не был безупречен. В нем не было настоящей утонченности западных эстетов. Его эстетическая культура

не была достаточно высока. Выбор книг для чтения не отличался у него особенной изысканностью. Наиболее компрометирует вкус К. Н. то, что он любил стиль эпохи Александра III и спосособен был восхищаться им. Но ведь стиль эпохи Александра III был верхом безвкусия, упадком, смертью старой красоты, симптомом крушения русской монархии. Все, что было выстроено в эту эпоху, отличается исключительным безвкусием и уродством. Весь дух этого царствования лишен красоты. В критических оценках К. Н. ему иногда изменяет вкус. Так, напр<имер>, слишком большие восторги перед Б. Маркевичем не свидетельствуют о безошибочности вкуса. Является даже подозрение, что К. Н. восхваляет Маркевича как романиста за его консервативное направление. Но это то же самое, что восхвалять художника за его прогрессивное направление. Есть недостаток вкуса и в «русской поддевке», которую К. Н. носил из эстетического протеста против Запада.

Очень характерна для эстетизма К. Н. статья «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве», недавно напечатанная в «Русской мысли». Ап<оллон> Григорьев —замечательный и еще мало оцененный русский критик. У А. Григорьева, подобно самому себе, К. Н. видит искание самой жизни. А. Григорьев не был близок со славянофилами, которые относились к нему подозрительно. Он был выразителем иной русской стихии, стихии разгульной и чувственной. К. Леонтьев явно более сочувствовал Григорьеву, чем славянофилам с их добрыми семейными нравами. Поэзия разгула и женолюбия, по его мнению, таится в самых недрах русского народа. К. Н. влекло к А. Григорьеву его менее строгое отношение к женскому вопросу, чем отношение славянофилов, а также его более теплое отношение к европейскому прошлому. Бытовые добродетели славянофилов были чужды К. Н. Он был более церковен и более православен, чем славянофилы, но исключительно в монашеско-аскетическом духе. Ему, как и А. Григорьеву, страшна была безличность, а не порок. Вообще в К. Н. не было солидности и академичности, не было бытовой устроенности и слишком большого бытового благообразия, как у славянофилов. Он был шипучий человек. Он не советует А. Александрову делаться профессором, так как профессура несовместима с поэзией. Когда Александров женится на женщине круга, ниже его стоящего, К. Н. в письмах неустанно преподает эстетические советы и заботится о том, чтобы жена была comme il faut. Сам К. Н. был поэт жизни и монах, никаких других жизненных перспектив у него не было. Кроме поэзии и монашества, он ничего не любил и не искал. Вот как описывает

К. Н. свою радость жизни в письме к Е. С. Карцовой: «Скоро я буду наконец у себя, в моей милой деревне, где петухи даже не смеют кричать громко, когда я пишу, где племянница обходит задами флигель мой, опасаясь нарушить поэзию мою тем, что может что-нибудь в походке ее мне в эту минуту покажется некрасивым и мое созерцательное блаженство будет чуть-чуть нарушено... Опять зелень двора моего, опять столетние вязы над прудом; опять 13-летняя Варька в красивом сарафане, которая подает мне прекрасный кофе, и все по-моему, на японском подносе, и все там стоит, где я хочу, и лежит там, где я желаю... Опять всенощная на дому по субботам... И шелест бесподобных рощ, и свирельки, и цветы полевые, и свидания с оптинскими старцами». В этом описании чувствуется весь Леонтьев.

ГЛАВА V

Учение о миссии России и славянства. Самобытный тип культуры. Критика национализма. Византизм. Неверие в русский народ. Предсказания о русской революции

I

Вопрос о России, о ее судьбе, о ее призвании в мире всегда был центральной темой размышлений К. Леонтьева. Он мучился о России. И у него было своеобразное учение о России, не похожее ни на учение славянофильское, ни на учение западническое. Взгляды К. Н. на будущее России претерпели большое изменение. Они были сначала оптимистическими, он был полон надежд и не свободен от иллюзий. Под конец взгляды эти сделались очень пессимистическими. Он доживал свою жизнь в состоянии почти полной безнадежности. Он не побоялся взглянуть действительности прямо в глаза и отказался от мечты всей своей жизни, разбил все свои надежды, уничтожил все иллюзии. У него было истинное бесстрашие, бескорыстие и свобода мысли. К. Н. принужден был изменить фактическую оценку, но он остался верен своему принципу. У него было очень оригинальное учение о национальности, заслуживающее серьезного внимания. Он не только не был националистом, как это может показаться на первый взгляд, но он был идейным врагом национализма. Племенное, кровное начало не имело для него самодовлеющего значения, и он относился к нему подозрительно. Подобно Вл. Соловьеву, он был универсалистом. В основе для него лежали универсальные начала, идеи, которые владеют национальной сти-

хией и ведут к национальному цветению. Разложение и падение этих идей ведет к разложению и падению нации. Для Вл. Соловьева такой универсальной идеей была по преимуществу римская идея, для К. Леонтьева — византийская идея. Он верил не в Россию и не в русский народ, а в византийские начала, церковные и государственные. Если он верил в какую-нибудь миссию, то в миссию византизма, а не России. И миссия эта была мировая. Византизм — мировое, а не национальное начало. Националистического партикуляризма у Леонтьева нет. Без организующего и оформляющего действия мировых византийских начал русский народ — ничтожный и дрянной народ. В русский народ К. Леонтьев не верил, не верил с самого начала. Он относился в высшей степени подозрительно ко всякой народной стихии. Народная стихия есть лишь материал, который должен обрабатываться не народом, а универсальными началами, великой идеей. В*ажен не народ, а великая идея, которая владеет народом*. Церковные и государственные начала для К. Н. выше национальных. Это совсем не славянофильская постановка проблемы. «Я не понимаю французов, которые умеют любить *всякую* Францию и *всякой* Франции служить... Я желаю, чтобы отчизна моя достойна была моего уважения, и Россию *всякую* я могу разве по *принуждению* выносить». Он предвидел уже возможность такой России, которую он не будет любить и лишь по принуждению будет выносить. Либерально-демократической и атеистической России он любить не хочет. *Идея для него дороже России*. В этом он родствен Вл. Соловьеву, хотя идея его была иная. Леонтьев и Соловьев явились на почве упадка и разложения славянофильства. Они живут в эпоху разрушения бытового уклада, вспоившего старых славянофилов. У К. Н. уже не столько органическое, сколько эстетическое восприятие русского народного быта. Эстетизм К. Н. и есть показатель того, что он был упадочником в славянофильской полосе мысли. Его философия есть философия отчаяния. Славянофильская же философия была благодушна. Резко расходился К. Н. со славянофильской школой и в своем отношении к Европе. Он никогда не думал, что в самих истинах европейской истории и европейской культуры (католичество, феодализм) были ложные и гнилостные начала, которые делают Европу низшим культурно-историческим типом. Несмотря на византизм, ему чужда была та идея, что истинна и высока лишь цивилизация, основанная на православии, и низка и ложна цивилизация, основанная на католичестве. Никогда не восставал он против аристократизма Западной Европы, против ее рыцарства, как восставали славянофилы. Он ненавидел лишь

современную, либерально-эгалитарную Европу, лишь торжество мещанства. Это совершенно другая постановка вопроса, чем у славянофилов. «Пока у Запада есть *династии,* пока у него есть хоть какой-нибудь порядок, пока остатки прежней великой и благородной христианской и классической Европы не уступили места грубой и неверующей рабочей республике, которая одна в силах *хоть на короткий срок* объединить весь Запад, до тех пор Европа и не слишком страшна нам и достойна и дружбы, и уважения нашего». Восток и Россию он ценил лишь потому, что надеялся, что они остановят торжество безбожия и демократического мещанства. «Если Запад впадет в анархию, нам нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасать и в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь, какую бы то ни было, государство, остатки поэзии, быть может... и *самую науку!*.. (не тенденциозную, а *суровую*, *печальную*)». В этих словах нет никакой национальной исключительности. К. Н. совершенно не разделял обычных взглядов славянофильской школы на западную историю. Он высмеивает полемику славянофилов против западного двоевластия, против образования власти путем завоевания и против рационализма в Церкви. «Еще остается вопросом — можно ли без независимости Церкви, без рыцарской аристократии, без борьбы сильных и резких сословий и истекших из этой борьбы договоров — можно ли создать столько великих вещей, сколько создал их *старый,* т. е. прежний, Запад. А уподобиться новому Западу очень легко и без всего этого феодального и римского “зла”. Разрушиться можно и без папства, и без рыцарства, и без договоров. Быть может, даже легче и скорее, не имея таких могучих реальных сил в своем прошедшем, чем переживши их. Почва рыхлее, постройка легче... Берегитесь. Поэтому не в том радость, что у нас не было *двоевластия,* а в том горе, что у нас Церковь слишком зависима от светской власти». Исторические взгляды К. Н. были объективнее, беспристрастнее и во многом вернее славянофильских, в которых была искажена история в угоду национальным симпатиям и самолюбиям. Историческая теория славянофильской школы не выдерживала серьезной критики. Оценки же К. Н. не зависят от исторической теории, они носят характер эстетический и религиозно-философский. Политическая мысль его была независимее и свободнее славянофильской, он был поистине свободный мыслитель.

Также отличались и взгляды К. Леонтьева на русскую историю от традиционно-славянофильских. Он любил Петра Великого и высоко его ценил. Период цветущей сложности и разно-

образия русской культуры он связывал не с допетровской эпохой, не с царствованием Алексея Михайловича, а с эпохой Петра Великого и Екатерины II. Европеизация России в то время его нисколько не отталкивает, он ее оценивает положительно. «До Петра было больше однообразия в социальной, бытовой картине нашей, больше *сходства* в частях; с Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие, без которого нет творчества и народов... Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружились и досуг, и вкус, и умственное творчество, и более идеальные чувства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический. Либерализм Екатерины имел решительно тот же характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем главная ее заслуга. Она давала льготы дворянству, уменьшала в нем служебный смысл и потому возвышала собственно-аристократические его свойства — род и личность». Это не только не славянофильские, но решительно — западнические мысли. В этой оценке Петра и Екатерины нет никакой византийской мистики. Вообще нужно сказать, что царизм К. Н. обосновывает не столько мистически, сколько натуралистически. Его монашеско-аскетическое религиозное сознание не давало мистического обоснования земного теократического царства. У него был языческий, натуралистический культ царской власти. Идея же теократии в религиозно-мистическом смысле была ему чужда. В этом он отличался от Вл. Соловьева. Мистическую санкцию царской власти он брал как натуральный исторический факт. Он связывал с этим фактом земные надежды на сложное цветение культуры, а не мистические надежды. Это очень чувствуется в его оценке Петра и Екатерины. В отличие от славянофилов он высоко оценивал политику Николая I, и прежде всего за то, что она была более государственной, чем национальной. В распре между Николаем I и славянофилами он решительно становится на сторону Николая I и считает его более прозорливым, чем славянофилов. Николай I, по его мнению, видел, что славянофилы стали на путь либерально-демократический и могут послужить процессу разложения и смерти. С царствования Николая I кончается в России период развития и прогресса, сложное цветение уже пережито, и начинается период смесительного упрощения, т. е. разложения. Поэтому вступают в свои права охранение и реакция. Екатерина могла еще создавать. Николай Павлович должен был охранять, чтобы не началось «смешение того, что было резко дифференцировано историческим прогрессом». К. Н. готов признать за славянофи-

лами относительную правоту в вопросе о Церкви, в их желании более сильной и свободной Церкви, хотя «это правильное стремление свое к Церкви сильной и независимой они портили только *племенными* пристрастиями». Но в вопросе о государстве, о национальной политике был более прав Николай Павлович. Вот как описывает К. Н. свое отношение к славянофилам: «Оно (славянофильское учение) казалось мне слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы *достаточно отделить* нас от новейшего Запада. Это одно; другая же сторона этого учения, внушавшая мне недоверие и тесно, впрочем, связанная с первой, была какая-то односторонняя моральность. Это учение казалось мне в одно и то же время и не государственным, и не эстетическим. Со стороны государственности меня гораздо больше удовлетворял Катков... Со стороны исторической и внешнежизненной эстетики я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам... Читая только Хомякова, Аксакова, в голову бы не пришло ненавидеть всесветную буржуазию (в которую, в сущности, стремится перейти и *работник* западный); Герцен же издевался *прямо над этим общим* и подавляющим *типом* человеческого развития». Вся ткань существа К. Н. была иная, чем у славянофилов, иная клетка у него была. Он считал государственное начало в России более самобытным, чем общественно-народное. «Хотя прежние правительственные системы наши со времен Петра I внесли в нашу жизнь много европейского, но все-таки и с этой стороны взятое государственное начало в России оказалось *самобытнее свободно-общественного*». Это — тезис прямо противоположный славянофильскому. Славянофилы думали, что государственное начало со времен Петра коверкало нашу народную жизнь и что национальное начало хранится в обществе и в народе. К. Н. не народник, он не верит в народ, в народную стихию и народные начала. Этим он в корне отличается от славянофилов, как и от Достоевского. *Он верит в Церковь, верит в государство, верит в идею, верит в красоту, верит в избранные, яркие, творческие личности, но не верит в народ, не верит в человеческую стихию, в человеческую массу*. И это делает Леонтьева совершенно оригинальным, единственным в своем роде явлением в истории русской литературы. Русские же более всего верили в народ, верили даже тогда, когда уже во все перестали верить. Народничество — характерное русское явление, владевшее душами русской интеллигенции в течение всего XIX века. И то, что Леонтьев был антинародником, не верил в народ и изобличал иллюзии всякого народничества, нужно признать самым оригинальным в нем. Но это не значит, конечно,

что в своем антинародничестве он всегда был прав. В народничестве как вере в русскую народную стихию была своя правда. И для русской идеи за Хомяковым навеки останется большее значение, чем за Николаем I.

II

К. Н. был аристократом по инстинкту и по убеждению. Поэтому уже он не мог быть народником. Аристократизм — явление, почти не встречающееся в русской мысли. Вначале у К. Н. были еще некоторые традиционные славянофильско-народнические иллюзии, от которых он потом освободился. Статья «Грамотность и народность» написана еще в славянофильско-народническом духе. В ней мысль К. Н. еще не созрела и не стала вполне самостоятельной. В ней можно еще встретить традиционную идеализацию простого народа, крестьянства. Но мысли этого порядка были наносными у К. Н., не его собственными. Он сбивается на эти народнические мысли по традиционной связи с нашими самобытно-народолюбивыми мнениями, от которых не так легко было освободиться. Но он с самого начала подчеркивает различие между народом и простонародьем. Он защищает безграмотность народа, его «варварство» как источник национального своеобразия. Он боится, что от просвещения будет стерто с лица народного его своеобразие. Но это не народнический мотив, это скорее мотив аристократически-эстетический. «Вовсе не надо быть непременно *равным* во всем мужику, нет даже вовсе особенной нужды *быть всегда любимым им и силиться всегда* самому любить его *дружественно;* надо любить его *национально, эстетически,* надо любить его *стиль*». К. Н. любит не народ, а «стиль» народа. У него было преимущественно эстетическое восприятие народа. Моралистические мотивы народолюбия были ему изначально чужды. Он готов был идеализировать русских мужиков как эстетическую противоположность мещанству. Ему нравились сельские церковки, полукрестьянские монастыри, избы под соломенной крышей, мужики за сохой. К простому народу в России, на Балканах, в Турции у него было эстетико-этнографическое отношение. Ему прежде всего нравилась живописность народного быта, своеобразная красочность его, и он хотел бы охранить эту живописность и это красочное своеобразие от разрушительных процессов. Он традиционно идеализировал сельскую общину как начало охранительное, предупреждающее развитие пролетариата. Но это была второстепенная подробность в его взглядах на Россию и ее будущее. Внутренние

начала и движущие мотивы его миросозерцания были иные, чем у славянофилов и народников-самобытников. *Он открыл, что начало племенное, начало национального самоопределения само по себе есть начало демократическое и по последствиям своим революционное,* что через него торжествует либерально-эгалитарный прогресс, стирающий всякое национальное своеобразие. Он обнаруживает в национальном принципе самопротиворечие и самоистребление. Эти мысли К. Н. были крайние и в своей односторонности неверные, но в высшей степени своеобразные и оригинальные. Ему принадлежит заслуга радикальной постановки проблемы. Его замечательная статья «Племенная политика как орудие всемирной революции» (сначала названная «национальная» политика, но, ввиду возбуждаемых недоразумений, слово «национальная» было заменено словом «племенная») вызвала негодование в националистически настроенных, консервативных кругах. П. Астафьев резко возражал ему и признал его врагом национального идеала. И. Аксаков видел в нем противника славянофильских идей. Аристократизм К. Леонтьева вел к тому, что правду и красоту он всегда видел не в народной стихии, не в национальном начале, как в начале автономном, а в мировых, организующих церковных и государственных началах, принудительных по отношению к народной жизни, в объективных идеях. Правда и красота русского народа не в племенной стихии, а в византийских началах, организующих и оформляющих эту стихию. Византийские начала — аристократические начала, идущие сверху вниз, племенные же начала — демократические, они идут снизу. *Россия во всем своеобразии и величии держится не национальной скрепой, не русским народным самоопределением, а византийским православием и самодержавием, объективными церковными и государственными идеями.* Эти начала организовали Россию в великий и своеобразный мир — мир Востока, противоположный Западу. Свободное же господство народных начал, национального самоопределения без принудительных начал сверху и извне, должно привести к разложению и распадению России. Русская революция как будто бы подтвердила частичную правоту К. Н. Леонтьева. Он оказался провидцем. Падение организующих и скрепляющих византийских начал привело к процессам разложения в России. Разлив народной, национальной стихии не удержал единства и силы России. Но русское государство вновь скрепляется путем народной активности. Леонтьев, несомненно, недооценивал и не понимал значения народной стихии в историческом процессе.

К. Леонтьев не верил в русский народ, как не верил ни в какой народ. Великий народ держится и процветает не собственной автономной стихией, а организующей его принудительной идеей. С беспощадной остротой и радикализмом анализирует он принцип национального самоопределения. Чисто племенная идея не имеет в себе ничего организующего, творческого; она есть не что иное, как частное перерождение космополитической идеи всеравенства и бесплотного всеблага. Равенство классов, лиц, равенство (т. е. однообразие) областей, равенство всех народов, расторжение всех преград, бурное низвержение или мирное, осторожное подкапывание всех авторитетов — религии, власти, сословий, препятствующих этому равенству, — это все одна и та же идея, выражается ли она в широких и обманчивых претензиях парижской демагогии или в уездных желаниях какого-нибудь мелкого народа приобрести себе во что бы то ни стало равные со всеми другими нациями государственные права. «Истинно национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать не *голое*, так сказать, *племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой*. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти, агитации болгарского "мяса"... Национальное же начало, понятое иначе, *вне религии,* есть не что иное, как все те же идеи 1879 года, начала всеравенства и всесвободы, те же идеи, *надевшие лишь маску мнимой национальности*. Национальное начало вне религии — не что иное, как начало эгалитарное, либеральное, медленно, но зато *верно разрушающее*». «Национально-либеральное начало *обмануло* всех, оно обмануло самых опытных и даровитых людей; оно явилось *лишь маскированной* революцией — и больше ничего. Это одно из самых искусных и лживых *превращений того Протея всеобщей демократизации, всеобщего освобождения и всеобщего опошления, который с конца прошлого века неустанно и столь разнообразными приемами трудится над разрушением великого здания римско-германской государственности*». «Люди, освобождающие или объединяющие своих единоплеменников в XIX веке, *хотят* чего-то *национального,* но, достигая своей политической цели, они *производят лишь космополитическое,* т. е. нечто такое,что стирает все более и более национализм бытовой или культурный и смешивает все более и более этих освобожденных или свободно объединенных единоплеменников с другими племенами и нациями в общем типе прогрессивно-европейского мещанства. Космополитический демократизм и национализм политический — это лишь два оттенка одного и того же цвета».

К. Н. отрицает самостоятельное значение племенного начала. «Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что любить его? За кровь? И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови. Язык?.. Язык дорог, особенно как выражение родственных и дорогих нам идей и чувств. Любить племя за племя — натяжка и ложь. Другое дело, если племя родственное хоть в чем-нибудь согласно с нашими особыми идеями, с нашими коренными чувствами... *Равенство наций* — все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия либо всеобщая мирная скука. Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидающего, наций *культурой* не обособляющая; ибо культура есть не что иное, как своеобразие». С этой точки зрения К. Н. не сочувствует славянской политике на Востоке. Ему дороги были не славянские, не национальные начала на Востоке, а начала византийские, церковные и государственные, великие организующие идеи. Поэтому он был за греков и даже за турок.

После освобождения и объединения Италия сделалась менее своеобразной и стала более походить на Францию и все другие европейские страны. «В Италии произошло опошление тех самых картин духовно-пластических, на которых так блаженно и восторженно отдыхали вдохновенные умы остальной Европы». Германия после объединения «изменяется к худшему в отношении национально-культурном», теряет в своей оригинальности, делается похожей на другие страны Европы. Национальное самоопределение и национальное освобождение обесцвечивает, ведет к демократической нивелировке. Это — очень парадоксальная мысль К. Леонтьева, в которую следует вникнуть. Она совершенно противоречит общепринятым взглядам. «*Тогда,* когда национализм имел в виду не столько *сам себя,* сколько интересы религии, аристократии, монархии и т. п., тогда он *сам себя-то и производил невольно*. И целые нации, и отдельные люди в то время становились все разнообразнее, сильнее и самобытнее. Теперь, когда национализм *ищет освободиться, сложиться, сгруппировать людей не во имя разнородных,* но связанных внутренне интересов религии, монархии и привилегированных сословий, а во имя единства и свободы *самого племени,* результат выходит везде более или менее *однородно-демократический*. Все нации и все люди становятся все сходнее и сходнее и вследствие

этого все беднее и беднее духом». Национальность образуют и ведут к своеобразному цветению объективные идеи, духовные начала. Принцип же национальности сам по себе — бессодержательный и демократический, он обесцвечивает. «*Национальное начало,* лишенное *особых* религиозных оттенков и *форм,* в современной, чисто *племенной наготе своей, есть обман*. Племенная политика есть одно из самых странных *самообольщений* XIX века. *Национального, в действительном смысле, в племенном принципе нет ничего*». К. Н. пророчит, что национальное самоопределение и освобождение балканских славян приведет к совершенному национальному обезличиванию, к либерально-эгалитарной европеизации, к обыкновенному демократическому мещанству. Дело православия на Востоке от этого только потеряет. К. Н. издевается над возвышенными и благородными мечтами старых славянофилов, которые ждали от освобождения славян расцвета православной и всеславянской идеи. «Живя в Турции, я скоро понял ужасную вещь: я понял с ужасом и горем, *что благодаря только туркам и держится* еще многое православное и славянское на Востоке... Я стал подозревать, что отрицательное действие мусульманского давления, *за неимением лучшего,* спасительно для наших славянских особенностей и что без турецкого презервативного колпака разрушительное действие либерального европеизма станет сильнее». Мысль об изгнании турок он считает не русской и не славянской, а обыкновенно европейской, либерально-демократической и нивелирующей мыслью. К. Н. настаивает на том, что «*бессознательное назначение России не было и не будет чисто славянским.* Оно уже потому не могло быть таковым, что чисто славянского, совершенно своеобразного — ничего до сих пор у славян не было... Сама Россия давно уже не чисто славянская держава». Интересы православия на Востоке он ставит настолько выше интересов племенных, славянских, что говорит: «Самый жестокий и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископ, *какого бы он ни был племени,* хотя бы крещеный монгол, должен быть нам дороже двадцати славянских демагогов и прогрессистов». Для Леонтьева Царьград должен быть или русским, или турецким. Переход же его в руки славян сделает из него революционный центр и больше ничего. Он не сочувствовал войне 77 г., потому что она велась не за веру, а за освобождение славян, т. е. была эмансипационной войной. Панславизм он считал большой опасностью для России. «"*Идея*" *православно-культурного руссизма* действительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же *во чтобы то ни стало — это подражание*

и больше ничего. Это идеал современно *унитарно-либеральный;* это стремление *быть как все*. Это все та же общеевропейская *революция*». Панславизм на Востоке представляется ему торжеством обыкновенного демократического принципа. Славянофилов обвиняет он в слишком большой склонности к бессословности и гражданскому равноправию, т. е. к обыкновенному демократизму, к либерально-эгалитарным началам. Мы видели, что К. Леонтьев не славянофил, а туркофил. Он также — германофил. И все по тем же основаниям. В Германии он видит больше начал, охраняющих старую Европу, которую любит, и меньше начал уравнивающих и смешивающих. И особенно не любит он современную Францию, как очаг всемирной революции, как демократическую республику. Он любит не Германию и германский народ самих по себе. Он в гораздо большей степени испытал на себе влияние культуры французской, чем германской, и был ближе латинскому духу, чем германскому. Но он любил и уважал монархию, аристократию и воинственные начала, которые в Германии были еще сильны. И он был сторонником сближения России с Германией, хотя и предвидел возможность столкновения с ней. Он говорит, что «крепкий союз и вынужденная обстоятельствами война с Германией будут у нас в народе *одинаково популярны!*» В этих словах звучит презрение к народу, но они оправдались дальнейшими событиями. Он считал выгодным для России усиление и возвышение Германии даже ценою нашего поражения. Это звучит чудовищно, особенно в наше время. Но в этом чувствуется истинное бесстрашие мысли. Как применял Леонтьев эти свои оригинальные мысли о национальности к России и русскому народу, к определению русского призвания в мире? Для этого прежде всего нужно рассмотреть его взгляды на византизм.

III

Россия сильна и велика своими византийскими началами, а не народными славянскими началами. И все будущее России зависит от верности византийским началам. Что такое византизм? К. Леонтьев высоко оценил Византию в то время, когда она не была еще достаточно исследована и оценена в исторической науке. К византийской истории относились с презрением. «Славизм, взятый во всецелости своей, — говорит К. Н., — есть еще сфинкс, загадка. Отвлеченная идея византизма крайне ясна и понятна». Славизм для К. Н. есть нечто «аморфическое, стихийное, неорганизованное, почти подобное виду дальних и об-

ширных облаков, из которых могут образоваться самые разнообразные фигуры». «Представляя себе мысленно византизм, мы, напротив того, видим перед собой как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. Мы знаем, напр<имер>, что византизм в государстве значит — самодержавие. В религии он значит христианство с определенными чертами, отличающими его от западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом; знаем наклонность византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов; что он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства». К. Н. открыл эстетическую прелесть византизма. Для его времени это было ново и оригинально. Но его пленяла не столько утонченная упадочность византийской культуры — этого позднего эллинизма, страшно осложненного аскетическим христианством, — сколько его сильные, организующие и принуждающие церковные и государственные начала. Он недостаточно размышлял над тем, почему пала Византия, недостаточно чувствовал внутренную болезнь Византии. Вл. Соловьев пытался дать религиозное объяснение неизбежности падения Византии. К. Н. обращает внимание на то, что византизм нашел в России девственную почву и влияние его было глубже, чем на Западе. «Соприкасаясь с Россией в XV веке и позднее, византизм находил еще бесцветность и пустоту, бедность, неприготовленность. Поэтому он глубоко переродиться у нас не мог, как на Западе, он всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепятственнее». Но это имеет сторону, на которую К. Н. не обращает достаточного внимания. Соединение византийских начал с русской народной стихией было браком старика с молодой девушкой. Такие браки редко бывают счастливы. И все-таки верно, что византизм внутренне и внешне способствовал организации России. «Что такое христианство в России без византийских *основ* и византийских *форм?*», — спрашивает К. Н. Русская языческая народная стихия сама по себе склонна разрывать христианские формы и опрокидывать христианские основы. Это видно по нашему народному мистическому сектанству. Церковное единство у нас держалось византиз-

мом. «Сильны, могучи у нас только три вещи: византийское православие, родовое и безграничное самодержавие наше и, может быть, наш сельский поземельный мир... Царизм наш, столь для нас плодотворный и спасительный, окреп под влиянием православия, под влиянием византийских идей, византийской культуры. Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь... Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!» Прав и проницателен был К. Н., когда он утверждал организующее значение для России сдерживающих и скрепляющих византийских начал. Но он недостаточно предвидел, что наш собственный интернационализм будет сильнее интернационализма Европы, что мы еще будем заражать Европу. В этом отношении у него было внутреннее противоречие. Его роковые предчувствия о России под конец жизни очень усилились. В «Византизме и славянстве» он уже говорил: «*Дух охранения в высших слоях общества* на Западе был всегда сильнее, чем у нас, и потому взрывы были слышнее; у нас *дух охранения* слаб. Наше общество вообще расположено идти по течению за другими... кто знает?.. не *быстрее* ли даже других?». Это и значит, что византийские начала, которыми был крепок русский народ, не были достаточно органическими, были слишком внешними, навязанными ему. На Западе же были свои собственные органические начала. К. Н. видит благородные консервативные начала во Франции, у славян же этих начал он совсем не видит. Тут мы сталкиваемся с основным противоречием всех мыслей К. Н. о России, которое под конец жизни сделалось трагическим. Византизм чужд духу русского народа, и потому у нас так глубок был раскол между народом и властью. Русский народ, по-видимому, не выработал себе органической формы государственности.

К. Леонтьев долгое время жил верой и надеждой, что Россия должна спасти разлагающуюся и погибающую Европу, должна явить еще миру новый и высший тип цветущей культуры, сложной и разнообразной. «Россия — не просто государство; Россия — это целый мир особой жизни, особый государственный мир, *не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности*. Россия — великий Восток, она должна явить небывалую по своеобразию восточную цивилизацию, противоположную мещанству Запада». «Я верил и тогда, — пишет К. Н. в

позднейшем дополнении к статьям о панславизме, — верю и теперь, что Россия, имеющая стать во главе какой-то нововосточной государственности, должна дать миру и *новую культуру*, заменить этой новой славяно-восточной цивилизацией *отходящую* цивилизацию романо-германской Европы. Я и тогда был учеником и ревностным последователем нашего столь замечательного и до сих пор одиноко стоящего мыслителя Н. Я. Данилевского». Эта зависимость Леонтьева от теорий Данилевского и славянофилов, менее оригинальных и проницательных, чем его собственные, и обострила основное его противоречие. «Нам, русским, надо *совершенно сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, — стать наконец во главе умственной и социальной жизни всечеловечества*». Он призывал «к развитию своей собственной, оригинальной, славяно-азиатской цивилизации, от европейской настолько же отличной, насколько были отличны эллино-римская от предшествовавших ей египетской, халдейской и персо-мидийской, византийская от предшествовавшей ей эллино-римской, или, наконец, настолько, насколько была отлична новая, *последняя* римско-германская цивилизация от предшествовавших ей и *отчасти поглощенных и претворенных ею органически* цивилизаций эллино-римской и византийской». «Поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию». «Царьград есть тот естественный центр, к которому должны тяготеть все христианские нации, рано или поздно *предназначенные составить с Россией во главе восточно-православный союз*». Тут слишком явно чувствуется влияние Данилевского. К. Н. не вполне еще стал на свои ноги, хотя блеск его оригинальной мысли все время прорывается. Россия должна спасти старую Европу. Она должна утвердить «собственную целость и силу, чтобы обратить эту силу, когда ударит понятный всем, страшный и великий час, на службу лучшим и благороднейшим началам европейской жизни, на службу этой самой великой, *старой* Европе, которой мы столько обязаны и которой хорошо бы заплатить добром». Это есть утверждение не национальной обособленности и исключительности России, а мировой ее миссии. В словах этих звучит характерная для К. Н. любовь к Европе и ее великой культуре. Для выполнения этой миссии необходимо, чтобы «Россия от всей Западной Европы отличалась настолько, насколько греко-римский мир отличался от азиатских и африканских государств древней истории». «Тот народ наилучше служит всемирной цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов развития». «Есть

слишком много признаков тому, что мы, русские, хоть сколько-нибудь да изменим на время русло всемирной истории... хоть *на короткое время!*» «Творческий гений может сойти на голову только такого народа, который и разнохарактерен в самых недрах своих и во всецелости наиболее на других не похож. Таков именно наш великорусский великий и чудный океан!» И он предлагает русским быть не только «большим государством» и «великой нацией». Европа уже много дала и исчерпала себя. Теперь будущее есть только у России, да еще у греко-славянского мира и Турции. Спасение в Азии. Если мы, русские, не возьмем на себя создание оригинальной культуры, то это сделают «миллионы других азиатов». К. Н. ставит перед Россией великие, мировые задачи. Какие же основания верить в выполнимость этих задач? Что думает К. Н. о русском народе?

И вот оказывается, что К. Леонтьев презирает не только болгар и сербов, но и русский народ. Он не верит в русский народ. Он верит лишь в византийскую идею. Ему дорога не Россия и не русский народ, не русская идея, а византийское православие и византийское самодержавие, дорог аристократизм, где бы он ни был. В известном смысле можно сказать, что К. Н. был более «интернационалист» (если бы это скверное слово могло быть применено к благородным явлениям!), чем националист. Во всяком случае, национализм его был слишком своеобразен. Современную Россию К. Н. перестал любить, он любил прежнюю Россию. «*Нынешняя* Россия мне *ужасно* не нравится. Не знаю, стоит ли за нее или на службе ей умирать? Я люблю Россию царя, монахов и попов, Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию Кремля и проселочных дорог, благодушного деспотизма». Он любил в России лишь то, что прельщало его как красота и что создано было принудительным действием некоторых идей. «Избави Боже большинству русских дойти до того, до чего, шаг за шагом, дошли уже многие французы, т. е. *до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить!*.. На что нам Россия не самодержавная и не православная?» Он спрашивает себя: «Боже, патриот ли я? Презираю ли или чту свою родину? И боюсь сказать: мне кажется, что я ее люблю, как мать, и в то же время презираю, как пьяную, бесхарактерную до низости дуру». К. Н. любил Россию особенной любовью, не такой, какой любили славянофилы и традиционные наши националисты. Эта любовь не мешает ему говорить о России и русском народе самые горькие и беспощадные истины, от которых можно прийти в отчаяние и потерять всякую надежду на выполнение Россией ее великой миссии. «Молодость наша, говорю я с

горьким чувством, *сомнительна*. Мы прожили много, *сотворили духом мало* и стоим у какого-то страшного предела». Слова эти звучат совсем по-чаадаевски. Может показаться, что писал их сам Чаадаев. Много можно найти у К. Н. таких беспощадных, горьких, чаадаевских мест. «Оригинален наш русский психический строй, между прочим, и тем, что до сих пор, кажется, в истории не было еще народа *менее творческого, чем мы*. Разве турки. Мы *сами,* люди русские, действительно, весьма оригинальны психическим темпераментом нашим, но никогда ничего действительно оригинального, *поразительно примерного вне себя создать до сих пор* не могли. Правда, мы создали *великое государство;* но в этом царстве почти нет *своей государственности;* нет таких своеобразных и на *других влияющих* своим примером внутренних политических отношений, какие были в языческом Риме, в Византии, в старой монархической Франции и в Великобритании». В отличие от славянофилов он отрицает оригинальность русского самодержавия. Все дальше и дальше идет он в своей беспощадности к России и русскому народу. Он разбивает иллюзии национального самообольщения более радикально, чем все западники, мыслившие поверхностно. Россия крепка и сильна исключительно инородными, а не своими собственными народными началами. «Нужна вера в дальнейшее и новое развитие Византийского христианства, в плодотворность *туранской* примеси в нашу русскую кровь; отчасти и в православное intussusceptio* властной и твердой немецкой крови». «Русская дисциплина, не свойственная всем другим славянам, есть не что иное, как продукт совокупного влияния начал, чуждых коренному славянству, начал: византийского, татарского и немецкого. Может быть, во всем этом и есть значительная доля *очень печальной* для славянского самолюбия правды: дисциплина нашей Церкви происхождения вполне византийского; немцы до сих пор еще учат нас порядку; а татарской крови, как известно, течет великое множество в жилах того дворянства русского, которое столько времени стояло во главе нации нашей... Быть может, кто знает, *если бы не было всех этих влияний,* то и всеславянское племя, и русский народ, в частности взятый, из буйного безначалия перешел бы легче всякого другого племени или нации в *мирное безвластие,* в организованную, *легальную анархию*». Эти печальные для русского самолюбия слова многим покажутся правдоподобными после опыта русской революции.

---

* принятие внутрь (*лат.*).

В *русские начала* К. Леонтьев не верил и не на них основывал свои мечты о мировой миссии России. Он верил в *деспотическую идею,* которая может держать и направлять народную стихию. С этим связано и политическое реакционерство К. Н. Он реакционер потому, что не верит в русскую народную стихию и видит, что Россия вступает в период смесительного упрощения, т. е. разложения. Он — крайний сторонник самобытного и культурного идеала — не видит самобытной русской мысли и видит «русский ужас перед всякой действительной умственной независимостью». «Все великое и прочное в жизни русского народа было сделано *почти искусственно и более или менее принудительно,* по почину правительства». Свободный почин общества и народа не приносил ничего, кроме разрушения. К. Н. не верит в русскую землю и земское общество, как верили славянофилы. Он верит в начала, идущие сверху. «Чтобы русскому народу действительно пребыть надолго народом-"богоносцем", он должен быть *ограничен, привинчен, отечески и совестливо стеснен.* Не надо лишать его тех *внешних ограничений и уз,* которые так долго утверждали и воспитывали в нем *смирение и покорность.* Эти качества составляли его душевную красу и делали его истинно великим и примерным народом». Вопреки демократизму славянофилов К. Н. думал, что царская власть, которой только и держалась, по его мнению, Россия, возрастала у нас одновременно с неравенством и различием. Она препятствовала упростительному смешению. «Истинно русская мысль должна быть прогрессивно-охранительной; выразимся еще точнее: ей нужно быть *реакционно-двигающей,* т. е. проповедовать *движение вперед на некоторых пунктах* исторической жизни, но не иначе как посредством *сильной власти* и с готовностью на всякие *принуждения*». К. Н. думал, что Россия должна взять на себя почин экономических реформ и этим предотвратить надвигающуюся социальную революцию. В этом он следовал народническим традициям. Глубокие сомнения в русском народе и роковые предчувствия грядущего разложения заставляют его воскликнуть: «Надо *подморозить* Россию, чтобы она не "гнила"». Но «подмораживанием» нельзя ведь создать новой цветущей самобытной культуры, нельзя выполнить положительной миссии в мире. «Слава Богу, что мы стараемся теперь затормозить хоть немного свою историю, в надежде на то, что можно будет позднее свернуть на вовсе иной путь. И пусть тогда бушующий и гремящий поезд Запада промчится мимо нас к неизбежной бездне социальной анархии». Это слова отчаявшегося, потерявшего надежды консерватора. В них нет веры и надежды на сложное цветение

культуры, на мировую миссию. Мессианизма мистического у К. Н. никогда не было, его учение о призвании России было натуралистическим и зависело от натуралистического процесса, происходящего с Россией.

К. Леонтьев так мало верил в силу «своего», «русского», что отрицательно относился к русификации окраин. Он называл русификацию «жидкой, бледной и нивелирующей европеизацией». «"Русификация окраин" есть не что иное, как демократическая европеизация». «Для нашего, *слава Богу, еще пестрого* государства полезны своеобычные окраины; полезно упрямое иноверчество; слава Богу, что *нынешней русификации* дается отпор. *Не прямо полезен* этот отпор, *но косвенно;* католичество есть главная опора полонизма, положим, но оно же вместе с тем одно из лучших орудий против общего индифферентизма и безбожия». В этом К. Н. решительно расходился и с Катковым, и со славянофилами, и со всеми нашими традиционными консерваторами. Он даже находит, что инородцы лучше русских. «Хорошо обращать униатов в православие, но еще бы нужнее придумать: как *своих,* москвичей, калужан, псковичей, жителей Северной Пальмиры, *просветить Светом Истины?* С упорными *иноверцами* окраин Россия со времен Иоаннов все росла и росла, все крепла и прославлялась, а с "европейцами" великорусскими она, в каких-нибудь полвека, пришла... К чему она *пришла* — мы видим теперь!.. Между прочим, и к тому, что и русский старовер, и ксендз, и татарский мулла, и самый дикий и злой черкес стали лучше и безвреднее для нас наших единокровных и *по названию* (*но не по духу, конечно*) *единоверных братьев!*». «Русские люди, — пишет К. Н. Замореву*, — не созданы для свободы. Без страха и насилия у них все прахом пойдет». «Да разве в России можно без *принуждения, и строгого* даже, что бы то ни было сделать и утвердить? У нас что крепко стоит? Армия, монастыри, чиновничество и, пожалуй, крестьянский мир. Все принудительное». «По пристрастию *сердца* к России, я часто думаю, что все эти мерзкие личные пороки наши очень полезны в культурном смысле, ибо *они вызывают потребность деспотизма, неравноправности* и резкой дисциплины, духовной и физической; эти пороки делают нас малоспособными к той буржуазно-либеральной цивилизации, которая до сих пор еще так крепко держится в Европе. Как *племя,* как *мораль* мы гораздо ниже европейцев; но так как, и не преувеличивая молодость нашу, все-таки надо признать, что мы *хоть на один век,* да мо-

* Фамилия искажена, правильно: Замараеву (*Примеч. составителя*).

ложе Европы, то и более бездарное и менее благородное племя может *в известный период стать лучше в культурном отношении,* чем более устаревшие, хотя и более одаренные племена». Вот за какую соломинку цепляется К. Н. в своих надеждах на будущее России. Европейские народы он считает более одаренными, чем русский народ. «Да, милый мой, — пишет он Александрову, — не вижу я в русских людях той какой-то особенной и неслыханной "морали", "любви", с которой носился Ваш подпольный пророк Достоевский, а за ним носятся и другие, и на *культурное* (!) значение которой рассчитывают». Даже русской религиозности К. Н. отказывает в оригинальности: «Византийской религиозной культуре вообще принадлежат все главные *типы* той святости, которой образцами впоследствии пользовались русские люди... Все наши святые были только учениками, подражателями, последователями византийских святых». Он решительно предлагает «*отвергнуть возможность поклонения Каратаеву* и вообще простому народу в стиле, слишком похожем на *славянофильский* стиль подобного поклонения в 40-х и 60-х годах». Своеобразия русского православия он не видел. Он не знал белого христианства Св. Серафима, Христианства Воскресения [30].

Как видите, мысли Леонтьева о России очень близки мыслям Чаадаева: они столь же горькие, печальные и пессимистические, столь же бесстрашные и радикальные, столь же противоположные мыслям славянофильским. Разница лишь в том, что Чаадаев искал спасения в западных, католических началах, Леонтьев же — в началах византийских. И тот и другой утверждают главенство объективной идеи над народной стихией, и для того и для другого религиозная идея выше национальности. К. Н. не верит в долговечность государства без мистических основ. «*Личная мораль* и даже личная доблесть сами по себе не имеют в себе еще ничего организующего и государственного. Организует не личная добродетель, не субъективное чувство чести, а идеи *объективные, вне нас стоящие,* прежде всего *религия*». В русском дворянстве К. Н. не видит настоящей религиозности. Об интеллигенции и говорить нечего. «Церкви и монастыри, — пишет он Карцовой, — еще не сейчас закроют: лет двадцать, я думаю, еще позволено будет законами русским помолиться». В этих словах звучит зловещее предчувствие. Оно сбывается в наше время. «Человек, *истинно верующий,* не должен колебаться в выборе между верой и отчизной. *Вера должна взять верх,* и отчизна должна быть принесена в жертву уже по тому одному, что всякое государство земное есть явление преходящее, *а душа*

моя и душа ближнего вечны и Церковь тоже вечна; вечна она в том смысле, что если 30 000 или 300 человек, или всего три человека останутся верными Церкви *ко дню гибели всего человечества на этой планете,* — то эти 30 000, эти 300, эти три человека будут *одни правы, и Господь будет с ними, а все остальные миллионы будут в заблуждении*». «*Вера* во Христа, апостолов и в святость Вселенских Соборов не требует непременно веры в Россию. Жила Церковь долго без России, и если Россия станет недостойна, — *Вечная* церковь найдет себе новых и лучших сынов». К. Н. не был грешен церковным национализмом, в этом он резко отличается и от славянофилов, и от Достоевского. Его построение ближе подходит к католичеству, чем к русскому православию. И понятно, что он должен был сблизиться с Вл. Соловьевым, что тот не мог не повлиять на него. В одном еще отношении взгляды К. Н. на русский народ резко расходились со взглядами славянофильскими. Он утверждал, что у русских слабо родовое чувство и чувство семейственности и сильно государственное. «Родовое чувство, столь сильное на Западе в аристократическом элементе общества, у нас же в этом элементе гораздо слабейшее, нашло себе главное выражение в монархизме... Государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи. Я, признаюсь, не понимаю тех, которые говорят о семейственности нашего народа... Все почти иностранные народы, не только немцы и англичане, но и стольские другие: малороссы, греки, болгары, сербы, вероятно и сельские или вообще провинциальные французы, даже турки, гораздо семейственнее нас, великороссов». К. Н. глубоко прав: у русских получило исключительное развитие начало государственное, монархическое и ему было подчинено начало аристократическое и семейно-родовое. Но в другом отношении К. Н. разделял заблуждение славянофилов и русского народничества. Он думал, что призванием славян должно быть уничтожение свободного индивидуализма, что в России не должно развиваться личное начало и что от этого сохранится более высокий тип культуры. С этим связано отвращение К. Н. к правовому началу. Леонтьев верно подметил своеобразный коллективизм, свойственный русскому народному характеру, но тут нужно искать и основной порок его общественной философии. Он смешал для России первоначальную простоту с цветущей сложностью. Недостаточная раскрытость в России личного начала — русский коллективизм был препятствием для развития в России культуры, нежеланием подчиниться природному закону перехода от простоты к сложности. Развитие личности связано с цветущей слож-

ностью. Это утверждал и сам К. Н. И он был горячим сторонником яркого развития личности. С натуралистической точки зрения, на которой он стоял, было безнадежным противоречием ждать от России эпохи цветущей сложности культурного ренессанса в его духе. Духовной веры в русский народ у него не было — в этом было его несчастье. Все вело К. Н. к жестоким сомнениям в будущности России, которые мучили его последние годы, и к полной потере веры в Россию. В этом отношении встреча с Вл. Соловьевым имела для него огромное значение.

IV

Сомнения в будущности России постепенно подрывали все его построение о России. «Сомнительна *долговечность* ее (России) будущности; загадочен *смысл* этой несомненной будущности, *ее идея*. И я ли один так думаю? Нет, я знаю, многие в этом согласны со мною. Только не скажут громко, а лишь "приватно пошепчут"». «Сознаюсь, мои *надежды* на культурное будущее России за последнее время стали все более и более колебаться». «Очень может быть, что и вера Данилевского в столь богатую и невиданную четырехосновную славяно-русскую культуру была верой напрасной и ни на чем не основанной; очень может быть, что и мои *прежние* надежды на что-нибудь подобное несбыточны». «Я не говорю, что я отчаиваюсь вовсе в *особом* призвании России. Я признаюсь, что я очень нередко начинаю в нем сомневаться». Как на последнее прибежище смотрит он на различие вопроса православно-религиозного и вопроса славянско-племенного и предлагает сосредоточиться на первом вопросе. «При всем желании моем думать так, как думал я прежде (т. е. заодно с Данилевским), — начинаю все больше и больше колебаться. Горькие и почти насмешливые слова Влад. Соловьева: "Русская цивилизация есть цивилизация европейская" — беспрестанно вспоминаются мне в моем одиночестве. А что — если он *с этой стороны* прав?» «А что если с *этой стороны* Соловьев видит дело вернее нас; что если мы хотим верить тому, что нам приятно, и ослепляемся?.. Будет ли еще вообще новая, вполне независимая, полная, оригинальная культура на земном шаре — это вопрос! Допустивши даже, что будут еще (до *неизбежного и надвигающегося* светопреставления) один или два новых культурных типа, мы все-таки не имеем еще через это права надеяться, что этот новый культурный тип выработается *непременно весьма уже старою Россией* и ее славянскими единоплеменниками, отчасти переходящими прямо из свинопасов в либеральных бур-

жуа, отчасти давно уже насквозь пропитанных европеизмом». К. Н. старается найти такой выход из противоречия в своих взглядах на Россию: «Иное дело — *верить* в идеал и *надеяться* на его осуществление; и иное дело — *любить* этот самый идеал. Можно любить и *безнадежно* больную мать; можно, даже и весьма страстно желая культурного выздоровления России, — утратить наконец веру в это выздоровление». Он очень далеко отошел от Данилевского и от славянофилов. Вл. Соловьев смутил его и укрепил его сомнения в призвании России.

«С 82—84 года встретился человек молодой, которому я впервые за 30 лет уступил (не из практических личных соображений), а в том смысле, что *безусловное почитание нашего с Данилевским идеала* впервые у меня внутренне поколебалось». «Соловьев единственный и первый человек, который *с тех пор как я созрел, поколебал меня и несколько* заставил думать в *новом направлении*... Поколебал не *личную* и *сердечную* веру мою в *духовную истину Восточной Церкви, необходимую* для спасения *моей* души за гробом... Он поколебал, признаюсь, в самые последние 2–3 года мою *культурную веру в Россию,* и я стал за ним *с досадой,* но *невольно* думать, что, пожалуй, призвание-то России *чисто религиозное*... и только». Потом мы увидим, что и религиозное призвание России он понимал очень ограничительно, совсем не так, как понимал Достоевский, да и сам Вл. Соловьев. Он продолжал верить в православную Церковь как путь спасения своей души. Вот и все. Без всяких исторических перспектив. Победил мотив монашеско-аскетический. Если Вл. Соловьев изначально был более прав, чем Леонтьев, то Леонтьев в некоторых отношениях был более прозорлив и предвидел такие результаты «либерально-эгалитарного» процесса в России, каких Вл. Соловьев не предвидел. Чуткость и прозорливость К. Н., особенно в последние годы, изумительны. Он острее и глубже всех понимал и характер русского народа, и процессы, совершающиеся в России. Он, по существу, оказался более прав, чем все: чем славянофилы и западники, чем Достоевский и Соловьев, чем Катков и Аксаков. У него было катастрофическое чувство наступления новой эпохи. «Петербургская Россия, — писал он в 1880 г., — эта мещанская *современная* Европа, сама трещит везде по швам, и внимательно разумеющее ухо слышит этот многозначительный треск ежеминутно и понимает его ужасное значение!» Он не был замкнутым и закупоренным консерватором. Он чувствовал перелом, умирание старого, нарождение нового. Он раньше других и серьезнее других почуял гул надвигающейся революции и понял, что она несет с собой и каков смысл

ее. И он восклицает в ужасе от своих ранних и роковых предчувствий: «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути *всесмешения* и — кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель *Новой веры, — и мы неожиданно, из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом бесцерковных или уже слабо церковных, — родим антихриста* (курсив мой. — *Н. Б.*)». Это слова — необычайные и жуткие, в них почувствовано что-то роковое для духовного будущего России, что-то глубоко верное как предостережение, как раскрытие таящейся в России опасности. Вот каким предчувствием окончилась история русских мессианских ожиданий и надежд. Поистине в России, в народе русском есть благоприятная почва для явления антихриста. Но у К. Н. можно найти и совершенно конкретные предвидения русской революции, почти что описание ее характера. В этом он был настоящим пророком. Эти предвидения чередовались у него с планами и мерами предотвращения грядущей опасности и грядущего разрушения, часто наивными и практически бездейственными.

К. Н. относился с презрением к либерализму как к направлению умеренно-половинчатому, несамостоятельному, лишь расчищающему почву для торжества разрушительных начал. Он считал неправдоподобным торжество умеренного либерализма у русских, склонных к крайностям. Умеренный либерализм «так неглубок и *так легко может быть раздавлен между двумя весьма нелиберальными силами:* между исступленным нигилистическим порывом и твердой, бестрепетной защитой наших великих исторических начал». В этом отношении К. Н. оказался очень проницательным. Сам он более всего не хотел средних, умеренных путей для России, питал к ним эстетическое отвращение. Он любил крайности. Медленно действующий яд представлялся ему более опасным, чем самые сильные средства, вызывающие бурную реакцию. «Никакая пугачевщина не может повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция». Желание К. Н. исполнилось — «пугачевщина» взяла верх над «мирной и законной конституцией». Но России опыт этот слишком дорого стоил. К. Н. с необычайной проницательностью предвидел, что русский народ не остановится ни на каких умеренно-конституционных формах и устремится к самому крайнему и предельному. «Либерализм, простертый еще *немного* дальше, довел бы нас до взрыва, и так называемая *конституция* была бы самым верным средством для произведения *насильственного социалистического* пере-

ворота, для возбуждения бедного класса населения противу богатых, противу землевладельцев, банкиров и купцов для новой, ужасной может быть, пугачевщины. Нужно удивляться только, как это могли некоторые даже и благонамеренные люди желать ограничения царской власти в надежде на лучшее умиротворение России! Русский простолюдин сдерживается гораздо более своим духовным чувством к особе Богопомазанного Государя и давней привычкой повиноваться *Его слугам,* чем каким-нибудь естественным свойством своим и вовсе не воспитанным в нем историей уважением к отвлеченностям закона. Известно, что русский человек вовсе не умерен, а расположен, напротив того, доходить в увлечениях своих до крайности. *Если бы монархическая власть утратила бы свое безусловное значение и если бы народ понял, что теперь уже правит им не сам Государь, а какими-то неизвестными путями набранные и для него ничего не значащие депутаты, то, может быть, скорее простолюдина всякой другой национальности русский рабочий человек дошел бы до мысли о том, что нет больше никаких поводов повиноваться* (курсив мой. — *Н. Б.*). Теперь он плачет об убитом Государе в церквах и находит свои слезы *душеспасительными;* а тогда о депутатах он не только плакать бы не стал, но потребовал бы для себя как можно *побольше земли и вообще собственности* и как можно меньше податей... За свободу же *печати и парламентских прений* он не станет драться». Предсказание это сбывается дословно. В нем дано описание характера русской революции — за 35 лет до ее торжества. К. Н. видел истинное положение лучше других направлений, других русских мыслителей, публицистов и политиков. У него самого были эстетические предубеждения против права и закона, и он санкционировал роковые черты русского народа, отвращавшие его от права и закона. Леонтьев отлично понимал, что на мир идет социализм со всеми его страшными опасностями и что нельзя от него отмахнуться. Он чувствовал, что с социализмом связан очень серьезный и большой вопрос. И он изобретал способы противодействия в России социалистической опасности. «*Воспитывать* наш народ в *легальности* — очень долгая песня; великие события не ждут окончания этого векового курса! А пока народ наш понимает и любит *власть* больше, чем *закон*. Хороший "генерал" ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава. Конституция, ослабивши *русскую власть,* не успела бы в то же время внушить народу *английскую любовь к законности*. И народ наш прав! Только одна могучая монархическая власть, ничем, кроме собственной совести, не стесняемая, освященная свыше

религией, облагословенная Церковью, только такая власть может найти практический выход из неразрешимой, по-видимому, современной задачи примирения *капитала и труда*. Рабочий вопрос — вот тот путь, на котором мы должны опередить Европу и показать ей пример. Пусть то, что на Западе значит разрушение, — у славян будет творческим созиданием... Народу нашему — утверждение в вере и *вещественное обеспечение* нужнее *прав и реальной науки*... Только удовлетворение в одно и то же время и вещественным, и высшим (религиозным) потребностям русского народа может вырвать грядущее поколение простолюдинов из когтей нигилистической гидры. Иначе крамолу мы не уничтожим *и социализм рано или поздно возьмет верх, но не в здоровой и безобидной форме новой и постепенной государственной организации, а среди потоков крови и неисчислимых ужасов анархии* (курсив мой. — *Н. Б.*)... *Надо стоять на уровне событий, надо понять, что организация отношений между трудом и капиталом* в том или другом виде есть *историческая неизбежность* и что мы должны не обманывать себя, отвращая лицо от опасности, а, взглянув ей прямо в глаза, не смущаясь понять всю ее неотвратимость». В словах этих есть большая проницательность и сила предвидения, есть понимание неизбежности разрешения социального вопроса, преодоления антагонизма труда и капитала. Но меры, предлагаемые Леонтьевым, наивны и утопичны. Желание его, чтобы Россия опередила Европу в решении рабочего вопроса, есть отрыжка русского народничества, в других отношениях ему чуждого. Он хватается за своеобразный консервативно-монархический «социализм» от отчаяния, от безнадежности. Он не мог так спокойно благодушествовать, как благодушествовали другие русские консерваторы, в эпоху Александра III, эпоху призрачного и обманчивого благообразия и спокойствия. Под ним земля горела. Он чувствовал подземные гулы. За год до смерти в письме к Александрову К. Н. еще раз излагает план мистического и монархического, реакционного «социализма», в осуществимость которого он сам плохо верит. «Иногда я думаю, что какой-нибудь русский царь станет во главе социалистического движения и *организует* его так, как Константин способствовал организации христианства. Но что значит "организация"? Организация значит *принуждение,* значит — благоустроенный *деспотизм,* значит — *узаконение* хронического, постоянного, искусно и мудро распределенного *насилия над личной волей граждан*... И еще соображение: организовать такое сложное, прочное и новое рабство едва ли возможно без помощи *мистики*. Вот если после присоединения Царьграда *небывалое доселе*

сосредоточение Православного управления в Соборно-Патриаршей форме совпадает, с одной стороны, с усилением и того мистического потока, который растет еще теперь в России, а с другой — с *неотвратимыми* и разрушительными рабочими движениями и на Западе, и даже у *нас,* — то хоть за *две основы* — религиозную и государственно-экономическую — можно будет поручиться *надолго*. Да и то все к *тому же* окончательному *смешению* несколько позднее придет. Человечество, без сомнения, очень устарело». К. Н. не видит особенной правды в социализме и не имеет к нему никакой склонности, как имело огромное большинство русских интеллигентных людей. Он видит в социализме лишь роковой процесс упростительного смешения. И беспомощно мечтает о мистико-монархическом «социализме» лишь для того, чтобы спасти этим остатки старой благороднолй культуры, сохранить хоть какое-нибудь неравенство и аристократизм. Под конец у него звучит зловещее предчувствие, что славяне «лопнут, как мыльный пузырь, и распустятся немного позднее других все в той же ненавистной всеевропейской буржуазии, а потом будут (туда и дорога!) попраны китайским нашествием (NB. Заметьте, что религия Конфуция есть *почти чистая* практическая мораль и не знает *Личного Бога,* а буддизм в Китае, тоже столь сильный, есть прямо *религиозный атеизм*... Ну, разве не Гоги и Магоги?)». У К. Н. было предчувствие опасности панмонголизма для России и Европы.

Изучить взгляды К. Леонтьева на Россию и ее будущее особенно поучительно в наше время. В его острых и пронизывающих мыслях и предчувствиях можно найти разгадку переживаемой нами исторической трагедии, характер которой он предвидел лучше большей части представителей «правого» и «левого» лагеря. Но в мыслях его о России и русском народе было противоречие, которое он до конца не мог преодолеть. Он, подобно многим, ошибочно думал, что революция в России поддерживается исключительно интеллигенцией и чужда народу. И он сам видел в русском народе непреодолимую склонность к анархии и крайним течениям. В одном отношении К. Н. ошибался: он долгое время думал, что в России почва разнообразнее и сложнее, чем в современной Европе, и что поэтому Россия может остановить мировую социалистическую и анархическую революцию. Оказалось, что Россия стала во главе социалистической и анархической революции и эгалитарная страсть оказалась в русском народе более сильной, чем у народов Запада. В Западной Европе, даже XIX и XX века, почва сложнее и разнообразнее, чем в России, и традиции старой благородной культуры в ней еще силь-

ны. Но, в противоречии с самим собой, К. Н. чувствовал и предвидел, что именно в России есть благоприятная почва для уравнительной и смесительной революции, что русский народ и на Западе будет все уравнивать и смешивать. Основным же философским противоречием мыслей К. Леонтьева о России было столкновение натуралистической и религиозной точек зрения, которые он не мог примирить. Это противоречие раздирало и его религиозное сознание.

ГЛАВА VI

Религиозный путь. Дуализм. Пессимизм по отношению к земной жизни. Религиозная философия. Филаретовское и хомяковское православие. Отношение к католичеству. Трансцендентная религия и мистика. Натурализм и Апокалипсис. Отношение к старчеству. Отношение к смерти. Заключительная оценка

I

Было ли у К. Леонтьева религиозное учение, религиозное познание, религиозная философия? В точном смысле слова, в каком это можно сказать о Вл. Соловьеве, этого нельзя сказать про Леонтьева. Он не гностик по своему духовному типу, он скорее антигностик. Он не интересуется созерцанием и познанием Бога и божественных тайн. Он не богослов, он мало сведущ в богословии и мало занимается богословскими вопросами. В этом отношении его нельзя сопоставлять с Хомяковым или Соловьевым. Нет у него никакого выработанного религиозно-философского учения. Вера для него была насилием над разумом, и этим насилием он более всего дорожил. Он не знает никаких познавательных путей к Богу. Религиозный тип его полярно противоположен всякому имманентизму и монизму. Это — резко дуалистический и трансцендентный тип религиозности. Дуалистичный и трансцендентный тип религиозности отвечал его эстетическим потребностям в полярности и контрасте, в светотени. Он страх ставил выше любви в религиозной жизни, потому что страх — начало двуликое, а любовь, по его мнению, начало одноликое. Он не выносил состояния тождества, ему нужны два начала, полярная раздельность и полярное притяжение, нужна дистанция. Без этого он не испытывает религиозного пафоса. Не религиозное учение интересно в К. Н., а религиозный путь его, религиозная судьба его. В религиозном учении его слишком многое неверно. Он при-

надлежит к тем людям, у которых все — жизненный путь, судьба, а не учение. К. Леонтьев — человек исключительной и необычайной религиозной судьбы. Жизнь его — замечательный религиозный факт, религиозный феномен. У него, в сущности, не было религиозного учения, но всей жизнью своей, всей неповторимой судьбой своей он нас многому религиозно учит. Но это менее всего значит, что можно быть учеником Леонтьева. Религиозный путь Леонтьева учит тому, что на почве его понимания христианства как дуалистической религии трансцендентного эгоизма не могут быть разрешены основные проблемы жизни. Религия К. Н. не прилагалась к его жизни как избыток, как роскошь, как усложнение духовной жизни, как бескорыстное созерцание — религия была для него вопросом жизни и смерти, спасения или гибели, но исключительно личного спасения и гибели. Он испытал и познал невыразимый ужас вечной гибели. В этом отношении он был средневековым человеком. У него был страх вечных адских мучений. И это было глубоко серьезно в нем. Весь религиозный путь его был страстным исканием спасения и избавления от ужаса и страха. Переживание этого ужаса и страха он считал религиозным переживанием по преимуществу, он с ним связывал самую сущность христианской религии как религии искупления. Он так до самого конца и не познал религиозного покоя, религиозного мира, светлой радости. Ужас не покидал его. Это какой-то дохристианский, античный ужас, осложненный средневековым ужасом ада. Mysterium tremendum *, по терминологии Р. Отто [31]. И он не только испытывал этот ужас, — он его проповедовал. «Нужно дожить, — пишет он Александрову, — дорасти до *действительного* страха Божия, до страха почти *животного* и самого простого перед учением Церкви, до простой *боязни* согрешить». Страх лежал в основе религиозного обращения К. Н., духовного перелома его, и он навеки связался для него с религиозным подъемом и улучшением. «Страх животный унижает *как будто* нас. Тем лучше — унизимся перед Богом; через это мы нравственно станем выше. Та *любовь к Богу, которая до того совершенна, что изгоняет страх*, доступна только немногим». Раньше православие он «любил *своевольно*, без *закона* и страха». «А когда в 1869, 70 и 71 годах меня поразили, один за одним, удар за ударом, и здоровье само вдруг пошатнулось, тогда я испытал вдруг чувство беспомощности моей перед невидимыми и карающими силами и ужаснулся до простого животного страха, *тогда только я почувствовал*

* Страшная тайна (*лат.*).

себя в своих глазах в самом деле униженным и нуждающимся не в человеческой, а в Божеской помощи». К. Н. считал, что выше и серьезнее то религиозное переживание, которое происходит не от избытка (любви), а от недостатка (страха), не от силы человека, а от слабости человека. Так предопределился весь его духовный тип и духовная жизнь. Он утверждает христианство как религию страха, а не религию любви. «Начало премудрости (т. е. настоящая вера) есть *страх,* а любовь — только *плод*. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом». В описании происшедшего с ним переворота К. Н. говорит: «Я стал *бояться* Бога и Церкви. С течением времени *физический* страх *прошел,* духовный же остался и *все вырастал*». Вспоминая свое прошлое на Востоке, он пишет: «Мне недоставало тогда *сильного* горя; не было и тени *смирения,* я верил *в себя*. Я был тогда гораздо счастливее, чем в юности, и потому был крайне самодоволен. С 69 г. *внезапно* начался перелом; удар следовал за ударом. Я впервые *ясно* почувствовал над собой какую-то высшую десницу и захотел этой деснице подчиниться и в ней найти опору от *жесточайшей* внутренней бури».

Религия К. Леонтьева есть исключительно религия личного спасения, *трансцендентный эгоизм,* как он сам говорил со свойственной ему смелостью и радикализмом. Он «хотел бы под звон колоколов монашеских, напоминающих беспрестанно о близкой уже вечности, стать равнодушным ко всему на свете, кроме собственной души и забот о ее очищении». В поучение одного молодого человека, искавшего праведной жизни, К. Н. спрашивает при нем простую девушку Варю: «О чем надо в деле веры прежде всего думать — о спасении себя или других? Нынче, говорю я ей, вот они все хотят других спасать. А Варя: Вот еще! Да *куда мне других еще спасать!* Себя-то спасешь ли от ада?». «Да, — пишет он Александрову, — забота о личном спасении души есть трансцендентный *эгоизм:* но кто верит в Евангелие и Св. Троицу, тот и должен прежде всего об этом заботиться. *Альтруизм* же "приложится" сам собой». Ужас вечной гибели и вечных мук, страх физический, перешедший в страх духовный, породил трансцендентный эгоизм. У К. Леонтьева нет жажды всеобщего спасения, спасения человечества и мира, столь характерной для многих русских. В этом он по религиозному типу своему антипод Н. Ф. Федорова [32], который прежде всего печалуется о спасении всех, об «общем деле». Религиозно чужд ему и даже противен Достоевский. Он ничего не говорит о «соборности», о которой так много любили говорить славянофилы. Ему чужда была идея просветления и преображения мира, идея теозиса, обожения

твари. Христианство его антикосмично. К. Н. был крепко и традиционно церковный человек, более церковный, чем Федоров и Достоевский, даже чем славянофилы. Он шел к монашеству и кончил монашеством. Авторитет церковной иерархии имел для него непреложное значение. Он принудил свою непокорную, буйную, языческую природу к послушанию. Но в жизни религиозной он был афонским, греческим выучеником, он не в России стал православным. Его православие — не русское, а византийское, греческое, исключительно монашески-аскетическое и авторитарное, строго иерархическое. Характерно русские религиозные переживания и искания, более свободолюбивые, обращенные к пророческой стороне христианства, были ему чужды и казались религиозно недостаточно серьезными и суровыми, не церковными. Религиозность К. Н. была трагическая и тяжелая. В самой религиозности его была аскетическая бедность. Богатство же было в столкновении и борьбе его религиозности с языческой его природой. К. Н. принадлежит к безблагодатному религиозному типу. Безблагодатность эта, со стороны представляющаяся нам темной и мучительной, есть особый путь. И нам никогда не понять до конца, почему этот путь выпал на долю того или иного человека. Это не значит, что Бог покинул такого человека, не любит его, не промышляет о нем. Такой человек может в царстве Божьем занять более высокое место, чем люди более радостные и светлые по своему религиозному типу. Но в этой земной жизни К. Н. знал мало религиозных радостей, благодатных общений с Богом и созерцаний Божественных тайн. Радости его были языческими радостями, радостями эстетическими, а не религиозными. И эти свои искания эстетики жизни и восторгов, с ней связанных, он в конце концов признал иллюзией и самообманом. Религиозная же, христианская его жизнь была полна страданий, скорби и печали. Христианство его было черным христианством, и у него было отвращение к «розовому» христианству. Он до конца жил двойственной жизнью, в дуалистическом сознании, — язычником и эстетом в миру, христианином и аскетом в жизни религиозной, обращенным к потустороннему миру, устремленным к монашеству, т. е. соединял «Алкивиада с Голгофой», Ренессанс с монастырем. Это не было органическое соединение и претворение, а сосуществование. Он чувствовал, что не может спастись в миру, что мир слишком соблазняет его, и искал спасения в уходе из мира, в монашестве. Эстетизм К. Н. мешал ему быть христианином в миру. Он никогда не мог преодолеть своего язычества, отказаться от бурлившего в нем духа Ренессанса. Только Афон и Оптина Пустынь утишали и угашали

его мирские страсти, давали чувства тщеты и ничтожества его исканий радостей и восторгов мирской красоты. Не случайно К. Н. любил ислам. Все его христианство пропитано элементами ислама. Он сильнее чувствовал Бога-Отца, чем Бога-Сына, Бога страшного, далекого и карающего, Бога трансцендентного, чем Бога искупающего, любящего и милосердного, близкого и имманентного. Отношение к Богу для него было прежде всего отношение страха и покорности, а не интимной близости и любви. У него было сильно чувство Церкви, но слабо непосредственное чувство Христа, не было обращенности к лику Христа. У него почти нет слов о Христе. Из Евангелия, из Священного Писания он цитирует только те места, в которых говорится, что на земле не победят любовь и правда, ему близки лишь пессимистические ноты Апокалипсиса. Более всего ненавистны ему все попытки придать христианству гуманитарный характер. «Гуманитарное лжехристианство с одним бессмысленным всепрощением своим, со своим космополитизмом — без ясного догмата, с проповедью любви, без проповеди “страха Божьего и веры”; без обрядов, живописующих нам самую суть правильного учения... — такое христианство есть все та же *революция,* сколько не источай она меду; при таком христианстве ни воевать нельзя, ни государством править; и Богу молиться незачем... Такое христианство может лишь ускорить всеразрушение. Оно и в кротости своей преступно». Розанов верно говорит, что Леонтьев имел дерзость восстать против «христианской кротости». Он был христианином-«ницшеанцем» (до Ницше), явлением совершенно своеобразным. Он был прав в своем восстании против смешения гуманизма и христианства, но проблема эта еще сложнее, чем ему казалось. Сам он смешивает подлинно христианскую любовь у Достоевского с лжехристианской любовью у Толстого, подозревает всякий опыт благодатной любви в гуманизме. Много острого и проницательного говорит он против слащавого христианства. Монахи для него хороши уже потому, что все они «*пессимисты* относительно европеизма, свободы, равенства и вообще относительно земной жизни человечества... Они думают, что война, распри семейные, неравенства, болезни, “глад и трус” не только *неизбежны,* но иногда даже очень *полезны людям*». «*Истина* совсем не в “правах и свободе”, а в чем-то другом — весьма печальном, если искать на земле покоя и видимой целесообразности, и весьма сносном и даже приятном в иные минуты, если смотреть на жизнь как на бурное и занимательное, частью тяжелое, частью — сладкое, но, во всяком случае, скоропреходящее сновидение. При таком воззрении миришься в принципе с обя-

занностями и страданиями, с разочарованиями и пороками людей; ни усталость в бесплодной погоне за личным счастьем, ни минутные вспышки гнева или злости не могут при таком взгляде обратиться в самодовольный и постоянный протест. Пессимизм относительно *всего человечества* и личная вера в Божий Промысел и в наше бессилие, в наше неразумие — вот что мирит человека и с жизнью собственною, и с *властью других,* и с возмутительным вечным трагизмом истории». В этих словах есть очень тонкое сочетание христианского аскетизма с языческим эстетизмом, религиозного пессимизма с радостными волнениями. «Я не верю, чтобы жизнь могла бы когда бы то ни было стать храмом полного мира и абсолютной правды... Такая надежда, такая вера в человечество противоречит евангельскому учению; Евангелие и Апостолы говорят, что *чем дальше, тем будет хуже,* и советуют только хранить свою *личную веру и личную добродетель до конца*».

Характерно для религиозной психологии К. Леонтьева, что его радовал этот печальный пессимизм христианских пророчеств, он почти в упоении от того, что на земле не будет торжества правды, невозможно блаженство. Он не стремится к торжеству правды, к осуществлению совершенства на земле. В этой точке его пессимизм совпадает с его эстетикой, нуждающейся в полярности и контрасте света и тени. «"Горести, обиды, буря страстей", преступление, зависть, угнетение, ошибки с одной стороны, а с другой — неожиданные утешения, доброта, прощение, отдых сердца, порывы и подвиги самоотвержения, простота и веселость сердца! Вот *жизнь,* вот единственно возможная на этой земле и под этим небом *гармония. Гармонический закон вознаграждения — и больше ничего*. Поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными — и больше ничего». Он эстетически воспринимает гармонию в сочетании светлых цветов с темными, и его эстетически не удовлетворяло бы исключительное торжество светлого. Можно даже сказать, что он религиозно и эстетически нуждался в существовании зла на земле. Он почти со злорадством восклицает: «И под конец не только не настанет *всемирного братства,* а именно *тогда-то оскудеет любовь, когда будет проповедано Евангелие во всех концах земли*. И когда эта проповедь достигнет до предназначенной ей свыше точки насыщения, когда *при оскудении* даже и той *любви*, неполной, паллиативной, люди станут верить безумно в "мир и спокойствие", — тогда-то и постигнет их погуба... "и не избегнут!"». Лично К. Н. был добрый человек, мы это уже видели. Но в его острой, антиномической мысли искрится злость, помогающая ему

открыть то, что было закрыто для прекраснодушных и филантропических мыслителей. «И поэзия земной жизни, и условия загробного спасения — одинаково требуют не *сплошной* какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего *как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью*». И тут требование совмещения контрастов полярностей, противоречий, нелюбовь к монизму в религиозной жизни. Положительная наука и положительная религия сходятся в невозможности правды и благоденствия на земле. Любовь навеки останется лишь корректив жизненных зол, а не будет воздухом, которым бы люди дышали. Истина реальная должна будет прийти к «суровому и печальному пессимизму, к тому мужественному смирению с неисправимостью земной жизни, которое говорит: Терпите! *Всем лучше никогда не будет*. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле *гармония!* И больше *ничего* не ждите... *Ничего нет верного в реальном мире явлений*. Верно только *одно,* — точно *одно*, одно только *несомненно, — это то,* что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш — век наш! И потому *терпите* и заботьтесь практически либо о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях: *именно о ближних, а не о всем человечестве*». «Все здешнее должно погибнуть» — в этом есть и религиозная, и нравственная, и эстетическая правда. Сознание этой истины духовно оздоровляет. Христос учил, что «на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней». Это христианское сознание неверности и неважности всего земного освобождает и излечивает от зловредных и уродливых утопий земного рая. Пророчества о царстве Христовом на земле — не христианские, не православные, а общегуманитарные пророчества. «Все положительные религии, создавшие своим влиянием, прямым и косвенным, главнейшие культуры земного шара, — были учениями *пессимизма, узаконившими* страдания, обиды, неправду земной жизни... Все христианские мыслители были тоже своего рода пессимистами. Они даже находили, что зло, обиды, горе в высшей степени нам *полезны,* даже необходимы». Не только христианская, но и всякая религия должна признать, что выпадающие на долю человека страдания имеют смысл, непостижимый в пределах этой земной жизни, должны примирять с жизнью, с ее испытаниями, ужаса-

ми и несчастьями. Восстание и бунт, по существу, не религиозны. «С христианской точки зрения можно сказать, что *воцарение на земле постоянного мира,* благоденствия, согласия, общей обеспеченности и т. д., т. е. именно того, чем задался так неудачно демократический прогресс, было бы *величайшим бедствием в христианском смысле*... С христианством можно мирить философскую идею сложного *развития* для *неизвестных* дальнейших целей, но эвдемонический прогресс, ищущий счастия в равенстве и свободе, — совершенно непримирим с основной идеей христианства». «Христос сказал, что человечество *неисправимо в общем смысле;* Он сказал даже,что "под конец оскудеет любовь"». Своевольная любовь, по мнению К. Н., лишь приводит к революции, до того она «удобопревратна». «Добровольное унижение о Господе лучше и *вернее для спасения души,* чем эта гордая и невозможная протекция отеческого незлобия и ежеминутной *елейности*. Многие праведники предпочитали удаление в пустыню *деятельной* любви; там они *молились Богу сперва* за свою душу, а *потом* за других людей... Даже в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться деятельною и горячею любовью, а прежде всего учат *послушанию, принуждению, пассивному прощению обид*». Бóльшая часть этих острых мыслей, столь характерных для миросозерцания К. Н., выражена в его статье «Наши новые христиане», направленной против Толстого и Достоевского, которых он обвиняет в «розовом», т. е. филантропическом, христианстве. К «розовому» христианству у К. Н. была непримиримая вражда. Но он слишком отождествляет и смешивает Толстого и Достоевского и не чувствует, что христианство Достоевского было трагическим. Не хочет видеть К. Леонтьев и того, что гуманизм все же ближе к христианству, чем бестиализм.

«Аскетизм христианский подразумевает борьбу, страдания, неравенства, т. е. остается верен *феноменальной* философии строгого реализма; а эвдемоническая вера мечтает уничтожить *боль,* этот существенный атрибут всякой исторической и даже животной *феноменальности*... Христианство сообразнее на практике и с земной жизнью, чем эти — холодные надежды всеполезного прогресса!» К этой мысли часто возвращается К. Н. Христианство для него и идеальнее и реальнее эвдемонического учения о земном прогрессе и земном всеблаженстве. Он говорит, что гордость его ума приводит его к смирению перед Церковью. «Не верю в безошибочность моего ума, не верю в безошибочность и других, самых великих умов, не верю тем еще более в непогрешимость собирательного человечества; но верить во что-нибудь

всякому нужно, чтобы жить. Буду верить в Евангелие, объясненное Церковью, а не иначе. Боже мой, как хорошо, легко! Как все ясно! И как это ничему не мешает: ни эстетике, ни патриотизму, ни философии, ни правильно понятой науке, ни правильной любви к человечеству». Аскетическое, монашеское христианство не только строго и сурово, оно также снисходительно к слабостям и немощам человеческим. К. Н. научался этому из своего общения со старцами. Старцы снисходительны к личности, но беспощадны к соблазнам и иллюзиям земного прогресса и благоденствия человечества. Розанов говорит, что К. Леонтьев при появлении либерала делался черным монахом с огромным посохом и начинал бить по голове либерала этим посохом. Он был суровым аскетом, когда дело шло о земном благополучии человечества, о гуманистических иллюзиях, о либерализме, демократизме, социализме, анархизме. Но у него было и другое лицо, и оно было обращено и к отдельным людям, к отдельным душам, и к цветению культур, к великим историческим ценностям. Он был снисходителен к слабостям и грехам, к порокам и падениям человеческим, но беспощаден к ложным верованиям, к ложным принципам, хотя бы и возвышенным. «Дурные страсти для монахов лучше, чем неподходящие и неуместные высокие принципы». «Не в личных поступках христиан, не в грубых вещественных побуждениях, не в корыстных распрях, даже не в преступлениях гибель и вред православному принципу, а в *постепенном вырождении его* в другие принципы». «Несовершенство и греховность монашеского большинства *даже необходимы для высших целей иночества*. Если бы все монахи были ангелоподобными, не только по стремлению, по идеалу, но, так сказать, по достижению, — то не могли бы вырабатываться в монастырях святые люди, великие подвижники и старцы». «С христианской точки зрения, изредка, по немощи нашей, повеселиться несравненно позволительнее, чем проповедовать ересь безбожной этики и невероятной всеобщей любви». У К. Н. было отвращение к морализму в религии, он с особенной враждой относился ко всяким подменам религиозных начал морально-гуманистическими. Христианство не верит в автономную мораль личности человеческой. У него была глубокая антипатия к «евангельскому» христианству, к принятию Христа не через Церковь, к перенесению центра тяжести религиозной жизни в ангельские заповеди. Он понимал, что Церковь в христианстве означает принцип развития. «Чтобы быть православным, *необходимо Евангелие читать сквозь стекла святоотеческого учения;* а иначе из самого Св. Писания можно извлечь и скопчество, и лютеранст-

во, и молоканство, и другие лжеучения». В истории Церкви действуют не только чистые и простые сердцем и умом. Для Церкви нужны и жестокие, и лукавые. С православной точки зрения, порочные и безнравственные люди могут оказаться лучше добродетельных. «Милосердие, доброта, справедливость, самоотвержение — все это только и может проявляться, когда есть горе, неравенство положений, обида, жестокость». «*Нравственность* самочинная, как у честных атеистов, ни *малейшей* цены для загробного спасения не имеет». «Когда страстную эстетику побеждает духовное (мистическое) чувство, я благоговею, я склоняюсь, чту и люблю; когда же эту таинственную, необходимую для полноты жизненного развития поэзию побеждает утилитарная этика, — я негодую, и от того общества, где последнее случается слишком часто, уже не жду ничего!» «Доброта, прощение, милосердие... Они взяли лишь одну сторону Евангельского учения и зовут ее *существенной стороной!* Но *аскетизм* и суровость они забыли? Но на гневных и строгих Божественных словах они не останавливались?.. Нельзя... все мягкое, сладкое, приятное, облегчающее жизнь принять, а все грозное, суровое и мучительное отвергать как несущественное». Византизм для Леонтьева был развитием христианства. «Правды на земле не было, нет, не будет и не должно быть; при человеческой правде люди забудут божественную истину!» К. Н. делает различие между «любовью-милосердием», моральной любовью и «любовью-восхищением», эстетической любовью. Все инстинкты его природы были на стороне второй любви. Это его мирская оценка любви. С религиозной точки зрения он относился подозрительно к любви без страха, к любви автономно-моральной и гуманной. Такая любовь есть «самовольный плод *антрополатрии,* новой веры в *земного человека* и в земное человечество». «*Все мы* живем и дышим ежедневно под *страхом человеческим:* под страхом корыстного расчета, под страхом самолюбия, под страхом безденежья, под страхом того или другого тайного унижения: под боязнью наказания, нужды, болезни, скорби; и находим, что это все “ничего” и *достоинству* нашему не противоречит ничуть. А страх высший, мистический, страх *греха,* боязнь уклониться от церковного учения или не дорасти до него — это боязнь низкая, это страх грубый, мужицкий страх или женски-малодушный, что ли?» Отвращение К. Н. к морализму и рационализму в религиозной жизни вело к тому, что он сочувствовал хлыстам, скопцам и мормонам более, чем уклону к протестантизму. Леонтьев был очень православным в одной какой-то православной традиции, но он никогда не мог стать вполне христи-

анином. Он не преодолел в себе ветхозаветно-законнической религиозности.

II

К. Леонтьев относился отрицательно к славянско-демократическому православию, сближающемуся с англиканством. «Славяно-англиканское новоправославие есть нечто более опасное (да и более бесплодное, пожалуй), чем всякое скопчество и всякая хлыстовщина... В этих последних уклонениях есть хоть *еретическое творчество,* есть своего рода сатанинская поэзия, есть *строй,* есть пластичность, которая их тотчас же *обособляет в особую, резко огражденную от православных, группу:* а что было бы в том англо-славянском поповском мещанстве, кроме греха и духовного бунта, с одной стороны, глупости и прозы — с другой? Для кого же и для чего нужно, чтобы какая-нибудь мадам Благовещенская или Успенская сидела около супруга своего на ступенях епископского трона?» К. Н. не считал «хомяковское православие» настоящим православием. У Хомякова он видит протестантский и гуманистический уклон. Настоящее православие — *филаретовское*. Катехизис Филарета [33] для него вернее катехизиса Хомякова. Леонтьев не заметил, что учение о Церкви митрополита Филарета менее православное и более протестантское, чем учение о Церкви Хомякова. Но слово «филаретовское» он употребляет в условно-символическом смысле. К. Н. не очень любил литературное вольномыслие в церковных и богословских вопросах. «Византийскому православию выучили и меня верить и служить знаменитые афонские духовники Иероним и Макарий. Этому же византийскому православию служат и теперь такие церковные ораторы, как Никанор Одесский и Амвросий Харьковский [34]. Этого православия (а не хомяковского) держатся все более известные представители современного нам русского монашества и русской иерархии». Византийское православие для Леонтьева и есть филаретовское православие. «*Лично* хорошим, благочестивым и добродетельным христианином, конечно, можно быть и при филаретовском, и при хомяковском оттенке в православии; и были и есть таковые. А вот уже *святым* несколько вернее можно стать на старой почве, филаретовской, чем на новой, славянофильской почве». Образ св. Серафима — совсем не византийский и не филаретовский — опровергает Леонтьева. К. Леонтьеву совершенно чужда славянофильская идея соборности с народническим, демократическим, как ему казалось, оттенком. Он решительный сторонник иерархическо-

го начала в Церкви, в этом он более католик, чем православный, по своим симпатиям и смотрит на Церковь как на общество неравное. Для К. Н. монашество было цветом православия. Православие же славянофильское не было монашеским, оно было народно-бытовым. Для К. Н. христианство «в основании своем есть безустанное понуждение о Христе». Для славянофилов же христианство было прежде всего свободой духа. Византийское православие «для государственной общественности и для семейной жизни — есть религия *дисциплины*. Для внутренней жизни нашего сердца — оно есть религия *разочарования,* религия безнадежности на что бы то ни было земное». Так думал К. Леонтьев. Славянофилы же никогда не исповедовали такого «византийского» православия — их православие было русским, семейно-бытовым, не исключающим земных надежд. Хомяковское православие — очень благодушное по сравнению с леонтьевским. «Славянскую Церковь, пожалуй, и можно устроить. Но будет ли это Церковь правоверная? Будет ли государство, освященное этой Церковью, долговечно и сильно? Можно, пожалуй, отделиться от греческих Церквей и забыть их великие предания; можно остановиться на мысли Хомякова, что без *иерархии* Церковь не может жить, а без монашества может; остановившись с либеральной любовью на этой ложной мысли, нетрудно было бы закрыть после этого постепенно все монастыри, допустить женатых епископов. Потом уже легко было бы перейти и к тому будущему *русскому* православию Гилярова-Платонова [35], о котором я уже говорил: "возвратиться ко временам до Константина", т. е. остаться даже без Никейского символа веры и в то же время без тех возбуждающих воздействий, которые доставили первоначальным христианам гонения языческих императоров». Но православная Церковь в наши дни вернулась к временам до Константина, и этим обозначилась новая, быть может творческая, эпоха в христианстве. Этого Леонтьев не предвидел. «При всем искреннем уважении моем к старшим славянофильским учителям: Хомякову, Самарину, Аксакову, я должен признаться, что от их искренних трудов на меня нередко *веет* чем-то сомнительным... и, быть может, при неосторожных *дальнейших* выводах, и весьма опасным. Можно и *развивать* дальше православие, но только никак не в эту какую-то *национально-протестантскую сторону,* а уж скорее в сторону противоположную, или действительно сближаясь с Римом, или, еще лучше, только *научаясь* многому у Рима, как научаются у противника, *заимствуя только силы, без единения интересов*». К. Н. чувствовал себя ближе к Вл. Соловьеву, чем к Хомякову. «Соловьевская *мысль несрав-*

ненно яснее и осязательнее *хомяковской* («любовь», «любовь» у Хомякова; «истина», «истина» — и только); я у него в богословии, признаюсь, *ничего* не понимаю и старое *филаретовское* и т. д., более жестокое мне гораздо доступнее как более *естественное*». Также Победоносцева в церковных вопросах он ставил выше Достоевского. И все-таки мы должны признать, что Хомяков лучше выражал дух русского православия, чем Леонтьев. И есть что-то тревожное в том, что оптинские старцы одобряли К. Леонтьева более, чем славянофилов, Гоголя, Достоевского, Вл. Соловьева, и считали его духовное устроение истинно православным.

III

К. Леонтьев не только не разделял традиционно-славянофильского отрицательного отношения к католичеству, но имел положительные католические симпатии, которые под конец у него возросли. В этом отношении для него имело значение общение с Вл. Соловьевым. «Читая его, начинаешь снова надеяться, что у Православной Церкви есть не одно только "небесное" будущее, но и *земное*... одно то, что Владимир Соловьев первый осмелился так резко "поднять" целую бурю религиозных мыслей на полудремлющей поверхности нашего церковного моря, есть заслуга немалая! Это не рационализм, не пашковская вера [36], не штунда какая-нибудь, не медленное течение по наклонной плоскости в бездну безверия, это, наоборот, *против давнего течения,* против привычного полупротестантского уклонения нашего; это против нашей "русской шерсти" даже». Вл. Соловьев действовал в высшей степени возбуждающе и на самого К. Н. и вызывал в нем «бури религиозных мыслей». По сравнению с Соловьевым К. Н. отличался религиозной робостью и покорностью, он не дерзает взять на себя инициативы и почина религиозного творчества. «Если бы мне было категорически объявлено *свыше,* иерархически объявлено, что *вне Римской Церкви нет мне спасения за гробом* — и что для этого спасения я должен отречься и от русской национальности моей, — то я бы отрекся от нее не колеблясь... Ни всевосточный собор, ни восточные патриархи, ни св. русский синод — мне этого еще не сказали! Владимир Соловьев для меня не имеет ни личного мистического помазания, ни собирательной мощи духовного собора... Катехизис самый краткий, сухой и плохо составленный для меня, православного, в миллион раз важнее всей его учености и всего его таланта!.. Я пойду с Соловьевым безбоязненно, быть может и до половины

пути его “развития”; но может ли гений помешать моему православному разуму проститься с ним на этом распутье и, протянув ему руку признательности, сказать в последнюю минуту: “*Боязнь согрешить* не позволяет мне идти с вами дальше. Епископы и старцы еще нейдут, и я не пойду”... Я *люблю* ваши идеи и чувства, уму вашему я готов поклониться со всей искренностью моей независтливой природы, — но я... не только сам не пойду за вами, — я всякому, кто захочет знать мое мнение, скажу так: читайте его, восхищайтесь им; восходите с ним до *известного предела* на высоту его *духовной пирамиды;* но при этом хороните строго в глубине сердец ваших боязнь согрешить против той Церкви, в которой вы крещены и воспитаны». Тут чувствуется огромное различие между Вл. Соловьевым и К. Леонтьевым. Соловьев чувствует призвание пророческого служения в Церкви, он дерзает религиозно творить и религиозно познавать сокровенные тайны Божьи. Леонтьев же прежде всего спасается в Церкви, в Церкви он был смирен и послушен, он уходил в Церковь от гибельных своих дерзновений в миру. Он искал в Церкви освобождения от своей демонической воли и должен был прийти к старчеству. Леонтьев был человек возрождения светского, мирского. Соловьев же был именно человек возрождения духовного, религиозного. Поэтому дерзновенная свобода мысли у них была в разных сферах. У К. Н. не было теософических и теократических исканий. Он боялся религиозного творчества как помехи и опасности для своего спасения, он не ощущал в себе пророческого призвания. Он и Достоевскому советовал учиться, а не учить... Но Вл. Соловьеву он доверял больше, чем Достоевскому, и старался учиться у него. Он возражает Вл. Соловьеву всегда очень робко, скромно и не вполне уверенно. Так, робки и неуверенны все его возражения о папе и соединении церквей. Ему мешают возражать решительно его собственные симпатии. Ему нравится религиозный фанатизм католиков, их крепость и активность в отношении к своей вере. Католики «и нам могут служить добрым примером». Он считает «католиков очень полезными не только для всей Европы, *но и для России*». Он сочувствует соединению церквей и находит проповедь Вл. Соловьева полезной. «Она полезна двояко: во-первых, *общехристианским мистицизмом* своим; во-вторых, той *потребностью ясной дисциплины* духовной, которая видна всюду в его возвышенных трудах». Против крайности нигилизма нужны другие крайности — религии и мистицизма, а не буржуазная этика. В католичестве, по Леонтьеву, есть огромная сила для противодействия нигилизму и революционному разрушению, бóльшая, чем в право-

славии. «Когда речь идет *о развитии, о своеобразии, о творчестве культурно-религиозном, я не могу не видеть,* что после разделения Церквей православие в Византии остановилось, а в России (и вообще в славянстве) было принято оттуда *без изменения,* т. е. *без творчества*. А европейская культура именно после этого разделения и начала *выделяться* из общевизантийской цивилизавции. В истории католичества что ни шаг, *то творчество,* своеобразие, независимость, сила». Эти справедливые слова К. Н. должны ужасно звучать для славянофилов и наших церковных националистов, они показывают, как он был далек от них. «Все мы (и я прежде всех!) бессильны, — пишет он Александрову, — и нет у Православия истинно хороших защитников... Неужели же нет никаких надежд на долгое и глубокое возрождение Истины и Веры в несчастной (и подлой!) России нашей?.. Возражать по многим и важным причинам не могу. Перетерлись, видно, "струны" мои от долготерпения — и без *своевременной поддержки*... Хочу поднять крылья — и *не могу*. Дух отошел!» Это пишет он после того, как порвал с Вл. Соловьевым и признал нужным бороться с ним. Но мог ли он бороться с Соловьевым, имея такие настроения по вопросам церковным и национальным? К. Н. оставлял за собой свободу мысли и мнения в богословских вопросах, возможную и при подчинении жизни своей старцу. Он не считал возможным ограничить жизнь Церкви одним охранением известного, испытанного и общепризнанного. «Миряне могут и должны мыслить и писать о *новых* вопросах». Для христианина нужна простота сердца, а не простота ума. «Что за ничтожная была бы вещь эта "религия", если бы она решительно не могла устоять против образованности и развитости ума!» Но сам К. Н. не мог уже воспользоваться желанной свободой религиозной и богословской мысли. Ужас гибели, жажда спасения подрезали его крылья, ослабляли его творческое дерзновение. «*Мне самому,* тоже по Высшей Воле, душеспасительнее теперь замолчать и покориться». В последний период своей жизни он уже пишет не так ярко, остро и смело, как писал раньше. К. Н. так до конца и не мог «упростить себя умственно». «Я связан с миром, я имею дурную привычку писать, имею великое несчастье быть русским литератором». В письме к о. И. Фуделю К. Н. возвращается к теме о простоте и сложности ума и решительно защищает сложность ума. Часто возвращается он также к беспокойному для него вопросу о Вл. Соловьеве. От Соловьева, по его мнению, останется «идея развития Церкви». След от него будет великий. «Я не скрою от вас моей "немощи", — пишет он Фуделю, — мне *лично* папская непогрешимость *ужасно* нравится.

“Старец старцев”. Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не то что руку... Римский католицизм нравится и моим искренно деспотическим вкусам, и моей наклонности к духовному послушанию и по многим еще другим причинам привлекает мое сердце и ум».

Очень интересные отношения между К. Леонтьевым и о. Климентом Зедергольмом и споры их. О. Климент Зедергольм не был по типу своему старцем, не был духовным водителем. И К. Н. любил спорить с о. Климентом Зедергольмом, любил открывать перед ним всю сложность своей природы и своего ума. Это было не только духовное, но и светское, культурное общение. К. Н. хотел бы, чтобы в среде духовенства нашего «было побольше людей, подобных Клименту, светски образованных и по-мирски ученых, но по воле и убеждению склонившихся перед строгим императивом церковного учения». В беседах с о. Климентом К. Н. нередко предстает как человек Возрождения, старый язычник и эстет с бесконечно сложными потребностями, с требованием полярных противоположностей. О. Климент говорит, что диавол пользуется эстетическими наклонностями К. Н., его любовью к поэзии жизни. Он хочет смирить ум К. Н., внушить ему боязнь даже невинных сочувствий еретичеству. Но К. Н. не отказался ни от сложности своего ума, ни от своих эстетических наклонностей. Духовный переворот 71 г. не изменил К. Н. окончательно; в нем до конца осталась его противоречивая, сложная, плененная земной красотой природа. О. Климент требует, чтобы К. Н. «чувствовал духовное омерзение ко всему, что не православие». На это К. Н. восклицает: «Зачем я буду чувствовать это омерзение? Нет! Для меня это невозможно... Я Коран читаю с удовольствием... “Коран — мерзость!” — сказал Климент, отвращаясь... А для меня это прекрасная лирическая поэма. И я на вашу точку зрения не стану никогда. Я не понимаю этой односторонности, и вы просто за меня опасаетесь... Иезуит мне нравится больше равнодушного попа, которому хоть трава не расти и который не перекрестится, пока гром не грянет». В другой раз К. Н. говорит о. Клименту и очень пугает его: «Вы видите, я подчиняюсь всему: ум мой упростить не могу. Я даю ему волю наслаждаться мыслями; это может, конечно, отнимать время, но колебаний в основах веры не причиняет никаких. Я скажу вам один пример. У меня дома есть *философский лексикон Вольтера*[37]. Однажды я прочел там статью о пророке Давиде. Вольтер доказывает, что в теперешнее время его признали бы достойным галер и больше ничего... в этом роде что-то... я очень смеялся... *Я люблю силу ума; но я не верю в безошибоч-*

ность разума... И потому у меня одно не мешает другому. Я точно так же через полчаса после чтения этой статьи Вольтера, как прежде, мог искренне молиться по Псалтырю Давида... Я ведь и крещусь, и в церковь хожу, и все стараюсь исполнять так же, как любая из этих нищих старух, которые собираются из Козельска у ваших скитских ворот. Поэтому предоставьте мне бояться за все христианство и за весь мир, когда я вижу, как глубоко потрясен католицизм, самый могучий, самый выразительный из охранительных оплотов общественного здания. Дайте мне свободу жалеть обо всех этих разнообразных монахах с капюшонами и в широких шляпах, о пышных процессиях, о красных кардиналах. Высшая поэзия и высшая политика связаны глубже между собою, чем обыкновенно думают. Отходит поэзия, отходит и государственная сила, отходит даже и глубина мысли. Не вы ли сами недавно с завистью говорили мне, что у западных народов все более глубоко и выразительно. *Все трещины с углублением*». Это необыкновенно характерное для К. Леонтьева место. Так может говорить только барин, аристократ. Демократический склад религиозности не допускает этой игры ума, этой любви к противоположностям, этой свободы, этого смешения Псалмов Давида с Вольтером. Это барство, этот аристократизм сильно чувствуется в окраске религиозных переживаний К. Н. «Что за скука. С какой я стати буду насильственно брат какому-нибудь немецкому или французскому демократу, которого даже портрет в иллюстрации раздражает меня? Если я *христианин*, то я заставлю замолчать эту свою *художественную* брезгливость... А если я не христианин? Тогда меня может заставить замолчать только один страх перед толпой людей, менее меня развитых». Братство во Христе для него не есть братство равных. К. Н. находит, что дворянство более способно к творчеству, чем духовное сословие. «Не могу освободиться от досады *на грубость чувств и манер* во многих духовных лицах наших». Он выражает желание, чтобы в монастырях было побольше дворян и чтобы они внесли туда «свою благовоспитанность, свои тонкие и сильные чувства, свое изящество, свою *житейскую* поэзию». «И на небе нет и не будет равенства ни в наградах, ни в наказаниях, — и на земле *всеобщая равноправная свобода есть не что иное, как уготовление пути антихристу*» (курсив мой. — *Н.Б.*). До конца демонически-эстетическое начало сохраняло для К. Н. свою великую ценность. Любовь к контрастам так велика в нем, что с Афона он пишет: «На столе моем рядом лежат Прудон и Пророк Давид, Байрон и Златоуст; Иоанн Дамаскин и Гете; Хомяков и Герцен. Здесь я покойнее, чем был в миру; здесь я и

мир люблю, как далекую и безвредную картину». Ему нужно, чтобы «жизнь была пышна, была богата и разнообразна борьбою сил божественных (религиозных) с силами страстно-эстетическими (демоническими)». Он даже не хочет полного устранения сатанинских сил, они нужны для *разнообразия*. Сначала он стремился главным образом к *разнообразию,* после религиозного переворота он стал стремиться и к *единому*. Но разнообразие должно сохраниться. Он пишет Розанову: «И христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь... Что же делать? Христианству должны мы помогать даже в ущерб любимой нами эстетики». В словах этих чувствуется надрыв. К. Леонтьев говорит о христианстве почти так, как говорит Ницше, как впоследствии говорил Розанов. От эстетики жизни он до конца не отказался, он остался дуалистом и совмещал противоположные начала. Больше всего К. Н. пугал о. Климента своими католическими симпатиями. Он прямо говорит о своем пристрастии к католичеству в «культурно-политическом» отношении. Сначала К. Н. не понимал, почему ему так трудно было сговориться с о. Климентом о католичестве. Наконец он понял. «Разница между нами была большая. Я никак не могу забыть ту исполинскую культурную борьбу ясного и выработанного старого с неопределенным и неясным новым, которая ведется теперь по всему земному шару; он ни на минуту не хотел вполне оставить заботу о спасении души, не только своей собственной, но и ближнего. Я, защищая некоторые стороны папства, думал *о судьбах Европы, столь сильно, к несчастию, влияющей и на Россию;* он, тревожно и настойчиво возражая мне, думал о *моей душе*. Он боялся даже этой искры сочувствия папизму». Это очень характерно не только для К. Н., но и для направления оптинских старцев, для нашего монашеского православия. Религиозность самого К. Н. была оптинская, монашеская, аскетическая, но у него была и другая сторона. Он не был равнодушен к историческим судьбам. И он хотел, чтобы русское духовенство, слишком пассивное и думающее лишь о спасении индивидуальных душ, более походило на католическое. Но Леонтьев в отличие от Соловьева никогда не мог усвоить себе христианского отношения к истории. Его и в католичестве пленяло совсем не то, что Соловьева, пленяла лишь эстетика и властная политика.

IV

Потрясенный в момент религиозного перелома ужасом вечной гибели и движимый страстной жаждой личного спасения,

К. Леонтьев должен был прийти к старчеству и в нем искать духовного водительства. По душевному типу своему он не мог найти избавления в глубине самого себя. Он не принадлежал к тем благодатным людям, которые раскрывают в себе Христа и живут в глубине созерцанием божественных тайн, которые знают радость непосредственного богообщения. К. Н. ищет избавления от своей собственной демонической природы, ищет спасения вне себя, жаждет освобождения от себя, от своей воли, он познал гибель от себя. Сразу же после переворота К. Н. хочет отдать свою волю старцу и для этого отправляется на Афон. Там в то время находились старцы Макарий и Иероним. Но настоящая жизнь под водительством старцев для него еще не наступила. Окончательное духовное успокоение он находит лишь в Оптиной Пустыни, у старца Амвросия. После того как о. Амвросий сделался его духовным руководителем, он чувствует себя у пристани. В письме с Афона он пишет: «Знаешь ли ты, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? Знаешь ли ты, сколько *христианской воли* нужно, чтобы убить в себе *другую волю,* светскую волю?» Вот что он говорит о необходимости старчества в книге «Отец Климент Зедергольм»: «Отпущение грехов на исповеди мне недостаточно; меня это не успокаивает; я не доверяю вполне и постоянно, по долгу христианского смирения, свидетельству одной моей совести, ибо это свидетельство прежде всего основано на гордости личного разума; поэтому в трудных случаях моей жизни, где я беспрестанно поставлен между грехом и скорбью, я хочу обращаться с верой к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений, хотя и понимающему их прекрасно. Я верю не в то, чтобы духовник или старец этот был безгрешен, ни даже, что он умом своим непогрешим. Нет! я с теплою верой в Бога и в Церковь и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь прихожу к нему, и что бы он мне ни ответил на откровение моих тайн, даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить. А при этом я, верующий мирянин, могу быть лично и очень умен, и чрезвычайно развит, и в житейских делах гораздо даже опытнее этого старца». К. Н. так далеко заходил в отдании своей воли старцу, что однажды сказал жене Астафьева: «Вы знаете, до чего я покоряюсь старцу? Вот если он мне прикажет вас убить, то я нисколько не задумаюсь». По поводу отношения оптинских старцев к его литературной деятельности К. Н. пишет Губастову: «Они очень расположены ко мне

и, изучивши как характер мой, так и обстоятельства, находят, что мне еще надо продолжать заниматься литературой». Поэтому жизнь его в Оптиной Пустыни была очень плодотворной в литературном отношении. В старчестве строгость соединяется с большой снисходительностью и легкостью. Это должен знать всякий побывавший у старца. Водительство о. Амвросия распространялось не только на духовную жизнь К. Н., но и на материальную его жизнь. Так, когда К. Н. предложили в Петербурге работу в большой газете, о. Амвросий «отказываться не благословил, а велел потребовать больше денег и удобств». Это очень характерно. Близко зная старчество и изучив дух Оптиной Пустыни, К. Н. решительно утверждает, что образ Зосимы ничего общего не имеет с подлинным старчеством. «Когда Достоевский напечатал свои надежды на *земное торжество христианства* в " Братьях Карамазовых", то оптинские иеромонахи, смеясь, спрашивали друг друга: "Уж не вы ли, отец такой-то, так думаете". *Духовная же цензура* наша прямо запретила особое издание *учения о. Зосимы;* и нашей было предписано сделать то же («Ибо, сказано было, это может подать повод к новой ереси»)». В *новые пути* К. Н. не верит: «Какие же это могут быть новые пути? Для меня никаких нет, кроме догматического и аскетического православия, *устоявшего против науки и прогресса*». Этому научили его старцы. И все-таки его беспокоит судьба Оптиной Пустыни, и он чувствует чуждость большей части тамошних монахов. «Для Оптиной в наше время нужен игумен образованный; а такого человека между оптинскими иеромонахами нет. Есть деловые, добрые, практически умные; но все, за исключением скитоначальника отца Анатолия [38], купцы по роду и по духу. И посмотрите, что именно от. Анатолия-то они и не выберут. Не выберут потому, что слишком *идеален;* а они, эти старшие здесь, хоть и честные, искренние монахи в своей специальной сфере, но в деле управления помешаны на хозяйстве; а о том, какую историческую великую роль играет в XIX веке в России Оптина Пустынь и как важно *для мирян ее влияние,* они мало думают. Они все неясно понимают, что кругом их на свете делается; а живут мыслию все по "старинной простоте"». К. Н. был несоизмеримо сложнее оптинского монашества. И связан с ним он был исключительно через о. Амвросия. Тревожная проблема отношений путей спасения и путей творчества оптинским монашеством не разрешалась и в сознании их не ставилась. Она неразрешима в православии леонтьевского типа, хотя вся жизнь самого Леонтьева была мукой об этой проблеме.

У К. Леонтьева не было искания Царства Божьего, не было теократической идеи. Не в этом была религиозная тема его жизни. Эстетика и привязывала его к земле, и отталкивала от земного торжества Христовой правды. У него было внутреннее противоречие в отношении к будущему: благо на земле невозможно, потому что предсказано торжество зла; но это благо и было бы самым большим злом и уродством. Он не только не верит в возможность христианской общественности как царства правды и блаженства, но и не хочет ее. Такую христианскую общественность он подозревает в сочувствии гуманизму, либерально-эгалитарному прогрессу. Он не хочет видеть в пророчествах Достоевского ничего апокалиптического. Он и от своего любимого Вл. Соловьева отвернулся, когда почувствовал в нем смешение христианства с гуманизмом и прогрессом. Он мало молился о пришествии Царства Божьего. Он боялся исчезновения контраста, разнообразия, полярности. Под конец в нем самом появились апокалиптические настроения; но они носили совсем другой характер. Вера в земной прогресс у него рухнула раньше, чем у Вл. Соловьева. «Братство *по возможности* и гуманность действительно рекомендуются Св. Писанием Нового Завета для *загробного спасения личной души;* но в Св. Писании *нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой гуманности до мира и благоденствия. Христос нам этого не обещал*». И он знал «мировую тоску», но его возмущало, что ее сводят на «гражданское недовольство». Он подозревает это «гражданское недовольство» за стремлением к христианской общественности.

V

Предчувствия наступления конца мира и явления антихриста связаны были у К. Леонтьева с его отношением к либерально-эгалитарному прогрессу. Упростительное смешение, ставшее всеобщим, и есть начало конца, смерть мира. В последних плодах гуманизма — в демократии, в социализме, в анархизме — действует антихристов дух. К. Н. предчувствовал мировую революцию, в которой погибнут все святыни и ценности благородного старого мира, и связывал эту мировую революцию с действием антихристова духа. «*Окончательное* слово может быть одно: *конец всему на земле! Прекращение истории и жизни*». «Последние времена, — пишет он Александрову, — по всем признакам близки». В письме к Губастову он говорит: «Царство антихриста, во всяком случае, близко, и в духовном смысле избранных все будет меньше и меньше». Иногда он надеется, что после того,

как человечеством будет испытана «горечь социалистического устройства», в нем начнется глубокая духовная, религиозная реакция, и тогда в самой науке явится «сознание своего практического бессилия, мужественное покаяние и смирение перед могуществом и правотой сердечной мистики и веры». Но надежда эта не была велика, она еле теплилась и под конец совсем исчезла. Чем отличаются апокалиптические настроения и предчувствия конца у К. Леонтьева от настроений и переживаний Достоевского и Вл. Соловьева? Они более мрачны, в них нет никаких хилиастических надежд. Но наиболее характерно для К. Н. то, что он *натурализирует* конец мира. Близкий конец человечества был для него неотвратимой естественной смертью. Приближение конца, смерти он прежде всего познал как натуралист и ощутил как эстет. Это свое познание и ощущение он потом санкционировал религиозно, согласовал с христианским пророчеством. Но натуралистическая печать осталась на его апокалиптическом сознании. Он никогда не раскрывал мистической эсхатологии, не умел найти мистического выражения для своих предчувствий и прозрений. Но он острее и яснее других почувствовал антихристову природу революционного гуманизма с его истребляющей жаждой равенства. «Для *задержания* народов на пути антихристианского прогресса, для удаления срока пришествия антихриста (т. е. того могущественного человека, который возьмет в свои руки все противохристианское, противоцерковное движение) *необходима сильная царская власть*». Но это задерживающее средство не оказалось достаточно сильным и действительным, скорее наоборот. Необходимы и *творческие* средства, которых К. Н. не мог изобрести. Антихристов дух нельзя победить реакцией, его можно победить лишь религиозным творчеством. Леонтьев возлагал надежды исключительно на «подмораживание». У самого К. Н. были диавольские соблазны, связанные с прошлым, но не было антихристовых соблазнов, связанных с будущим. Он не смешивал христианство с гуманизмом, с филантропией, с демократией, с социализмом. И это имело серьезное значение в нашу эпоху смешений и подмен.

К. Н. мучило не только предчувствие мировой смерти, но и предчувствие личной смерти. Особенно мучительное предчувствие было у него при переходе к 90-м годам. Он принимает тайный постриг частью от предчувствия близкой смерти, частью для того, чтобы создать в своей жизни крупный переворот и этим оправдать свое предчувствие крупного события всей жизни. «Если не смерть близится, — пишет он Александрову, — то надо ждать какой-то новой, *тяжелой и значительной* в моей

жизни перемены. Уже признаки *начала конца* и обнаружились один за другим». У него было могущественное жизненное противление смерти. Перед смертью, мечась в жару, в полусознании, в полубреду, по рассказу Вари, он то и дело повторяет: «Еще поборемся!» и потом: «Нет, надо покориться!» и опять: «Еще поборемся!» и снова: «Надо покориться!». Монах-аскет — К. Н. любил жизнь, был влюблен в ее пышное цветение. И ему трудно было примириться со смертью. Эта непримиренность чувствуется в бесконечно печальных словах, в которых он описывает впечатление от могилы о. Климента Зедергольма и которыми он кончает книгу о нем: «Вечером на Распятии горит лампадка в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте и знаю, *что такое там, около этого пунцового сияющего пятна*... Иногда оно кажется кротким, но зато иногда нестерпимо страшным во мраке посреди снегов!.. Страшно за себя, страшно за близких, страшно, особенно, за родину, когда вспомнишь, как мало в ней таких людей и как рано они умирают, не свершив и половины возможного». Религиозный путь К. Н. не освобождал его от страха. Благодатной примиренности не наступило. Религиозная судьба К. Н. — трагическая и страдальческая. Религиозная проблема его жизни неразрешима теми средствами, которыми он хотел ее разрешить. Он был мучеником переходной религиозной эпохи. Всей судьбой своей он дает материал для решения религиозно-философских проблем, но сам он не решает этих проблем. Он многое почувствовал раньше других. Этот «реакционер» был очень чуток к подземным гулам надвигающегося грядущего. Но сознание его было подавлено страшными кошмарами.

Был ли К. Леонтьев мистиком? Я думаю, что нет, если употреблять слово это в строгом смысле. Во времена К. Н. не стояла еще ясно перед сознанием проблема мистики как особой сферы духовной жизни. Слово «мистический» употреблялось в смысле, почти тождественном со словом «религиозный». Сам К. Н. часто употребляет эпитет «мистический» и связывает с ним для себя что-то ценное и положительное. Но ничего специфического он с этим словом не связывает, оно было для него тождественно со словом «религиозный» и противополагалось рационализму, материализму и т. д. Путь самого К. Н. не был мистическим путем. Он совершенно не был начитан в мистической литературе, и нет никаких свидетельств о том, чтобы он прибегал к мистической практике как особого качества духовному пути. Он никогда не говорит о возможности мистических созерцаний иных миров. Для этого сознание его было слишком трансцендентным.

Он не переживал в глубине близость Бога и человека, Бога и мира. Он всегда испытывал ужас тварности. Но мистика в более точном и определенном смысле слова всегда есть имманентность Бога человеческому духу. Мистика глубоко сокровенна, она всегда есть достояние внутреннего человека. Состояния, которые переживал К. Н., могут быть названы исключительно трансцендентно-религиозными, а не имманентно-мистическими. Самая религиозность его имеет ветхозаветную окраску. Но элементы ветхозаветные в христианстве — наименее мистические. К. Н. — религиозная натура, и религиозность его страстная и напряженная, но он не был мистически одарен. В жизни К. Н. мы не видим мистических явлений. Его религиозная жизнь трагична, но открыта и ясна во всех своих страстных противоречиях. Он очень отличался от Вл. Соловьева, который был мистически одарен, но, может быть, менее страстно религиозен. К. Н. считал полезным всякий мистицизм, но сам мистическим путем он не идет. Он был слишком эстетом, чтобы быть мистиком. Он созерцает красоту мира, но не созерцает божественных тайн мира. К миру он может подходить исключительно натуралистически и эстетически. В религиозных путях своего спасения он исключительно уходит от мира, бежит от мира. Он не знал мистического преодоления дуализма в божественном единстве. Он не умел религиозно вернуться в мир. Он не хотел понять, что, как бы ни были пессимистичны наши предчувствия будущего, все *силы нашего духа* должны быть направлены на осуществление Царства Божьего в мире, правды Божьей в жизни.

В заключение нужно сказать, в чем была сильная и положительная сторона К. Леонтьева и в чем слабая и отрицательная его сторона. К. Н. был благородным аристократическим мыслителем, защищавшим неравенство и иерархический строй во имя высших качеств культуры и красоты жизни, а не во имя каких-либо своекорыстных интересов. С практическими реакционерами он имел мало общего и совсем для них не нужен. В жажде равенства, охватившей мир, он почуял и пытался раскрыть дух антихриста, дух смерти и небытия. В этих мыслях своих он остался одинок. Восприняли его внешнюю «реакционность», но не восприняли его прозрений будущего. Он задолго до Шпенглера понял роковой переход «культуры» в «цивилизацию». Не только писаниями своими, но и всей жизнью своей и всей судьбой своей он остро ставит вопрос об отношении христианства к миру, к истории, к культуре. Но он не решил этих вопросов, он остался в трагическом дуализме, язычество и христианство остались в нем раздельными, но сосуществующими. В самом язычестве

К. Н. было много не преодоленного еще позитивизма. В чем была причина его религиозной неудачи? Он отрицал гуманизм, и в этом была своя правда. Но он также отрицал человека, религиозно отрицал, и в этом был его провал. Для него христианство не было религией Богочеловека и Богочеловечества. У него был монофизитский уклон [39]. Он бежал от человека как от греха и соблазна, от человека в себе. Он хотел истребить в себе человеческое, и потому человеческое осталось в нем как его исконное язычество, противящееся христианству. Вот почему не мог он вступить на путь религиозного творчества. Но одним охранением нельзя остановить процесс мирового разложения. Лжи вырождающегося гуманизма должно быть противопоставлено положительное религиозное откровение о человеке. Религиозная трагедия К. Леонтьева нас этому научает. Делать программу из «реакционности» К. Леонтьева в наши дни вредно и не умно. К. Леонтьев не годен для общего употребления. Он не может быть «демократизирован» во имя «правых» интересов. В мире должен происходить не только процесс разложения и умирания, но и процесс религиозно-творческий. «Афонское», «филаретовское», «оптинское» православие не разрешило религиозной драмы К. Леонтьева. В религиозном сознании К. Н. не было ответа на религиозную проблему космоса и человека. Он искал личного спасения, но не искал Царства Божьего.

К. Леонтьев остается живым и для нашего времени, для нашей религиозной и социальной мысли. Он живет в современных религиозно-философских течениях. Он действует в высшей степени возбуждающе на мысль, дает духовные импульсы. К. Леонтьев не может и не должен быть учителем, но он — одно из самых благородных и волнующих явлений в русской духовной жизни.

К ГЛАВЕ I

Для этой главы наиболее важен *том 9* «*Собрания сочинений*» Леонтьева, посвященный воспоминаниям. Первый период жизни Леонтьева ярко обрисован им самим в воспоминаниях «Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе», «Рассказ моей матери об Императрице Марии Федоровне», «Мои дела с Тургеневым», «Сдача Керчи в 1855 году», из которых взята бóльшая часть моих цитат в этой главе. Некоторые цитаты взяты также из *1 тома*, где помещены романы «Подлипки» и «В своем краю», представляющие автобиографической интерес. Источником для этой главы является также *биография А. Коноплянцева* в сборнике «Памяти Леонтьева». Цитаты Розанова взяты из его статьи в «Литературных очерках» и в сборнике «Памяти Леонтьева».

К ГЛАВЕ II

Для этой главы важное значение имеет *том 3* «*Собрания сочинений*» Леонтьева, в котором помещен «Египетский голубь», откуда взято много цитат. Затем важное значение имеют *воспоминания К. А. Губастова* (в сборнике «Памяти Леонтьева»), а также *письма к Губастову и к Розанову*. Много цитат взято также из *5, 7, 8 тома* «*Собрания сочинений*». Отдельные важные места нужно искать по всем девяти томам «*Собрания сочинений*», так как Леонтьев пишет отрывочно и не концентрированно. Для описания религиозного переворота Леонтьева есть важные места в *«Письмах к А. Александрову» и в письме к студенту, напечатанном в «Богословском вестнике»* (1914. № 2). Основная канва дана в *биографии Конопляицева.*

К ГЛАВЕ III

Для этой главы основным является *том 5* «*Собрания сочинений*», в котором помещена главная работа Леонтьева «*Византизм и славянство*», а также *тома 6 и 7*. Эти три тома объединены общим заглавием *«Восток, Россия и славянство»*, и из них взята мной бóльшая часть цитат для характеристики общественной философии и философии истории Леонтьева. Для понимания и характеристики учения Леонтьева мной также принята во внимание книга *Н. Я. Данилевского «Россия и Европа»*. Для характеристики учения Леонтьева об эстетике жизни основным источником являются два письма к о. И. Фуделю, изданные отдельно под названием *«К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни»*.

К ГЛАВЕ IV

Для этой главы основным источником является сборник *«Памяти Леонтьева»*. В этом сборнике, кроме *биографии Конопляицева* с приведенными в ней отрывками писем, большой интерес представляют *письма к Карцовым*. Для последнего периода жизни Леонтьева очень важны *«Письма к А. Александрову»*, из которых я беру много цитат. Для периода после возвращения с Востока важны *письма к Губастову*. В этой главе много цитат взято из *8 тома* «*Собрания сочинений*», где напечатана статья *«Анализ, стиль и веяние»*. *Для характеристики отношений Леонтьева к Вл. Соловьеву основной является статья о. И. Фуделя «К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях»* (Русская мысль. 1917. Ноябрь–декабрь).

К ГЛАВЕ V

Для этой главы бóльшая часть цитат взята из *5, 6 и 7 томов* «*Собрания сочинений*» Леонтьева, в которых сосредоточены его статьи по восточному вопросу и о России. Особенное значение имеет статья *«Племенная политика как орудие всемирной революции»*, помещенная в *6 томе*. Для характеристики взглядов Леонтьева на Россию и русский народ в последний период, когда он потерял веру в будущее России, важны *«Письма к А. Александрову»*.

К ГЛАВЕ VI

Для этой главы использованы главным образом *6, 7 и 8 тома* «*Собрания сочинений*». Особенно важное значение имеет статья «*Наши новые христиане*», помещенная в *8 томе*. Очень важны для характеристики религиозных переживаний и идей Леонтьева «*Отшельничество, монастырь и мир (Четыре письма с Афона)*» и «*Отец Климент Зедергольм, Иеромонах Оптиной Пустыни*». Имеет значение для этой главы также «*К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни*» и «*Письма к А. Александрову*».

П. Б. СТРУВЕ

Константин Леонтьев

I

Помню с чрезвычайной отчетливостью, как в годы моего раннего отрочества, когда все увлекались и были полны Достоевским — тогда слышны были еще звуки его Пушкинской речи и память о его национальных похоронах была еще жива, — в окне Шигинского книжного магазина во флигельке Пажеского корпуса, на Садовой, мне бросилась в глаза брошюра в серой обложке: *К. Леонтьев*. Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой. Я тогда же купил эту брошюру. Я ее не понял, но почувствовал, что какой-то *новый* сильный писатель с совсем неожиданной стороны нападает на плохо еще знакомого мне, но почитаемого Достоевского и что это *очень интересно*.

Гораздо позже, лет через 12–15, я наткнулся на письма К. Н. Леонтьева, в течение ряда лет печатавшиеся в «Русском обозрении». Вспомнив серую обложку напечатанной в Москве, кажется в Катковской типографии, брошюры, на которой стоит 1881 или 1882 год, я сразу и окончательно из этих писем почувствовал, что в лице уже умершего Леонтьева (он скончался в 1891 г.) русские имеют почти никому не известного, большого и прямо *гениального мыслителя*. Через двадцать лет, уже редактором «Русской мысли», я всячески подхватывал все новые материалы о Леонтьеве и всемерно содействовал их опубликованию.

Вкратце жизнь Леонтьева такова. Родившись в хорошей дворянской семье, Константин Николаевич Леонтьев*, никогда не

---

* Ниже везде ссылки относятся к книге Н. А. Бердяева о Константине Леонтьеве, мой отзыв о которой см.: «Возрождение» от 27 мая. У меня сейчас нет под руками сочинений Леонтьева, и я пишу на память и пользуясь весьма обстоятельной книгой Бердяева.

пользовавшийся достатком, по практическим соображениям избрал карьеру врача и, еще не кончив курса, попал лекарем на войну, в Крымскую кампанию. Был затем в деревне домашним врачом, для того чтобы вскоре бросить врачебную деятельность и отдаться литературе. Литература не кормила. Леонтьев поступил на консульскую службу и уехал на Ближний Восток, где сделал довольно быструю служебную карьеру. Через десять лет с ним произошло религиозное обращение, и этим определилась не только его личная судьба, но содержание, смысл и значение его писательской деятельности. Главнейшие внешние этапы его жизни несущественны. Побыв дипломатом (консулы на Ближнем Востоке, по существу, исполняли и политические функции), отбившись из-за внутреннего кризиса и вообще личных дел от службы, Леонтьев потом из нужды стал цензором. Все это, однако, лишь «вид существования». Важно в дальнейшей жизни Леонтьева только одно: погружение в церковную религиозность, сближение с монахами Оптиной пустыни и наконец собственный тайный постриг — завершение внутренней борьбы и обращение к религии и Церкви.

Это обращение — потому огромный факт русской духовной истории, что Леонтьев — самый острый ум, рожденный русской культурой в XIX веке.

Он был замечательным писателем, даже весьма одаренным «беллетристом», но как мыслитель, как ум он гораздо значительнее и сильнее, чем как писатель.

Его ум значительнее его художественного дарования. Его ум несравненно значительнее и богаче его образования.

2

В чем же значение Леонтьева как мыслителя?

В двух направлениях я вижу это значение.

Леонтьев — единственный русский писатель, который выдвинул проблему *силы* как проблему философскую. Поэтому он не только практически, но и метафизически понял природу государства и дал ему оправдание. Кстати, сам Леонтьев не считал себя метафизиком, но это верно только в школьном и банальном смысле слова. По существу же, Леонтьев в области постижения исторического процесса как философ истории и как политический мыслитель — глубоко проникающий, именно метафизический ум. Именно поэтому он постиг сверхразумные (иррациональные) и таинственные (мистические) основания бытия государства. Его постижение государства вовсе не натуралистически-позитив-

ное (как превратно думает Н. А. Бердяев), а метафизически-мистическое. У Леонтьева, конечно, были уклоны натуралистические, но эти уклоны более словесные, чем существенные, ибо самый натурализм Леонтьева овеян мистицизмом.

«Государство есть как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному, независимому от нас, деспотическому велению внутренней, вложенной в него идеи» (с. 105). «Есть люди очень гуманные, но гуманных государств не бывает. Гуманно может быть *сердце* того или другого правителя, но нация и государство — не человеческий организм. Правда, и они организмы, но другого порядка, они суть идеи, воплощенные в известный общественный строй. У идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки, ибо они суть не что иное, как ясно и смутно сознанные законы природы и истории» (с. 81).

Это — вовсе не натуралистическое, а именно метафизически-мистическое постижение государства, этого самого напряженного выражения силы в человеческой жизни, выражения неумолимого, ибо бескорыстного, идеального, ибо сверхличного, живого и жизненного, ибо не только живущего, но и животворящего. Мне лично эта сторона в духовном творчестве Леонтьева особенно близка и сочувственна: через собственные политические переживания, через общественно-государственный опыт я своим путем пришел к постижению объективной мистичности и мистической объективности государства. О проблеме силы и государства см. мои «Статьи о Льве Толстом» (в «Русской мысли» и в сборнике «Patriotica», есть и отдельное издание) и статьи «Великая Россия» и «Отрывки о государстве» (обе статьи в «Руской мысли» за 1908 год и в сборнике «Patriotica»).

Понимание государства сочетается у Леонтьева с чрезвычайно острым, тоже до метафизически-мистической напряженности возвышающимся ощущением *неравенства* сил и экономии природы и истории. Природа построена иерархически, история творится с бесконечным множеством неравных во всех отношениях сил. Необходимо сознательное и покорное приятие этой расчлененности и этого неравенства.

Никто в русской литературе до Леонтьева не высказал этих мыслей о государстве и неравенстве. Никто после него не говорил этого так сильно и так остро.

В этих «социологических» учениях Леонтьева сливаются и его эстетизм, его влюбленность в земную красоту, и его религиозность, его искание потусторонней правды, и наконец его своеобразный позитивизм, научная честность, неподкупность его трезвой и испытующей мысли.

Из философии силы и государства, из ясного понимания лествичного строения человечества и иерархического развертывания истории не вытекает никаких конкретных политических выводов и никаких определенных исторических предвидений. Непонимание этого составляет ту «*ошибку короткого замыкания*» (посылок и выводов), о которой я уже говорил и в которую часто впадал и Леонтьев. Из того что абсолютное всеобщее равенство невозможно и бессмысленно, не вытекает вовсе никаких выводов о формах относительного равенства. Поэтому, будучи настоящим учителем и для нашего времени в отношении метафизики и мистики общественного бытия, Леонтьев не может быть таковым в отношении конкретной политики и развертывающейся на наших глазах живой истории. Успехи «демократии» не опровергают философских идей Леонтьева, и успехи «фашизма» их не подтверждают. Историческая и политическая философия и не отливает пуль ни в каком смысле, и не изготовляет политических фейерверков.

3

Кроме неумирающих историко-политических идей Леонтьева, он глубже всех русских светских писателей пережил и выразил христианство в его церковно-православном существе, истинном и единственно истинном для православных. В этом пункте я тоже решительно расхожусь с Н. А. Бердяевым. Суть христианства вообще, и церковного в частности и в особенности, именно в том, что оно есть *учение и путь личного спасения*.

Конечно, христианин верит в исполнение Царства Божия (но не на земле!), но ищет он сам, о себе и для себя, личного спасения. Леонтьев это существо, эту сердцевину христианства задорно, но неудачно назвал «трансцендентным *эгоизмом*». Расширяя смысл понятия и слова «эгоизм», мы упраздняем, в сущности, этот смысл. Конечно, мученики, погибая за веру, спасали *свою* душу. Но в этом смысле *эгоизм* объективно-онтологически сопричастен всякому *личному* бытию, а потому эгоистом является и тот, кто, губя «*себя*» в одном, эмпирически-телесном, смысле, спасает «*свою*» душу в другом, мистически-духовном, смысле.

Путь «личного спасения» может иметь более светлый и более мрачный отпечаток. Это дело, в конце концов, психофизиологической организации. Но, конечно, личное спасение неотъемлемо от страха Божия — и это Леонтьев понял и выразил с такой силой, с какой это не было доступно и не могло быть доступно ни одному русскому писателю (ближе всего в религиозном отно-

шении к Леонтьеву из русских писателей Гоголь, которого, впрочем, сам Леонтьев, кажется, не понимал). Ибо у Леонтьева было неразрывное с подлинным христианством чувство греха и греховности. Конечно, и в религиозной области у Леонтьева были *ошибки короткого замыкания* — он иногда политику и эстетику слишком тесно, а потому и превратно, сопрягал с религией. К таким превратным сопряжениям я отношу и всякого рода самочинные апокалиптические толкования Леонтьевым или кем бы то ни было другим исторических событий и процессов.

Поскольку же Леонтьев отрицал то, что Бердяев называет «теократической идеей», или «исканием Царства Божия» (на земле), поскольку он отвегал «христианскую общественность», он был, по моему глубочайшему убеждению, *религиозно прав*. В этом отношении он может и должен быть нашим *учителем*. Формулу Н. А. Бердяева: «В религиозном сознании К. Н. Леонтьева не было ответа на религиозную проблему космоса и человека. Он искал личного спасения, но не искал Царства Божия» (с. 261–262) — я просто не понимаю. Я не понимаю ни субъективно, ни объективно, как может христианин искать «Царства Божия» иначе как через «личное спасение». Поэтому для меня то обстоятельство, что «оптинские старцы одобряли Леонтьева более, чем славянофилов или Достоевского и Вл. Соловьева», не только не «тревожно» (с. 240), но, наоборот, *успокоительно и утешительно*.

4

Леонтьев как духовная личность, росшая и возраставшая, не стоит совершенно одиноко. У него есть связи с духовным прошлым, у него есть притяжения и отталкивания по отношению к современникам.

Леонтьева объединяло с *Герценом* эстетическое отталкивание от духовного типа европейского «буржуа», или «мещанина». Но в свое эстетическое отталкивание Леонтьев не влагал того политического и социального содержания, которое неотъемлемо от воинствующей антибуржуазости социалиста Герцена. Метафизически же Леонтьев был бесконечно далек от плоского материализма Герцена.

Ближе, и душевно и идейно, чем к Герцену, Леонтьев был к *Тургеневу*. Тургенев одно время был его литературным покровителем, и Леонтьев испытывал к нему влечение. Это было вовсе *не случайно*. Эстетизм Тургенева, родственный Леонтьеву, был гораздо последовательнее и целостнее, чем эстетизм Герцена.

Недаром Тургенев обмолвился афоризмом, что «Венера Милосская несомненнее принципов 1789 года». В понимании живой истории у Леонтьева было очень много точек соприкосновения с Тургеневым как автором писем к Герцену, этого лучшего произведения русской эпистолярной литературы и подлинного кладезя исторической мудрости. Несмотря на весь свой византизм и несмотря на отдельные места, звучащие даже по-евразийски, Леонтьев в своем понимании истории был ближе к «западничеству» Тургенева и даже Чаадаева, чем не только к евразийству, но даже и к славянофильству. Только Тургенев, будучи необыкновенно острым по своему историческому и политическому зрению человеком, был и в этой области далек от какого бы то ни было максимализма, в который нередко впадал Леонтьев. «Максимализм» ведь и есть лишь другое обозначение для «ошибки короткого замыкания». От этой ошибки «постепеновец» Тургенев всегда оставался свободен.

Достоевского Леонтьев недостаточно ценил. Метафизически-религиозно и политически Леонтьев был близок к Достоевскому, но Леонтьеву претила характерная для Достоевского примесь к христианству гуманизма и сентиментализма, отчасти совершенно самобытного, почти народнического, отчасти заимствованного у западных социалистов (главным образом у Фурье и Жорж Санд). Достоевский огромнее и могущественнее Леонтьева, ибо у первого было гениальное видение своеобразного художника-творца, с которым «беллетристическое» дарование Леонтьева не может идти ни в какое сравнение, но как ум Леонтьев был острее и глубже Достоевского.

Своеобразны и интересны отношения Леонтьева и *Владимира Соловьева*. Последний имел большое влияние на первого. В настоящее время это кажется даже невероятным. Но Соловьев прямо подавлял Леонтьева своей диалектической одаренностью и философской ученостью. Леонтьев считал Соловьева гением, хотя эта характеристика, по существу, гораздо более приложима к нему самому. В то же время нельзя сравнивать ни в какой мере ни их умственной культуры, ни литературной умелости. Образование Соловьева было огромное, в формальном смысле он умел писать (и в стихах) так, как ни один из современных ему писателей, да и вообще ни один русский писатель. И все-таки ум Леонтьева был и острее и глубже ума Соловьева и христианство Леонтьева было как-то глубже укоренено и теснее спаяно с ядром его личности, чем у Соловьева. Впрочем, Соловьев вообще остается человеком загадочным и неразгаданным — и таково у меня впечатление и от его писаний в целом, и от немногих лич-

ных встреч. В конце жизни Леонтьев резко порвал с Соловьевым. Это была эпоха наибольшего увлечения Соловьева своим призванием либерального публициста.

Из позднейших писателей очень высоко ставил Леонтьева *В. В. Розанов*. Между ними была переписка. В. В. Розанов был, несомненно, гениальным писателем, хотя того, чем был силен Леонтьев, острого и глубокого ума, у Розанова совсем не было. Категория «ума» вообще неприложима к Розанову. Розанов был замечательный до гениальности писатель, не будучи ни умным, ни, еще менее, честным человеком в общепринятом смысле слова. Но своим чутьем, совсем особым, не исследовательским, не художническим, а каким-то хитрым проникновением, Розанов один из первых понял гениальность Леонтьева и воздал ему должное.

* *
*

Константин Леонтьев — огромное явление русской духовной культуры, и знать о нем и его должен всякий, кто желает блюсти и ценить культуру.

Георгий ИВАНОВ

Страх перед жизнью

Константин Леонтьев и современность

На каком-то собрании эмигрантской молодежи, той «передовой» молодежи, которая, окончательно отбившись от «отцов», собирается переделывать Россию (как только представится случай!) на свой особый «национально-интернациональный» лад, на одном из таких шумных и бестолковых парижских собраний я услышал с трибуны слова:

«Нынешняя Россия мне ужасно не нравится. Не знаю, стоит ли за нее или на службе ей умирать? Я люблю Россию царя, монахов и попов. Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию благодушного деспотизма».

«Здорово говорит, — сказал сидевший рядом краснощекий младоросс или третьеросс. — Особенно про сарафаны, здорово».

«Это он Леонтьева цитирует», — возразил другой, долговязый и хмурый. «Леонтьева? А кто такой Леонтьев?» — заинтересовался третий, веснушчатый. Из троих — двое о Леонтьеве просто не знали.

Но дух его веял над ними.

* * *

Царствование Александра III. Осень. Грустный русский пейзаж: березка на фоне вечернего неба, «журавель» колодца, забор, лесок, проселочная дорога. Дальше белые стены и золотые главы Лавры.

В монастырской гостинице, направо от входа, «графские номера». Низкие комнаты, старая мебель, киоты, лампадки, занавесочки из голубой марли. В номерах этих недавно поселился приезжий из Оптиной пустыни, бывший русский консул в Тур-

ции, малоизвестный и мало читаемый писатель. Он решил перезимовать здесь, в Лавре, начал устраиваться в «графских номерах»: вот и занавесочки голубые он повесил. Долго добивался такого обязательно цвета, вот такой именно марли. Перевез книги, расставил по-своему мебель, запасся дровами на зиму. Но зимовать ему здесь не суждено: он умирает. Совсем недавно он принял «чин смирения», тайный постриг, но умирает он непокорно. Изо всех физических и душевных сил он борется с одолевающей его смертью. Физических сил в нем мало — это шестидесятилетний человек со здоровьем, вконец надорванным затяжными мучительными болезнями. «Бессонница, страшные мигрени, поносы, язва желудка, трещины на руках и ногах, воспаление лимфатических сосудов», — вот далеко не полный список страданий, отравлявших последние годы его жизни. Но нравственная сила его велика, хотя нравственных мук в его жизни было не меньше, чем мигреней и язв.

Оттого он так тяжело и умирает. Огромный запас нерастраченных душевных сил душит его, распирает, корчит, как демон корчит бесноватого. «Надо покориться», — в жару, в полубреду уговаривает он себя и сейчас же сам себе возражает: «Еще поборемся», опять: «Надо покориться» и снова: «Еще поборемся»...

Двадцатилетняя Варька — крестьянка-воспитанница, недавно выданная им замуж, — ухаживает за больным, меняет компрессы, подает ему питье. Она очень красива, смугла, стройна. На ней красный сарафан. Это умирающий велел его надеть. Больше всего этот шестидесятилетний, измученный, принявший тайное монашество «бывший консул» любит внешнюю красивость жизни.

* * *

Константин Леонтьев всю жизнь был неудачником, неудачником он и умер. Ему все не удавалось: карьера врача, дипломатическая служба, литература, любовь, дружба — все. Материальные невзгоды вечно его разбирали. «Идеал» его — «иметь каких-нибудь 75 рублей в месяц до гроба» — так до гроба и не осуществился. «Смотри, ты лишен и того, что имеют многие скотоподобные люди, и у тебя нет и не будет ни 75, ни 50 рублей в месяц, верных и обеспеченных», — пишет он сам о себе. Романы его критика обходит молчанием, статей его Катков не хочет печатать, в отчаянии и озлоблении он уничтожает свою трилогию, над которой долго и много трудился. Семейная жизнь

его ужасна: он, «эстет», ставивший красоту «выше религии», ибо «красота для всего в мире», а религия «только» для человека, женится в ранней молодости на полуграмотной мещанке. Жена впадает в слабоумие, и «грязь жены» каждодневно преследует человека, требующего от жизни прежде всего «поэзии».

«Я не только ищу поэзию, но и нахожу ее», — самонадеянно пишет он в юности, потом только ищет, не находя, потом и не ищет больше. Опыт жизни показал, что на «поэзию» и на «красоту» полагаться нельзя, и Леонтьев бросается к Богу. Но и в религии нет ему никакого утешения. Бог Леонтьева — страшный и безрадостный Бог усомнившегося в неверии атеиста. «А когда в 1869, 70 и 71 годах меня поразили один за другим удар за ударом, — тогда я испытал вдруг чувство беспомощности перед невидимыми и карающими силами и ужаснулся почти до животного страха». Даже имение свое, маленькую усадьбу, единственное место на земле, где он отдыхал душой, он вынужден продать. И вот измученный, больной, одинокий, он умирает.

Умер Леонтьев 12 ноября 1891 года. Можно было бы сказать: умер всеми забытый, если было бы кому о нем забывать. Но таких, в сущности, почти и не было.

* * *

Есть люди, есть события, настоящее значение которых остается долгое время скрытым даже от самого внимательного взгляда. Только слепая интуиция может иногда предсказать до срока то, что со временем станет очевидным. Но интуитивные, бездоказательные предсказания, даже гениальные, почти никогда не достигают цели. Они как бы невидимое отражение невидимого луча. Видимым станет луч, заметят и отражение — не раньше.

Примерно к 1912 году — моменту выхода собрания сочинений Леонтьева и подробного биографического сборника о нем — место его определилось. Почетное место в русской духовной жизни, хотя и не в первых рядах. К Леонтьеву была применена та благодушная универсальная оценка, которую так любил на своем ущербе затянувшийся до самого объявления мировой войны девятнадцатый век. По оценке этой Леонтьев оказался даровитым писателем и оригинальным мыслителем, который вследствие неудачной судьбы, особенностей времени и собственного характера не сыграл той роли, которую мог бы сыграть.

Россия шла к конституционной монархии, к либеральной свободе, к habeas corpus, хотя и по ухабам, но шла. Духовно и экономически она, несмотря на рогатки, расцветала, вера в про-

гресс трепетала в каждой клеточке русской жизни, несмотря на мрачные (временные, думали тогда!) ее стороны. Кто бы в это время стал идти за Леонтьевым, утверждавшим до хрипоты в голосе, что «уравнительно-либеральный прогресс есть антитеза процессу развития»?

Можно было все это читать, обсуждать в религиозно-философском обществе, можно было любоваться остротой мысли и оригинальностью положений, но действие... Какое тогда могло быть от Леонтьева действие? Да никакого.

И вот нет ни девятнадцатого века, ни духа его, ни веры в прогресс, ни трезвых оценок, ни «логики истории». История вдребезги, ударом красноармейского сапога, разбила все полки и полочки русской культуры, где все так аккуратно, так справедливо было расставлено. И в этом хаосе, в этом «мире явлений, где нет ничего достоверного — ничего, кроме конечной гибели» (слова самого Леонтьева), точно склянка с ядом, простоявшая закупоренной полвека и вдруг в суматохе разбитая, — открылся настоящий Леонтьев. Встал во весь рост своей одинокой мысли, своей трагической судьбы, своего отчаяния, своих странных надежд. Недаром, умирая, повторял он так настойчиво: «Еще поборемся». В самом деле, наступает для него как будто время «еще побороться».

Розанов, прочтя впервые Ницше, воскликнул: «Да это Леонтьев, без всякой перемены». Если оглянуться на то, что делается в мире, если потом перевести взгляд на русское духовное подполье, посмотреть, что творится в душах подрастающего «вне времени и пространства» русского нового поколения, послушать их разговоры в ночных парижских кафе или на религиозно-политических диспутах — как не повторить за Розановым: «Да ведь это Леонтьев».

Леонтьев. Только не «без перемены». Перемена есть, и огромная. Вечно этот самый одинокий из русских мыслителей искал соприкосновения с жизнью. Искал, но так и не нашел. Теперь декорации переменились. Для доброй половины «активной» части человечества, и в частности для доброй половины русской молодежи, то, чему учил Леонтьев, очень близко и знакомо. Но еще больше, чем его противоречивые идеи, близка современности сама его личность.

* * *

Если перечесть биографию Леонтьева, если потом ознакомиться с его взглядами на жизнь, на церковь, на государство, на

личность, мы увидим, как близко все это к самой жгучей, самой современной современности.

О какой современности идет речь, я думаю, ясно само собой. На пятнадцатом году большевистской революции, в пятнадцатую годовщину Версальского договора — на вопрос, что такое современность, мы можем ответить точно. Нравится нам это или нет, мы должны признать, что современность — не столько английский парламент, сколько германский хаос, не Ватикан, а фашизм, не новые мировые демократические республики, а огромное, доведенное до предела страданий и унижений планетарное «перекати-поле», где, как клеймо на лбу, горят буквы — СССР. Ватикан, английский король, демократия, вековая культура, правовой порядок, совестливость, уважение к личности — все это скорее «обломки прошлого», существующие лишь постольку–поскольку. Настоящее — Рим, Москва, гитлеровский Берлин. Хозяева жизни — Сталин, Муссолини, Гитлер. Объединяет этих хозяев, при некотором разнообразии форм, в которых ведут они свое «хозяйство», — совершенно одинаковое мироощущение: презрение к человеку.

И вот такое же точно презрение к человеку — страстное, органическое, неодолимое, «чисто современное» презрение — было в крови у родившегося в 1831 году и умершего в 1891 году калужского помещика и консула в Андрианополе.

* * *

Было два Леонтьева.

Был необыкновенно одаренный, увлекающийся, страстный, самолюбивый человек. Он любил власть, блеск, деятельность, успех — и глубоко страдал, видя, что, несмотря на всю свою исключительность, он никем не оценен, не находит в жизни никакого применения, не имеет и того, что «имеют многие скотоподобные люди». Сложные душевные кризисы сопровождали этот разлад между тем, что «должно было бы быть», и тем, что было в действительности. Ясного взгляда на жизнь этот Леонтьев не имел — это для него «в мире явлений нет ничего достоверного, разве кроме конечной гибели». Это он пишет отчаянно: «Выручайте, выручайте, друзья, а то очень плохо», — хотя отлично знает, что нет у него таких друзей, которые могли бы его «выручить», как-то ему помочь, чем-то обнадежить. Леонтьев-человек сам не знает, что же — любит он Россию или презирает ее, верит в Бога или только боится «загробного возмездия», способен на «высокую страсть», о которой романтически грустит в разго-

ворах и письмах, или такова уж его любовная «вера» — кроме бесследно проходящих поверхностных увлечений никогда не знать серьезного чувства к женщине. Леонтьев не может отдать себе во всем этом отчета: когда он пытается это сделать, в его интонациях слышна растерянность, в голосе звучит глубокое, неодолимое сомнение. Россия, Бог, византийство, эстетика — все, о чем Леонтьев-теоретик так много, так настойчиво и «планомерно» говорит в своих книгах, — для Леонтьева-человека большого значения не имеет, хотя он и скрывает это, скрывает даже от самого себя. Но, по существу, — от юности до последних дней — одна только страсть наполняет Леонтьева, растворяя и покрывая все остальные: «Тоска по жизни и блестящей борьбе».

«Я все рвусь мечтой то на Босфор, то в Герцоговину или Белград, то в Москву и в Петербург, и мне иногда тяжело в этой тишине и в этом мире. Оттого я и сюда помолиться приехал, чтобы заглушить тоску по жизни и блестящей борьбе».

Это пишет из монастыря полубольной, пожилой, замученный жизнью Леонтьев. Весь он в одной этой фразе. Вот, приехал, молится, бьет поклоны, ведет с «братьями во Христе» благочестивые беседы, готовится принять монашество — и все для того только, чтобы «заглушить тоску» по «борьбе, по жизни». Веры тут, конечно, немного, но тоска слышится огромная. Эта «тоска по жизни» не уймется даже на смертном одре. В мучительной перекличке — «надо покориться — еще поборемся», которую со страхом слушает у постели умирающего красивая Варька в красном сарафане, — слышна та же тоска... Леонтьев-человек, когда поверхностное «ницшеанство» его ранней молодости, самонадеянное «все позволено» не обжегшего еще лапок, гордого, даровитого, жадного до впечатлений птенца, жалевшего, что вдруг «не будет на моем веку ни одной большой войны», сойдет с него под жестокими ударами жизненных разочарований, — как-то сразу, сразу, с размаху опустится в жесточайший душевный мрак.

«Как душно везде. Даже великие люди — как кончали они? Смертью и смертью. К чему же привела их жизнь? Как жива передо мной картина, где Наполеон в круглой широкой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину.

Как ему скучно! И еще картина: m-me Bertrand с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть. Еще я вижу Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке. Как душно в его комнате. Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано. Руссо, муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж. И

это еще все великие люди. Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?»

Этот душевный мрак, этот страх, этот ужас перед жизнью — очень искренен, но — хоть до самого конца дней Леонтьева он остается не исцеленным — от него есть лекарство. Тоска Леонтьева по жизни, по блестящей борьбе совсем другой природы, чем «скука Наполеона», чем «ужас старого Гете, женатого на кухарке», которые Леонтьев так пронзительно изобразил. То, что снедает Леонтьева, «не менее больно, но гораздо более мелко». Перед Наполеоном, зевающим от скуки на св. Елене, действительно предел того, что больше некуда. Но Леонтьев оттого и скучает, оттого и бьет поклоны на монастырской всенощной, оттого и ужасается, что нет для него наполеоновских «обстоятельств», что он «Кромвель без меча», был бы меч, были бы обстоятельства — он бы не скучал, он бы знал, что делать. «Это тоже очень современная психология, психология нынешних хозяев мира». Есть рассказ Анжелики Балабановой о том, как скучал в Женеве молодой Муссолини, как он боялся жизни, как она, Балабанова, провожала его вечером домой, потому что «идти одному ему было страшно».

Страшно ли теперь Муссолини, когда он при крике «фашио!» проходит с поднятой рукой перед своими легионами, не ужасается ли он? Вопрос праздный: ему просто некогда о таких пустяках думать.

Та же совершенно двойственность видна и в Леонтьеве. Нет «обстоятельств», нет и «жизни». Появились обстоятельства или намек на них, и совершенно меняется и человек, и его психология. На несколько месяцев Леонтьев делается хозяином забытого «Варшавского дневника», имевшего человек двести читателей. Каким «поразительным» журналистом он сразу стал, какие нотки «казенной твердости» сразу зазвучали в его статьях! Владимира Соловьева «он просто советует выслать из пределов России за вредное направление». Вообще, как только Леонтьев чувствует за собой — в должности консула, редактора, главного сотрудника вот этого «Варшавского дневника» — хоть какую-нибудь «государственную опору», он сейчас же дополняет доводы ума и таланта доводами административными, последние даже предпочитая. В этом смысле то, что жизнь Леонтьева не удалась, для него как писателя было спасением... В условиях одиночества процвели высшие, благородные стороны его натуры, грубым сторонам суждено было заглохнуть. Получи он сильное влияние, высокий пост, трибуну, вероятно, случилось бы наоборот.

Константин Леонтьев был писателем большого таланта, человеком огромных страстей. Душа его — сложная и большая душа — искренно рвалась к Богу, к высокому, вечному. Но на ногах у него висел тяжелый груз — тот же, что у всего послевоенного человечества.

Он, так много бивший поклонов по монастырям, так подробно трактовавший религиозные вопросы, — по инстинкту, в глубине души, не верил ни во что, кроме материальной силы. Он по-настоящему верил и любил только «силу оружия» или «силу принуждения», «силу православия» или «силу государственной идеи», но прежде всего и главным образом силу. Этим и объясняется невозможность для него «привиться» в духовном, несмотря на «материализм», девятнадцатом веке и почти полное совпадение с не верящим «ни в Бога, ни в черта», особенно не верящим в человека, — веком нашим.

Совпадение политических теорий Леонтьева с «практикой» современности прямо поразительно. Не знаешь иногда, кто это говорит — Леонтьев, или гитлеровский оратор, или русский младоросс. Порой совсем Муссолини, дающий интервью Людвигу, порой — и это странно только на первый взгляд, ибо подоплека у фашизма, гитлеризма, большевизма, что там ни говори, одна, — в ровных, блестящих логических периодах архиконсерватора, которого за чрезмерную правизну не хотел печатать Катков, слышится — отдаленно — Ленин.

«Важно не племя, а те духовные начала, которые связаны с его силой и славой». «Важен не народ, а великая идея, которая владеет народом».

Но «великие идеи» и «духовные начала» могут расцвести «не иначе как посредством сильной власти и с готовностью на всякие принуждения». Это общие положения. Потом — касающиеся специально России.

«Без страха и насилия у нас все пойдет прахом». «Никакая пугачевщина не может повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень демократическая конституция». «Россию надо подморозить, чтобы не гнила». И в заключение: «Нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельс и, выбрав совсем новый путь, стать во главе умственной и социальной жизни человечества». Такие выписки из Леонтьева можно делать без конца. Все, что он говорит, нам уже знакомо заранее, и не из его статей, а непосредственно из окружающего нас хаоса и насилия, или «цветущего неравенства», — кому как нравится звать. Все знакомо — и «духовные начала», расцветающие «посредством принуждения», и конституции, которые «опас-

ней пугачевщины», — и на совет «сорваться с рельс» и «стать во главе» с сердечным удовлетворением мы можем сказать: Есть. Уже сорвались. Уже стали.

«Пища моя крута», — говорит о себе Леонтьев. Эта (действительно крутая, нельзя спорить) пища стала для послевоенного несчастного человечества опостылевшим ежедневным «пайком». С самого августа 1914 года до наших дней расхлебывает он эту «крутую пищу» и все не может расхлебать. Что расхлебывать придется долго — сомнений нет. Интересно было бы знать, как долго, — вплоть до «конечной гибели» или все-таки на некотором расстоянии до нее. Но на этот вопрос не могут ответить никакие «слова», никакие теории — ни «эгалитарно-уравнительные», ни «неравноцветущие». Ответит на это жизнь.

* * *

Теплятся лампадки в монастырской гостинице. Неслышными шагами приходят послушники. Шумит у окна какая-нибудь трогательная, осыпающаяся «нестеровская» березка...

У окна, за письменным столом, сидит старый больной человек, приехавший сюда «заглушить тоску». Он что-то пишет. На его красивом породистом изможденном лице надменность отчаяния: что там ни пиши, как сжато ни формулируй, какие блестящие парадоксы ни рассылай — ясно одно: жизнь не удалась.

Жизнь не удалась. «Блестящая борьба» не состоялась. — «Надо покориться». Но покориться он органически не может. Если бы «обстоятельства», если бы Кромвелю да меч! Но нет меча, нет обстоятельств, нет даже «обеспеченных семидесяти пяти рублей». Гордость. Отчаяние. Тихие послушники. Лампадка. Вечер, березка на чахлом небе. Там, в небе, — грозный, безрадостный Бог усомнившегося в неверии атеиста, карающая темная сила. Здесь — неудавшаяся жизнь, подступающая смерть. Утешения нет ни в чем. Разве «красотой», по старой памяти, не то что утешиться — развлечься. Вот именно такими занавесочками, из такой обязательно марли. И со страстью, всегдашней своей страстью — о чем бы ни шло дело, — Леонтьев пишет в Москву друзьям: описывает цвет, качество, плотность требующейся ему марли. С тем же «ясновидением», с каким предчувствует послевоенную Европу, описывая эту марлю в мельчайших подробностях: должна непременно быть в Москве такая. Друзья долго ищут, наконец действительно находят — в гробовой лавке. Это специальный товар для покойников. И другие разные

совпадения, предчувствия, приметы окружают в его последние дни Леонтьева.

Вдруг обнаруживает он, что все важные события его жизни происходили в начальные годы десятилетий, и вот теперь как раз 1891 год. Какое же важное событие ждет его? Тайный голос подсказывает: смерть.

Вообще в последние дни Леонтьева вокруг него, как вокруг медиума, «потрескивает» в воздухе. В щели патриархальных «графских номеров» дует ледяной ветер метафизики. Как ни топят, Леонтьеву все холодно — из-за этой усиленной топки он и умирает: разогрелся, снял кафтан, сел у окна, продуло — воспаление легких. Да, «в воздухе» вокруг как-то «неблагополучно» и не помогают ни лампадки, ни ладан, ни долгие земные поклоны. Как будто какое-то иное начало мстит Леонтьеву за его преданность осязательной силе, все равно — «силе оружия» или «силе церковной идеи». Или, может быть, человеческое в нем сводит счеты с его презрением к человеку. Во всяком случае, смерть его окружает некая мистика, та мистика, которую он так любил как добавочное декоративное средство к «православию», «самодержавию», «византийству», но в которую, в глубине своей «ницшеанской» души, вряд ли верил, пока был силен и здоров.

Умирал Леонтьев тяжело, непокорно, с тоской — не так, как умирают верующие христиане. О смерти и жизни его выразительно сказано в кратком слове Розанова:

«Прошел великий муж по Руси — и лег в могилу. И лег и умер в отчаянии с талантами необыкновенными».

Свящ. Кирилл ЗАЙЦЕВ

Любовь и страх

(Памяти Константина Леонтьева)

> Любовь к Богу и ближним, являющаяся постепенно из страха Божия, вполне духовна, неизъяснимо свята, тонка, смиренна, отличается отличием бесконечным от любви человеческой в обыкновенном состоянии ее, не может быть сравнена ни с какою любовию, движущеюся в падшем естестве, как<ою> бы ни была эта естественная любовь правильною и священною.
>
> *Епископ Игнатий (Брянчанинов)*

В 1941 году исполнилось полвека со дня смерти двух замечательных людей XIX века, которые, как бы воплощая в себе обе разошедшиеся после Петра Великого стихии русской культуры, во встрече своей осуществили своеобразное и многозначительное примирение этих двух культурных стихий, церковной и светской. Леонтьев, утонченнейшее и гениальнейшее проявление русской светской культуры, смиренно склонился к ногам оптинского старца Амвросия, но не замолк, а им окормляемый, продолжал свою литературную деятельность. Только к концу дней своих порвал он с миром, приняв тайный постриг. Уединился он уже не в Оптинской пустыни, а в Троице-Сергиевской лавре, чтобы там очень скоро переселиться в иной мир, ненадолго пережив старца Амвросия, который, прощаясь с Леонтьевым, сказал ему: «*Скоро увидимся*».

Отметим и запомним эти два кратких слова! Они многозначительны в устах святого старца. Они ясно свидетельствуют о том, «*какого духа*» был к этому времени Леонтьев. Они способны перевесить тысячи красноречивейших и убедительнейших слов, написанных с целью доказать принадлежность Леонтьева к Церкви, органическую якобы отвращенность его от нее, чисто будто

бы внешнее, механическое, насильственное его к ней приобщение, оказавшееся якобы бессильным переродить его, побороть его языческий эстетизм, его интеллектуальное барство, его стихийное жизнелюбие, его культурную гордыню…

Всю жизнь свою Леонтьев оставался непризнанным и был замалчиваем. Обладая всеми для успеха нужными данными и к успеху неравнодушный, Леонтьев был как бы оберегаем Промыслом от этого соблазна, то встречая препятствия к печатанию своих произведений, то вызывая в людях, даже способных оценить по достоинству его дарования и понять глубокий смысл его писаний, какую-то не всегда доброжелательную опасливость. Так и прошел он свой путь литературный не только малозамеченным, но и одиноким, чтобы не сказать отверженным…

Судьба посмертная принесла ему не только признание, но и славу: Леонтьева готовы все теперь увенчивать лаврами. Однако во многих отношениях он и посейчас еще не открыт. В частности, Леонтьев-беллетрист и Леонтьев-критик остаются в тени по сравнению с Леонтьевым-социологом и Леонтьевым — религиозным философом. Дальнейший рост успеха Леонтьева теперь, однако, уже вопрос недалекого будущего: «марка» гениальности стоит на Леонтьеве твердо, и дело времени — насыщение этой общей формулы новым и новым содержанием. Но в одном отношении Леонтьев, несмотря на всю свою славу, остается не просто неузнанным, а именно непризнанным — и как раз в том, которое для него-то единственно было бы значительно и важно. *Православным христианином* его упорно счесть не хотят!

Достаточно безразлично то, что христианству не уступают Леонтьева люди, сами от христианства далекие и христианства не понимающие. Приведем для примера хотя бы одно характерное свидетельство, принадлежащее перу весьма образованного почитателя Леонтьева из высших кругов русской литературной критики.

«Писания Леонтьева — похоронный звон над трупом России, звон тем более страшный, что зазвучал он у постели больного, а не над умершим. Был ли прав Леонтьев, который с такой трогательной искренностью говорил, что “праздновал бы великий праздник радости”, если бы сама жизнь или чьи-нибудь убедительные доводы доказали ему, что он заблуждается, — об этом мы здесь судить не будем. Нас занимает только, каков он был. Растерявшийся, испугавшийся, он бросился в монастырь, под строгую ферулу старческого авторитета, но христианином это его не сделало. Никому еще не удалось стать христианином путем насилия над своей душою, и отвратительнейший механичес-

кий рецепт Паскаля («Берите священную воду, заказывайте обедни: это вас заставит верить») никому не пригодился; не вытанцовывалось христианство и у Леонтьева. Ничто не могло быть ненавистнее этому язычнику по духу, влюбленному в аристократизм, в бесконечно сложное цветение жизни, чем конечный идеал христианства: едино стадо и един пастырь, и адские муки он предпочел бы блужданию среди сытого стада по всем одинаково доступному, плоскому пастбищу».

Пусть так думают «эстеты»: такие суждения обычно характерны в гораздо большей степени для самих критиков, чем для тех, по поводу кого эти суждения высказываются. Мимо таких суждений дозволительно было бы пройти без особого к ним внимания, поскольку дело идет об оценке Леонтьева как религиозного мыслителя и вообще как явления религиозного.

Но никак нельзя оставаться безразличным к тому обстоятельству, что Леонтьева отрицают люди, могущие почитаться ответственными представителями православия и компетентными его истолкователями. Приведем несколько и тому примеров.

Резко высказался против Леонтьева полвека тому назад такой выдающийся церковный деятель, как митрополит Антоний (Храповицкий), в бытность его молодым архимандритом. По поводу полемики, возникшей в Московском психологическом обществе, о том: что важнее, личное спасение или общественное благо? — им написана была (в 1892 г.) статья в «Вопросах философии и психологии» под названием: «Как относится служение общественному благу к заботе о спасении собственной души?» Здесь, не становясь на точку зрения Владимира Соловьева, видевшего главную задачу христианина в общественном служении, он с особенной резкостью нападал, однако, на «публицистов» из «Московских ведомостей» (и в том числе на Леонтьева), которые держались второй точки зрения. Не усматривая по существу противоречия между обоими идеалами и признавая самое разобщение их искусственным, архим. Антоний осуждает тот монашеский аскетизм, который мнит сочетать дело спасения души с отказом от долга учительства и с уклонением от обязанности споспешествовать спасению других людей. К таким христианам архим. Антоний относит изречение Апостола о людях, «имеющих образ благочестия, силы же его отвергших». В частности, мысли Леонтьева о страхе загробного воздаяния кажутся ему лишенными христианской благодати. Подобные заботы о жизни за гробом кажутся ему мало отличающимися от заботы, например, о стяжании земного обогащения и соединенного с ним подавления страстей в торговце или чиновнике, которых такого

рода забота точно так же заставляет смиряться, неустанно трудиться, то есть быть внешними аскетами… Не называя Леонтьева, автор в следующих укоризненных словах оценивает его личную и писательскую деятельность:

«Один подобного направления литератор говорил мне, что, будучи весьма большим любителем удовольствий в молодые годы, он смертельно заболел и, потеряв надежду на врачей, обратился с молитвою к Божией Матери, дав обет в случае выздоровления постричься в одной из Афонских обителей. Постричься он, конечно, не постригся и продолжал по выздоровлении срывать цветы удовольствия, но страх смерти у него остался, а также несчастное убеждение, будто он отныне призывается быть апологетом *своей*, насильственно усвоенной религии, — и вот отсюда ряд его статей о личном спасении и страхе Божием».

В дальнейшем, обращаясь к существу вопроса и уже прямо полемизируя с Леонтьевым, архим. Антоний говорит:

«Полемисты “Московских ведомостей” соглашаются с тем, что у современных поборников личного спасения побуждения эгоистические, но утверждают, что так и быть должно в христианине, и приводят *несуществующее* изречение Апостола: “Начало премудрости — страх Божий, а плод его — любовь”. Это изречение повторял почти в каждой статье своей покойный Леонтьев, выдавая его, как и некоторые другие свои собственные афоризмы, за слово Божие. Но истинное православное христианство осуждает всякий эгоизм… Конечно, христианская любовь есть источник наслаждений не только в будущей жизни, но и здесь, на земле, однако назвать эгоистом человека, созидающего в себе эту любовь, — чистейшее недоразумение; в эгоизме целью является самое состояние наслаждения; но наслаждения чистой, духовной любви лишь в такой мере могут быть нам доступны, в какой мы отрешаемся от желания самого наслаждения, — в какой желаем блага не себе, а тем, кого любим… Об этом духовном наслаждении один старец сказал св. Феогонию, спрашивавшему его, как ему найти мир душевный. Старец ответил: “Ищи скорби и найдешь покой, а ища покоя, будешь объят скорбями” (см. «Палестинский сборник», 32)».

Монашество не отказывается от действенной любви.

«Отшельники покидали мир не на всю жизнь, а на время совершенствования…» «Итак, не по скудости любви уходили люди в пустыни, а во избежание вреда себе и ближним. Они были слишком далеки от современного заблуждения, будто каждый литератор и чиновник, хотя нисколько не пекущийся об очище-

нии своего сердца, непременно явится благодетелем, а не злодетелем для своего ближнего...»

«Под спасением вовсе не разумеется одно только загробное воздаяние, как и под вечной жизнью не одна загробная жизнь... Спасение получается человеком, поскольку созидается в нем Христова любовь, та новая жизнь, которой он не мог в себе водворить, пока не соединился с Христом, когда все его понятия и взгляды на жизнь изменились и стало все *новое* (II Кор. 5. 17)».

«Истинное понятие о христианском спасении совпадает с понятием духовного совершенства, а союзом совершенства является любовь к ближним». «Любовь составляет, таким образом, самое содержание спасения».

«Итак, — резюмирует свои размышления автор, — при истинно христианском взгляде на спасение его невозможно разрознять от одушевленной и притом деятельной любви к людям. Разрознение общественного блага и личного спасения выросло из непонимания или слишком узкого понимания последнего».

С неменьшей, чем архим. Антоний, решительностью против Леонтьева выступил известный московский философ кн. С. Н. Трубецкой.

«Страх Божий, — писал он, — не страх силы, а сильной правды... Верующий боится Бога не только тогда, когда сознает, что преступает против Его правды, но когда повинуется Ему с верою и любовью. Ибо страх Божий проявляется в послушании, смирении и молитве чище и лучше, чем в угрызениях личной совести».

«Плод страха Божия есть любовь», — заключает свое рассуждение Трубецкой и, вспоминая тут же слова Апостола о том, что «и бесы веруют и трепещут», устанавливает антитезу: «Плод страха бесовского — трепет».

Если такова бывала реакция православно мыслящих и чувствующих людей под свежим впечатлением леонтьевских писаний, то не умолкают подобные упреки ему и в самое последнее время. Достаточно раскрыть талантливую книгу о. Г. Флоровского о «Путях русского богословия» на тех ее страницах, где речь идет о Леонтьеве, чтобы в этом убедиться.

«Леонтьев весь был в страхе, — пишет современный нам православный богослов. — Он был странно уверен, что от радости люди забываются и забывают о Боге. Потому не любил он, чтобы кто-нибудь радовался. Он точно не знал и не понимал, что можно радоваться о Господе. Он не знал, что “любовь изгоняет страх”, — нет, он и не хотел, чтобы любовь изгнала страх... Совсем неверно считать Констант<ина> Леонтьева представителем и выразителем подлинного и основного предания Православ-

ной Церкви, даже хотя бы только одной восточной аскетики. Леонтьев только драпировался в аскетику… Аскетика — то были для Леонтьева именно заговорные слова, которыми он заговаривал свой испуг… Для Леонтьева христианство было только якорем личного спасения, он сам старался сжать свою религиозную психологию в рамки “трансцендентного эгоизма”…»

На что опирается подобная оценка установки сознания Леонтьева? В какой мере оправдана она, если вообще оправдана, существом леонтьевских взглядов? Попробум разобраться в этих вопросах. Это важно не только для того, чтобы получить правильное представление о Леонтьеве, но и для того, чтобы получить верное понятие о православно-христианских проблемах, связанных с началом «страха» в деле душевного спасения.

Прежде всего нельзя не учесть того обстоятельства, что оценки *предметного* содержания религиозной философии Леонтьева, подобные только что изложенным, обычно отъединяются от уяснения *личной* проблемы Леонтьева, от дела «личного спасения» как факта его биографии.

Говоря о Леонтьеве, критики его делают предметом своего внимания отдельные мысли отдельных, парадоксально заостренных его литературных выступлений, упуская из вида, что они знаменуют, каждое, лишь отдельные этапы личного восхождения Леонтьева на «пути спасения». Дозволительно ли искать в них *полной* и *беспримесной* правды православной, особенно если не останавливать достаточного внимания на жизненном подвиге Леонтьева *в целом*, *на всем* его пути обращения от греха и порока к свету Православной Церкви? Ограничить себя рассмотрением *буквального* смысла отдельных леонтьевских афоризмов, исполненных боли и гнева или отражающих отдельные уклоны его многогранно-грешной гениальной натуры, — значит игнорировать *внутреннее* значение писаний Леонтьева как некоего литературного комментария к личному подвигу церковно-послушливого «делания души», составлявшего подлинное содержание всей жизнедеятельности Леонтьева начиная с момента его «прозрения».

Только внимательное присматривание к тому колебанию между страхом гибели и надеждою на спасение в плане вечности, которое происходило в душе Леонтьева, и к той борьбе с укорененным в ней злом, которая непрерывно наполняла внутренний мир его, способно дать ключ к уразумению причины того *совершенно неслучайного* расположения красок в картине мира, рисуемой Леонтьевым, и того *совершенно неслучайного* сочетания

идей в его мировоззрении, которые смущают его православных критиков.

Действительно, что вменяют в вину они Леонтьеву? Они ополчаются против излишнего, преизбыточного, искажающего якобы самые основы Христовой проповеди, выдвижения в ущерб *любви — страха* как исходного мотива человеческого поведения в деле спасения души.

Не будем сейчас оспаривать это утверждение, а посмотрим, не вдаваясь пока в рассмотрение проблемы по существу, какое место выпало *страху* на пути *личного спасения*, пройденном самим Леонтьевым, — как это выясняется из его собственного повествования.

Леонтьев не написал истории своего «внутреннего перерождения», хотя и лелеял этот замысел и получил на выполнение его благословение еще на Афоне — правда, с тем чтобы напечатание его исповеди произошло лишь после смерти. «Вот, скажут, однако, на Афоне какие иезуиты: доктора, да еще литератора нынешнего обратили», — сказал, при этом улыбаясь (что случалось с ним очень редко), духовный руководитель Леонтьева на Афоне, о. Иероним. Благословил тот же старец Леонтьева и на то, чтобы попытаться ему свое духовное перерождение изобразить в форме «православного романа», причем такое произведение он разрешал напечатать и при жизни автора. Эти беседы происходили в 72 или 71 году, и в течение последующих 18 лет думал Леонтьев об этом труде, радостно мечтая о той пользе духовной, национальной и эстетической, какую бы могло принести выполнение этого замысла. Но «Божие смотрение» долго, в форме различных обстоятельств, мешало этому. Так именно объяснял свою незадачу сам Леонтьев. Ему, по его словам, было «приятно думать, что хоть в этом не согрешил (он) перед Богом и перед людьми».

«И еще приятно, — продолжал он, — не по эгоистическому только чувству, но и по той “любви” к людям, о которой я никогда не проповедовал пером, предоставляя это стольким другим, но искренним и горячим движениям которой я, кажется, никогда не был чужд. Близкие мои знают».

«В чем же любовь? Хочется, чтоб и многие другие образованные люди уверовали, читая, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности, стал верующим христианином и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно сатанинскую когда-то фантазию».

Леонтьев начал было писать эту исповедь, но не успел далеко ее продвинуть. Начальный набросок ее под наименованием «Мое обращение и жизнь на Афонской горе» сохранился в предсмертных бумагах Леонтьева — оттуда и извлечены только что приведенные слова его. Леонтьев останавливается там преимущественно на вопросе об особенностях обращения к вере образованного человека.

«Многие, — говорит он, — конечно, не допускают и мысли, чтобы человек образованный нашего времени мог так живо и так искренно верить, как верит простолюдин по невежеству. Но это большая ошибка. Образованный человек, раз он только перешел за некоторую ему понятную, но со стороны недоступную черту чувства и мысли, может веровать гораздо глубже и живее простого человека, верующего отчасти по привычке (за другими), отчасти потому, что его вере, его смутным религиозным идеям никакие другие идеи не помешают».

«Побеждать ему нечего; умственно не с кем бороться. Ему в деле религии нужно побеждать не идеи, а только страсти, чувства, привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жадность, пьянство, распутство, лень и т. п. Образованному же (а тем более начитанному) человеку борьба предстоит гораздо более тяжелая, ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми этими перечисленными чувствами и привычками, но сверх того ему нужно еще и гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению Церкви; нужно и стольких великих мыслителей, ученых и поэтов, которых мнения и сочувствия ему так коротко знакомы и даже нередко близки, тоже повергнуть к стопам Спасителя, Апостолов, Св. Отцов и, наконец, дойти до того, чтобы, даже не колеблясь нимало, находить, что какой-нибудь самый ограниченный приходский священник или самый грубый монах в основе своего миросозерцания ближе к истине, чем Шопенгауэр, Гегель, Дж. Ст. Милль и Прудон... Конечно, до этого дойти нелегко, но все-таки возможно при помощи Божией. Нужно только желать этого добиваться; мыслить в этом направлении, молиться о полной вере еще и тогда, когда вера не полна. (По опыту говорю, что последнее очень возможно и даже нетрудно; достаточно для этого быть сначала, как многие, деистом, верить в какого-то Бога, в какую-то высшую живую Волю.) Раз это чувство есть, раз есть и в уме нашем это признание, нетрудно хоть изредка, хоть раз в день, хоть при случае с глубоким движением сердца воскликнуть мысленно: “Боже всесильный! Научи меня правой вере, лучшей вере! Ты все можешь. Я хочу веровать правильно; я хочу смириться пе-

ред верою отцов моих. Если она правильнее всех других, покажи мне путь, научи меня этому смирению. Подчини ей мой ум. Сделай так, чтоб этому уму легко и приятно было подчиниться учению Церкви"».

«И все это понемногу придет; придет иногда незаметно и неожиданно. "П р о с и т е и д а с т с я в а м "».

«Раз же мы переступим сердцем за ту таинственную черту, о которой я выше говорил, то и сами познания наши начнут помогать нам в утверждении веры...»

О том, как сам он перешел через «таинственную черту», Леонтьев не успел рассказать в этой своей неоконченной исповеди, но сохранилось немало свидетельств, разбросанных в различных его письмах и литературных высказываниях, которые позволяют достаточно отчетливо разглядеть этот процесс «внутреннего перерождения». Приведем некоторые из них — к сожалению, не из первоисточников, за невозможностью их раздобыть, а из вторых рук: из известной книги о Леонтьеве Н. А. Бердяева, содержащей много материала, в этом отношении ценного.

В 1871 году Леонтьев, в бытность его на Востоке на консульской службе, тяжко заболел. В одну из минут смертной тоски, в тисках которой он изнемогал, лежа в темной комнате, запершись от всего мира, не разбирая дня и ночи, — с ним произошло чудо духовного переворота, описанное им в письме к Розанову.

«Причин (для такого переворота) было *много разом* и *сердечных,* и *умственных,* и, наконец, *тех внешних* и, *по-видимому,* (только) *случайных*, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежит, с одной стороны, уже тогда, в 1870—71 году, *давняя* (с 1861—62 гг.) философская ненависть к формам и *духу новейшей европейской* жизни; а с другой — *эстетическая* и *детская* какая-то приверженность к *внешним формам* православия; прибавьте к этому сильный и неожиданнвй толчок сильнейших и глубочайших потрясений (слыхали вы французскую поговорку cherchez la femme, т. е. во всяком серьезном деле жизни «ищите женщину») и, наконец, внешнюю *случайность опаснейшей и неожиданной болезни и ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы* и не написаны: *и гипотеза триединого процесса,* и "Одиссей Полихрониадес", и, наконец, не были еще высказаны о "югославянах" все те *обличения* в европеизме и безверии, которые я сам признаю решительной исторической заслугой моей. Одним словом, *все главное мною сделано после* 1872—

73 гг., т. е. после поездки на Афон и после *страстного* обращения к *личному* православию... *Личная вера почему-то вдруг докончила* в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в лето 1871 года, когда в Салониках, лежа на диване в страхе *неожиданной* смерти (от сильнейшего приступа *холеры*), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), *я ничего этого* предвидеть еще не мог, и все литературные планы мои еще были даже очень смутны. Я думал в ту минуту не *о спасении души* (ибо вера в Личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в *мое собственное бессмертие*), я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас от мысли о телесной смерти, и, *будучи уже заранее подготовлен* целым рядом и других психологических превращений, симпатий и отвращений, *я вдруг*, в одну *минуту поверил* в существование и могущество *этой Божией Матери*; поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собою живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: "Матерь Божия! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и *вел в высшей степени* развратную, *утонченно*-грешную жизнь. Подними меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в *простого и настоящего* православного, верующего *в среду и пятницу* и в чудеса, и даже постригусь в монахи"».

В письме к другому лицу, к одному студенту, Леонтьев так характеризует этот же перелом.

«Мне недоставало тогда *сильного* горя; не было и тени *смирения*, я верил *в себя*. Я был тогда гораздо счастливее, чем в юности, и потому я был крайне самодоволен. С 69 года *внезапно* начался перелом; удар следовал за ударом. Я впервые *ясно* почувствовал над собою какую-то высшую десницу и захотел этой деснице подчиниться и в ней найти опору от *жесточайшей* внутренней бури; я искал только *формы* общения с Богом. *Естественнее* всего было подчиниться в *православной форме*. Я поехал на Афон, чтобы *попытаться* стать *настоящим* православным; чтобы меня строгие монахи *научили* веровать. Я согласен был им подчиниться умом и волею. Между тем удары извне сами по себе продолжались все более и более сильные; *почва* душевная была готова, и пришла наконец неожиданная минута, когда я, до тех пор вообще смелый, почувствовал незнакомый мне дотоле *ужас*, а не просто страх. Этот ужас был в одно и то же время и духовный и телесный; одновременно и *ужас греха* и *ужас смер-*

ти. А до той поры я ни того ни другого сильно не чувствовал. *Черта заветная был пройдена*. Я стал *бояться Бога* и *Церкви*. С течением времени *физический* страх опять *прошел*, духовный же остался и все *вырастал*».

В этих высказываниях достаточно ясно рисуется существо той «таинственной черты», переход за которую открывает, по утверждению Леонтьева, перспективы личного спасения. *Животный* страх бесславного, мучительного, унизительно-отвратительного *физического* уничтожения, потрясая душу, уже *подготовленную к спасению*, порождает *метафизический* страх духовной гибели, а избавление от этого непереносимого *двойного* ужаса виднеется для этой, уже ранее подготовленной к спасению души в одном только: в самоотдании себя Церкви, полном, безоговорочном, окончательном, безоглядочном. Это не есть еще подлинное и разительное духовное перерождение, о примерах которого Церковь повествует нам применительно к апостолу Павлу, св. Плакиде или св. князю Владимиру. Это есть лишь ясное уразумение своего окаянства и честное, открытое, добросовестное сознание и признание самому себе, что только лишь обращение на путь послушания Церкви способно уготовать спасение от гибели телесной и духовной.

Вся дальнейшая жизнь Леонтьева и есть многотрудный процесс излечения познавшего свою болезнь тяжкобольного, пришедшего во врачебницу Церкви, — процесс, в отношении которого не знаешь, чему больше удивляться: умилительной ли мягкости попечения церковных целителей или трогательному постоянству воли болящего, при самых страшных соблазнах и искушениях неуклонно продолжавшего нести подвиг церковного послушания.

Жертвой великой начинает этот свой подвиг Леонтьев! Он добровольно уничтожает, предает огню подготовлявшийся им большой беллетристический труд — рукопись романа «Река времен», в котором он собирался дать картину русской жизни с 1811 по 1862 год. О своих более ранних, к тому времени уже напечатанных произведениях Леонтьев вспоминает с чувством горького раскаяния.

«В высшей степени безнравственное, чувственное, языческое, дьявольское сочинение, тонкоразвратное, ничего христианского в себе не имеющее... грех, и грех великий».

Вот как он оценивает свою повесть «Исповедь мужа».

Но писательская деятельность его не прекращается — напротив, она возгорается с интенсивностью исключительной. «Знаете ли Вы, — пишет он своему другу, — что я две самые луч-

шие свои вещи, роман и нероман («Одиссея» и «Византизм и славянство») написал *после полутора года общения с афонскими монахами*, чтения аскетических писателей и жесточайшей плотской <и> духовной борьбы с самим собою?»

Благословляет его на продолжение литературной деятельности и старец Амвросий, с котором он знакомится в 1874 году и который становится его постоянным и бессменным руководителем на пути спасения. Как прежде афонские старцы, так и старец Амвросий не благословляет Леонтьева идти в монастырь. Далеко не созрел еще Леонтьев для иноческого подвига: неудачная попытка послушничества в Николо-Угрешском монастыре под Москвой доказывает это ясно. Мудрый старец не только не отклоняет Леонтьева от жизни в миру, но порой даже дает ему советы практического характера, облегчающие эту жизнь и способствующие продуктивности его литературной работы. Только в 1887 году, после многих скорбей и тяжких болезней, Леонтьев, заслужив себе небольшую пенсию, поселяется наконец в пустыни — не в качестве монаха, а лишь как постоянный ее обитатель, находящийся в теснейшем общении со старцем. Леонтьев арендует у ограды монастыря двухэтажный домик и там поселяется со своей больной слабоумной женою и двумя приемышами, ставшими уже взрослыми и вступившими между собою в брак, — «детьми его души», как он называл их. И здесь продолжается интенсивная литературная деятельность Леонтьева. В частности, в Оптиной написана замечательная критическая работа Леонтьева о Льве Толстом «Анализ, стиль, веяние», а также интересная мемуарная запись о знакомстве с Тургеневым. Лишь незадолго до своей смерти, Старец одобрил принятие Леонтьевым тайного пострига под именем Климента (так звали друга Леонтьева, оказавшего на него немалое влияние, о. Зедергольма, о котором написал он целую книгу) и отпустил его от себя в Троице-Сергиевскую лавру.

Замечательно, что даже в условиях уже и формально завершившегося отхода от мира не счел возможным Старец окончательно закрыть Леонтьеву путь писательский.

«Я же теперь по предсмертному завету моего великого учителя буду писать впредь или по нужде (денежной), или по большой уж охоте, которой быть не может у 60-летнего человека, давно уже утомленного молчаливым презрением одних и недостойным предательством других».

Так писал Леонтьев на пороге смерти физической, духовно умерший для мира и все же от этого мира окончательно еще не отделенный, ибо продолжавший, согласно указанию окормляв-

ших его старцев, подвиг своего спасения в прежних формах писательского «послушания».

Таковым «послушанием» являлась неустанная работа словом и пером, которая с неподражаемым пафосом совершалась Леонтьевым с момента испытанного им душевного переворота. Став сам на путь спасения, он ощущал неодолимую потребность приобщить ближних и дальних к благодатному сему подвигу: он горел в этом смысле настоящим миссионерским пылом, стремясь поддержать советом и примером тех, кто уже обратился на стезю спасения, но вместе с тем воспламеняясь негодованием, иногда истинно пророческим, против людей, находящихся во власти соблазнов и других соблазняющих словом и примером. И надо до конца понять натуру гениального жизнелюба, чтобы уяснить, в какой мере была поучительна, именно как всежизненный подвиг, радостная готовность послушания, явленная со стороны многогрешного Леонтьева, подлинно сложившего к ногам святых старцев свою изъязвленную душу.

Испытав духовный переворот, который, как мы говорили, выразился в сознании своего окаянства и своего бессилия выйти из него без могущественной помощи Церкви, Леонтьев не стал медлить: он сразу же почувствовал потребность отдаться в чьи-то святые руки, отказавшись от своей грешной и мятущейся воли. «Знаешь ли ты, что за наслаждение отдать все свои познания, свою образованность, свое самолюбие, свою гордую раздражительность в распоряжение какому-нибудь простому, но опытному и честному старцу? Знаешь ли, сколько христианской воли нужно, чтобы убить в себе другую волю, светскую волю?» — спрашивал он еще на Афоне.

«Отпущения грехов на исповеди мне недостаточно; меня это не успокаивает; я не доверяю вполне и постоянно, по долгу христианского смирения, свидетельству одной моей совести, ибо это свидетельство прежде всего основано на гордости личного разума; поэтому в трудных случаях моей жизни, где я беспрестанно поставлен между грехом и скорбью, я хочу обращаться с верою к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений, хотя и понимающему их прекрасно. Я верю не в то, чтобы духовник или старец этот был безгрешен, ни даже, что он умом своим непогрешим. Нет! я теплою верою в Бога и в Церковь и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь прихожу к нему, и что бы он мне ни ответил на откровение моих тайн, даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить. А при этом я, верующий мирянин, могу быть лично и очень умен, и чрезвычайно развит, и в житейских делах гораздо даже опытнее этого старца».

Старцам, только старцам обязаны мы тем, что не только не оборвалась литературная деятельность Леонтьева с момента его духовного перелома, а, напротив, вошла в период своего полного цветения. Перед нами единственный, кажется, в истории литературы пример длительного *светского* писательства, духовно окормляемого высоким, непререкаемым *церковным* авторитетом. Значит ли это, что всякая строка, вышедшая из-под пера Леонтьева в эпоху его духовного подчинения старцам, должна быть рассматриваема как вполне и всецело, с точки зрения Старца, «православная», как некое бесспорное выражение православной мысли? Отнюдь нет! Ведь самое писательство Леонтьева в глазах старцев никак не было орудием православной пропаганды, а было прежде всего *орудием личного спасения его самого*, было искусом, им проходимым, делом жизни, в котором слагалась, находила себя, осознавала себя его ищущая спасения душа! Но, с другой стороны, несомненно и то, что *направленность воли*, находящая свое выражение в писательстве Леонтьева, признавалась старцами правильной и встречала их полное и одобрение, и даже ободрение — в отличие, например, от отношения их к писательству Владимира Соловьева и даже Достоевского! Нельзя, при всех условиях, не признать исключительной тяжеловесности в деле оценки творений Леонтьева того факта, что он не просто искал, а *и достигал* личного спасения, окормляемый афонскими и оптинскими старцами, и в частности приснопамятным старцем Амвросием, именно в подвиге своего *литературного* творчества! Не может поэтому не находиться в литературном наследии Леонтьева некоего, и притом немалого, *положительного* заряда с точки зрения Истины православия.

Из всего до сих пор сказанного можно, как кажется, сделать *два* важных и неоспоримых вывода. Во-первых, тот, что Леонтьев *сам* достигал личного спасения под прямым воздействием *страха*, постепенно лишь перерождаемого из *животного* ужаса в тот *духовный* страх и трепет, с которым, по слову Божию, надлежит христианам и работать Богу, и радоваться Ему.

«Все мы живем и дышим ежедневно под страхом человеческим: под страхом корыстного расчета, под страхом того или иного тайного унижения, под боязнью наказания, нужды, болезни, скорби и находим, что все это “ничего” и достоинству нашему не противоречит ничуть. А страх высший, мистический страх греха, боязнь уклониться от церковного учения или не дорасти до него — это боязнь низкая, это страх грубый, мужицкий страх или женски-малодушный, что ли?»

Было время, когда Леонтьев «любил, по собственному его утверждению, православие своевольно, без закона и страха», — и он с бесконечной благодарностью обращается мыслью к тому известному нам перелому, когда он, под влиянием животного страха, почувствовал себя «в своих глазах в самом деле униженным и нуждающимся не в человеческой, а в Божественной помощи». Ведь даже и до этого, пусть самого начального состояния в деле спасения, нужно *дорасти!*

«Нужно дожить, — писал Леонтьев своему другу, — дорасти до действительного страха Божия, до страха почти животного и самого простого пред учением Церкви, до простой боязни согрешить». «Страх животный унижает как будто нас, — говорит он в другой раз. — Тем лучше — унизимся перед Богом: чрез это мы нравственно станем выше. Та любовь к Богу, которая до того совершенна, что изгоняет страх, доступна только немногим».

Лишь тогда, когда этот грубый, первоначальный страх укоренится в душе человека, начинается процесс его духовного утончения.

«Я стал бояться Бога и Церкви. С течением времени физический страх прошел, духовный же остался и все вырастал».

Путь спасения каждого отдельного человека есть великая тайна. Редко она с такой глубиной, простотой и открытостью, а вместе с тем с таким целомудренным смирением бывала литературно изображаема, как это имело место у Леонтьева. Его путь спасения шел от страха, через его духовное утончение, к любви — той любви, о которой Леонтьев не умел говорить в своих писаниях, но которая не раз сквозит в его житейской деятельности и которая, конечно, не могла не укрепляться в его измученном сердце по мере исполнения возраста Христова. Но возникает и другой вопрос: не имеет ли некоего *объективного* смысла, не содержит ли некой *предметной* многозначительности факт такого нарочитого подчеркивания момента страха в писаниях Леонтьева? И на этот вопрос нельзя не ответить положительно. Это и есть тот второй, важный и, как кажется нам, неоспоримый вывод, к которому мы приходим: в образе религиозно-философского осмысливания «страха Божия» как основы дела человеческого спасения перед нами встает не только любопытная индивидуальная особенность жизненного пути Леонтьева, а и нечто большее, требующее глубокого к себе внимания.

Что именно?

Перед нами талантливое, яркое, кровью сердца написанное предостережение против соблазна — самого, быть может, страш-

ного, который только может быть поставлен перед христианской совестью Сатаною, облекающимся в образ света: соблазна подмены подлинной любви христианской во всех ее проявлениях, вплоть до самых высших, — ее сатанинским суррогатом.

«Розовое христианство»!

— Этот термин вычеканил Леонтьев, подвергая оценке с точки зрения строго православного мироощущения взгляды Толстого и Достоевского.

Вот, например, что писал он, разбирая один рассказ Толстого, в котором вместо послушания Церкви проповедовалось учение, проникнутое «человеческими» мыслями о любви:

«За последнее время стали распространяться у нас проповедники того особого рода одностороннего христианства, которое можно позволить назвать христианством “сентиментальным”, или “розовым”.

Этот оттенок христианства очень многим знаком; эта своего рода как бы “ересь”, неформулированная, не совокупившаяся в организованную еретическую общину, весьма, однако, распространена у нас теперь в образованном классе.

Об одном *умалчивать*, другое *игнорировать*, третье *отвергать* совершенно, иного *стыдиться и признавать святым и божественным* только то, что наиболее приближается к чуждым православию понятиям европейского *утилитарного прогресса* — вот черты того христианства, которому служат теперь, нередко и бессознательно, многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестником в числе других явился, на склоне лет своих, гениальный автор “Войны и мира”».

В чем же «розовость», или «сентиментальность», то есть подслащенная *неподлинность,* этого квазихристианства? В том прежде всего, что оно затушевывает спасительное значение как раз «страха Божия» в душе человека.

«Святые отцы и учители Церкви согласно утверждали, — говорит Леонтьев, — что “*начала*” премудрости (т. е. правильного понимания наших отношений к Божеству и к людям) есть *страх* Божий; иные прибавляли еще: “*плод* же его *любы*”. Другими словами, та любовь к людям, которая не сопровождается страхом перед Богом (или *смирением перед церковным учением*), не зиждется на нем, этим страхом иногда даже не отсекается... такая любовь не есть чисто христианская, несмотря на всю свою видимую привлекательность, на искренность порывов, несмотря даже на несомненную практическую пользу, истекающую для страдальцев земных от действий такой любви. Такая любовь, *без смирения и страха* перед положительным вероучени-

ем, горячая, искренняя, но в высшей степени своевольная, либо тихо и скрытно гордая, либо шумно тщеславная, исходит не прямо из учения Церкви... Любовь без *страха* и смирения есть лишь одно из проявлений (положим, даже наиболее симпатичное) того индивидуализма, того обожания прав и достоинств человека, которое воцарилось в Европе с конца XVII века, уничтожив в людях веру в нечто высшее, от них не зависящее, заставив людей *забыть страх и стыдиться смирения...*»

Рядом с этой безумной *самоуверенностью* в «розовом» христианстве таится, по убеждению Леонтьева, еще и другое, а именно полное *непонимание* как существа мира, лежащего *во зле*, так и существа промыслительного попечения Божия о людях, выражающегося *неизбежно* в наведении на них *скорбей и страданий*.

«Мы претендуем, — говорит Леонтьев, — *сами по себе*, без помощи Божией, быть или очень добрыми, или, что еще ошибочнее, очень полезными. Я говорю — *ошибочнее*, ибо доброту еще свою, порывы искренней любви и милосердия, человек не может не чувствовать, — это *факт невольного сознания*. Но как быть уверенным *в пользе*, не только всем, но и немногим? Спасая одного, я, может быть, врежу кому-нибудь другому? Христианство мирит это легко именно тем, что, с одной стороны, не верит в прочность и постоянство автономических добродетелей наших, а с другой — долгое благоденствие и покой души считает вредным. Оскорбителю оно говорит: "Кайся: ты согрешил". Оскорбленному внушает: "Эта обида тебе полезна; рукою неправедного человека наказал тебя Бог; прости человеку и кайся перед Богом".

Горе, страдание, разорение, обиду христианство зовет даже иногда *посещением Божиим*.

А гуманность простая хочет стереть с лица земли эти *полезные* нам обиды, разорения и горести...

В этом отношении христианство и гуманность можно уподобить двум сильным поездам железной дороги, вышедшим сначала из одного пункта, но которые вследствие постепенного уклонения путей должны не только удариться друг о друга, но даже и прийти в сокрушающее столкновение...»

По поводу речи Достоевского о Пушкине, в которой Достоевский рисовал идеал человеческой гармонии и восхвалял Пушкина как выразителя воплощаемого русским человеком «всечеловечества», Леонтьев выдвигал, со своей стороны, необходимость следовать смиренно учению Церкви Православной и веровать вместе с нею в то, что мир, лежащий во зле, *сам, своими* силами

этого зла не может преодолеть и что вместе с тем Спаситель не только не обещал водворения *на земле* царства любви и справедливости и наступления всечеловеческой гармонии, но, напротив того, предрекал оскудение любви пред концом мира.

Что же касается любви, то Леонтьев напоминал, что если под нею понимать не бесконечно разнообразную гамму чувств *человеческих*, а то *святое* чувство, которое составляет корень и венец *христианства*, то обретение этой любви есть трудный подвиг приближения к идеалу недостижимому и непостижимому, опять-таки опирающийся прежде всего на *послушание Церкви* и являющийся высшей формой этого послушания.

«Многие проповедники, — говорит Леонтьев, — предпочитали удаление в пустыню деятельной любви; там они молились Богу сперва за свою душу, а потом за других людей; многие из них делали это потому, что очень правильно не надеялись на себя и находили, что покаяние и молитва, то есть страх и своего рода унижение, вернее, чем претензия мирского незлобия и чем самоуверенность деятельной любви в многолюдном обществе. Даже в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекаться деятельной и горячей любовью, а прежде всего учат *послушанию, принижению, пассивному прощению обид*... И это все считается до невероятности трудным, в особенности для тех людей, которые воображают себя уже "смиренными" и в "миру" *собственными усилиями* для монастыря подготовленными.

«Да, прежде всего *страх*, потом "смирение" или прежде всего — смирение ума... Такое смирение шаг за шагом ведет к вере и страху пред именем Божиим, к послушанию учению Церкви, этого Бога нам поясняющей. А *любовь* — уже *после*. Любовь кроткая, себе самому приятная, другим отрадная, всепрощающая — это плод, венец...»

Самая эта любовь — *настоящая*, подлинная, церковно-христианская, а не «розовая», «сентиментальная», «гуманитарная» — есть, в свою очередь, целая лестница духовного восхождения. Шаг за шагом приводит эта бесконечно трудная и бесконечно длинная лестница к той «любви человечества о Боге, которой достигали столь немногие во все времена, да и то приблизительно, подобно тому как к квадратуре круга приближается подвижный многоугольник, к полному и неподвижному кругу Божественной чистоты».

Вернемся к поставленному выше нами вопросу.

Так ли сильно отличается воспроизведенная нами в самых общих чертах точка зрения Леонтьева на соотношение страха и

любви в деле спасения человека от учения церковно-православного?

Вдумаемся.

«И бесы веруют и трепещут»! Можно ли это страшное изречение применить хотя бы в минимальной доле к рассуждениям Леонтьева? Не думаем! Что означает трепет бесовский? Он предполагает сознательное восстание против Бога духов зла, которые, веруя в Бога и трепеща перед Его Силою и Славою, продолжают, по Божию попущению, сознательно воинствовать против Него. Возможен ли случай подобного состояния у человека? Возможен — ведь и Апостол с вышеприведенным речением обращается к человеку: он оценивает его веру, он сопоставляет именно ее с верою бесовской! Мысль Апостола такова: мало «верить» — и бесы веруют и трепещут! Позволительно формулировать и иначе ту же мысль: горе тому человеку, который способен, даже и веруя, испытывать трепет бесовский, то есть трепет страха перед Божией Силою и Славою, сопровождающий, однако, сознательное противопоставление себя Богу, сознательный бунт против Него. Верую, трепещу — все же бунтую, прилепляясь к войску сатанинскому и с ним отождествляясь. Такое состояние человека содержит, надо думать, тот грех против Духа Святого, который, по слову евангельскому, не прощается человеку ни в сем веке, ни в будущем. Не прощается почему? Потому же, почему немыслимо обращение на путь Света бесплотных детей сатанинской тьмы, духов злобы поднебесной! Пред нами некая страшная тайна абсолютного самоутверждения Зла, уже неспособного обратиться к Добру…

Можно ли найти в литературных утверждениях, в дружеских признаниях, в самой установке сознания Леонтьева хотя бы малейший намек на переживание им подобного «страха»? Нет! Напротив того! Страх перед Сатаной, перед его царством, перед грехом и смертью потрясает Леонтьева. Когда Леонтьев говорит: «боюсь Церкви», это означает в сущности: «боюсь себя, гнездящегося во мне греха, боюсь гибели и смерти — и бегу к Церкви». Этот страх хочет привить Леонтьев и всякому человеку во имя спасения его души от геенны огненной. Это страх не бесовский, а страх Божий, страх перед перспективой отпадения от Бога.

Если упраздняется упрек Леонтьеву в проповеди им будто бы страха бесовского (с достаточной ясностью, как мы помним, формулированный кн. С. Н. Трубецким), то надо признать положение «обвиняемого» уже благополучным, ибо *все остальные виды страха допустимы* как орудия спасения человека и приемлются Церковью.

Путь спасения человека есть, по учению Церкви, путь послушания. *Первой* ступенью лестницы послушания и является *страх Божий*.

«Вначале, — говорит митрополит Филарет, — человек жил, как сладкою пищею, послушанием любви к Богу всеблагому и всесовершенному. Но после того как сию блаженную жизнь отравил он вкушением запрещенного, ему нужно, как врачество, иногда не без горечи, употреблять послушание страха перед Богом, праведным Судией, а потом послушание веры в Бога и Христа, Помилователя, Исцелителя и Спасителя, дабы наконец, по мере исцеления, вновь питаться сладкою бессмертною пищею — послушанием любви».

Любовь есть, таким образом, лишь высшая ступень лестницы послушания: она есть признак состояния «сыновства», достичь которого можно, лишь пройдя оба низших состояния: «рабства» и «наемничества». Соотношение этих трех состояний так изъясняется митрополитом Филаретом:

«Любовь к Богу все обращает в средства к нашему спасению и блаженству, без нее все средства не достигают цели. Не будет светить светильник без елея: и молитва не озарит духа без любви. Не взыдет без огня курение кадила; и молитва без любви не взыдет к Богу.

Что сказать о побуждениях к добродетели, которыми заменяют любовь не познавшие силы ее, — о страхе суда и надежде воздаяния? — Подпоры, необходимые для созидающих дом душевный: но не в них лежит высота и красота здания духовного. Работающий из страха есть раб, трудящийся за воздаяние есть наемник. “*Раб*, — говорит Иисус Христос, — *не пребывает в дому во век*, — можно присовокупить: и наемник, — ибо только *сын пребывает во век*” (Иоан. VII, 35).

Христиане! Бог влечет нас в любовь Свою более, нежели одною заповедью, одним повелительным изъявлением Своей воли: он лучше нас ведает, что любовь не приобретается одними повелениями. Он ищет любви нас грешных и недостойных Своей святой и высочайшей любовью...»

Высшею формою такого «послушания любви» является преданность Богу, которую митрополит Филарет определяет так:

«Преданность Богу есть такое расположение духа, по которому человек всего себя, все, что ему принадлежит, все, что с ним случиться может, предоставляет воле и провидению Божию, так что сам остается только стражем своей души и тела как стяжания Божия...» «Преданность Богу, — продолжает он, — есть самая крепкая и действенная молитва. Преданность Богу есть и начало, и совершение христианства и вечного спасения».

«Преданностью Богу» как бы замыкается путь возвращения к Богу отпавшего от Него человека.

«Некогда первый человек блаженствовал: почему? потому что последовал всеблагой воле Божией. Он пал с высоты своего блаженства: каким образом? — Его воля отпала от воли Божией и впала в чувственные пожелания. Преслушание, грех, смерть — это звенья одной цепи; взявшийся за первое звено влечет сам к себе последнее... Надобно ли врачевать от всеобщей смертоносной болезни человечество — можно догадаться, что весьма нужный врачебный прием должно составлять то качество, утрата которого была началом болезни, то есть послушание».

Высшей, верховной формой послушания и является преданность Богу, совершенная степень сыновства Богу, прилепляющая человека к Богу неделимо узами Божественной Любви, той «*совершенной*» любви, которая, по слову апостола любви, «изгоняет страх».

У того, кто достиг такого состояния, в сердце воцаряется Христос: близость Его становится непосредственно ощутимой.

«Господь так постоянно близок к нам, что ближе окружающего нас воздуха, ближе одежды нашей, ближе, наконец, самого нашего тела: Он в нашей душе», — говорил о. Иоанн Кронштадтский. В дневнике его немало находим мы записей, где проявляется и славословится эта благодатная близость Бога к человеку. Радость о Боге присуща и всем Божиим человекам. Вот пример из творений св. Димитрия Ростовского, от которого сохранилось немало подобной настроенностью проникнутых «стихословий любезного к Богу беседования».

«Прибежище, стена и заступление мое, Ты един! Сам да будеши, Господи, пристанище и утешение мое, Твоя Божественная любовь; Ты бо един ми еси, Господи, Ты же и сила; Ты ми есть Бог! Ты же радование. Ты еси моя слава и велелепие, Ты еси моя похвала и упование. Весь еси желание, весь еси сладость, о Боже мой; пребываеши бо весь во веки вечные! никогда не изменяясь. Ты един утешение и вечное наслаждение да будеши, Господи, радость же и веселие, пресвятая Твоя Божественная любовь. Сего ничто лучше и честнейше ни на земле, ни на небеси да имам, еже ми паче всех сокровищ да будет честнейшее, паче многоцветных адамантов дражайшее. Паче сего ничтоже вяще да вожделею, паче сего ничтоже вяще да взыщу, но сим единым доволен буду во всеце сем, паче же в грядущем».

«Мысленными очами сердца вижу я, как мысленно вдыхаю в сердце мое Христа, как Он входит в него и вдруг успокаивает и услаждает его. О, да не пребуду я один без Тебя, Жизнодавца,

дыхания моего, радования моего! Худо мне без Тебя», — восклицает о. Иоанн Кронштадтский.

А вот как то же состояние ощущения Христа в сердце описывает известный «Странник», автор столь поучительных и благодатных «откровенных рассказов»:

«Молитва сердца столь меня услаждала, что я не полагал, есть ли кто счастливее меня на земле и недоумевал, какое может быть большее и лучшее наслаждение в царствии небесном. Не токмо чувствовал сие внутрь души моей, но и все наружное представлялось мне в восхитительном виде и все влекло к любви и благодарению Бога; люди, дерева, растения, животные — все было мне родное, на всем я находил изображение имени Иисуса Христа. Иногда чувствовал такую легкость, как бы не имел тела, и не шел, а как бы отрадно плыл по воздуху; иногда входил весь сам в себя и ясно видел все мои внутренности, удивляясь премудрому составу человеческого тела; иногда чувствовал такую радость, как будто сделан я царем, и при таковых утешениях желал, когда бы Бог дал скорее умереть и изливаться в благодарности у подножья Его в мире духов».

Надо ли говорить, что подобных славословий и признаний мы не найдем в писаниях Леонтьева? Но, с другой стороны, дает ли это нам право утверждать, что ни в какую минуту своей жизни не были доступны Леонтьеву подобные духовные утешения? Отнюдь нет — тем более что, как учили святые отцы, нередко Бог свои благодатные дары изливает на верных рабов своих только ко времени расставания души с телом. Существенно для нас в данный момент не то, сподобил Бог или нет Леонтьева вкусить этих высших даров Своей благодати, а то, что писаниями своими Леонтьев отнюдь не отвергал возможность таковых, и притом именно как обнаружение высшего доступного человеку приближения к Любви Божественной. Прямая же задача Леонтьева, вытекавшая из его личного душевного опыта, была иной: свою интеллектуальную гордыню, свою плотскую страсть, свою необыкновенную, до тонкости развитую «похоть очес», неотделимую от присущего ему гениального дара эстетического видения действительности, обрывать неустанным памятованием телесной и духовной *гибели*, лечить свою греховную природу страхом перед зияющей бездной сатанинской и дисциплинировать свой дух школой строгого церковного послушания.

Пусть в писаниях Леонтьева вплоть до последнего времени прорываются ноты нехристианские и даже противохристианские; пусть в своем пафосе страха Господня Леонтьев готов если не забыть, то преуменьшить значение любви, упуская из вида или

недостаточно подчеркивая то, что если, по греховности человеческой природы, во всяком чувстве любви должен присутствовать страх, то, по богоподобию человека, во всяком страхе человека, Бога ищущего, не может не присутствовать чувство любви, хотя бы и в виде зародышевом и заглушенном. *В целом* писания Леонтьева являют твердое и сознательное прославление подвига церковно-православного *послушания* — в том самом смысле, который придается этому понятию митрополитом Филаретом.

«Послушание по имени своему есть последование тому, что слышим как наставление или как повеление. Но в высшем, существенном, духовном значении под именем послушания, — говорит московский святитель, — разумеется последование воли человеческой, как сотворенной и зависимой, воле Божией, как творческой и вседержавной...»

По своему внутреннему смыслу и содержанию подвиг беспрекословного послушания Церкви, наложенный на себя Леонтьевым, был вызван именно желанием, готовностью, потребностью его свою волю *полностью* подчинить воле Божией. К этому же зовет других и проповедь его, и странно было бы выражать претензию против того, что писания его, в которых отразилась эта его всежизненная устремленность, не являются бесстрастными страницами Добротолюбия, а продолжают быть, пусть христиански-православно одухотворенной, но все же *публицистикой*, страстной, блестящей, увлекательной, гениально-парадоксальной...

Но именно потому, что писания Леонтьева не духовно-возвышенные, бесстрастные поучения Добротолюбия, отражающие в зеркале Вечной Правды греховные свойства природы человека, а гневная *публицистика*, они и приобретают характер *о ч е р е д н о г о*, к моменту дня относящегося, срочного, ударяющего по воображению предостережения против некоего висящего над миром злободневной угрозой соблазна. Писания Леонтьева не просто исповедь или поучение, а активная борьба с наседающим злом и страстная проповедь, обращенная к людям с призывом подумать о непосредственно грозящей им гибели и — *пока не поздно* — обратиться на путь спасения.

Тут мы, естественно, переходим к оценке того упрека, который прозвучал как в вышеприведенных словах архим. Антония, так и в словах о. Г. Флоровского — упрека в «трансцендентном эгоизме», по яркому выражению, вызывающе употребленному самим Леонтьевым, — то есть в распространении чувства себялюбия на устремление в мир потусторонний, на дело «личного спасения».

«Личное спасение» — или «общее благо»?

Проблема эта гораздо сложнее, чем это представлялось молодому архимандриту Антонию, как гораздо сложнее была и проблема личности Леонтьева, чем это ему тогда казалось. Показательно, что сам архимандрит Антоний гораздо позже, в бытность его уже архиепископом Волынским, принял участие в сборнике, посвященном памяти Леонтьева, и там отнесся к нему существенно иначе. Мне не довелось читать этой статьи знаменитого церковно-православного писателя, но из рецензий в сборнике я знаю, что к этому времени почтенный и прославленный архипастырь, имея перед собою данные, раскрывающие весь жизненный путь Леонтьева, а не случайные о нем личные впечатления, как то было раньше, готов был признать в нем «возвышенного, просвещенного христианина», причем вполне справедливо при этом полагал, что такого христианина «надо отыскивать во множестве его произведений», «а не учитывать ему всего там написанного». Если *личность* Леонтьева (по причинам, вполне психологически понятным) могла в глазах православного деятеля получить первоначально столь невыгодное для себя освещение, то по столь же понятным побуждениям могла вызывать недоверие и вся установка его аргументации, все его писательское *дело*. Внимание архим. Антония, в соответствии с этим двойным недоверием, было все поглощено критикой тех, кто, неправильно сужая идеал личного спасения, отстраняется от задачи спасения других. Забота автора была одна: изобличить претенциозную узость Леонтьева и тех, иже с ним, в понимании «личного спасения». Но достаточно стать на позицию иную, то есть задуматься над существом антитезы «личного спасения», то есть того «общественного блага», которое, в свою очередь, изобличил Леонтьев, — как сейчас же иной свет начинает падать *на всю проблему в целом*.

Действительно, архим. Антоний исходит из того, что под «общественным делом», *бесспорно*, разумеется спасение души остальных людей. Поскольку это действительно так, его аргументация является безупречной. Но разве аргументация Леонтьева, делающая столь решительное ударение на моменте личного спасения, исходит из этого? Нет! Она, как раз напротив, опирается на предположение о том, что люди озабочиваются служением *такому* общественному благу, которое не только не означает спасения душ *остальных* людей, но, наоборот, грозит гибелью даже и *собственной* душе борцов за *такое* общественное благо, лишенное всякого «трансцендентного» смысла и значения... Леонтьев тут и апеллирует к «*трансцендентному*» эгоизму,

каковая апелляция может в других терминах, менее вызывающих, быть истолковыема так: «Чем думать о том, как устроить *общее* благо на антихристианских, *богопротивных* началах, подумайте лучше как добрые, *церковные* христиане о *собственной* душе, которую вы обрекаете на гибель, подумайте о *своей* судьбе в Вечности, обернитесь *на себя*...» Памятуя, что сам он излечился от тяготеющих над ним соблазнов *страхом* за свою судьбу в Вечности, Леонтьев и других людей хочет обратить к разуму призывом *испугаться* за себя в Вечности, не увлекаясь в ущерб своему спасению думой о других и об их устройстве в плане *земного* прогресса, застилающего саму мысль о Вечности. Не о том, следовательно, думал Леонтьев, говоря о «трансцендентном эгоизме», чтобы начало себялюбия перенести в план потусторонний, а о том, чтобы из плана «по*сю*стороннего альтруизма» перенести внимание людей в план по*ту*сторонний — с оглядкой прежде всего на *себя* и на *свою* судьбу в Вечности...

Если так посмотреть на вопрос, то вся аргументация архим. Антония, равно как и аргументация о. Г. Флоровского, теряет свою заостренность против Леонтьева: дело не в том, в какой мере узко или тенденциозно понимается Леонтьевым проблема «личного спасения» (тут не в *существе* разногласие, а в нюансах чувств и в оттенках формулировки), а дело в том, что слишком внехристиански широко понимается теми, против кого направлено острие леонтьевских афоризмов, понятие «общественного блага». Не земную категорию эгоизма хочет Леонтьев протащить в Вечность, а, напротив, со всею наглядностью показать *земной* и, поскольку ему придается характер абсолютного блага, — *богоборческий* характер того альтруизма, который так настойчиво, но безосновательно хотят облагородить и освятить наименованием христианской любви.

Отдать душу свою за ближнего своего, погубить душу свою за Христа Спасителя и его Евангелие — это действительно значит спасти душу свою, — и против такого утверждения не погрешил ни в чем Леонтьев. Но служить *земному* счастью людей, забывая о судьбе *своей* души, — это значит отказаться от Христа, и прикрывание *такой* любви именем Христа есть ложь, обман, соблазн, против которых Леонтьев восставал со всей энергией своей правдолюбивой души и всем темпераментом своей боевой натуры. Спасение *своей* души есть высшая ценность по сравнению с заботами о *земном* благе человечества — вот внутренний смысл леонтьевского афоризма о «трансцендентном эгоизме», поскольку ему присваивается характер общей нормы, а в таком освещении афоризм этот есть *аксиома христианского сознания,*

затушевывание которой способно принести непоправимый вред каждой душе христианской.

Но леонтьевское выдвижение на видный план проблемы «личного спасения» в противовес общему благу может иметь и иной смысл, еще более, может быть, значительный и к настоящему времени еще более злободневный.

Здесь дело идет уже не о гуманитарном идеале, о демократии и прогрессе, с каковыми идеалами современного общества с таким неподражаемым пафосом и с такой сокрушающей силой убеждения боролся Леонтьев. Дело идет о том страшном, чем болел и духовный сокрушитель социализма Достоевский, и пламенный проповедник христианской свободы Владимир Соловьев и что нашло наиболее яркое и сильное выражение в религиозном философе, оставшемся Леонтьеву неизвестным — Николае Федорове. Дело идет о соблазне подмены благоговейно-трепетного, бодрственного и трезвенного ожидания Страшного Суда как преддверия Царства Славы, уготованного человечеству от века Промыслом Господним и имеющего прийти в момент, не открытый никакому человеческому предвидению, ни даже высшим духам, предстоящим Престолу Божию, — подмены этого постоянного ожидания, которое должно составлять некий *абсолютный* фон всякого человеческого дерзания, напоминая человеку о непереходимой пропасти, лежащей между землей и небом, — чем-то принципиально иным, а именно кощунственной мечтой о сознательном соучастии в организации, о коллективном сотрудничестве в деле подготовки и осуществления — «Царства Славы»! Леонтьев боролся с мечтой о том «общем деле», страшное существо которого *бесстрашно* первый раскрыл *до конца* Федоров...

Подведем итоги.

Леонтьеву ставят в упрек то, что он слишком много думал о *личном* спасении, проявляя в этом «трансцендентный эгоизм», и тем оскорблял то начало соборности и любви, которое составляет сущность христианской Истины. Не будем спорить против того, что Леонтьев с остротой, ему свойственной вообще, а особенно сильно проявляемой в моменты, когда он видел перед собою Ложь, с которой стремился бороться, — нарочито резко, нарочито рельефно и потому словесно-односторонне выражал свои мысли. Эти мысли нельзя, однако, правильно понять, если не учитывать наличие того уклона мысли, которому *противопоставляется* ход рассуждений Леонтьева. Возьмите утверждения Леонтьева в их изолированности от чьих-то поползновений взобраться на небо самочинно, силами человечества или низвести

небо на землю самочинно же, силами того же человечества — и эти утверждения станут крайними и претенциозными. Напротив того, поставьте проповедь Леонтьева в прямую связь с этими богопротивными задачами, скрадываемыми в своем кощунственном существе порою самыми добрыми, светлыми и нередко даже во внешнецерковную форму облеченными чувствами — и эта проповедь загремит громом церковно-охранительного обличения, к которому не может не прислушаться ни один из верных сынов Церкви.

Да, любовь превыше всего. Да, Бог есть Любовь. Да, когда кончится мировая история и останется только Бог и в Нем те, кого допустит в лоно Божие Высшая Правда и Бесконечное Милосердие, — тогда останется *только* Любовь, а все иное упразднится — упразднятся даже наши высшие христианские добродетели Веры и Надежды, ибо останутся без предмета в условиях реализации Царства Божия. Все это так — но вы и не найдете в писаниях Леонтьева ничего, что противоречило бы этим утверждениям! Когда же Леонтьев своим безошибочным чутьем правдолюба, уверовавшего в церковное, «филаретовское», византийское, монашеско-аскетическое православие, обнаруживает чье-либо стремление *собственными руками* взяться за задачу водружения в мире этой Абсолютной Любви, — он кричит: «Руки прочь!» — и взывает к тому чувству, которое *единственно* способно остановить человека на этом соблазнительно-кощунственном пути: к чувству *страха*, первоначально хотя бы самого грубого, физического, животного страха, только от него ожидая той спасительной встряски, которая способна заставить одуматься человека и познать свое ничтожество, почувствовать зияние гибели — узреть духовными очами ту пропасть, ту «бездну», которая веками раньше вернула к познанию живого Христа другого необыкновенного мыслителя — Паскаля...

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Нередко, приводя эти слова Апостола Любви, опускают одно слово: «*совершенная*». «Любовь изгоняет страх»! Этим искажается мысль Апостола: только «*совершенная*» любовь изгоняет страх! Моментами, по благодати Божией, это «совершенство любви» озаряет верующего человека. Святость приближает человека к этому «совершенству» любви как состоянию постоянному. «Послушай, что пишет Марко-подвижник, — говорил один афонский подвижник упоминавшемуся нами Страннику: «Душа, внутренне соединившаяся с Богом, от величайшей радости бывает как незлобливое и простосердечное дитя и уже не осуждает

никого, ни эллина, ни иудея, ни грешника, но на всех зрит без различия чистым оком и одинаково радуется о всем мире и желает, да все эллины, евреи, и язычники прославляют Бога». А Египетский Великий Макарий говорит, что внутренние созерцатели «толико любовию распаляются, что если бы возможно было, то всякого бы человека в утробу свою вселили, не различая ни злого, ни доброго».

Но представим себе, что такой человек, сподобившийся приблизиться к такому совершенству любви, признал бы за собою наличие этого совершенства: возникновение такого сознания означало бы его падение, его низвержение с высоты святости в бездну сатанинской гордости! Это значит, что в условиях человеческой грешной природы начало *страха Божия*, пусть в форме благостного и радостного смирения, должно *бессменно* пребывать и в душе праведника!

На вопрос: как это праведники, зная, что они хорошо живут, по заповедям Божиим, не возносятся своей праведностью, старец Амвросий ответил: «Они не знают, каков ожидает их конец. — Потому, — прибавлял он, — спасение наше должно содеваться между страхом и надеждою. Никому ни в каком случае не должно предаваться отчаянию, но не следует и надеяться чрезмерно».

В душах святых страх перегорает в сладостное сознание полной и светлой преданности Богу.

Такой страх не изгоняется никакой, самой совершенною любовью. Он достигается на самых вершинах подвижничества.

«Страх Божий приобретается тогда, — учил преподобный Серафим, — когда человек, отрекшись от всего, что в мире, соберет все свои мысли и чувства и весь погрузится в созерцание Бога и в чувство обещанного святым блаженства».

Мы видим, что под «страхом» разумеются весьма разные вещи. Если любовь обнимает целую лестницу явлений, постепенную же лестницу явлений знает и «страх».

«Начало покаяния зарождается от страха Божия и внимания к себе, как говорит св. мученик Вонифатий (Чет. мин. Дек. 19); читаем мы в поучениях преп. Серафима: страх Божий есть отец внимания, а внимание — мать внутреннего покоя. Страх Господень пробуждает спящую совесть, которая делает то, что душа, как в некоей воде, чистой и невозмущенной, видит свою некрасоту, и так рождаются начатки и разрастаются корни покаяния».

«Человек, решившийся проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть начало премудрости», — учил тот же преп. Серафим.

Обретением страха Божия, таким образом, начинается путь спасения. «Господи, всели в мя корень благих, страх твой в сердце мое», — учит нас каждодневно взывать св. Иоанн Златоуст.

Но есть и иной вид «страха Божия», о коем преп. Серафим учил, что никто не может стяжать его, «доколе не освободится от всех забот житейских. Когда ум будет беспопечителен, тогда движет его страх Божий и влечет к любви благости Божией».

Существенно то, что в том ли, в ином ли виде, но страх должен присутствовать в душе человека.

«Страх Божий, — с полным правом мог писать еп. Феофан, Вышенский затворник, — как приводит к началу святой и богоугодной жизни, так бывает самым верным блюстителем ее, когда кто, последовав его внушениям, положит сие начало».

Само собою разумеется, что страх, чтобы быть спасительным, должен быть правильно направлен.

Великая опасность для человека — бояться людей больше чем Бога. Это — признак слабости веры или даже неверия.

«Друг мой и брат о Христе! — писал св. Тихон Задонский. — Часто я слышу, что Давид святый поет: “Тамо убояшаяся страха, идеже не бе страх” (Псал. 13, 5). И, не могши понять, что значит песнь сия, немало размышлял о том. Но потом дух мой почувствовал, что она значит тое, что люди боятся человека, но Бога не боятся... И тако приличествует им песнь сия: “Тамо убояшаяся страха, идеже не бе страх”. А в начале помянутого псалма воспел: “Рече безумен в сердце своем: несть Бог”. Свойство убо того, который в сердце своем глаголет: “Несть Бог”, есть бояться человека, но не бояться Бога».

Но не в том только опасность для человека, чтобы болеть *избытком* страха, и притом неправильно устремленного, — то есть так бояться людей, чтобы забывать даже и страх Божий. Человек может болеть вообще *недостатком* страха, независимо даже от его устремленности, — ни людей не бояться, ни Бога не страшиться.

Очень опасным видом недостатка страха является тот, который определяется недооценкой могущества темных сил бесплотных. В должной мере страх пред дьяволом и его воинством не может не присутствовать в нашем сознании, утопая лишь в устремленности нашей к Богу...

«Дьявола не бойся; кто боится Бога, тот одолеет дьявола: для того дьявол бессилен», — учил преп. Серафим. Иными словами, страх пред дьяволом угасает в страхе Божием, но это не значит, что внимание наше, настороженность наша, постоянная оглядка на Врага, изощреннейшими маневрами нападающего на

нас, должна ослабевать. Ведь вся сложнейшая система «умного» делания души, составляющая сердцевину монашеского подвижничества, есть, со своей стороны, изощреннейшая стратегия и тактика обороны, никогда не утихающей, против Врага, не только открыто нападающего, но и непрестанно прикрыто уловляющего нас в свои сети.

Господь, по своему милосердию, не дает нам зреть темные силы бесплотные. «Как на свет Ангела взглянуть грешному нельзя, так и бесов видеть ужасно: потому что они гнусны», — говорил преп. Серафим... Известен случай, как в присутствии одной молельщицы в келье преп. Серафима в ясный день наступила внезапно устрашающая тьма, заставившая молельщицу пасть ниц на землю.

«Знаешь ли, радость моя, — сказал ей о. Серафим, — отчего в такой ясный день сделалась вдруг такая ужасная тьма?! Это оттого, что я молился за одну грешную умершую душу и вырвал ее из рук самого сатаны; он за то и обозлился на меня, сам сюда влетел; оттого-то такая здесь тьма!»

Потрясающее событие произошло со «служкой Серафимовым», Н. А. Мотовиловым, близким к святому старцу человеком, получившим по его молитве исцеление и заслужившим доверие и любовь Преподобного.

Услышав его повествование о страшной борьбе со злыми духами, Мотовилов легкомысленно воскликнул:

«Батюшка, как бы я хотел побороться с бесами!»

«Что вы, что вы, ваше Боголюбие, — возразил Преподобный. — Вы не знаете, что вы говорите. Знали бы вы, что малейший из них своим ногтем может перевернуть всю землю, так не вызывались бы на борьбу с ними... одна Божественная благодать всесвятого Духа, туне даруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа, одна она делает ничтожными все козни и злоухищрения вражии».

Не вразумился этим «служка Серафимов»! Много лет спустя, уже после кончины Преподобного, читая однажды об одной бесноватой, исцеленной после 30-летних страданий, он задумался о том, как это христианин, приобщающийся Св. Тайн, может сделаться жертвою Врага. «Вздор!» — решил он.

«Посмотрел бы я, как бы посмел в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к таинству святого Причащения».

И вот, по попущению Божию, произошло нечто предельно страшное, леденящее душу. Злая сила вселилась в Мотовилова, и он на себе испытал геенские муки... Нестерпимая тяжесть этих

мук была относительно скоро смягчена по молитве св. Церкви, но полное исцеление Мотовилов получил лишь через 30 лет…

Но если опасна человеку легкомысленная недооценка грозной силы Врага, то не менее опасным является подпадение соблазну иному, гораздо более распространенному. Безумно — бросать вызов Врагу, проявляя легкомысленную отважность, безрассудочную беспечность, опрометчивую дерзость, никогда Церковью не благословляемую. Но это — грех воли, влекущий за собой покаяние и чрез него возвращающий человека на путь спасения. Страшно для души человеческой, когда примешивается грех ума — неверие.

Страшно недооценивать силу Врага, понимая все значение для спасения души борьбы с ним. Но неизмеримо более страшно за тех, кто, усомнившись в бытии Дьявола или утратив веру в его действительное существование, — оставляет самую мысль о борьбе с темными силами, тем самым становясь их легкой и *невозвратной* добычей. Этот *недостаток страха* есть распространеннейшая сейчас форма пренебрежения к делу спасения души… И в этом смысле *страх бесовский* (не страх, свойственный бесам, а страх пред их силою!) есть подлинно условие возврата многих и многих на путь спасения.

В *законных* пределах, на *своем* иерархическом месте, необходимо существование и страха *человеческого!* Показательно, что архимандрит Агапит, духовный выученик старца Амвросия, являющегося одним из удивительнейших примеров приближения человека к совершенству любви, в жизнеописании старца подчеркивает положительное значение строгости, применявшейся к старцу во время его детства и юности. «Так как он, — говорит архим. Агапит, — все время юности своей был под строгостью, направленною к его религиозно-нравственному воспитанию, или под страхом человеческим, то в сердце его, незаметно для него самого, впечатлелись начатки страха Божия, который впоследствии давал направление всей его жизни». Драгоценно это последнее замечание! Чему приписывает жизнеописатель старца серьезное значение в деле восхождения старца на ту высоту совершенства любви, которой он достиг? Тому, что «*направление всей его жизни*» давал страх Божий!

Дозволительно сделать заключение от обратного: как опасно, как губительно, как душевредно должно быть «направление» той жизни, которая протекает в условиях забвения или даже просто незнания ни страха Божия, ни страха человеческого, каковые вытесняются разными фальсификатами христианской любви, разными видами «дурной» любви, либо уводящей от Бога,

от Церкви, от самой мысли о Вечности, либо, что, может быть, еще хуже и опаснее для человека, искажающей саму мысль о Боге, Церкви и Вечности в такой мере, что человек в своей гордости начинает мечтать о богоподобии и повторяет, в новых вариантах, грех своего праотца Адама!

Чем можно отрезвить человека? Вернув ему чувство страха, *должное* чувство страха. «Скажите себе в сердце своем: *есть Бог*, и убойтесь страха *там*, где есть страх», — так можно формулировать призыв Леонтьева. Предметным содержанием всей проповеди Леонтьева был призыв к «страху» как к орудию *отрезвления* забывшегося человечества: к страху перед Богом, а тем самым и перед тем, что Им установлено на земле как власть и порядок, главнее же всего — к страху перед неповиновением Церкви. Много писано было теми, кого Леонтьев поражал не в бровь, а в глаз, о том, будто он за Церковью якобы не видел Христа! Но в этом-то и заключается сила грозного предостережения леонтьевской проповеди: Христос неотделим от Церкви, как Церковь неотделима от Христа, и тот, кто думает прийти к Христу в обход Церкви или тем более в борьбе с нею, — идет широким путем, ведущим к пагубе. Очень разны формы ухода от Церкви, укрывающиеся за завесой любви, — нет обличителя подобной тенденции более сильного, чем Леонтьев, и в этом его непреходящая заслуга.

Леонтьев как бы говорит: бегите тех, кто со словами любви на устах уводит вас от Церкви, а прежде всего — научитесь *бояться*, т. е. откажитесь от самоуверенности и личной и общественной, подумайте о смерти и о том, что вас после нее ожидает, и не мудрствуя лукаво — свободно, радостно и легко отдайтесь руководству Церкви. Только так приобретете вы спасение, — только так научитесь вы и по-настоящему любить.

Ю. П. ИВАСК

Константин Леонтьев (1831—1891) Жизнь и творчество

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга эта — творческая биография Константина Леонтьева. Герой ее воссоздается по его же воспоминаниям, письмам, а также и по его повестям, очеркам. Всю жизнь Леонтьев говорил преимущественно о себе, он супергерой собственных писаний, всей своей поэмы жизни. При этом он постоянно твердил, что жизнь реальнее литературы. Все же мы узнаем о нем только из литературных источников: из книг, написанных им или о нем.

Подход мой лишь отчасти психологический. Леонтьева я истолковываю в мифах Нарцисса, Алкивиада и евангельского Бога — того Юноши, но, конечно, в эту мифологию он целиком не вмещается — и тем лучше! Дроби человеческой личности часто существеннее круглых чисел, и дробям этим я уделяю больше внимания, чем единицам.

Я очень признателен о. Илиану, игумену Св. Пантелеймоновского монастыря за позволение работать в монастырской библиотеке и от всей души благодарю всех афонских иноков, русских и нерусских: именно они помогли мне лучше понять тему Афона в жизни Леонтьева.

Выражаю мою благодарность профессору Джорджу Тэйлору, директору дальневосточного и славянского отдела Вашингтонского университета, а также и его заместителям профессорам Д. Ф. Трэдголду и В. Г. Эрлиху за материальную поддержку.

За критические замечания или за ценные справки благодарю Г. В. Адамовича (†), сэра Ричарда Аллена (Лондон), Г. С. Аронсона (Нью-Йорк), проф. Имрэ Боба (Вашингтон. университет), проф. В. Вейдле (Париж), магистра В. Гросса (Вашингтон. университет), проф. С. А. Зеньковского (Вандербильт), проф. Васи-

лия Лаурдаса (Салоники), проф. А. Р. Небольсина (Питтсбург. унив.), проф. Ю. Н. Николаева (Упсала), Б. Р. Перна (Лондон), А. Р. Реннинга (Стокгольм), проф. Ф. А. Степуна (†), проф. Г. П. Струве (Калифорн. унив.), Ю. К. Терапиано (Париж), проф. Б. А. Филиппова, выдающегося знатока К. Леонтьева (Вашингтон), проф. о. Георгия Флоровского (Принсетон), д-ра В. И. Хришко, проф. В. Чалзма (Корнелл), проф. И. В. Чиннова (Вандербильт), проф. Марка Шефтеля (Вашингтон. унив.) и многих других.

Д. Л. Нелсона (Миннесота) благодарю за дополнительные библиографические данные (в конце этой книги), а проф. В. Ф. Салатко-Петрище (Валерия Перелешина, Рио-де-Жанейро) за чтение этой книги в корректуре.

Благодарю также университет штата Массачусетс и главу Славянского отдела этого университета проф. Мориса Левина за финансовую помощь.

Мою жену Тамару сердечно благодарю за дружеское ободрение во всех моих трудах.

Юрий Иваск
Январь 1973
Амхёрст, Массачусетс

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТЕЦ

Отец писателя — Николай Борисович Леонтьев (1783?—1839), калужский помещик, отставной прапорщик, удаленный из гвардии за «шалость».

О происхождении его семьи данных нет. А. Коноплянцев в своей биографии Константина Леонтьева замечает, что едва ли он принадлежит к старинному роду Леонтьевых *.

Николай Борисович в семье своей, в поместье Кудиново, никакого значения не имел. Дети, дворовые даже редко его видели.

«Отец жил давно особо, не с нами, в небольшом флигеле, бедно убранном, в нем он заболел ужасной болезнью (miserere [1]), в нем и умер, в нем лежал на столе в довольно тесной комнате».

Сын Константин, самый младший в семье, отца почти не знал. Он вспоминает: как-то вся семья вышла встречать чудотворную икону святителя Николая. «Отец первый приложился, прошел

* *Коноплянцев А.* // Памяти К. Леонтьева (1911).

под нею, согнувшись с большим трудом, так он был велик и толст. Помню его пестрый архалук из термаламы и как развевались белые его волосы от ветерка на лысине».

«Другое обстоятельство было немного поважнее. Когда в первый раз, семи лет, я пошел исповедоваться в большую залу нашу к отцу Луке (Быкасовскому) и тетка мне велела у всех просить прощения, то я подошел прежде всего к отцу; он дал мне руку, поцеловал сам меня в голову и, захохотавши, сказал: “Ну, брат, берегись теперь... Поп-то в наказание за грехи верхом вокруг комнаты на людях ездит!” Кроме добродушного русского кощунства, он, бедный, не нашел ничего сказать ребенку, приступавшему впервые к священному таинству!».

«Вообще сказать, отец был не умен и не серьезен» *.

Он умер, когда Константину было лет восемь.

Николай Борисович Леонтьев напоминает Дмитрия Егоровича Ржевского в романе «Подлипки». Когда-то жена, Евгения Никитишна, была в него влюблена, жила счастливо, имела детей, но, узнав о его шашнях с прислугой, «взяла дела в свои руки, а за историю с прачкой перестала быть женой Дмитрия Егорыча и даже удалила его во флигель». А как он был хорош, на портрете, в красном ментике лейб-гвардейцев: «Лицо так и дышит счастьем сознательной красоты и молодечества; легкий черный ус чуть заметно, рыцарски закручен; карие глаза смотрят на вас улыбаясь и не без силы... А как он пел: “Что трава в степи перед осенью” или — “Le vieux clocher de mon village, que j’ai quitté pour voyage!” [2]

Посмотрели бы вы на него в последнее время: толст, отек, сед и грязен. Ваточное пальто, покрытое муар-антиком коричневого цвета, — и ни слова, ни слова» **. Но другой леонтьевской героине — графине Катерине Николаевне Новосильской («В чужом краю») — не так легко было от своего неверного и бравого мужа отделаться: во флигеле жить он не стал бы. Все же после долгих перипетий ей удается от него откупиться.

Вообще же — отец всегда лишний человек в мире Константина Леонтьева. В тех же «Подлипках» мил, обаятелен молодой путеец Ковалев. Мальчику Володе Ладневу (первому alter ego автора) он напоминает лубочных алебастровых кукол и мифологических богов из французской книжки — Марса и Аполлона. Он женится на воспитаннице тетушки Солнцевой, на бледной нимфе Оленьке. Через десять лет Володя, уже студент, встреча-

* Л IX, 21–23.

** Л I, 65; 57–58.

ет Ковалевых в московской гостинице. «Шестилетняя девочка показалась мне слишком жирна и скучна; номер не совсем опрятен; открытые погребцы и ящики, разбросанное платье, посуда, где попало...» Никакой поэзии Марса, Аполлона, нимфы или даже лубочных кукол. Не поэзия, а проза жизни. Ковалев — «усталый труженик, неопытный отец нового семейства», личность ничем не примечательная. Некоторое время Володя Ковалевых посещает. Но: «Еще год или два, и они для меня не существовали» *. Женился, стал отцом — и пропал человек...

Тот же Володя Ладнев наивно сочувствует женатым великим людям. «Еще я вижу Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке... как душно в его комнате!.. Руссо, муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж...» ** Кстати, заметим: примеры эти неудачные. Гете жена не притесняла, и не было в его комнате душно; и Тереза, не жена, а спутница Жан-Жака, притеснительницей не была.

Все же Константин Леонтьев вступил в брак... «Подлипки» были помещены в «Отечественных записках» в 1861 г., и в том же году он женился на девице мещанского звания и был счастлив. Он даже гордился тем, что жена его женщина не передовая и писаний его не понимает. Но по привычкам своим он всегда оставался холостяком, как и многие другие его alter ego в романах. Допустив брак, крепкими узами не связывающий, Константин Леонтьев до конца отвергал отцовство: и у него, и у его главных героев детей не было.

ДЕД

Дед, отец матери — Петр Матвеевич Карабанов (умер в 1829 г.). Карабановы — старый дворянский род. Их предок, Иван Андреевич Булгак, не был ли татарского происхождения? В начале XVI века он служил воеводой в Великих Луках. В XVIII веке некоторые Карабановы были людьми известными. Павел Федорович Карабанов (1767—1851) — собиратель предметов древности, а Петр Михайлович Карабанов (1764—1829) — стихотворец.

Дед Петр Матвеевич — *дикий барин* в стиле нашего осьмого-на-десять века, представитель «того рода прежних русских дворян, в которых иногда привлекательно, а иногда возмутительно сочеталось нечто тонкое, “версальское”, с самым страш-

* Там же, 35–36.

** Там же, 255.

ным, по своей необузданной свирепости, “азиатством”», пишет его внук *.

Леонтьевский дед, Карабанов, отдаленно напоминает знаменитого бретера и авантюриста Федора Толстого-Американца. Уже в старости о последнем вспоминает его отдаленный родственник Л. Н. Толстой: «Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека» ** (1903). Пожелание это не осуществилось, но не замечательно ли, что «яснополянский мудрец», непротивленец и вегетарианец вспоминает о нем с явным сочувствием. Впрочем, ничего странного в этом нет. Незадолго до этого Толстой закончил «Хаджи-Мурата», свою старческую и очень языческую песню песней; и, конечно, дикого размаху в этом кавказском наибе было куда больше, чем во всех русских барах-самодурах, включая самого Потемкина!

Петр Карабанов отличался свирепостью. Однажды он чуть было не задушил свою жену. Присутствовавшая при этой сцене дочь Фанни вся посинела и громко крикнула: «Убьет, убьет!..» Но не она спасла мать, а плотник, работавший под окном. Он закричал: «Барин! барин! что ты! иль в Сибирь захотел?!» Карабанов опомнился, оставил жену и молча ушел к себе — вспоминает дочь Фанни — Феодосия Петровна, мать Константина Леонтьева. Последний, комментируя записки матери, пишет: Петр Матвеевич был «развратен до преступности, подозрителен до жестокости и жесток до бессмыслия и зверства. Для семьи, для дворовых он был поистине “бич Божий”. Крестьяне грозились его убить. Это было в 1812 году, когда с приближением Наполеона все Карабановы бежали из своего смоленского поместья Спасское.

Наступило безвластие. Крестьяне бесчинствовали, разоряли усадьбу. Священник попытался припугнуть мужика, рубившего карету. А тот огрызнулся: “Я теперь Петра Матвеевича не боюсь; пусть он покажется, я и ему брюхо балахоном распущу!..”»

После разгрома Наполеона и ухода французов свирепый барин вернулся в Спасское и напомнил крестьянам, что ему кто-то грозился брюхо балахоном распустить. Мужики выдали виновных. «Их секли так сильно, что уже идти они сами не могли, и домой их отнесли на рогожах». Так, по записи К. Леонтьева, закончил свой рассказ старый дьякон, очевидец событий двенадцатого года ***. (Заметим, что в недавнюю эпоху коллекти-

---

* Русский вестник, 1891, 1V, 90–91. Оттуда же другие цитаты в этой главе.

** *Толстой Л. Н.* Собр. соч. (1951), 1, 388–389 («Воспоминания»).

*** Л IX, 52 и 56.

визации взбунтовавшиеся крестьяне так легко не отделались бы: кое-кто был бы расстрелян, а других отправили бы на Беломор или на Колыму.)

Чем же был Петр Матвеевич привлекателен? А вот чем — вспоминает его внук, со слов матери. — Красивый и надменный, дед был «во многих случаях великодушный рыцарь, ненавистник лжи, лихоимства и двуличности, смелый до того, что в то время решился он кинуться с саблей на губернатора, когда тот позволил себе усомниться в истине его слов... слуга Государю и Отечеству преданный, энергический и верный, любитель стихотворства и всего прекрасного».

Один знакомый помещик в его присутствии похвастался тем, что отдал в ополчение никуда не годных крепостных своих: «Они до места-то не дойдут!» Петр Матвеевич тут же, при всем честном народе, отстегал нерадивого помещика арапником*. Внук уродился в деда. И он, слуга Государю и Отечеству преданный, горяч был на расправу. В начале 60-х гг. на острове Крите он отхлестал французского консула — за непочтительный отзыв о России. Все же дворянские нравы в XIX веке «измельчали»: при всей своей вспыльчивости, внук уже никого душить не мог! Но в продолжение тридцати лет он проповедовал: мягкость хороша в личных отношениях, но не в политике, внешней и внутренней. И, как мы увидим, вся эта жестокость проповедовалась им, «хищным эстетом», во имя красоты, которую и дед по-своему любил, хотя едва ли занимался эстетикой...

Если дед был семейным тираном, самодуром и вместе с тем «рыцарем», то его внук, Константин Николаевич, проявил свое деспотическое своеволие и донкихотское благородство в книгах, в своей философии истории. Если дед — яблоня, а внук — яблочко, то оно недалеко от яблони упало. По крайней мере, так казалось самому Леонтьеву, который дедом своим очень гордился.

МАТЬ

Мать — Феодосия Петровна Леонтьева (1794—1871), дочь Петра Матвеевича Карабанова и жены его, Александры Эпафродитовны, урожденной Станкевич. Дома ее звали то Феничкой, то Фанни.

О юности Феодосии Петровны мы знаем по ее запискам и по рассказам сына, который мать обожал, но не идеализировал.

---

* По воспоминаниям Ф. П. Леонтьевой: Русский вестник, 1883, X и XII; 1884, II, также ее рассказы по записям сына: Русский вестник, 1891, IV и V.

Феодосия Петровна была умна, наблюдательна, правдива и очень сдержанна. Чувств своих, кроме одного чувства, восторженной преданности императорской фамилии, она высказывать не любила. Все очень личное, интимное она скрывает или передает намеками.

Записки старой Леонтьевой переносят в атмосферу, знакомую нам главным образом по «Войне и миру». Толстой ту эпоху воссоздал по чужим рассказам, многое добавляя из своего опыта, и, по-своему переосмысливая, изымал ее из исторического времени. Позднее Константин Леонтьев кое-что в этой толстовской эпопее не принял, даже осудил. А его мать, на старости лет вспоминая пережитое, небрежно, но живо записывает и ничего, кроме верноподданнических своих чувств, не преувеличивает. Об изложении она не заботится.

Фанни-Феничка воспитывалась в Петербурге, в Екатерининском институте[3]. Деньги за право учения вносила ее покровительница, легкомысленная и добрейшая Анна Михайловна Хитрово (или Хитрова, как тогда говорили), дочь самого Кутузова, будущего спасителя отечества и князя Смоленского. Карабановы бедными не были, но, видно, отец не хотел тратить денег на дочь. Фанни училась отлично и — блаженствовала. Она записывает: «В эти пять лет институтской жизни я забыла все домашние ужасы... я точно выпила “воды Леты”». Ее выделяла, ее ласкала вдовствующая императрица Мария Федоровна. А молодая великая княжна, Анна Павловна, хотела сделать Фанни своей фрейлиной. Тогда все было бы иначе, тогда жизнь удалась бы. Анна Павловна в 1816 г. вышла замуж за принца Оранского, будущего нидерландского короля Вильгельма II. При ее дворе Фанни была бы на виду и могла бы составить блестящую партию в Петербурге или в Гааге.

Молодая Карабанова была очень хороша собой — об этом мы узнаем от сына, со слов старой няни. Конечно, здесь могло быть преувеличение. Старая няня могла обожать свою барышню столь же страстно, сколько та обожала Государыню!

Все же известно, что Фанни многим нравилась.

Феодосия Петровна готова была остаться в Петербурге скромной пепиньеркой* — питомицей института. Позднее эти пепиньерки становились классными дамами. Но отец не позволил и увез дочь в смоленское имение Спасское. Дома те же «сцены», те же «выходки» неистового отца. Прежде она всегда была на стороне гонимой матери. Но теперь Фанни начинает понимать: отец

* *Pepiniere* — питомица.

благороднее, прямее матушки, которая часто притворялась, фальшивила. Все же она продолжает отца осуждать и даже решается с ним спорить. Старый Карабанов понял: нашла коса на камень, с дочерью ему не справиться и, следовательно, нужно ее поскорее выдать замуж.

У соседей бал, тот веселый и роковой бал, который решил судьбу Фанни. Описание этого празднества ей очень удалось. Это было в 1811 г., накануне великих событий. По собственному признанию, была она тогда девицей угрюмой и самолюбивой. Фанни просят сплясать *русскую*. Музыканты по ее приказу играют «*По улице, по мостовой...*» Фанни волновалась, но не осрамилась, все были в восторге, и она станцевала «на бис».

«Еще третий раз, и я застрелюсь!» — крикнул ей один из кавалеров, Николай Леонтьев. А Фанни лет через шестьдесят после этого бала записывает: «Третий раз мы не сплясали, и, на беду мою, он не застрелился» *. Запись эта зловещая. Да, он не застрелился, а женился на ней: вот в чем была беда!

На том же балу Фанни влюбилась в брата Николая Леонтьева — Петра. Он был высокого роста, строен, «глаза темно-серые, голубоватые, выражение глаз скромное, но отменно вкрадчивое, зубы и белые и ровные; волосы черные, немного вились, и танцевал он прекрасно, и пел, аккомпанируя на гитаре и на фортепьяно, был в своих манерах тих и грациозен». Красавец с медальона, с табакерки, писаный красавец! Толстой наделил бы его какой-нибудь одной резкой, может быть даже безобразной, чертой: испортил бы ему зубы или искривил бы нос. К. Леонтьев впоследствии корил Толстого за все эти некрасивые детали, которые он называл «натуралистическими мухами», а Феодосия Петровна ни на какую литературность не претендовала. Но ее кавалера можно и сейчас увидеть: на идеализированных миниатюрах Александровской эпохи. Между тем толстовские герои, одетые в мундиры 1812 г., скорее напоминают дагеротипы 50–х гг.!

Особенно хорошо выходила у них мазурка: Фанни сразу угадывала все импровизации своего кавалера в фигурах. Им обоим казалось, что они «век свой были знакомы». Никаких подробностей, только эти четыре слова, а все понятно — и сейчас, и в любую эпоху. Только что познакомились и точно «век свой были знакомы»!

«Чувство любви родилось в обоих почти одновременно и продлилось бы надолго, если бы люди тому не помешали» **. Кто и

* Русский вестник, 1883, X, 844.

** Там же, 828–830.

как помешал, мы не знаем. В другом месте Феодосия Петровна пишет: Петр был маменькин сынок и сердечкин, т. е. «бегал за женщинами». В «Войне и мире» этого слова нет, но оно часто встречается в Записных книжках князя П. А. Вяземского [4], друга Пушкина и сверстника Фанни... Может быть, не только «люди помешали», но и сам сердечкин не очень хотел сочетаться законным браком.

Такт подсказал Феодосии Петровне, что и будущему мужу нужно воздать должное: у Николая Леонтьева хотя и неправильные черты, но приятные, и он ловок в танцах, развязан в обществе. Все же очевидно: он не тот, не избранник сердца.

Свадьба состоялась 23 февраля 1812 г.

Фанни была уверена, что муж ее, по крайней мере, полковник, но оказалось, что он только отставной прапорщик, изгнанный из гвардии за какие-то шалости! Но отвращения к мужу у ней не было. Было только некоторое разочарование: и не в одном его чине, но и в другом. Все молодые Леонтьевы оказались скверно образованными, и братья, и сестры. Французский знали они плохо и мало читали. А Фанни книги любила: вскоре после замужества она перечитывает Корнеля, Расина, Вольтера, Руссо, даже Гомера, Платона. Но о политике она никакого представления не имела. Весть о наполеоновском нашествии застала ее врасплох: история неожиданно ворвалась в ее книжно-французский, дворянско-ампирный мирок. Пришлось наскоро во всем разобраться: и сразу стало очевидным, что Наполеон — это новый Чингисхан и что нужно приносить любые жертвы на алтарь отечества! Муж уезжает в действующую армию. Она за него беспокоится. Но еще больше тревожит ее судьба младшего брата Володи. Ему только 15 лет, но он уже служил в новом министерстве юстиции, под эгидой министра-поэта Ивана Ивановича Дмитриева, любившего окружать себя способными и красивыми юношами. Володя тоже хочет на войну. Он знает все ее тайны, с ним можно поплакать, он свой, родной. Именно в ту эпоху сестры часто сближались с братьями. Между тем французский Чингисхан с двунадесятью языками наступает, а беременная Фанни с семьей свекра все дальше отступает. После долгих странствований Леонтьевы задерживаются в Ростове. Оттуда ей удается уехать в старую семью, немилую, но более понятную, чем новая, леонтьевская. Брата Володю со слезами снаряжают в армию. Это всех Карабановых сближает. В отцовском имении она получает известие о том, что муж здоров и вернулся к своим. Она этому радуется, а все же не очень ей хочется возвращаться к Леонтьевым.

Прямо об этом Феодосия Петровна не говорит, но чувствуется, что с годами растет ее презрение к мужу. Она явно зло усмехается, рассказывая о том, как после 14 декабря, когда жандармы скакали по всей России, муж ее — оказался «немного попугай» (так говорила какая-то немка, и это значило — «немного испугался»!). Именно тогда Николай Борисович сжег стихи своего дяди Ф. И. Леонтьева, хотя ничего возмутительного в его писаниях не было.

Детей у Леонтьевых было шестеро: Петр, Анна, Владимир, Александр, Борис, Александра, все они родились между 1813 и 1822 гг. А средств было мало. Калужское имение с 70 душами приносило немного доходу. Муж скверно хозяйничал. И думать нельзя было о найме гувернеров, гувернанток. Феодосия Петровна делает, что может, учит детей по институтским тетрадкам.

Но все складывается к лучшему. Оказывается, что вдовствующая императрица ее не забыла, она вообще своих воспитанниц не забывала: подрастающие Мариины питомцы создавали что-то вроде «партии». Это укрепляло ее положение в царствования ее сыновей Александра I и Николая I. Старший матери побаивался, а младший ее особенно почитал, и она явно затмевала невесток —молодых императриц.

Феодосия Петровна по приглашению старой царицы едет в Москву, на коронацию (1826). С нею ее первенец, двенадцатилетний Петр, названный по имени деда (но так же звали и деверя, избранника сердца). Ей снится вещий сон: она в белой зале, на коленях покоится голова сына; у него были короткие волосы, а во сне они длинные. Вдруг появляется лев «удивительной красоты»; он медленно приближается и лижет сыну лицо и волосы, ниспадающие с ее колен.

На следующий день Феодосия Петровна с сыном едет к Марии Федоровне. На ней туалет самый скромный — белое платье персидского муслина с пунцовой вышивкой. Императрица-мать представляет ее Николаю I. Государь обласкал Леонтьеву и обещал принять сына в Пажеский корпус. Сон оказался в руку: лижущий лев — это ласковый царь. Феодосия Петровна пишет: «...я не выдержала, упала перед Императрицей на колени» и потом почти до земли поклонилась Государю*. Пусть в наше время это припадание к стопам покажется неестественным, смешным. Но в то время это был классический спектакль, в котором роль богов отводилась Романовым.

---

* Русский вестник, 1891, V, 66–72.

Умная Леонтьева хотя и становилась на колени, но отлично понимала, что не все было в порядке на Российском Олимпе. Николая I приняли в Москве холодно. Только после того, как отрекшийся Константин всенародно преклонился перед Николаем и оба брата обнялись, настроение переменилось и после коронации молодой царь «завоевал все сердца».

Греческие боги тоже имели слабости, но все-таки были богами. О них сплетничали, но им и молились. Феодосия Петровна все замечала, но и восхищалась. К тому же она была на самом деле счастлива: и как мать, устроившая сына, и как верноподданная, ставшая опять причастной миру тех богов и богинь, который она знала еще в ранней юности.

Красота этого русско-классического имперского мира навсегда заворожила воображение Константина Леонтьева, который к самому Олимпу никогда близко не подходил, но всегда им восхищался, слушая рассказы матери.

ДРУЗЬЯ МАТЕРИ

Феодосия Петровна своего вспыльчивого отца осуждала, но уродилась именно в него: часто из-за пустяков изволила гневаться. Вот надо ехать к царю представлять сына. Но от вольнонаемного лакея исходит ужасный запах. Он приложил к больному пальцу «любимое простолюдинами и самое *непозволительное* средство». Феодосия Петровна вспылила: она схватывает с головы ток, букли, бросает их на пол, кричит, что все пропало, что к приему она опоздала и т. д. «Муж и брат, видевшие виды оба, среди этой бури на цыпочках удаляются из гостиной». Но нашли другого лакея и она быстро успокоилась. Это сын рассказывает, с ее же слов, и добавляет: «Она больше была похожа на крутого и вспыльчивого мужчину» *. Можно себе представить, что с ней было, когда она изгоняла из дому чем-то провинившегося мужа, который остаток дней провел в тесном флигеле. Может быть, все это произошло в 1829 году или около этого времени. Имение оказалось разоренным, младшие дети были не устроены, сама она серьезно болела. Могли быть и другие заботы.

Нашелся добрый человек, он ей помог, и они оба сблизились. Это был соседний помещик Василий Дмитриевич Дурново **. Его портрет висел в комнате Феодосии Петровны. Сын пишет: «Аква-

---

* Там же, 66 (рассказ няни).

** Может быть, Василий Дмитриевич был сыном обер-гофмаршала Дмитрия Николаевича Дурново (1769—1834).

рель Соколова * представляет мужчину лет 30, быть может с небольшим... Он в модном светло-коричневом сюртуке 20-х гг., в золотых очках. Лицо чрезвычайно тонкое, красивое, нежное, слегка румяное; русые волосы вьются на лбу и висках, как у всех щеголей того времени, когда Байрон умирал в Миссалонгах и слава Пушкина зрела в России» **. Это русский ампирный барин.

Сохранился не только портрет его, но и записка, положенная в святое святых Феодосии Петровны — в деревянную черную урну с бронзовым распятием наверху. В ней хранились ее драгоценные сувениры. Среди них — вышитая пестрая бабочка с надписью ее рукой: emblème de m-r Dournoff и его ответ: Il l'était avant de vous avoir connu ***[5]. Больше мы ничего о нем не знаем.

До друзей же К. Леонтьева, уже в нашем столетии, доходили слухи, что он не был сыном Н. Б. Леонтьева. Их передает и Н. А. Бердяев ****.

Константин Николаевич родился в Кудинове 13 января 1831 г., через девять лет после того, как родилась Александра, младшая из шестерых детей Леонтьевых. Ничего утверждать нельзя. Но отцом мог бы быть Василий Дмитриевич Дурново...

В комнате матери висел еще один портрет — кузена отца, Ивана Сергеевича Леонтьева. Он молодой генерал — в латах, орденах и густых эполетах. Нос орлиный и, по замечанию К. Леонтьева, было в нем что-то римское. Сохранился его подарок — белая мраморная ваза, в которую опускалась горящая свеча: тогда вся комната озарялась «восхитительным романтическим полусветом», и становилась виднее надпись: Elle ne s'éteindra qu'avec la vie [6]. Это был «возглас о неугасаемом пламени дружбы» *****. Об Иване Сергеевиче Феодосия Петровна часто вспоминает. Она знала его еще в 1812 г. Он был красавец, и в него влюбилась некая София Сальден. Фанни нередко встречалась с ней в Ростове, куда Леонтьевы бежали от Наполеона. София Сальден умирала от любви к Ивану Леонтьеву, падала в обморок, всячески чудачила. Как-то ночью она бросилась на колени, прямо на мостовую, и заговорила с луной стихами:

---

* Петр Федорович Соколов (1791—1847), художник, преимущественно акварелист.

** Л IX, 43.

*** Русский вестник, 1891, IV, 101.

**** *Бердяев Н. А.*, К. Л., 11.

***** Л IX.

O lune! sensible amie des amants malheureux... *[7]

К. Леонтьев пишет, что в Кудинове сохранилось «много милых преданий» о доброте, любезности и веселой энергии Ивана Сергеевича. Он дружил с обоими родителями и рано умер, оставив жену и единственного сына. А В. Д. Дурново появился позднее, по-видимому, незадолго до рождения Константина.

Если какие-нибудь догадки здесь позволительны, то я решился бы предположить, что К. Леонтьеву могло даже импонировать, что появление его на свет было связано с какой-то тайной и что отец его не жалкий, сосланный во флигель Н. Б. Леонтьев, а другой — неведомый поэтический избранник матери. Она чувствовала себя заживо погребенной, отчаивалась, болела и вдруг ее возродила осенняя, последняя любовь. А роды были трудные, преждевременные. Константин родился на седьмом месяце.

Когда он подрастал в 30-х гг., для матери вся жизнь была в прошлом, связанном с разными драгоценными воспоминаниями. Событием были редкие наезды в Калугу или в Петербург, где еще оставались немногие друзья, связанные с ее молодостью и с миром российских богов, с императорской фамилией. В их числе была все та же покровительница, кутузовская дочь — добрейшая Анна Михайловна Хитрово, сестра Елизаветы Михайловны Тизенгаузен **, приятельницы Пушкина. И ее портрет висел в комнате матери, потрет дамы в белом чепце и с розовыми лентами. Здесь К. Леонтьев восклицает: «Да! пожилая дама с розовыми лентами! Но эта дама была и в старости своей так мила и красива, что не только на портрете, но и на самом деле эти розовые ленты к ней шли. Я ее хорошо помню» ***.

ЭРМИТАЖ В КУДИНОВЕ

Стареющая Феодосия Петровна иногда отчаивалась, а все же окончательно духом не падала, никогда не опускалась. Ее спасала от тоски та ампирная эстетика, которой она прониклась еще в ранней юности, когда училась в Екатерининском институте. В Кудинове она устроила себе маленький рай, свой эрмитаж.

Позднее К. Леонтьев вспоминает о кудиновской обстановке. «Везде у нас было щеголевато и чисто, но эта комната казалась

---

* Русский вестник, 1884, II, 707.

** Княжна Анна Михайловна Кутузова, в замужестве за генерал-майором Николаем Захаровичем Хитрово. Ее сестра, княжна Елизавета Михайловна (1783—1838), была замужем за Ф. И. Тизенгаузеном, потом за Н. Ф. Хитрово (Русский биографический словарь).

*** Л IX, 43.

мне лучше всех; в ней было нечто таинственное и малодоступное и для прислуги, и для посторонних, и даже для своей семьи. Это был кабинет моей матери <...> И, в самом деле, он был очень оригинален и мил <...> — у матери моей было сильное воображение и тонкий вкус; ей хотелось устроить себе эту комнату в виде цветной палатки, и она велела сшить широкими полосками какую-то бумажную материю: темно-зеленую, ярко-розовую и белую, и декорировала ею стены и потолок <...> Пол зимою был обит большим ковром, белым, с бархатными темно-зелеными узорами, и это было кстати и очень хорошо. Мать сумела извлечь пользу из какого-то темного чулана; над этим чуланом была лестница на антресоли: мать его уничтожила, отодвинув стену дальше в коридор; поставила там деревянные колонки, обила их полотном; велела выкрасить полотно белой масляной краской и обвила их и оклеила спирально поверх полотна таким цветным бордюром, каким оклеивают наверху обои, так что вместо темного чулана для дров в коридоре образовалась за колонками в кабинете какая-то ниша, чрезвычайно уютная и красивая. Она была неширока и вся занята вплоть до колонн одним турецким диваном; и стены этой ниши, и занавес, который можно было задергивать, и самый диван, и турецкие подушки во всю стену — все было из той же материи, как и отделка стен, и все тех же трех цветов: темно-зеленого, розового и белого. Все это было дешево (потому что мать моя была скорее бедна, чем богата); но все весело, опрятно и душисто...» Летом благоухали цветы: сирень, розы, ландыши, жасмины, а зимой пахло хорошими духами и еще каким-то курением, которое зажигалось в красных графинчиках *.

Тургенев описал бы этот intérieur короче, глаже, но это, по-барски небрежно набросанное, но и очень точное, изложение имеет свою прелесть. Художники «Мира искусства», влюбленные в наш осьмнадцатый век и в ампир, например Добужинский, смогли бы по этим записям написать прекрасные декорации. Бедность как-то даже окрыляла фантазию Феодосии Петровны, которая творила почти что «из ничего».

Где бы потом К. Леонтьев ни жил, в консульских особняках на Балканах, на скромной квартире в Москве или Варшаве, или в домике близ Оптиной Пустыни, он всегда, даже нуждаясь, создавал вокруг себя тот изящный уют, без которого он не мог жить. Даже после тайного пострига, в Троице-Сергиевской лавре, он выписывает голубую марлю для украшения своей кельи,

* Л IX, 36–38.

но материал был доставлен уже после его смерти. Красочные intérieurs, русско-усадебные или турецко-гаремные, находим и в его романах, и не очевидно ли, что его влечение к внешнему изяществу, его тонкий вкус были восприняты им от матери — кудиновской анахоретки.

Тургенев всегда несколько стеснялся своих читателей-нигилистов, когда описывал старые дворянские гнезда, а К. Леонтьев влечений и пристрастий своих никогда не стыдился. Он свято сберег поэзию той трехцветной комнаты с портретами, с классической урной, наполненной сувенирами, а также и все рассказы матери о петербургских богах и богинях. Впрочем, и ему суждено было испытать веяния времени, и он одно время считал себя «республиканцем».

МАТЬ И СЫН

Был ли младший сын, Константин, любимцем матери? Может быть. Но едва ли детство его было очень счастливое, золотое.

Как-то он упрекнул мать, что она всегда смотрела на детей сверху вниз (de haut en bas). Все ее побаивались — не только сосланный муж, но и дети, дворовые.

Комментируя ее воспоминания, сын пишет, что она была матерью суровой. О ее раздражительности я уже говорил. Она часто вспыхивала, но и сын вспыхивал тоже, и он был горяч, как мать, как дедушка Карабанов.

«Однажды (мне было уже за 20 лет) она сильно оскорбила меня. Я был влюблен, матери эта девушка не нравилась, потому что она была старше меня и, по ее мнению, лукава и нехороша собой <...> она начала даже издеваться и над наружностью, и над душевными качествами этой девушки, очень искренно и долго мной любимой». Константин сразу же вспылил:

«Вот, например, я знаю, как вы любите императрицу Марию Федоровну... И я знаю, что вы любите ее не только за добро, которое она вам сделала, но и потому, что вы выросли на монархических преданиях, потому что находите в них поэзию... Разве я когда-нибудь касался до этих чувств ваших? Разве я оскорблял их, скажите? *А мне, может быть, республика гораздо больше нравится?*»

А мать? «Мать поняла, что я прав, замолчала и застыдилась. И мне стало так жалко, когда я увидел это честное смущение красивой, энергической и мужественной, пожилой родительницы моей, что тотчас же стал целовать ее, и мы помирились».

«Конечно, я не без оснований обличил мать за ее неделикатный и бестактный гнев на тогдашний предмет моего обожания (тем более что и теперь, через 40 лет, могу сказать: девушка эта была достойна любви и уважения). Но... *республика... республика...* вот что было нестерпимо глупо» *.

Недолгое «республиканство» Леонтьева было чисто эмоциональное, эстетическое (так, ему нравились зарисовки уличных боев в Париже, в 1848 г.!). Но не это в данном случае существенно: поражает, что он говорит о матери каким-то дубовым семинарским языком. Не к лицу ему так выражаться: пожилая родительница моя, тогдашний предмет моего обожания... Может быть, не хотелось ему здесь своих сыновних чувств высказывать, и именно потому он предпочитал «изъясняться» так формально, шаблонно.

Воспоминания свои К. Леонтьев писал в старости, но сохранились и его письма к матери: он писал их из Крыма, где служил военным лекарем (1854—1857). И здесь тоже сухость и еще — раздражительность, нравоучительный тон. По-видимому, мать и сын часто друг с другом спорили; есть что-то нудносварливое в их пререканиях. Так, сын пишет, что его нисколько не возмутил «эгоизм» матери, это «просто холодность усталого и обманутого в ожиданиях сердца» **. Как это опять — книжно, и сколько раздраженного самомнения в этом психологическом «оправдании» материнского «эгоизма». «Эгоизм», по-видимому, выразился в том, что мать недостаточно заботилась о горбатой тетушке Катерине Борисовне, сестре отца. О ней мы, к сожалению, мало знаем, но чувствуется, что она племянника обожала, баловала его.

Иногда он переходит на французский язык и шутит. В этом отрывке, как-то очень уж официально испрашивая благословение матери, он, неожиданно называет ее малым ребенком, поведение которого исправится в будущем: J'espère, en retournant, Vous voir tout à fait corrigée ***[8].

Есть и нежность, настоящая нежность в некоторых письмах и та «боязнь фразы», которая ему часто мешала «выражать чувства»: «...я часто вспоминаю темную ночку, в которую я выехал от Вас, и Ваше последнее слово: adieu, mon cher! bon voyage![9] без слов, без всяких сцен... Не думайте, что я говорю фразы (Вы знаете, как я боюсь их), но я говорю от всей души. Ваши слова

* Л IX, 44–45.
** Там же, 157.
*** Там же, 166.

эти, Ваш голос, когда Вы отворили окно, до сих пор в ушах, и не знаю почему, тогда мне становится очень грустно, когда я об этом вспоминаю...» *

А в старости, рассказывая о своем участии в Крымской войне, он пишет: «Я видел из-за тысячи верст ее кисейное, серое с черными цветочками, летнее платье, благородный и суровый профиль, ее большой нос с горбинкой, ее крупную родинку с левой стороны на подбородке, ее величавую походку и задумчивый вид» **.

Современные психологи, несомненно, нашли бы у Леонтьева «эдипов комплекс» (отца не любил, в мать был «влюблен»). Но существенно другое — очевидно, что образ матери он всегда лелеял и им вдохновлялся. Без этого образа очень уж было бы ему в жизни холодно. Без этого «комплекса» ничего бы он не создал. Он нарцисс, выросший в матриархате...

На минуту отдадимся воображению. Сын возвращается с «войны» в «мир», из Крыма в калужское Кудиново. Мать долго готовилась к его приезду. При расставании не плакала, а тут не удержалась, всплакнула. Они сидят в той трехцветной комнате с заветной вазой и урной.

Благоухает драгоценное «курение». Идут обедать. И вот уже через пятьдесят минут начинается: они пикируются, спорят, уже кричат, добрая горбатенькая тетушка с трудом их успокаивает. Все-таки, сколько бы они ни ссорились, мать и сын очень хорошо, как-то подземно, друг друга понимали.

Оба горячие, часто вздорные, бестолковые, но по натуре — прямые, честные: притворяться им было физически трудно и морально противно. Едва ли у них было чувство юмора. Все же оба они не мрачные. Они могли веселиться, но только при одном условии: если можно было блистать, очаровывать!

Мать всю свою жизнь преклонялась перед небожителями, перед олимпийцами Российской империи. Сын сыздетства претворял мифологию в жизнь, искал богов и героев на Руси и на Балканах. Но и сами они были задуманы богиней и героем. Мать — Минерва, а сын самого себя воображал Ахиллесом. Об этом речь впереди...

А в других детях Феодосии Петровны ничего героического не было. Мать их тоже любила, но не сын. Он говорит в своих воспоминаниях: «Я в то время стал находить, что поэт, художник, мечтатель и т. п. (особенно желающий *сам быть* по мере сил *лично поэтичным*) *не должен иметь никаких этих* братьев, сес-

* Там же, 170.

** Там же, 215.

тер и т. д.» *. Мать — да; здесь он даже допускает отца, но не боковую родню, особенно братьев, хотя позднее он и был близок к семье брата Владимира Николаевича.

Итак, двое: мать и сын. Леонтьевы по имени, не по крови. Дочь и внук Карабанова, «размашистого» барина эпохи потемкинского рококо. Впрочем, о тайнах крови, о наследственности мы мало знаем. С большей определенностью можно говорить о традиции, о стиле. Существенно, что Константин Леонтьев считал себя отпрыском рода Карабановых. Он так гордился своим татарско-версальским предком!

Свирепый и благородный дед, о котором ему рассказывала мать, — личность полумифическая, творимая легенда, как сказали бы декаденты начала XX века (Сологуб, Белый)[10]; и мне кажется, именно семейные предания, дополненные воображением Леонтьева, позднее подсказали ему идею-образ буйно-дикого периода цветущей сложности, включавшую и дедовскую эпоху, екатерининско-потемкинское царствование («Византизм и славянство», 1871).

Феодосия Петровна прожила долгую жизнь и скончалась 76 или 77 лет, в феврале 1871 г. В последние годы жизни сына она видела редко, он жил тогда на Балканах.

ЛЮБИМЫЙ БРАТ

В воспоминаниях 1888 г. Леонтьев говорит, что в юности ему не хотелось иметь братьев и сестер... Но, судя по другим его воспоминаниям («Моя литературная судьба», 1874—1875), к одному брату он в то время был привязан.

О старших братьях Петре и Владимире я уже говорил: о них мы знаем по запискам матери, Ф. П. Леонтьевой. Следующий за ними брат — Александр (родившийся в 1819 или 1820). В леонтьевском Кудинове все его сперва любили: и мать, и сестра, и слуги, а одна из кузин его даже «обоготворяла». «И у меня он был тогда фаворитом», — пишет Леонтьев. «Я с детства любил красоту, а он был красивее всех братьев <...> Лицо у него было одно из тех милых полутатарских лиц, которых у нас так много между дворянами, но только прекрасное в своем роде». За какую-то «шалость» его исключили из Петербургского кадетского корпуса. Позднее Александр служил офицером в армейском пехотном полку. Едва оправившись после тифа, он приезжает домой: все его балуют, холят в родовом дворянском гнезде. Он был тогда «таким милым, теплым офицерчиком», вспоминает Кон-

* Там же, 99.

стантин, был тем, что называется «душа». А лет через 10–15 Александр стал «самоуверенным фатом полудурного общества в Москве и Калуге, ярмарочным и трактирным львом, игроком и щеголем, сыном почти преступным...» *. Он вымогал у родных деньги, скандалил.

Леонтьев, по-видимому, дважды изобразил его в своих романах. В «Подлипках» — он напоминает старшего брата Володи Ладнева. Другой и, кажется, более близкий литературный двойник Александра Леонтьева — это Алексей Львов в романе «От осени до осени». Алексей, как и Александр, пытается отнять имение Киреево (Кудиново) у матери, Марии Павловны Львовой (Феодосии Петровны Леонтьевой). Он оскорбляет мать непристойным намеком. Другой брат грозится выбросить его на дорогу.

«Все, слушая, дрожали. В эту минуту из коридора отворилась дверь. Мария Павловна остановилась на пороге:

“Разойдитесь сейчас же каждый к себе, — сказала она повелительно. — Чести моей защитников не нужно, а тех, кто чести своей не помнит, я сумею еще наказать. У меня есть на деревне пока рабы, которые выведут вон из дома моего извергов”» **.

Это все, что мне об Алексее Львове известно; поэтому вернемся к его возможному прототипу Александру Леонтьеву. Был он «теплым офицерчиком», потом стал «самоуверенным фатом», а еще позднее — последним забулдыгой. В 70-х гг. он — гадкий старик «с какими-то рубцами сыпей на лице, с какими-то ранами на теле, всегда без места, без денег, иногда полупьяный, всюду презираемый порядочными людьми», и все такой же самоуверенный, нераскаянный.

ХЕРУВИМ

«Я был самый младший (в семье. — *Ю. И.*) — рассказывает Леонтьев, — и меня вскоре после рождения моего изобразил <...> масляными красками крепостной художник в идеальном виде бестелесного херувима с крыльями. Когда я уже вырос и во мне уже ничего невинного и ангельского не осталось, — мать отдала этот фантастический портрет кому-то из наиболее приверженных служителей, и лет двадцать спустя я <...> нашел его у старой кухарки нашей в кухне; кухарка никак не могла удер-

* *Леонтьев К.* Моя литературная судьба // Литературное наследство, 1935, XXII, 468–470.

** Рукопись этого романа хранится в советских архивах ЦГЛА, а о содержании его мы узнаем от С. Дурылина в «Литературном наследстве» (указ. соч., 494).

жать деревенских женщин, чтобы они, входя на кухню, на этого херувима не молились» *. Леонтьев — здесь улыбается, но, конечно, анекдот этот имел для него немало прелести!

Мальчик-ангелочек промелькнет и в романе «Подлипки»; над большим креслом тетушки Солнцевой «парил крылатый херувим без тела: это был я, едва рожденный на свет...» (т. е. Володя Ладнев — двойник Леонтьева) **.

«Записки херувима» (1848—1858) — так называется вторая повесть в серии романов «Река времен». Книга эта была автором уничтожена, за исключением уже упоминавшейся повести «От осени до осени». Главный герой этих «Записок» — «херувим» Андрей Львов, военный доктор, потом консул, т. е. сам Леонтьев. Итак, этот херувимский образ был ему чем-то дорог, и он позднее развернул эту метафору в ряде повестей.

Незадолго до смерти Леонтьев постригся. Так завершился круг его земного бытия: «бывший» херувим скончался «в чине ангельском».

АНДРОГИН?

Византийские изображения ангелов отдаленно напоминают древнеэллинских гениев, облеченных в прекрасную плоть. Иногда же можно уловить в них некоторое сходство с женоподобными изваяниями Вакха, Ганимеда, Гиацинта, Нарцисса и даже Антиноя. Во всех этих богах, героях, но и ангелах тоже есть что-то от тех андрогинов, о которых говорят собеседники Сократа в «Пире» Платона.

Андрогинное начало было и у Леонтьева-херувима. Бердяев находит в нем нечто женственное наряду с резко мужскими чертами; строение его души было «муже-женственное», утверждает он ***. Здесь легко впасть в те преувеличения, которыми грешили «люди Серебряного века». Так, Мережковскому всюду грезились муже-женщины, и в Христе, и в Антихристе, и в Леонардо, и в Наполеоне! Но это не только домыслы, не только сказки, классические или декадентские.

Андрогинные черты были не только в душе, но, по-видимому, и в облике молодого Леонтьева, если судить по сохранившемуся акварельному портрету 50-х гг. **** На нем изображен женственный юноша — большеголовый, узкоплечий; а выражение

---

* Л IX, 39.

** Л I, 38.

*** *Бердяев,* указ. соч., 21.

**** Лит. насл., указ. соч., 429.

лица — зыбко-мечтательное, какое-то матовое. Это юный мечтатель романтической эпохи, которая идеализировала андрогинные типы Байрона, Шелли и Мюссе. Тот же образ пытались воплотить английские прерафаэлиты; и в плане живописном им еще менее удавалось это сделать, чем романтикам: есть что-то отталкивающе-приторное в их вымученном эклектизме.

Леонтьев понятия не имел о прерафаэлитах и обо всей этой «проблематике», но о женоподобии своем знал. В 70-х гг. он с отвращением смотрит на свое отражение в зеркале (ему было тогда года 43–44) и потом любуется своим акварельным портретом, «на котором я представлен студентом, таким юным, красивым... женоподобно-красивым, положим... но что за беда?» *

МАТРИАРХАТ

Мы уже знаем — быт в леонтьевском Кудинове был матриархальный. Тот же матриархат изображается и в больших романах Леонтьева — «Подлипки» и «В своем краю». Позднее я буду говорить о них подробнее — в связи с художественным творчеством Леонтьева. Здесь же я выделяю из этих повестей элементы, существенные для понимания его личности.

В «Подлипках» благополучно царствует вдова-помещица — Мария Николаевна Солнцева, матриарх добродушный, ленивый и несколько скуповатый. Она окружена целым двором: компаньонка Ольга Ивановна играет роль статс-дамы; а молодые небогатые дворяночки — это как бы ее фрейлины. Она их не третирует как приживальщиц, позволяет им выходить замуж по влечению сердца и даже одаряет небольшим приданым. Атмосфера в Подлипках — идиллическая. Кажется, что там «никто не страдает — все цветет и зеленеет; лай собак, пение петухов, шум ветра многозначительнее, не такие, как в других местах; мужички все, встречаясь, улыбаются, собаки знают меня», вспоминает Володя Ладнев, «и умирать там, должно быть, легче, чем где-нибудь в другом месте!» **. Это явно — вариант обломовского сна. Но педантичный Гончаров многое подчистил бы и подправил в этом ладневском сне. Так, он усомнился бы в том, что ветер может быть многозначительнее! Вообще же современники Леонтьева, и писатели и читатели, не хотели, да и не могли оценить размашисто-вольготного «импрессионизма» его писаний!

---

* Там же.

** Л I, 74.

Вероятно, работая над «Подлипками», Леонтьев мечтал вспять: выдумывал детство по своему вкусу, в богатой семье, в окружении балующих его женщин. Но, выдумывая, несомненно, включал многое из своих кудиновских воспоминаний, которые несколько стилизовал под идиллию. Мы уже знаем, Леонтьевы были бедны, часто ссорились; и как Феодосия Петровна ни любила Константина, она — и по скудости средств, и по вспыльчивости характера — не могла его так баловать, как богатая и добродушная Солнцева своего племянника — Володю Ладнева в земном раю Подлипок-Обломовки.

«В своем краю» — целых три матриархата. Самый идеальный матриарх — умная, добрая графиня Катерина Николаевна Новосильская, владетельница богатого имения Троицкое. Она радушная хозяйка, но соседей своих не слишком жалует — почти все они, провинциальные медведи и медведицы, неизмеримо ниже ее по воспитанию. Ей всегда хорошо с детьми, шумными и веселыми, и с умной молодежью, тоже шумной и веселой. Особенно выделяет она блестящего студента Милькеева, который приехал «на кондицию» учить ее сына. Дружба их платоническая; дружба матери или старшей сестры с сыном или младшим братом. Новосильская отдаленно напоминает Ласунскую в тургеневском «Рудине». Но та, хотя и очень протежирует Рудину, все же не соглашается отдать за него свою дочь. А Новосильская именно этого и хочет, однако беспокойный Милькеев, как и подобает всем леонтьевским супергероям, от брака уклоняется.

Муж давно опостылел Новосильской. Он — «ёра, забияка» из денис-давыдовской поэзии! На Кавказе он щелкнул по лбу его превосходительство и сказал: «Что, генерал, пусто?» Его за это разжаловали в солдаты. Удаль его жене сперва нравилась, но не нравились его измены, не нравилось и то, что он и ей советовал изменять... Его девиз был — vivons et laissons vivre![11] Но на самом деле жить другим он не давал, часто вспыхивал и тогда бил жену, а «таких женщин» даже выбрасывал из окна! В «людей» же стрелял дробью, а потом осыпал их деньгами *. После долгих мытарств Катерина Николаевна наконец откупилась от своего живописного и невыносимого мужа и взяла на воспитание его внебрачного сына.

Леонтьев придал Новосильской какие-то идеальные черты доброго и великого матриарха! Для своих детей она русский сахар-медович, а для Милькеева готический страсбургский собор...

---

* Л I, 330, 326, 327.

Другой матриарх в том же романе — гротескная бабушка в имении Чемоданово; «она троих мужей заела»; она дикая барыня, и вся семья ее дикая. У старшей дочери ее были «шуры-муры» с братом, и она отравила золовку, за что была до полусмерти избита братом же... * Между матриархальным раем в Троицком и матриархальным адом в Чемоданове намечен еще матриархат «среднего качества» — княгини Самбикиной.

Может быть, в романе «В своем краю» отчасти отражен быт нижегородских помещиков: Леонтьев два года (1858—1860) провел в этой губернии — в имении помещика Розена — и был в большой дружбе с его женой. Но не это существенно. Нас больше занимает вопрос —почему именно Леонтьев устанавливает и возвеличивает матриархат в разбираемых романах? По-видимому, его «андрогинная» натура искала тогда точку опоры в семьях, женщинами управляемых. Он сам, как и многие его герои, живет, движется в орбите солярно-матриархальной системы, которая позднее нарушается. В балканских романах — юноша-планета превращается в мужа-солнце, которое притягивает второстепенные «небесные тела» — друзей, слуг, возлюбленных. Так резко мужские черты в характере Леонтьева начинают развиваться за счет юношеской женственности.

В русской литературе матриархат — тема новая. В мире Тургенева центральное положение занимает возлюбленная, а не мать. У Толстого мать светит-греет в своей семье, но отца никогда не затемняет (maman в «Детстве », княжна Марья, Наташа Ростова, Долли и Китти).

Что-то вроде матриархата мы находим у Жорж Санд, которой Леонтьев так увлекается в юности. Ему очень нравился ее роман «Лукреция Флориани» **. Главная героиня, дочь простого итальянского рыбака, стала знаменитой актрисой. Дети ее — от разных возлюбленных. Своего последнего любовника — женоподобного немецкого принца Кароля — она любит почти по-матерински, как своего старшего сына. Все это молодому Леонтьеву очень импонировало, но так далеко он не идет... Его матери или тетушки — величавые матриархи. Они уже не любовницы, страсти их не волнуют. Даже для «готической» Новосильской жизнь — это медленно раскладываемый гран-пасьянс, а уж никак не игра в штос!

Есть разница и в другом. Жорж Санд бытом пренебрегает и поле психологических ее наблюдений чрезвычайно сужено: ее

---

* Там же, 373–374.

** *George Sand*. Lucrezia Floriani (1847).

преимущественно интересуют женоподобные мужчины типа Альфреда де Мюссе или Фредерика Шопена, а в придачу еще — салонные и газетные проблемы текущей жизни. Ее герои произносят страстные, но и очень шаблонные монологи или же философически декламируют. Иначе Леонтьев: его всегда влекло к чему-то мало или ничего общего с ходом рассказа не имеющему, но прелестному по неповторимости. Так, о сухорукой сказочнице Аленушке в «Подлипках» он говорит, что она «звучала с лежанки» у пылающей по вечерам печки. И тогда «все предметы получали смешанный, прыгающий, волшебно-одушевленный вид». Тургенев все это описал бы глаже, литературнее, но небрежные описания Леонтьева — живее, выразительнее. А у Жорж Санд таких отступлений от темы и фабулы нет.

МИФОЛОГИЯ

Володя Ладнев в Подлипках, как, вероятно, и Константин Леонтьев в Кудинове, упивается своими уединенными фантазиями. Его воображение питалось мифологией, в очень незначительной степени русской, народной, и более всего — классической. Все эти мифы иногда очень причудливо смешивались в его воображении. Любые вообще впечатления Володя слагает — складывает в сказку. Так, желтые пятна на ободранной стене казались ему планами имений. Или же от формы этих пятен он производил фамилии соседей-помещиков. Одно пятно было похоже на чудовище, которое испугало коней Ипполита, сына Тезеева, и поэтому владетель этого пятна-имения назывался Зверев. Собственники же имений, напоминавших колокол или сковороду, именовались Колоколов и Сковородкин...

Отрок Володя был женат и имел сорок человек детей: «Орангутангушка, Заира, Фрезочка, которая однажды утонула в Ганге, Надя...» Другой миф: мать Володи — «американская царица»: «мы ехали с ней на колеснице по берегу моря; лошади понесли — мы упали, меня унес орел (как Зевс Ганимеда! — *Ю. И.*), но потом уронил в море; здесь я, как Иона, был проглочен китом и наконец выброшенный им на берег Испании, попал как воспитанник в Подлипки» *.

Есть новизна, есть прелесть в этих бреднях Володи Ладнева, который как-то отрочески-царственно срывал цветы фантазии где попало — и из французских пересказов греческих мифов, и из уроков Закона Божьего, и с карт школьного атласа!

---

* Л I, 9, 27–28.

В XIX веке все эти довольно обычные детские фантазии не привлекали внимания романистов-«реалистов». Правда, сказочный мир Ростовых в Отрадном или молодых Толстых, веривших в Муравниных (Моравских) братьев близок мифологии Володи Ладнева. Но воображение толстовских детей беднее, чем у леонтьевских! К тому же в литературе приоритет принадлежит Леонтьеву. «Война и мир» появилась после «Подлипок». Мальчик-фантазер становится настоящим героем не в XIX, а уже в XX веке; в русской литературе, например в рассказах Федора Сологуба или в воспоминаниях Владимира Набокова.

Фольклор и география понемногу уступают место классической мифологии, с которой Володя знакомится по французским книжкам гувернантки мадам Боннэ. Подрастающий Ладнев обожествляет всех родных, знакомых. Один из соседних помещиков становится Юпитером, а тетушка-матриарх — Юноной; кузен Сережа — то Марс, то Аполлон, барышня Оленька — Венера, а мадам Боннэ — это Минерва! *

Традиционный и столь часто в русских романах того времени описанный быт является своего рода сырым материалом для фантастического мифотворчества Володи Ладнева. Бытовая барыня в накрахмаленной юбке или французская гувернантка с накладными волосами превращаются в богинь и из заснеженных Подлипок уносятся-улетают в глубь веков, в теплую Грецию и оживают там в мифах Гесиода, в эпосе Гомера! Это своего рода сюрреалистический скачок из «реализма» эпохи Тургенева и Жорж Санд в древнейшую баснословную классику! И после религиозного переворота в Салониках Леонтьев продолжает вздыхать по богам Эллады и продолжает жить мифами. Так, его восхищает сказание об Аполлоне, который под видом пастуха пас стада у Адмета, царя Фересского. К этому богу, проживающему на земле «инкогнито», он приравнивает своего alter ego Милькеева («В своем краю») и себя самого (в воспоминаниях о Крыме). Самый идеальный герой Леонтьева — консул Влагов — представляется его молодому обожателю-греку Алкивиадом («Одиссей Полихрониадес»). В. В. Розанов нашел в библиотеке «этого монаха» (т. е. Леонтьева) толстую французскую монографию об Алкивиаде. «Такого воскрешения афинизма, — пишет он, — шумных “агора” афинян, страстной борьбы партий и чудного эллинского “на ты” к богам и людям — этого я еще не видел ни у кого, как у Леонтьева!» По-видимому, книга, найденная Розановым, — это двухтомный труд Henri Houssaye. Фран-

* Там же, 27–28.

цузский историк любит блеснуть красноречием. Его Алкивиад «...joueur magnifique, duelliste invincible, sportsman renommé, arbitre de la mode, homme à beaux mots et à bonnes fortunes <...> Alcibiade n'avait qu'un seul guide, l'intérêt personnel, qu'il suivait en s'affranchissant de tout scrupule, en se mettant au-dessus de toute loi!» *[12] Все эти «пороки» Алкивиада могли восхищать Леонтьева и в монастырской келье. Его византийско-церковное христианство так никогда и не затмило в его душе языческих богов и героев древней Эллады.

Многочисленные прозвища, которых особенно много в романе «В своем краю», тоже переносят бытовых героев в какой-то другой план — в мир доморощенной мифологии. Один из двойников автора в этом романе доктор Руднев именуется Васильком, а другой — студент Милькеев — Василиском; он же — эстетик-паша с титулованием «ваше изящество»...

Замечательно, что в балканских романах Леонтьева мифология играет меньшую роль, чем в русских. На Востоке сама действительность была легендарно-эпической, тогда как в России или, по крайней мере, в русской литературе, преобладали столь ему ненавистные лишние и подпольные люди. В Эпире или в Македонии он на каждом шагу встречал настоящих геров — это были бравые и деспотичные паши и консулы, греческие патриоты, дезертиры, бандиты и монахи — как аскеты, так и авантюристы; здесь, в противоположность и России и Западу, действительность вполне соответствовала романтически-героическим идеалам Леонтьева, и ему уже незачем было тешить себя мечтами об античных или других каких-нибудь мифах и легендах. Здесь классический или, вернее, доклассический мир еще доживал свой век в македонских и албанских селениях.

ПОЛУНОЩНЫЙ ЖЕНИХ

«Был ли я религиозен по природе моей? Было ли мое воспитание православным?», — спрашивает Леонтьев уже на склоне лет **.

В Кудинове только соблюдались обряды: ездили к обедне, служили молебны и, когда полагалось, говели, исповедовались. У матери, «как у многих умных русских людей того времени, христианство принимало несколько протестантский характер», вспоминает он. То время — александровская эпоха, когда мать

---

* *Розанов В. В.* // Памяти К. Л., 171; *Houssaye Henri.* Histoire d'Alcibiade. 1874 (2-e ed.), vol. II, 435–436.

** Л IX, 21.

его была молода. Это эпоха Библейского общества и модного тогда пиетизма[13]. Даже митрополит Филарет Московский, столп православия, кое-что заимствовал у протестантских богословов для своего катехизиса[14].

«Протестантский характер» благочестия Феодосии Петровны заключался в том, что она «любила ту сторону христианства, которая выражается в нравственности», а не в строгом соблюдении обрядов. Церковно-набожных людей она называет ханжами.

«Молиться перед угловым кивотом учила меня не мать, а горбатая тетушка Екатерина Борисовна Леонтьева, отцовская сестра», — вспоминает Леонтьев *.

Когда ему было лет семь-восемь, приехала в Кудиново его шестнадцатилетняя сестра Александра, институтка. Может быть, не столько для себя, а дочери ради мать усердно молилась с нею по утрам. А Константин полудремал на трехцветном диване, за колонками кудиновского эрмитажа. «В окна с моего дивана я, не вставая, видел чистый снег куртины — безмолвную, мирную, недвижимую зимнюю красу. Я видел прививки, обернутые соломой, обнаженные яблони и большие липы двух прямых аллей» **.

За окнами белел снег вещественный, а другой снег, невещественный, из псалма Давидова, убелял душу: «Омыеши мя и паче снега убелюся». Это сестра его, оборотившись к углу, читает по книжке. Дважды вспоминает Леонтьев об этих великолепных утрах. «Много лет прошло с тех зимних дней, когда я просыпался на полосатом диване; много было и вовсе новых радостей и неожиданного горя; но эти утренние молитвы все так же живы в памяти и в сердце; много глубоких перемен совершилось в моей жизни, были тяжкие перемены в образе мыслей моих, но никогда и нигде я не забывал тех слов псалма, которые меня тогда (почему? — не знаю сам) особенно поразили и тронули...» ***

Итак, в детстве Леонтьев усваивал нравственное христианство матери и одновременно вдохновлялся христианством поэтическим... Красотой в религии, да и вне религии, он жил до самой смерти, хотя стремился и к чему-то неизмеримо большему, чем эстетика: к спасению души.

Детство Володи Ладнева в «Подлипках» тоже начинается с зимнего утра. — «На дворе чуть брезжилось; окно мое было в сад, и за ночь выпал молодой снег, покрыл куртины и сырые сучья. Если вы никогда не видели первого снега в деревне, на

* Там же, 24.

** Там же, 40.

*** Там же, 24 и 40.

липах и в яблонях вашего сада, то вы едва ли поймете то глубокое чувство одиночества, которое наполнило мою душу» *. Здесь даже слова почти те же, что и в воспоминаниях, написанных незадолго до смерти. А «Подлипки» Леонтьев начал писать еще в 50-х гг. Зима в этой повести как-то таинственно соприкасается с верой: «...что за томительный восторг охватывал мою душу», — пишет Володя Ладнев, — «когда высокий отец Василий, наполнив залу кадильным дымом, сквозь который из угла блистали наши образа, начинал звучным густым возрастающим голосом: "Се Жених грядет во полунощи!" Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поверите ли, казалось, что в самом деле идет откуда-то таинственный божественный Жених среди ночи... Раскрытая дверь темного коридора, глубокое молчание среди других комнат... самый ландшафт в огне, освещенный месяцем, зимний сад, полосы тени от деревьев по снегу, обнаженная аллея, пропадающая за недоступными сугробами, и таинственная мысль о безлюдности огромных полей...» **

Смутный поэтический образ Полунощного Жениха — это эстетика, но и этика: в конце романа Володя Ладнев не соблазняет дочь отца Василия поповну Пашу, потому что вдруг вспоминает, что по этим самым полям, «за непроходимым зимним садом, шел когда-то жених во полуночи» ***. Тогда уже юноша Ладнев свою детскую веру утерял (как и Леонтьев), а все же не осмелился осквернить «шаткой страстью этот чистый образ».

САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК

Еще одно лирическое отступление в «Подлипках», оно передает настроения не только Володи Ладнева, но, по-видимому, и самого автора, когда ему было лет 16–17: «К грусти одиночества, к страху наказания за гробом, к надежде на помощь в жизни примешивались и другие чувства. С одной стороны, память о картинах детства жила неразрывно с молитвами и надеждами; в воображении я видел тетушкин кивот с лампадой... Как вспомнишь о нем, так и потянет душу домой и на небо! <...> Любил я также иногда читать священную историю. Когда, под конец Ветхого Завета, становилось, в последних главах книжки, как-то пусто и мирно и строгие римляне были уже тут, чувство чуть слышного, едва заметного, сладкого ожидания шевелилось во мне. Заря лучшей жизни как будто ждала весь мир... И не было

* Л I, 4.

** Там же, 12.

*** Там же, 252.

еще света, а было грустно и легко. Вот родилось бедное дитя в Вифлееме... Как хорошо в этих сухих Пустынях, где растут только пальмы и где люди ходят босые в легких одеждах! Вот уже и Петр плакал ночью, когда пел петух, и я плакал с ним; все стемнело — камни рассеялись, мертвые встали из гроба и пошли в город, раздралась завеса во храме... Передо мной картинка... Христос является на минуту двум ученикам, шедшим в Эммаус. Какой-нибудь бедный городок этот Эммаус; трое небольших людей спешат из какой-то долины; на них развевается платье; сбоку скалы, а вдали куча мелких домов с плоскими крышами... Как опустело все! Точно после обеда, когда уж не жарко, войдешь в большой зеленый сад, которым никто не пользуется и где только тени деревьев становятся все длиннее и длиннее... Как будто самый близкий человек уехал из дому, из сада этого, по которому он мог бы гулять, если бы хотел. И уже начинается что-то новое, чуть брезжится... А что? И тогда не умел я сказать, не умею и теперь» *.

Это — вздох души; а изложение — предельно простое, чистое. Пейзаж бедный, как и в России. Но и какая разница: в Иерусалиме ходят не в шубах, тулупах, а в легкой одежде, которая развевается; и на душе у Володи Ладнева хотя и грустно, но легко! И не этим ли оправдывается неожиданный переход от несуровой палестинской зимы с пальмами к русскому лету с зеленым садом в «Подлипках». Это — не тургеневская декламация стихотворений в прозе. Это ближе к Чехову и отдаленно напоминает его рассказ «Студент». Там семинарист рассказывает деревенским женщинам о Гефсимании, о Петре. Но Чехов гораздо сдержаннее Леонтьева и не восклицает: как хорошо или как опустело все!

Христос после смерти своей — воскрес, а чеховский студент едва ли в это верит. Но и для Ладнева заря новой жизни только смутно брезжится — и сомнений не рассеивает, томления не разрешает, из одиночества не выводит. Все же он это сказал: Христос — самый близкий для него человек.

Позднее Леонтьев-церковник уведет Христа с русских и палестинских полей и запрет его в монастыре; искажая дух Евангелия, он будет проповедовать, что христианство — религия страха, а не религия любви. При этом он даже не заметит, что его церковничество существенным образом отличается от православия его афонских и оптинских духовников!

---

* Л I, 74.

В последние годы жизни Леонтьев, вероятно, очень строго осудил бы своего Володю Ладнева за его смутные религиозные настроения. Пусть верующие на одни свои «переживания» полагаться не могут... А все же в романтических Подлипках Христос присутствует, а в леонтьевской келье Он отсутствует.

МУЗЫКА

Христос упоминается в «Подлипках» всего три-четыре раза, но именно Он — музыкальный обертон в этой повести. От Полунощного Жениха веет тихой музыкой вечности: и эта музыка незаметно, но внятно звучит где-то на верхах — и в природе, и в быту, и в душе рассказчика — Володи Ладнева.

Основной дар Леонтьева визуальный, он колорист в литературе. Но вздохи души, настроения он передает музыкально, как мотивы; и его романы, состоящие из мало между собой связанных, красочных фрагментов, образуют одно музыкальное целое, в котором отдельные мотивы слагаются в симфонию.

Отчасти под влиянием Ницше музыка в широком и неясном значении этого слова вошла в моду у символистов. Кажется, Андрей Белый первый «обрусил» ницшевскую музыку будущего! Для Блока музыка (эпохи) была основной реальностью. Розанов говорит о музыке христианства... [15]

Между тем в русских романах XIX века это слово употреблялось преимущественно в его обычном значении. Правда, Тургенев в одном из ранних рассказов приводит выражение Байрона music of face [16] (Андрей Колосов)*. У Леонтьева же музыка покрывает самые разнообразные и трудно определимые явления — все вообще неуловимое (несказанное — как манерно выражались символисты). В тех же «Подлипках» есть «музыка дальней смерти»; в «Исповеди мужа» звучит «музыка того плача и стона, который тихо носится по сырым и горьким полям нашим». В «Египетском голубе» главный герой — другой Ладнев — хочет внести в балканскую жизнь «потрясающую музыку страстных чувств и наслежденья живой и тонкой мысли». В «Одиссее Полихрониадесе» главный герой (Одиссей) записывает: «Да! без этой дальней, бесконечно дальней, но глубокой музыки, то кротко-усладительной, то грозно звучащей где-то и откуда-то о загробном венце и загробной ужасной и нестерпимой каре — быть может и правда, что песня брака была бы скучна и суха для иных». А в воспоминаниях Леонтьев говорит о «сердечной музыке» одного из друзей, а позднее об «общепсихической музы-

* *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. (1963), V, II.

ке» в романах Толстого*. Вообще, музыка — излюбленное леонтьевское выражение, и поэтому уже оправдывается «музыкальный» подход к его творчеству.

Леонтьев всегда «пожирал» мир глазами, но многие свои живописные впечатления он претворял в настроения, в мотивы.

БАРЫШНИ

О своих отроческих увлечениях Леонтьев не рассказывает. Но мы знаем, что все его романы автобиографичны и что по ним можно воссоздать жизнь того монументального единственного героя или супергероя, который, несомненно, очень похож на настоящего Леонтьева и все же является лицом отчасти вымышленным — не только в его романах, но и в его воспоминаниях. И я пишу биографию именно этого — самим же Леонтьевым выдуманного Леонтьева!

Вернемся опять к Володе Ладневу в «Подлипках». Пятадцатого июля, когда ему было девять лет, состоялось его шуточное венчание с тринадцатилетней Верочкой, воспитанницей тетушки Солнцевой. Гувернантка мадам Боннэ украсила ее голову страусовыми перьями поверх вуали, а Володе подвязали красный пояс вместо генеральской ленты. Помещик Бек, Юпитер из Володиной мифологии, что-то громко прочел из первой попавшейся книги и потом обвел молодых вокруг «высокой рабочей корзинки». После свадьбы новобрачные и гости танцевали вальс Святополка Окаянного и мазурку Владимира Мономаха! Это была шутка все того же Бека-Юпитера, который, раскрыв «Живописного Карамзина», божественно-царственно смешал древнюю Русь с венскими и краковскими танцевальными па! Как бы понравилась эта выдумка Ростовым в Отрадном! Но они еще не родились тогда: Толстой начал писать «Войну и мир» года через два после опубликования «Подлипок».

Первая любовь явилась позднее: Володе уже четырнадцать лет и он живет уже не в матриархальном раю Подлипок, а в губернском городе, у дяди — генерала и вице-губернатора. Дядя этот строгий; из подлиповского Митрофанушки он хочет «сделать человека», но это ему не удается; чем-то он напоминает дядю Леонтьева — Владимира Петровича Карабанова, героя Отечественной войны; у него Леонтьев жил в Смоленске в 1841 г.

В губернском городе ровесница Володи Людмила Салаева пишет ему «письмо Татьяны»: «Я вас люблю, чего же боле...» И

* Л I, 249; там же, 600; Л III, 310; Л IV, 579; Л IX, 97; Л VIII, 329–330. Ср.: *Бердяев,* К. Л., 163.

Володя в нее влюбляется, но уже и тогда был он больше влюблен в самого себя. Отправляясь на свидание, он втыкает бронзовую булавку в галстук и, к негодованию дяди, самим собой любуется. Чем я не герой, думает он, — пушкинский Онегин и Родольф из «Парижских тайн» Евгения Сю?! Людмиле он позволяет за собой ухаживать. Она пишет ему переводы или немецкие спряжения, а также предупреждает об опасности со стороны соперников... Вообще же Людмила в повести не воплотилась и подобно множеству других героинь только промелькнула светлой тенью в розовом платье.

Второй роман Володи, уже не отроческий, а юношеский — с Софией Ржевской. Ее мы лучше видим, хотя все-таки мало знаем. У нее мраморный румянец, добродушные губы, крупные, почти мужские, руки. Она девица гордая и не очень увлечена Володей, хотя и целует украдкой его дагерротипное изображение. Они оба играют в поэтическую дружбу. Володя целует ей руку и говорит: «Любви, разумеется, не надо... Но вы так умны, так милы, что с вами и без любви хорошо!» *

Как все это не похоже на тургеневскую первую любовь и уж тем более на толстовское семейное счастье. У Леонтьева — нет серьезности, нет глубины; везде только легкое порхание по садам Эроса, полуневинное рококо фарфоровых петиметров и дам Осьмнадцатого Столетия! Но нет в нем и той грубости, которая иногда скрывалась под блеском Савра и Сакса. Володя фатоват, но вместе с тем мечтателен и нервен, как «Дитя века» ** позднего романтика Альфреда де Мюссе, которым он тогда очень увлекался.

Легкомыслие в стиле рококо и некоторая романтическая томность сочетались в Володе с еще одним качеством — с расчетом, с трезвостью. Он отлично знает, что нельзя рано жениться и что не следует соблазнять барышень. Но ему также хочется чего-то большего, чем вся эта милая игра с барышнями. Покупную любовь он отвергает: ему не хочется себя осквернить, загрязнить! И он расчетливо мечтает: хорошо бы немного увлечься и соблазниться, соблазнить, но так, чтобы не было никаких неприятных последствий!

ПОПОВНА

О поповне Паше мы уже кое-что знаем: она дочь того самого бедного иерея — отца Василия, который «густым, возрастаю-

* Л I, 240–241.

** *Alfred de Musset*. La confession d'un enfant du siècle (1836).

щим голосом» читал: «Се Жених грядет во полунощи...» Матриарх Подлипок — тетушка Солнцева взяла ее на воспитание, а позднее сделала своим «секретариком». «Ростом она была невелика, увальчива и бледна, но бледностью свежей, той бледностью, которая часто предшествует полному расцвету. Иногда, побегавши, поспавши, сконфузившись или просто пообедавши, она чуть-чуть зарумянивалась. Волосы у нее были светлые, как лен или как волосы деревенских детей, улыбка мирная, взгляд жалобный, усталый» *.

Этот небрежно набросанный портрет — живее, убедительнее эскизных изображений многочисленных барышень, населяющих Подлипки. Все же в душу этой поповны Леонтьев не проникает; изнутри он умеет показывать только главного героя, т. е. самого себя.

Паша появляется в самом начале романа. Володе было тогда лет двадцать, и его возбуждала «добродушная чувственность» увальчивой Паши. Вскоре она надолго исчезает, а Володя из юноши неожиданно превращается в отрока! Мы еще будем говорить о том, как время в Подлипках движется вспять! Эта игра с временем — прием совершенно новый и вполне оправданный в романе мемуарного жанра.

В эпилоге Володе опять двадцать лет. Он только что поссорился на балу с Софьей Ржевской и едет домой — в тетушкино имение. По дороге он заезжает в монастырь отслужить панихиду по родителям. «Слезы на могиле родных смягчили меня», говорит он и неожиданно добавляет: «эта близость смерти снова пробуждала жажду наслаждений» **.

С барышней Софьей не насладишься — и вот опять появляется Паша, и опять он ее и жалеет, и желает; или же романтически томится в уединении. Так в конце повести продолжается рассказ, прерванный в самом начале.

Ладнева возбуждает песня молодого краснокожего в «Атала» Шатобриана: «Je fertiliserai son sein»...[17] Увы, он не замечает всей фальши этой декламации и по-семинарски топорно переводит французскую фразу: «Я оплодотворю чрево моей милой»! ***

В парке всю ночь кричит сова и пугает Пашу. Совы в России водятся, но в данном словесном окружении она кажется взятой напрокат у ранних романтиков. Ладнев хочет сову убить, но случайно убивает совенка, и следующей ночью сова еще больше

---

* Л I, 18.

** Там же, 248.

*** Там же, 249. Vicomte de Chateaubriand (1839), vol. XVIII, p. 21.

пугает «раздирающим голосом». А Володя наспех набрасывает «шатобриановское» послание — себе самому от имени Паши! Хотя и знает, что на самом деле томится не она, а он... Видно, очень уж хотелось ему, херувиму и нарциссу, чтобы кто-то по нем томился, вздыхал...

«Как назову я тебе, брат мой, как назову я чувство, от которого млею? Я назвала бы его музыкой дальней смерти, милый мой; но рукам моим так холодно, в лицо из рощи прилетает такой оживленный воздух... Что делать, я не знаю слов! Всю ночь кричала сова в саду... Брат мой, зачем ты убил ее дитя?.. дитя еще невинно, милый брат...» *

Млею... смерть... милый мой... — все это звучит красиво, но фальшиво... И при чем тут увальчивая поповна с ее русыми косицами? Но выражение «музыка дальней смерти» невольно запоминается. В тургеневско-толстовскую эпоху так не говорили и не хотели так говорить! (Впрочем, стареющий Тургенев грешил декламацией в своих прозаических «стихотворениях».) Однако как ни беспомощна эта в то время уже старомодная проза, — все же «Подлипки» в целом пленяют музыкальностью замысла.

Володя уводит Пашу за кирпичный сарай, они одни, и никто их не видит. Его особенно волнует ее «кроткое отроческое лицо»; и позднее Леонтьев увлекался девочками-подростками, похожими на мальчиков (и в тех же «Подлипках» Володе нравились «почти мужские руки» Софии Ржевской...).

Ладнев признается, что все уже было у него заранее предрешено и аккуратно рассчитано; но ничего не происходит. И мы уже знаем — почему именно. Володя смотрит на туманные поля, по которым «шел когда-то Жених во полунощи»; и этот суровеличавый гимн заглушает в нем приторно-похотливую «песню» Шатобриана. Он так и не упился «сладострастием и страданием», не насладился «отроческим телом и мягкой душой» и отпустил Пашу с миром.

Только ли Жених помешал совратителю? — Едва ли... Могли быть и другие причины. Эрос Леонтьева и многих его героев, в том числе Ладнева-студента (в «Подлипках») и Ладнева-консула (в «Египетском голубе»), — это эрос томления, «мления», а не бурной страсти. Андрогинные леонтьевские дон-жуаны часто искушают, но редко соблазняют.

Барич Ладнев на мгновение допускает другую возможность — женитьбу. Мезальянс его не отпугивает, но мешает другое: самая мысль о браке, об отцовстве! «Страшная худоба после родов,

* Там же, 248–249.

синие жилки на поблекших руках...» — все это «безобразие» не для него... (И не потому ли он убил совенка?)*

У избалованного Володи настроения быстро меняются. Вот он вздыхает о «милой Греции», где «жрицы любви» отдавались без упреков и без разврата; а уже через минуту он мечтает стать схимником — «свободным, прозрачным, как свежий осенний день» **. Эти и другие его мечтания — незрелые, беспомощные, и автор не всегда находит для них художественное выражение. Но вся эта зыбкая романтика очень существенна для развития личности Леонтьева. Будущая тема его жизни и творчества здесь уже намечена: это пестрое чувственное язычество и черное монашеское христианство.

А Паша — любила ли она Володю? Может быть: при прощании она дарит ему вилочку из слоновой кости и горько плачет. Но, по-видимому, уже с самого начала она знала, что ничего у нее с тетушкиным племянником не выйдет и ласково-настойчиво его от себя отстраняла. Позднее она вышла замуж за мелкого чиновника, пьяницу и гитариста, и вскоре — «в родах умерла». Может быть, автору хотелось, чтобы она навсегда осталась молодой в воспоминаниях его героя, и именно поэтому он ее в романе «убивает».

Через несколько лет рано утром, после бала, Ладнев заметил в саду стелющуюся ветку с белыми цветами: «Белые цветы были чуть подернуты розовым и пахли слегка горьким миндалем, разливая и кругом этот запах на несколько шагов... Я тотчас же вспомнил Пашу: она мелькнула тоже на заре моей молодости без резких следов, но подарила меня несколькими днями самой чистой и глубокой неги и тоски» ***. Очень уж это красивое воспоминание — в стиле уже не шатобриановском, а скорее в тургеневском! Но, как мы увидим, и барчонок Ладнев, и другие леонтьевские баловни не только любовались собой, но и умели себя анализировать беспощаднее тургеневских «лишних людей».

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
Я презирал бы горько сам себя...

(1838 г.)

Это стихи Ивана Клюшникова (1811—1895), поэта довольно популярного в конце 30-х гг., но впоследствии, еще при жизни

* Там же, 253–254.

** Там же.

*** Там же, 19.

его, совершенно забытого. Он принимал участие в кружке Станкевича, и его хорошо знал Тургенев, который будто бы изобразил его в Гамлете Щигровского уезда *.

В юности Леонтьев постоянно твердил это двустишие Клюшникова; и его можно было бы поставить эпиграфом к его студенческому роману с Зинаидой Яковлевной Кононовой.

Старый Леонтьев рассказывает о ней в воспоминаниях 1888 г.: «З... меня ждала наверху, в хороших комнатах, сидя на шелку и сама в шелках... Душистая, хитрая, добрая, страстная, самолюбивая...

“Tu demandes, si je t’aime, — говорила она, — ah! je t’adore... mais non! J’aurais voulu inventer un mot...”» **[18]

Леонтьев ее «не любил», но все же был очень увлечен и в какой-то момент чуть было на ней не женился. Но мать была против: он ей противоречил, ссорился — они оба ведь были очень вспыльчивы; но все-таки от брака отказался.

«Когда за мою хитрую, но любящую З. посватался О-в, который был предводителем и гораздо старше меня, она хотела отказать и сказала мне:

“Я буду ждать тебя; кончай свой курс и скажи мне только — будешь ли ты меня через год столько же любить, сколько теперь. Я откажу ему”.

Я стоял перед нею. Ей было 25 лет; мне 23; я подумал о бедности, о детях, о спешном труде; о том, что она подурнеет скоро...»

Напомним здесь, что те же самые размышления приходили на ум и Володе Ладневу в «Подлипках»!

«Теперь люблю; но теперь нам жить нечем, а что будет через год — кто знает... Выходи за него.

Она поцеловала мою руку, ушла и тотчас же обручилась... Жених ждал уже ее в комнате ее тетки...

Я старался быть твердым, сколько мог; я решился принести жертву свободе и искусству: и сделал, конечно, хорошо, но стоило это мне таких страданий, что... совещусь и сознаться немного в этом, плакал и рыдал два часа подряд после этого, вовсе уже как ребенок или женщина...

Прибавлю к тому еще, что родные и знакомые, видевшие нашу близость с ней в течение четырех лет, думали, что она меня *провела,* qu’elle s’est joué de ce pauvre garçon [19], и очень обидно жалели меня, смотрели на меня с осторожными улыбками и во-

* Поэты 1820—1830-х гг. (1961), 480, 483–484.

** Л IX, 132.

обще целую неделю обращались со мной, как с чем-то нежным и хрупким».

Через четыре дня после обручения у них было свидание в саду. «Мы долго прощались в беседке, и она обещала мне вот что:

“Я постараюсь быть ему хорошей женой. Чем он, бедный, виноват! Но если мне станет очень трудно, я напишу тебе, и ты ответь правду — любишь ли по-прежнему или нет, — и я приеду к тебе так жить”.

Жених инстинктом влюбленного вернее всех понимал истину; он бледнел, когда *обманутый мальчик* входил в комнату, и не скрывал от нее тревог своей ревности» *.

У Зинаиды были дети, а позднее, может быть уже вдовой, она была начальницей нижегородского института: это все, что о ее судьбе известно. А небрежный скупой рассказ Леонтьева едва ли нуждается в комментариях. Его можно было бы растянуть в тургеневский или жоржсандовский роман, но у Леонтьева вышло лучше... и читателю нетрудно ведь восстановить то, что Леонтьев не договаривает, не разъясняет. Не очевидно ли, что, как бы ни было ей трудно, она уже заранее знала, что ему не напишет; и все-таки обещала написать, чтобы утешить отвергнувшего ее возлюбленного! Была «кокеткой», приманивающей «в шелку» и «на шелках», а на поверку вышло, что всем пожертвовала для любимого и облегчила ему отступление.

Образ Зинаиды мелькает во многих романах Леонтьева. Может быть, эта его «нелюбовь» была самой большой его «любовью». Или же — полюбив другую или других, он — по Клюшникову — горько презирал сам себя!

Супергерой Милькеев в романе «В своем краю» (1864) почти дословно повторяет рассказ старого Леонтьева. Но имеются в его описаниях детали, которые в воспоминаниях Леонтьева отсутствуют. Конечно, кое-что в романе могло быть выдумано, хотя Леонтьев и был слабым выдумщиком... Все же родство Зинаиды Кононовой с безымянной милькеевской возлюбленной несомненно. Вот эти существенные детали:

«Она жила в строгом доме, и постом ей не давали скоромного; она потихоньку ела раз рябчика руками... Так эти грязные руки сам съесть был готов! Она была не очень красива. Зубы были нехороши, лицо широко, нос круглый, руки большие и сухие; талия только была эфирная и глаза огромные, серые с черными бровями. Она этими глазами умела выражать все, все: и гнев, и

* Там же, 142–143.

доброту глубокую, и хритрость, и мечту... Она была старше меня двумя годами, хитра, упорна, тщеславна и старалась скрыть свое тщеславие. Так мне и в жизни, и в книгах казалось странным, что за охота любить девушек или женщин, которые очень уж молоды, у которых руки малы, лицо свежее, нос прямой... Это все не то, думал я, все не то! Не знают они, где настоящее блаженство!» *

Наконец, кое-какие черты Зинаиды мы находим у Маши Антониади, русской жены греческого негоцианта в Адрианополе (в последнем законченном романе Леонтьева «Египетский голубь», 1881): и она тоже простодушная и хитрая. Замечательно, что в понятие женской хитрости Леонтьев вкладывал какой-то особенный смысл: это и расчет, но и причудливость, затейливость; некоторая «змеиность» нрава в странном сочетании с добротой, жертвенностью. Его волновал, дразнил тип святой гетеры, женщины-змеи с душой голубки! Такие иногда нравятся женственным херувимам, нарциссам-недотрогам. Им хочется, чтобы женщина их приманивала, даже брала. Вместе с тем Леонтьев отлично знал, что ему нечего опасаться женщин; по андрогинной натуре своей он не мог сильно увлекаться; к тому же прельщавшие его «змеи» неспособны были его ужалить! А при развязке они превращались в голубей! «В дурах» всегда оказывалась добрая и даже святая гетера, а завлеченный ею херувим-нарцисс оставался в выигрыше.

Некоторое не вполне обоснованное и очень уж широкое обобщение: тургеневские героини своих возлюбленных губили, толстовские — создавали семью, рожали детей, а леонтьевские — любили играючи, хотя и очень всерьез, — и потом отпускали на волю...

ДРУГ

«Был у меня только один друг, Алексей Георгиевский. Он был тоже студент, двумя годами старше меня; сын очень бедного и многосемейного чиновника из глухого городка Боровска нашей Калужской губернии. Я его года два подряд без ума любил, но и от него я видел больше горя и оскорблений, чем радости. Он был для меня, чем был Мефистофель для Фауста. Но у него ирония и отрицание происходили не от недостатка поэзии или идеализма, а скорее от злобы на жизнь, которая не давала ему ничего» **.

* Л I, 460–461.

** Л IX, 71.

Мефистофельство Георгиевского было довольно безобидное; оно выражалось в том, что он постоянно Леонтьева поддразнивал, издевался над его барскими замашками и девичьей чувствительностью. Но товарищем он был хорошим, первые литературные успехи друга его искренно радовали.

Как и подобает «русским мальчикам», они часами говорили обо всем, но, кажется, меньше всего о медицине, которую оба изучали, а больше — «о любви и дружбе, о вере и безверии, об общих началах науки и поэзии» и, конечно, о литературе: Алексей увлекался Гоголем и едко критиковал «мелкопоместного» Тургенева, которого тогда Константин очень высоко ставил.

Леонтьев признается, что «независимый и мощный ум» Алексея «как-то подавлял меня беспрестанно». Он даже называет его «моим гениальным Георгиевским». Но через два года они разошлись. Самолюбивому Леонтьеву очень уж надоело умственное превосходство друга, опротивели его шутки-прибаутки, он его даже возненавидел и как-то резко-оскорбительно от себя отстранил. Входил сюда и расчет: Леонтьев тогда познакомился с Тургеневым и решил, что этот новый собеседник «наивысшего порядка» заменит ему придирчивого товарища. Не очень «красиво» так рассчитывать, но обиняков он не любил и, сколько бы собой ни любовался, никогда в себе ничего не прикрашивал *.

Молодой Леонтьев легко поддавался влияниям: Алексей Георгиевский и Зинаида Кононова без труда «забрали его в руки», но неожиданно он от них обоих ускользнул: отказался от любящей возлюбленной и оттолкнул хорошего товарища.

Гениальный Георгиевский оказался в жизни неудачником, лишним человеком; он отравился в 1866 г., через пятнадцатаь лет после разрыва с Леонтьевым **.

Но под именем Юрьева Георгиевский продолжает жить в романе «Подлипки», и Ладнев-Леонтьев с ним там не ссорится. Вот он «задумчиво и страстно» поет за всенощной вместе с другими гимназистами: «Слушая их из-за колонны в темном углу, я верил в ангелов уже не по привычке, а по внезапному сердечному вдохновению; скрывшись от народа, я становился на колени и не стыдился простирать руки к нему, когда октава Юрьева и нежные голоса двух мальчиков согласно покрывали все остальные и пели об этом страшном “житейском море”, которое волнуется и в которое я так бы хотел тогда безнаказанно погрузиться!.. Легче было жить тогда!..» ***

* О Георгиевском: Л IX, 92–99.

** Там же, 71.

*** Л I, 206.

А вот тот же Юрьев, паясничая, разыгрывает матриархальную тетушку, над которой Ладнев никому смеяться не позволял, но для лучшего своего друга он делает исключение. Юрьев помещает ее в ковчег, где она топает ногами на Ноя, как на старосту или камердинера, и приказывает ему ехать на Арарат: «Ну, Ной и сробел. На Арарат, говорит, так на Арарат! Он уж ныл, ныл... С тех пор и стали называть его Ной...» *

Ни этой ангельской лирики отроческого хора, ни этой веселой ерунды с ноющим Ноем, всего этого разнообразия задушевных или забавных оттенков — до Леонтьева в русской литературе не было, все это новые приемы, новые мотивы, «новый трепет»...

Барышня София Ржевская спрашивает влюбленного в нее Володю Ладнева, кого он больше любит, ее или Юрьева.

«Правду говорить?

— Разумеется, правду...

— Правду?.. Его... Разве молодая девушка может понимать то, что он понимает?.. Разве на вас можно надеяться? Заболел, подурнел, поглупел, сделал ошибку — вы и разлюбите» **.

Таких признаний герои Тургенева или Толстого, Жорж Санд или Мюссе девицам не делали; и это новый мотив.

В романе все вышло удачнее, чем в жизни: Юрьев не нудный Мефистофель, но и не «гений», а хороший друг, то задумчивый, то забавный; он не идеализируется, но все же превозносится, даже воспевается: и спетая Ладневым-Леонтьевым песня дружбы звучит сильнее, чище, чем другие мотивы, — первой любви (к Ржевской) или первой страсти (к Паше). Но самая высокая и чистая нота, прозвучавшая в «Подлипках», — это гимн небесному другу — Жениху, грядущему во полунощи.

НАРЦИСС

1

Древнегреческий миф о Нарциссе полнее всего воплотился в «Метаморфозах» Овидия Назона. Вскоре после рождения младенца старец Тирезий предсказал: он умрет, когда самого себя узнает. Это неясное предсказание исполнилось.

Молодой Нарцисс избегал влюбленных в него дев и юношей. Напрасно нимфа Эхо домогалась его любви. А один из отвергнутых им молодых людей воскликнул: «Да не изведает он радости и страсти!» Немезида вняла его молению. После утомительной

* Там же, 213.

** Там же, 221–222.

охоты Нарцисс прилег у ручья и впервые увидел свое отражение — в воде. Он не сразу понял, кто этот красавец, но тотчас же в него влюбился. Позднее, осознав всю безнадежность своего положения, Нарцисс умирает вместе со своим двойником:

> «Heu frustra dilecte puer»... «Vale!» *
> («Увы, милый отрок, тщетно любимый!..» «Прощай!»).

Опечаленные наяды, дриады и Эхо не могли найти его тела. Оно превратилось в желтый цветок с белыми лепестками. А в другом мире его тень, склоняясь над Стиксом, продолжает любоваться своим отражением. Итак, его безнадежная любовь была сильнее смерти! Есть что-то болезненное в этом сказании нежного Овидия Назона.

Мы можем увидеть Нарцисса на уцелевшей помпейской фреске: он сидит, опираясь левой рукой на камень, а в правой держит длинную трость. Фигура образует треугольник, и кажется, что эта ясная геометрия как-то разрешает темный смысл загадочного мифа. Все здесь дышит спокойствием, хотя вдали и виднеется Эрот с опущенным факелом жизни; нет той тревоги, которая чувствуется в плавной латыни поэта-изгнанника.

Данте отправляет Нарцисса в ад **.

В «Потерянном рае» Мильтона Ева, подобно Нарциссу, любуется своим отражением в водном зеркале ***.

Гете, ничего не осуждая, спокойно наблюдает и подводит итоги: «...aber der Mensch ist ein wahrer Narziss: er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter» (Wahlverwandtschaften, IV, 4) ****[20].

В XX веке очень многие литературные герои-эгоцентрики сродни Нарциссу: рассказчик, ищущий потерянное время, в эпопее Пруста или интеллектуал, утерявший веру, но сохранивший воображение, у Джойса («Портрет художника в юности»; «Улисс»). Если эти герои и не влюблены в себя, то все они мало с миром соприкасаются и только наблюдают все внешнее в процессе своего сознания.

Классичен (по описанию), но современен (по настроению) Нарцисс Поля Валери: это серебрящийся юноша у серебристой воды... Его я — неисчерпаемое (inépuisable Moi...). Так ли это существенно, что и этот Нарцисс не находит выхода из положения: он

---

* *Ovidius Naso,* Metamorphoses, III, 500–501.

** *Dante,* III Canto del Paradiso, 17–18.

*** *Milton,* Paradise Lost, Book IV.

**** *Goethe,* Wahlverwandtschaften, IV, 4.

его как будто даже и не ищет; он весь — поэзия, трепет, существо нежное, чистое и обреченное погибнуть в мире, в котором нет ни смысла, ни спасения.

L'insaisissable amour que tu me vins promettre
Passe, et dans un frisson, brise Narcisse, et fuit...

(Fragments du Narcisse) *[21].

Нарцисс исчезает, но что-то от него остается в этих стихах: дуновение поэзии, легкий трепет, и, по-видимому, только это и реально (экзистенциально) для Поля Валери.

Конечно, этот эскиз обширной темы Нарцисса не исчерпывает; но для меня лично очевидно, что это древнее сказание, в разных его вариантах, поможет нам лучше понять Леонтьева.

2

Леонтьев в детстве и в юности увлекался мифологией и, вероятно, знал миф о Нарциссе, хотя нигде о нем и не упоминает. Но он сам и те главные герои, которые его личность отражают, в этот миф вмещаются; все они Нарцисса чем-то напоминают. В них мы находим если и не самовлюбленность, то самолюбование. Каждый из них сам собою ограничен. Все это хорошо понял и хорошо выразил в экспромте друг молодого Леонтьева Алексей Георгиевский:

Ты многого не понимаешь
И многого, быть может, не поймешь!
Ты только то порядочно поешь,
Что сам в себе лишь замечаешь **.

В леонтьевском мире упиваются собою не только интеллектуальные герои, но и люди простые, греки на Крите. Так, в повести «Сфакиот» (1877) критянин Яни, только что женившийся и в свою жену влюбленный, говорит ей: «Взгляни, жасмин мой садовый, чем я не муж молодой? Полюбуйся... Лицо белое и румяное у меня, ростом кто у вас выше меня? У кого глаза синие такие, как у мужа твоего, Аргиро, несчастная твоя голова! Волосики у меня белокуры, еще понежнее твоих будут...» *** Яни шутит, но его шутка едва ли для критского новобрачного характерная, хотя и очень леонтьевская... И, наконец, едва ли можно найти эти мотивы в фольклоре сфакиотов.

---

* *Paul Valery*. Poesies (1956), 110, 116.

** Л IX, 94.

*** Л III, 4–5.

Все же несомненно, что от своего мифологического прототипа Леонтьев и герои его в чем-то очень существенном отличаются. Для Овидиева Нарцисса его отражение — чудо совершенства: он — статуя, высеченная из паросского мрамора, его глаза — звезды, кудри — как у Вакха и Аполлона, шея — из слоновой кости, щеки — мягкие, лицо — румяное, белоснежное... Он писаный красавец! Но едва ли бы он восхитил романтиков или реалистов XIX века: для первых его красота была бы слишком неодушевленной, внешней, а для вторых — слишком правильной, скучной. Леонтьев, поздний романтик и реалист на свой лад, тоже едва ли соблазнился бы этим классическим шаблоном. Как мы увидим, его красавцы иначе описаны и иначе выглядят. Но от Нарцисса они отличаются в другом отношении.

Леонтьеву могло нравиться, когда Тургенев называл его joli garçon. Он и сам знал себе цену. Но ему мало было быть «красивым мальчиком». Если он и был «самодостаточен», то не был никогда самодоволен! Он за многое себя ненавидел. Как и у его двойника в «Подлипках», его самоотрицание сильнее самоутверждения. «Омерзение, жестокое омерзение чувствовал я при одной мысли о духовной нищете моей!» — пишет герой-рассказчик в этом романе. «Мой Володя Ладнев был не таков! Он был скромно мыслящ, осторожен и тверд в делах, а на добро и защиту слабого отважен, как тигр... Конечно, он любил себя — это ничего; но он мелок не был, он был спокойно горд, под наружной небрежностью скрывал пламенную душу и высокий ум; он разумел ручья лепетанье, была ему звездная книга ясна...» (Эти строки из стихотворения Баратынского «На смерть Гете» приведены Леонтьевым в искаженном виде.) А дальше читаем: «хотя и не было у него близко морской волны (из Баратынского же!), но он умел видеть тайную жизнь везде — зеленая плесень пруда дышала перед ним» * (и это уже не Баратынский, а Леонтьев, — и очень наблюдательный, все видящий по-своему...).

Длинный монолог этот заканчивается восклицанием: «О, Володя мой! Милый Володя! Где ты?». Признание это очень беспомощное, но для молодого Леонтьева — характерное.

Классический Нарцисс хорошо знал, где его идеал: это прекрасный двойник, отраженный в зеркале речной воды. А Лад-

---

* Л I, 229–230. У Баратынского:

Ручья разумел лепетанье...
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Стихотворения (1951), 241–242.

нев еще толком не знает, чего именно ему хочется. Его идеал — невидимый, зыбкий — это трансцендентная платоническая идея или смутный романтический образ. Не нечто данное, а нечто искомое.

Пусть наш русский Нарцисс мучительно переживает разлад между идеалом и действительностью! Все же — это еще не трагедия, а блажь барича, подрастающего в атмосфере «крепостнической» идиллии, в Обломовке-Подлипках. Страдания молодого Ладнева несерьезны, преходящи, и его признания вызывают улыбку. Все же, как он ни наивен, нельзя отказать в бесстрашии — ни ему, ни автору. Они смелее, откровеннее своих кумиров — Шатробриана, Байрона, Мюссе, которые свой нарциссизм скрывали, окутывали его дымовой завесой мировой скорби!

Но именно за этот «высокий обман» современники их прославляли... Ладнев же наготы своей не прикрывает, ни во что не драпируется, не позирует; иногда самим собой по-детски любуется, но чаще беспощадно осуждает. Он по натуре своей очень правдив, искренен и только на короткое время поддается иллюзиям. Впрочем, и то сказать: эпоха мрачно-тщеславного парадного романтизма уже давно миновала, и Лермонтов уже запоздал с красивым красноречием в «Демоне», но все же позднее пересмотрел свое романтическое наследство в «Герое нашего времени».

МИМЕСИС

Если идеал не дан, а задан, то где и как его найти? И вот с самого детства Володя Ладнев ищет идеального героя для мимесиса — подражания. В отрочестве — это греческий Аполлон или римский Марс. Тогда же ему очень хотелось стать военным, чтобы походить на старшего брата. Позднее он отдает предпочтение не военным, а штатским. Новые герои «берутся» из романов: сперва это персонажи уже старомодные, полузабытые — Павел, невинный дикарь Бернардена Сен Пьера [22], несчастный любовник в «Манон Леско» аббата Прево, тоскующий Ренэ и стилизованные краснокожие Шатобриана; а позднее и более современные персонажи — женственные герои Жорж Санд (князь Кароль, Бенедикт), Мюссе (Октав — «Дитя века») и классом ниже — мелодраматический Родольф в «Парижских тайнах» Евгения Сю; из русских же — это «слабый» Онегин, но не «сильный» Печорин... Наконец — это старшие друзья или товарищи-сверстники.

Володе Ладневу очень нравился чиновник-денди, англоман Николаев. Дома он имел обыкновение «лежать на диване, в уди-

вительном халате из черной шерстяной материи, который поразил меня скромной и строгой красотой. Дым гаванской сигары наполнял комнату, и в белой руке его был Бэкон» *. Но этот идеальный русский джентльмен только промелькнул в «Подлипках»...

Позднее Володя хочет совместить в себе черты двух своих приятелей — студентов Московского университета. Один из них Яницкий (его верный прототип — друг Леонтьева Ер-в). Он «был некрасив и болезнен, но строен и ловок; глядя на профиль его, несколько африканский, на доброе выражение его одушевленного лица, на его курчавую голову, я часто вспоминал то о Пушкине, то о Онегине. Долго даже не мог я решить, кто больше Онегин, он или я... Кабинет и спальня его, казалось, были украшены женской рукой <...>

Фарфор и бронза на столе
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале...» **

Но Яницкий едва только намечен в романе. Гораздо лучше мы знаем другого приятеля Ладнева — Юрьева. Он более или менее тождествен Георгиевскому, другу Леонтьева, — его Мефистофелю, и о нем я уже не раз говорил выше.

Володя Ладнев хочет быть сразу и Яницким, и Юрьевым. «Конечно, я не так умен, как Юрьев, и не так блестящ и не так грациозен духовно, как Яницкий... что ж, тем лучше! если они выше меня на двух концах, то я полнее их... Я как лиловый цвет — смесь розового с глубоко-синим!» ***

Таких фантазий-бредней ни у кого из русских и, кажется, у западноевропейских современников Леонтьева не было. Изощренность, прихотливость его воображения в 50-х гг. уже отзывается декадентством «конца века». Ладнев и другие «нарциссы» Леонтьева доходят до крайнего и самого откровенного солипсизма [23]. В этом отношении он смелее и прежних романтиков и будущих модернистов и вместе с тем здоровее их, естественнее. Есть нервность в импрессионистическом стиле Леонтьева, но это нервность коня, мотающего головой и роющего копытом землю! Нервность неукрощенного благородного животного хороших кровей, а не распущенность позера, не манерность какой-нибудь бледной немочи!

---

* Л I, 100.

** Там же, 222–223. Евгений Онегин, гл. 1, XXIV.

*** Л, там же, 224.

Пусть оба эти студента, автор и герой, еще очень наивны и в силах своих неуверенны, как и персонажи более ранних повестей Леонтьева. Годам к тридцати он и его герои окрепнут, расправят мускулы и уже не будут восхищенно завидовать дендизму провинциальных чиновников, и уже не захотят совмещать в себе «цвета души» каких-то московских студентов. Его уже не смутит доморощенный Мефистофель-нигилист. Тяжелые испытания и сильные ощущения во время Крымской войны, консульская служба на Балканах, живописное самоуправство на Крите или в Адрианополе укрепят и разовьют Леонтьева и физически, и духовно. Возмужает и его литературный двойник Ладнев (в романе «Египетский голубь»). Оба станут достойнее самих себя, но чаемого совершенства не достигнут. Идеальный Нарцисс в леонтьевском мире так и не воплотится.

СОЛЮБОВНИКИ

Там покоился Феникс, денницы святой ожидая.
Но Ахиллес почивал внутри крепкостворчатой кущи;
И при нем возлегла полоненная им лесбиянка,
Форбаса дочь, Диомеда, румяноланитая дева.
Сын же Менетиев спал напротив; и при нем возлежала
Легкая станом Ифиса, ему Ахиллесом-героем
Данная в день, как разрушил он Скирос, град Эниея.

Это стихи из девятой песни «Илиады» в переводе Гнедича *. Почему-то именно этот отрывок особенно взволновал четырнадцатилетнего Володю Ладнева, который, сидя под цветущим кустом черемухи, «с бешеным восторгом читал Гомера... Когда я дошел до того места, где Ахиллес, оставив у себя на ночь старика Фенокса (Феникса), ложится спать с наложницей, а около Патрокла (сына Менетиева) тоже возлегает девушка, тонкая станом (легкая станом — у Гнедича), я бросил книгу» **. Кое-что автор объясняет: тут и ранняя чувственность полуотрока, полуюноши Ладнева, тут и поэтический порыв — желание «улететь мечтой» из русского быта в «святую Грецию» с ее живописными и свободными нравами... Но есть здесь и другое: Володю, по-видимому, волнует, томит то, что можно было бы назвать чувством эротического параллелизма в дружбе. Ему нужен товарищ, который всегда был бы с ним бок о бок, которого он чувствовал бы плечом, товарищ — собеседник и солюбовник. Позднее тому же Ладневу (в «Подлипках») нравилось ходить вчетвером,

* *Гнедич Н. И.* Сочинения (1956), 486.
** Л I, 77.

двумя парами; в одной Яницкий, похожий на Онегина, с возлюбленной Дашей, а во второй — «другой Онегин» (т. е. сам Ладнев) с Софией Ржевской. Казалось бы, в этой ситуации обычно ищут уединения с подругой. Но Володе нужен еще друг. Присутствие другой четы его волнует, вдохновляет. Солюбовник усиливает, удваивает страсть. Жадный леонтьевский Нарцисс чувствует за двоих: себя одного ему мало! Аппетит у него огромный.. Он пожирает других и другое — весь этот красочный мир со всеми его прелестями! В конце концов Нарцисс чудовищно разрастается и — остается в печальном одиночестве, потому что an und für sich [24] все внешнее для него не существует, оно лишь вкусное блюдо, которое он быстро заглатывает.

Леонтьев и многие его герои очень женолюбивы. Они ищут подруг — возлюбленных. Иногда это подростки вроде поповны Паши, а позднее — очень молодые гречанки, турчанки. Или же это — опытные женщины, добрые гетеры вроде Зинаиды Кононовой... Но ни к тому, ни к другому «типу» леонтьевские герои и он сам не привязываются.

Женитьба их пугает; еще смолоду Жорж Санд утвердила их в отрицании брака. Сам Леонтьев женился, но верным мужем не был. Его любимые персонажи почти все холостые. А старый муж (в «Исповеди мужа») уступает жену молодому греку-солюбовнику. Соперничество в любви Леонтьев пытался изобразить в повести «Немцы» (опубликованной под заглавием «Благодарность», 1854). Но позднее его герои редко ревнуют. Один из любимейших супергероев Леонтьева консул Благов (в романе «Одиссей Полихрониадес») ничего не имеет против флирта своего подчиненного, молодого грека, с турецкой плясуньей, которая ему самому очень нравится.

ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК?

«Когда Тургенев напечатал “Записки лишнего человека”, мне казалось, что Тургенев угадал меня, не видавши меня никогда».

Леонтьев-студент читает эту повесть в трактире «Британия» и плачет, закрываясь книгой, чтобы никто не видел его слез! Ведь в те годы он был особенно женственен, чувствителен и легко впадал в беспричинное уныние...

Мы знаем, что своему литературному двойнику Володе Ладневу он отпустил больше счастья, чем сам имел, но и ему ведь жилось неплохо. Карманных денег у него было мало, но он живет в доме богатых родственников (Н. В. Охотниковой и А. П. Карабановой). У него «три просторные, хорошо убранные комнаты в нижнем этаже, с большими окнами на Пречистенку, с особым

даже крыльцом» *. Его обожает «хитрая» и добрая Зинаида Кононова, он дружит с «гениальным» Алексеем Георгиевским, который его часто раздражает, но все же это была хорошая дружба «русских мальчиков». Чего же ему не хватало?

Все несчастья свои он явно преувеличивал и как-то по-женски нервничал. Так, одно время ему казалось, что у него развивается чахотка. Его также «разъедала рефлексия», и он очень болезненно переживал все «уколы» своему самолюбию и честолюбию Нарцисса. Он тогда «требовал от жизни многого, ждал многого...» ** и, конечно, в двадцать лет не мог требуемого и желаемого достичь. Все это — еще не трагедия...

Начало 50-х гг. в России было очень унылое, серое. Но политикой Леонтьев в то время не интересовался. Как-то Тургенев передал ему слова Герцена: Гоголь — «бессознательный революционер»... *** Но он даже не вполне уяснил значение этой фразы. Не понимал он и криптореволюционных призывов Белинского, которым тогда очень увлекался. Но, видно, как и очень многих, его подавляла скука последних лет николаевского царствования. Леонтьев писал свои воспоминания о юности в 1888 г., но даже и тогда, в пору своего «реакционерства», он осуждал бессмысленную придирчивость цензуры и разгром гуманитарных факультетов Московского университета. Все же его переживание «лишнести» в 50-х гг. — не социальное, а психологическое и — поверхностное, преходящее. Итак, юный Леонтьев — не только разочарованный Херувим и Нарцисс, не только тургеневский Лишний Человек, но и избалованный «красавчик»-любовник, способный, мыслящий юноша и старательный студент-медик. Правда, он поступил на медицинский факультет не по добровольному выбору, а из-за ограничений в приеме студентов на гуманитарные отделения, но, как мы увидим, он занимался медициной не без увлечения.

Существенно также, что уже в самом начале 50-х гг., когда Леонтьев оплакивал тургеневского Чулкатурина [25] и преувеличивал свои несчастья и неудачи, он уже начал прозревать нечто совершенно другое: «Нет ничего безусловно безнравственного», а все нравственно или безнравственно только «в эстетическом смысле... Что кому идет... Quod licet Jovi, non licet bovi!» [26]. И именно поэтому Нерон был ему «дороже и ближе Акакия Ака-

* Л IX, 123, 48. Позднее в доме Охотниковой в Москве помещалась гимназия Поливанова.

** Там же, 69.

*** Там же, 108, 111.

киевича»... * Так, еще очень смутно, уже начала тогда оформляться его эстетика. Все же в те годы был он эстетом не по убеждениям, а еще только по влечениям и вкусам.

СТУДЕНТ МЕДИЦИНЫ

В продолжение пяти лет Леонтьев изучал медицину в Московском университете (1849—1854). Он об этом времени вспоминает в своих записках 1880 г.

Леонтьеву-студенту посчастливилось. Он учился у превосходных профессоров. Среди них особенно выделялся Ф. И. Иноземцев (1802—1869); он был восточного происхождения — кажется, перс. «Капли Иноземцева» прописывались врачами и в нашем столетии... Он был «добрым и вместе с тем энергическим русским барином, с удачной примесью азиатской крови и азиатской серьезности, — или даже каким-то великодушным и благородным поэтом с берегов Инда или Евфрата, поступившим, по обстоятельствам, на коронную службу к Белому Царю». А лицо его, узкое и темное, было «приятно некрасивое и исполненное тихого достоинства», что, по мнению Леонтьева, оправдывало загадочную характеристику его тетки А. П. Карабановой: Иноземцев — «обезьяна, увенчанная короной» («Il a l'air d'un singe couronné d'un diadème») **.

Другая московская знаменитость — А. О. Овер (1804—1864), обрусевший француз, был красив, но красота его была «несколько противная — французская, холодная, сухая...». Он напоминал Леонтьеву «храброго, распорядительного и злого зуавского полковника <...> крикливого и смелого француза parvenu [27]» ***. Сравнивая этих двух менторов, Леонтьев уверяет, что даже парижанин должен был бы согласиться, что приятно-некрасивый перс Иноземцев был изящнее противно-красивого француза! Рассказывает Леонтьев и о помощнике Овера — поляке К. Я. Млодзеевском (1818—1865): он был во всех отношениях некрасив — маленький, плешивый человечек с мертвым, свинцовым лицом. Но вся эта эстетика не помешала Леонтьеву оценивать заслуги своих профессоров. *Приятный Иноземцев* был замечательным теоретиком, но лечиться лучше было у *неприятного Овера,* а *вовсе неприятный Млодзеевский* был зато изумительным педагогом и больше «давал» студентам, чем его старшие коллеги.

---

* Там же, 119–120.

** Л IX, 60, 57–58.

*** Там же, 60.

Характеристики эти — капризно-импрессионистические, но очень яркие и четкие; и вся манера описания — совершенно оригинальная: ни у кого из современных Леонтьеву писателей такого вот прихотливого своеобразия в литературно-портретной живописи не было.

Леонтьев-студент — сверстник и коллега двух литературных героев — тургеневского Базарова и своего собственного — Руднева («В своем краю», 1864). О последнем он говорит, что стремился изобразить в нем свой идеал скромного труженика, от которого, однако, всегда был очень далек.

Для Базарова в природе и в науке всегда все просто и ясно, тогда как для Леонтьева и Руднева — все и непросто, и неясно. Их привлекало в мире — сложное, богатое, туманное и яркое... Они оба поэты в медицине!

Занимался ли Базаров чем-нибудь «сверх программы» в университете? Тургенев об этом умалчивает — вероятно, по незнанию предмета, т. е. медицины. А у Леонтьева и Руднева было одно «сверхпрограммное» увлечение: это очень спорная и очень поэтическая френология того времени. Отец этой полунауки — Франц Иосиф Галль (1758—1828) пытался определить характер по черепным выпуклостям (буграм). У него в то время было немало последователей, и труды их Леонтьев и Руднев внимательно изучали (Шпурцхейма, Комба и других). Особенно увлекала их символика человеческого образа Карла Густава Каруса (1789—1869), анатома-натурфилософа, который в часы досуга занимался рисованием пейзажей *. Леонтьев был тогда его «символикой» одержим и во время лекций определял характер профессоров по «архитектуре» их черепной коробки: так, у осторожного Млодзеевского он обнаружил шишку за номером двенадцатым — шишку осмотрительности!

Земский врач Руднев, тоже по Карусу, определяет типы соседей-помещиков и неожиданно находит у них наличие «дворянской крови», породы, что, по его мнению, для антропологии чрезвычайно существенно. Базаров с ним, разумеется, не согласился бы, но едва ли бы он возражал против понятия породы в применении к собакам и свиньям! А Руднев, «перенесенный» в «Отцов и детей», конечно, оценил бы породистость Петра Кирсанова, который ничего, кроме отвращения, в Базарове не вызывает. Заметим: Руднев более «плебей», чем тургеневский герой, он — незаконный сын помещика и крестьянки; всякие «аристократы» его сперва раздражают, но при ближайшем знакомстве —

* Franz Joseph Gall, Carl Gustav Carus, J. K. Spurzheim, G. Gombe.

очаровывают! Так угодно было его творцу — Леонтьеву; но так неугодно было Тургеневу, который литературной карьеры ради легко отдает Кирсанова на растерзание Базарову, хотя втайне барину-англоману он сочувствует более, чем интеллигенту-нигилисту.

Базарова и других нигилистов — сверстников Леонтьева и Руднева восхищала несомненная для них научность теории Дарвина, но в человеческом обществе они стремились навсегда уничтожить ту жестокую борьбу за существование, которую они наблюдали в природе. Они кромсали лягушек для того, чтобы в будущем люди друг друга не резали и жили как можно дольше! Это — идеализм, хотя самое это выражение нигилисты ненавидели. Как Леонтьев ни отличался от «классического» типа нигилистов, и он тоже был идеалистом в науке. Ему хотелось найти «в *физиологической психологии* исходную точку для великого обновления человечества, для лучшего и более сообразного с "натурой" людей распределения занятий и труда». Ему тогда казалось, что со временем он укажет людям возможность «устроить общество» на прочных *физиогномических* основаниях, справедливых, незыблемых и «приятных». Главное — «*приятных!*»* Это не очень ясно, но может означать следующее: в утопии у всех человеческих особей будут приятные *физиономии!* Так или иначе, в студенческие годы он свято верил в утопическое человечество — прекрасное, здоровое и мирное. Он еще не жестокий эстет-пессимист, а добрый эстет-оптимист, как и его герой в романе «В своем краю». Но была между ними и разница в восприятии. Сердобольный Руднев и в мире фауны сочувствовал жертве, а не победителю. А Леонтьев-автор, комментируя философию этого своего героя, безо всякого сожаления и даже с каким-то упоением говорит о борьбе за существование: «...дионея схватила муху <...> полип схватил червяка и проглотил его, грубая змея задушила скульптурную серну»**. Кажется, здесь он впервые восхищается красотой борьбы, несправедливости, несовершенства. А окончательные выводы из своей новой эстетики он предоставил сделать другому alter ego в том же романе — Милькееву, который проповедует, что справедливость и совершенство убьют жизнь, уничтожат красоту — все эти яркие контрасты между грубой змеей и скульптурной серной! Так он преодолеет, изживет свой розовый научный идеализм 50-х гг.

---

* Там же, 67.

** Л I, 351.

ТУРГЕНЕВ

Молодому Леонтьеву очень хотелось познакомиться с Тургеневым. Как-то весной 1851 г., в гостях у родных, он раскрыл газету и увидел объявление: «Николай Сергеевич и Иван Сергеевич Тургеневы вызывают должников и заимодавцев скончавшейся своей матери, такой-то; дом Ламанской, на Остоженке *. Я ушел домой и на другой день утром, часов в 9, со стесненым сердцем понес мою рукопись Тургеневу».

Хотя он и узнал самого себя в Лишнем Человеке, ему очень не хотелось, чтобы его творец походил на своих скромных и жалких героев... Но он сразу же был «приятно поражен» внешностью Тургенева. «Росту он был почти огромного, широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, темно-серые, волосы у него тогда были темные, густые, как помнится, несколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка обворожительная, профиль немного груб и резок, но резок барски и прекрасно. Руки как следует красивые, “des mains soignées” [28], большие мужские руки. Ему было тогда с небольшим 30 лет. Одет на нем был темно-малиновый шелковый шлафрок и белье прекрасное. Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую внешность полюбил бы его. Я ужасно был рад, что он гораздо *героичнее* своих героев» **. Но Тургенев принял его очень хорошо и сказал «много ободрительного и лестного».

Далее — со слов общих знакомых — Леонтьев рассказывает о том впечатлении, которое он произвел на своего тогдашнего литературного кумира. Тургенев только что отказался принять какого-то армейского офицера-графомана, от рукописи которого ужасно пахло Жуковым табаком... И вот ему докладывают — пришел студент. — «Входит очень молодой человек, белокурый, в вицмундире, с треугольной шляпой и с рукописью. Говорит, что его фамилия Леонтьев, жмет мне руку, извиняется, что у него нет шпаги, потому что отдал в ней чинить что-то, и потом, ни слова больше не говоря, садится и читает. Читал он не слишком хорошо, и поэтому я предпочел сам просмотреть рукопись. И тотчас же увидал, что это совсем не то, что у офицера...» ***

По всему видно, что Леонтьев тогда очень волновался: что-то несвязное пролепетал про шпагу, хотя и отлично знал, что студенческая форма не могла интересовать Тургенева!

---

* Л IX, 77.

** Там же, 78.

*** Там же, 79.

В продолжение целого десятилетия (1851—1861) они часто встречались и переписывались. Тургенев беседует с Леонтьевым о литературе, подробно разбирает его первые литературные опыты, по собственному почину ссужает его деньгами и не советует рано жениться: «Если служить Музе, как говорили в старину, — наставляет он, — так (нужно) служить ей одной; остальное надо все приносить в жертву. Еще несчастный брак может способствовать развитию таланта, а счастливый никуда не годится...» И Леонтьев с ним соглашался: это были и его собственные мысли. Тургенев также любил восклицать: «Greift nur hinein in's volle Menschenleben» [29] (Гете)*, и это тоже Леонтьеву нравилось. Он также всячески покровительствовал своему молодому другу: как мы знаем, ему вообще очень нравилось протежировать. Его особенный, покровительственный, тон бесил Толстого и Достоевского! Но Леонтьев, тоже очень самолюбивый, этого не замечал. Позднее он разочаруется в творчестве Тургенева, но и под старость будет испытывать благодарность к своему бывшему ментору. В те мучительные для него 50-е годы, вспоминает Леонтьев, Тургенев способствовал «моему просветлению». «Он наставил и вознес меня; именно *вознес,* хотя бы только для того, чтобы *поставить на ноги*» **. Итак, творец Чулкатуриных и Колосовых вывел его из рядов лишних людей и щигровских гамлетов!

Тургенев посылает его произведения Краевскому в «Отечественные записки» и хвалит их в письмах к П. В. Анненкову. Несколько позднее, после возвращения его из орловской ссылки, они опять встречаются в московском салоне графини Салиас. Тургенев картинно полулежит на диване «и, в какой-то львиной позе, потрясая своими кудрями», говорит, что ему давно уже пора уйти из литературы (вспомним, что и впоследствии он часто говорил об этом своем «уходе»...). «“Новое слово, — тогда же вещал Тургенев, — могут сказать только двое молодых людей, от которых можно много ожидать... Лев Толстой и вот этот...” И, не меняя своей барской позы, он указал на меня просто пальцем», рассказывает старый Леонтьев и добавляет: «Я даже не покраснел и принял это лишь *как должное*» ***. Но это самомнение им же самим «вознесенного» Леонтьева уже начало Тургенева раздражать. Он писал Анненкову (10 января 1853 г.):

---

* Там же, 125, 137. См. также письмо Тургенева Леонтьеву от 11 февр. 1855 г. *Тургенев,* указ. соч., письма, II, 259, 553. *Goethe,* Faust, 1, Vorspiel auf dem Theater, 167 (Lustige Person).

** Там же, 116.

*** Там же, 134.

«Талант у него (Леонтьева. — *Ю. И.*) есть, но он весьма дрянной мальчишка, самолюбивый и исковерканный. В сладострастном упоении самим собой, в благоговении перед своим "даром", как он выражается, он далеко перещеголял полупокойного Федора Михайловича» (т. е. Достоевского, который тогда был на каторге и которого Тургенев тут очень некстати «лягнул». — *Ю. И.*). Далее он пишет: «Притом он болен и раздражительно-плаксив, как девочка» *. Характеристика эта суровая и кое в чем верная; но это приговор человеку, а не писателю: тогда еще Тургенев на самом деле верил в литературное дарование своего протеже, хотя и укорял его за «ненужное богатство задних представлений, второстепенных мыслей и намеков» (в письме от 11 февраля 1855 г.) ** и постоянно советовал ему поменьше с собой возиться. Но здесь уже Тургенев прав не был: он не понимал, что и эгоцентрику Нарциссу есть что сказать в искусстве; он также не разбирался в оригинальной стилистике Леонтьева, не оценил его импрессионизма, его умения музыкально передавать настроения и всей меткости и красочности леонтьевских описаний. Впрочем, Тургенев критиковал преимущественно ранние повести Леонтьева, написанные до «Подлипок», но и тут уже мы находим многие литературные приемы, характерные для зрелого Леонтьева.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУГИ

Поздней осенью 1851 г. Тургенев вводит Леонтьева в литературный салон графини Е. В. Салиас, писавшей под псевдонимом Евгении Тур. В ее доме он знакомится с поэтами — графиней Е. П. Ростопчиной и Н. Ф. Щербиной, с самым популярным из тогдашних московских профессоров — историком Т. Н. Грановским и с М. Н. Катковым — будущим редактором «Русского вестника», в котором он позднее сотрудничал.

Честолюбивый и даже тщеславный Леонтьев ценил влиятельные литературные знакомства, которые ему нужны были для продвижения в литературе. Но расценивал он писателей не по связям их, не по таланту, а преимущественно по наружности, по типу (как и своих профессоров-медиков). Так, ему очень понравился А. В. Сухово-Кобылин: «...очень смуглый и очень красивый брюнет, собою видный, рослый, с чрезвычайно энергичным выражением лица». А о известной его комедии «Свадьба Кречинского» он только упоминает.

---

* *Тургенев,* указ. соч., письма, II, 104.

** Там же, 259.

Молодого Леонтьева восхищали «Письма об Испании» В. П. Боткина (1810—1869), но при знакомстве автор ему «не приглянулся». «Мне стало очень досадно, зачем такой плешивый и невзрачный ездил в страну Абен-Хамета и Сида, в страну Альгамбры и боя быков! Тургенев и Сухово-Кобылин имели право там жить, но не человек с подобной наружностью...»

Двадцатилетний Леонтьев не преминул ему сразу надерзить: «Скажите, пожалуйста, Василий Петрович; но только откровенно — вы в самом деле были в Испании или нет?

Боткина так и передернуло. Он пожал плечами, взглянул сердито и воскликнул: "Какой странный вопрос!"» *.

В своих воспоминаниях Леонтьев говорит, что лет через восемь Боткин попытался ему отомстить «рукою Тургенева». Не знаю, что именно хотел он этим сказать; но П. В. Анненков в своих воспоминаниях сообщает, что Боткин резко укорял Тургенева за то, что он превозносит Леонтьева; и растерявшийся Тургенев убежал в сад сочинять эпиграмму на придирчивого Боткина... **

Невзлюбил Леонтьев и А. В. Дружинина (1824—1864), который в 50-х гг. защищал эстетику и пушкинскую традицию, тогда как Н. В. Чернышевский (1828—1889) выступал с апологией социально-обличительного направления и всего «гоголевского периода» в русской литературе. Не очевидно ли, что оба критика очень уж произвольно истолковывали и Пушкина, который «эстетом» не был, и Гоголя, который «обличителем» себя не считал... Но, казалось бы, именно Леонтьев должен был бы сочувствовать дружининским воззрениям; однако он тогда слабо разбирался в критике. Так, читая в Крыму «Очерки гоголевского периода...» Чернышевского, он думал, что автор «был в то время еще эстетик 40-х гг.» ***. А Дружинина он сразу невзлюбил: «Черты лица его были правильны и, пожалуй, красивы... Но что-то непостижимо неестественное в движениях; нечто блуждающее и крайне фальшивое в выражении глаз...» **** — все это Леонтьеву не нравилось, как и грубость, грязь, цинизм Боткина в разговоре — столь противоположные «изяществу и благородству языка его в печати».

---

* Л IX, 103–104.

** *Анненков П. В.* Литературные воспоминания (1960), 393; также *Клемон М. К.* Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева (1934), 60–62.

*** Лит. насл. XXII, 459.

**** Л IX, 113–114.

Все эти антипатии или симпатии Леонтьева, его некоторый снобизм, а иногда и просто мальчишество, дерзости чем-то напоминают поведение молодого Толстого, который в те же 50-е гг. любил «задирать» писателей и в литературных кругах имел репутацию enfant terrible; он же заявлял, что светские успехи ему были дороже литературных. И Леонтьеву хотелось блистать в свете, а в будущей своей славе он тогда не сомневался: «Не написать замечательной вещи я не могу... думал я смолоду», и все похвалы своему таланту он принимал как нечто должное. Он даже жалел тогда пожилых литераторов и профессоров, графиню Салиас или Грановского; ему казалось: «им должно быть жалко и больно, что *они не я,* что они не красивый и холостой юноша Леонтьев, доктор и поэт с таким необозримым будущим, с такой способностью внушать к себе любовь и дружбу и т. д.».

Читающая публика признала Толстого почти сразу, а «Севастопольские рассказы» прославили его на всю Россию. Между тем комплименты Тургенева, Каткова или графини Салиас были только «авансами» в счет будущих достижений многообещающего юноши Леонтьева. Тем не менее, по собственному позднейшему признанию, он жил тогда, как будто бы пресыщенный славой человек, хотя ничего еще не напечатал, «кроме двух посредственных повестей». Все вообще написанное им в 50-х гг. он в старости резко осуждал, но и тогда продолжал гордиться красивой наружностью в молодости и успехами в обществе и у женщин.

ГОГОЛЬ

Осенью 1851 г., когда Тургенев ввел своего протеже в литературные круги, Гоголь находился в Москве, но Леонтьев «не имел ни малейшего желания видеть его или быть ему представленным...». Не потому только, что «Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож», но и из-за «нерасположения» к его творчеству.

После чтения статей Белинского и, в особенности, похвал своего друга Георгиевского, который Гоголю поклонялся, Леонтьев готов был признать «вескую художественность» «Мертвых душ», но все же эта «великая поэма» его отталкивает: там изображается преимущественно «пошлая сторона жизни»; это — «гениально написанная, односторонняя, преувеличенная карикатура»; наконец, плохо, что Гоголь не умел изображать женщин: они у него или уродливы, как Коробочка, или же — это бездушные красавицы вроде Оксаны или Аннунциаты...

Тургенев, тоже Гоголя превозносивший, называл его (со слов Герцена) «бессознательным революционером»; но, как мы уже знаем, это определение вызывало в Леонтьеве одно недоумение. Он пишет в своих воспоминаниях: «...слишком многое мне в этой окружающей меня русской жизни нравилось, чтобы я мог желать в то время каких-нибудь перемен; я хотел только, чтобы помещики и чиновники были к простолюдинам добрее, и больше ничего; о *государственных* же *собственно* вопросах я и не размышлял в эти годы...»

Но кое-что в Гоголе Леонтьеву нравилось: лирические отступления в «Мертвых душах» («Тройка в эпилоге» или «могучая поэзия» Вия)*. И этот другой — поэтический Гоголь даже иначе выглядел — не в жизни, а в воображении Березина, молодого приятеля Володи Ладнева в романе «Подлипки»:

«Как, вы не знаете Гоголя? неужели?» — восклицает наивный мифотворец Березин. «Это великий поэт; это молодой человек, красавец собой, с черными кудрями до сих пор. Ни одна женщина не может устоять против него, когда он посмотрит вот так... Он теперь в самых близких отношениях с графиней Неверовской» **. Это Гоголь — Ленский, у которого «кудри черные до плеч»! Или Гоголь — похожий на тот портрет Н. В. Кукольника, который втайне «обожала» генеральша Ставрогина (в «Бесах» Достоевского)... Или же... ловелас из повести Бестужева-Марлинского![30]

Итак, Леонтьеву нравился Гоголь — романтический сказочник, а не Гоголь — «родоначальник натуральной школы».

Герой ранней леонтьевской повести «Второй брак» — молодой композитор Герсфельд — пишет оперу на сюжет «Тараса Бульбы»:

«Он уже слышал смутный, общий гул зверского рева казаков, густые звуки католического органа, самый зеленый луч, проникавший на пол сквозь зеленую стору, напоминал ему “чудо, совершенное светом”, в разноцветных стеклах...» И слышалась ему «то отвага мазурки, то степная тоска, то гик <...> то колокола, переходившие в нечто подобное тихому водному падению, из него в журчание, из журчания в шепот и восторг молитв» ***.

Это замечательное музыкально-живописное описание не более ли конгениально Гоголю, чем социально-обличительная кри-

---

* Все эти цитаты о Гоголе — в воспоминаниях Леонтьева: Л IX, 108–112.

** Л I, 91.

*** Библиотека для чтения (1860), IV, 20.

тика Чернышевского в «Очерках гоголевского периода русской литературы»! Все же несомненно, что Гоголь в целом до Леонтьева «не дошел». И в старости его отношение к гоголевскому творчеству не меняется и он отвергает «злые все-таки и сухие творения» вроде «Ревизора», «Игроков», «Мертвых душ»! Заметим, что в гоголевских «карикатурах» Леонтьев не увидел (как, впрочем, и все другие его современники) той поэзии пошлости, которую находил у Гоголя Иннокентий Анненский.

ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ ЛЕОНТЬЕВА

Первое напечатанное произведение Леонтьева — «Благодарность (или «Немцы»)» *. Рассказ этот очень беспомощный, сентиментальный. Язык — устарело-шаблонный, мелодраматический. В эпилоге все герои содрогаются, узнав о сумасшествии немца-идеалиста — бедного учителя Федора Федоровича Ангста, от которого убежала его невеста. Это литературное начинание молодого автора в 50-х гг. очень уж анахронистично, провинциально!

В очерке «Ночь на пчельнике» ** опоэтизированные и очень уж «гладкие» описания природы напоминают тургеневскую манеру в «Записках охотника». Описание событий в рассказе малоубедительно: ограбление парня, продавшего себя в рекруты, и безумие его милой — дочери пасечника Параши. Но запоминается их встреча у колодца: Параша в алом платочке, а рукава у нее синие. Парень еще ярче: на нем зеленоватая поддевка и красная рубаха (а до этого уже промелькнули мордовка в «ранжевом» наряде и слуга в белой жилетке). Здесь Леонтьев впервые упивается красками и красотой телесной. Это упоение — свободное, беззастенчивое, без тургеневского сочувствия бедным крестьянам. Пусть парень и Параша — несчастные, но прежде всего они оба молоды, красивы, страстны. Чувствуется даже, что автор завидует их молодой грубоватой красоте. Если это народничество, то чисто эстетическое, а не тенденциозно-гуманитарное. Рассказ неожиданно кончается песенкой о Полионе (Наполеоне); ее распевает пискливый хор деревенских мальчишек:

...на острове родном,
Он французом появился,

---

* Московские ведомости, 1854, № 6–10. Отзывы Леонтьева об этой повести: Л IX, 120–122.

** Там же (1857), литературный отдел. № 146. Рассказ датирован 1853 г.

Тот наш Полион,
Тот наш Полион!

Герой умер, героиня помешалась, и вдруг эта забавная песенка. Правда, этот эпилог может напомнить концовку тургеневских «Певцов», крик мальчишки: «Тебя тетя высечь хочи-ит!» * Но у Леонтьева «трагическое» как-то неожиданнее и резче сменяется «комическим».

«Лето на хуторе» ** возрождает жанр сентиментальной пасторали и когда? — в эпоху нарождения нигилизма и уже после появления «Детства и отрочества» Толстого! Но существенно, что в этой повести намечается главная тема зрелого Леонтьева — красота.

Главный герой — добродетельный молодой человек Васильков; он преподает латынь в гимназии и с упоением читает Гомера, Катулла, Горация. Его вдохновляет все прекрасное, но сам он некрасив, и это его удручает. Васильков влюбляется в красивую смышленую Машу, дочь деревенского портного. Она жила у господ в Москве, переняла у них кое-какие «манеры» и уже имела немало поклонников. Один из них — молодой помещик Непреклонный, легкомысленный и обольстительный красавец. С опозданием на два десятилетия он поклоняется Байрону... Маша, однако, им не обольщается и даже высмеивает его в этих забавных малограмотных стихах:

В понедельник я влюбился,
Весь авторник прострадал,
В середу в любви открылся,
А в четверг ответа ждал...

Непреклонный начинает «интригу»: он приглашает к себе Василькова и говорит ему, что находится в связи с Машей. Все же Непреклонному не удается ее оклеветать, и позднее он в своих кознях раскаивается. Васильков женится на Маше, поселяется с ней за городом и пишет «трилогию во вкусе XVIII века». Там простонародная Маша является в образе классической пасторальной гречанки. У добродетельных идиллических Васильковых рождается сын. Неожиданно его называют Дмитрием — в честь Непреклонного, т. е. в честь Красоты, которая склоняла к пороку, но вовремя покаялась.

---

* *Тургенев*, указ. соч., IV, 244.

** Отечеств. записки, 1855, V, 3–70. Отзывы Леонтьева об этом рассказе: Л IX, 136–137.

Позднее, в Крыму, Леонтьев написал комедию «Трудные дни» *. И здесь некоторая наивность, но нет шаблонности. Место действия — губернский город. Помещик Непрядов — тип современного интеллигента; человек он честный, но нудный. Он хочет жениться на молодой вдове Александре Петровне (Саше). Но ей с Непрядовым скучновато. После смерти старого мужа ей «жить хочется» и она кокетничает с петербургским гостем Зарайским, товарищем Непрядова. Этот молодой человек — персонаж, едва в комедии намеченный. Он жених Ольги Непрядовой, сестры главного героя. Ольга — красивая грубоватая барышня — личность незаурядная, яркая. У Ольги тайна — она *пала* в объятиях светского обольстителя. Другое, еще более яркое, лицо — сварливая бабка Непрядовых — барыня-баба. Она постоянно напоминает внукам, что десять месяцев вынашивала их покойную мать и поэтому право имеет резать правду-матку. Внучку она постоянно ругает, порывается даже бить ее, а внука корит за то, что он из-за каких-то своих дурацких принципов хочет сообщить жениху Зарайскому о тайне сестры, порочащей честь их семейства. Но Зарайский все узнает от городских сплетников. Последняя сцена очень шумная. Ольга уже больше не хитрит, она объявляет жениху, что сплетня не клевета, а истина, и тут же от него отказывается. Бабка сперва бранится, а потом плачет: ей стало жаль внучку, она ведь по-своему ее любит. Внучка же жалеет бабку, и они обе уезжают от нудного брата. Он вялый, лимфатичный интеллигент, а они хотя и бабы по характеру, по манерам, но зато в их жилах течет не лимфа, а кровь. Заметим: грубость и вместе с тем живость этих героинь — не тургеневская черта. Это скорее напоминает Писемского — и его молодой Леонтьев очень ценил, а позднее отдавал ему предпочтение перед Тургеневым. Неясно, что именно хотел Леонтьев сказать в своей комедии, но очевидно, что художественная правда в «Трудных днях» на стороне тех двух «злых баб» — бабушки и внучки.

Леонтьевская комедия передает статичность обыденной жизни, как и комедия Тургенева «Месяц в деревне» (1850). Это тоже повесть, переписанная для сцены, но у Леонтьева монологи короче и у него меньше «психологии». Такие комедии в то время казались не сценичными. Но после чеховской драматургии вопрос о несценичности Тургенева был пересмотрен. «Месяц в деревне» был с успехом разыгран в Художественном театре [31]. Можно было бы поставить и леонтьевские «Трудные дни». Но едва

* Отечеств. записки, 1858, 9, 105–158.

ли нужно показывать эту комедию в стиле тургеневской и чеховской постановок МХАТа, стремившегося передать атмосферу — настроения будничной жизни. В «Трудных днях» есть статика, но есть и другое — элементы гротеска, и, мне кажется, актеры могли бы подчеркнуть гротескные черты обоих сумасбродов — бабки и внучки.

«Сутки в ауле Биюк-Дорте» * — первый *южный* рассказ Леонтьева. Помещик-ополченец Муратов — «человек честный», замечает автор; и «без этого он не будет иметь права ни мечтать, ни грустить». Все это говорится всерьез, безо всякой иронии. Только в этом леонтьевском рассказе чувствуется веяние времени — 50-х гг. По собственному признанию, он сам был тогда честным интеллигентом и со слезами на глазах читал тургеневский «Дневник лишнего человека».

Муратов рачительный хозяин. Его жена Лиза во всем старается ему угождать: хочет быть Руфью нового Вооза [32] и вместе с тем передовой женщиной; а «в ласках, расточаемых мужу, (она) старалась напомнить ему страстные берега Средиземного моря» (!). Из честности, патриотизма, но отчасти и со скуки Муратов поступает в ополчение и отправляется воевать. Вторая часть рассказа заполнена сценами из армейской жизни в крымском ауле. Офицеры и местные жители рассказывают разные истории, пьют, веселятся, ссорятся. Вся эта обыденщина раздражает задумчивого, неприкаянного Муратова. Он нигде не находит ключа «живой воды» — живой жизни и превращается в лишнего человека... Повесть не имеет костяка — это незаконченный эскиз, коллекция снимков с натуры и философических комментариев. Может быть, ему хотелось написать произведение в новом духе — натуралистический и психологический рассказ-очерк... Позднее Леонтьев очень сурово отзывался о своих ранних повестях (написанных до «Подлипок»), и в 70-х и 80-х гг. он совсем иначе описывал свои крымские впечатления. У его нового автобиографического героя, молодого военного врача, есть «лихость», рефлексия его не разъедает, он уже не лишний человек... Весьма возможно, что Леонтьев 50-х гг. проектировал себя в герое вроде Муратова. Последний леонтьевский честный интеллигент — это Руднев («В своем краю»), скромный земский врач, мечтающий о семейном счастье в деревне. Руднев несколько напоминает учителя Василькова («Лето на хуторе»). Между тем другой герой, Милькеев, похож на соперника Василькова — на байронического Непреклонного. В том наивном рассказе Непреклонный

* Отечеств. записки, 1858, 7.

представляет Красоту, а Васильков — Добро, и спор между этими двумя символами продолжается в романе «В своем краю», но там Красота почти побеждает Добро, а позднее, с конца 60-х гг., окончательно торжествует в его консульских очерках, рассказах, романах.

Леонтьев писал и стихи, но они никогда опубликованы не были. Свою поэму, написаную гекзаметрами, он послал Тургеневу. Тот ответил ему длинным письмом с указанием допущенных им в этом размере ошибок *. Тургенев, однако, сам имел слабое представление о русском гекзаметре; он неверно расставлял ударения в своих версификационных схемах. О леонтьевской же поэме нельзя судить по нескольким сохранившимся строчкам. Более зрелое произведение молодого Леонтьева — повесть «Второй брак» **. Главный герой — Герсфельд, сын немца-помещика, музыкант, мечтающий о славе, он хочет написать оперу «Тарас Бульба» (см. выше). Герсфельд знакомится с богатой вдовой Додо Бобруйской, она становится его возлюбленной, и позднее он на ней женится.

Герсфельд уже не лишний человек, это первый леонтьевский супергерой, молодой честолюбец, красивый Нарцисс. После сближения с Додо им овладел «дух незлобного ободрения и смеющейся отваги», ему все хотелось играть «что-нибудь мягкое, танцующее, танцевальное» ***. Это его радует, вдохновляет, а эротика-страсть «только сбивала бы его со строго начертанной дороги». Ему нужна была «жена богатая, любовница покойная и добрая...» Додо-Дуня этому его идеалу отвечает, она мечтает о том, как выйдет к мужу и скажет ему: «Я раба твоя...» ****

В год опубликования «Второго брака» (1860) появилась и тургеневская «Первая любовь». Какие это разные вещи! Леонтьевская повесть не похожа и на толстовское «Семейное счастье» (1859). Мало было тогда в русской литературе таких вот героев-честолюбцев. Герсфельд Леонтьева и Калинников Писемского (в романе «Тысяча душ» (1858)) — скорее исключения.

Герсфельд и Додо описаны четко, но они «не живут»; в повести нет глубины, нет «воздуха»; и позднее Леонтьев оживлял преимущественно своих супергероев, но при этом он научился со-

---

* Письмо от 12 июня 1851 г. Л IX, 84–88. *Тургенев,* указ. соч., письма, II, 25–20, 420–421. Другие стихотворения Леонтьева хранятся в архиве ЦГЛА.

** Библиотека для чтения, 1860, IV.

*** Там же, 22.

**** Там же, 35, 46.

здавать и атмосферу — в особенности южную, балканскую. Ему также удавалось заострять повести парадоксами своей хищной эстетики. Все же можно сказать, что во «Втором браке» Леонтьев нашел своего героя и наметил главную свою тему.

ВОЕННЫЙ ЛЕКАРЬ

1

В 1854 г. Леонтьев выходит с четвертого курса медицинского факультета и летом уезжает в Крым, где в продолжение двух лет служит младшим ординатором — военным лекарем (до октября 1856 г.). Одновременно с ним в Крымской кампании участвовал и молодой Толстой, офицер артиллерии. Они тогда знакомы не были, но Леонтьев уже читал «Детство» и, вероятно, другие произведения Толстого.

Один из старших братьев (вероятно, Владимир) отговаривает Константина ехать на войну: «Как ты с твоим человеколюбием, с твоей гуманностью, — писал он, — будешь неприготовленный лечить людей <...> делать ампутации...» * Но литературные друзья его решение одобрили: Катков ему говорил: в Крыму вы «окуритесь порохом, поживете широкой действительной жизнью...». А Тургенев восклицал: «Смелей бросайтесь в жизнь! Смелей! <...> оставьте разбор себя...» и опять цитировал Гете: Greift nur hinein in's volle Menschenleben! **

В Крыму молодому лекарю сразу же пришлось резать раненых. В первую зиму 1854/55 г. он сделал семь ампутаций: «из этих людей трое умерло, а четверо ушли домой здоровые; эта пропорция для воздуха тесных больниц и изнуренных скорбутом, ранами и лихорадками людей — очень хорошая. Большего и не требует никто» ***. Сперва, вспоминает он, «немного дрожала рука», страшно было вонзать нож в ляжку, смотреть на умоляющие или спокойно-печальные лица солдат. И все же какое это было для него счастье — жить в Крыму! Он сразу и навсегда влюбляется в юг. Все его восхищает — не только красивые армянки и гречанки, но и бедные татарские селения; он даже готов любить своих преуспевающих сослуживцев-взяточников, хотя сам и отличался безукоризненной честностью и отнюдь не преуспевал: жалованье было у него маленькое, матери нечем было ему помочь и денег — всегда не хватало!

---

* Л IX, 141.

** Там же, 137.

*** Там же, 146.

Леонтьев в Крыму уже приближается к тому своему автоидеалу, который только смутно грезился Володе Ладневу в «Подлипках». Наконец он живет полной жизнью, которую «стоит выражать хорошими стихами» *. Но поэзия жизни важнее ее «*литературных отражений*»: иначе говоря — жизнь ему дороже искусства. И все ему в те годы удавалось, если измерять бытие леонтьевской же эстетической мерой, если ценить не только счастье, красоту, но и несчастья, уродство, не только свет, но и тень, и в особенности *игру светотени!* А искусство? Конечно, он не совершил того, что мог бы совершить; все же — как-то походя, очень небрежно он создал позднее свой оригинальный стиль; и один из лучших образцов этого стиля — его крымские воспоминания 1887—1888 гг.

Военный лекарь Леонтьев — тоже Нарцисс, но не бледный, болезненный, а поздоровевший, румяный! Это уже не тургеневский лишний человек, а человек нужный... Он и людей лечит, и с людьми ладит; а также жизнью наслаждается и самим собой любуется; наконец, он усиливает читательский аппетит к жизни в своих метких импрессионистических воспоминаниях! Особенно удалось ему описание взятия Керчи в мае 1855 г. Казацкие обозы уже покидают город, а военный лекарь сидит на балконе гостиницы, плотно закусывает и мечтает: хорошо, если бы сейчас разразился бой; а я буду «взирать, ничуть и сам не избегая опасности, на эту внезапно развернувшуюся на интересном месте страницу из современной истории...

Сижу и думаю — философ! Не боюсь — стоик! Курю — эпикуреец» **.

Как эти откровенно-вызывающие и блаженно-счастливые признания не похожи на русскую литературу того времени с ее уязвленной совестью... Это скорее напоминает Стендаля, которого Леонтьев едва ли когда-нибудь читал.

Мимо на перекладной быстро промчался генерал Врангель и сразу же все заметил и запомнил! Через месяц Леонтьев явился к нему за авансом на обмундирование. Генерал сказал штабскому офицеру:

«Вообразите, в городе все вверх дном... Я еду на Павловскую батарею, а он сидит с сигарой на балконе и барином пьет кофе! Вот и потерял платье» ***. Леонтьева же здесь все явно восхищает — и его сибаритство в минуту опасности, и отеческое рас-

* Там же, 198.

** Там же, 204.

*** Там же, 207.

пекание генерала, который, может быть, втайне и одобрял поведение молодого лекаря, и деньги на экипировку велел ему выдать.

Из Керчи Леонтьев выступает вместе с казаками. По какому-то внезапному наитию, в упоении властью, он вдруг приказывает им поймать и зарезать овцу из стада испанского почетного консула.

«Ну, что смотришь, брат! Бери, чего зевать! У Багера много... Теперь война. Ведь нам тоже есть надо...» *

Не анархический ли это призыв в духе Прудона, который успел уже изумить мир афоризмом: «Собственность есть воровство!» (1840 год)? А Бакунин уже пытался применять анархические принципы на практике — в 1848 г. Но молодой Леонтьев слабо разбирался в политических идеологиях. Воспоминания же писал старый Леонтьев — «реакционер» по воззрениям, но не анархист ли по натуре своей?! Впрочем, в этом веселом самоуправстве было больше молодечества, чем «политики»!

Солдаты тотчас же исполнили приказание лекаря, а казацкие офицеры, пожирая баранину, посмеивались: доктор наш вообразил, что «теперь можно брать пищу у достаточных людей даром, когда нужно, и кончено!».

Поражает цепкость леонтьевской памяти и его любовь к мелочам, без которой для него нет поэзии жизни. Это особенного рода «реализм» — не придирчивый, обличительный, а упоительный — от щедрости! Ему все хочется вспомнить, чтобы опять насладиться потерянным было и снова найденным временем! Какая-то скомканная тряпка на дне кувшина — и та ему нужна для полноты счастья! Но нужны и события. Вот подрались на улице — белокурый, стройный денщик и косматый грек, у которого борода росла чуть ли не из-под самых глаз. Денщик пленил его красотой, но было ему жалко и побитого грека. А если бы тот же грек — размышляет Леонтьев — лежал перед ним на операционном столе, то он не ощутил бы жалости: доктора лечат, но не жалеют... Однако и это почему-то хорошо: все в жизни чем-то загадочно и неизменно упоительно.

Иногда экстаз молодости он передает ритмической прозой: «Природа и война! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя ** и чистое небо! Жаворонки, это жаворонки — опасность и подвиги!». В большой дозе такая «поэзия в прозе» была бы нестерпима, но она только кое-где вкраплена в повествование.

---

* Там же, 222.

** Там же, 218.

Еще раз напомним: крымские очерки Леонтьев писал в старости — мечтая вспять о минувшей молодости. Между тем в письмах к матери 1854—1855 гг. он те же события, хотя бы взятие Керчи, описывает протокольно-сухо и жалуется на однообразие военной жизни... Но это для нас мало существенно. Я уже говорил, что пытаюсь воссоздать образ единого Леонтьева — т. е. главного литературного героя леонтьевских повестей и воспоминаний. Но, конечно, при этом следует принимать во внимание и датировку тех или других записей, что я и делаю.

Толстой в то же самое время воевал в Севастополе и позднее войну в своих «Севастопольских рассказах» развенчивал. Конечно, опыт у них был разный: один был «в деле», а другой лечил в тылу. То ли бы запел Леонтьев на Малаховом кургане, — может быть, спросят скептически настроенные читатели. Возможно, что — то же самое. Трусом он не был. В тот критический момент перед взятием Керчи Тургенев, например, едва ли бы сибаритствовал в кофейне! К тому же Леонтьев знал и поэзию войны, и ее прозу — в госпиталях. Толстой как-то посетил полевой лазарет и ужаснулся: там было страшнее, чем на редутах...

Отношение же к военным событиям у них было совершенно разное: Толстой искал правду, а Леонтьев — красоту.

2

Странные мечтания волновали тогда молодого Леонтьева: в Керчи ему вдруг очень захотелось попасть в плен! Это не трусость и не измена, а только — настроения: «Хорошо, если бы свезли меня “на казенный счет” в Царьград, потом в Париж, где не только Нотр-Дам, но и “Jardin des Plantes”[33] с обезьянами, которых я так люблю!» В плену же он мечтает написать роман «Война и Юг», но героем его будет не какой-нибудь военный лекарь в длиннополом вицмундире, а молоденький гусар-шатен, очень похожий на него самого, — несколько женоподобный, но и храбрый «в деле» *.

Был написан другой роман — «Война и мир»! И, несомненно, Толстой в какой-то степени использовал там свой военный опыт во время Крымской кампании. А роман «Война и Юг» написан не был: имеются только разрозненные записи на эту тему, сотня страниц в очерках «Мои дела с Тургеневым» (1888) и «Сдача Керчи в 1885 г.» (1887).

---

* Там же, 213–214.

Мечты о французском плене сменяются еще более страстными мечтами об английском плене... Леонтьев — как «очарованный» — смотрит на неприятельское судно, на «англичанина» и пожирает врага «глазами и душой». Ему кажется, что в тот же самый момент и на него глядят разные Джемсы, Джоны, Вальтеры, и все они ему «так дороги, так милы и близки по романам Диккенса и Вальтер-Скотта». «Быть может, они в красных мундирах... такие красивые; молодые, как я... влюблены!» * Как будто и тут проглядывает то же самое влечение к солюбовнику, что и в «Подлипках», где Володю Ладнева так восхищали Ахиллес и Патрокл с их возлюбленными (в «Илиаде»).

Толстой войну осудил, но о плене никогда не мечтал... А Леонтьев, писавший эти воспоминания уже в пору своего позднейшего «реакционерства», как-то очень легко отделывается от того, что называется изменой родине. «Если честь утратил, — приобрети *славу*, и все простится», вспоминает он афоризм, который «великий Гете где-то, кажется, сказал», и оправдывает им свое мечтательное пораженчество! **

Был ли вообще Леонтьев-монархист чьим-то верноподданым? Или дрожащим рабом Божиим — как он позднее постоянно утверждал? Духовно он жил на свободе, которая не снилась и анархистам, разве что Бакунину... Но эта свобода не для всех, а только для него, великого честолюбца, претендента на какой-то трон... Таким он представляется Розанову: «С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь “в мать-кормилицу-широку-степь”, во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или “голову положить”, или “царский венец взять”» ***.

В Крыму Леонтьев начинает осознавать, что весь этот разноцветный мир с игрой светотени — мир, в котором все еще царствует великий Пан, — принадлежит только ему; и он никак не может всем этим прекрасным пространством вдоволь налюбоваться и упиться! Не беда, что имя его никому еще неведомо; ему ведь кажется, что он бог Аполлон, который когда-то смиренно пас овец у царя Адмета, а теперь — вдруг превратился в скромного военного лекаря, одетого в грубую солдатскую шинель! **** Или же он сродни своим любимым героям древности — Ахиллесу, Алкивиаду...

На крымских бивуаках Леонтьев-херувим или эфеб становится мужем — *анер*[34]; но нарциссизм его, по существу, тот же: он

* Там же, 216.

** Там же, 214.

*** Памяти К. Л., 169.

**** Л IX, 199.

даже еще больше самим собой любуется, потому что приближается теперь к своему автоидеалу героя — уже не романтически мечтательного, а классически мужественного!

В Крымскую войну Леонтьев крепнет, мужает и все больше в себе утверждается. Но не слабеет и связь с матриархатом: и на теплом юге он живет драгоценными для него воспоминаниями о матери, поджидающей его на далеком севере, — в родном Кудинове.

БЕГЛЯНКА

После взятия Керчи в мае 1855 г. было много бурных событий в жизни Леонтьева. До осени того же года он служит при Донском казачьем полку на аванпосте. Он дни проводит на лошади, принимает участие в маленьких экспедициях и рекогносцировках: так что пришлось ему и «пороху понюхать» в Крыму... Осенью его переводят в Феодосию, а оттуда среди зимы в Карасу-Базер, «где люди сотнями гибли от тифа, лихорадки и гангрены <...> где из четырнадцати врачей на ногах были двое, а остальные уже в гробу или в постели...». Но Леонтьев был счастлив: влюблен и любим. Он вдруг бросает больных и бежит в Феодосию к любимой... Друзья с трудом избавляют его от суда: и это в суровую николаевскую эпоху! (В Красной Армии его расстреляли бы, а в любой другой — отправили бы в штрафной батальон.) Вот дальнейший — очень краткий, точный, но лирически окрашенный рассказ Леонтьева о его позднейших приключениях. «Меня возвратили в Казачий полк. Опять степь; опять вино и водка; опять тишина, безделье, конь верховой и здоровье... Опять командировка в Симферополь, где было много раненых и больных. Опять больничные труды... но больше любовь, чем труды. Мимоходом увез одну девушку от родителей. В это же время один гусар увез другую. Нас перепутали; мы были без паспорта в Карасу-Базер; нас задержали...» С большим трудом удается ему избавить подругу от ареста: «но целый день и ночь стояла стража у дверей наших; квартальный взял с меня взятку, последние пять рублей...» За взяточничество следует взыскивать! Но без взяточничества вся эта леонтьевская романтика была бы невозможна... А денег нет ни копейки, но любовникам везет: «Один пьяный доктор <...> который отправил жену в Россию и жил с вовсе некрасивой “Наташкой”, дал мне десять рублей. Меня вернули под стражей в Симферополь; девушку я сам, отстоявши от полиции, отправил к родным».

«Три дня я ел только черный хлеб; от голоду я принужден был поступить сам в больницу и обманывал долго своих сослу-

живцев-врачей, уверяя, что у меня по ночам пароксизмы <...> потом получил вдруг много денег, и от казны, и от родных; опять здоровье, трактиры, музыка, знакомство с английскими гвардейцами...», к которым он недавно еще мечтал попасть в плен! А здесь они сами военнопленные и он с ними пьет портер и шампанское. И Толстой в Крыму покучивал, но всегда сам же себе отравлял каждую каплю радости... хотя и сочувствовал иногда бесшабашным кутилам — Толстому-Американцу, а также старому гусару и Долохову в «Войне и мире»...

«Через два месяца *беглянка* опять со мной. Мы забываем весь мир и блаженствуем, как дети, на дальней Слободке (Симферополя? — *Ю. И.*). На службу я не хожу... и не каюсь <...> По правде сказать, мне кажется, я больше думал о развитии моей собственной личности, чем о пользе людей; раз убедившись, что я могу быть в самом деле врачом не хуже других <...> я успокоился, и любовные приключения казались мне гораздо серьезнее и поучительнее, чем иллюзия нашей военно-медицинской практики! Здесь, на Слободке, не было обмана, здесь достигалась цель...» * — цель жизни, т. е. счастье, — и не прочное, а мимолетное.

Но кто же эта беглянка? Ее имя Лиза — Елизавета Павловна Политова — может быть, тоже тип «святой гетеры», как и Зинаида Кононова, но не барышня, а мещанка, дочь грека-торговца в Феодосии. Они опять расстаются и опять встречаются. Если есть нечего, закладывают ложки. А если нет ложек, Лиза шьет наволочки и мебельные чехлы на продажу. Поистине — с милым рай и в шалаше! Но любовь ли это или только увлечение? Он счастлив с беглянкой, но не забывает ведь и о развитии собственной личности; он остается Нарциссом в идиллии с крымской нимфой.

Неожиданно Леонтьев встречается с московским знакомым, Иосифом Николаевичем Шатиловым (1824—1889) **. Человек он был замечательный. Орнитолог, собравший коллекцию крымских птиц, и образцовый хозяин, который вывел «шатиловский овес». Практик и умница, он один из немногих в то время выступал против общинного землевладения. Впоследствии он стал лицом в России очень известным: состоял президентом Императорского общества сельского хозяйства, писал об интенсификации агрокультуры, о насаждении лесов. В Крымскую кампанию он немало нажил на поставках сена, но деньги тратил с тол-

* Там же, 148–149.

** Лит. насл. XXII, 486.

ком — на научные изыскания и коллекции, на улучшение своих крымских латифундий. И. С. Аксаков, посетивший его в 1856 г., отзывался о деятельности Шатилова с одобрением.

После окончания войны богатый хозяйственник пригласил военного лекаря к себе в имение на должность врача. Они очень подружились. Шатилов восклицал: Allons à Cythère; или Rien qu'un petit tour a Paphos... *[35] Ехал с Леонтьевым в Феодосию — к молодой, страстной и простодушной любовнице, которая уже поджидала возлюбленного

«в тени огромных генуэзских башен»...

Эта фраза неожиданно напоминает стихи Максимилиана Волошина о Феодосии:

В венце генуэзских башен,
В тени аркад... **[36]

Кроме беглянки Лизы были еще другие женщины — какие-то две вдовы, на одной из которых Леонтьева хотели женить... И еще богатые помещицы, соседки Шатилова: вдова петербургского губернатора С. С. Кушникова с дочерью Машей. «Матери было всего 35–36 лет, и она еще удивительно была свежа и красивее дочери; дочь очень хорошо воспитанная, смуглая <...> рассуждала со мной о "Рудине" (который только что появился), играла мне на фортепьяно...» Леонтьеву нравилась ее легкая походка, «сдержанность и хитрость, под которыми чуть-чуть брезжилась затаенная страстность. У нее было 250 000 приданого, кроме земель, и осужденный умереть один маленький брат». Здесь Леонтьев опять говорит о женской хитрости, которая его восхищала в Зинаиде Кононовой и под которой он подразумевал лукавство... В «Хронологии моей жизни» (очень неполно опубликованной), он сообщает о неудачном сватовстве к Маше Кушниковой. Подробностей же об этом романе мы не знаем ***. Но, очевидно, в Крыму он увлекался не одной только беглянкой, а и другою.

Может быть, обе Кушниковы имеют что-то общее с Додо Бобруйской и ее дочерью Наташей в повести Леонтьева «Второй брак». Главный же герой, честолюбивый начинающий композитор Герсфельд, несомненно, напоминает автора, как и все леонтьевские главные герои; а женится он не на дочери, а на матери, которая старше его несколькими годами...

---

* Там же, 469, 492.

** Максимилиан Волошин.

*** Лит. насл. XXII, 460, 492.

По-видимому, очерк «Сутки в ауле Биюк-Дорте» и роман «Подлипки» Леонтьев писал в шатиловском имении Тамак. Тогда же, отчасти под влиянием Шатилова, он занимался ботаникой, зоологией, сравнительной анатомией, читал Кювье, Гумбольдта и даже мечтал «внести в искусство какие-то *новые формы,* на основании *естественных наук*».

Позднее он неодобрительно отзывается о своем тогдашнем увлечении наукой и поясняет: «Поэзия научных занятий и поэзия любовных приключений отвлекает *вещественно* от искусства. Но разница между ними та, что любовь и всякие приключения дают пищу будущему творчеству, влияют хорошо даже на *форму* его, ибо дают непридуманное *содержание;* а наука, отвлекая художника в настоящем, портит его *приемы и в будущем,* и надо быть почти гением, *стиснуть,* задавить в себе этот тяжелый груз научных фактов и воспоминаний, чтобы не потеряться в мелочах, чтобы вырваться из этих тисков мелкого, хотя красивого реализма и ввысь, и на простор широких линий, чтобы

Обрести язык простой
И голос страсти благородной» *.

Замечание это существенное и — характерное для позднего Леонтьева, осуждавшего придирчивый реализм, обилие «мелочей» у Тургенева, Толстого и у самого себя в прошлом. Но, как мы видели, он делает различие между «мелочностью» обличителей и «мелочностью» энтузиастов: так, при описании своего молодого экстаза он не пренебрегает и грязной тряпкой в кувшине... и она ему понадобилась для описания счастья! Но в данный момент для нас существенно другое: итак, «любовные приключения» для него только материал — «пища будущему искусству», и, значит, счастье с беглянкой не было самоцелью! Хотя могло бы быть и иначе: мы ведь не знаем — что именно переживал Леонтьев в шалаше с милой...

Во второй половине 1857 г. Леонтьев покидает Крым. — «Другие доктора возвращались с войны, нажившись от воровства и экономии; я возвращался зимою, без денег, без вещей, без шубы, без крестов и чинов». Едет он с обозом, питаясь хлебом и салом. И, по собственному признанию, ему незачем было краснеть «перед открывшимся тогда либеральным и честным направлением умов» **; и в те годы он этому направлению сочувствовал; он и тогда был «эстетом», но, как я уже говорил: не по убеждениям,

* Л IX, 151. Автор этого стихотворения не установлен.

** Там же, 153.

а по вкусам, влечениям. Такими же бессознательными эстетами-нарциссами были и его ранние супергерои — Герсфельд во «Втором браке» и Ладнев в «Подлипках».

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ

Один из любимых профессоров Леонтьева Ф. И. Иноземцев хотел оставить его в Москве, а какие-то друзья прельщали «перспективой дамского доктора». Но его тогда Москва не привлекала и не интересовал ни профессорский, ни литературный круг московских знакомых. Все же он рад был повидать Тургенева. Ему тогда же очень понравился Фет, которому он посвящает стих собственного сочинения: «Улан лихой, задумчивый и добрый...».

Но других литераторов он не жалует: Панаев и Некрасов «отвратительны», Гончаров — «толстый» и все они — обыватели (épiciers). Приговоры его беспощадные и капризные: «Майков очень жалок. Жена его носит очки!» *. А Толстых он тогда не встречал: ни Льва, ни Алексея. Он решил поселиться подальше от центров и эксплуатировать литераторов на расстоянии, т. е. для сотрудничества в журналах. Но печатается он редко — в «Отечественных записках» и в «Библиотеке для чтения».

Как и Толстой в те же годы — деревне он отдает предпочтение перед городом, хотя и по другим причинам. Для Толстого деревенские жители ближе к природе, ближе к правде. Леонтьева же эстетически привлекали les deux extrêmes [37] деревни — помещики и крестьяне.

Весной 1858 г. в качестве сельского и домашнего врача, он едет в нижегородское имение барона Д. Г. Розена, приятеля Тургенева. Там он дружит с его женой и занимается воспитанием их сыновей. Но вообще о его житье-бытье у Розенов мы мало знаем. Несомненно, нижегородский помещичий быт как-то отражен в его романе «В своем краю», но не имеет смысла гадать, была ли баронесса Розен прототипом графини Новосильской. Все же совершенно очевидно, и Леонтьев об этом пишет, он самого себя «воплотил» в двух главных героях этого романа — докторе Рудневе и студенте Милькееве: первого мы уже знаем, а о втором — речь впереди.

Весной 1860 г. он переезжает к матери — в родовое Кудиново. По-видимому, именно здесь он решается бросить медицинскую практику и всецело заняться литературной работой.

---

* Там же, 153.

В ПЕТЕРБУРГЕ

В декабре 1860 г. Леонтьев переселяется в Петербург, а почему именно, мы не знаем: то ли деревенская жизнь надоела, то ли захотелось лично заняться устройством литературных дел. Он поселяется у старшего брата, Владимира Николаевича. Об этом брате он только упоминает. Как мы уже знаем, Леонтьев «скептически» относился к своим братьям и в детстве любил только Александра. Между тем Владимир хорошо к Константину относился, заботился о нем и, по-видимому, как-то его понимал.

Владимир Николаевич Леонтьев (1818—1874) тоже был литератором. В начале 60-х гг. он ближайший сотрудник радикального «Современного слова», закрытого в 1863 г. по высочайшему повелению за либеральное направление. В этом издании была помещена только одна статья нашего Леонтьева (о Д. С. Милле). Владимир Николаевич позднее работал в «Отечественных записках» и «Голосе», а в 1868 г. издал книгу «Обвиненные, оправданные и укрывшиеся от суда» (опыт критического изучения практики нового уголовного суда)*.

Живя у брата, Леонтьев зарабатывал уроками, а также занимался с племянницей Машей — Марией Владимировной Леонтьевой (1847—1927), которая позднее играла такую существенную и неразгаданную роль в его жизни.

Если Владимир был в какой-то степени радикалом, то именно в те годы Константин отходит от своего раннего и очень неопределенного либерализма в его тургеневском варианте. Он сближается с петербургскими славянофилами, группировавшимися около журнала «Время». Об издателях его — братьях Достоевских — он почти не упоминает и только между прочим говорит о знакомстве с Н. Н. Страховым, которого позднее он очень невзлюбил. Из сотрудников «Времени» он больше всего сочувствовал Аполлону Григорьеву, который менее всего выражал позицию этого журнала.

Московские же славянофилы, возглавляемые Иваном Аксаковым, ему не нравились: его отталкивали их резкое антизападничество и их патриархальная этика; он говорит, что свою семейственную нравственность они произвольно «переносили» на весь русский народ, и соглашается с Григорьевым:

---

* Лит. насл. XXII, 494. М. В. Леонтьева — автор неизданных воспоминаний о своем дяде К. Н. Статью Леонтьева о Милле мне разыскать не удалось.

Русский быт —
Увы! совсем не так глядит,
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного... *

Новые славянофильские или консервативные симпатии Леонтьева в начале 60-х гг. все еще очень неопределенные. Чувствуется, что тогда он плохо и как-то неохотно разбирался в спорах о завершении государственного здания земским собором или европейским парламентом, о либерализме и социализме, о прогрессе и революции. О своей же собственной философии он тогда не помышлял. В те годы он думал не о политике, а об эстетике, которая уже начинала понемногу оформляться.

ЖЕНИТЬБА

Летом 1861 г. Леонтьев неожиданно уезжает в Крым и 19 июля женится там на своей беглянке Лизе — Елизавете Павловне Политовой, дочери мелкого торговца греческого происхождения. Они уже три года не виделись; но перед отъездом из Крыма он дал себе обещание заботиться о ее семье. А почему именно он на ней после долгой разлуки женился, мы не знаем и никогда не узнаем.

Позднее Леонтьев не раз говорил, что необразованная жена куда лучше образованной, рассуждающей о литературе и политике. Но не поэтому же он женился на Лизе — и едва ли руководствовался только чувством долга к своей возлюбленной. Видно, он, Нарцисс, на самом деле был к Лизе привязан. Позднее Леонтьев ей часто изменял, но и баловал; и трогательно о ней заботился, когда она заболела душевной болезнью.

Вскоре после их венчания он возвращается в Петербург без жены. Одна из возможных причин этого неожиданного отъезда: беденежье! В Петербурге он кое-что зарабатывал, но для жизни вдовоем этого было, вероятно, недостаточно.

РАСХОЖДЕНИЕ С ТУРГЕНЕВЫМ

Незадолго до отъезда из нижегородского имения барона Розена, в 1860 г., Леонтьев написал разбор романа «Накануне» и послал его Тургеневу. В мае того же года эта статья под заглави-

* *Григорьев Аполлон*. Воспоминания (1930), 533; ср. Л V, 128.

ем «Письмо провинциала» появилась в «Отечественных записках» (по желанию Тургенева)*.

Леонтьев все еще продолжает ценить автора «Записок лишнего человека», «Рудина», «Дворянского гнезда», «Затишья». Все же критика его отрицательная: он осуждает Тургенева за нехудожественность, схематичность. В этой повести, пишет он, бессознательное принесено в жертву сознательному, эстетика оказывается на службе социальной тенденции. От этого нового тургеневского романа «не веет волшебной изменчивостью, смутою жизни». Болгарин Инсаров, может быть, и ясен как тип, но он не живет. «Живое», говорит Леонтьев, «всегда не слишком ясно и не слишком темно»; и оно угадывается «не путем умствований»... ** Эта аргументация очень близка органической критике Аполлона Григорьева с его культом всего непосредственного; и это понятие тождественно с тем, что Леонтьев называет бессознательным.

Леонтьев советует Тургеневу сделать Инсарова менее безукоризненным, более грубым, даже развратным и тем самым более убедительным в плане художественном. У Григорьева — такого рода замечаний мы не находим: он разбирает героев романа преимущественно как живых людей... Вопрос, как произведение искусства сделано и как герои показаны, его не интересовал. А у Леонтьева уже намечается формально-художественный подход, чуждый органической критике Григорьева и более близкий той эстетической критике, которую насаждали Дружинин и Анненков. Эту эстетическую критику Леонтьев возродил и обновил гораздо позднее, уже в 80-х гг.

В «Письме провинциала» для него многое еще неясно — и не только в эстетике. Вся статья состоит из намеков, четкости в ней нет, но она существенна как первая попытка Леонтьева мыслить отвлеченно. До этого он писал только художественные произведения.

В 1861 г. переписка Леонтьева с его литературным ментором прекращается. Позднее он очень резко о Тургеневе отзывается: автора «Рудина» и «Дворянского гнезда» «духовно не стало» после «Отцов и детей», а в «Дыме» он «стал ничтожен, как *прах!*» *** А Тургенев в том же самом году (в письмах к П. В. Анненкову) с

---

* Отечеств. записки, V; см. также примеч. Л VIII, 1.

** Л VIII, 6, 12.

*** *Леонтьев К.* Воспоминания о Григорьеве // Русская мысль, 1915, IX, 115.

удивлением замечает: «Леонтьев все еще пишет романы!» и даже посылает их для перевода Просперу Мериме *.

Наконец после долгого перерыва, в 1876 г., в последнем письме к Леонтьеву Тургенев сожалеет о том, что он не занимается писанием ученых, этнографических или исторических сочинений, и заявляет: «Так называемая беллетристика не есть настоящее ваше призвание; несмотря на ваш тонкий ум, начитанность и владение языком, ваши лица являются безжизненными» **.

Да, «лица» Леонтьева часто безжизненны, хотя и красочны, — за одним, впрочем, очень существенным исключением: во всех его повестях, а также письмах живет «главное лицо», супергерой, Нарцисс, в разных его проявлениях.

Вообще же они — писатели очень разные: умеренный Тургенев, мастер своего небольшого дела, — неумеренный Леонтьев, с его гениальными прозрениями и неотделанными произведениями.

ОСНОВЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ

В начале 60-х гг. кроме разбора тургеневского «Накануне» Леонтьев написал еще один литературно-критический очерк «По поводу рассказов Марко Вовчка» ***. Это псевдоним почти забытой теперь (в русской, но не в украинской литературе) писательницы Марии Александровны Маркович, урожденной Вилинской (1834—1907). Ее украинские рассказы вышли в 1857 г. и имели большой успех: накануне реформ в Марко Вовчке видели русскую Бичер-Стоу. В ее повестях есть филантропическая тенденция: мужики почти всегда симпатичнее бар... Есть в них и сентиментальность, мелодраматизм; но есть и другое: умение наблюдать и просто рассказывать; и простота ее стиля очень тогда Леонтьева восхищала (а читал он ее рассказы в тургеневском переводе) ****.

Леонтьев еще был тогда либералом, хотя и «неопределенного направления». Он не сочувствует радикалам-обличителям в журнале «Современник» и все же готов «извинить» их: они «не щадят ничего, кроме двух-трех предметов, в самом деле священных: свободы женщин и простолюдина»! Однако он возражает критику этого журнала (Добролюбову), который писал: «Эстетическая критика стала уделом чувствительных барышень и т. д.».

---

* *Тургенев*, указ. соч., письма, VII, 300, 547.

** Письма Тургенева к К. Леонтьеву // Русская мысль, 1886, XII, 87 (письмо от 16/4 мая 1876 г.).

*** Отечеств. записки, 1861, III.

**** Л, VIII, 17–63.

Вот некоторые утверждения молодого Леонтьева-критика в статье о Марко Вовчке; в 60-х гг. они считались «еретичными», поскольку «догмой» признавалась социальная критика Чернышевского и Добролюбова.

1. Основной принцип искусства Леонтьев заимствует у Шеллинга (который цитирует по «Истории философии» Швеглера 1848 г.): эстетическое произведение художника есть произведение сознательное, но похожее на бессознательные творения природы (об этом же он говорил и в разборе «Накануне») *. Законы бессознательного творческого процесса, а также и законы наслаждения искусством будут изучаться научным образом, на основе антропологии, но до этого еще далеко, и поэтому современный критик полагается только на собственный вкус.

2. Субъективная художественная критика должна предшествовать более объективной исторической (или социальной) критике в духе Белинского.

3. Для художественного произведения существен выбор слов и их соотношение. Язык — физиономия человека (его стиль). Истина, казалось бы, не новая и бесспорная, но ею в 60-х гг., да и позднее, вплоть до появления модернистов, русские критики пренебрегали.

Вообще же свою эстетику Леонтьев еще только намечает в 60–х гг. Существеннее его критика современной литературы, картина, основанная на его вкусах. Он делит писателей на 1) ярких, или «махровых», и 2) на «бледных», или простых по стилю. К первым он относит Гоголя, Шиллера, отчасти Гете (<автора> «Фауста»), Гомера, Шекспира, ко вторым — Пушкина-прозаика, Гете — автора «Вертера», Прево («Манон Леско»), Бернардена де Сен-Пьера («Павел и Виргиния»). Примеры эти спорные, случайные, но свою основную мысль Леонтьев излагает ясно, отчетливо. Он подробно говорит о «махровых» признаках современной русской литературы; это все признаки т. н. натуральной, или гоголевской, школы: обличительный юмор, грубый тон, обилие подробностей в описании нравов, длинные монологи, областные словечки; эта «мелочность» и, в особенности, обличения его отталкивают. Он говорит, что «комизм нас губит» и — успел уже всем надоесть, как в прошлом сентиментализм или готические «ужасы» у некоторых романтиков. Он хочет той благородной простоты, которая была в «бледной» «Капитанской дочке», и которую он теперь находит у Марко Вовчка: в ее народных рассказах нет яркой и грубой образности, как в «Деревне» Григо-

* Там же, 18.

ровича или в повестях Писемского. «Махровые» цветы натурализма и юмора засоряют литературу, отвлекают внимание от характеров и от фабулы. Многие тургеневские рассказы тоже кажутся ему «махровыми», но он выделяет и хвалит «Муму»: здесь вся история рассказана просто, как «Питерщик» Писемского. В этой его критике (но не в его теории) было много новизны, свежести.

Нам теперь кажутся преувеличенными те похвалы, которые Леонтьев расточал Марко Вовчку. Но дело не в отдельных примерах. Существенно другое: в этой статье молодой Леонтьев пытается найти стиль, ему самому наиболее соответствующий. Здесь критик заслоняет литератора. Он ищет той бесцветной, бледной, но вместе с тем и очень выразительной, благородной простоты — для изображения жизни «простых людей». Влекся же он к «простолюдинам» не по побуждениям моральным, социальным, а — эстетическим. Ему простая жизнь нравилась потому, что она казалась ему прекрасной! Еще в юности он увлекался примитивной идиллией «Павла и Виргинии» и дополнял воображением сухое, схематическое повествование Бернардена де Сен-Пьера (в «Подлипках»). Но в русском быту он не находил подходящего материала для такой идиллии. Роман, который он писал в начале 60-х гг., «населен» преимущественно дворянами-помещиками, а крестьяне там только мелькают на заднем фоне... («В своем краю»). Если же определять этот роман согласно терминологии самого Леонтьева, то стиль его явно «махровый», а не «бледный» (см. об этом ниже). Проще и бледнее — «Исповедь мужа», «Две избранницы» и некоторые балканские рассказы, которые он начал писать в середине 60-х гг.

Предельной простоты добивались и другие писатели, например Тургенев (в последние годы жизни): ему очень хотелось писать как можно проще, но его «стихотворения в прозе» — не простые, а очень «сделанные». Того же позднее добивался и добился Толстой в своих замечательных народных рассказах («Много ли человеку земли нужно», «Где любовь, там и Бог»). Но стимулы у них были разные: Тургенев сочувствовал простым людям, Толстой верил, что только они могут жить по правде, а Леонтьеву казалось, что их жизнь несравненно прекраснее того жалкого существования, которое влачат современные ему интеллигенты.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ*

1

Знакомство Леонтьева с Григорьевым состоялось в начале 1863 г. — на Невском проспекте. «Мы зашли в Пассаж и довольно долго разговаривали там, — вспоминает Леонтьев. — Я был в восторге от смелости, с которой он защищал юродивых в то положительное и практическое время, и не скрывал от него свое удовольствие.

Он отвечал мне:

"Моя мысль теперь вот какая: *то, что прекрасно в книге, прекрасно и в жизни; но может быть неудобно — но это другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, а для прекрасного...*"», т. е. поэтической жизнью. Как мы уже знаем — это было мотто[38] Леонтьева. Пестрая и часто далекая от всяких идеалов поэзия жизни была ему куда дороже ее отражений в искусстве, и «неудобной» он ее не считал. Эта романтика их роднила.

«Если так, — сказал я, — то век Людовика XIV со всеми его и мрачными, и пышными сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? Если бы пришлось кстати, стали бы вы это печатать?..

"Конечно, — отвечал он, — так и надо писать теперь и печатать!"» **

Но журнал «Время» вскоре уже был запрещен, а в своем московском «Якоре» Григорьев леонтьевских писаний не помещал.

Леонтьеву же тогда Григорьев очень нравился. Нравилась его наружность (что для него всегда было существенно): «его добрые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой, когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, — он был похож на хорошего, умного купца, конечно русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженых бакенбардах». Нравилось ему и то, что в статьях Григорьева было «нечто тайно-растленное»; ибо широту духа он предпочитал чистоте духа. Пусть будут и пороки, но яркие, — говорил Леонтьев, — «оргии Байрона и Шеридана, грубости Петра!». «Не порок в наше

---

* См.: *Леонтьев К.* Несколько мыслей о покойном Ап. Григорьеве // Русская мысль, 1915, IX, 108–124.

** Там же, 114–119.

время страшен; страшна пошлость, безличность». Самобытное начало, казалось ему, заключается вовсе не в патриархальных идеалах московских славянофилов-«бояр», а в настоящей русской жизни с ее юродивыми, раскольниками и даже взяточниками... Но так рассуждая, Леонтьев едва ли тогда хорошо понимал Григорьева, да и едва ли хотел его понять, он всегда ведь стремился прежде всего разгадать себя! И в писаниях своего нового собеседника он искал и находил свое, а все чужое или непонятное — не замечал.

Они несколько раз встречались в Петербурге. Григорьев тогда понемногу оправлялся после Оренбурга, где он жил, «как в аду», со своей скандальной подругой — «устюжской барышней» легкого поведения. Он отдохнул, приоделся, опять начал много писать для журнала «Время», но поэзия жизни его уже мало радовала.

Как-то на святой неделе Леонтьев зашел к Григорьеву:

«Отчего у вас, славянофила, не заметно ничего, что бы напоминало Русскую Пасху?

— Где мне, бездомному скитальцу, праздновать Пасху, как ее празднует хороший семьянин! — сказал Григорьев.

— Я думал, вы женаты, — заметил я.

— Вы спросите, как я женат![39] — воскликнул горько Григорьев» *.

Вскоре он уехал в Москву издавать «Якорь» и в следующем году умер от разрыва сердца.

Создается впечатление, что Григорьев не очень заинтересовался Леонтьевым. А могло быть и другое: он тогда очень уж устал и от жизни, и от людей — и новые друзья ему были не нужны.

Оба паче всего любили красоту, но, как мы увидим, — они понимали ее по-разному и по-разному ей служили. Григорьеву могли нравиться прекрасные формы, но все же его больше привлекали необузданные стихии, хаос, а Леонтьев любил космос — мир сложный, даже противоречивый, но оформленный.

2 **

Основная реальность Григорьева — романтическая стихия в разных ее проявлениях. Он более всего ценит все непосредствен-

---

* Там же, 114.

** Об Ап. Григорьеве: *Блок А.* Судьба Григорьева (1915) // Собр. соч. (1962), V, 287–518; *Отец Г. Флоровский*. Пути русского богословия (1937), 1, 305–307; *Отец В. Зеньковский*. История русской философии (1948), 1, 405–410; *Григорьев Аполлон*. Воспоминания (1930).

ное, чуждое логике, теориям; он интуитивист до интуитивизма. Его истины не отвлеченные, а «цветные»: и таких истин у него очень много. Он искал и находил их в купеческом быту, в мире Островского, где бок о бок с самодурами и свахами живут благородные мечтатели — Катерина, Кулигин (в «Грозе») или честный пьяница Любим Торцов («Бедность не порок»). Другая григорьевская «цветная» истина в простой мудрости «смиренного» типа — <как> у пушкинского Белкина, у лермонтовского Максима Максимовича. Третья же и самая для него привлекательная — в красоте: и в дикой стихии русских и цыганских песен, и в мраморной гармонии, в классической богине. Слушая цыганку Стешу, он мог горько оплакивать свое беспутство; а в Лувре он молит Венеру Милосскую — да пошлет она ему женщину, «которая была бы не торговкой, а жрицей сладострастия»...

Религия Григорьева тоже «цветная» — это «стихийно-историческое начало православия», вошедшее в плоть и кровь истинно русских людей. Но увлекала его и эзотерика масонских тайн и гимнов... А в экстазе он обращался с Богом «запанибрата», даже «ругался с Ним» — и Бог знал, что его «стоны и ругательства тоже вера...»!

Проповедуя почвенничество, сам Григорьев почвенным человеком не был: он нигде не оседал, нигда не «пускал корней». Он — романтический странник; источники его вдохновения часто не русские: это кумир романтиков — Шекспир, это романтическая философия Шеллинга или Карлейля. Но Григорьев и русский бродяга, пьяница-гитарист: ему бездомные цыгане были ближе, роднее домовитых купцов.

Григорьеву только удалось наметить основы своей органической критики — в восторженных и неясных статьях. Он имел успех в начале 50-х гг., в т. н. ранней редакции «Москвитянина». А в 60-х гг., сотрудничая в журнале братьев Достоевских «Время», он чувствовал себя чужим, никому уже не нужным. Ко времени встречи его с Леонтьевым он был уже «человек конченный», во всем разочарованный, подавленный как литературными, так и житейскими неудачами. Все же он оставил глубокий след в русской литературе. Педантичный Н. Н. Страхов не без успеха популяризировал почвенничество своего беспутного друга, но очень уж тщательно очищал его учение и от плевел, и от полевых цветов... Писатели понимали его лучше. Шатовщина Достоевского (вера в русского Бога) и его эстетика (красота спасет мир) — это все григорьевские «цветные истины». А Митя Карамазов — не оживший ли это Аполлон Григорьев (но менее смелый и менее образованный!)? Лесков со своими самобытны-

ми праведниками — тоже выходец из григорьевского мира. Наконец, уже в нашем веке, григорьевская цыганщина ожила в поэзии Блока, который очень ценил и любил Григорьева (и издал его сочинения).

В истории русской мысли Григорьев часто квалифицируется как славянофил, хотя бы и еретический славянофил. Действительно, он очень отличается от других славянофилов, как от старых (Хомякова, Киреевских), так и от новых (не только от Ивана Аксакова, но и от своего последователя и популяризатора Страхова). Чем же именно? — в его учении слабо выражена этика. Славянофильство или русофильство Григорьева — эстетические: он очень многое готов был оправдать и даже возвеличить во имя прекрасной самобытности!

Молодого Леонтьева привлекал в Григорьеве эстетический аморализм, который он даже склонен был преувеличивать. Ведь григорьевская эстетика полностью отрицает леонтьевскую апологию несправедливости, жестокости, «красивого» зла, например войны! Но как бы Леонтьев ни истолковывал Григорьева — он, несомненно, был в сфере его влияния, и именно в 60-е гг., когда складывались его собственные эстетические воззрения. Все же различий между ними больше, чем сходства.

Основная реальность Леонтьева — не романтическая стихия, как у Григорьева, а романтическая личность. В молодости, да и позднее, он восхищался Чайльд-Гарольдом, Дон Жуаном, а Григорьев осуждал за гордыню и себялюбие и Байрона, и русских «байронических» героев — Онегина, Печорина. Наконец, позднейшим, уже не романтическим героям Леонтьева — властным византийским басилевсам и суровым афонским монахам — тоже нет места в мире Григорьева.

Я говорил уже об андрогинности Леонтьева; строение его души было «муже-женственное» (как выразился Бердяев). Он женственный мечтатель, выросший в атмосфере матриархата; но была в нем и мужественность: волевое начало, которое он в себе упорно развивал; и он не позволял себе выходить из-под контроля разума; чем-нибудь увлекаясь, а Леонтьев часто увлекался, он «головы не терял», как безвольный и безрассудный Григорьев.

Леонтьеву казалось, что весь этот красочный мир создан для него одного — женственного Нарцисса; но вместе с тем он очень деспотически хотел этот мир устроить по-своему: здесь проявлялось уже волевое начало. Не нарушая самобытной сложности жизни, он стремился вместить сложное — в единстве, в могущественной, но и гибкой, растяжимой системе, которую он определит позднее, в 70-е гг.: это византийская Россия. У Григо-

рьева же нет этой имперской эстетики; и византийцев с их догматизмом он недолюбливал.

У Леонтьева не было григорьевской расплывчатости — он эгоцентрик, ставший хищным эстетом-тираном. Григорьев — тоже яркая личность, но центробежная, не центростремительная, как Леонтьев. Он стихиен, «разымчив», как те его цыганские романсы, в которых он лучше всего себя выразил. Леонтьевского комплекса власти у него не было, его эстетика не хищная, хотя и не смирная... У Григорьева — эстетический аморализм опьяненного и иногда очень дерзкого, но, по существу, безобидного странствующего энтузиаста-романтика или русского кутилы, прожигающего жизнь с цыганами; «богоборчество» его несерьезное: то он с Богом «ругался», а то и каялся! Леонтьев в религии — серьезнее: после обращения в 1871 г. он Бога боялся и с одолевавшими его страстями боролся; и борьба эта, требовавшая огромного усилия воли, ему нелегко давалась. Гордому Леонтьеву было труднее смиряться, чем распущенному Григорьеву — дерзать...

Что же было у них, при всех различиях, общего?

1. Это прежде всего романтика поэтической жизни — не тусклое прозябание, а яркое горение. Григорьев прожигал жизнь и рано сгорел. Леонтьев — медленно разгорался и поздно вспыхнул; а в конце жизни, предчувствуя мировой пожар, укрылся в монастырской келье с тихо мерцающими свечами.

2. Оба они не любили ничего отвлеченного, их истины — «цветные» и часто противоречивые; теории ради они своих мыслей не упрощали; и не потому ли — им не удалось стать идеологами интеллигенции, властителями ее дум; оба прожили жизнь изгоями...

3. Их сближает особый дар восхищения: безбрежный энтузиазм Григорьева сродни более сдержанным «адмирациям» Леонтьева. Но, как мы видели, их восхищали разные вещи: первого — противоречивое, не сводимое к единству многообразие жизни красоты, все непосредственное и стихийное; второго привлекала сильная личность, яркая красота, сложная жизнь при единстве стиля. Все же иногда их вкусы совпадали.

4. У обоих — та тоска по истинному бытию и по живой жизни, которая была у многих других писателей XIX века — у Гоголя, Достоевского, Толстого, у старых славянофилов (у Хомякова), но и у западников — у Герцена, Белинского, Писарева, позднее у Владимира Соловьева; пусть у каждого из них был свой образ рая (на земле или на небе), а все же их всех роднит одна тоска. При этом Григорьев и, в особенности, Леонтьев все

поставили на красоту, а не на добро, как другие их современники: истинное бытие или живая жизнь для них прежде всего прекрасны, и даже в том случае, когда красота не совпадала с добром и отвергалась совестью. Но Григорьев такого вывода прямо нигде не делает, а Леонтьев бесстрашно заявляет, что Нерона он предпочитает Акакию Акакиевичу! Между тем все другие искатели живой жизни (включая Григорьева) малыми сими никогда не пренебрегали.

Григорьев как-то на ходу перекликнулся с Леонтьевым, но нигде о нем не писал. А Леонтьев лет через пять после смерти Григорьева о нем вспомнил и послал свои воспоминания Страхову для помещения в «Заре». Неудивительно, что леонтьевской «памятки» он не опубликовал; ведь Леонтьев восхвалял то, что Страхов в Григорьеве не любил: эстетический аморализм, «поэзию разгула и женолюбия»!

РАЗГОВОР У ДОМА БЕЛОСЕЛЬСКИХ

В начале 60-х гг. в Петербурге Леонтьев размышлял больше об эстетике, чем о политике. Но, исходя из эстетики, он уже делал и некоторые политические выводы.

Привожу ниже разговор — знаменательный разговор Леонтьева с молодым литератором И. А. Пиотровским, учеником и пламенным поклонником Чернышевского и Добролюбова *; он сотрудничал в их журнале «Современник» и вскоре умер. Диалоги с ним около дома князей Белосельских записаны молодым другом Леонтьева Анатолием Александровым (вероятно, в 1889 или 1890 г. ** Создается впечатление, что эта беседа Леонтьевым продиктована... Во всяком случае, в записи Александрова всюду сохранен характерный леонтьевский стиль.

«Я с Пиотровским познакомился случайно, и он мне очень понравился. Не имея возможности где бы то ни было печатать то, что я бы хотел, я успокаивал себя словесными изложениями моих взглядов». Здесь напомним, что ни братья Достоевские, некоторым взглядам которых он тогда сочувствовал, ни Аполлон Григорьев, которым он так восхищался, в своих журналах его не печатали (во «Времени», «Эпохе» и «Якоре»).

«В провинции (до 1861 г.) я вовсе не понимал, чего хочет “Современник” и за что он всех и все бранит? Я возненавидел его за это одно, не постигая еще его революционных замыслов. В Петербурге мне это объяснили. “Прямо нельзя еще у нас пропо-

* И. А. Пиотровский (1841—1862).

** *Александров А.* // Русский вестник, 1892, IV, 255–285.

ведовать кровавую социалистическую революцию, и потому надо все безусловно порицать и развенчивать. Будет ненависть к современному строю жизни, будет и революция!" Но именно около этого-то времени я стал впервые понимать, что и мятежи народные мне нравились не по цели, а разве по драматичности, и припомнил, почувствовал, что я и в истории, и в романах всегда бывал рад усмирению мятежей... Пусть они будут, но чтобы их усмиряли! Цели же демократические мне ужасно не нравились, и чтение Герцена (не «Колокола», а других статей) уже прежде подготовило во мне поворот к охранению и реакции. Со стороны своего отвращения к буржуазному прогрессу Герцен очень полезен — он просто незаменим».

Итак, разделяя чувства Герцена — его ненависть к буржуазии, Леонтьев делает выводы, которых тот, конечно, не мог бы одобрить. А Леонтьев и позднее сохранил живую симпатию к этому антибуржуазному эмигранту-революционеру: его книги он перечитывал и на Афоне, и в Оптиной Пустыни.

Тут же заметим, что Леонтьева «повернул» в сторону реакции не один Герцен, а также либерал Джон Стюарт Милль, который осуждал «коллективное ничтожество» (collective mediocrity) буржуазной массы в Англии и в Америке и, защищая индивидуальность, высказывал сочувствие эксцентрикам в их борьбе с массовой тиранией «коллективного ничтожества» *. Но и Д. С. Милль тоже «реакционных» выводов Леонтьева, конечно, не одобрил бы!

«У Пиотровского, казалось мне, было воображение: глаза у него были такие выразительные и задумчивые. Мы часто спорили». И здесь типичная «леонтьевщина»: наружности, лицу, личности он придавал большее значение, чем абстракциям, теориям.

«И вот однажды шли мы вместе по Невскому и приближались к Аничкину мосту. Я спросил у него так, стараясь выразиться как можно нагляднее:

— Желали бы вы, чтобы во всем мире все люди жили в одинаковых маленьких, чистых и удобных домиках, — вот как в наших новороссийских городах живут люди среднего состояния?

Пиотровский ответил:

— Конечно, чего же лучше!?

Тогда я сказал:

— Ну так я *не ваш отныне!* Если к такой ужасной прозе должны привести демократические движения, то я утрачиваю последние симпатии свои к демократии. Отныне я ей враг! До

* *Mill J. S.* On Liberty, ch. III.

сих пор мне было неясно, чего прогрессисты и революционеры хотят...

В это время мы были уже на Аничкином мосту или около него. Налево стоял дом Белосельских, розоватого цвета (с какими-то, помню, сероватыми или бледно-оливковыми украшениями), с большими окнами, с огромными кариатидами; за ним по набережной Фонтанки видно было Троицкое подворье, выкрашенное темно-коричневой краской, с золотым куполом над церковью, а направо на самой Фонтанке стояли садки рыбные, с их желтыми домиками, и видны были рыбаки в красных рубашках. Я указал Пиотровскому на эти садки, на дом Белосельских и на подворье, и сказал ему:

— Вот вам живая иллюстрация. Подворье во вкусе византийском — это церковь, религия; дом Белосельских вроде какого-то "рококо" — это знать, аристократия; желтые садки и красные рубашки — это живописность простонародного быта. Как все это прекрасно и осмысленно! И все это надо уничтожить и сравнять для того, чтобы везде были все маленькие одинаковые домики или вот такие многоэтажные буржуазные казармы, которых так много на Невском!

— Как вы любите картины! — воскликнул Пиотровский.

— Картины в жизни, — возразил я, — не просто картины для удовольствия зрителя: они суть выражение какого-то внутреннего высокого закона жизни — такого же нерушимого, как и все другие законы природы...»

Это замечательный пример аргументации Константина Леонтьева, который всегда «мыслил образами». Собственной идеологии, тоже образно выраженной, у него еще не было. Но он уже догадывается, что «прекрасного гораздо больше на стороне церкви, монархии, войска, дворянства, неравенства и т. д., чем на стороне современного уравнения в средней буржуазности...» (А. Александров) *.

В те же годы он говорил: «Не то важно, чтобы театр был похож на жизнь (т. е. «реалистический» театр. — *Ю. И.*), а важно то, чтобы жизнь была похожа на благородную драму, на величавую трагедию, на красивую оперу. Смех надо возбуждать только шуточный, легкий, веселый. Но ту серьезную и жалкую трагикомедию (обличительной драматургии. — *Ю. И.*), которая нынче в моде, надо скорее вытравить из действительности» **.

---

* *Александров,* указ. соч., 266–268.

** Там же, 265.

И наглядную иллюстрацию к «благородной драме» русской истории он увидел в Петербурге — с Аничкина моста.

А о каком-то участии в политике, хотя бы в плане идеологическом, он еще не помышлял.

Александров говорит, что в начале 60-х гг. Леонтьев «воображал, что стоит только большинству приобрести хороший вкус, эстетический взгляд на жизнь и послушать его проповеди, то жизнь наполнится еще новым, неслыханным разнообразием блага и зла, всяких антитез и всякой поэзии, начиная с идиллии “Старосветских помещиков” и кончая трагизмом народных мятежей!» *. Эту очень еще наивную «леонтьевщину» того времени Александров сравнивает с позднейшим учением Толстого, который думал, «что стоит большинству захотеть быть моральными, так сейчас же на земле водворится мир, любовь и кроткое счастье...»

Всего же существеннее, что в те годы Леонтьев утверждается в своем исповедании «художественного единобожия» (Александров). Он вменяет себе в обязанность, он считает своим долгом, что надо во что бы ни стало жить поэтической жизнью!

МИЛЬКЕЕВ

В романе «В своем краю» два главных героя — доктор Руднев и студент Милькеев; и оба они, как все вообще леонтьевские супергерои, чем-то напоминают автора.

Рудневу Леонтьев отдает свое этическое «я» молодого интеллигента, который хочет приносить людям пользу и делать научные открытия в области френологии.

Милькееву он отдает свое другое «я» — эстетическое, героическое.

Если только можно «делить» эго, то на долю Руднева приходится едва ли даже четверть, а на долю Милькеева — по крайней мере, три четверти леонтьевской души! При этом Рудневу автор отводит большее количество страниц и знакомит читателя с его внутренними переживаниями, тогда как Милькеева мы знаем преимущественно по его проповедям и поступкам. Все же в композиции романа Милькеев занимает центральное положение.

Василий Милькеев изучал юриспруденцию в Москве, слушая профессоров Грановского и Кудрявцева (их обоих Леонтьев встречал в салоне графини Салиас), а теперь проживает «на кондициях» в имении графини Новосильской: учит ее детей и всех очаровывает... Он — рослый сероглазый красавец, блестящий веселый

* Там же.

говорун и всеобщий баловень, любимец. Женщины в него влюбляются. Как мы уже знаем, одна из его подруг в прошлом напоминает возлюбленную Леонтьева — Зинаиду Кононову. А в настоящее время в него влюблены две девицы, и сам он к ним неравнодушен, как и ко многим другим. О Милькееве говорят, что «он все с каким-то насосом ходит, из барышень поэзию выкачивать. Это — одна из его специальностей» *. Милькеев нравится и мужчинам: все его друзья, включая Руднева, только и делают, что обсуждают милькеевские парадоксы. Дети, которых он воспитывает, его обожают: он для них всех великий мудрец и веселый приятель — милый Василиск. Он же — друг великого матриарха — графини Новосильской, о которой я уже не раз говорил. Она «В своем краю» — ласковое осеннее солнце, которое не только светит, но еще и греет, как в пору бабьего лета... Это она сумела создать в своем имении райское житье для своих друзей и детей. В ее Троицком все так же счастливы, как и в ростовском Отрадном!

Милькеев — беззаконная комета, которая быстро мчится и ярко светится в солярной системе Новосильской! Все им любуются, многие его любят; он же отвечает симпатией, но знает, что может без своих друзей и подруг обойтись.

Он — эстет, которого иногда в шутку титулуют «ваше изящество»! Его отточенное определение красоты: «Единство в разнообразии» ** — очень существенно для позднейшего развития леонтьевской философии. В романе же раскрывается не понятие единства, а преимущественно понятие разнообразия.

Вот основы милькеевской парадоксальной эстетики.

1. Нравственность есть только «уголок прекрасного, одна из полос его...» Нравственным аршином красоту измерять нельзя: «Иначе куда же деть Алкивиада, алмаз, тигра...», — проповедует Милькеев ***.

2. Добро и зло нужны для разнообразия, без которого нет красоты. Не нужно предупреждать зла, пусть оно свирепствует и усиливает отпор добра! «...Зло на просторе родит добро!». Например, врачей и сестер милосердия, которые ухаживают за ранеными... Не надо бояться войны: «Жанна Д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел?» **** Красота ярче всего обнаруживается в контрастах злого и доброго начала, све-

---

* Л I, 298–299.

** Там же, 420.

*** Там же, 282.

**** Там же, 305.

та и тьмы. Если есть Корделия, то «необходима» и Леди Макбет, восклицает Милькеев.

3. Разнообразие красоты и ее полюсы (добро и зло) полнее всего проявляются в сильной и сложной личности. «Если человек сумел прожить ярко, то никакая гибель не убьет его лица!» След от него в жизни останется... * В другом месте Милькеев дает очень пестрый список своих героев: «Байрон, Гете, Жорж-Санд, Цезарь, Потемкин, граф д'Орсе...» ** Здесь «в одной куче» и писатели, и деятели... А упор делается не на искусство и не на «род занятий», а на личную жизнь. Смелый размах, острота страдания, упоение радостью — вот что привлекает Милькеева-романтика. Он же говорит, что должен исполнить «долг жизненной полноты» ***, ему хочется жить той поэтической жизнью, о которой постоянно твердил и Леонтьев.

4. Что наиболее враждебно красоте в современном мире, т. е. разнообразию, резким контрастам и «яркой личности»? Ответ: буржуазная пошлость, «фрачное мещанство»! Далее Милькеев задает этот риторический вопрос: «Что лучше — кровавая, но пышно духовная эпоха Возрождения или какая-нибудь нынешняя Дания, Голландия, Швейцария, смирная, зажиточная, умеренная?» ****. И, конечно, первое он предпочитает второму...

Но эпоха Возрождения миновала. Еще раньше угасла средневековая поэзия религиозных прений и войн. Какая же поэзия возможна теперь? Ответ Милькеева очень неожиданный: это «поэзия народных движений». Он же говорит: «Я не боюсь демократических вспышек и люблю их; они служат развитию, воображая, что готовят покой: их крайности вызывают противодействие, забытые силы, дремлющие в глупом бездействии, и им в отпор блестят суровые охранители...» *****

Итак, если несколько упростить милькеевскую философию, можно сказать или даже воскликнуть: Долой всемирное равенство! Не надо вечного мира (как в утопиях социалистов и либералов!). Но все же: Да здравствует и революция! Да здравствует также и реакция! Бурное столкновение революции и реакции волнует и восхищает нового леонтьевского эстета и Нарцисса — Милькеева!

---

* Там же, 396.

** Там же, 415.

*** Там же, 298. Там же Милькеев говорит: «Поэзия есть высший долг».

**** Там же, 414.

***** Там же, 415.

Милькеев воплощает мужественного Леонтьева: ему мало созерцания, он хочет действовать, чтобы на самом деле жить полной поэтической жизнью. Какой же выбор он делает в романе? Ему нужно одно из двух выбрать, и он выбирает революцию.

Но сперва познакомимся с собеседниками Милькеева: все они в той или иной степени этого супергероя в романе оттеняют.

1. Как мы уже знаем, женственный Руднев — это интеллигент-труженик, ученый-любитель, занимающийся френологией и высказывающий иногда смелые догадки: может быть, птицы — не удавшиеся на земле высшие существа, которые где-нибудь на другой планете создали ангельскую цивилизацию! * Его воображение сродни Милькееву, как и Леонтьеву. Все же жестокую эстетику своего друга он осуждает, но любит его и хочет, чтобы тот навсегда остался «в своем краю».

2. Толстый предводитель, Лихачев старший, — земец-практик. По взглядам он близок журналу Достоевских и Страхова «Время». Он славянофил-либерал; он за реформы, но и за традицию. В самобытной и мирной России, говорит он, должно найтись место общине и помещику, ученому и казаку, безбожнику и раскольнику, кавалергарду и киргизу... ** Милькеев ему импонирует, и он предлагает ему ехать на Балканы, чтобы бороться там за освобождение братьев-славян.

Вариант Лихачева — его младший брат, умный, но распущенный Александр, ближайший друг Милькеева.

3. Безобразный нигилист из семинаристов — Богоявленский. Младший Лихачев называет его «энергичным хамом» ***; он представляет базаровщину 60-х гг.; он дух отрицания, дух разрушения. Его идеал — построение нового общества на началах всеобщего равенства, т. е. идеал — антиэстетический (для Милькеева-Леонтьева). По своим взглядам он близок «Современнику» Чернышевского и Добролюбова. Автор его явно не жалует — он ведь «похож на озябшего дождевого червя»! Все же Богоявленский не карикатура на нигилиста, как во многих романах Писемского или Лескова... В уме ему Леонтьев не отказывает.

Милькеев любит Руднева и братьев Лихачевых и не любит Богоявленского, но именно его выбирает себе в товарищи. Отчего же? Вот как он это объясняет: отрицатель и разрушитель Богоявленский, как и прочие нигилисты, — это свиньи, кото-

* Там же, 393.

** Там же, 417–418.

*** Там же, 426.

рые все разрывают, с тем чтобы на разрытом месте выросло «что-нибудь роскошное, чего они и сами не ожидают»!* За собой же Милькеев оставляет прерогативу не свинского, а романтического разрушения «старого порядка» в Италии: он решил туда отправиться, чтобы присоединиться к войскам Гарибальди... Из этого ничего не выходит. Тогда он вместе с Богоявленским едет в Петербург, где его вскоре арестовывают. Обо всем этом Леонтьев рассказывает коротко и неясно: то ли из-за цензурных опасений, то ли потому, что плохо разбирается в русском радикализме. Но, несомненно, Милькеев принял какое-то деятельное участие в революционном движении.

Итак, основоположник леонтьевской эстетики оказывается революционером: правда, на свой лад — по соображениям эстетическим, а не политическим!

В позднейших своих воспоминаниях, по которым я стараюсь воссоздать его жизнь, Леонтьев таких мыслей и чувств не высказывает. Но, по-видимому, в 60-х гг., в период становления, он мог оправдывать эстетикой революцию, как, впрочем, и реакцию: ведь Милькеев говорил, что революция нужна для того, чтобы вызвать контрреволюцию!

Зрелый Леонтьев лишь допускал народные мятежи в эпохи «цветущей сложности», но с тем чтобы они поскорее подавлялись! Правда, иногда он идет и дальше: он писал, что Робеспьер лучше умеренных современных социалистов: якобинцы были радикальнее их и потому — поэтичнее... Заметим, что этот ход мышления остается неизвестным читателям Леонтьева: они знают его преимущественно как «реакционера», который хочет заморозить Россию!

Существенно, что в этой повести красота определяется и прославляется не только в романтической риторике несколько схематичного супергероя Милькеева, но и показывается во всем ее красочном разнообразии. Здесь Леонтьев впервые сверкает всеми красками своей палитры.

Москва — «это море церквей и домов: голубых, темных, красных, розовых, белых и желтых; море красок, поседелых осенних садов, дыма и подстрекающего холода» **.

А вот веселый двор в имении холостых Лихачевых: «розовые, синие, красные сарафаны и рубашки, золотые сороки, свист и топот женщин; черный плис и светло-зеленые поддевки молодцов... ранжевые кафтаны мордовок с шариками пуха в серь-

* Там же, 427.

** Там же, 350.

гах...» * И в этом самобытно-русском раю восседает курчавый Александр Лихачев в голубом бархатном чекмене! Аполлон Григорьев мог бы оценить эту разноцветную Россию в романе, который вышел в год его смерти (1864) и, может быть, до него не дошел.

Пестрая красота дополняется откровенной чувственностью, незнакомой русской литературе того времени. Младший Лихачев и Милькеев обсуждают — кто из окружающих их девиц «вкуснее»... То же самое делают и героини: одна из девиц (Варя) говорит, что Милькеев «хоть и видный был, да невкусный...». Для нее более вкусен ее неверный любовник Лихачев **.

Язык в описаниях — небрежный, но меткий, в смелых оборотах. Так, Милькеев говорит, что в эпоху революций «вырастают гремучие и мужественные лица...». Тургенев, вероятно, возразил бы: лица не грибы — не растут! Гремучие же бывают змеи! Но Леонтьев заботился не о правильности, а о выразительности речи; и, по-моему, он русский литературный язык обогатил! Вот все тот же «вкусный» Александр Лихачев «полусонным султаном» целует дворовую Марфушку в штофном сарафане и небрежно приговаривает: «Черт знает, что ты городишь!» *** Опять-таки пуристы сказали бы: нельзя целовать султаном, да еще полусонным; но вся эта «картинка» очень хороша, выразительна благодаря этому неправильному обороту!

Бесшабашное беспутство веселого барина-молодца Александра Лихачева отзывается той григорьевщиной, которая тогда увлекала Леонтьева. Он проходил в то время через сферу влияния Григорьева, не столько идейного, сколько художественного: он видел в нем не учителя, а героя... Но гордый и «хищный» Милькеев, последний байронический «тип» в русской литературе, конечно, чужд и враждебен григорьевской стихии.

В «Подлипках» преобладает лирика, музыка: образ Жениха, грядущего во полунощи, вырастает из церковного гимна [40]. В романе «В своем краю» много риторики, много и живописной лепки, как и в последующих повестях Леонтьева, а музыкального — мало... Музыка понемногу уступает место пластике, но она опять зазвучит в последнем законченном романе Леонтьева — «Египетском голубе».

Наконец, если воспользоваться литературно-критической терминологией самого Леонтьева, то можно сказать, что «В своем

---

* Там же, 334.

** Там же, 441, 579.

*** Там же, 400.

краю» (а отчасти и «Подлипки») — произведения «махрового» стиля! В статье о Марко Вовчке (1861) он называл «махровыми» все яркие и подробные описания быта, а также и областной словарь у литераторов «натуральной» школы; и он их за это осуждал, хотя и сам был повинен в том же *. «Махровы» и оригинальные особенности леонтьевского стиля — риторика Милькеева, экспрессивность за счет языковой правильности... Говорю это не в осуждение, а лишь напоминаю, что сам Леонтьев в 60-х гг. хотел писать проще, «бледнее».

КРИТИЧЕСКИЙ ОТЗЫВ ЩЕДРИНА

Леонтьев уже десять лет писал и печатался (1854—1864), но его художественные произведения пространных критических отзывов не удостаивались... Наконец в «Современнике» был помещен подробный разбор его романа «В своем краю» (в 1864 **); на него волком ощерился злобный М. Е. Салтыков-Щедрин.

Последний роман Леонтьева, утверждает злой сатирик, похож на хрестоматию: читая его, «на каждом шагу» вспоминаешь Тургенева, Толстого, Писемского и других. Но, однако, примеры он приводит неубедительные: мелкопоместная и «мелкотравчатая» тургеневская тетушка Татьяна Борисовна ничем не напоминает аристократическую умницу в леонтьевском романе — графиню Новосильскую, которая скорее походит на Ласунскую в «Рудине», но она и умнее и добрее этой снобистической «барыни». «Шалопай» Веретьев (в «Затишье») не похож на умного и героического Милькеева, а цыганка — возлюбленная Чертопханова — на опустившуюся барышню Варю.

Издеваясь над Леонтьевым, Салтыков говорит, что он изготовляет яды по чужим рецептам и все они друг друга обезвреживают, так что в результате получается «не яд, а мутный сироп, не вредный, но и не полезный!» Эти яды: «и сильнодействующие средства г. Тургенева, и тараканные отравы г. Григоровича, и гнилостно-заражающие припасы г. Писемского», также «хныкающая эссенция, изготовленная г. Ф. Достоевским» ***. Все это

---

* Несколько примеров общего и областного просторечия «В своем краю»: живмя живет, ядренее, бессемянка, некалка упрямая (у Даля «некалка» — тот, кто ни с кем не соглашается) или шавера (дрянные люди). Эти народные выражения, как и подробности в описаниях, Леонтьев называл позднее «натуралистическими мухами» (в очерке о Толстом, в конце 80-х гг.).

** *Салтыков-Щедрин М. Е.* Полн. собр. соч. (1937), V, 395–400. Впервые — в «Современнике» (1864, № 10).

*** Там же, 399 и 397.

очень остроумно, но бьет мимо: в леонтьевских повестях нет «ни одного грана» Достоевского; а их сходство с «творениями» г. Григоровича и гр. Л. Н. Толстого ядовитый рецензент ничем не подтверждает. Между тем у Леонтьева можно найти «граны» Писемского и, в особенности, Тургенева — но не там, где их искал Салтыков. Он вообще не взял на себя труда проверить свои поверхностные наблюдения и впечатления.

О влиянии Писемского судить не берусь. Может быть, злая, но и «красочная» чугуновская бабушка напоминает его утрированные бытовые персонажи.

Сходство с Тургеневым — не явное, но все же несомненное для каждого читателя. «Дымка поэзии» в леонтьевских описаниях природы или влюбленности, а также точность в воспроизведении помещичьего быта напоминают тургеневскую живопись. Ниже привожу несколько примеров из романа «В своем краю».

Тургеневская природа:

«В старой липовой роще, на горке, над большим озером, был второй привал. Что за веселая картина!.. Над мирным озером, где все дно было видно, — зеленая горка, под липами тень, а по воде и по лугам вокруг нестерпимое солнце...» Или: «Огонек деревни все ближе, и красные огни костров все меньше. Боже мой! как хорошо на чистом, широком озере»*.

Тургеневский быт:

«Во всем были видны остатки широкого, покойного, веселого житья; всего было еще много: старой мебели красного дерева, с бронзовыми львами и грифами, посуды, белья столового; на зиму сушили груши, мочили яблоки, огромные бутылки с наливкой стояли в самой спальне барыни, на окнах; водку шипучую делали трех сортов: малиновую, яблочную и из черной смородины...» **.

Явление тургеневской девушки:

«Она, она сама, сияя, встречает его в дверях — розовая, озябшая, веселая, в черной амазонке и теплых перчатках» ***.

Природа и любовь из Тургенева:

Любаша говорит Рудневу: «Пойдемте на нашу ель смотреть...» И они идут: «Ель была на том же месте; только уже не в снегу или инее, как зимой, а кой-где бурая, подсохшая, кой-где зеленее зимнего.

---

* Л I, 302.

** Там же, 444.

*** Там же, 491.

— Я все это так — только баловалась; а люблю-то я вас, — сказала Любаша» *.

Но Тургенев растянул бы эту сцену и отвел бы ей центральное место в композиции романа, а у Леонтьева иначе: это только эпизод с декорациями, взятыми у Тургенева напрокат: ель, снег... и барышня, которая уже совсем не по-тургеневски, сразу же приступает к делу!

Но, как мы видели, в романе есть и другое — пусть Руднев слабый, тургеневский герой и тургеневская же Любаша над ним господствует; но другие мужчины — Милькеев, Лихачев младший — властные любовники; в любви они занимают командные высоты — это не тургеневская черта. Они избалованы, подобно героям Жорж Санд или Альфреда де Мюссе, но мужественнее их, крепче. Когда-то студент Леонтьев обливался слезами, читая «Записки лишнего человека», но позднее задался целью создать людей не лишних: и их он найдет на Балканах. Милькеев был еще только первой «пробой сил»; своего места в жизни он не нашел; и все же он не тургеневский лишний человек, а неудачник — до конца не сломленный и не унывающий под «ударами судьбы»!

Романтический пафос, романтический эгоцентризм леонтьевских нарциссов, как сильных, так и слабых, ничего общего с «тургеневщиной» не имеет. Также и лучшие описания в романе «В своем краю» ярче и грубее тургеневских пастельных картин. Я уже говорил выше о том «море красок», которым Леонтьев упивался, любуясь видом на Москву и разряженными дворовыми в имении Лихачевых...

Леонтьев, несомненно, от своего литературного ментора отталкивался, как отталкиваются веслом от берега, но плыл он в другом направлении — не по тургеневским заводям, а по каким-то опасным порогам, на которых его ладья не раз перевертывалась! Цели у его главных героев иные: это не женщина, не полезная деятельность (как у Тургенева), а мужественный идеал женственного Нарцисса, который в борьбе за этот идеал мужает, крепнет (и именно поэтому ему не удался Руднев — интеллигент-труженик, обожающий свою Любашу!).

У нетерпеливого Леонтьева времени не хватало на тургеневское тщательное выписывание «картин», на согласование частей речи в предложении; он везде берет натиском, часто рубит с плеча; он не заботится о гладкости слога и прежде всего добивается выразительности; он не боится выражений вроде «гремучие лица», он целуется «полусонным султаном»...

---

* Там же, 500.

Хрупкую «тургеневщину» или ломкую «сандовщину» он разбивает романтической героикой, необайронизмом! Что же после этой расправы остается? — Уже не Тургенев, не Жорж Санд и не Байрон, — а Леонтьев, который найдет себя, свой стиль — уже не в России, а на Балканах. Байрон, а до него Шатобриан, которому Леонтьев тоже поклонялся, убегали от цивилизации в экзотику и, ею вдохновившись, писали свои зыбкие поэмы в стихах и прозе: Леонтьев убежал туда же, но его романы построены иначе; он часто отводит душу в лирических отступлениях, но есть у него и другое: те точные подробности, которые характерны для т. н. реалистического романа середины XIX века.

В конце своей статьи Салтыков делает еще один упрек Леонтьеву: его герои обнаруживают «невежество относительно положения их собственных чувств» и забывают то, что они говорили и делали на предыдущей странице; далее он иронически заявляет: здесь нельзя отказать автору «в некоторой оригинальности». Но этот упрек верен лишь по отношению к эпизодическим героям, которых вообще слишком много в леонтьевских романах: они всегда очень «перенаселены». Читатель постоянно забывает: who's who (кто — кто); и это уже мой упрек Леонтьеву... Многие «лица» в его повестях, едва появившись, куда-то пропадают и затем появляются на дистанции ста страниц! Но надо знать и помнить: ось, стержень любой леонтьевской композиции — не герои, а один герой — и это всегда новая инкарнация самого автора; и его уже нельзя ни с кем спутать: он всегда ясен — в своем развитии. Так что непрочность архитектурной постройки возмещается монументальностью супергероя, диалектикой его становления, его роста.

Особенность Леонтьев в том, что он слабо верил в существование других людей; он преимущественно верил в свое собственное существование! Именно поэтому он лучше всего выражал себя в жанре дневника или записок. Объективное изложение ему не удавалось. В этом смысле роман «В своем краю» — шаг назад по сравнению с «Подлипками», где главный герой и рассказчик пишет о том, что в голову взбредет, и так удачно играет со временем: от описаний юношества он переходит к детским воспоминаниям, а самое начало романа, после длинных отступлений, продолжается и заканчивается в эпилоге; и таким образом воссоздается самый процесс припоминания. Ни критики, ни сам Леонтьев всей революционности этого эллиптического приема не замечали; а между тем в наше время это перескакивающее изложение вполне оправдывается современной психологией, анализирующей капризы памяти.

В одной записи Леонтьев, упоминая о «злом» отзыве Щедрина, говорит, что критика его «хороша» и что роман («В своем краю») «за грубость некоторых приемов заслуживает строгого разбора... По мысли, конечно, он самобытен». Как мы уже знаем, «грубость» или «махровость» Леонтьев усматривал в описаниях безобразных деталей и в областных словечках, которыми будто бы щеголяли и Тургенев, и Толстой, и он сам в первых своих повестях.

«ИСПОВЕДЬ МУЖА»

«Исповедь мужа» была, по-видимому, написана Леонтьевым уже на Балканах, а опубликована в «Отечественных записках» (1867)*. Но я отношу эту повесть к русскому, а не к балканскому периоду его творчества.

Пожилой помещик живет созерцательной жизнью в своем просторном крымском имении, в Ай-Буруне. Местный колорит и вся атмосфера воспроизведены Леонтьевым по его счастливым воспоминаниям о привольном житье в имении И. Н. Шатилова. И эпоха та же — Крымская война 1854—1855 гг.

После долгих колебаний этот крымский анахорет женится на молодой девице: Лиза — барышня-дичок, цивилизацией она не испорчена, любит простую жизнь; она сама сажает деревья и доит корову. У ней низкий голос и мужские руки. Леонтьеву такие женщины нравились. Нравилось ему и то, что он называл женской «хитростью», т. е. лукавство, которого у Лизы не было: она была натура непосредственная, прямая и даже грубоватая в своей честности.

Сперва он подыскивает ей молодого жениха. Его кандидатом был молодой садовод: у него «русская кровь с молоком» и синие глаза. Но из этого ничего не вышло. А вскоре после свадьбы Лиза, с согласия мужа, уходит от него с молодым греком Маврогени. Это жоржсандовская тема свободной любви; в России ее впервые «обработал» А. В. Дружинин в своей нашумевшей повести «Поленька Сакс» (1847). Позже ту же тему педантично «разработал» в своем романе-трактате Чернышевский («Что делать?»). Но у Леонтьева все иначе освещено и мотивировано.

Сандовско-дружининско-чернышевские мужья отпускали своих жен с миром — по соображениям принципиальным, но безо всякого энтузиазма! Между тем, читая «Исповедь мужа», иногда трудно решить, кто больше восхищается третьим в любви —

* Отечеств. записки, 1867 (под названием «Ай-Бурун»).

старый муж или его молодая жена. Мужу все в Маврогени нравится: его беззаботность, легкомыслие, даже его необразованность и, в особенности, его внешность: «бледно-золотой цвет его лица, и кроткого, и лукавого, и веселого». Он в восторге от своего соперника, когда тот является во всей красе — в пестром албанском наряде, в белой чистой фустанелле (юбке), в малиновой расшитой обуви; у него «золотой широкий пояс, полный оружия; синяя куртка разукрашена тонкими золотыми разводами, длинная красная феска набекрень, и с плеча на грудь падает пышная голубая кисть!» * Здесь Леонтьев — в своей стихии. До него только Державин так упивался яркими красками! Описывал он и женские наряды, но реже и с меньшим упоением.

Приятель графа — французский офицер Бертран — говорит Лизе: «Жалею, что я не женщина, когда вижу этого албанца!» ** А старому мужу, по-видимому, хочется другого: он хочет быть мужем собственной жены, но «в виде» молодого Маврогени! Это скорее тематика и психология XX века: если в XIX веке такие странные желания и возникали, то их скрывали, о них не говорили.

Лиза уезжает с греком в Италию. Сперва она с ним счастлива, несмотря на его ревность, побои и измены. Все же через какой-нибудь год она решает вернуться к мужу. Но пароход терпит аварию, и она погибает, а старый муж кончает самоубийством. Один из наследников называет его мерзавцем, погубившим молодую жену, а другой — сумасшедшим. Но муж убежден, что поступил правильно, отпустив Лизу: «Она была прекрасна, и она жила», — пишет он в дневнике. «Она не упала, и она наслаждалась... Я прав. Смерть ее была случайна. Я исполнил свой долг».

В начале повести муж — новый вариант леонтьевского Нарцисса, влюбленный в свои отражения и опьяненный эросом молодой четы, жены и ее возлюбленного. Но его самоубийство — не акт Нарцисса. И тот хочет умереть и умирает (в «Метаморфозах» Овидия). Но почему? — От неразделенной любви к самому себе. Между тем в эпилоге «Исповеди» мы убеждаемся, что муж на самом деле любит Лизу не как жену, не как чужую возлюбленную, а как дочь. Он пишет перед самоубийством: «А теперь на что я? Что я? Зачем я? Не она погибла — я, я погиб без нее» ***. Сам Леонтьев не мог так полно и беззаветно любить

* Л I, 632.

** Там же, 632.

*** Там же, 664.

другую или другого. Он больше любовался, чем любил. Но, развивая свою драматическую диалектику Нарцисса, он дал и этот вариант преодоленного нарциссизма.

В «Исповеди» живет не только супергерой (муж), как во всех других повестях Леонтьева, но живут и те двое — Лиза, Мавроген. Они не «игрушки» супергероя: у них своя жизнь, свои желания, и муж их изнутри понимает, потому что очень любит. Вся эта драма — явление необычное в леонтьевском мире.

В этой повести мало описаний быта, природы, нет «мелочного» психологического анализа, нет той «махровости», которую автор не любил в писаниях своих современников и у самого себя. Рассказ написан в форме дневника, в начале которого имеются кое-какие лирические отступления, но к концу все записи короткие, сухие. Чем ситуация драматичнее, тем повествование протокольнее; и эта графичность изложения усиливает художественный «эффект».

В «Исповеди» — все очень просто, но нет в рассказе той «бледности» описаний, которая так восхищала Леонтьева в прозе Пушкина, во французской литературе XVIII века (Прево, Бернарден де Сен-Пьер). Ведь Леонтьев все видел в красках: поэтому и в этой повести он ярко раскрашивает описания (крымский южный ландшафт или албанский наряд Мавроген).

По четкости композиции, по напряженности действия «Исповедь мужа» — наиболее совершенное художественное произведение Леонтьева; но и наименее леонтьевское — слишком для него объективное и насыщенное действием. Перевоплощение в разных героев было ему чуждо. Его настоящая сфера — познание самого себя (Нарцисса) в разных стадиях развития. Его сила — не в архитектурном совершенстве композиции, а в выразительности отрывочных записей — в афористическом изложении мыслей, в пластичности красочных описаний, в музыкальности лирических отступлений.

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

В 1861 г. Леонтьев случайно познакомился с русским консулом на Балканах Дубницким. Он заслушался его рассказов и сразу же в Балканы влюбился. Судьба ему благоприятствовала. Брат Владимир Николаевич познакомил его с вице-директором азиатского департамента Министерства иностранных дел П. К. Стремоуховым; в феврале 1863 г. он сдает консульский экзамен и определяется в этот департамент. В продолжение девяти месяцев он с увлечением занимается работой в архивах, знакомится с консульскими донесениями и таким образом вовлекается в но-

вый для него круг государственных интересов Российской империи. Эти занятия, несомненно, способствовали оформлению его консервативных эмоций в какие-то политические идеи, но еще не в идеологию и тем более не в философию истории.

25 октября 1863 г. он назначается секретарем и драгоманом[41] русского консульства на острове Крите. Как мы увидим, его жизнь на Балканах была «исполнена поэзии» и насыщена творчеством. Леонтьев нашел себя — свой стиль не в России, а в Турции, на том пестром юге, который он так полюбил еще во время своего пребывания в Крыму.

НА ОСТРОВЕ КРИТЕ

Русское консульство на острове Крите не было обременено работой; там «делать было почти нечего», вспоминает позднее Леонтьев. Но месяцев через 6–7 его пребывание на этом острове было неожиданно прервано дипломатическим инцидентом...

Леонтьев не оставил воспоминаний о Крите, и письма этой эпохи его жизни не сохранились или же не были опубликованы. Но имеются другие, и очень яркие, свидетельства о его пребывании на Крите: «Очерки Крита» (1866), повесть в письмах «Хризо» (1868), короткий рассказ «Хамид и Маноли» (1869) и длинная повесть «Сфакиот» (1877). Только по «Очеркам» мы можем воссоздать его жизнь на Крите; рассказы же передают его творческие впечатления; а в одном из них («Хризо») консул Розенцвейг явно высказывает мысли самого автора.

Первая южная любовь Леонтьева — это Крым, вторая — более яркая и длительная — Крит. Этот остров он сравнивает с «корзиной цветов на грозных волнах моря...» *. Здесь он почувствовал себя в своей стихии; здесь приобщился той живой жизни, которой не находил в России.

Пестрые Балканы для Леонтьева, как осень для Пушкина, — «очей очарованье». Красные фески, синие шаровары, посеребренное оружие, «седые рощи маслин» — всем этим красочным зрелищем Леонтьев любуется, упивается; и упоение его не книжно-романтическое, а настоящее, непосредственное; и именно поэтому он находит свои слова для выражения своего восхищения. Его критские рассказы пестрят теми описаниями-букетами, которыми он изредка украшал и свои русскип повести. — Вот старый турок Шериф-бей: когда «он лежит на ковре с чубуком, в своем цветнике, между фиалками и розами, так сам сияет изда-

* Л II, 28.

ли, как цветок в цветниках, и феской пунцовою, и этими небесно-голубыми шальварами, и белою бородой...» *.

Хороши критские гречанки с классическими именами — Елена, Афродита. Последняя сравнивается с жасмином, с померанцем и даже с переваренным яичком! Но Леонтьев сожалеет, что и в эту благословенную глушь проникли дамские моды с Запада! Гречанки, одетые в дурно сшитые кринолины, напоминают ему парижских субреток, танцующих с критскими Ахиллесами и Парисами, еще верными критским древним обычаям **. Вообще же в леонтьевском мире, как и в мире фауны, мужчины ярче женщин. Особенно выделяются полуразбойники-сфакиоты; все они «дели-каплы» — «молодцы с бешеной кровью». Один из них, Яни (в повести «Сфакиот»), говорит жене о своих сородичах: Смелые (мы), все высокие, все красивые; у всех по ружью на плече и по паре пистолетов; все в новых цветных шальварах за кушаком красным; и у всех рукава выше локтя засучены, точно мы собираемся в кровь турецкую выше локтей руки наши сейчас погрузить. И от колен у всех ноги разутые, голые, без чулок, не потому чтобы чулок не было дома, а так... для фигуры, знаешь!» ***. И все эти критские описания-букеты далеко превосходят букеты русские — из баб и мужиков на дворе помещика Лихачева в романе «В своем краю»! Свой край для Леонтьева — уже не Россия, а Крит, потом Фракия, Эпир.

У молодого консула Леонтьева досугу — хоть отбавляй, и, по-видимому, он проводит время преимущественно на разных народных посиделках и гулянках в селении Халеппа около Канеи. По утрам он часами играет с пастушками Яни и Маноли; они приносят ему овечье молоко для утреннего кофе и обрызгивают его померанцевой водой: это «обычное здесь приветствие». «На золотых личиках их горят большие веселые глаза — огонь и бархат черный; темное сукно их одежды все в заплатках из разноцветного ситца и полотна» ****. Это описание — тоже пестрый букет из критской корзины...

Местные греки очень бедны. Но на Крите другая бедность, чем в России, говорит Леонтьев, — не безобразящая, не унижающая. Здесь нет рабов... Пусть турки критян угнетают, режут, но и туземцы умеют за себя постоять: они часто восстают и «в свою очередь» режут турок.

---

* Л III, 12.
** Л II, 11.
*** Л III, 7.
**** Л II, 21.

У греков есть чувство собственного достоинства, хотя они и падки до денег, часто хитрят; но если их оскорбить, то им уже не до денежных расчетов и все они готовы лезть на рожон...

«Вообще можно сказать без долгих объяснений», — пишет Леонтьев в предисловии к «Критским очеркам», — «что простой народ на Востоке лучше нашего; он трезвее, опрятнее, наивнее, нравственнее в семейной жизни, живописнее нашего» *. На Балканах редко кто напивается до потери сознания, и женщин там не истязают, как в России.

Это были 60-е гг., когда намечалось русское народничество, когда Толстой уже открыл школу в Ясной Поляне и говорил, что не столько он детей учит, сколько сам у них учится, как и у их родителей-крестьян. Интеллигенция хотела народ понять, открывала в его душе бездну премудрости, верила в мужика и будто бы его любила: об этом писал Глеб Успенский, об этом же говорили Толстой и Достоевский. Но понимали ли они народ, любили ли его на самом деле? Очень уж много книжно-надуманного было в этой любви — неразделенной любви.

А Леонтьев — романтический эстет, писатель, для шестидесятников и позднее, для семидесятников, совершенно неприемлемый! Ведь всякая эстетика, всякая романтика была тогда «навсегда» отменена! Но он об успехе не заботился. А с критским народом ему весело было общаться — и с горцами-сфакиотами, и с овечьими пастухами или с тем саженным рыжим попом, о котором туземцы говорили: «Господи Боже мой, что за поп! Что за зверь был большой» **. И, по-видимому, критский народ любил не только золотые франки вице-консула, но и его самого — русского барина, который входит во все их дела и от души с ними веселится. Это тоже «хождение в народ», но эстетическое и не надуманное, как у народников.

На фоне этой эпической жизни все иностранцы кажутся ему жалкими...

Жалок русский консул, чахоточный Розенцвейг, который восхищенно завидует молодцам-киприотам и безнадежно влюбляется в бедную гречанку Хризо (в рассказе того же названия): она ему отказывает, убегает с красивым турком Хафизом и ради него переходит в мусульманство. Автор «не жалеет красок», описывая этот союз красавца Хафиза с красавицей Хризо: они для него прекраснейшие цветы Крита турецкого и Крита греческого! Ведь любил он и тех и других: и турок, и греков; и его восхища-

* Там же, 4.

** Л III, 61.

ло, что эта греко-турецкая любовь оказалась сильнее национальной розни!

Любовники плохо кончают: Хафиза убивают сфакиоты-инсургенты, а беременная Хризо с горя умирает. Автора же восхищает цельность этих эпических характеров: они еще не испорчены европейской цивилизацией, они еще живут полной жизнью — живой жизнью.

Красота не знает расового «вопроса». Красивы бывают турки, греки, а также и евреи. Брат Хризо — Иоргаки (Георгий) влюбляется в красавицу-еврейку Ревекку: она «хитрая», но и добрая, — этот тип всегда нравился Леонтьеву. За золотые волосы, змеиное тело и страстную душу Ревекке прощаются ее «грехи» — немецкие книги и французские наряды, вообще «европейскость»!* Все же в ней больше вкуса и доброты, чем во всех «мадамах» французского консульства... Заметим, «реакционер» Леонтьев никогда антисемитом не был: он судил людей не по коже, а по роже... Если рожа была кривая или, что еще хуже, — пошлая, то он готов был осудить и всего человека; но при этом его жестокая эстетика расовой ненависти не знала.

Чахоточный консул Розенцвейг на Леонтьева не походит, но все же он высказывает мысли автора: после Милькеева («В своем краю») он второй леонтьевский эстет-проповедник. Он говорит: «Турки — варвары, бесспорно; но благодаря их кровавому игу воздух критской жизни полон высшего лиризма. Счастье горца-грека в цветущей семье не есть жалкое счастье голландского купца, а лишь благородный отдых юного подвижника» **. Итак, варварство лучше цивилизации... Но, как мы увидим, Леонтьев — подобно некоторым романтикам и сентименталистам — осуждал не всякую вообще культуру, а только современную.

ХАМИД И МАНОЛИ

Лучший из критских рассказов Леонтьева и самый короткий — «Хамид и Маноли». Рассказчица — бедная критянка Катерина, дочь рыбака, вдова каменщика. Сперва она была прислугой у франков (французов), потом у турок. Франкский консул спас многих греков от турецкого погрома, и все же туркам она отдает предпочтение перед французами. «Кабы моя сила была», говорит Катерина, «я бы франков ко хвосту лошадиному при-

* Л II, 37.

** Там же, 45.

вязывала, да чтоб рвали их лошади на части!» * Пусть турки — исконные враги греков, но в быту они помягче, душевнее французов...

Катерина вынянчила своего младшего братца Маноли, красивого и глупого. Он «был такой белый, как английские барышни бывают», рассказывает сестра. «А глаза были у него синие, как море в жаркий день, и сладкие, тихие такие, когда он задумывается. Только я говорю, ни ума, ни хитрости у него не было» **.

Многие критские мусульмане любовались маляром Маноли. В особенности же он приглянулся молодому турку, табачному торговцу Хамиду, по прозванию Дели, что значит — сорви-голова. Он взял мальчика к себе в дом; покуривает, посматривает на него этот Хамид и вдруг вскрикивает: «Бог мой, вера ты моя, бояджи!» Бояджи значит красильщик. За это кощунство его арестовали и вместе с заплаканным Маноли привели к судье-кади.

«Спросил кади: “Правда, что ты маленького грека-красильщика назвал богом?” — “Нет, — говорит Хамид, — я не красильщика назвал богом, а Бога — красильщиком!”» Далее он поясняет:

«Смотрите, кади-эффенди! <...> смотрите на глаза этого гречонка. И в слезах насколько они прекрасны. А вчера эти глаза смеялись и цвет их был еще чище. Кто дал им этот небесный цвет? Кто был красильщиком этих глаз? Не Аллах ли, который один всемогущ и всеблаг? кто кроме него мог создать такие глаза? Вот поэтому-то и назвал я Бога — красильщиком!» Засмеялся кади, и все турки сказали Хамиду: «Ты большой хитрец, и смелости у тебя много». И отпустили его вместе с братом ***.

Грехи Хамида и Маноли мусульмане легче прощали, чем христиане. Сестра и другие греки постоянно укоряли молодого маляра, а иногда и поддразнивали, говорили, что он не может жениться. Мальчишке захотелось доказать, что он настоящий мужчина: и он своего покровителя зарезал. Это убийство турка греком послужило будто бы поводом для турецкой резни в 1858 г. Маноли был пойман и удавлен по приказанию паши. Тело его бросили толпе на растерзание.

Катерина, сестра-мать, знает, что брат ее нехорошо поступил, но она же и жалеет его. Для нее Маноли остается ребенком — братцем-дитяткой, которому она напевала колыбельные песни.

---

* Там же, 156.

** Там же, 159.

*** Там же, 162.

Автор слушает Катерину, смотрит на розовое цветение старого персика, на снежные вершины Сфакиотских гор и раздумывает:

«Я верил страданиям Катерины; но и страдания, и радость в этом прекрасном краю казались мне лучше тех страданий и радостей, которыми живут люди среди зловонной роскоши европейских столиц» *.

Эта эстетическая «мораль» в эпилоге рассказ портит, но все же он более удался Леонтьеву, чем другие критские повести — слишком растянутые и вялые. Все здесь эпически просто и четко. Катерину и Маноли автор понимает лучше, чем героев других критских рассказов — любовников, повстанцев: они оба живут! Между тем в других леонтьевских повестях (кроме «Исповеди мужа») живет только один герой — более или менее похожий на автора и отражающий развитие его личности. Чем это объяснить? Не тем ли, что в данном случае авторская проекция более сложная, не прямая. В распущенного Маноли Леонтьев проецирует свое женственное «я», а в Катерину — ту материнскую жалость к самому же себе, в которой он так долго нуждался. Здесь нет схематизма в описании героев, как в «Хризо» и «Сфакиоте»; и здесь не одна только живописная экзотика, как в большинстве балканских повестей; здесь автор перевоплотился в героев, казалось бы, ему очень чуждых, далеких, но втайне — близких, понятных. Эти брат и сестра его задели за живое, почему-то очень ему понадобились в его диалектике Нарцисса: может быть, он себя узнал и от себя отшатнулся — в Маноли, но и себя же пожалел жалостью Катерины — и написал этот простой, очень сжатый, эпический рассказ.

НОВЫЙ ЭПОС?

Некоторые современные критики утверждали, что балканские рассказы Леонтьева очень объективны и что автора в них «почти не видать» (В. Неклюдов, Аноним в газете «Голос», А. Александров) **. Но то же самое утверждает и более изощренный критик Серебряного века Б. А. Грифцов (1885—1950): на Балканах Леонтьев писал «эпически успокоенные, поверхностные греческие повести» ***, это — эпос, а не лирика. Отчасти они правы; и мы знаем, что сам Леонтьев стремился быть объективным в изложении.

---

* Там же, 179.

** Русский вестник, 1892, IV, 270–271.

*** Русская мысль, 1913, I, 97.

Критские или эпирские рассказы не загромождены деталями, хотя и пестрят «описаниями-букетами»; и в них нет подробного психологического анализа, нет глубины; они графичны, двухмерны. У каждого из героев — две-три черты характера, и автор показывает их в действии, не в созерцании, т. е. более объективно. Но объективноть эта была обманчивая...

Балканские рассказы могут показаться схематичными, упрощенными. Но надо понять намерения автора: он везде добивается стилистической строгости, четкости. Ему так хотелось выйти из ненавистных ему трущоб «натуральной школы» на светлый простор нового эпоса. Именно поэтому он сознательно упрощает повествование; упрощает он и психологию своих балканских героев — тех греков и турок, которыми он так восхищался на Крите, во Фракии и в Эпире. Его сказание «Дитя души» (1876) — эпическая поэма в прозе. Но сам он был героем лирическим, а не эпическим! Это хорошо понимал Грифцов: «Упорная верность болезненно-грустных чувств, — пишет он, — привела Леонтьева к позднему, но яркому расцвету»; он — тайный предшественник декадентов *. Все эти черты не эпические. Но существенно, что Леонтьев хотел быть эпическим поэтом! Однако он им не был, как ни старался... Неверно, что автора «почти не видать» в балканских повестях. Мы видели, как он проецировал свои «болезненные» чувства в рассказе «Хамид и Маноли». Казалось бы, Яни, рассказчик и герой повести «Сфакиот», — и прост, и эпичен. Но есть странная изощренноть в его самолюбовании, в его леонтьевском упоении красками! Эгоцентричен и образованный грек-рассказчик Иоргаки в повести «Хризо». Так что оба они могут быть включены в леонтьевскую галерею нарциссов — героев лирических, а не эпических.

Можно находить прелесть в этом смешении элементов эпоса и лирики в балканских рассказах Леонтьева. Но многое в них художественно неубедительно. — Греки в его критских повестях — великие патриоты; они участвуют в восстаниях против турецкого владычества. Все же чувствуется, что их борьба, их идеалы автора не вдохновляют; и не потому только, что он сочувствует и грекам, и их врагам туркам! Существенно другое: героизм его восхищает, трогает, но он им не проникается и впадает в риторический тон; или же — дает стилизацию: легенда «Дитя души» написана псевдонародным сказом. С большим умением описывает он уличные драки, народные гулянья, свадебные пиры: т. е. красочные картины, этнографию, но не героические деяния, не

* Там же, 87.

эпос. Или же вносит свою же собственную «лирику» в душу эпически монолитных героев: и тем самым усложняет их и нарушает объективность изложения.

ОСКОРБЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ

Летом 1864 г. Леонтьев зашел в канцелярию французского консульства. Консул Дерше (Derché) оскорбительно отозвался о России. Леонтьев ударил его хлыстом по лицу. В нем «заговорила кровь» его вспыльчивого деда Карабанова, который был скор на расправу...

— Misérable! — крикнул ему француз.

— Et vous n'êtes qu'un triste Européen!..[42] — ответил Леонтьев *.

Позднее он любил вспоминать об этом инциденте. Ему казалось, что в лице Дерше он оскорбил не только ненавистную ему Францию Наполеона III, но и всю буржуазно-обывательскую Западную Европу... Недаром ведь он назвал Дерше жалким европейцем, а не французом!

Лучше всего он описывает эту «историю» в романе «Египетский голубь» (1881), и именно оттуда я заимствую все подробности.

Французский консул не вызвал на дуэль русского драгомана, и начальство за него не вступилось. Леонтьева же отозвали в Константинополь и сделали ему выговор по службе. Однако это была только «формальность»...

В «Египетском голубе» Леонтьев описывает свою беседу с «начальником», которого по имени не называет. Но, несомненно, это был новый посол граф, Н. П. Игнатьев (1832—1908). Вот что сказал этот «начальник»:

«...Всякий русский может быть рад, что вы его съездили (чтоб он не смел грубить); но ведь нельзя *открывать новую эру* дипломатии побоев на основании вашего прецедента, который лично, положим, может все-таки нравиться. Держите русское знамя высоко; я буду, верьте, помогать вам; но старайтесь не прибегать уж слишком часто к таким voies de fait»[43].

«Я был и обрадован и немного смущен этой речью молодого и молодцеватого нашего начальника: тут было столько и лестного, и ободрительного, и слегка насмешливого, и повелительного, и товарищеского» **.

---

* Л III, 325.

** Там же, 327–328.

Заметим, что тогда Игнатьеву было не больше тридцати двух лет и, следовательно, он был на год моложе Леонтьева: незадолго до этого ему удалось заключить чрезвычайно выгодное соглашение с Китаем; по этому договору к России отошли земли по Амуру и Уссури. Он уже имел тогда репутацию государственного деятеля большого масштаба.

Граф Игнатьев назначил Леонтьева вице-консулом в Адрианополь, с тем чтобы он через несколько дней после прибытия на место службы заменил уходящего в отпуск консула Золотарева (Богатырева в «Египетском голубе»). Итак, ему доверили вполне самостоятельную работу, и на посту более значительном, чем Крит. Его послали в «чреватую беспорядками» Фракию, в Адрианополь, в который дважды входили русские войска (в 1829 и 1878 гг.). Это было — повышение по службе.

Пребывание на Крите Леонтьев назвал медовым месяцем своей дипломатической службы. Адрианополь же был скорее трудным экзаменом, который Леонтьев блистательно выдержал. Граф Игнатьев одобрял его действия, а старый канцлер А. С. Горчаков с особенным интересом читал его реляции из Фракии.

Леонтьев, неплохой врач, превратился в отличного дипломата, но, как прежде, он более всего был занят самим собой — сложным развитием своей противоречивой личности.

ФРАКИЯ

Назначение в Адрианополь состоялось 27 августа 1864 г. Жалованье ему определили небольшое (1 500 рублей с казенной квартирой), а он любил тратить деньги, не считая... И часто входил в неоплатные долги.

В своих замечательных «Воспоминаниях» (1879) Леонтьев подробно описывает свое путешествие по бедной и унылой Фракии. Здесь нет тех натяжек, которые мы находим в его «эпических» повестях из балканского быта. Фабула его всегда «связывала»; ведь по натуре он был лириком, а не эпиком. Чувствуется, что заметки (как и письма) он пишет не по принуждению, а по влечению. Он умеет подмечать, умеет наслаждаться тем, что видит, и умеет передавать свои впечатления в стиле небрежно-импрессионистическом и художественно убедительном. Внимание путешествующего Нарцисса ни на чем и ни на ком не задерживается; но каждая новая «импрессия» его радует, и его радость всегда очень «заразительная».

Где-то на большой дороге Леонтьев подает пять пиастров нищему с «ласково-томными, прекрасными черными глазами». Потом оказалось, что это не нищий, а разбойник, но безоруж-

ный и поэтому — неопасный... Тут же он признается в романтической любви к разбойникам! Их следует преследовать и наказывать, замечает он, а все же они лучше людей цивилизованных: так волка, гиену и тем более леопарда можно предпочитать домашней свинье или безвредному ослу! *

Леонтьев открыт всем вообще новым «впечатленьям бытия». Пусть он проклинает ночь, проведенную в грязном хане (постоялом дворе), но вместе с тем он дает этой ночи все права на бессмертие. Пушкину и Лермонтову нужны были события (черкесы, контрабандисты), чтобы они эту ночь заметили и описали. А с Леонтьевым ничего не случилось, хотя он и опасался ограбления. Эта ночь его поразила и вдохновила, как нечто необычайное и нарушающее монотонию будней. Он даже не побрезгал здесь теми грязными деталями, за пристрастие к которым он так осуждал писателей «натуральной школы»; блохи, дым, чад, кашель его раздражали, но и обостряли ощущение жизни **. В его описании все до отказа насыщено бытием, все экзистенциально, как сказали бы теперь... Здесь можно говорить об утончении восприимчивости, которая постепенно мельчает, но и обостряется — улавливает детали, выпадавшие из поля внимания Пушкина и Лермонтова, но не Гоголя, который в вещах незначительных и будничных находил то, что позднее Анненский называл «поэзией пошлости». Пушкин тоже был неравнодушен к будничнобытовым мелочам, но не в прозе, а в стихах («фламандской школы пестрый сор» в «Путешествии Онегина»).

Описания природы в прозаических произведениях почти всегда читателя утомляют... Их немного у Леонтьева, и, на мой вкус, все они очень хороши. Он умеет природу «организовывать», как художник-колорист на картине. Вот один из его фракийских ландшафтов в окрестностях Адрианополя (все курсивы мои. — *Ю. И.*):

«...*Сероватое* поле, с одной стороны чудные, *беловатые с пятнышками,* толстые, сочные стволы тополей <...> у подножия тополей “я” желал бы видеть болотную *зелень* и чтобы она была как можно *зеленее,* веселее, ярче. Молодой болгарин задумчиво пашет плугом на волах. На голове его *темно-синяя* чалма; шальвары и куртка *темные*. По плечам из-под чалмы падают *русые* кудри <...> Я желал бы еще, если возможно, чтобы на сырой *зелени* болотца было несколько *желтых* цветов, а где-нибудь

* Л IX, 255–256.

** Там же, 251–254.

около развалин мечети цвел бы самый яркий, самый *красный* дикий мак» *.

Такую картину Леонтьев предлагает написать русским художникам. Он также придает ей аллегорическое значение: там, где мусульманство в упадке, нарождается новая Болгария... Но, к счастью, мы знаем, что в своих описаниях-букетах он любил и краски ради красок! И он умеет хорошо их показывать — безо всякой тенденциозной дешевки в стиле передвижников. Он скорее всего импрессионист до импрессионизма...

Увлекает же в этой фракийской «картине» то, что Леонтьев показывает весь процесс творчества, а не сразу же дает его результаты. Здесь нужна зелень, замечает он, а позднее добавляет к зеленому желтое; таким образом, ландшафт этот пишется на глазах у читателя.

АДРИАНОПОЛЬ

Адрианополь — столица турецких султанов (до взятия Константинополя). Там еще сохранились монументальные мечети и мраморные фонтаны с арабскими письменами, и все же это была провинция, глухая провинция.

Археологией Леонтьев не интересовался. Он всегда жил настоящим, хотя и отдавал предпочтение «цветущему» прошлому и мусульманской Турции, и христианской Европы. Ему нравится современная пестрота обнищавшего Адрианополя — разноцветные одеяния и постройки. Он восхищается раскраской домов: голубых, розовых, белых, зеленых, желтых или «темно-кровного цвета, terre de Sienne brûlée[44]» **.

Его alter ego в «Египетском голубе» (консул Ладнев) любит разъезжать по Адрианополю «в круглой шапочке набекрень и в шубке, лихо подтянутой ремнем, в шубке лисьей, в шубке русской такой, в шубке такого же ярко-голубого цвета, как дом этого бея с киоском или как июльское небо теплых стран» ***. Он влюблен в Машу Антониади, но влюблен и в самого себя, и в пестрый Восток. Его мерная речь напоминает то бормотание, из которого иногда рождаются стихи:

О дымок,
Дымок мой!
Серый дымок

* Там же, 284–286.
** Л III, 332.
*** Там же, 368.

под нагими садами зимы!..
как ты мил мне,
зимний дымок
турецкого пестрого города...

Если так выписать этот текст, то получим стихи разных трехстопных размеров (анапест, дактиль, амфибрахий).

Читаем дальше: «Я счастлив... Я страдаю... Я влюблен без ума... влюблен. Но в кого?» Мы знаем — в кого. Все в ту же Машу Антониади (о которой речь впереди...). Но здесь Леонтьев-Ладнев дает другой ответ: «Я влюблен в здешнюю жизнь; я люблю всех встречных по дороге; я люблю без ума этого старого бедного болгарина с седыми усами, в синей чалме, который мне сейчас низко поклонился; я влюблен в этого сердитого, тонкого и высокого турка, который идет предо мною в пунцовых шальварах... Мне хотелось обоих их обнять; я их люблю одинаково».

Здесь Леонтьев преисполнен той «адмирации», которую он так в себе любил; и замечательно, что объект этой «адмирации» не разбойничья героика в духе Байрона, а бедная, будничная жизнь, в которой он находил столько прелести. К тому же — это ведь восточные будни, не серые, как в России, а пестрые (синяя чалма, пунцовые шальвары...).

Этот лирический отрывок заканчивается следующим признанием: «Вот как желал бы я долго и много писать. Так писать мне приятно. Но кто станет читать меня, если я так напишу длинную повесть любви и буду мечтать безо всякого порядка и правил? Никто!» *.

Действительно, такая ритмическая проза, полная лирических излияний, могла бы читателя утомить; все же эти поиски нового жанра сами по себе очень интересны.

Мерную прозу Леонтьева следовало бы сопоставить с его стихотворениями того же периода (1864—1871): но они не были опубликованы и хранятся сейчас в литературном архиве (ЦГЛА). Мне же известны только некоторые его гекзаметры из поэмы, написанной в юности (1851), и несколько эпиграмм 60-х гг. ** Стихи эти слабые, и по ним едва ли можно судить о его стихотворных опытах.

---

* Там же, 333–334. Но вторую строчку (дымок мой!) можно считать ямбической (с «женским» окончанием).

** *Архимандрит Киприан <Керн>*. Из неизданных писем К. Леонтьева. Париж, 1959.

У Леонтьева было свое видение мира, у него было новое восприятие вещей (a new sensibility), которое бывает только у гениальных художников. Может быть, он лучше бы проявил себя в более эстетическую эпоху — в пушкинскую или блоковскую, — и создал бы произведения большого стиля (в поэзии или в прозе). Все же можно находить немало прелести в произведениях писателей, которые, подобно Леонтьеву, не сумели себя вполне проявить. Чтение леонтьевских книг всегда вознаграждает. Иногда перечитываешь его без особого интереса и вдруг — как в данном случае — неожиданно приоткрывается новая, неведомая еще точка художественного зрения: отрывки поэмы, написанной свободными стихами, или же проза, близкая поэзии, т. е. новая форма и, конечно, новая тема. Но Толстой написал роман «Войну и мир», а Леонтьев не написал задуманного им романа «Война и Юг»! Гоголь написал поэму «Мертвые души», а Леонтьев не написал поэмы, которая, допустим, могла бы называться «Живые души»! Но и по тому, что он наметил, набросал, можно иметь некоторое представление о размахе его творческой мысли.

Следовало бы когда-нибудь издать избранного Леонтьева: и такая хорошо составленная антология стояла бы в идеальной русской библиотеке между такими книгами, как «Былое и думы» (Герцена) и «Уединенное» (Розанова).

ИДЕАЛЬНЫЙ КОНСУЛ СТУПИН

Среди прежних русских консулов в Адрианополе особенно выделялся Ступин. По мнению Леонтьева, он лучше всех других понимал и представлял русские интересы во Фракии. Его влияние и популярность среди местного населения возбудили против него иностранных консулов и приматов-католиков [45]. Более подробно рассказывает о «ступинской истории» Ю. С. Карцов, приятель Леонтьева *. Жена французского секретаря посольства и возлюбленная русского посла в Константинополе кн. А. Б. Лобанова-Ростовского нажаловалась ему на Ступина, и тот его сместил... Возможно, что здесь кое-что преувеличено (влияние француженки на русскую политику!).

Леонтьев встретил Ступина еще в Петербурге, в Министерстве иностранных дел, где он начал свою дипломатическую службу в 1863 г. Ступин приехал туда с жалобой на кн. Лобанова-Ростовского и получил «полное удовлетворение». Все же на Балканы его не вернули и отправили в Тегеран (где он вскоре умер, в 1866 г.).

* *Карцов Ю. С.* Семь лет на Балканах (1906).

Ступин Леонтьеву очень понравился: «Бледный и сухой, но крепкий, белокурый, с одними усами без бороды, а взгляд строгий, покойный» *. В Адрианополе же Леонтьев по местным рассказам и легендам воссоздает образ этого, по его мнению, идеального русского консула. Он пишет о нем в «Воспоминаниях о Фракии» и в романе «Одиссей Полихрониадес», где Ступин назван Буниным и где о нем с восторгом рассказывает фракийский купец болгарин Хаджи-Хамамджи (а настоящее его имя Хаджи-Кариаджи).

Ступин-Бунин строит русскую церковь, учреждает болгарскую школу, ходит в гости к бедным болгарам и назвает их «братьями». Но его нельзя назвать идеалистом славянофильского направления. Он вобще не книжный человек, а дипломат-практик. Он дружит не только со славянскими «братьями», но и с турецким пашой, охотится с ним, «ест и пьет вместе». Но вот Ступин узнает, что медир (судья) прибил одного болгарина (русского подданного). Он немедля едет в меджлис (суд) и «раз, два» — дает две пощечины медиру и опять отправляется к паше и всячески его увещевает, а тот делает вид, что русский консул ему даже чем-то помог **.

Леонтьев говорит, что туркам «нравилось (и основательно!) в этом человеке барское соединение внешней почти азиатской эффектности с душевной простотой... Им нравилась истинно старорусская эта черта... Это и мужику русскому очень нравится. Ненавистно и тяжело и чуждо и восточному человеку, и русскому мужику — холодное, сухое джентельменство, притворно-вежливое, простое только с виду» ***.

Ступин о внешности своей не заботился, ходил в какой-то боярке и в меховом колпаке. В этом «странном» одеянии он принял французского консула. Тот обиделся и написал на него донос.

Политика Ступина, говорит Леонтьев, была ему подсказана местной средой, т. е. теми приматами-русофилами, которых сам Леонтьев не любил. Эти приматы, или старшины, хотели, чтобы Фракия после отпадения от Порты подчинилась «полурусскому правлению с русским князем во главе». Русских здесь помнили и любили: они хорошо вели себя при занятии Адрианополя в 1829 г., тогда как французская армия, проходившая через этот город в 1854 г., будто бы бесчинствовала. Русские не оскорбля-

---

* Л IX, 268.

** Там же, 270–271.

*** Л IX, 274.

ли мусульман, как французские зуавы, явившиеся сюда в качестве союзников турок. Это будущее фракийское княжество не будет походить на демократическую Грецию с ее демагогами в пиджаках. Исполнительная власть должна быть сильной — патриархально-суровой и справедливой, примиряющей греков и болгар; наконец, не следует раздражать мусульманского населения: наоборот, нужно всячески привлекать мулл, беев и простой народ, так заключает Леонтьев характеристику ступинской программы *.

В своей консульской деятельности Ступин, несомненно, руководствовался одними политическими соображениями. Леонтьеву же идея русско-фракийского княжества импонировала тем, что в нем сохранилась бы пестрая самобытность. Как и всегда, его основной критерий был чисто эстетический. В данном же случае он радовался тому, что его эстетика совпадала с идеальной для него ступинской политикой, которую он пытался проводить во время своего недолгого управления консульством. Он у Ступина учился, но на него самого нимало не походил.

КОНСУЛ ЛЕОНТЬЕВ-ЛАДНЕВ

Об адрианопольской жизни и деятельности Леонтьева мы знаем по его воспоминаниям о Фракии (1879) и по его автобиографическому роману «Египетский голубь» (1881). Главный герой этой повести — Ладнев (второй) был консулом в Адрианополе. А с другим Ладневым (первым), московским студентом, мы уже знакомы по роману «Подлипки» (1861). Ладневы и Леонтьевы московские и адрианопольские — такие же эгоцентрики, Нарциссы, но все же они друг от друга отличаются.

Московский студент «обливался слезами», читая тургеневские «Записки лишнего человека», а адрианопольский консул заявляет, что не хочет быть слабым героем Тургенева и его жалких подражателей. «Самоунижения сороковых годов я знать не хочу, я его презираю. Я хочу быть правым пред высшим судией моим, пред самим собой» **. Первый тешится мечтами, а второй на самом деле живет, действует, хотя иногда любит и помечтать.

По верному замечанию Леонтьева, каждый европейский консул в Оттоманской империи был тогда «в одно и то же время дипломат и нотариус, революционер и консерватор, смотря по нужде, по эпохе, по интересам своей державы, по местности» ***.

* Там же, 302–303.

** Л III, 436.

*** Л IX, 261.

Менее всего интересовала Леонтьева нотариально-юридическая работа, сводившаяся к защите русских подданных во Фракии. А их было немало, и они часто ссорились, судились. Многие из них были — по происхождению своему — греками, болгарами, евреями. Одного русского еврея, варшавского портного, другой еврей, австрийский драгоман, обозвал «русской сволочью» и ударил хлыстом; из-за этого возник своего рода международный конфликт между адрианопольскими представителями России и Австрии; каждый консул с большим упорством защищал «своего еврея». Другой случай: восьмилетняя крымская татарка, тоже русская подданная, получила из России наследство в размере 800 рублей; деньги эти где-то затерялись, и после долгих поисков их нашли в шкафах русского консульства! Во всех этих делах, как в дрязгах, так и в тяжбах, Леонтьев плохо разбирался, и ими обыкновенно занимался грек — драгоман консульства Манолаки (Михалаки в «Египетском голубе»), которого он в шутку называл Меттернихом*.

Леонтьева преимущественно интересовала высокая политика. Политические же инструкции, которые русские консулы получали через посла в Константинополе, были очень широкие и не слишком определенные; Леонтьев сводит их к двум главным пунктам.

1. Наблюдение за тем, что в данной местности делается и даже думается; сюда входили и статистические обследования; этого рода фактическая информация Леонтьева мало занимала, но он интересовался настроениями фракийских болгар и греков.

2. Каждый русский агент должен «держать себя в стране так, чтобы помнили, что есть на свете Россия, единоверная христианам»; и этого Леонтьев никогда не забывал: престижу он придавал большее значение, чем информации**.

Замечательно то, что, утверждая величие России на Балканах, Леонтьев вместе с тем утверждал и свое собственное величие консула: свое «я» (Нарцисса) он иногда бессознательно отождествлял с Россией, и, кажется, Российская империя от этого только выигрывала. Посол граф Игнатьев и канцлер князь Горчаков его деятельность одобряли. Последний был лицейским товарищем Пушкина, любил «литературность» и, как говорят, с особенным удовольствием читал донесения Леонтьева (вероятно, они до сих пор хранятся в архивах и когда-нибудь будут опубликованы).

---

* Там же, 296–297.

** Там же, 294.

Вот два очень леонтьевских панегирика дипломатической службе на Балканах.

1. «Столько простора самоуправству и вдохновению, столько возможности делать добро политическим “друзьям”, а противникам безнаказанно и без зазрения совести вредить!.. Жизнь турецкой провинции была так пасторальна, с одной стороны, так феодальна, с другой...» («Египетский голубь»)*.

2. «Это не просто служба, это какой-то восхитительный водоворот добра и лжи, поэзии и сухости, строгого формализма и свободной находчивости, тончайшей интриги и офицерской лихости, европейской вежливости и татарского размаха...» («Воспоминания о Фракии»)**.

Как не походят эти признания «хищного эстета» Леонтьева на нравственную проповедь других русских писателей, которые будто бы вышли «из-под “Шинели” Гоголя»! (и тут же добавим — из-под «Шинели», очень произвольно истолкованной!).

Читателю следовало бы прочесть все балканские повести и записки Леонтьева, чтобы иметь представление обо всем этом упоительном для него «водовороте добра и зла»! Одних цитат здесь недостаточно... А сейчас я только отмечу, что Леонтьев проявлял самоуправство преимущественно по отношению к сильнейшим или равным противникам (к консулам или к униатам). Он резко осудил своего шефа Золотарева (Богатырева в «Египетском голубе») за его приказ рубить ятаганом турецких пожарных, которые преградили ему дорогу в каком-то адрианопольском закоулке! Малых сих он никогда не трогал и любил их приободрять! Но не из любви-жалости к «младшим братьям», а из рыцарского великодушия!

Итак, в Адрианополе Леонтьев наконец живет той жизнью, которой всегда хотел жить. И эту живую жизнь он всегда любил и ценил больше, чем литературу, и, может быть, именно поэтому никогда не смог вполне проявить себя в искусстве. Созерцание кончилось и началось «алкивиадство»... Впрочем, поле деятельности этого нового Алкивиада было очень ограниченное. Ему не пришлось «бунтовать народ», как это позднее делал в Боснии его знакомый В. С. Ионин, и он не «царил» во Фракии, как А. С. Ионин (брат предыдущего) в Черногории. В Адрианополе никаких исторических событий тогда не происходило; и через несколько месяцев вернулся главный консул Золотарев, а с ним Леонтьев иногда расходился во взглядах.

---

* Л III, 328.

** Л IX, 299.

Что же Леонтьев делал во время единоличного управления консульством? По долгу службы и по собственному убеждению он мешал пропаганде униатских священников среди болгарского населения; он мешал и иностранным консулам, например английскому агенту Блонту * (Виллартону в «Египетском голубе»). Он также должен был мешать турецким властям — паше-губернатору. Ему же вменялось в обязанность всячески покровительствовать т. н. греческим и болгарским приматам (торговцам, помещикам). Но здесь интересы Российской империи не всегда совпадали с эстетикой русского консула: очень уж его восхищали живописные одеяния и нравы турецких правителей; нравилось ему и мусульманство; наконец, он считал неблагородным унижать и без того уже униженных пашей, беев, мюридов! А дружественных России приматов он люто ненавидел за бездарное подражание европейской буржуазии, за сальные сюртуки, за грязные рубашки, за немытые руки и за модное безбожие! Именно поэтому Леонтьев иногда «обрывал» уже упоминавшегося русского драгомана из греческих приматов Манолаки (или Михалаки в «Египетском голубе»), хотя и очень высоко расценивал способности этого доморощенного Меттерниха. Как-то Манолаки-Михалаки сказал ему: вы изучали медицину и поэтому не можете верить в Бога... Возмущенный Леонтьев-Ладнев немедленно же «обличил его в лакейском атеизме»... ** (Заметим, что Шатов в «Бесах» Достоевского говорит «о лакейской нелепости» безбожников-революционеров.) *** Консул Золотарев-Богатырев вступился тогда за драгомана и сказал Леонтьеву-Ладневу: нельзя так оскорблять человека, всецело преданного России. Но как мы знаем, Леонтьев-Ладнев был прежде всего предан эстетике!

Были еще другие приматы: ярые католики и русофобы. И им Леонтьев мешал жить... Когда-то их гостем был Ламартин: и Леонтьев уверяет, что автор «Грациеллы» и «Озера» не мог не страдать от гостеприимства своих пошлых единоверцев!

Леонтьев сочувствовал не только туркам, но и полякам — самым непримиримым врагам России. Он их часто встречал в Турции. Некоторые из видных польских эмигрантов проживали тогда в Адрианополе и служили в турецких войсках. Особенно

---

* Блонт — John Elijah Blunt, † 1916. В продолжение 10 лет был вице-консулом в Адрианополе (с 1862 г.). Данные получены от Sir Richard Allen и Mr. B. R. Pearn (Foreign Office, London).

** Л III, 434.

*** *Достоевский Ф. М.* Собр. соч. (1957), VII, 257.

выделялся высокий и красивый граф Доливо-Ландцковский (Мурад-бей). Ладнев смотрит на него из окна и любуется: очень уж лихо гарцует поляк на коне! Правда, в своих донесениях он постоянно пишет неприятные для поляков «вещи» (против католической пропаганды); и он знает, что паны с удовольствием швырнули бы в него камнем. Однако это его радует. Вражда его увлекает, вдохновляет. Он признается: «...я полюбил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми вовеки, и стал считать почти священнодействием мое страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически-неразгаданным» *.

Но Леонтьев-Нарцисс, обернувшийся Леонтьевым-Алкивиадом, настоящей борьбы не дождался. Россия, едва оправившаяся после Крымской катастрофы, об экспансии тогда не помышляла. И знамя этой исподволь крепнущей России он «высоко держал» на Балканах, хотя, как мы видели, его эстетика не всегда совпадала с «видами русской политики».

МАША АНТОНИАДИ

В Адрианополе у Леонтьева было меньше досуга, чем на Крите. Все же он находил время для развлечений. Он танцует с болгарками и гречанками на свадьбах и, может быть, на народных гуляньях. Туземные девицы ему нравились, особенно же подростки. Его биограф (Коноплянцев) говорит о леонтьевском «культе сладострастия» ** в те годы, а один из его позднейших почитателей (Закржевский) уверяет, что на Балканах он будто бы имел целый гарем! *** Однако, все это только слухи, ничем не подтверждаемые. Но мы знаем, что в письме к молодому другу К. А. Губастову, который позднее был назначен в Адрианополь, Леонтьев советовал ему завести возлюбленную (простенькую болгарку, гречанку или турчанку!) ****.

В «Египетском голубе» всему этому дается иное освещение. Ладнев (второй) в этом романе постоянно твердит о своих «правах на блаженство» и о том, что он должен «наслаждаться», но имеет в виду — не грубые наслаждения; и он преодолевает низменные искушения; не соблазняет приглянувшуюся ему пятнад-

* Л III, 379.
** Памяти К. Л., 63–64.
*** Христианская мысль, 1916, IV, 113.
**** Памяти К. Л., 196–197.

цатилетнюю болгарку *. Его бог любви — особенный, им самим не вполне разгаданный.

Героиня «Египетского голубя» — Маша Антониади. Ее муж — греческий негоциант, европеец по воспитанию и по манерам. Этого хиосского торговца Ладнев постоянно поддразнивает. Он говорит, что все ему на Востоке нравится, кроме модного подражания Западу. Однако не все плохо и в Европе, например поэзия, «обоготворение изящной плоти» у Гете, Альфреда де Мюссе (а в России — у Пушкина, Фета). Если эпос на Балканах угасает, то пусть придет ему на смену — лирика. Он жалеет, что вместо «умолкнувшей и милой пастушеской песни не поется у христиан Востока блестящая ария страстной любви...». «Если бы к прелести и пестроте картины окружающих нравов», говорит Ладнев, «возможно было бы прибавить потрясающую музыку страстных чувств и наслажденья живой и тонкой мысли, то мне казалось, что лучшей жизни нельзя было бы во всем мире найти». Иначе говоря — Ладневу не хватало на Балканах романтизма. Если бы на то была его воля — он ввозил бы туда с Запада не кринолины и цилиндры, не конституционные проекты, а соблазнительные сочинения Байрона, Жорж Санд, Альфреда де Мюссе! Все эти рассуждения русского консула чрезвычайно раздражают негоцианта Антониади, а Маша говорит в угоду мужу: «...если есть что-нибудь хорошее на Востоке, так это именно чистота семейственной нравственности» **.

Роман называется «Египетский голубь» — и уже на первой его странице раздается воркование: «короткое, густое и с каким-то особым внезапным возгласом, который мне казался исполненным томительной любви и почти болезненной радости». Ладнев, слушая голубя, сам томится, чего-то ждет и влюбляется в Машу Антониади. У нее «большие, черные, “бархатные” глаза, ласковые, хитрые; и что за цвет лица, золотистый и «теплый!» А овал его был слишком узкий и длинный, но и этот недостаток восхищает Ладнева, потому что ему хотелось за что-то пожалеть Машу ***.

Прототип Марии Антониади нам неизвестен; она ничем не похожа на жену английского консула Блонта ****, к которой

---

* Л III, 354.

** Там же, 309–312.

*** Там же, 276–277.

**** Mrs. J. E. Blunt, жена британского вице-консула в Адрианополе, см. предыдущую главу. О ней же в письме к Губастову от 29 февр. 1868 г. (Памяти К. Л., 196)): «...только пользуясь ее благосклон-

Леонтьев ходил читать Д. С. Милля. Но она отдаленно напоминает его подругу юности Зинаиду Кононову. Это все тот же «тип» хитрой (лукавой), но и доброй гетеры. Но есть и разница: Зинаида — завлекала, а Маша только привлекает и «в руки не дается». Ладнев часто ее посещает. Они вместе читают русских поэтов, книгу Фламмариона «о звездах» и подолгу беседуют наедине; они никак не могут вдоволь наговориться, но в любви не признаются, хотя и знают, что любят друг друга.

Ладнев пространно рассуждает об измене и верности. «Когда нельзя отбивать чужую жену? — спрашивает он. — Когда муж — "седой младенец кабинетного труда" (как в одном романе Диккенса); или же — старый табачный торговец Гуссейн, в котором столько детской доверчивости; или — если это молодой человек вроде его слуги Велико — чистый сердцем красавец. Тогда на чужую жену нельзя посягать! Но кто такой месье Антониади?» — И он отвечает: «...сухой и холодный хам; один из тех европейских буржуа, которых весь род я до фанатизма, до глупости ненавижу» *. Все же Ладнев не пытается Машу соблазнить: да он и не мог бы это сделать — Маша осторожна, неприступна, горда.

Странным образом Ладневу нравится неопределенность их отношений; томление он предпочитает страсти и упивается этой любовью — «полуидеальной, получувственной». Его также увлекает тот «тонкий анализ болезненных чувств», который, по верному замечанию Б. А. Грифцова, мы находим во многих писаниях Леонтьева, «тайного предшественника декадентства» **. Вот пример этого анализа: «В ней (Маше) было нечто такое, что меня томило», пишет Ладнев; «в ней как будто таилось что-то изящно-растлевающее, нечто тонко и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое, доброе и лукавое, тщеславно-милое, что заставляло меня глубоко "вздыхать", вздыхать счастливо, вздыхать от той сладкой сосредоточенности, которая теснит грудь и открывает пред влюбленной мыслию бесконечные и восхитительные, в самой неясности своей, перспективы...» ***

«Нелюбопытные» русские читатели, хорошо знающие, «как любят» в мире Тургенева, Толстого или Достоевского, так и не

ностью, можно постичь вполне все силы и все дарования, которые в ней кроются. А ее царственный вид и оболочка мнимой холодности? А ее патриархальное обращение и доброта с прислугою? и т. д.».

* Л III, 435–437.

** *Грифцов Б. А.* // Русская мысль, 1913, II, 72. См. выше.

*** Л III, 323.

обратили внимания на этот спектр нюансов любви у Леонтьева, который поклонялся неведомой Афродите — не Небесной, не Простонародной, а Промежуточной. Кажется, что Ладнев с Машей витают в какой-то средней сфере, где-то между небом и землей, как «Недоносок» Баратынского. Если это «декадентство», как утверждает Грифцов, то более тонкое, чем, скажем, у Гюисманса или Сологуба; и нет в леонтьевской «утонченности» никакой фальши, претенциозности, как у многих символистов. Пусть чувственность Ладнева очень уж странная, капризная, но притворства здесь нет. Так любить — для Леонтьева естественно. Это любовь платоновских андрогинов, о которых он, вероятно, ничего не знал. Но, как я уже говорил, Бердяев был, по-видимому, прав, утверждая, что природа Леонтьева — муже-женская. У него черты андрогина и, добавим, Нарцисса. Это не только красивые слова, а — правда, полуутаенная им правда. Если в жизни Леонтьев и служил Афродите Простонародной (с болгарками или турчанками!), то в искусстве с этой любовью ему «нечего было делать». Грубое его иногда соблазняло, но никогда не вдохновляло.

Маша Антониади напоминает Ладневу куст русской черемухи — эта метафора в тургеневском стиле, но ее «функция» в романе ничего общего с Тургеневым не имеет! Эту черемуху Ладнев видел в детстве на островке — в чаще «густого и грубого лозняка», где она «цвела как будто сама для себя», а он так и не мог до нее дойти! * И до Маши он не доходит, а только издали ею любуется — в ее же гостиной, которую он так подробно описывает (в виде «красочного букета»): в этой просторной комнате светло-оливковые стены, темно-зеленый смирнский ковер, темно-красные турецкие диваны и тут же стулья, обитые белым шелком с вышитыми на них пастушками и овечками в стиле рококо. Ладнев в восторге от киоска Антониади и говорит Маше, что ему так нравится это «смелое соединение восточных вкусов с европейской тонкостью понимания». Этот киоск напоминает ему помещение в гареме великого визиря, который украсил его стульями рококо из ограбленного австрийского замка! ** Здесь «разностилие» оправдывается эстетикой грабежа! И ему кажется, что эта восточно-западная зала — лучший фон для Маши Антониади, которая расцветает в ней сама для себя: она ведь тоже Нарцисс, но в женском виде (Нарцисса!). Но не Маша доминирует в романе. Пусть Ладнев ею одержим, но все же образ

* Л III, 329.

** Там же, 413–415.

ее слабо намечен: она больше черемуха, чем женщина! На первом плане не Нарцисса, а Нарцисс. Ладнев тоже цветет сам по себе, но ярче, сложнее, чем его подруга.

Когда леонтьевские супергерои говорят «я люблю», то интонационное ударение падает на «я», а не на «вы» или «ты», как и в романах Шатобриана и Альфреда де Мюссе. Но у этих романтиков нет того спектра нюансов, который мы находим в повестях Леонтьева.

«Египетский голубь» — произведение незаконченное; и едва ли его нужно было заканчивать. Б. А. Грифцов и Б. А. Филиппов ценят леонтьевские романы именно за их незавершенность, фрагментарность, и, мне кажется, нельзя с ними не согласиться*. К тому же в данном случае эскизность композиции вполне соответствует теме: полуидеальная, получувственная любовь Маши и Ладнева сводится к зыбкой игре настроений и неожиданно обрывается...

На последних страницах своих записок Ладнев говорит, что его роман с Машей нельзя истолковывать в том смысле, что его «честность» или ее супружеское «чувство долга» восторжествовали над легкомысленной страстью! «Разгадка здесь иная, — гораздо более таинственая», замечает он. Но какая именно — мы не знаем. Существенно, что тут же Ладнев говорит о смерти: «И этот тесный гроб! и эти гвозди!.. и земля!.. и боль, и тоска последней борьбы... Кто, кроме святого человека, забывшего плоть, может помириться с холодным ужасом этого близкого и неизбежного конца?..» ** Значит, единственный выход из создавшегося положения: иночество, монастырь! Напомним, что Леонтьев писал этот роман уже после своего обращения в Салониках и на Афоне, в Кудинове, из которого он все чаще наезжал в Оптину Пустынь... Тогда же он часто и мучительно болел. Ему казалось, что он уже «одной ногой в гробу»; и он искал спасения в постриге, но все не решался сделать «последний шаг». Его продолжали обуревать страсти, как в Давидовом псалме: «От юности моея мнози борют мя страсти...» [46] Страсти эротические и страсти политические! Но в «Египетском голубе» все это передается одними намеками.

Ладнев и Маша расстаются «без пресыщения, без горечи, без распрей, без раскаяния, безо всякой примеси того яда, который

* *Грифцов Б. А.*, указ. соч., 1913, I, 87; *Филиппов Б. А.* Страстное письмо с неверным адресом // Мосты, 1962, IX, 216; также предисловие Филиппова к книге К. Леонтьева «Египетский голубь» (1954), 31–32.

** Л III, 456–457.

всегда таится на дне благоухающего сосуда восторженной любви» *. Что же остается? Остается неуловимое, «несказанное», остается музыка томительной страсти, остается грязный и живописный Адрианополь, в котором Леонтьев спел одну из лучших своих «арий», или даже песню песней, во славу самого себя и своей нимфы — Нарциссы.

Есть некоторое сходство между первым большим романом Леонтьева «Подлипки» (1861) и последним — «Египетским голубем» (1881), и совсем не потому только, что главный герой — то же лицо (Ладнев). Это сходство — в зыбкой композиции обеих повестей: в их эскизности, в их музыкальности. Есть в них и живописность, как и во всех других писаниях Леонтьева (пестрые букеты!). Но есть и другое: мелодичность в передаче настроений.

В «Подлипках» музыкален вырастающий из церковного гимна образ Жениха, грядущего в полунощи. Есть музыкальность и в поповне Паше, которую Ладнев (первый) воспевает ритмической прозой («под Шатобриана»).

В «Египетском голубе» ритмично описание серого дымка, который вьется «над нагими садами зимы». Музыкальны и все варианты зыбких настроений, напоминающих «аккорды» в импровизации: словесное их выражение вынужденно-приблизительное; и их тайный смысл можно было бы лучше передать в музыке.

О музыке в обычном значении этого слова Леонтьев нигде не говорит. Может быть, у него не было слуха, как и у Блока. Но леонтьевская проза так же музыкальна, как и блоковская поэзия. Это, конечно, только моя «импрессия», которая точному определению не поддается. Так мне кажется, когда я эти романы читаю, вернее — перечитываю. Убедить же скептического читателя можно было бы здесь только творческими аргументами: симфониями или оперой на темы «Подлипок» или «Египетского голубя»! В таком случае последний роман начался бы увертюрой, с мотивами томного воркования, а кончился бы речитативом ектеньи — молением о безболезненной кончине живота и, может быть, какой-нибудь серафической музыкой сфер! Пусть рассуждения мои — «от лукавого», но все эти мотивы звучат в «Египетском голубе» и ждут музыкального оформления!

---

* Л III, 457.

ВЕЛИКО НАЙДЕНОВ

В «Египетском голубе» есть еще один мотив, еще один «красочный мазок» — это эпизодический рассказ о болгарском юноше Велико Найденове.

Как-то, проходя по адрианопольскому рынку, Ладнев увидел молодого всадника из полка Садык-паши — известного польского эмигранта М. С. Чайковского (1808—1886)*, перешедшего в мусульманство и служившего в турецкой армии. Лошадь этого юноши «то взвивалась на дыбы, то шла боком, горячась и играя», и народ на базаре весело расступался, любуясь конем и всадником: очень уж они были хороши!

Несколько позднее к Ладневу явился молодой болгарский учитель Стоян Найденов: он готов был вернуться из униатства в православие и просил у Ладнева рекомендации для болгарской школы, основанной русским консульством; он также хлопотал о своем младшем брате Велико, который собирался бежать из полка Садык-паши, чтобы не участвовать в подавлении болгарского восстания.

Вечером младший Найденов пришел к Ладневу, и тот признал в нем того самого юношу, который произвел такой фурор на турецком базаре. Ладнев тотчас же согласился на укрытие этого турецкого дезертира в своем доме. Велико своего спасителя обожает и всячески старается ему услужить. А Ладнев его бережет, жалеет и наряжает. Он «составляет» из Велико «букет» по собственному вкусу. На базаре болгарин красовался в куртке и шальварах темно-розового цвета с фиолетовым оттенком. А теперь он велит сшить ему одеяние из желтой материи с малиновыми цветами! Все вообще в Велико его восхищает: темно-серые очи, черные стрелки ресниц, «жесткие и большие, но прекрасной формы рабочие руки» и, наконец, сочетание душевного младенчества, женственной стыдливости и телесного мужества **.

Леонтьев всю жизнь, и особенно в ту пору, имел много «романов» с женщинами, которым позволял себя любить; в леонтьевском мире только Маша нравится Ладневу своей неприступностью. Но эстетически он часто предпочитал красоту юношескую и мужскую красоте девичьей и женской. Так, в Адрианополе он нанимал молодых турок, заставляя их бороться у мечети Баязета, и любовался «нагими могучими торсами» пехлеванов ***.

---

* Там же, 345.

** Там же, 346–349; 437.

*** Памяти К. Л., 63.

Склонный к сплетням Розанов утверждал, что Леонтьев был человеком «лунного света» *. Но нет достаточных оснований для такого рода поспешных заключений.

Правда, Ладнев очень уж любуется Велико, а Старый Муж (в «Исповеди») кажется совсем влюбленным в своего молодого соперника-грека; и если это — не только эстетика, а и эротика, то совсем особенная; как мы уже знаем, и многие другие леонтьевские герои проецировали себя — сперва в друзей-сверстников (со-любовников), а позднее в юношей, которые были их гораздо моложе (и очень часто — в подчиненных, в слуг). Но эта чувственность — воображаемая и артистическая. Леонтьев-художник влюблялся и «пожирал глазами» любые вещи: не только мальчиков и девочек, но и наряды, мебель, дома, деревья! К т. н. «половой жизни» он был равнодушен. Откровенный «секс» претит его андрогинной натуре. Оргазму он предпочитает томление, любование. Первый Ладнев так и не соблазнил поповну Пашу, а второй — Марию Антониади. В жизни Леонтьева все могло быть иначе, но в искусстве он любил служить Промежуточной Афродите — полунебесной, полуземной.

ТУЛЬЧА

В Адрианополе Леонтьев пробыл около двух лет (1864—1866). В этот же период времени он два месяца состоял секретарем консульства в Белграде, а в конце 1866 г. уехал в продолжительный отпуск в Константинополь, где познакомился и подружился с молодым служащим посольства К. А. Губастовым (1845—1913), с которым переписывался до самой смерти.

В апреле 1867 г. Леонтьев получал небольшое жалованье: 1500 рублей — и очень задолжал ростовщику Соломону Нардеа. Теперь ему назначили прибавку: 3300 рублей. Впрочем, и этих денег ему не хватало, и он опять входил в долги, чтобы расплатиться с адрианопольским ростовщиком!

Тульча после Адрианополя показалась ему глухой провинцией — новороссийской деревней на турецком берегу Дуная; а Измаил — чем-то вроде губернского города. Он досадует, что тульчане по русскому обычаю покрывают дома белой штукатуркой, а не разноцветной, как в восточном Адрианополе. Все же он радуется переводу на новое место. Пусть здания здесь очень уж скучные, но зато население — пестрое, и это ему нравилось. Тут и русские, очень разные русские — православные и сектан-

* *Розанов В. В.*, Литературные изгнанники (1913), 324.

ты разных оттенков: поповцы, беспоповцы, липованы, молокане. Тут же — украинцы, болгары, молдаване, поляки, греки, евреи, черкесы, немцы, крымские татары и, наконец, немногочисленные турки; и весь этот своеобразнейший антропологический сад находится под управлением слабого, подкупного и «патриархального» турецкого начальства! Это ему тоже нравилось. Каким же именно насельникам он отдает предпочтение? Русских он любит за широту, разгул, врагов-поляков за гордыню, «гонор», а к мусульманам, будь то татары или турки, у него всегда было влеченье — «род недуга».

В Тульче Леонтьев зажил помещиком. У него просторный дом на берегу Дуная. Прислуга — русская. Горничная Акулина — «очень лихая вдова, пожилая кокетка, даже пьяница...»; и кухарка Аксинья — «напротив того, скромная, добродетельная» — она готовит ему ленивые щи, русские пирожки... А из Адрианополя он вывез молодых слуг: это верный, но очень уж робкий грек Яни и другой, его любимец, — бронзовый араб Юсуф, красавец и сорванец. Он часто ворчит на всех этих услужающих, учит их хорошим манерам, но при всей своей строгости «многое им спускает».

Делами службы Леонтьев занимался не более двух часов в день. Статистика, судебные тяжбы, торговые операции — все это его мало интересует. Но как и в Адрианополе, он заботится о престиже России (и одновременно — о своем собственном!); и пишет донесения в форме художественных очерков; как мы уже знаем, посол граф Игнатьев и канцлер князь Горчаков этими его рапортами зачитывались.

Леонтьев в наилучших отношениях с турецким губернатором Сулейманом-пашой, который говорит ему восточные комплименты и расхваливает красоту его бронзового араба Юсуфа. Сближение с ним произошло следующим образом. Вскоре по приезде Леонтьева паша предложил ему сделать совместные визиты другим иностранным консулам. Леонтьев согласился. Ему дважды пришлось «обойти дышла лошадей», так как турецкому сановнику, как старшему по чину, полагалось садиться в фаэтон первым; а перешагнуть через вытянутые ноги паши он не решился. Но все это пошло на пользу. За это маленькое унижение в церемониале Сулейман-паша никогда ни в чем Леонтьеву не отказывал и даже арестовывал неугодных ему тульчан. Согласно леонтьевской эстетической «морали» — нельзя было обижать сановников одряхлевшей Блистательной Порты!

«Отчего мне так было весело в Тульче?» — спрашивает Леонтьев в воспоминаниях (1883) и отвечает: «Все было хорошо тог-

да: все весело!.. Я был тогда здоров и жаждал жизни, движения, дела; искал и поэзии, и практической борьбы... И все это было; все — и поэзия и практическая борьба!.. О жизни сердца моего я здесь молчу... И оно жило тогда; жило так, как любит жить человеческое сердце; и смело, и томительно, и бодро, и задумчиво, и тихо, и мечтательно...» * Сколько правды в этом изумительном признании-вздохе! Пушкин или Дельвиг поняли бы его лучше современников, которые и слышать не хотели о такой жизни человеческого сердца... Все они любили себе внушать: не так живи, как хочется, а как совесть велит, и не своя, а выдуманная — революционная, интеллигентская, народная, русская или еще какая-нибудь! Только Толстому удалось добраться до сердцевины (в «Исповеди»), но и он позднее подчинил совесть своему учению. Стареющий Леонтьев тоже заговорил другим, уже не «эпикурейским», языком, но не потому, что его совесть мучила... Через 10–12 лет после кризиса (в 1871) он без всяких угрызений вспоминает о своей веселой жизни в Тульче и любуется своим портретом 60-х гг.: усиками Наполеона III, резко очерченным, выбритым подбородком, порывистой самоуверенностью с примесью фатовства. Он с улыбкой глядит на это свое изображение и спрашивает: «Я ли это? Стыжусь ли сознаться?.. Нет! Зачем? Кого стыдиться?.. Вот еще! Мне даже легкая эта "фатоватость" нравится в этом человеке...» ** — т. е. в самом себе, но уже отошедшем в прошлое, в историю. Все же фатом он не был, как не был и снобом; жил он тогда полной жизнью, не стыдясь своего счастья, не боясь неизбежных испытаний.

А испытания были: помешалась его жена Лизавета Павловна.

Леонтьев ее всегда любил, но страсть уже прошла, он увлекался другими и как-то по-товарищески откровенно рассказывал ей о своих новых привязанностях. Ходили слухи, что ревность (а может быть, и откровенность) довели Лизу до помешательства. Леонтьев это отрицает; а все же он чувствовал свою вину перед душевнобольной женой и нежно за ней ухаживал до самой смерти. Сам он никогда не ревновал и радовался, что Лиза любуется его бронзовым Юсуфом. Он писал Губастову: «Я согласен с тем французом, который сказал: "L'amour n'a rien à faire avec les devoirs pénibles et sévères du mariage..." ***[47] Не понимаю и ревность к законной жене. Это что-то чересчур первобытное».

---

* Л IX, 328.

** Там же, 329.

*** Памяти К. Л., 213 (письмо от 16 янв. 1873 г.)

Одно время ему казалось, что Лиза беременна, и он пишет тому же Губастову, что дочь предпочел бы сыну, но ребенок не родился и он об этом не сожалеет*. Ему как-то не подходило быть отцом.

ПОЛОНОФОБ — ПОЛОНОФИЛ

Русское вице-консульство в Тульче было основано с особой целью: для борьбы с польским революционным подпольем. В начале 60-х гг. здесь действовал уже упоминавшийся польский патриот Чайковский (Садык-паша) в сотрудничестве с русским эмигрантом Б. И. Кельсиевым (1835—1872), который находился в связи с Герценом[48]. В Тульче был организован отряд польских повстанцев, который намеревался перейти границу, но по требованию русских властей был задержан румынами. Обо всем этом Леонтьев рассказывает, но, по собственному его признанию, без основательного знания дела, хотя все это происходило лет за пять до его назначения в Тульчу. Теперь же «польское гнездо» было почти уничтожено. Все же консулу предписывалось следить за всеми поляками. Леонтьев это и делал, по мере возможности мешал им, но и уважал их, даже симпатизировал.

Бердяев был прав, утверждая, что из всех других славян Леонтьеву больше всего нравились поляки**. В других славянах его многое раздражало: в болгарах их рассудительность, отсутствие воображения. Не импонировали ему и сербы, чехи. В русских он любил широту натуры, бесшабашность, разгул, даже изуверство; но его раздражало в них недоверие к форме, отсутствие тех четких линий характера, которые он находил преимущественно у военных и дипломатов, например у Игнатьева, у консулов типа Ступина, Богатырева или у братьев Иониных. В поляках его привлекало многое: смелость, гордыня, честолюбие, тщеславие, «гонор», аристократическое чувство формы. (Если бы от него зависел выбор и он не мог бы быть русским, но должен был бы быть славянином, то Леонтьев, несомненно, предпочел бы родиться поляком!)

В Тульче Леонтьев посетил польского патриота Воронича, служащего французского консульства, хотя мог этого визита не делать: русские консулы обычно игнорировали поляков, состоявших на иностранной дипломатической службе. Когда-то Воронич был противником сильным, опасным, а теперь это — старик, полутруп, но его большие глаза сверкали ненавистью к

* Там же, 197 (письмо от 29 февр. 1868 г.)

** *Бердяев*, К. Л., 62.

москалю. «Мне понравился этот враг, этот человек, еще не умерший духом в полумертвом теле» *, — замечает Леонтьев. Он также заявляет, что любит польских врагов России, как Печорин любил своих личных врагов, — не по-христиански, а потому, что они его забавляют, волнуют кровь... Он говорит, что при этом всякому мыслящему, живому и бодрому человеку должны особенно нравиться противники способные, даровитые, замечательные...

Позднее ему удалось «вспугнуть» одного такого достойного противника, которого он называет Каминским. Тот приехал в Тульчу, с тем чтобы войти в тайные сношения с русскими староверами и потом — явиться в Россию под именем Петра III! Проект очень уж фантастический, и, может быть, существовал он только в доносе на этого Каминского! Леонтьев его долго разыскивал и, наконец, случайно встретился с ним в кофейне. Поляк этот именовался теперь Гольденбергом, и это было Леонтьеву известно. Делая вид, что его не знает, Леонтьев сказал, что любит польский гимн, любит мазурку и вообще все польское, но вместе с тем он отлично знает, что из всего польского «геройства и молодечества ничего все-таки не выйдет» **. Это был удар не в бровь, а в глаз. Каминский, вероятно, готов был растерзать дерзкого москаля, но вместе с тем он понял, что не может бороться с русским консулом и вскоре же покинул Тульчу.

Леонтьев часто бывал у другого польского эмигранта, тоже служившего у французов, у старика Жуковского; этот «приятный и лукавый патриарх» русских не чуждался, от политики отошел, хотя при случае, вероятно, «помогал своим». Леонтьев знает, что ему доверять нельзя, и его веселит, что иногда надо играть с этим патриархом в прятки.

Все же по сравнению с адрианопольскими львами и тиграми польской эмиграции из отрядов Садык-паши (Чайковского), тульчинские поляки, за немногими исключениями, — мелочь. Один из них, «интеллигентный пролетарий» Домбровский, работавший маляром, однажды на улице обозвал русского консула русской свиньей! Сулейман-паша, друживший с Леонтьевым, тотчас же оказал ему «жестокосердную любезность» (выражение это леонтьевское!) — он арестовал Домбровского и сказал ему: «Ты будешь сидеть в тюрьме <...> пока сам г. консул простит тебе...» *** Леонтьев же продержал его в заключении не более недели.

---

* Л IX, 345.

** Там же, 382.

*** Там же, 358.

Другой поляк, пролетарий неинтеллигентный, из ненависти к России разбил молотком принадлежавшую Леонтьеву вешалку для часов из розового дерева со столбиками из слоновой кости — драгоценный для него подарок матери. Взбешенный Леонтьев уже подумывал — а не подкупить ли ему отчаяных греков-кефалонитов, которые за известную мзду готовы кого угодно избить и даже убить. Но явилась мать поляка, кухарка из австрийского агентства Ллойда, и пообещала — сын ее, искусный токарь, починит разбитую вещицу, что он и сделал. Леонтьев и польский ремесленник встретились друзьями, уже не в Тульче, а около Салоник.

Леонтьев так оканчивает эту «историю»: когда ему случается взглянуть на эту починенную вешалку, он сразу же с умилением вспоминает и свою русскую мать, и ту польскую мать. Между тем ничего трогательного Леонтьев не любил и Нерона предпочитал Акакию Акакиевичу! Идеала добра у него не было, но он был добрее, чем сам этого хотел. Я не верю Розанову, который утверждал: «...дай-ка ему (Леонтьеву) волю и власть <...> он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики» *. Не было у него настоящей хватки власть имущих, хотя он и с успехом разыгрывал роль сурового и бдительного русского консула. Все же Леонтьев всегда был более поэтом, чем дипломатом. Мы знаем — его очень увлекала «практическая борьба» с французскими, английскими или польскими «происками» на Балканах, но его больше занимали «сердечные дела». Более же всего он любил турецкий кейф, русское ничегонеделание или Пушкиным воспетое и итальянское far niente [49]. Не тогда ли было ему особенно весело и легко — когда в Адрианополе он смотрел на серый дымок, поднимавшийся «над нагими садами зимы», а в Тульче — распивал «чаи» у поляка Жуковского, у русских староверов или же курил наргиле у Сулеймана-паши!

В воспоминаниях о житье-бытье в Добрудже мы находим следующее, часто цитируемое и действительно очень существенное признание Леонтьева (высказанное им в связи с «польским вопросом»): «Будем строги в политике; будем, пожалуй, жестоки и беспощадны в “государственных” действиях; но в “личных” суждениях наших не будем исключительны. Суровость политических действий есть могущество и сила национальной воли; узкая строгость личных суждений есть слабость ума и бедность жизненной фантазии» **. По рассудочным — государственным

* Памяти К. Л., 183.

** Л IX, 347.

соображениям он полякам «не потакал», но они ему лично больше нравились, чем дружественные болгары. Однако не был он и последовательным болгарофобом! Так, в «Египетском голубе» он с восторгом пишет о болгарском юноше Велико, которого он спас от турок.

Из Тульчи же Леонтьев писал Губастову, что думает не столько о страждущем, сколько о поэтическом человечестве*. Поляки тогда принадлежали к страждущему человечеству, и он это знал, и втайне им сочувствовал, но не потому, что они страдали, а потому, что они казались ему очень поэтичными!

Еще в раннем детстве его обворожил пехотный юнкер-поляк, который так лихо отплясывал мазурку на провинциальном балу; и тогда же он «до смерти» любил, когда сестра его играла Хлопицкого — и это тоже была мазурка**. Так, в его сердце «мазурская» музыка, т. е. эстетика, побеждала антипольскую политику, продиктованную рассудком.

СТАРОВЕРЫ

Свои воспоминания о Добрудже Леонтьев писал в начале 80–х гг., когда окончательно утвердился в своей вере в абсолютный авторитет православной церкви. Но это не мешало ему сочувствовать русским сектантам. Его ведь всегда привлекало разнообразие во всем — и в жизни, и в истории, и в религии. Учение сектантов он отвергает, но его восхищает пестрота верований на берегах турецкого Дуная, обилие сект, а также и «наличие» мусульманства!

Леонтьеву особенно нравился один старообрядец, старшина рыбачьей артели. Зимой работы не было, и все свои немалые барыши старик тратил на провизию и горячительные напитки для артельной молодежи, которая оставалась с ним жить; все они напропалую кутили, распевали песни, угощали хохлушек... Этот образ старообрядческого Анакреона как-то не вяжется с обычным представлением о ревнителях старой веры, но, по-видимому, такие «типы» в Тульче встречались. Леонтьев с одобрением замечает, что об этом рыбаке-старообрядце ему с восторгом рассказывал один польский эмигрант, тогда как знакомый купец-грек восхищался болгарским крестьянином-кулаком, который зарывал деньги в землю. Тут же Леонтьев делает вывод: «И греки, и болгары по духу домашней жизни своей одинаково буржуа, одинаково расположены к тому, что сами же немцы назы-

* Памяти К. Л., 183 (письмо от 26 апр. 1868 г.).

** Л IX, 349.

вают филистерством. Тогда как размашистые рыцарские вкусы польского шляхтича ближе подходят к казачьей ширине великоросса» *. Все сочувствие Леонтьева, конечно, на стороне последних, т. е. католиков-поляков и русских старообрядцев, из России эмигрировавших! Но, как мы уже знаем, он старался отделять политику от эстетики, которую очень часто «воплощали» польские русофобы и староверы, строго осужденные православной церковью.

Среди русских в Добрудже было много некрасовцев, которых еще при Анне Иоанновне вывел из России казак Игнат Некрасов. Сравнительно с другими «райя» они пользовались в Турции многими привилегиями, верой и правдой служили султану, принимали участие в войнах против России. Незадолго до приезда Леонтьева их приезжал «мутить» известный Кельсиев, но к концу 60-х гг. они не были настроены враждебно по отношению к России.

Леонтьев водил дружбу с вожаком некрасовцев О. С. Гончаровым, который прежде был в сношениях и с Кельсиевым, и с Герценом, и с поляками, и даже с каким-то французским министром. В секретном сообщении о появлении поляка, который выдает себя за Петра III (о нем см. выше), говорилось, что Гончаров находится в переписке с этим самозванцем (Каминским-Гольденбергом). По соображениям политическим, но и эстетическим, Леонтьев пригласил некрасовского вожака на обед в русское консульство, чтобы выведать правду, и убедился, что Гончарова оклеветали. «Я не верю что-то, — пишет он, — хитрый и милый рыжий мой, разгульный и набожный, истинно великорусский старик, на этот именно раз я что-то не верю, что ты написал письмо в пользу Гольденберга. Не то время! Ты так умен, лукав и опытен» **.

Видно, что русский консул не верил в козни милого рыжего старика потому, что очень уж не хотелось ему верить! И «вера» эта оправдалась: Гончаров понимал, что времена Кельсиева миновали: он не поддерживал польского Петра III, а позднее выдал Леонтьеву старообрядческого попа-разбойника, ограбившего и убившего старушку-благодетельницу. Так что здесь эстетика, которая возбуждала в Леонтьеве симпатию к старику, даже помогла политике!

Очень восхищал Леонтьева преступный священник Масляев. Гончаров указал его место жительства, а дружелюбный турец-

* Л VII, 48–50.

** Там же, 378.

кий губернатор Сулейман-паша дал солдат для его ареста и препровождения в русское консульство. Масляев был русским подданным, бежавшим из России, а все же паша не был обязан способствовать его задержанию: сделано же было это по знакомству: так что в данном случае оправдалась еще одна вдохновленная эстетикой дружба Леонтьева — с турецким сановником!

Вот как Леонтьев описывает Масляева:

«Видали вы когда-нибудь — купцов старинных, очень высоких, сильных и почтенных? Или, быть может, вы воображали себе таких могучих русских бояр времен Иоаннов? Сила, спокойствие, с неистощимым запасом страшной энергии и даже... даже... прекрасная мужественная доброта» *.

Но тут уж эстетика с политикой не совпала: этого великолепного купца-боярина Леонтьев сдал на русский пароход, шедший в Одессу. Замечательно, что Масляеву сочувствовал не только Леонтьев, но и его любимец — араб Юсуф, и консульский доктор Эпштейн, и толпы староверов, собравшихся на дворе консульства.

В книгах Леонтьева немного русских народных «типов», а в романах его они отсутствуют. Больше внимания он уделял балканским людям из народа — грекам, болгарам, туркам. Те же великороссы простого звания, которых он описывал в 60-е гг., — это преимущественно «типы», редко встречающиеся, — старообрядец-пьяница, старообрядец-политикан, старообрядец-разбойник, к которым еще можно добавить изувера Куртина и «суевера» Кувайцева (о них речь ниже)... Славянофилов вроде И. Аксакова или Страхова такая леонтьевско-русская самобытность могла только возмущать, ужасать!..

САМОБЫТНОСТЬ

Леонтьев намечает основные положения своей философии истории на Балканах, может быть, еще в Адрианополе и затем в Тульче, в Янине. Его первая статья на темы политические и общеисторические была опубликована в славянофильской газете «Заря» [50] («Грамотность и народность», 1870) **.

В примечании к этой статье Леонтьев с большим пиететом говорит об Аполлоне Григорьеве и о его «последнем слове»: народность и своеобразие народной жизни; и противополагает эту формулу «последнему слову» Белинского: «крайний европеизм и положительность» ***.

---

* Там же, 405.

** «Заря», кн. 11 и 12.

*** Л VII, 27–28.

Замечательно, что григорьевское «последнее слово» становится «первым словом» в леонтьевской философии истории. Но, как мы уже знаем, оба эти слова значительно друг от друга отличаются *.

Национальное (а не только народное) Леонтьев определяет как нечто непосредственное, живое, а все живое, утверждает он, «сложно и туманно», т. е. не поддается логическому определению. Алогичность, а также яркость народности, нации подчеркивал и Аполлон Григорьев, но не сложность — понятие для Леонтьева чрезвычайно существенное. Позднее он назовет вторую фазу всякого культурного развития «сложным цветением», которое наступает после периода «первичной простоты».

Наконец, Леонтьев в большей степени «аморалист» и эстет, чем Григорьев. Первый многим обязан второму; но «ученик» полностью пересмотрел наследие «учителя»; леонтьевщина не григорьевщина, а феномен совершенно оригинальный!

В чем же самобытность выражается? Какие слои населения наиболее своеобразны на Западе и в России? Во Франции, утверждает Леонтьев, парижане более французы, чем французские «хлебопашцы»; а в Англии лорды лучше и полнее олицетворяют свою нацию, чем, например, английские матросы (Григорьев с этим едва ли согласился бы!). Самые же русские из всех русских — это крестьяне, а также купцы; образованные же классы, за исключением некоторых оригиналов-помещиков и военных, самобытность утратили (здесь он опять близок Григорьеву).

Подобно славянофилам и многим западникам, Леонтьев идеализировал русскую общину; в крестьянском мире он видел наиболее своеобразную форму русской социальной жизни. Далее он приводит примеры народных типов: замечательно, что все это натуры исключительные, типы нисколько не типичные! Русского мужика-хозяина он не замечает. Болгарские крестьяне хозяйственны и рассудительны, говорит он, а у наших — мало выдержки, но зато больше воображения, они вообще «виверы»!

Вот некоторые из примеров.

1. Раскольник Спасова согласия Куртин **. Ночью он молится перед иконами и вдруг его осеняет мысль: если он умрет, то единственный его сын развратится; его ждет погибель в геенне огненной. Он будит семилетнего мальчика: «Встань, Гришенька: Надень белую рубашку, я на тебя полюбуюсь». Сын переодевается, ложится на лавку, а отец ножом распарывает ему живот.

---

* См. гл. «Аполлон Григорьев», ч. 1.

** Там же, 29–31.

Вернувшейся жене Куртин говорит: «Иди и объявляй обо всем волостному старосте. Я сделал праздник святым». А в остроге этот сыноубийца себя уморил голодом (сообщает владимирский корреспондент газеты «Голос»).

2. Казак Кувайцев * расхаживает в фантастическом кафтане собственного шитья, распевает песни, потешает народ. Он в связи с молодой женой войскового старшины. Она умирает, а Кувайцев мучается, тоскует. Цыганка посоветовала ему разрыть могилу и отсечь у покойницы левую руку, палец — с правой, а также отрезать клок волос. Казак так и сделал, как сказала цыганка, и на четвертый день у него «все как рукой сняло». Вскоре его жена нашла под тюфяком руку, палец, волосы и представила все эти вещественные доказательства в волостное управление. Из тюрьмы Кувайцев писал своим детям письма в стихах: «Мои милые орляточки, по отце своем стосковалися...» (корреспонденция из Оренбурга, в той же газете).

3. Описание патриархальной жизни молокан **. Судит их по Библии старец 96 лет. Суровыми наказаниями считаются у них отлучение от участия в богослужении или лишение права на братское приветствие. Муж, дурно обращающийся с женой, публично кается в своей вине, и все присутствующие на собрании поют благодарственный гимн Богу (из газеты «Современные известия»).

Последнюю «картину» (из жизни молокан) Леонтьев называет утешительной, первую — трагической, а вторую — трагикомической. Тут же он поясняет: «Куртин и Кувайцев могут быть героями поэмы более, чем самый честный и почетный судья, осудивший их вполне законно». Далее он утверждает, что Куртины и Кувайцевы невозможны в таких благоустроенных буржуазных странах, как Бельгия, Голландия и Швейцария (все эти страны были у него на «черном листе»!) ***.

Попытаемся разобраться в этих «леонтьевских» картинах. — Лже-Авраамы, вроде Куртина, — явление, конечно, очень «своеобразное», но ничего специфически русского в таком исключительном случае нет! А колдуны до сих пор не перевелись в цивилизованной Европе! Уже в нашем веке, и совсем недавно, знахарка имела большое влияние при дворе голландской королевы и ее называли голландским Распутиным (кстати отметим, что Распутин мог бы восхитить Леонтьева!). В Бельгии, которую

* Там же, 31–35.

** Там же, 35–37.

*** Там же, 34.

Леонтьев ненавидел не меньше Бодлера, были писатели, хотя и не великие, но значительные, как Де Костер (а позднее появилась плеяда символистов — Роденбах, Верхарн, Метерлинк). Что же касается молокан, то таких протестантствующих сект немало было и в Европе, и в Америке, и они до сих пор там существуют. Вообще Леонтьев плохо разбирался в Западе — он видел его только мельком, проездом (Вену, Болонью и, может быть, Гамбург, Антверпен, Брюссель). По крайней мере, в то время он не знал или не вспомнил, что и в буржуазно-пролетарской Европе совершались чудеса — в Ла Салетт (1846), в Лурде (1858)...

Напомним, что Леонтьев вообще любил эпатировать. Ему всегда хотелось кого-нибудь «стукнуть по голове» возмутительным фактом! (И это выражение мы находим в разбираемой нами статье!) Куртиными и Кувайцевыми он дразнит своих врагов слева (нигилистов, либералов) и пугает противников справа (сухих бюрократов, прекраснодушных славянофилов)! Но снобом Леонтьев не был; он чувствовал, что своеобразие исчезает в мире, и, чтобы его защитить, он ощеривался волком и бросался на всех осквернителей своей святыни! Из его современников это лучше всего понял бывший народоволец Лев Тихомиров, который видел в Леонтьеве прогрессиста в стане инертных консерваторов*. Замечательно, что в этой статье Леонтьев утверждает, что в 60–е гг. нигилисты (т. е. зло) принесли известную пользу: их космополитизм возбудил реакцию (добра) со стороны националистов и государственников. То же самое говорил и Милькеев («В своем краю»), который даже примкнул к революционерам, хотя и не разделял их взглядов...

Уже эта первая статья Леонтьева заключает в себе достаточно материала для обвинения его в «безнравственности» (как в левом лагере, так и в правом). Эти обвинения обоснованные, но непродуманные. Зло для Леонтьева всегда остается злом, а добро — добром. Он никогда не утверждал ницшевской морали по ту сторону добра и зла. Он всегда был по эту сторону добра и зла! Вера Куртина в Бога — добро для Леонтьева, но его поступок — зло (преступление). Аморализм же его в том, что он не хотел, чтобы добро окончательно победило зло, ибо тогда ведь прекратится та борьба между этими началами, то напряжение, в которых он находил столько поэзии, столько красоты! Новой «потусторонней морали» Ницше он не проповедовал, но традиционную этику подчинял эстетике.

---

* Русское обозрение, X, 880–881.

Не следует также забывать, что Леонтьев видел красоту не только в схватках Ормузда и Аримана или даже в грубой дарвиновской борьбе за существование. Его часто переполняла поэтическая радость бытия в мирной обстановке, в быту. Казалось бы, он упивался жизнью только в своем ограниченном мире Нарцисса, но он умеет и других заражать своим восхищением красками, например на греческой или болгарской свадьбе! Наконец, за всей видимой красотой он различает другой план, неуловимый, музыкальный, с мотивами бурной радости, переходящей в беспричинную грусть, в томление (в «Подлипках» или в «Египетском голубе»). Спектр его красоты сложный, со многими нюансами.

Вернемся к статье «Грамотность и народность», в которой намечена вся его философия истории, но еще очень нечетко, непродуманно.

Вот какие он делает выводы.

Для сохранения самобытной народности не следует спешить с распространением грамотности. «Полносочия» больше в т. н. отсталых странах. Он высказывает следующее пожелание: пусть Россия тем же отличается от всей Западной Европы, чем когда-то древние азиатские и африканские страны отличались от греко-римского мира *. Здесь Леонтьев также предвосхищает позднейшее свое утверждение: самобытную безграмотную Россию следовало бы подморозить, чтобы она не гнила... (и оставалась бы Востоком). Это лечение морозом он прописывал тогда, когда совсем уже разуверился в светлом будущем и России, и Запада и с отчаяния грозил кулаком всему миру.

А в 60-е гг. Леонтьев еще настроен оптимистически: он верит в какой-то синтез России образованной и России народной; он надеется, что русские просветители западной выучки переработают европейские начала в новую национальную культуру (как пчелы перерабатывают нектар в мед и воск). Каждая культура должна быть в высшей степени национальной, чтобы иметь мировое значение. Те же или близкие ему мысли высказывал Григорьев, а позднее Достоевский (устами Шатова) и Данилевский, но ни один из них не говорил, что не следует спешить с распространением грамотности; те же самые положения они иллюстрировали другими «картинами». Правда, Куртина можно было бы встретить в «Записках из Мертвого дома», но все же Достоевский искал в русском народе не изуверов, а миротворцев вроде странника Макара Ивановича Долгорукого (в «Подростке»), хотя

* Л VII, 44.

преступников он изображал лучше, художественнее, чем праведников!

Статьи Леонтьева напоминают собрания афоризмов, которые иногда имеют отдаленное отношение к главной теме. То же самое можно сказать и о его первой статье «Грамотность и народность». Так, он между прочим высказывает в ней очень интересную мысль о буржуазной психологии социалистического общества.

Леонтьев говорит: вообразим, что во Франции воплотился бы революционный и социальный план и была бы отменена частная собственность. «Что же бы вышло? Обновилась ли бы народная физиономия француза? Ничуть; она стерлась бы еще более. Вместо нескольких сотен тысяч богатых буржуа мы бы получили миллионов сорок мелких буржуа. По роду занятий, по имени, по положению, по всему тому, что помимо политического положения составляет сумму качеств живого лица и зовется его духовной физиономией или характером, — они были бы буржуа». Замечательно, что он сам признается — эту мысль ему подсказали два радикала — Герцен и Прудон (в своей книге «Война и мир»)*.

Статья «Грамотность и народность» была одобрена послом — графом Н. П. Игнатьевым, но позднее Леонтьев разошелся с ним во взглядах (на греко-болгарский церковный конфликт). Вообще же Леонтьев никогда не был рупором правительственных кругов; в политике он «гнул свою линию»...

РЕКА ВРЕМЕН

Из Тульчи Леонтьев часто наезжал в Измаил, «еще при Суворове обильно политый и турецкою, и русскою кровью», а после Крымской кампании отошедший к Турции. Там он останавливался у русского агента П. С. Романенко, который жил жизнью русского помещика в этом тихом городе, поразившем Леонтьева своей «великороссийской физиономией»; и сам он жил по-помещичьи в своей «Новороссийской деревне» — Тульче.

«После хорошего ужина и доброй, веселой беседы» у Романенко, — пишет Леонтьев, — «я лег на прекрасную, свежую постель, на голландское белье, и, накрывшись шелковым хозяйским одеялом, спать не стал и не мог... Отчего? Я в первый раз в этот вечер (я его никогда не забуду) раскрыл “Войну и мир”. Раскрыл — и до утра уже заснуть не мог!» ** В это же время он сам писал грандиозный роман с историческими перспективами...

---

* Там же, 23.

** Л IX, 336–337.

Напомним, что еще в середине 50-х гг. в Крыму Леонтьев задумал длинную повесть «Война и Юг», но это была одна только мечта... Был у него и другой, более широкий и отчасти даже осуществленный замысел — роман-хроника, произведение, параллельное толстовскому эпосу. В письме к Губастову он дает общий план хроники и рассказывает о своей работе *.

РЕКА ВРЕМЕН:

1. «Заря, полдень» (1812—1830). Мать Андрея и Дмитрия Львовых (по данным «Литературного наследства», Андрей — это сам Леонтьев) **.

2. «Записки Херувима» (1848—1853). Херувим — это опять Андрей Львов, т. е. Леонтьев.

3. «Мужская женщина» (1853—1857). Здесь появляется «новое особое лицо», а Андрей Львов-Леонтьев (военный доктор) остается на втором плане.

4. «В дороге» (1859—1862). Герой — русский консул. Эту повесть Леонтьев закончил в Тульче (1867).

5. «От осени до осени». Герой — третий брат Львовых Николай. И эта повесть была закончена в Тульче — в две недели и в том же 1867 г. (а первую версию, написанную за два года, он уничтожил). Рукопись он послал в Петербург племяннице Маше Леонтьевой, и она теперь хранится в архиве ЦГЛА ***.

6. «Глинский, или два полковника» (1861—1865). — Повесть о гусарском полковнике Вейслингене и артиллерийском полковнике и публицисте Дмитрии Львове (про этот роман Леонтьев говорит, что рукопись его «отдыхает в ящике», а в июне 1868 г. он пишет об отправке рукописи в Петербург для переписки ****.

Губастову же он сообщает, что обдумывает свою хронику десять лет (т. е. с 1857), а Розанову он писал (1891), что работал над «Рекой времен» восемь лет и сжег все рукописи в Салониках (1871), после того как решил принять монашество *****.

Осенью 1868 г. Леонтьев проводил отпуск в Петербурге, и там читал отрывки из своего романа у брата Владимира (публициста) в присутствии Страхова и Анненкова, которым будто бы «Река времен» понравилась [6]*.

Почему именно он своей хроники не опубликовал? Потому ли, что ему нелегко было найти издателя? Потому ли, что не

---

* Памяти К. Л., 194 (письмо от 29 сент. 1867 г.).

** Лит. насл., XXII, 494.

*** Подробности в гл. «Любимый брат», ч. 1.

**** Памяти К. Л., 202–203 (письмо к Губастову от июня 1868 г.).

***** Русский вестник, 1903, V, 180 (письмо от 27 мая 1891 г.).

[6]* Об этом сообщает А. Коноплянцев: Памяти К. Л., 70.

был удовлетворен написанным? Этого мы не знаем и можем только надеяться, что уцелевшее звено хроники — роман «От осени до осени» будет когда-нибудь напечатан.

Леонтьев начал писать, отталкиваясь от Тургенева, Жорж Санд и Альфреда де Мюссе.

К Толстому же у него было двойственное отношение. Мы видели, как его захватило первое чтение «Войны и мира». В своем замечательном, незадолго до смерти написанном очерке о Толстом он продолжает им восхищаться, но и страстно с ним спорит, резко осуждает некоторые из его литературных приемов, например придирчивую мелочность в описаниях. Но об этом мы еще будем говорить подробнее. Очевидно же, что безо всякого влияния со стороны Толстого Леонтьев задумал роман-эпос, сходный с толстовским планом «Войны и мира» и незаконченных «Декабристов».

Толстой вышел победителем и в русской, и в мировой литературе, а Леонтьев оказался в стане побежденных, но недаром Тургенев в 50-х гг. «сделал ставку» на них обоих... Может быть, по потенциям своим, по размаху только Леонтьев был равен Толстому и Достоевскому? Но Достоевский — это другой мир, другое созвездие — гоголевское, фантастическое... Тогда как Леонтьев, Толстой, Тургенев, а также и некоторые другие писатели, выросшие в дворянских гнездах, входят в широко раскинувшуюся Большую Медведицу русской литературы. Леонтьев кажется незаметной «звездочкой» даже по сравнению с Тургеневым, но в юности он обещал сиять так же ярко, как Толстой!

ЯНИНА

Пять лет прожил Леонтьев на Балканах; по России он не скучал, а все же радовался отпуску. В октябре 1868 г. он едет в Петербург, где останавливается у брата Владимира. По-видимому, именно к этому времени относится его сближение с племянницей Машей — Марией Владимировной, которую он помнил подростком.

Не знаю, побывал ли он в Кудинове? Видел ли мать, которая скончалась через три года?

В январе 1869 г. Леонтьев назначается консулом в Янину — это опять повышение по службе. В Грецию он едет через Вену, Болонью и Корфу и в апреле прибывает в Янину — центр горного Эпира.

Консульство помещается в просторном трехэтажном доме, который он отделывает по своему вкусу. О его новом жилище мы можем судить по описанию в романе «Одиссей Полихрониа-

дес». Тут и «суровые» по окраске персидские ковры, и яркие малоазиатские: на одном — из светло-розовой арабески проступают светло-зеленые листья, на другом — в черных звездочках палевые, а в палевых — белые... Икона Спасителя в почерневшей серебряной оправе, которую он запрещает чистить: так ему больше нравится. Во внутренних покоях — мольберт, палитра; есть основания предполагать, что Леонтьев писал маслом, как и консул Благов (в Одессе). Итак, русское консульство он превратил в один из тех пестрых букетов, которые его всегда так восхищали в искусстве и, в особенности, в жизни*.

У янинского консула целая свита: четыре каваса (стражника), сеис (конюх) и личные слуги: все они одеты по-албански и тоже составляют разноцветный букет.

Может быть, один из кавасов был прототипом того горца-сулиота, который рассказывает историю о Паликаре-Костаки; а другой, тоже сулиот, был «моделью» для смелого, дикого Тодори: он думал, что аисты молятся Магомету, когда под вечер стоят на одной ноге... («Аспазия Ламприди»)**. Мог быть списан с натуры и слуга Благова, албанец Кольйо. Этот застенчивый и преданный юноша-атлет напоминает девушку, переодетую в мужскую юбку-фустанеллу, и, уверяет Леонтьев, это о нем Саади сказал: «Лицо его было подобно полной луне в ту минуту, когда она восходит»!*** Благов заставляет его как можно чаще мыть руки и грозится выгнать, если только увидит грязь под ногтями...

Над старой Яниной витают три тени, которые всюду мерещатся Леонтьеву. Самая бледная тень — это Святой Георгий Новый Янинский. В 30-е гг. XIX века он служил конюхом у богатых турок. Его обвинили в том, что он родился мусульманином и позднее крестился. Молодой грек от христианства не отрекся, и его удавили в тюрьме. Леонтьев склоняется перед мраморной гробницей Георгия Нового и жалеет, что нет больше таких мучеников за веру (и не потому ли, что турки перестали мучить иноверных?!).

Другие две тени прошлого мелькают чаще: это Али-паша Янинский (1741—1822) и лорд Байрон (1788—1824).

Али-паша создал сильное и почти независимое государство из Эпира и Южной Албании. Этот албанский феодал образования

---

* См. мой очерк «Янина»: Новое русское слово, 13 июня 1963 г. Летом 1962 г. я побывал в этом городе и описал все леонтьевские места в Янине.

** Л II, 302.

*** Л IV, 481.

не имел, но по-своему ценил просвещение, основывал мусульманские и православные школы. При его дворе истолковывали ислам и писали греческие стихи. Он также отличался жестокостью и сластолюбием. Под старость он заставлял юношей обниматься с девицами, «а сам сидел на софе, курил и любовался на них» («Одиссей») *. Теперь о нем забыли, а когда-то во всей Европе писали книги, поэмы... Байрон говорит об Али-паше в «Чайльд Гарольде»:

...with a bloody hand
He sways a nation, turbulent and bold... **

(...он окровавленной рукою
Мятежной и отважной управлял страной...).

Байрон, воспевавший свирепую Албанию и прекрасную Грецию, — третья тень, тревожившая Леонтьева в Янине. Об этом романтическом идоле ему рассказывает в Зице старый игумен: «Кудрявый и красивый мужчина был <...> Хоть он и англичанин <...> а я все-таки скажу: да простит Бог его душу!» ***

Леонтьев читал Байрона во французском или русском переводе и, как многие другие континентальные почитатели «английского барда», не замечал холодной риторики в «Странствиях Чайльд Гарольда». Впрочем, его вдохновляла не столько поэзия Байрона, сколько его жизнь — его легенда. Для Леонтьева этот «сын Альбиона» представлял ту Европу, которую он так любил, — Европу романтическую и аристократическую.

АЛБАНЕЦ И ЦЫГАНКА

«Албанец любит войну, корысть и гостеприимство», — пишет Леонтьев; он одинаково чужд и православному греку, и единоверному турку, и одинаково друг им, когда это ему выгодно... «Албанец верен другу и любит все лихое»... **** Эти добродетели и даже пороки Леонтьеву нравились. Его привлекает и самобытность албанцев, их дикие нравы, не испорченные европейской цивилизацией; то же самое восхищало в «арнаутах» и Байрона.

Главный герой эпиро-албанской повести «Пембе» (1869) — не албанский «тип», а скорее исключение, личность... Его зовут

* Там же, 106.

** *Byron George*. Childe Harold's Pilgrimage, Canto II, 47.

*** Л II, 184 (Паликар-Костаки); см. также о Байроне — там же, 275 («Аспазия Ламприди»).

**** Там же, 94, 127.

Гайредин-бей. Он происходит из старой феодальной аристократии Албании. Его отец — почтенный Шекир-бей, а мать — рабыня-гречанка Мариго; в 1848 г., во время подавления албанского восстания турками, она спасла жизнь своему возлюбленному — Шекиру, и именно поэтому тот всегда хорошо относился к христианам. Шекир-бей — идеальный патриарх-феодал, который совмещает все лучшие свойства своих соотчичей и не имеет их злобы и корыстолюбия. Его сын тоже любит христиан и по дружбе спасает жизнь одному греческому патриоту.

Гайредин-бей воспитывался в Константинополе, где «обучался европейской вежливости»; там же он выучился хорошо говорить по-турецки, по-персидски и немного по-французски. Очень не хотелось ему разлучаться с турецкой столицей, но все же по приказанию отца он возвращается в Эпир, женится на дочери знатного бея и понемногу опять свыкается со старинным укладом жизни албанских феодалов.

На еврейской свадьбе в Янине Гайредин вдруг влюбился в плясунью-цыганку Пембе (что значит — малиновая). Она — девочка-подросток, бледна, некрасива, чем-то напоминает заморенную обезьянку, но всем нравится: очень уж хорошо она пляшет!

Влюбленный и застенчивый Гайредин посвящает ей стихи, которые он, по-видимому, писал по-персидски — на языке поэтов!

«Ты сладка и свежа, как зерна гранатов, облитые розовою водой и посыпанные сахаром.

Я не ищу ни долговечности, ни богатого содержания; пусть жизнь моя будет кратка и содержание бедно; но чтоб я мог покойно веселиться с тобой.

Я молчу, Пембе. Пусть соловей громко поет о любви в садах персидских. Я не буду следовать его примеру. Я лучше буду нем, как бабочка: безгласная сгорает она на любимом ею пламени» *.

Интересно было бы выяснить, каким образцам восточной поэзии он здесь подражает... Для нас же одно несомненно: эти стихи Гайредина в переводе Леонтьева — куда лучше тех новогреческих виршей, которых так много в его балканских повестях.

Гайредин получает назначение в турецкий административный совет в Янине, и там Пембе поселяется в его доме. Он без ума от своей цыганки, хотя характер у нее самый несносный; все слуги ненавидят эту обнаглевшую плясунью, разыгрывающую барыню.

---

* Там же, 93.

Албанский бей хотел бы узаконить свою связь с Пембе, но это невозможно. Он волен взять вторую жену, но только не эту безродную цыганку, которая даже не годится в рабыни-наложницы.

К ужасу патриархального Шекир-бея Гайредина покидает его знатная жена, хотя старая тетка и советует ей «смириться». Замечателен «поучительный» рассказ этой албанской тетушки. Она скопила три тысячи пиастров и на базаре высмотрела и купила своему смирному мужу шестнадцатилетнюю черкешенку; до совершения купли она ночью подслушивала, не храпит ли красавица, и «сама мочила ей подошвы водой и ставила на пол босую, глядела, красивый ли след ее ножка дает» *. Тетушка ее баловала, как дочь свою, но иногда и била... Этот мусульманский анекдот привел в восхищение Розанова **, да и Леонтьеву он, несомненно, нравился.

Поведение Гайредина возмутило все турецкое и албанское высшее общество в Эпире, и янинский паша добился от Порты приказа о его изгнании. Правда, отцу — Шекир-бею удалось оправдать сына, но все же эта эпирская история плохо кончается. Пембе покидает Гайредина, которого она никогда не любила, а только польстилась на его деньги, а сам он погибает. Его посылают в горы — против греческих повстанцев. Он вспоминает «вечерний дождь над темной мостовой (в Янине) и бледную Пембе», и вдруг греческая пуля обрывает его жизнь. Одного грека этот албанец спас от смерти, а другой грек подстрелил его в Пустынных горах! «Так кончил жизнь свою добрый Гайредин» ***, — эпически заключает свою повесть Леонтьев.

Кто знает, может быть, самому автору очень хотелось быть Гайредином, любовником Пембе, и эта его симпатия к албанцу одушевляет повествование! Вообще о Леонтьеве можно сказать: чем он субъективнее, автобиографичнее, тем он лучше, убедительнее! Но все же чувствуется, что сам он был очень уж далек от этих эпических албанцев и даже от образованного Гайредина с его лирическими стихами. Повесть «Пембе» хорошо «построена», она красочна, драматична, но и — схематична: Албанец и Цыганка действуют, но не живут, как леонтьевские супергерои, Нарциссы — русские студенты и консулы или же загорский грек Одиссей Полихрониадес (в романе того же названия).

---

* Там же, 139.

** Памяти К. Л., 178.

*** Л II, 152.

В той же повести замечателен янинский губернатор — черкес Феим-паша, начальник Гайредина. Он хорошо образован, знает свет — был послом в Вене, Петербурге и Лондоне, по-французски говорит с парижским акцентом, увлекается Байроном и Жорж Санд, содержит француженку в своем гареме, но Запад ненавидит и принадлежит к старотурецкой партии, которая в то время не имела влияния: и его назначение в Янину было понижением по службе. Турок и французов он раздражает своим русофильством. Русскому консулу он говорит:

«Croyez-moi, mon cher consul, qu'un Russe et un Turc s'entendront toujours mieux entre eux qu'avec ces messieurs là... Nous sommes plus larges, plus généreux, moins mesquins...» *[51]

(Можно предполагать, что прототипом Феим-паши был турецкий губернатор Ахмет-Расим-паша, с которым Леонтьев дружил в Янине.)

Этот старотурок придерживается мусульманского древнего благочестия, хотя втайне пьет и курит во время рамазана... Он — гроза всех эпирских христиан, и его политика возбуждает против него греческое население, а европейские консулы добиваются его отозвания из Янины. Если бы Леонтьев был пашой, то, вероятно, он поступал бы так же, как этот турецкий «реакционер» — черкес по происхождению, европеец по образованию и антизападник в политике.

СУЛИОТЫ И ЗАГОРЦЫ

В Эпире нет этнографической пестроты Добруджи, но и там тоже население неоднородное по составу: это греки, турки, албанцы, куцовлахи, евреи.

Эпирские же греки очень разные по типу: сулиоты и загорцы, которых Леонтьев любит сравнивать. «Из Сулии и других бедных и воинственных округов Эпира выходили и выходят разбойники и греки-патриоты; из Загор выходят скупцы, боязливые и холодные мошенники, но зато вышли и выходят патриоты другого типа — патриоты, которые все состояние свое, добытое трудом, строжайшей экономией и, может быть, всякою хитростию, жертвуют на школы, на богоугодные заведения, на церкви, на приданое бедным девушкам родной страны и т. п. Покойный, трудолюбивый, медленно-лукавый характер загорцев напоминает болгар. Имя округа заставляет также думать, что загорцы — погреченные славяне. Сулиоты, напротив того, погреченные албанцы и сохранили еще все черты албанского характера: соеди-

* Там же, 109.

нение суровости с большой живостью, воинственность, гордость приемов, отвращение к мирному труду и ремеслам» *.

Казалось бы, все симпатии Леонтьева должны были бы быть на стороне сулийских разбойников, а не на стороне загорских торгашей-мошенников. Но, как это ни может показаться странным, он любил и тех и других.

У Леонтьева было совершенно особенное отношение к грекам: они для него — создатели православия, великий народ. При этом он их нисколько не идеализирует и иногда резко осуждает загорских «кулаков», а более всего — образованных или полуобразованных греков, за мелочную расчетливость, буржуазную вульгарность или же за поверхностное западничество. Чем же объясняется его греколюбие?

Европейские романтики видели в современных греках потомков древних эллинов и при ближайшем знакомстве в них часто разочаровывались. И Леонтьеву была дорога классическая Эллада, но следов ее в Греции XIX века он не искал. Его грекофильство имеет другие корни — не эллинистические, а византийские. Для него русские, а также болгары, сербы, румыны — это духовные дети великой православной Византии. Он сам тоже был «византийцем», если не в Адрианополе и Тульче, то в Эпире, т. е. до своего обращения к вере в 1871 г. Правда, тогда он ценил православие преимущественно как культурно-историческую традицию, совпадавшую с его политическими убеждениями и эстетическими вкусами. Восточное христианство, думал он, лучше всего способствует сохранению самобытности; только оно оказывает сопротивление нивелирующей цивилизации безбожного Запада. Именно поэтому в борьбе болгарской церкви за автокефалию он был на стороне греков и резко разошелся со своим начальником — болгарофилом Игнатьевым. Он считал, что греки более православны, чем болгары, которым не следует выходить из подчинения константинопольской патриархии.

Пусть греки — торгаши-хищники, думал Леонтьев, все же они первые поборники православия; к тому же они столько страсти вкладывают в свои торговые операции и махинации!

Замечательно, что, как ему ни нравились разбойные сулиоты, он все-таки сделал главным героем своего романа «Одиссей Полихрониадес» загорского грека-юношу, который только о том и мечтает, как бы ему поскорее сделаться купцом! Он разъезжает с турецкими заптие по бедным деревням родного Загорья и силой вымогает последние гроши у крестьян, задолжавших его

* Там же, 197.

отцу. Французам, немцам или своим русским он никогда не простил бы такого вымогательства! Эстетика Леонтьева допускала вооруженный грабеж, но не взимание долгов при помощи полиции. Все же он любуется купчиком Одиссеем и прощает ему грубое корыстолюбие за страстное жизнелюбие, льстивость и лицемерие за преданность православию! Героические сулиоты, воспетые Байроном, тоже были православными, и Леонтьев ими постоянно восхищался, а все же больше внимания он уделил плутоватым загорцам.

Греки иногда упрекали Леонтьева за пристрастие к туркам, но, несмотря на дружбу с пашами, он всегда умело и успешно защищал интересы единоверных христиан. В русских же дипломатических кругах он считался крайним грекофилом. Он был им и в литературе, в романах, очерках, что, однако, нисколько не мешало ему восхищаться яркими типами любой балканской национальности, а также и поляками. «Реакционер» Леонтьев тенденциозным писателем не был!

Может быть, из греков лучше всего понял бы Леонтьева замечательный поэт Константин Кавафис (1863—1933)*; эстет, декадент, нигилист, он ценил в своем народе то же самое, что и Леонтьев — необыкновеную витальность и византийскую традицию. Сам Кавафис ни во что не верил и не пытался верить, как Леонтьев, но их обоих роднит — та же эстетика нарциссов, то же повышенное и напряженное ощущение жизни.

ОДИССЕЙ ПОЛИХРОНИАДЕС

1

«Одиссея Полихрониадеса» Леонтьев начал писать в Константинополе, в 1873 г. и продолжал над ним работать в России, но так и не закончил этого романа. «Одиссей» печатался в «Русском вестнике» Каткова**. В 1890 г. он предложил А. С. Суворину выпустить роман отдельной книгой, но тот отказался от такого невыгодного предприятия! Это лишний раз подтверждает, как плохо Леонтьева понимали в его же собственном лагере — в консервативных кругах.

«Одиссея» мы уже знаем. Что же говорит о нем автор? В воспоминаниях («Моя литературная судьба») он рассказывает: «Ге-

---

* Лучшее греческое издание его стихотворений — 1963 г. (Икарос). См. также: The complete poems of Cavafty, introduction by W. H. Auden, 1961.

** Русский вестник, 1873, VI–VIII; 1876, I–III; 1882, VIII.

роя я выбрал неудобного — красивого и умного юношу, загорского купеческого сына, но боязливого, осторожного, часто хитрого, в одно и то же время и расчетливого, и поэта, как многие греки. Все изображается тут нерусское; надо большими усилиями воображения и мыслей переноситься в душу такого юноши, ставить себя беспрестанно на его место, на котором я никогда не был» *. Для меня несомненно, что это и удалось сделать Леонтьеву: в первый и последний раз сумел он «войти в шкуру» балканского жителя; все другие его греки, турки, албанцы описаны очень уж со стороны, без настоящего в них проникновения.

Этот роман, как и многие другие, перенаселен героями: и нужно его перечитывать, чтобы запомнить всех действующих лиц. Но композиционно он хорошо построен. Красная нить в повести — развитие характера Одиссея, который, приехав из деревни в город, понемногу осваивается с новой обстановкой, меняет вкусы, убеждения, да и сам весь меняется; и этот рост героя хорошо в романе показан. «Египетский голубь» — роман более рыхлый, нечеткий, но, может быть, имеет больше прелести, как и «Подлипки» — произведение еще более зыбкое; в этих повестях больше лирики, больше музыки настроений, чем в «Одиссее». Купчик Одиссей, не чуждый, правда, поэзии, только смутно догадывается о существовании «дальней, бесконечно дальней, но глубокой музыки, то кротко-усладительной, то грозно звучащей где-то и откуда-то о загробном венце и загробной ужасной и нестерпимой каре...» ** Кто знает, может быть, Леонтьев хотел довести своего загорского любимца до катастрофы, до отчаяния и надеть на него клобук... Но старцем Зосимой Одиссей, конечно, не мог бы быть; его скорее видишь игуменом богатого монастыря или даже политической фигурой — вселенским патриархом... Но это только догадки, основанные, однако, на некоторых таинственных намеках в романе. Все же очевидно, что нигде никогда Леонтьев не стоял так твердо на земле, как в «Одиссее»! Это очень мужской роман, в котором любовь — только слабый мотив, а вся оркестровка развивает другие темы: тут и честолюбие, и корыстолюбие, тут и политические споры и интриги...

Другой главный герой — консул Благов; по признанию автора, он «сделан» из трех лиц: из М. А. Хитрово, друга детства и дипломата, из Ионина, тоже дипломата, и при этом неясно, из какого именно, — было двое Иониных, знакомых Леонтьева; наконец, третье лицо — это сам автор в несколько идеализиро-

* Лит. насл. XXII, 433.

** Л IV, 579.

ванном виде*. Благов — это тот «изящный герой», который, по мнению Леонтьева, начал исчезать из русской литературы после Онегина и Печорина: «Сам Тургенев, — пишет он, — насилу-насилу доработался до Лаврецкого и до блестящего отца в “Первой любви”. Гр. Л. Толстой насилу-насилу решился создать Андрея Болконского. До того всех опутала тина отрицания и гоголевщина внешнего приема» ** (под которым он имел в виду придирчивый, «грязный» натурализм или реализм в описании деталей). Все эти авторские комментарии существенны, но недостаточны. Решаюсь сказать, что Леонтьев сам едва ли сознавал, что его главная тема — нарциссизм, тема не русская, не балканская, а общечеловеческая, — в XX веке, после долгого перерыва, опять ставшая «актуальной» ***. Пусть красочный Эпир очень хорошо в романе воссоздан, но это только фон для Благова и Одиссея, которого Леонтьев так хорошо понял не потому ли, что этот несколько экзотический для него герой имел родственные ему черты Нарцисса.

2

Консула Благова мы знаем по запискам Одиссея, учившегося в янинской школе и исполнявшего для него секретарскую работу. Одиссей Благова обожает: русский консул для него прекрасный сфинкс, которого он старался разгадать. Ему непонятно, почему, например, романтик Благов издевается над святостью брака, это его даже возмущает, он ведь вырос в патриархальной загорской семье. Не понимает он также, почему консул легко прощает слугу (Кольйо), потерявшего деньги, но грозится его выгнать за то, что тот не моет рук: разве не очевидно, думает он, что неопрятность наименьшее зло! Но все эти недоумения его радуют: чем Благов непонятнее, тем он интереснее...

В начале романа Одиссей знает Благова только по слухам и уже им восхищается. Наконец русский консул является во всем своем величии, в восточноевропейском наряде, в сирийской чалме поверх французской шляпы, с турецкой саблей и слегка надушенный... **** Одиссей не может вдоволь на него налюбоваться — его ростом, статностью, нежным лицом, серыми глазами и новыми нарядами, которые он постоянно меняет, как царевич или епископ свои облачения. Перчатки его «такого светло-ли-

* Лит. насл. 433, 474–475.

** Там же, 433.

*** См. гл. «Нарцисс», ч. 1.

**** Л IV, 73–74.

лового цвета, как море иногда бывает зимой, при тихой погоде и при кротком захождении солнца. Сам же он высокий, прямой и тонкий, казался мне похожим как бы на очень красивую бутылочку, наполненную водою померанцевою или розовою, которою у нас иногда прыщут на людей, приветствуя их» *. Здесь Леонтьев в своей стихии — упивается красками.

В присутствии Благова Одиссей переживает какое-то неизъяснимо приятное волнение... Многое здесь вызывает улыбку, в особенности же сравнение императорского консула с греческой бутылочкой! Уж не дурачок ли этот Одиссей? Но мы знаем, что он очень даже себе на уме, весьма заботится о своей будущей карьере, очень грубо вымогает деньги у должников отца. Все же его любовь к русскому консулу совершенно бескорыстная, платоническая.

Одиссей — зеркало, подставленное Леонтьевым перед своим автоидеалом, Благовым. Это загорский гречонок помогает ему самим собой любоваться, своим идеализированным образом.

Хотя Одиссей очень подробно описывает внешность и наряды Благова и повторяет его леонтьевские афоризмы, личность этого великого консула остается неясной. Но автор именно этого и хотел: ему нравилось лелеять этот зыбкий идеал в душе провинциала-энтузиаста. Да, по записям Одиссея можно написать несколько красочных портретов Благова, а все-таки он нигде как характер не воплощается и пребывает в лирическом плане романа. В сочетании реалистической яркости и романтической зыбкости — очарование этого образа, о котором Леонтьев мечтал еще в юности, в Подлипках-Кудинове.

Как Одиссей ни влюблен в Благова, он и о себе не забывает, делает дела и любуется собой. На празднике в русском консульстве все его хвалят, и он этому радуется: «Я стоял, сложив смиренно руки спереди и лицемерно опуская очи, но... тщеславие уже вселилось в меня... И я сам не знал, какого рода было мое смущение. Смущение истинной стыдливости или волнение радости, что я играю такую важную роль и в таком высоком для меня кругу» **. Все это автору нравится: ему явно импонируют и хитроватость Одиссея, и его энтузиазм. Чего еще желать: этот молодой грек умеет восхищаться и идеализированным портретом Леонтьева — Благовым, а также и самим собой! Он тоже Нарцисс или нарциссик.

---

* Там же, 418.

** Там же, 433; также 606.

Семнадцатилетний Одиссей робко-стыдливо влечется к четырнадцатилетней плясунье Зельхе, она похожа на мальчика-подростка и шутливо его обнадеживает. Благов тоже поддается чарам девочки-чертенка (которая очень напоминает Пембе в рассказе того же названия; см. о ней выше). Ему как-то случилось настичь этих детей, целующихся на турецком диване. Одиссей в ужасе. Но великий консул на него не прогневался. Для них обоих Зельха — только игрушка! Они оба готовы поиграть в любовь, но реальна для них лишь их собственная личность, их честолюбие, их успехи.

У Благова нет друзей. Он мог бы выбрать девизом: «Ты царь: живи один...» * А Одиссей дружит со сверстниками — греком Аристидом и турком Джемалем. Все они писаные красавцы, но оба грека умны, а турок глуповат. Дружба этих юношей невинная и поверхностная. Их веселое товарищество дополняет сонм леонтьевских нарциссов, в себя влюбленных и друг другом иногда увлекающихся (по параллельной линии). Здесь, в провинциальной современной Греции, неожиданно воссоздается та древнеэллинская атмосфера, которую описывал Вячеслав Иванов:

> В палестрах белокаменных, где юноши нагие
> Влюблялись под оливами друг в друга и в себя... **

Наконец, еще одна красочная фигура включается в этот леонтьевский мир мужей и юношей: это разбойный албанский феодал, красавец Джеффер-Дэм: в пышной белой фустанелле и шитой золотом куртке он медленно шествует перед восхищенным Одиссеем: «Во всей его особе <...> было так много чего-то необъяснимого, породистого, тихо-гордого, тайно-самодовольного, что я тебе выразить не могу!» ***. И этот красивый злодей — вариант Нарцисса, вариант наименее трагический. Пусть он кончит дни свои на виселице, но сейчас он вполне удовлетворен достигнутым, он «тайно-самодоволен». Тогда как Благов и, в особенности, сам Леонтьев самодовольными не были.

Хитроватый, трусоватый Одиссей признается, что «бесстыдный убийца» Джеффер-Дэм навсегда останется связанным с его лучшими воспоминаниями о первой молодости. Благов тоже этим разбойником восхищается и говорит: был бы я сатрапом, выписал бы из Италии художника, чтобы снять с него портрет, а потом посадил бы его на кол и сам бы присутствовал на месте казни!

---

* *Пушкин А. С.* Поэту (1830).

** *Иванов В.* Cor Ardens (1911), 203.

*** Л IV, 494.

Описывается в романе и настоящая казнь: турецкого юноши, который в драке случайно убил своего товарища, тоже турка. По шариату семья убитого могла взять выкуп от родственников убийцы, и тогда бы его не казнили. Отец убитого готов был согласиться, но мать и тетка исступленно кричали: «Кровь за кровь!» Весь собравшийся народ, включая Одиссея и его товарищей, молит о прощении, но «фурии» не смягчаются, и палач-цыган, не сумевший отрубить мальчику голову, перерезает ему горло, как барану *. Автор не комментирует, хотя мы и ждем от него замечания вроде следующего: лучше такая дикая турецкая казнь, чем цивилизованная — гильотина во Франции или электрический стул в Америке!

Тени Байрона, Али-паши, Святого Георгия Нового, идеальные мужи — консул Благов и разбойник Джеффер-Дэм, красивые, разодетые юноши-друзья, греки, турки, албанцы, доморощенные чудаки-философы, столетний безумный дервиш, слабый епископ янинский и дерзкий поп-герой, уличные драки, всенародная казнь, пиры и споры в консульствах, честолюбие, коварство, великодушие, отвага, наконец смутные воспоминания о древней Элладе и живое благочестие в византийских храмах — вот та мужская стихия, которую Леонтьев нигде так полно и ярко не изображал, как в «Одиссее Полихрониадесе». Везде красочные зрелища, жестокие и безобидные, вся радуга эстетики, восхищающая нового Нарцисса, который рад был пожить на Балканах, вдали от родины, где делами заправляли чиновники-педанты, а общественным мнением руководили безответственные интеллигенты. Те и другие были ему одинаково несносны и противны. На Балканах же он спел свою песню песней во славу живой жизни! Описанные им восточные нравы уходят в прошлое, но остается его страстное жизнелюбие, его радужное искусство, до сих пор по заслугам не оцененное.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

Литературный прием, для Леонтьева очень характерный, — гротескная декламация великих говорунов-спорщиков в его романах. Все они — рупоры автора и говорят всерьез, но в пылу спора часто заговариваются, и их скачущая речь напоминает пародию. Первый леонтьевский ритор — Милькеев («В своем краю»), блестящий causeur [52]: он сыплет афоризмами и не в ладах с синтаксисом, а все же нельзя о нем сказать:

* Там же, 258–264.

Уж не пародия ли он? *

Пародийные же говоруны в «Одиссее» часто «договариваются до чертиков»!

Один из них, полугрек, полуитальянец, доктор Коэвино — персонаж очень яркий и отчасти комический, в особенности когда он «грызется» со своей кухаркой-ведьмой Гайдушей: оба они друг без друга жить не могут, а домашняя гражданская война стала своего рода нормой их существования!

Коэвино может замучить своими выкриками: «...Италия, папа, фарфор голубой: у меня три жакетки из Вены последней моды... фарфор...» ** Но может он говорить и связно, в особенности когда автор заставляет его высказывать свои излюбленные мысли.

1. О мусульманстве: «Я люблю суровую простоту этой идеальной, воинственной и таинственно сладострастной религии. “Бог один!” Какой Бог? не знаю! Один Бог. “И я, Магомет, — его пророк”. Величие! Я люблю, когда темною зимнею ночью с минарета раздается возглас муэдзина <...> А многоженство? О! я друг многоженства! Я друг таинственного стыдливого сладострастия!..» ***

2. О современной Греции: «Я материалист, я, может быть, атеист, но я понимаю высоту христианства... а теперь, когда турки перестали вас бить и резать, вы уже не строите монастырей; вы строите ваши национальные школы, где оборванный осел-учитель (дурак! дурак!) кричит: “Эллада! Эллада!” Вы теперь не веруете, вы не бежите в Пустыню, не молитесь, рыдая... нет! вы лжете, обманываете, торгуете... вы, как евреи, грабите процентами турок, которые гораздо лучше, благороднее вас...» ****

Это, конечно, сплошной Леонтьев — его риторика, его поэзия!

Еще больше дикости, красочности, гротеска — в образе греческого негоцианта Петро Хаджи-Хамамджи, которого турки зовут Дели-Петро (безумный, отчаянный Петро). Леонтьев говорит, что его прототип — некий Хаджи-Кариаджи, которого он знал в Адрианополе и оттуда перенес в роман «Одиссей Полихрониадес» — в Эпир, в Янину *****.

Вот его забавный монолог с примесью офранцуженных греческих слов: так, он думает, что canonique означает правильный, красивый...

---

* *Пушкин А. С.* Евгений Онегин, 7, XXIV.

** Л IV, 100.

*** Там же, 180.

**** Там же, 182, 183.

***** Л IX, 270–273.

«...Я, Хаджи-Хамамджи, не отчаиваюсь перейти во главе иррегулярной конницы Гималайю... Qui! Cette teste fera tout... Elle passera le... diable... comment le nommez-vous?.. le Ganguès à la teste des troupes irrégulières et cosaques. Sacré nom de Dieu! Какое пышное зрелище! Древние города, миллионами, триллионами населенные! Священные коровы... их держат святые люди за хвост... Океаны разноцветных зданий... Нагие баядерки... Слоны белые величиною с гору... Боги с десятками рук... Обезьяны кричат и прыгают с ветки на ветку... Христос и Панагия!... Кто это с полосатою лентой св. Георгия через плечо? C'est le chef des troupes irrégulières... Граф Дели-Петро Загангесский, Хаджи-Хамамджи, князь Загималайский... Sacré nom de Dieu!.. Женщины кричат: "Аман, аман, пощади нас!" Нельзя! Во имя Отца и Сына и Святого Духа... Попов сюда!.. В Ганг их всех, в реку... В Ганг, в Ганг!.. Cette petite bayadère est très jolie. Sa figure est tout à-fait cannonique...» *[53]

Все это говорится после обильных возлияний на веселом пиру у русского консула Благова, т. е. как будто не всерьез! Вместе с тем очевидно, что Леонтьев мог мечтать о таком историческом зрелище, о новой самобытной России в далеких дебрях Азии... Писал же он еще в Тульче, что Россия могла бы найти свое истинное призвание в Индии...

Правда, Леонтьев фантастом не был, но любил воображать — и создал этот гротескный монолог; бешеный Хаджи-Хамамджи не Репетилов на балу, не Хлестаков у городничего, не Степан Трофимович Верховенский на скандальном фестивале литературы, он сам по себе, и он не менее своеобразен и забавен, чем те более прославленные врали и говоруны Грибоедова, Гоголя, Достоевского!

«Священные коровы... их держат святые люди за хвост... Океаны разноцветных зданий...» — это запоминается!

ГРЕЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

В Янине Леонтьев, по-видимому, уже не работает над романом-хроникой «Река времен» и пишет ряд рассказов, в том числе и критскую повесть «Хамид и Маноли».

Главный герой «греческой повести» «Аспазия Ламприди» (1871) — молодой человек лет двадцати пяти, корфиот Алкивиад Аспреас, учившийся в Афинском университете. Под влиянием своего старшего друга, журналиста и политика, он становится западником, англофилом. Он едет в гости — в имение того

* Л IV, 440.

же приятеля, который по соображениям политическим находится в контакте с местными разбойниками; они ему нужны для избрания в парламент. Интеллигент Алкивиад все махинации эти не одобряет; все же при встрече главарь шайки, албанец Дэли, его очаровывает. Еще более восхищается им его слуга Тодори: он родом из разбойничьего клана «злой Сулии». Этот сулиот напоминает, что сам Христос благословил разбойника, и говорит, что греческие разбойники грабят только богатых, помогают бедным и жертвуют на церкви, монастыри и школы *. Население их поддерживает. Но один из товарищей Дэли убивает священника, и тогда греческие крестьяне, его укрывавшие, выдают убийцу турецким властям.

Алкивиад едет в Эпир и влюбляется в богатую вдову Аспазию, но родственники выдают ее за более зажиточного эпириота. Однако обойденный любовник нисколько не горюет и утешается тем, что в итоге он оказывается в выигрыше: он опять свободный человек! И он из породы нарциссов. Отметим также, что в эпилоге этот англофил становится русофилом. Ударение в этой повести делается на описание нравов и политическую ситуацию — это этнографический очерк и журнальный фельетон в форме повести.

Греческий быт описывается в двух коротких рассказах: о сулиоте Паликар-Костаки и о бывшем разбойнике, Капитане Илии. Эти «истории» рассказаны как анекдоты и отдаленно напоминают пушкинские «Повести Белкина». Все описания — суховатые, точные. Рассказчики — простые эпические греки, и говорят они очень просто. Вот начало второго рассказа: «Я с Илией познакомился в Элладе. Я украл у него лошадь, и он мне это простил» **. Здесь уже намечена вся незамысловатая фабула повести.

В том же стиле написан миниатюрный рассказ «Ядес»; это шутливый анекдот и едва ли удачный. Шутки — не к лицу Леонтьеву, все комическое — не его «амплуа».

О Леонтьеве, авторе балканских повестей, можно сказать то же, что Б. Эйхенбаум *** сказал о молодом Толстом, писавшем кавказские и севастопольские рассказы: у него была «тяга к мате-

* Л II, 284–285.

** Там же, 403.

*** *Эйхенбаум Б. М.* Л. Толстой, кн. 1 (1928), 81.

риалу, к факту». Ту же «тягу» он знал и в старости, когда писал народные рассказы.

Толстой преимущественно пользовался «материалом» из крестьянской и солдатской жизни. У Леонтьева другой «материал» — полудикие Балканы. Все же в длинных романах («Одиссее» или в «Египетском голубе») он больше внимания уделяет образованному обществу.

Восток — большая тема русской литературы, которая соблазняла и Толстого: его «лебединая песня» — «Хаджи-Мурат».

Многое и разное привлекало русских писателей на Востоке: сперва героическая романтика — Пушкин, Марлинский, Лермонтов. Толстой же искал на мусульманском Востоке то, что он более всего ценил и любил: простую жизнь, простую правду — без примеси лжи цивилизации. Это линия Руссо, Бернардена Сен-Пьера.

Леонтьев ближе прежним романтикам, вдохновлявшимся Байроном; но при этом он делает упор не столько на эпическую героику, сколько на бытовую красочность.

Эстетику романтиков, влюблявшихся в Восток, хорошо определил Гоголь: «Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный, как воля, сам себе и судья и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и, несмотря на то что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжег деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, испачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ» *.

Леонтьев Гоголя не любил, но мог бы под этим гоголевским комментарием подписаться... Здесь дается исчерпывающее истолкование и леонтьевского востоколюбия!

Все же не Восток — главная тема Леонтьева. Пестрые Балканы для него — лучший фон для Нарциссов, яркое волнующее зрелище, которым он любуется, втайне прислушиваясь к дальней, смутной музыке любви и смерти.

ДИТЯ ДУШИ

В цикл балканских рассказов Леонтьева входит и утопическая повесть — «Дитя души». Эта легенда основана на греческих и греко-молдавских преданиях, сообщенных автору «одним придунайским жителем».

---

* *Гоголь Н. В.* Сочинения, т. 7, 230 (Несколько слов о Пушкине, 1832—1834, Арабески, 1).

Петро — приемный сын дровосека и его жены — дитя души, психо пэди, т. е. «дитя не телом рожденное, а душой принятое». Сказание это балканское, но Леонтьев стилизует его под русскую сказку; и есть некоторая натяжка, фальшь в изложении легенды. Несколько народных выражений и прилагательные, поставленные после существительных, еще не составляют стиля... Леонтьеву так и не удалось создать новый эпос, о котором он так долго мечтал.

Вот как изображается сказочный герой Петро:

«Бедна одежда на нем — шальвары простой абы, темной, из овчины, простой безрукавник, ветхий, отцовский; но и в убогой одежде этой высится он между другими юношами кипарисом прямым и душистым между другими деревьями; а из-под белого валеного колпачка, как гроздия винограда полные, и как лозы гибкие, и как шелк мягчайший, и как соболиный темный мех зимою на шубе царской, ниспадают кудри его молодые, длинные, на широкие плечи. И руки его сильны и ловки, и поступь как у королевского сына, и ноги в простых кожаных сандальях, по колена нагие, красивы, как столбы мраморные, и как железо крепки и быстры как стрела, которую мечет искусный генуэзский стрелок или житель критских снежных вершин — сфакиот белокурый» *.

Замечательно, что этот леонтьевский эпический богатырь — грек, а не славянин, что, с точки зрения славянофилов, было еретично... Но эллинофил Леонтьев и не мог поступить иначе!

Кем только не был Петро: угольщиком, дровосеком, пономарем... Прислуживая в церкви, он убил турка, который прокалывал глаза святым на иконах; священник и перепуганные прихожане выдают его турецким властям. Петро спасает от казни богатый купец и делает его управителем, но вскоре с позором изгоняет по наговорам жены, которой не удалось соблазнить целомудренного юношу. Потом он служит у епископа, и тот его удаляет по наветам слуг. Затем Петро работает у фабриканта, мусье Франко, который оказывается самим дьяволом! Наконец Петро попадает к царю и вылечивает его дочь Жемчужину, одержимую бесами: она высасывала кровь у своих мужей. После того он на царевне женится и становится правителем всего царства: он друг бедных людей, народный вождь. Неожиданно им самим овладевает бес корыстолюбия, самый опасный из всех балканских бесов! И его доводит до беды неистощимый кошелек, данный ему нищим, который, как и мусье Франко, был воплощением дьявола!

---

* Л III, 139.

Наконец Петро покидает жену и уходит к отшельнику, который был когда-то великим грешником, отцеубийцей, кровосмесителем и богохульником. Он уже давно свои грехи замаливает, но покоя не находит и очень мучается. Петра же отшельник давно поджидал: он его наставляет на путь истинный и умирает примиренный...

А конец сказания счастливый: Петро возвращается к жене, опять ее исцеляет, становится великим царем и счастливо управляет своим православным царством-государством.

Все это, конечно, аллегории. Недаром исчадиями ада оказываются француз и нищий — представители буржуазии и пролетариата! Недаром все беды происходят от народолюбия и корыстолюбия — современных грехов буржуазно-демократической цивилизации... Все это очень леонтьевские мысли.

Самый же великий грех — это забвение Бога, проповедует Леонтьев устами юродивого: «Люби ты плоть свою, Петро, люби, Петро, люби жену молодую, Петро; но не люби ты, Петро, ни плоть свою больше души своей, ни деньги больше правды, ни жены молодой больше Бога!..» *

Та же мысль повторяется в эпилоге. Петро воздвигает обитель у могилы отшельника. В монастырском храме — необыкновенная пышность, но монахи живут в сырых кельях, плохо питаются. Вот что паломники говорят об этом монастыре: «Для Бога тут все <...> а для людей ничего» **.

В этой легенде Леонтьев пытался примирить то, что никогда не мог примирить ни в жизни, ни в других писаниях: эстетику красочных зрелищ, плотских страстей, государственного величия и — мрачную религию отказа от всего земного, даже от красоты. Петро соединяет все качества, ценимые Леонтьевым: он и доблестен, и прекрасен, он и величав, и благочестив... И он не Нарцисс, а скорее новый Давид или Соломон. Но создан Петро воображением автора-Нарцисса, который самого себя проецировал в этого сказочного героя.

Видно, что эта православно-греческая утопия очень тешила Леонтьева, но не утешала, ибо он не верил в светлое будущее человечества, не верил в победу христианства здесь — на земле; он был также убежден в том, что красоту с верой примирить нельзя; и на своем жизненном пути он постоянно оступался: то в эстетику, то в религию. Только в сказке, да и то в эпилоге, удалось ему дойти до ровного места!

---

* Там же, 251.

** Там же, 271.

Эта повесть печаталась в «Русском вестнике» * Каткова одновременно с «Анной Карениной», и Толстой леонтьевской легендой заинтересовался — хотел ее перепечатать в сборнике народных рассказов, в издании «Посредника», но из этого ничего не вышло; и не потому ли, что повесть «Дитя души» — хотя и понравилась Толстому, — но при ближайшем рассмотрении она показалась ему очень уж православной, церковной... **

Приведем здесь и этот отзыв Толстого о балканских повестях Леонтьева (со слов А. Александрова, который беседовал с Толстым в 1888 г.):

«Его повести из восточной жизни — прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием. Что касается статей, то он в них точно стекла выбивает; но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся» ***.

ДВЕ ИЗБРАННИЦЫ

В Янине же Леонтьев писал роман из русской жизни — «Две избранницы» (1870). По данным С. Н. Дурылина, эта повесть была отвергнута Юрьевым для славянофильской «Беседы» и Катковым для «Русского вестника». В 1885 г. первая часть была помещена в газете «Россия» ****, вторая хранится в архивах, а третья едва ли была написана.

Главное лицо Матвеев — последний в ряду леонтьевских супергероев, но в нем меньше автобиографических черт, чем у Ладнева в «Подлипках», «Египетском голубе», Благова в «Одиссее Полихрониадесе». Здесь Леонтьев проецирует себя в военного — блестящего офицера. Матвеев — полковник, кончивший академию Генерального штаба, герой кампаний — крымской, польской, туркестанской, позднее — генерал. Он на два года моложе автора — родился в 1833 г. Может быть, кое-что в Матвееве напоминает генерала графа Игнатьева, посла в Константинополе и начальника Леонтьева во время его службы на Балканах. Роман развертывается в Петербурге — в этом Вавилоне «гнилой нужды и хладной роскоши». В душе высшему свету и нигилистической интеллигенции Матвеев предпочитает простых «азиатцев» сартов и простых русских солдат. В столицу же он приехал,

---

* Русский вестник, 1876, VI–VII.

** *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. (1935), т. 85, 308 и 313.

*** Предисловие А. Александрова к книге К. Леонтьева «О романах гр. Л. Н. Толстого» (1911), 7.

**** Россия, 1885, № 1, 3–10. Иногда Леонтьев дает другое название этому роману: «Генерал Матвеев».

надеясь, что теперь, в 1867 г., вспыхнет большая европейская война и ему удастся принять в ней участие. Матвеев любит войну и заботится о своей карьере. При всем своем благородстве, он умеет при случае хитрить. Чем-то он похож на честолюбивого друга Вронского Серпуховского, приехавшего из Туркестана, да отчасти и на самого Вронского... * У Матвеева связь с молодой москвичкой — женой некрасивого набожного сановника — немножко Каренина! Но никакой драмы здесь нет. Сановник почти что мирится с изменой жены, он считает, что в его положении Матвеев — лучшая «случайность» или «возможность». Его жена тоже «не устраивает драмы» и весело заботится о карьере своего возлюбленного.

В Таврическом саду Матвеев встречает старую знакомую — А. П. Киселеву. Отмена крепостного права ее разорила, и она эмансипацию проклинает, но какая добрая душа эта реакционерка. Она живет для своей внучки Сони, и Матвеев становится завсегдатаем их бедного домика. Соня — ярая нигилистка; незадолго до этого она сошлась со студентом-революционером, но они вскоре расстались, его сослали в Сибирь. Для Сони Матвеев только солдафон, и они постоянно спорят, ссорятся. Увидев у нее портрет Добромыслова (Добролюбова), Матвеев говорит, что он напоминает ему одного знакомого чиновника-взяточника! Но он не только поддразнивает Соню: он сразу же почувствовал к ней симпатию. К тому же Матвеев прежде сам был настроен либерально, ему «нравился Фурье», он нигилистов понимает, хотя и не соглашается с их воззрениями. Соня начинает понемногу привыкать к Матвееву, даже привязывается к нему, и в конце первой части уже нельзя сомневаться в том, что они полюбили друг друга, и это не простая «интрига», как та связь с женой петербургского сановника.

Читатель видит, слышит Соню, эту «нежную бунтовщицу» в черном башлыке и поношенной шубке. Она сильная, цельная женщина и, может быть, чем-то напоминает «Марину из Алого Рога» Маркевича **. Все же, если судить по первой части, этот женский образ не «дорисован». Кое-что о второй части романа мы узнаем от С. Н. Дурылина. Матвеев предлагает Соне жить втроем с его женой. Соня пишет письмо жене: «Ни вы, ни я не можем каждая отдельно наполнить жизнь нашего мужа — ему

---

* «Анна Каренина», ч. 3, гл. XX–XXI (о Вронском и Серпуховском).

** Марина из романа Б. М. Маркевича «Марина из Алого Рога» (1873) тоже «обращенная» нигилистка, как и Соня в «Двух избранницах» К. Леонтьева.

слишком много надо. Он слишком выше нас обеих (это, я думаю, вы мне простите). Обе же вместе мы можем составить для него такое счастье, какое люди еще не видели и не испытывали. Я буду жить у вас как сестра — не больше, и прошу вас еще только об одном: если вам не понравится что-нибудь, если тогда жизнь будет вам тяжела — скажите мне дружески и прямо, я тотчас же уеду, и никого, кроме судьбы, винить не буду. Главное, чтобы мы ни в чем не винили друг друга». Далее Дурылин пишет: «На предложении жене Матвеева этого опыта свободы <...> кончается сохранившаяся в рукописи 2-я часть романа *. В первой же части едва намечена героическая роль Сони в будущем: Матвеев мечтает, что она могла бы стать «орудием какой-то особой славянской проповеди»...

Кто же жена Матвеева — его первая избранница? Зовут ее Лина, и в «действии» первой части романа она участия не принимает, но тем не менее «обрисована» лучше Сони. Матвеев встречает ее в Константинополе, где находился в плену, но пользовался относительной свободой (это было еще в 50-х гг.). Лина — валашка из Бухареста. Там ее соблазнил молодой еврей. Он продал ее своей сестре — «мадаме», владелице константинопольского публичного дома, где ее и встретил Матвеев. Во всей этой ситуации Леонтьев смело нарушает литературные и моральные «шаблоны» о молодых негодяях, торгующих соблазненными девушками. Бронзовая красавица жертвой себя не считает. О соблазнителе своем Лина говорит, что он был красивее Матвеева, и его не осуждает, она очень привязана к своей «мадаме»-баловнице! Все же Лина бежит к Матвееву, хотя и считает, что этим самым совершает грех против доброй хозяйки дома! Перед отправкой во Францию Матвеев передает Лину товарищу-моряку. «Бери ее любовницей», — говорит он ему... Пожелание это необычное, но для Леонтьева характерное. Леонтьев много писал о любви, о страстях, однако ревности его супергерои не знают. Но они не расчетливые развратники, хотя и «эпикурейцы»... При этом «эпикурейство» их особое — жалостливое. Есть в леонтьевской эротике — агапе[54], любовь-жалость. Матвеев говорит, что любит Лину, как мать свою дочь... Позднее он увозит свою возлюбленную в Крым, нанимает ей там домик и иногда к ней наезжает. О женитьбе он не помышляет. Матвеев почитал брак, семью, но всегда хотел, чтобы его эта горькая чаша миновала. Брак — бремя, скука... Но он все больше жалеет свою бронзовую красавицу. Ее в крымском городке обижают, к ней лезут в

* Лит. насл. XXII, 484.

дом какие-то пьяные писари. Матвеев не прочь выдать ее замуж, но вот он вдруг понимает, что другой, муж, не поймет, что «она *моя Лина,* что она *бедная Лина, глупая Лина,* и втопчут ее в грязь». Во время венчания Матвеев чувствует, что теперь она для него больше не «игрушечка», он полюбил ее «как сестру свою вечную». Вся эта ситуация напоминает закончившийся браком роман Леонтьева с дочерью мелкого греческого торговца Е. П. Политовой. Даже в звучании их имен есть некоторое сходство — Лиза-Лина. Матвеев с женой часто разлучается, но всегда о ней заботится. Она была неграмотна и при всей своей религиозности не знала — кто Христос. Он приставляет к ней учителя, потом вводит в дом своей бабушки. О встрече с ней в доме «мадамы» он умалчивает и дает другую версию всей этой «истории». Такой странный и свободный брак для Матвеева (а также и для Леонтьева) — самый идеальный. К тому же детей у них не было — ни у Матвеевых, ни у Леонтьевых. Это брак без скуки, без бремени, но вместе с тем и не пародия на брак. Матвеев навеки связан со своей женой-дочерью, женой-сестрой. Этот же мотив отцовства-братства звучал и в семейной жизни Леонтьева (а также, хотя и в других «условиях», в его повести «Исповедь мужа»). Но его творчество мы знаем лучше, чем его жизнь, поэтому я полагаю, что скорее леонтьевские романы комментируют жизнь Леонтьева, хотя и жизнь его является комментарием к его романам. Все же вместе слагается в одну поэму жизни, отраженную в его повестях, записках, письмах и отчасти даже в воспоминаниях о нем!

Все рассуждения Матвеева очень знакомые. Автор влагает в его уста многие из своих излюбленных мыслей. Матвеев говорит, что драма собственной его жизни — боевой и сердечной — нравилась ему больше, чем «картонная драма подмостков» (опера). Так думал и Леонтьев. Но о жизни и Матвеева, и Леонтьева мы все-таки узнаем из литературы!

По композиции роман «Две избранницы» сделан лучше, чем все другие повести Леонтьева. В нем нет леонтьевских «излишеств» — лирических отступлений, философических рассуждений, нет и той толпы эпизодических героев, которые с трудом запоминаются в других романах. «Сценарий его», верно замечает Дурылин, «упрощен до предела». Но это не значит, что «Две избранницы» — лучший леонтьевский роман. Может быть, прелесть и даже сила Леонтьева в том, что он, нарушая каноны тургеневского и вообще европейского романа, включал в него все живые впечатления бытия... То же самое, но иначе делали и Толстой, и Достоевский. По существу же, Леонтьев всю жизнь

писал только о себе — Нарциссе; и этот Нарцисс никогда собой доволен не был, ему всегда казалось, что он недостоин любви к самому себе! Матвеев — тоже Леонтьев, но менее на себя похожий, скрытый в военном мундире, имеющий другую судьбу, и поэтому Леонтьеву труднее было его изобразить, ведь дара перевоплощения у него не было. Мне кажется, Матвеев хорош, убедителен там, где он на автора походит, но не там, где от него отличается! Да, композиция «Избранниц» Леонтьеву удалась, но зато в этом романе только один план — фабульный, психологический, но не лирический, философический, а Леонтьев — более лирик, философ, чем психолог.

ТОСКА

В Эпире, как и во Фракии и в Добрудже, велась все та же борьба политических интересов, представленных консулами великих держав и невеликой Греции; и Леонтьев опять этой борьбой увлекается. О его дипломатической работе мы можем судить и по «Одиссею Полихрониадесу», и по другим эпирским рассказам. По-видимому, Леонтьев, как и Благов, перешел по тонкому льду Янинское озеро и доставил припасы и топливо жителям острова, отрезанного от сообщения с берегом. Этот подвиг, несомненно, очень усилили популярность русского консула. С турецким губернатором он дружит, но эта дружба делу не мешает, а иногда даже облегчает хлопоты за единоверных греков; может быть, он, как тот же Благов, добился у турок разрешения звонить в колокола в Арте... Но из всего этого можно заключить, что и в Янине он был консулом очень деятельным. А по сообщению Губастова, он даже усердно занимался ненавистной ему статистикой и написал обширное и основательное донесение о торговле и промышленности в Эпире.

Все же на новом месте Леонтьев не был так счастлив, как прежде в Тульче или в Адрианополе. Может быть, консульская деятельность начинала ему уже надоедать? Но были и другие причины. Он заболел изнурительной лихорадкой и некоторое время должен был проживать в городке Арте и позднее на острове Корфу. А летом 1869 г. ухудшилась душевная болезнь жены, Лизаветы Павловны, и он отправляет ее на излечение в Одессу, но она и там не поправилась.

Несколько месяцев гостила у него племянница Маша — Мария Владимировна; она всегда так хорошо его понимала — луч-

ше жены, лучше друзей. Ее роль в жизни Леонтьева — загадочна. Была ли здесь влюбленность? — Может быть. Но, несомненно, было и другое: сердечная дружба, которую Леонтьев всегда так ценил, полное взаимное понимание, даже слияние душ; но при этом одна душа всегда господствовала: не ее, а его душа!

Всем друзьям Леонтьева нельзя не преклоняться перед этой замечательной русской женщиной, его ангелом-хранителем. Маша все отдавала и никогда ничего не требовала. Она так и не вышла замуж и жила только им — тщательно переписывала его рукописи, по-матерински-сестрински за ним ухаживала, хотя была на шестнадцать лет моложе. Маша также увлекалась идеями Леонтьева, вообще во всем ему сочувствовала.

Итак, Маша была при нем, но и она не могла помочь. Его мучила какая-то особенная «спокойная тоска», пишет он Губастову и поясняет: «Я с ужасом вижу, что в первый раз в жизни начинаю ничего не желать, кроме вещественных удобств» *.

Между тем его эпирский роман «Одиссей Полихрониадес» производит другое впечатление: это увлекательная книга о сильных и страстных желаниях честолюбцев, соперников и друзей: они все умеют желать за двоих, за троих... в особенности же Благов — Нарцисс и Алкивиад! Эта повесть автобиографическая, как и многие другие, но все же в данном случае вымысел мог не совпадать с действительностью.

По-видимому, в Леонтьеве тогда что-то надломилось и образовалась трещина... и вот он уставал желать! Едва ли здесь можно говорить о т. н. романтическом разочаровании. Ведь очаровывали его не иллюзии, а реальности: та живая жизнь, которая ему нравилась именно тем, что она была несовершенной; вся его эстетика была основана на упоении красочной борьбой зла и добра; и эта столь увлекавшая его борьба ни на минуту не прекращалась в Эпире!

Все же с Леонтьевым случилось что-то неладное: он не разочаровался в жизни, а скорее перестал очаровываться игрой светотеней. Ему тогда было лет 38–39; он был еще полон сил, хотя и болел лихорадкой. Но, видно, ослабело то особенное душевно-телесное напряжение, которое всегда повышало его ощущение жизни.

Кого-либо полюбить больше себя Леонтьев не был способен. Он только позволял себя любить: жена, другие женщины, Маша, преданные слуги! Он привык к этому, но, может быть, ему все-

* Памяти К. Л., 208 (письмо от 15 окт. 1869 г.).

таки недоставало той любви, которая заставляет забывать о себе самом — Нарциссе.

Однако все это только догадки, основанные на интуиции. Доказать здесь ничего нельзя. Фактические данные отсутствуют.

Вероятно, еще в Янине Леонтьев узнал о смерти матери — Феодосии Петровны, скончавшейся в Кудинове в феврале 1871 г. У него было к ней особенное отношение. Современные психологи называют это «Эдиповым комплексом» и, может быть, кое-что здесь угадывают, но далеко не все. У Леонтьева «влюбленности» в мать не было, хотя он ею гордился и ею любовался; и она не всегда его понимала — или же не так глубоко и тонко, как Маша. Было тут другое — нечто очень простое, хотя и непонятное: ощущение физической и даже метафизической связи с матерью. Может быть, не его сознание, а его кровь, его душа никогда не забывала, что где-то далеко в Кудинове мать сидит в своем обтянутом полосатыми ситцами эрмитаже или же медленно прогуливается по аллеям того самого сада, по которому в детстве проходил Полунощный Жених. Но — кто знает, как это на самом деле было!

Существенно же, что в балканских романах Леонтьева нет тех матриархов, которых мы встречаем в его русских романах («Подлипки», «В своем краю»). Они только кое-где мелькают — например мать Одиссея, или старушка Костинко («Паликар-Костаки»), или же сестра, которая была по-матерински привязана к брату («Хамид и Маноли»). Но все эти персонажи где-то на периферии, а не в центре, как прежде в леонтьевских дворянских гнездах. По-видимому, на Балканах, во второй половине 60-х гг., Леонтьев из матриархата вышел и стал мужем. Но это не был выход в семью, это был выход в деятельность и в одиночество. И именно поэтому связь с матерью оставалась, хотя тема матриархата его уже не занимала.

САЛОНИКИ

В Константинополе в русском посольстве знали, что Леонтьев болеет, и граф Игнатьев решил перевести его в другое место, а посол в Вене Новиков предложил ему пост генерального консула в Праге, но там вакансия не освободилась. Тогда Леонтьев согласился принять временное назначение в Салоники. Но ему этот город не понравился; ничего его в то время не радовало, а тут еще скучная работа: судебно-торговые дела, которые он всегда

ненавидел, бесконечные «визитации» русских паломников, прием пожертвований на афонский монастырь.

Летом приехала племянница Маша, и он поселился с ней на даче, но и она, по-видимому, не могла его утешить или ободрить.

Все биографы Леонтьева говорят о духовном кризисе, который он тогда переживал. А можно было бы сказать и проще: он тосковал и сам не знал, почему именно тоскует. Кончина матери, изнурительная лихорадка и какие-то «сердечные дела» его тоску обостряли, но, как мы уже знаем, он мучился и отчаивался и до этих событий, еще в 1869 г.

«Прошло упоение жизнью», — пишет Бердяев *; мы же добавим: прошло также и упоение самим собой. Но это все догадки. Мы мало что знаем о его внутренней жизни в те годы.

В июле 1871 г. Леонтьев заболевает острым желудочным расстройством. Ему кажется, что это холера, и он думает о смерти. По сообщению Губастова, его также ужасало то, что болезнь была очень уж неэстетическая **. А Коноплянцев говорит, что он особенно боялся наступления ночи и поэтому «заперся в темной комнате, чтобы не знать, когда день и когда ночь».

Неожиданно его спасает чудо...

Тотчас же после исцеления он верхом едет на Афон, куда прибывает 24 июля. Он и прежде туда собирался, но все откладывал поездку; и как-то раз должен был из-за болезни вернуться, не доехав до Афона. К сожалению, мы не знаем — заболел ли он тогда той болезнью, от которой чудесным образом излечился...

Первое его пребывание на Афоне было недолгим. В начале августа он возвращается в Салоники: ему будто бы было необходимо найти какой-то важный документ, касающийся афонского монастыря. Случайно он заглядывает в чемодан, наполненный рукописями романа «Река времен» и бросает их в горящий камин. Так он уничтожил книгу, над которой работал годы (но одна повесть из этой хроники «От осени до осени» сохранилась).

В Салониках Леонтьев производит на всех странное впечатление, и все говорили, что русский консул помешался. В начале сентября он извещает посла Игнатьева, что по нездоровью не может заниматься делами, и, бросив консульство на произвол судьбы, опять уезжает на Афон и остается там до августа 1872 г. Вот те немногие факты, которые нам известны по двум биографическим очеркам Коноплянцева и по воспоминаниям Губастова.

---

* *Бердяев*, К. Л., 70.

** Памяти К. Л., 210.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

1

О том, что с ним произошло во время болезни, Леонтьев подробнее всего говорит в письме к Розанову. Приводим его запись полностью:

«В ответ на вашу просьбу — объяснить вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо (и даже очень хорошо под конец, судя по отзывам кн. Горчакова и обещаниям Игнатьева), и думать о монашестве, скажу следующий афоризм: "Полуоткровенность и недосказанность часто больше вредят настоящему пониманию жизни, чем совершенное умалчивание". А с *полной откровенностью* я об этом в письме распространяться не могу. Если Бог поможет наконец нам увидеться (не отчаиваюсь!), то *на словах* — другое дело! Постараюсь, однако, кое-как объяснить. Причин было *много разом,* и *сердечных,* и *умственных,* и, наконец, тех *внешних* и, *по-видимому* (только), *случайных,* в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежит, с одной стороны, уже и тогда, в 1870—71 году: *давняя* (с 1861—62 года) философская ненависть к формам и духу *новейшей европейской* жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой — *эстетическая* и *детская* какая-то приверженность к *внешним формам* православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сердечных глубочайших потрясений (слыхали ли вы французскую поговорку: "Cherchez la femme!", т. е. во всяком серьезном деле жизни "*ищите женщину*"), и, наконец, *внешнюю случайность опаснейшей и неожиданной болезни* (в 1871 г.) и ужас в ту минуту, когда только что были задуманы и не написаны еще: *Гипотеза триединого процесса* и "Одиссей Полихрониадес" (лучшее, по мнению многих, художественное произведение мое), и, наконец, не были еще высказаны о "юго-славянах" все те *обличения* в европеизме и безверии, которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей (*сам* Катков этой опасности не понимал или не хотел на нее указать по свойственному ему оппортунизму и хитрости)... Одним словом: *все главное мною сделано после* 1872—73 гг., т. е. после поездки на Афон и после страстного обращения к личному православию... *Личная вера почему-то вдруг* докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и

непонятным. Но в *лето* 1871 г., когда консулом в Салониках, лежа на диване в страхе *неожиданной* смерти (от сильного приступа *холеры*), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я ничего этого предвидеть еще не мог и все литературные планы мои были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже *не о спасении души* (ибо вера в *личного Бога* давно далась мне гораздо легче, чем вера в мое *собственное личное бессмертие*); я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о *телесной* смерти и, *будучи заранее подготовлен* (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я *вдруг,* в одну минуту, *поверил* в существование и в могущество *этой Божией Матери;* поверил так ощутительно и твердо, как если б *видел перед собой живую, знакомую,* действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: "Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, *утонченно*-грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного верующего и в *среду,* и в *пятницу,* и в чудеса, и даже постригусь в монахи..."

Через 2 часа я был здоров; все прошло еще прежде, чем явился доктор; через три дня я был на Афоне; постригаться немедленно меня отговорили старцы; но *православным* я стал очень скоро под их руководством. К *русской* и эстетической *любви* моей к Церкви надо прибавить еще то, что недоставало для исповедания "середы и пятницы": *страха* греха, страха наказания, страха Божия, страха *духовного.* Для достижения этого страха духовного — нужно было моей гордости пережить только 2 часа *физического* (и обидного) ужаса. Я *смирился* после этого и понял сразу ту высшую *телеологию случайностей,* о которой говорил. Физический страх прошел, а духовный остался. И с тех пор я от *веры* и *страха* Господня отказаться *не могу, если бы даже и хотел*... Религия не всегда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется! И всякое *сомнение,* всякое *невыгодное* для религии философствование он будет с ненавистью и презрением легко от себя отгонять, как отгоняют несносную муху... А что было после обращения, после 1871—72 года, — об этом невозможно рассказать здесь! Эти 20 лет, от 40 до 60, я *прожил* совсем *иначе,* чем первое 20-летие зрелости (от 20 до 40 лет). Я не говорю — лучше, безгрешнее, а только *иначе,* совсем с другим

основанием, глубже и полнее... В эти же последние 20 лет (после Афона) я и написал все лучшее и оригинальное...» *

Сравним эту леонтьевскую исповедь, на которую часто ссылаются, с другою, менее известной, и написанной раньше, в 1874—1875 гг. (и посланной С. П. Хитрово) (см.: Литературное наследство, 22, 1935). Леонтьев там об исцелении своем ничего не говорит, но, как и во второй исповеди 1891 г. (посланной Розанову), он подчеркивает: в Салониках и на Афоне «я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души... Но в полное выздоровление он еще не верил и ехал на Афон умирать» (при этом свою поездку он почему-то относит к зиме, а не к лету 1871 г.). Однако по дороге умирающий Леонтьев обдумывает гипотезу триединого процесса, т. е. свою философию истории; остановившись в болгарском монастыре — Зографе, он две недели не выходит из комнаты, пишет день и ночь — «даже полулежа в постели и чередуя это занятие с самой горькой и чуть ли не отходной молитвой, по монашескому указанию и по книжкам».

По-видимому, сам Леонтьев никогда не мог разобраться в этой Великой Смуте своей жизни. Чего он тогда только не пережил: тут и человеческий страх, и нечеловеческий ужас, и страстные молитвы, и бессонное вдохновение; и агония, и экстаз, и еще что-то — безотчетное, неуловимое... Это была буря посередине странствия земного, его преполовение в тот год, когда ему исполнилось сорок лет. Об этом хорошо, верно написано в книге Бердяева:

«Вся жизнь Леонтьева распадается на две половины — до религиозного переворота 1871 г. и после религиозного переворота. И в первую и во вторую половину жизни он решает эту проблему под знаком искания счастья в красоте, искания "ультрабиологического", "жизненно-напряженного". Во вторую половину жизни он решает эту проблему под знаком искания спасения от гибели» **.

2

Бердяев говорит о полной искренности леонтьевской исповеди, и с этим нельзя не согласиться. Леонтьев ничего не приукрашивает, не рисуется, как это часто бывает с обращенными.

Скептики чудеса отвергают, но сам Леонтьев, несомненно, верил в свое чудесное исцеление, в ниспослание благодати.

---

* Русский вестник, 1903, VI, 420–423 (письмо от 14 авг. 1891 г.).

* *Бердяев*, К. Л., 9.

Все это случилось вскоре после кончины Феодосии Петровны в Кудинове; и чудо в Салониках могло иметь особый, сокровенный смысл: его земная мать умерла, а Божия Мать усыновила.

О своем обращении Леонтьев говорит и в письме к одному студенту Московского университета (1888): но это уже не исповедь, а скорее поучение.

«Мне недоставало тогда *сильного* горя; не было и тени *смирения,* я верил *в себя*. Я был тогда гораздо счастливее, чем в юности, и потому я был крайне самодоволен. С 69 года *внезапно* начался перелом; удар следовал за ударом. Я впервые *ясно* почувствовал над собою какую-то высшую десницу и захотел этой деснице подчиниться и в ней найти опору от *жесточайшей внутренней* бури; я искал только формы общения с Богом. *Естественнее* всего было подчиниться в православной форме. Я поехал на Афон, чтобы *попытаться* стать *настоящим* православным; чтобы меня строгие монахи научили веровать. Я согласен был им подчиниться умом и волей. Между тем *удары извне* сами по себе продолжались все более и более сильные; *почва* душевная была готова, и пришла наконец неожиданная минута, когда я, до тех пор вообще смелый, почувствовал незнакомый мне дотоле *ужас,* а не просто страх. Этот ужас был в одно и то же время и духовный и телесный; одновременно и *ужас греха и ужас смерти*. А до этой минуты я ни того ни другого сильно не чувствовал. *Черта заветная была пройдена*. Я стал *бояться Бога и Церкви*. С течением времени *физический* страх опять прошел, *духовный* же остался и *все вырастал*» *.

Обратившись к вере, Леонтьев тотчас же решает коренным образом изменить свой образ жизни: он хочет стать монахом. Правда, он им не стал: афонские старцы не советовали ему постригаться... Все же была у него решимость, было мужество: он искренне хотел от мира отказаться, хотя и продолжал жить его интересами.

Заметим: как непохоже обращение Леонтьева на обращения русских интеллигентов в начале XX века. Почти никто из них не помышлял о трудных азах религии — об аскезе. Вообще не было серьезности, не было решимости в их духовном опыте. Серьезны были немногие: поэт-символист Александр Добролюбов, ставший странником [55]; марксист, а потом «идеалист» С. Н. Булгаков, принявший священство; и, наконец, деятели христианского подполья в годы гражданской войны. Серьезен был, конечно, и Толстой, с церковью порвавший. Большинство же

* Богословский вестник, 1914, II, 231–232.

занималось т. н. «религиозными вопросами» за письменным столом или на разных собраниях.

На Афоне Леонтьев повторяет молитву мытаря: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Но, как мы уже знаем по его исповеди, — вера в Бога ему легче давалась, чем вера в бессмертие; и по совету своего афонского духовника, отца Иеронима, он молится: «Господи, пошли мне веру в загробную жизнь и утверди ее в сердце моем. И послал Бог и утвердил»... *

3

Вспомним, какой Леонтьев поехал на Афон. Поехал тот Леонтьев, которого мы уже хорошо знаем: Нарцисс по натуре, Алкивиад по влечениям, себялюбец, который никогда собой удовлетворен не был, жизнелюбец, которого вдруг начала одолевать беспричинная тоска. Он же — евангельский Богатый Юноша, у которого денег было мало, но зато было много мыслей — было огромное культурное наследие: в нем продолжала жить классическая Греция (культ прекрасной плоти), ренессансная Италия (культ творческой личности) и вольтерьянская Франция (скептицизм); в нем жил и европейский романтизм (мечтательство); и он смолоду научился мыслить научно; его волновала современная политика, и, наконец, он был одержим своей эстетикой... Почти та же «поклажа» была у двух столь родственных ему французских писателей: у эстета и «сатаниста» Шарля Гюисманса (1848—1907) и у Леона Блуа (1846—1917), дерзновенно восхотевшего стать святым. Оба обратились к вере позднее, и Леонтьев о них ничего не знал, а если бы узнал, то, наверное, очень удивился бы тому, что его попутчики были французы, которых он недолюбливал!

Мы знаем: разные чувства обуревали в то время Леонтьева. Одно чувство — низменное — ненависть и даже злость на буржуазно-пролетарскую Европу, которая впала в безбожие и в безобразие... Но было и возвышенное чувство раскаяния; было и восхищение эстетическими контрастами. Московскому студенту Леонтьев писал: «Да и что может быть благороднее, привлекательнее, почтеннее, когда видишь, что человек сильный по молодой ли энергии или по зрелому опыту, или умом высокообразованный склоняется в прахе не только перед Невидимым Богом, но и перед обычаями веры, даже перед представителями учительствующей церкви Его; несмотря на то что они сами очень

* См. предыдущее примеч.

часто слабы и недостаточны... "Не *нам,* не *нам,* а *Имени Твоему*"» *.

Было еще желание выздороветь и продолжать писание. Было и дерзновение: его обращение к Богородице звучит не как моление, а как требование: «Рано умирать мне!..» Воле Божией Леонтьев не покоряется и лучше Бога знает, сколько ему нужно жить! Наконец, он боялся смерти, ужасался небытия.

Иногда даже кажется, что Леонтьев решил постричься из честности, чтобы уплатить за свое исцеление Небесному Врачу. Скептический Губастов говорил, что в религии Леонтьева было много от римско-правового do ut des **[56]. Это юридическое изречение можно здесь так перевести: дашь (здоровье), дам (себя)! Т. е. сделаюсь монахом, который всю жизнь посвятит Богу. Это напоминает ветхозаветные договоры с Иеговой; новозаветной сыновней любви к Отцу здесь нет.

Отец Сергий Булгаков писал, что религия Леонтьева «вымученная»: радость и свет веры ему так же мало ведомы, как и Гоголю ***. А Розанов, комментируя исповедь Леонтьева, говорит, что он не сказал о религии ничего такого, «*что взяло бы за сердце*»... ****

Действительно, здесь все темно, мрачно: больной Леонтьев требует исцеления и потом в уплату долга хочет произвести какую-то жестокую операцию над самим собой — это похоже на самооскопление. Он заставляет себя молиться о загробном спасении, но ему совсем не хочется войти в Царствие Небесное; ему еще хочется пожить на земле, хочется этой жизни, полной контрастов добра и зла!

«Всякая душа — христианка», — говорил Тертуллиан [57], но душа Леонтьева менее христианка, чем души многих язычников или даже безбожников! Его Психея томилась, изнывала в монашеских кельях и в монастырских храмах. Но и игры Вакха и Киприды ее уже не радовали...

Когда-то, в ранней юности, Леонтьева растрогал и пронзил образ Полунощного Жениха... А теперь он «отмахивается» от личного отношения ко Христу (Булгаков) *****. Нет в нем любви к Богу; у него только страх Божий. Нужно Бога бояться... Об

---

* Там же, 233.

** Памяти К. Л., 232.

*** *Булгаков С.* Тихие думы (1918), 116 («Победитель-Побежденный», статья о К. Леонтьеве).

**** Русский вестник, 1903, VI, 422.

***** *Булгаков С.* Там же, 130.

этом он постоянно твердит, до самой смерти, и с каким-то злорадным упорством, с полемическим задором. Он укоряет «розовых христиан» — Толстого и Достоевского за то, что они страха Божиего не ведают.

Бердяев находит у Леонтьева «какой-то дохристианский, античный ужас, осложненный средневековым ужасом ада» *. И он сам признался, что в его религии много ветхозаветного и средневекового... От себя же добавлю — и мусульманского! Он мог бы с упоением повторить пушкинские стихи из «Подражания Корану»:

И все пред Бога притекут,
Обезображенные страхом... **

Все это верно, но кое-что здесь преувеличено. Леонтьев знал страх смерти, страх Божий, испытывал ужас, но очень редко изображал эти чувства в своих художественных произведениях. Некоторые его герои умирают, но об этом он только упоминает. А казнь турецкого юноши в «Одиссее Полихрониадесе» — это только живописное зрелище. Тургенев в «Казни Тропмана» или Достоевский в «Идиоте» другими глазами смотрели на эшафот (ужасались, сочувствовали). Смерть для Леонтьева — не потрясающая реальность, как для Толстого (агония Андрея Болконского или Николая Левина).

«Смерть Ивана Ильича» Леонтьева раздражала: он говорил, что нет ничего поэтического ни в этом толстовском герое, ни в его жалком конце ***. Для него на самом деле реальна — не смерть, а жизнь. Ему иногда бывало очень тоскливо, как Ладневу в «Египетском голубе», а все же его творческая личность смерти чужда: Леонтьев-художник — смертонепроницаем (death-proof!), как дождевики бывают водонепроницаемы (water-proof!) ****.

И в статьях, и в письмах он двадцать лет подряд пугал своих читателей и друзей страхом смертным и страхом Божиим, а все же предпочитал изображать не страх, а страсть! Это один из парадоксов жизни и творчества Леонтьева. А были и другие...

В Янине Леонтьев потерял точку опоры в самом себе и обрел новый оплот на Афоне — в религии. Странным образом вера в

---

* *Бердяев*, К. Л., 222.

** *Пушкин*, Подражания Корану (1824), III.

*** Л VIII, 266–271.

**** Ср.: *Розанов В.* // Русский вестник, 1903. IV, 637.

Бога, в православие не убила в нем Нарцисса и Алкивиада, а даже возродила их в его душе. Так, черное монашеское христианство неожиданно привело к творческому возрождению «пестрого» светского язычества. Эстетика Леонтьева еще шире распустила свой павлиний хвост, еще ярче засияла цветами радуги. В книгах, написанных в 70-х гг., в сборнике статей «Восток, Россия, славянство», в романах «Одиссей Полихрониадес» и «Египетский голубь» — Леонтьев-полумонах — мыслитель и художник более зрелый, более яркий и более соблазнительный, чем Леонтьев-консул. И это тоже — парадокс...

Леонтьев был задуман язычником, Нарциссом, Алкивиадом, и, кто знает, может быть, помощь свыше была ему дана для того, чтобы он лучше проявил свою языческую, художественную сущность, свой изумительный дар восхищения.

Существенно и другое: православный Леонтьев твердо знает, что в иерархии ценностей красота добра и зла, вообще вся упоительная борьба человеческих страстей — неизмеримо ниже утверждаемой им монашеской Церкви, в которой он надеялся найти последнее прибежище. Вместе с тем он также хорошо знает, что нельзя жить в двух мирах: нельзя одновременно быть древним эллином, ренессансным итальянцем и христианином-византийцем! И ему никогда не удавалось свести эти далеко раскинутые концы; и в жизни он часто отчаивался.

Все же, по верному и проникновенному замечанию отца С. Булгакова, «ему посчастливилось найти свой личный стиль жизни, сделать из нее некую трагическую рапсодию, религиозную поэму» *.

Эта поэма философских противоречий Леонтьева не разрешает, но прекрасно их выражает. И отрывки из этой поэмы записаны им на лучших страницах его повестей и воспоминаний, статей и писем.

К тем же выводам пришел современный исследователь Леонтьева Б. А. Филиппов: его творчество, пишет он, «широко и страстно написанная автобиография. Будь то романы или повести, будь то его публицистика или обрывки мыслей и наблюдений, иногда превосходящие напряженной страстностью мысли и художнической отделкой лучшие страницы его повестей и “Византизма и славянства”» **.

---

* *Булгаков С.* Там же, 132.

** *Филиппов Б. А.* Страстное письмо с неверным адресом // Мосты, 1962, IX, 212.

АФОН

В очерке «Панславизм на Афоне» * Леонтьев дает общие сведения об афонских монастырях и резко выступает против греческой прессы, которая в то время стремилась доказать, что славяне, в особенности же русские, стремятся овладеть Св. Горой. Насколько мне известно, Леонтьев был прав: Россия о захвате Афона не помышляла. Что же касается до русских паломников, то они ездили на Афон еще в XI веке. Эта духовная твердыня православия имела огромное влияние на русскую церковную культуру. Св. Гора вдохновляла Св. Нила Сорского и нестяжателей в XV веке, Паисия Величковского и старцев в XVIII веке.

Агаряне захватили второй Рим — Константинополь, безбожники — третий Рим — Москву. Афон же ничего общего не имеет со всеми тремя Римами, он иначе задуман и до сих пор существует: это мистический град, предвосхищающий Небесный Иерусалим; он — вне истории, но, сам о том нисколько не заботясь, влияет на историю, на жизнь в мире сем; за все тысячелетие своего существования его далекое сияние одухотворяло и одушевляло миллионы православных. Все это Леонтьев знал и понимал, хотя и дает более скромное и очень уж светское определение афонской организации: это монашеская аристократическая республика, в которой высший слой представлен не лицами, а корпорациями (монастырями).

1

Церковное устройство и строй жизни.

В 1871—1872 гг., когда Леонтьев жил в Пантелеймоновском монастыре, Св. Гора входила в состав Турецкой империи. Представитель Порты — каймакам жил на афонской территории, в городе Карее, и во внутренние дела монашеской республики почти никогда не вмешивался.

Духовный глава Св. Горы — вселенский патриарх константинопольский. Ему и до сих пор подчинены все 20 афонских монастырей. Их представители заседают в той же Карее — в синоде (протате).

В 70-е гг., по не проверенным нами подсчетам Леонтьева, на Афоне проживало около 9 тысяч монахов (а теперь их не больше двух тысяч). Греки всегда составляли большинство. По тем же подсчетам, негреков было тогда не более 2 1/2 тысяч, из них — приблизительно 1000 русских монахов в Пантелеймоновском

* Русский вестник, 1873, IV.

монастыре, или Русике. Но игуменом его был грек, отец Герасим. Были греки и среди братии Русика. Русские жили еще в двух скитах (Св. Андрея и Св. Илии), расположенных на землях греческих монастырей; и эти скитские иноки не имели своего представителя в синоде-протате.

Все вообще афонские монастыри делятся на две группы — общежительные (киновии), в которых, как выразился Леонтьев, «царствует строжайший коммунизм», и своеобычные (идиоритмы), в которых допускается социальное неравенство, в особенности в Ватопеде.

Наконец, часть монахов проживала в отдельных домиках, называемых кельями. Немногие же отшельники спасались в лесных шалашах или горных пещерах.

Леонтьев, всегда утверждавший разнообразие как необходимое условие всего прекрасного, восхищается тем, что здесь «на небольшом пространстве сосредоточено множество форм и оттенков монашеской жизни. От жизни отшельника в неприступной пещере до жизни проэстоса, обитающего в десяти комнатах с шестью послушниками...» *

Монахи эстетами не были, но и они не осуждали своих богатых братьев, которые умели лучше отстаивать права их республики. Леонтьев говорит: «За проэстосом и аскету удобнее совершать свои подвиги...», и добавляет: к сожалению, многие набожные паломники этого не понимают и понапрасну возмущаются «лицемерными прелатами» в Ватопеде: «*в киновию*», пишет он, «идет тот, кто предпочитает *равенство,* а в *идиоритм* тот, кто предпочитает *свободу*». На горние же высоты духа восходят аскеты — земные ангелы; «но большинство монашества всегда было и не может не быть лишь *колеблющимся и нетвердым резервом высшего подвижничества*. Без нерешительной толпы невозможны герои *аскетизма*...» **. Таких героев, по мнению Леонтьева, не более 500 человек — и ими могут быть не только пустынножители, но и игумены, и духовники, и рабочие монахи.

2

О панславизме на Афоне и русском засилье в то время много писали в греческих газетах как в Афинах, так и в Константинополе; и Леонтьев беспощадно бичует «развращенных» Европой греков-националистов:

---

* Л V, 93.

** Там же, 52–53, 68–69.

«О бедные, бедные греки! О, прекрасное население греческих гор, островов Эгейских, увенчанных оливками, и ты, мой живописный и суровый, до сих пор еще полугомерический Эпир, в молодецкой феске и белой одежде! Как мне вас жаль! Итак, для того лилась когда-то кровь стольких красавцев-паликар, чтобы над ними воцарились *нынешние* греки *мира* сего...

Нет! Никакой деспотизм, никакая иноземная власть, никакое иго не может так исказить человека, как исказит его авторитет недоученных риторов и продажных паяцев газетной клеветы!» *

Леонтьев подробно и остроумно разбирает аргументы греческих газетчиков. В его приезде на Афон они увидели проявление панславизма, и он забавно их пародирует:

«Большой человек (т. е. русский консул Леонтьев. — *Ю. И.*), воспитанный по-европейски, как все эти проклятые русские чиновники, не смеет болеть на Афоне; для этого есть воды всеспасительной Германии... Возможно ли ему верить, что ему приятно с монахами? Что за скука! Мы, эллины, вот тоже европейцы, однако никогда туда не ездим, хотя от нас Афон и ближе. Кто ж нынче уважает монашество? Кто же верит в мощи, благодать, чудеса, в исповедь и покаяние?..» **

Леонтьева выбрали в посредники между монахами Ильинского скита и греческим протатом, которому они не хотели подчиняться. Ильинцы — задунайские казаки, потомки буйных запорожцев, самовольно выбрали игумена, и в этой распре Леонтьев взял сторону греков; все-таки в греческих газетах его обвинили в самоуправстве, хотя сам он совсем не хотел вмешиваться в это дело. Афинские же и константинопольские газетчики уверяли своих соотечественников, что за всеми вообще действиями русских кроется славянская опасность!

Вот еще несколько образцов леонтьевской пародийной публицистики:

«Русский пчел разводил на Святой Горе, может быть по русской методе... Он панславист! А сын его? Сын, почти обманом сманивший его сюда, о! сын его, конечно, агент Игнатьева, Фадеева, Каткова».

«Богат Ватопед греческий?»

«Панславизм, — потому что имения его в России».

«Бедны греческие монастыри Ксеноф, Симон-Петр, Эсфигмен, — опасно; их подкупят».

---

* Там же, 85.

** Там же, 84–85.

«Покорны русские монахи грекам: а! политика покорности, мы это знаем, интрига, панславизм» *.

Может быть, Леонтьев кое-что преувеличивал, и все же нельзя упрекнуть его в эллинофобии. Мы хорошо знаем — он был страстным эллинофилом, но византийской ориентации. Он признавал старшинство греков среди всех других православных народов. Это они — еще в Византии — просветили светом истинной веры темных варваров-славян: моравов, болгар, сербов, русских.

В очень сложной греко-болгарской церковной распре грекофил Леонтьев резко разошелся со своим начальником — болгарофилом Игнатьевым, который до того очень к нему благоволил. Болгары просили константинопольского патриарха-грека дать им автокефалию и славянское богослужение. Патриархия ответила отказом, и тогда болгарская церковь самовольно откололась от греческой. Леонтьев готов был признать, что греки были во многом не правы, и все-таки принял их сторону. Почему? Потому что он был убежден, что за болгарскими церковными притязаниями скрывается светский безбожный национализм. Болгарских иерархов, писал он, подстрекают болгарские интеллигенты, которые ни в Бога, ни в черта не веруют... Между тем греки, тоже повинные в национализме, неизмеримо больше преданны православию, которое они создали... Но грекофил Леонтьев очень опасался, что в случае раздела Турецкой империи Афон достанется грекам и те будут преследовать единоверных славян. Заметим: опасения его отчасти оправдались позднее — после раздела европейской Турции в 1912—1913 гг. и, в особенности, после русской революции, которую он тоже предсказал... Ему же самому национализм был чужд — и политически, и эстетически. Его радовало и восхищало мирное сосуществование греков и славян, а также румын и грузин — в православной республике Святой Горы.

АФОНСКИЕ СТАРЦЫ

Во время пребывания Леонтьева на Афоне игуменом Пантелеймоновского монастыря, или Русика, был древний старец-грек — отец Герасим (1761?—1874). Всеми же делами ведал хозяйственный отец Иероним (Соломенцев, 1803—1885), тоже очень старый, но еще бодрый. Он происходил из русской купеческой семьи, давно уже постригся и жил в полном уединении. Совсем

* Там же, 84.

неожиданно, по настоянию братии, он был привлечен к управлению обителью. Леонтьев о нем пишет: отец Иероним «глубокий идеалист и донельзя деловой», «физически столь же сильный, как и духовно...»; настоящего образования он не получил, но развил свой природный ум чтением. Он был духовником Леонтьева, и тот его очень почитал и любил, так же как другого старца — архимандрита Макария.

Отец Макарий (Сушкин, 1821—1889)* тоже происходил из купцов. В юности он совершил паломничество на Афон, тяжело там заболел и, ожидая близкой смерти, принял постриг. Он был лучше образован, чем отец Иероним, и, в противоположность ему, отличался необыкновенной сердечностью и щедростью. Както Леонтьев посетил с ним бедный приход, расположенный за пределами афонской монашеской республики. Греческий священник и его паства ненавидели всех «афонцев» из-за какой-то старой тяжбы, возникшей чуть ли не в средние века. Но эти нищие враги разжалобили доброго архимандрита, и он подарил им дорогие расшитые воздухи. Отец Иероним очень укорял своего главного помощника и возможного преемника за это совершенное им послабление:

«Боюсь я, что он без меня все истратит. Он так уж добр, что дай ему волю, так он все тятенькино наследство в орешек сведет!!!»

Леонтьев же принялся горячо защищать нестяжателя о. Макария. А отец Иероним, пишет он, «отвечал мне кротко и серьезно, с одною из тех небесно-светлых улыбок, которые редко озаряли его мощное и строгое лицо...:

"Чадочко Божие! Не бойся! Его сердца мы не испортим..." — и потом сказал, что ждет скорой смерти и тогда отцу Макарию придется быть начальником: хозяину же не следует расточать монастырское добро; и еще отец Иероним добавил: отец Макарий очень уж "увлекательный" человек!..

При виде этой неожиданной и неизобразимой улыбки на прекрасном, величественном лице, при еще менее ожиданной для меня речи на "ты" со мной, — при этом отеческом воззвании — "Чадочко Божие!" — ко мне, сорокалетнему и столь грешному, — мне захотелось уже не руку поцеловать, а упасть к нему в ноги и поцеловать валеную старую туфлю на ноге его. Даже и эта ошибка: "увлекательный" вместо "увлекающийся" человек, — эта

---

* *Дмитриевский Алексей*. Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности архимандрита Макария (Сушкина) (1895).

маленькая “немощь” образования в связи с столькими силами духа, и она восхитила меня!» *

Леонтьев редко так писал: он был человеком горячим, страстным, но без теплоты, душевности. Позднее он подчинился оптинскому старцу Амвросию, всегда очень его почитал, но настоящей близости у него с ним не было. Веет прохладой и от его дружбы с постоянным оптинским собеседником, отцом Климентом. Тем неожиданнее его привязанность к первым афонским наставникам — к хозяйственному отцу Иерониму и к расточительному отцу Макарию.

Чувствуется, что оба эти старца по-отечески, по-братски утешили его, смягчили самолюбивое, тоскующее сердце. Так афонские старцы и растрогали, и ободрили Нарцисса-Алкивиада... Прошла странная тоска, доводившая его до отчаяния, до безумия. Видимо, на время он обрел покой душевный в умно-сердечном патриархате отца Иеронима и отца Макария, его духовно усыновивших.

Вспомним, что еще совсем недавно в Янине, он, гордый консул и изощренный эстет, и не помышлял, что будет находиться под началом у двух монахов из купеческого сословия! Правда, как и Аполлон Григорьев, он эстетически любил русское купечество за «самобытность», но все-таки никогда не забывал, что сам он принадлежит к первому сословию Российской империи! А в скромной келье своих старцев он обо всем этом забывал и, подобно блудному сыну, готов был припасть к отчим стопам.

Все же последней тайны Леонтьева — тайны его духовного переворота и обращения в Салониках и на Афоне — мы не знаем, да и сам он, может быть, в своем кризисе никогда не разобрался. Но очевидно также, что послушание его гордыни не сломило; и аскеза не убила, а, наоборот, возродила Леонтьева-эстета. Он как-то научился обуздывать плотские вожделения, но не свое художественное воображеие. Он пал на колени перед старцами-патриархами, перед церковной хоругвью и опять восстал тем же вольным и неуемным Леонтьевым, язычником и гуманистом, Нарциссом и Алкивиадом. Страх Божий он в себе сознательно усиливал, а жил все тем же — самим собой и красотой. Позднее же опять впадал в уныние и опять искал и находил утешение у старцев-патриархов.

---

* Воспоминания об архимандрите Макарии // Гражданин, 1889, № 196. Но я цитирую по очерку А. Коноплянцева «Памяти К. Л.», 83–84.

ПАСХА НА АФОНЕ

Очерк «Пасха на Афоне» (Русь, 1882)* написан в ином тоне, чем «Воспоминания об архимандрите Макарии и отце Иерониме» (Гражданин, 1889). Светлая Пасха Леонтьева восхитила, но не растрогала, как те два старца... Бесконечные великопостные службы он описывает вяло, без увлечения. Монахи выстаивают в церкви по 13–14 часов. Все это очень скучно, говорит он, и старается уверить, что так оно и нужно: ибо «внезапные восторги умиления не от нас зависят...», и он их, по-видимому, не испытывал.

Великий Пост — «море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы...» Наконец это море кончается. Лицо древнего старца о. Иеронима осветилось во время пасхальной заутрени... Но настоящей — воскресной — радости в этом описании нет.

Леонтьев уделяет больше внимания вечерне в первый день Христова Воскресения. В купол Покровской церкви вдвинут огромный круг (хорус) с горящими свечами; и этот пылающий венок приводится в движение особым приспособлением: «Все это белеет, сияет, светится, искрится, двигаясь над вами, все это словно безмолвно ликует вместе с людьми в тихой, но беспрерывной и торжественной пляске». Это прекрасное зрелище, и это один из тех красочных «букетов», которые его всегда так восхищали...

Евангелие от Иоанна читал древний игумен отец Герасим, которому было тогда сто десять лет (следовательно, он родился около 1761 года!). Потом архимандрит Макарий прочел тот же текст по-славянски. Затем последовало чтение на турецком и латинском языках. В промежутках же звонили во все колокола и раздавалась «веселая пальба из ружей во славу Божию» — это стреляли греческие стражники в фустанеллах.

После латинского чтения послышалась странная, ни на что не похожая речь народа без словесности, без грамматики, без азбуки даже, речь народа, имеющего только эпические песни... «Это речь албанская — речь знаменитых *арнаутов,* которых так любил лорд Байрон, которых и я, признаюсь, люблю, — пишет Леонтьев, — речь безграмотных героев, жестоких разбойников и верных до самопожертвования слуг, *в христианстве* дававших самую лучшую стихию прежним греческим восстаниям; — *в мусульманстве* совершающих под турецкими бунчуками страш-

* Русь, 1882, 22 и 26. Все цитаты из второй части этого очерка, т. е. из № 26, от 26 июня.

ные зверства. Странный народ! Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажности и злобы, простодушия, почти смешного, и самой коварной хитрости. Народ — сирота, даже и в прошедшем этнографического родства своего не нашедший с точностью». Это в своем роде замечательная торжественная похвала с риторическими повторами: это речь... это народ...

Может быть, в пасхальные дни Леонтьев испытывал радостное умиление, но в воспоминаниях его перо «живописует» не столько православную Пасху, сколько диких молодцев, наполовину «нехристей» — эпических арнаутов. «На крыльях воображения» он с монашеского Афона переносится в милую его сердцу разбойную Албанию! Уж не там ли его настоящее место — среди диких беев вроде Джеффер-Дэма, прославленного им в «Одиссее Полихрониадесе»? Да, там, но — в мечтах, а не на самом деле... Созерцательный Нарцисс в его душе одолевал деятельного Алкивиада. Это Нарцисс в мечтах своих слетал в Албанию... А Алкивиад все бы бросил и немедля туда помчался!

В эпилоге этого замечательного очерка Леонтьев забывает об Албании и старается слить все свои впечатления в один гимн: «Суровый храм, суровые лики икон, сияние серебра и золота повсюду, — пальба, безмолвие, перезвоны, опять безмолвие, опять молитвенный голос... опять пальба, и звон, и пение... И тишина, и чтение прекрасное среди благоговейного внимания, едва-едва нарушаемого какой-нибудь улыбкой сочувствия или легкого удивления... И над всем этим — круговая, тихо-радостная пляска бесчисленных огней в темной высоте... — Нет, это в самом деле "праздник из праздников и торжество из торжеств"». Да, конечно, но и зрелище с пляской... И часть этого праздника-торжества он провел в мечтах о полухристианской, полумусульманской Албании.

ПИСЬМА С АФОНА *

В 1884 г. в предисловии к четырем письмам с Афона Леонтьев говорит, что эти послания вымышленные. Он вообразил себе, что у автора, поселившегося на Св. Горе, осталась в России молодая подруга — жена, невеста, дочь, младшая любимая сестра — это все равно... Но возможно, что эти письма, датированные июнем и июлем 1872 г., не фиктивные, а подлинные, и их адресатом могла быть его племянница Маша — Мария Владимировна, которая гостила у дяди в Салониках, а после его отъез-

* Четыре письма с Афона // Богословский вестник, 1912, X, XII.

да, вероятно, вернулась в Россию. В этих письмах он говорит о том же, что и во многих статьях, воспоминаниях и в уже известном нам письме московскому студенту: христианство — не только религия прощения, но и самобичевания, нужно уничтожить в себе своеволие, нужно добиться бесстрастия подвижников-аскетов; здесь же строго осуждается вера во всеобщее блаженство, т. е. то оптимистическое христианство, которое он впоследствии презрительно называл «розовым». Леонтьев верит в то, что говорит; в искренности его нельзя сомневаться; но создается впечатление, что все эти монашеские размышления его не вдохновляют, и он навязывает их себе и другим. Однако в этих четырех письмах он не только рассуждает, а и чувствует, впадает в лирический тон — и это не только поучение: он здесь беседует не с неизвестным московским студентом, а с женщиной, которую знает, любит, и очевидно, что она его любит еще больше, чем он.

Леонтьев пишет: ты понимаешь монахинь вроде Лизы Калитиной, но не монахов... И тут же ей возражает, но вместе с тем и сочувствует... По-видимому, корреспондентке его очень не хотелось, чтобы он остался на Афоне... Но прямо обо всем этом не говорится, а только подсказывается. Забывая свою собственную аргументацию, свои рассуждения о монашеском бесстрастии, он неожиданно заявляет, что иногда светская поэзия лучше скучной проповеди и приводит лермонтовские стихи:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит... *

Леонтьев как будто знает, что по его совету она не раскроет Иоанна Лествичника, и поэтому убеждает иначе — «христианскими мотивами у наших поэтов...». Пусть она перечтет Лермонтова и тогда лучше поймет — почему именно он поселился на Афоне.

В другом же письме он сближает Байрона и Давида: «От некоторых мест “Чайльд Гарольда” можно перейти без всякого усилия, и почти незаметно, к иным местам Давидовых Псалмов; а от Псалмов Давида — ко всей христианской церковности. Два великих лирика всего мира — могут легко примириться в больной и тоскующей русской душе» **. И это оправдание христианства Байроном и Давидом тоже будет ей понятнее, чем Иоанн Лествичник... Да и сам он мог тогда так чувствовать. Но позд-

* *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч. (1961), I, 543–544.

** Богословский вестник, 1912, XII, 709.

нее — уже в Оптиной Пустыни — он резко осудит и Байрона, и Лермонтова как поэтов-развратителей (в письме А. Александрову) и все-таки будет их перечитывать... *

Теперь же Леонтьев пишет, что читает вперемешку и духовное, и светское: на его столе лежат Прудон, Байрон, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Гете, Хомяков, Герцен... Это библиотека Богатого Юноши, который иногда порывался сжигать безбожные сочинения, но так этого и не сделал. Правда, он теперь установил новую иерархию ценностей: он убедился, что, скажем, Андрей Критский [58] лучше, выше лорда Байрона, но остается открытым вопрос: чьи стихи он чаще твердил... К этому мы еще вернемся, когда будем говорить о его дружбе с оптинским старцем о. Климентом Зедергольмом.

Той же корреспондентке он пишет: «Я верю, что в России будет пламенный переворот к православию, прочный и надолго. Я верю этому потому, что у русских *душа болит*» **. И это она могла хорошо понять — русская подруга, невеста, дочь, сестра... Но в его устах признание это — очень неожиданное. Душа болит от любви-жалости, от тревоги за другого, другую... Леонтьев тосковал, отчаивался, и он заботился о матери, о жене, о племяннице, но все же можно ли о нем сказать, что у него *душа болела*? Кто знает — может быть, и болела его душа, — но в жизни, а не в творчестве Леонтьева-художника, преисполненного гордости, ненависти и восхищения.

НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ

На Афоне же Леонтьев хотел написать историю своего внутреннего перерождения. Отец Иероним его план одобрил и посоветовал при жизни этой исповеди не печатать: «Но оставить после себя рассказ о вашем обращении, это очень хорошо, — добавил он. — Многие могут получить пользу; а вам уже тогда не может быть от этого никакого душевредительства». Потом он, весело и добродушно улыбаясь (что с ним случалось редко), прибавил: «Вот скажут, однако, на Афоне какие иезуиты: доктора, да еще и литератора нынешнего обратили» ***. Видно, он не знал, что в России литераторы уже обращались к вере, ездили в монастыри — Гоголь, братья Киреевские, Хомяков...

---

* Письма к А. Александрову // Богословский вестник, 1914, III, 456 (письмо от 24 июля 1887 г.).

** Богословский вестник, 1912, XII, 707.

*** Л IX, 11.

Замечательно, что Леонтьев подробно обсуждает литературные дела с духовником о. Иеронимом — со старцем-патриархом, которому хочет подчиниться. Ему же он сообщает другой план: он хочет написать «роман в строго православном духе, в котором главный герой будет испытывать те же самые духовные превращения, которые испытывал и я». И такой роман отец Иероним благословил напечатать при жизни, но он написан не был, хотя Леонтьев в течение восемнадцати лет «постоянно думал об этом художественно-православном труде, восхищался теми богатыми сюжетами, которые создавало мое воображение, надеялся на большой успех и (не скрою) даже выгоды» *. Я уже говорил, что в «Одиссее Полихрониадесе» и в «Египетском голубе» он подводил повествование к православному эпилогу, но так и не подвел, оба романа остались незаконченными. А ему так страстно хотелось рассказать «о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, стал верующим христианином и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно сатанинскую когда-то фантазию». Но охладил ли? Я уже говорил, что после Афона его фантазия начала еще больше разыгрываться...

В тех же записках, написанных, вероятно, незадолго до смерти («Мое обращение и жизнь на Афонской Горе») **, Леонтьев спрашивает, почему же ему не удалось выполнить своего замысла; сам ли он был виноват или же это было «смотрение Господне»? Но ответа на этот вопрос он не находит.

Многие скажут: то, что не удалось Леонтьеву, удалось Достоевскому. Но Леонтьев не раз говорил, что, по его мнению, и Достоевского постигла полная неудача. В тех же записках он пишет: «Считать “Братьев Карамазовых” православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. отцов и старцев афонских и оптинских» ***. Но многие монахи, епископы, например митрополиты Антоний и Евлогий, считали, что «Братья Карамазовы» и христианский, и православный роман, чтение которого имело решающее значение в их жизни [59].

Лучшая же повесть Леонтьева слагается из отрывков — как из писем, воспоминаний, так и из статей, романов...

---

* Там же, 12.

** Русский вестник, 1900, IX.

*** Л IX, 13.

ОТЪЕЗД С АФОНА

Леонтьев просил своих наставников, отцов Иеронима и Макария, тайно постричь его в Пантелеймоновском монастыре. Но они отклонили его просьбу под тем предлогом, что он еще состоит на государственной службе; или же — потому, что страстному, порывистому Леонтьеву не к лицу быть монахом.

Здоровье его еще больше расстроилось: от одной ложки сливок в кофе, от самой незаметной простуды, от небольшой прогулки по сырому или низменному месту у него возвращались пароксизмы, доводившие его до отчаяния (Коноплянцев)*. Но прошла тоска, та странная «спокойная тоска», которая так угнетала его в Янине. Его расшатанное душевное здоровье поправилось на Афоне, он там набрался новых творческих сил. Он не «совлек» с себя одежды Ветхого Адама, а, наоборот, даже как-то удачно починил, подновил свою порванную пеструю мантию или же приобрел новую, лучшую!

Грубый человек мог бы сказать: вот грешник покаялся, с тем чтобы опять грешить! Это напоминает Ивана Грозного, который то молился, то распутничал! Есть доля правды в этом обвинении... Все же Леонтьев отказался от многого из того, что любил: от консульской службы, от разных излишеств, и, если бы афонские наставники дали согласие, он постригся бы, в этом нельзя сомневаться. Наконец, он никогда уже не мог слишком далеко отойти от монастырских стен. Его языческая или ренессансная душа томилась в кельях и храмах, но томилась она и на свободе, в миру.

Если Леонтьев и служил прежде Афродите Простонародной, то ведь не был же ею одержим. Он далек был и от Афродиты Небесной; чаще всего его вдохновляла какая-то третья Афродита, которую я назвал Промежуточной. Это богиня мечтательных романтиков, витающих между небом и землей, богиня андрогинных Нарцисов, которые любят особенное душевно-телесное томление... Так, изживая свою жизнь как поэму, он жил в противоречиях и другой жизнью жить не мог, да и не хотел.

В августе 1872 г. Леонтьев навсегда покидает Афон. Морских путешествий он не переносил и поэтому предпочел ехать сушей по скверным дорогам в нанятом «фургоне», с двумя слугами.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

В августе или сентябре 1872 г. Леонтьев переезжает в Константинополь: он там и прежде живал по нескольку месяцев, в

* Памяти К. Л., 84–85.

1864 и в 1866—1867 гг. Самовольная отлучка из Салоник на Афон помешала его карьере. Передают, что старый канцлер, князь Горчаков, сказал: нам монахов не нужно... Но более всего повредило другое: как мы уже знаем, Леонтьев резко разошелся из-за греко-болгарской церковной распри со своим ближайшим начальством — с послом графом Игнатьевым. Не совсем ясно — хотел ли он тогда продолжать службу в дипломатическом ведомстве? Есть основание думать, что он решил от нее отказаться, чтобы всецело посвятить себя литературной работе. Всего прослужил он неполных десять лет и после отставки, с 1 января 1873 г., ему назначается маленькая пенсия в 600 рублей, а на эти деньги, при его привычках, он жить не мог. Но была и чувствительная добавка к этой сумме: редактор «Русского вестника» Катков начал высылать ему по 100 рублей ежемесячно, что увеличивало его доход до 1800 рублей годовых.

В 1873 г. Леонтьев переезжает на остров Халки, где поселяется с выписанной им из России женой и со слугами. Здесь жить дешевле и здесь все ему нравится — какая тишь и благодать на берегах Мраморного моря; а рядом греческая духовная академия, и он рад общению с богословами. Только книг мало — тех исторических трудов, которые были ему нужны для его главной философско-исторической книги — «Византизм и славянство». Эта работа была задумана еще на Афоне, а может быть, и в Салониках. Наконец — совсем недалеко Константинополь, и туда он постоянно наезжает повидать друзей из кругов русского посольства; им он читает главы из своей книги и от них узнает все новости. Все посольские дела продолжают его интересовать.

Посольскую жизнь Леонтьев прекрасно описал во вступительных главах «Египетского голубя»: тут и дамы пикируются из-за визитов, но не все они мелочные, у многих из них имеются литературные интересы; тут и молодые дипломаты — и не только снобы, карьеристы, есть среди них и мыслящие люди; тут и сплетни, и интриги, но вместе с тем и другое: здесь решаются важные вопросы, исподволь готовится реванш Турции. Судя по этим и другим описаниям Леонтьева, а также по воспоминаниям его друга К. А. Губастова и приятеля Ю. С. Карцова*, который служил в Константинополе после Леонтьева и уже не при Игнатьеве, в русских посольских кругах того времени как-то свободно дышалось, бюрократизм здесь никого не подмораживал, не подсушивал, как в Петербурге. Русские послы, в особенности же

---

* Воспоминания К. А. Губастова в сборнике «Памяти К. Л.»; *Карцов Юрий*. Семь лет на Ближнем Востоке, 1879—1886 (1906).

Игнатьев, низкопоклонства не терпели, поощряли всякий почин, и именно поэтому Леонтьев, сам о том мало заботясь, сделал карьеру на консульской службе, и даже после резкого расхождения с начальством двери в посольство для него закрыты не были. Кое-кто его все-таки недолюбливал как «человека неосновательного», но всегда были у него и поклонники, в особенности среди дам и молодых дипломатов. Вообще же и среди врагов и друзей он имел репутацию великого чудака. Странной казалась его манера одеваться. Никогда не было у него полного гардероба... Консул Благов все в том же «Египетском голубе», столь похожий на автора, ходил в каких-то не подобающих его положению летних сюртуках, и один из его молодых приятелей над ним подшучивал: «Эти белые штуки ваши мне ужасно надоели...» * Благов-Леонтьев возразил, что они ему еще больше надоели и попросил денег взаймы для обмундирования... Заметим, что Леонтьев свои долги отдавал, занимая у других, а в конце жизни, уже в Оптином монастыре, разыскивал старых кредиторов, которые уже успели позабыть, что он им должен, или же списали долги в расход... Теперь же Леонтьев придумал себе особое одеяние: что-то «среднее» между поддевкой и подрясником, и этот же «кафтан» он носил позднее и в России. Здесь сказалась его ненависть к европейским «бездарным» костюмам — сюртукам, пиджакам, фракам, но была и другая причина: «кафтан» обходился ему дешевле, чем «партикулярное платье» у хорошего портного.

Биограф Коноплянцев пишет, что теперь было во всей фигуре Леонтьева что-то «осунувшееся, понурое, сосредоточенное» **. Но это утверждение едва ли полностью подтверждается. Он мог «осунуться» после афонского поста, после тяжелой болезни и все еще чувствовал недомогание, но духовно он окреп и был полон творческих сил... Судя по воспоминаниям Губастова, по письмам Леонтьева к госпоже Ону, он в Константинополе и на острове Халки меланхолией не страдал, как в Янине. Даже тоскующего Леонтьева трудно себе представить «понурым»; а «сосредоточенным» он мог быть в своем кабинете, сидя за письменным столом, но не в обществе: и в этот свой приезд в Константинополь он все тот же блестящий говорун-энтузиаст, что и прежде.

ИСПЫТАННЫЙ ДРУГ

Все биографы Леонтьева ссылаются на его переписку с Константином Аркадьевичем Губастовым (1845—1913), и я тоже не-

* Л III, 295.

** Памяти К. Л., 88.

однократно пользовался этим ценным материалом. Они познакомились в Константинополе — еще в начале 1867 г., когда Леонтьев там проживал перед отъездом в Тульчу, а Губастов был прикомандирован к посольству и вскоре затем назначен секретарем консульства в Адрианополь, откуда Леонтьев только что уехал; и именно ему он советовал поскорее обзавестись любовницей — болгаркой или гречанкой. В 1872 г. они опять встретились — один только что приехал с Афона, а другой был тогда вторым секретарем посольства.

Константин Аркадьевич был на 14 лет моложе Константина Николаевича, но в их дружбе ему досталась роль заботливого и опытного «старшего» друга. Своими скептическими замечаниями и веселыми шутками этот «старший» друг охлаждал энтузиазм пылкого Леонтьева, но вместе с тем очень тонко его понимал, ценил все леонтьевские мысли, хотя и не всегда их разделял: при случае умел ободрить, сочувствовал его честолюбию и прочил в «литературные генералы»; часто давал ему практические советы и, вероятно, иногда ссужал деньгами. Вообще же Губастов любил Леонтьева таким, каким он был, и тот их дружбой очень дорожил. В 1888 г. он писал Константину Аркадьевичу: «Только вы (не считая Марии Владимировны) понимали меня и мою жизнь так <... > как я сам ее понимал. Для всякого человека это очень дорого...» * Они переписывались около четверти века, и 44 письма Леонтьева были напечатаны в «Русском обозрении» (1894—1897 гг.); и еще несколько — в воспоминаниях Губастова. Леонтьев привык ему высказывать то, что было у него на уме и на душе, а также подробно описывал свою жизнь и часто жаловался на все невзгоды. Замечательно, что он редко спрашивал своего корреспондента о его делах и писал преимущественно о себе (если судить по опубликованным текстам писем, в которых могли быть купюры).

Губастов в воспоминаниях больше всего говорит о их первой встрече и набрасывает портрет Константина Николаевича в 1867 г.:

«Леонтьев был если не красивый, то очень привлекательный человек средних лет, с прекрасными, немного стародворянскими манерами и привычками. Он не мог обходиться без помощи многочисленных слуг, с которыми любил подолгу болтать и которых особенно любил отечески журить и поучать... Он причесывался à la Гоголь и в профиль имел отдаленно сходство с вели-

* Русское обозрение, 1897, III, 443. Мария Владимировна — племянница К. Л.

ким писателем. Но Боже упаси было заметить ему это сходство, — оно приводило его в сильное раздражение — так не нравилась ему наружность Гоголя и настолько считал он себя привлекательнее и благообразнее его» *. И как ему было не сердиться, ведь Гоголь, по его словам, был похож на «неприятного полового»!.. ** Не любил он и гоголевское творчество, испорченное, по его мнению, грязными натуралистическими деталями.

Как видно и из этого отрывка, Губастов Леонтьеву не поклонялся и писал о нем объективно, иногда даже с еле заметной иронией, но не зло, а по-дружески благодушно; и это все Леонтьеву импонировало. В автобиографии 1874—1875 гг. он мысленно переносится в один константинопольский салон и говорит — ему хочется, «чтобы (там) Губастов лукаво молчал на кресле...» *** Да, лукаво, но вместе с тем и очень благожелательно!

Позднее оба друга встречались в Петербурге, кажется и в Варшаве, но чаще они жили в разных местах и общение их было главным образом эпистолярное. В 80-х гг. Губастов был назначен генеральным консулом в Вену, а затем, уже после смерти Леонтьева, был посланником в Ватикане и в Белграде. Он написал несколько работ по истории русской дипломатии и редактировал 140-й том «Сборника Исторического общества» (1912). Верный и посмертно своему другу, он принимал деятельное участие в обществе его памяти и финансировал издание сочинений Леонтьева.

Константин Аркадьевич — испытанный, доверенный друг Леонтьева, друг, облегчавший его трудную жизнь, и все посмертные друзья Константина Николаевича должны быть ему за это от души благодарны.

Как непохожа эта ровная дружба на романтическую дружбу в студенческие годы — с «гениальным» Алексеем Георгиевским, почти ровесником (1829?—1866); и он тоже играл роль старшего друга — но это был не Горацио, как Губастов, а будто бы «Мефистофель»; и Леонтьев его резко от себя оттолкнул, хотя тот и был хорошим товарищем; и, может быть, вся его вина состояла в том, что он был умнее своего младшего друга! ****

---

* Памяти К. Л., 188.

** Л IX, 111, см. выше главу «Гоголь» (часть 1).

*** Лит. насл. XXII, 435.

**** См. гл. «Друг» (часть 1).

ДРУГ ДЕТСТВА

К. А. Губастов вспоминает, что познакомился с Леонтьевым у его друга детства Михаила Александровича Хитрово (1837—1896), который «обращался со своим другом-провинциалом немного покровительственно и свысока...» *.

Хитрово — старинный боярский род. Мать Леонтьева, Феодосия Петровна, дружила с Анной Михайловной Хитрово, дочерью князя М. И. Кутузова, которая ей часто помогала, но не «свысока», а от всей души... Михаил Александрович учился в Школе гвардейских прапорщиков; а в последний приезд Леонтьева в Константинополь он был там первым секретарем посольства. В Турецкую войну 1877—1878 гг. он — правитель дипломатической канцелярии главнокомандующего, позднее он был посланником в Румынии, Португалии и Японии, где и умер. Хитрово был не чужд поэзии, переводил Гейне и выпустил сборник стихов (в 1892). По сравнению с Леонтьевым он сделал блестящую карьеру и по семейным связям принадлежал к высшим кругам, в которые тот не был вхож.

Леонтьев писал ему шуточные приятельские послания, которые не очень вяжутся с его обликом: он умел весело-зло шутить, но не в том легком стиле, который находим в этих его письмах. Вот что он писал ему из Тульчи (1867):

«Душечка Миша! Голубчик ты мой!» Далее он просит его напомнить о нем послу графу Игнатьеву и сравнивает его с неустрашимым Бегемотом из стихотворения Ломоносова:

В нем ребра, как литая медь,
Кто может рог его сотреть... **

«Вот какой ты, Миша! Все это знают. И притом взял и осанкой, и эквитацией, и службой государственной, и поэзией, и порочен настолько, насколько следует человеку с тонким вкусом. Целую тебя в носик...» ***

О Хитрово Леонтьев вспоминает и в «Автобиографии» 1875—1876 гг. (посвященной жене его, Софии Петровне): пусть бы он опять переводил Гейне, «показывал бы нам свой стан, выправленный и личною гордостию, и кавалерийской службой, свой профиль германского рыцаря, свой славянский дух (хотя бы и

---

* Памяти К. Л., 187. О М. А. Хитрово в «Лит. наследстве», указ. соч., 474–475.

** *Ломоносов М. В.* Сочинения (1957), 104 (Ода, выбранная из Иова).

*** *Архимандрит Киприан.* Из неизданных писем К. Л. (1959), 11.

не всегда верно понятый), свой взгляд César Bordjia (sic!), свою хладную закоснелую ярость на всех, чем-нибудь высших и даже равных <...> Пусть бы даже он и мне по-прежнему говорил 1000 неприятностей, вздора и неправды (притворяясь большею частью, что не понимает меня)... все это было бы кстати в таком изящном доме...» * Отметим необыкновенную выразительность этой очень «негладкой», круто загнутой фразы, в которой есть и раздражение, ирония, но и — восхищение или «адмирация» (сам Леонтьев второе выражение предпочитал первому). Здесь Леонтьев — «в своей тарелке», в своей стихии! Это не легкий стиль, а тяжелый — несколько напоминающий Герцена, который тоже любил насыщать фразу разными отдаленными историческими ассоциациями: тут тоже и германский рыцарь, и славянский дух, и итальянский Борджиа!.. Раздражало Леонтьева и то, что Миша Хитрово его не хочет понять и, по-видимому, им пренебрегает, а восхищала — яркость его приятеля, которого С. Н. Дурылин очень остроумно называет причудливым самоугодцем с придирчивыми эстетическими вкусами! ** Сам Леонтьев тоже был таким причудливым самоугодцем, и это его с «Мишечькой» роднило; и недаром ведь он, по собственому признанию, придал своему идеальному консулу Благову некоторые черты своего старого приятеля (в «Одиссее Полихрониадесе»). Иначе говоря — он, вероятно, самого себя иногда проецировал в Хитрово, перевоплощался в его «шкуру» и затем все это переносил в литературу... Именно в этом отношении его, скорее эпизодическое, «приятельство» с Мишей очень существено.

Позднее, незадолго до смерти, восхищение Мишей прошло и осталось одно раздражение; вот что он писал Губастову (в 1891):

«Про этого человека можно сказать почти то же, что говорили про регента <...> Филиппа Орлеанского: “Небо (или природа — не помню) дало ему множество даров, но он их все употребил на злое и порочное”. Знатный род, красоту и физическую силу, выгодные связи, острый ум и смелость, твердость духа, образованность, литературный даже дар, прекрасную служебную дорогу с ранних лет, жену весьма умную, ловкую в высшей степени, изящную донельзя. <...> И что же он из всего этого сделал?! Его имя и высокие связи помогли ему на службе далеко не настолько, насколько могли бы помочь другому, более здравомыслящему человеку, благодаря его грубой бестактности на службе <...> его смелость и остроумие служили только для оскорбле-

* Лит. насл., указ. соч., 435.

** Там же, 475.

ния других без нужды <...> и в его эстетическом развитии не оказалось даже творчества и оригинальности; роскошь его была какая-то пошлая и *бесследная* <...> Жену, конечно, он отбил от себя деспотизмом для деспотизма, зря... Стихотворный дар пошел на обидные личные эпиграммы да на бесцветные <...> стихи. В политических и социальных идеях влачился всегда по пятам либералов и смеялся (*помните*?) над моими "пророчествами" <...> Все *невпопад;* и энергия вся — без пользы и себе и другим <...> для дела русского, полагаю, будет выигрыш от его заточения в какую-то Португалию» * (куда он был назначен посланником).

Если Леонтьева знать, то не очевидно ли, что нет ничего мелколичного в этой убийственной характеристике старого приятеля, который его недооценивал. Все здесь сложнее: мне кажется, Леонтьев очень даже хотел, чтобы Хитрово во всех отношениях удался: вышел в большие люди, оказался бы достойным своего литературного оформления в консуле Благове, был бы тем гениальным Нарциссом, о котором Леонтьев всегда мечтал, с самой юности (еще в «Подлипках»). Но могло быть и другое: в последний год своей жизни — осуждая Хитрово, он, может быть, осуждал хитровское или хитровщину в себе самом, т. е. свое «причудливое самоугодничество»; и в таком случае — это был смертный приговор идолу всей его жизни — Нарциссу **.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ ДАМЫ

Из матриархата Леонтьев давно уже вышел и несколько лет жил на Балканах «сам по себе», без внешней опоры. На Афоне он ненадолго вступил в «патриархат» — под начало отцов Иеронима и Макария, а позднее он отдаст себя под власть оптинского старца — отца Амвросия... Еще были у него подруги, приятельницы — это жена английского агента в Адрианополе, госпожа Блонт, о которой мы мало что знаем. А в 1867 г., по воспоминаниям Губастова, он дружил с женой драгомана Н. В. Тимофеева — Екатериной Дмитриевной (урожденной Верецкой): она часто приглашала Константина Николаевича «на чашку чаю»,

---

* Русское обозрение, 1897, VII, 423–424 (письмо от 25 марта 1891 г.), также в «Лит. наследстве», указ. соч., 475.

* Племянник Константина Николаевича В. В. Леонтьев опубликовал послание М. А. Хитрово («Другу детства»), помеченное 8 мая 1882 г. Может быть, шуточные стихи лучше удавались Хитрово, но это его стихотворение, посвященное Леонтьеву, ничем не примечательно и состоит из одних общих мест (Русское обозрение, 1896, VIII, 828).

слушала его рассказы и рассуждения, знакомила с закулисной жизнью посольства; как-то хорошо, по-товарищески создавала ему соответствующий антураж и, может быть, отчасти способствовала его карьере. Но были и другие дамы — добрые сестры или благожелательные кузины...

1

Свою «Автобиографию» 1874—1875 гг. Леонтьев послал жене М. А. Хитрово — Софии Петровне (урожденной Бахметьевой), племяннице графини С. А. Толстой — вдовы поэта Алексея Константиновича. По многим отзывам — была она женщина замечательная: умная, образованая, вдохновляющая. Позднее она разошлась (но не развелась) с мужем и переехала с детьми к Толстым. С ней познакомился Владимир Соловьев — и сразу влюбился. Вот его стихотворный портрет Софии Петровны:

Газели пустынь ты стройнее и краше,
И речи твои бесконечно-бездонны —
Туранская Ева, степная Мадонна,
Ты будь у Аллаха заступницей нашей.

(1877—1880) *[60]

Ей же, после разрыва, он посвятил одно из самых замечательных стихотворений («Бедный друг!..») — с потрясающим эпилогом:

Смерть и время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

(1887) **

Близкими друзьями они не были, но по всему видно, что София Петровна Леонтьеву благоволила, хотя, может быть, и не всегда «жаловала», а он ею восхищался. В Константинополе Константин Николаевич бывал у Хитрово (или Хитровых) и в 1867 г. и в 1872—1873 гг.; а в их семейной распре он больше сочувствовал жене, а не мужу. Вообще же об их отношениях мы мало что знаем, но в «Автобиографии» он посвящает Софии Петровне замечательную страницу. — Леонтьев жил тогда в Москве и побывал в Михайловском дворце, в котором находился Катковский лицей. Он уже несколько лет сотрудничал в «Русском вест-

* *Мочульский В. К.* В. Соловьев (1936), 104.
** *Соловьев В. С.* Стихотворения (190...), 66.

нике» Каткова, но его недолюбливал. Леонтьев говорит, что дворцовая обстановка очень уж не подходит к скучному Каткову. «Здесь бы, — пишет он, — Хитровым принимать гостей; ибо другое дело — их недостатки, их пороки даже, и другое дело — их декоративность. Породистая, дорогая собака кусается иногда; можно прятаться от нее, можно ее прибить, убить, толкнуть (как иногда и я старался бивать и толкать словами Хитровых, когда они очень бывали злы или невежливы в своей изящной prépotence [61]), но нельзя же сказать, что собака не умна, не красива, не *декоративна,* оттого что она меня укусила. А если приручить ее (как мне удалось под конец моей жизни в Царьграде приручить немного Хитровых, то лаской, то дракой, то терпеньем), — то воспоминание остается очень хорошее» *.

И ему хочется, чтобы София Петровна здесь, в этом дворце, явилась «в своей длинной белой блузе с розовыми и палевыми бантами, которые она надевает будто бы от усталости, или в том темно-лиловом платье и свежих розах, в которых она ездила со мной в Игнатьевскую больницу». Далее же он пишет, что в Софье Петровне «соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное *косноязычие* и ясный, твердый ум...» **. Это одно из самых удачных его описаний-букетов, которое он в своей «Автобиографии» преподносит Софии Петровне. Замечательно, что ее «Мишечьку» (sic!) Леонтьев сравнивает с собаками — это очень смелый комплимент, который иной светской даме мог бы очень не понравиться, но, вероятно, он хорошо знал, что умная София Петровна не рассердится и улыбнется! Замечательно также, что здесь он откровенно восхищается и любуется теми качествами, которые принято считать недостатками, например злостью, — но без них Хитровы потеряли бы для него все свое обаяние.

2

В Константинополе Леонтьев был в приятельских отношениях с первым драгоманом — Михаилом Константиновичем Ону (1835—1901). Позднее его назначили посланником в Афины. Ону был хорошо знаком с бытом балканских народностей, и Леонтьев поручил ему просмотр «Одиссея Полихрониадеса» для исправления неточностей и для предполагавшегося перевода на греческий язык. Друг Леонтьева, Ю. С. Карцов, в своих воспоминани-

* Лит. насл. указ. соч., 434–435.

** Там же.

ях пишет, что Ону был человек ловкий, уклончивый, Россию не любил, преклонялся перед Европой и слишком льстил турецким сановникам... * А Леонтьеву этот драгоман импонировал; в Автобиографии он пишет, что, по личному пристрастию к Ону, ему даже нравится его «билатеральный голос», т. е. его двусторонность — двуличность! **

Ону был женат на Елизавете (Луизе) Пети де Боранкур, удочеренной дядей по матери — бароном А. Г. Жомини (из известной в России швейцарской фамилии) ***. Карцов и о ней отзывается с неодобрением: Лулу Ону будто бы считала себя femme supérieure [62], слишком много флиртовала и любила устраивать свадьбы... Но Леонтьеву и она нравилась. Позднее он писал сестре Карцова: «Мадам Ону очень легкомысленна, беспорядочна и ненадежна» (1878) ****, но в Константинополе все эти ее недостатки ему импонировали, и между ними установились веселые, приятельские отношения. В короткой записке, написанной, вероятно, на острове Халки, он забавно укоряет ее за несерьезность: «А вы все или чешетесь (причесываетесь), или бежите со двора, или принимаете *хамок,* или *любите детей своих*». Он же хочет повидать ее «без одеванья, без беготни туда и сюда, без упорных и любящих взглядов на детей и гостей, даже без мужа, ибо *вы врозь* каждый в своем роде более мне милы, чем вместе. Когда? Или никогда?». Здесь высказался весь Леонтьев: тот Леонтьев, который ничего бытового не переносил, разве что в Эпире или в Албании, и всегда требовал к себе абсолютного внимания. В марте 1873 г. он поздравляет госпожу Ону с благополучным рождением дочери и тут же добавляет: «Но не поздравляю *себя,* ибо предвижу в будущем дуэты, которые, конечно, превзойдут по силе впечатления на слушателей меланхолические монологи Елисаветы (или Елены) Михайловны» (т. е. не один младенец, а двое будут реветь благим матом...) *****. Все-таки, несмотря на «бегство» и детей, он, вероятно, чувствовал себя у Ону, как дома: с ней можно было и порассуждать, и посплетничать и, что ему всегда особенно нравилось, ее можно было благодушно пожурить!

Лизавета Александровна была протестанткой, и Леонтьев решил обратить ее в православие; и она действительно стала пра-

---

* *Карцов,* указ. соч., 13–15 (в семье Ону).

** Лит. насл., указ. соч., 437.

*** Данные о семье Ону в книге архимандрита Киприана, указ. соч., 55–59.

**** Памяти К. Л., 277.

***** Архимандрит Киприан, указ. соч., 13–14.

вославной, но, кажется, уже после его отъезда. С острова Халки он пишет ей длинное письмо по-французски (русским языком она плохо владела). Вот к чему сводится его аргументация.

Лженаучные гипотезы всяческого сброда (т. е. позитивистов) не менее «таинственны», чем догматы о Св. Троице, о первородном грехе и искуплении. Но есть и разница между этими двумя тайнами: священник призывает вас искренно поверить, тогда как профессор уверяет вас, что реальны одни невидимые атомы... И первый из них, по мнению Леонтьева, честнее и последовательнее второго.

Другой довод напоминает известное «пари» Паскаля[63]: что вы потеряете, если ничего нет (за гробом)? И что вы выиграете, если ошибетесь (отрицая Бога и вечность!)?

Далее Леонтьев говорит о своем исцелении и посылает ей икону Божией Матери Утоли Моя Печали вместе с акафистом. Он утверждает, что он отдался на волю Божию; и это Богу было угодно послать его с Афона в Константинополь, а Богородица благословила его своим напутствием. И это фактическое доказательство было, конечно, более серьезным и конкретным, чем те другие два — умственные. Полемика и «пари» могут убеждать, но едва ли кого-нибудь обращают, тогда как факт чуда может потрясти и увлечь, если только есть доверие к этому факту.

В том же письме Леонтьев над самим собой иронизирует: «Светский человек, как и все другие, тот Леонтьев, которого мы хорошо знаем, старый распутник, ставший мистиком только потому, что уже не может распутничать (о нет, madame, это можно всегда делать, всегда найдутся тысячи способов для занятия развратом!), пытается теперь быть апостолом православия... Это ведь ужасно, это смешно, не правда ли?» * И все-таки Леонтьев умоляет ему поверить: это его последний аргумент. Многие ему не поверят, но те, кто его знает, — не усомнятся в его полной искренности.

ИОНИНЫ

Из русских дипломатов, с которыми Константин Николаевич встречался на Балканах, следует еще назвать братьев Иониных. По его словам, один из Иониных (как и М. А. Хитрово) был прототипом консула Благова (см. выше о романе «Одиссей Полихрониадес»). Мы знаем, что Леонтьев любил «списывать» с действительности, но все же проблема прототипов едва ли так

* Отрывок из этого письма 1873 г. Л. А. Ону дается в переводе с французского: Архимандрит Киприан, указ. соч., 18.

существенна для оценки художественного творчества. К тому же и он сам тоже был Благовым...

Старший брат — Александр Семенович Ионин (1837—1900) — был предшественником Леонтьева в Янине. По рассказам М. В. Леонтьевой, записанным С. Дурылиным, Ионин пытался поднять восстание эпиротов против Турции *. А Константин Николаевич, сменив его, жил в мире с турками. Но, разойдясь с ним в политике, он ценил Ионина и считал его умнейшим человеком. По утверждению К. Ф. Головина, в нем видели зачинщика герцоговинского восстания 1875 г., которое привело к сербо-турецкой, а потом и к русско-турецкой войне. В то время Ионин был посланником в Цетинье; он женился на черногорке и фактически управлял Черногорией. Ему нравилось, что эта страна не имеет ни малейшего сходства с буржуазной Западной Европой. «Славян он любил искренно, — пишет Головин, — но не делал себе на их счет никаких иллюзий. Нельзя было артистической натуре Ионина, отворачивавшейся от всего заурядного и мещанского, не полюбить такой самобытный народец, как черногорцы». Как видно, в отношении к Западу и славянству у него было немало общего со взглядами Леонтьева. Это подтверждается и дневниками (1882 г.) дипломата Г. де Воллана (1847—?), который пишет: «Ионин развивал ту мысль, что с Россией надо обращаться, как с умалишенным человеком, т. е. усадить ее в темную комнату... Ионин против всяких конституций и земских соборов. Он находит, что надо лечить Россию тишиной и спокойствием. Он даже предсказывал распадение России». Леонтьев же позднее рекомендовал «подморозить Россию» и говорил о неизбежности революции...

Де Воллан говорит о нервности Ионина: лицо его покрывалось судорогою, он корчил гримасы «комического свойства». О себе же он был очень высокого мнения и любил дразнить парадоксами: посол граф Игнатьев — это только фокусник, у Скобелева не было никаких заслуг... ** Другой дипломат, Ю. С.Карцов, приятель К. Н. Леонтьева, отзывался о нем недоброжелательно: Ионин производил впечатление человека, только что выпущенного из психиатрической лечебницы, и разыгрывал homme supérieur; при этом он был себе на уме, не имея никаких принципов, и очень любил успех... ***

---

* Лит. насл. XXII, 474.

** *Головин К. Ф.* Мои воспоминания, 1, 1908, 302–308.

*** *Карцов,* указ. соч., 146.

Позднее Ионин был назначен посланником в Бразилию и написал замечательные «Записки о Южной Америке» (1892), у него была наблюдательность, был и литературный талант, но он не творческая личность, как Леонтьев. Идеи его не мучили... Все же замечательно, что в политике, во вкусах он иногда с Леонтьевым совпадает и, может быть, даже в большей степени, чем К. А. Губастов — лучший друг Константина Николаевича.

Младший брат — Владимир Семенович (1838—1885), консул в Мостаре, Белграде, Рагузе, был еще более агрессивным дипломатом, чем Александр Семенович. В 1877 г., во время русско-турецкой войны, он был избран председателем боснийского народного правительства, но должен был бежать из Боснии*. Леонтьев и его знал, и он тоже мог быть прототипом Благова.

ТРИЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ

Свою философию истории Леонтьев впервые изложил в «Византизме и славянстве». Как мы уже знаем, этот свой очерк он обдумывал, вероятно, еще в Салониках и писал его на Афоне и в Константинополе (в 1872—1873). Каткова испугала смелость или даже «дикость» леонтьевских выводов, и он отказался опубликовать этот очерк в «Русском вестнике». «Византизм и славянство» был позднее помещен в «Чтениях Бодянского» ** и, к огорчению автора, не вызвал широкой дискуссии. Эта статья иногда напоминает вдохновенный монолог со многими меткими, небрежно «брошенными в лицо противников» полемическими афоризмами; чуть ли не на каждой странице Леонтьев кого-то вызывает на дуэль, и не только радикалов, но и консерваторов; и за эту свою смелость, за свое свободомыслие ему пришлось поплатиться: его оппоненты даже не пожелали ему отвечать, — они казнили его молчанием.

Ход мышления у Леонтьева очень логический, но мысли изложены непоследовательно, беспорядочно, как в черновике. Он ничего не любил переписывать набело, и поэтому его мысли лучше излагать в измененном порядке.

1. **Круг чтения** Леонтьева — очень ограниченный, и он сам сетовал, что ему не удалось достать все нужные книги. Он пользовался без разбора и общими руководствами по истории Ф. Шлоссера, Г. Гервинуса, Г. Вебера, Л. Прево-Парадоля, монография-

* Лит. насл. XXII, 474, «Русский биогр. словарь», VIII (1897).

** Византизм и славянство (Чтения в Обществе истории и древностей российских, 1875, III).

ми Амедея Тьерри, А. Пихлера, В. Г. Риля, графа Гобино и трудами таких историков, как Гизо и Маколей [64]. Изучение первоисточников его не привлекало. Так, он совсем не интересовался местной балканской историей, которой в то время занимались многие иностранные консулы и даже турецкие паши. Он не обратил внимания на памятники минойской культуры на острове Крите... Его уровень исторических знаний едва ли был выше эрудиции студентов-первокурсников. Но никто не отказывал ему в интуиции, на которой он преимущественно и строил свою философию истории. Замечательно также, что, говоря о прошлом, он часто ошибался, особенно с современной исторической точки зрения, но прекрасно разбирался в настоящем и многое угадывал в будущем.

2. **Метод**. Леонтьев ученых не очень жаловал, на ученость не претендовал. Тем не менее он настаивал, что его метод — строго научный и более объективный, чем у современных историков и социологов. Его подход к истории основан на биологии, даже ботанике, и эти науки (на медицинском факультете) он изучал основательнее, чем историю. Утверждаемые им законы органического развития он переносит в историю, социологию. Этот свой метод он тщательно очищает от всего эмоционального, субъективного, а также и от абстрактного догматизма и сперва воздерживается от оценки исторических и социальных явлений.

Для Леонтьева человек, человечество не свободны, их существование предопределено природой, материей. По своему методу он не менее детерминист и материалист, чем Карл Маркс; но в противоположность автору «Капитала» он исходит не из экономических, а из биологических факторов. В этом смысле он ближе Герберту Спенсеру, хотя в то же время он его еще не читал, а Марксом никогда не занимался. Но, как мы увидим, на него оказал влияние Н. Я. Данилевский.

Применяя свой биологический метод, Леонтьев издевается над теми учеными, которые вводят в науку такие, по его мнению, ничтожные и субъективные элементы, как страдание, благо: «Раскройте медицинские книги, о друзья-реалисты, — восклицает он, — и вы в них найдете, до чего музыкальное, субъективное мерило боли считается маловажнее суммы других пластических, объективных признаков...» Вообще: «Все болит у древа жизни людской». Далее он пишет: «Статистики нет никакой для субъективного блаженства отдельных лиц; никто не знает, при каком правлении люди живут лучше. Бунты и революции мало доказывают в этом случае. Многие веселятся бунтом...» Греки-

критяне богаче фракийских греков, но именно они взбунтовались... *

3. **Понятие формы**. «Форма вообще есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании)», — пишет Леонтьев и далее разъясняет: «*Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться*. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет». Такое понимание восходит к Аристотелю, а не к Платону, который утверждал, что все вещи только слабо отражают вечные, незыблемые и совершенные идеи... Откуда именно Леонтьев взял эти определения формы, мне установить не удалось, но едва ли он сам до них додумался. Однако аргументация его оригинальна и художественно-выразительна: идея так организовала форму оливки, что та «*не смеет* стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т. д.; им с зерна *предустановлено* иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды». Все это говорится в назидание современным социологам, которые пренебрегают примерами из «теперь столь *уважаемой природы*...» **. Вывод же следующий: законы растительной и животной морфологии те же, что и морфологии социально-исторической.

Далее мы увидим, что под исторической формой с организующей эту форму идеей Леонтьев очень часто подразумевал государственную форму, и при этом деспотическую (монархии, олигархии или диктатуры).

4. **Законы органического и исторического развития**. По утверждению Леонтьева, в природе мы везде наблюдаем «постепенный ход» от простоты к сложности. Ничего нового нет в этом леонтьевском утверждении. Ту же идею подробно развивал и научно обосновывал К. Бэр[65], который повлиял на Герберта Спенсера и, возможно, на Данилевского и Леонтьева. С учением Бэра он мог познакомиться еще в Московском университете. Но есть новизна во втором пункте леонтьевской социологии — все сложное постепенно разлагается, упрощается и умирает. Он дает следующий пример: небесное тело сперва проходит через период первоначальной простоты, за которым наступает период цветущей сложности: планета покрывается корою, растительностью, она — «*обитаемая, пестрая*»; но в третьем периоде она или совсем остывает, или же, вследствие катастрофы, опять расплавляется и распадается. Спенсер тоже приводил примеры из кос-

* Л V, 202–203.

** Там же, 197–198.

мологии, но с гибелью небесных тел он как-то не считается; либерал-оптимист, он верил в беспрерывное органическое развитие, в динамизм жизненного процесса, тогда как эстет-пессимист Леонтьев склонялся к тем выводам, которые позднее мы находим в гипотезе о тепловой смерти, энтропии. Он был убежден, что органическое развитие не беспрерывно и что все в природе кончается смертью, которая «всех равняет». Вторичное упрощение есть вместе с тем уравнение. Трупы мало отличимы, как и зародыши. Простота-равенство предшествует всякому расцвету и его же заканчивает. Теория эта спорная: понятия «простого» и «сложного» нелегко поддаются определению. Но Леонтьев верил в свое учение о триедином процессе развития и природы, и истории.

Законы исторического развития для Леонтьева те же, что и законы органического развития. О жизни в сотоянии «первоначальной простоты» он почти ничего не говорит. Больше внимания он уделяет истории в период расцвета. При этом он главным образом занимается разбором государственной формы правления. Здесь он дает много примеров, и многие из них произвольно выбраны и неверно истолкованы.

5. Цветущее объединение и сложность.

1. Византия

Опустим рассуждения Леонтьева о древнем мире и сразу перейдем к Византии. Он призывал к пересмотру истории Восточно-Римской империи, но сам ее плохо знал и, по-видимому, черпал информацию преимущественно из трудов Амедея Тьерри и Алоисия Пихлера, а с работами Рамбо [66] он познакомился значительно позднее. После его смерти начался новый пересмотр византийской истории, который продолжается до нашего времени, и, конечно, теперь устарело многое из того, что говорили Тьерри, Пихлер, а до них Гиббон; устарели и многие взгляды Леонтьева, который над первоисточниками не работал. Но интуиция ему заменяла эрудицию и он многое верно угадал в том, что он называл византизмом (византийской идеей).

Византизм в понимании Леонтьева — это кесаризм римского языческого происхождения, а в нравственном мире — это христианское разочарование во всем земном; византийский идеал отрицает всеобщее благоденствие на земле, не имеет западного «преувеличенного понятия о земной личности человеческой» и верит в блаженство не здесь, а там, в Царствии Небесном *.

* Л V, 113–114.

Деспотическая византийская идея кесаризма организовала очень твердые, стесняющие свободу формы общежития, но это не помешало появлению в ней ярких личностей: будь то императоры или полководцы, святые или мученики, богословы правоверные или еретические. По утверждению Леонтьева, гражданско-правовой индивидуализм в демократиях губит индивидуальность, слишком избаловывает и ослабляет личность. Между тем в деспотической Византии для каждого сильного борца открывался путь к политическим верхам, хотя бы и на императорский престол. «Кесарей изгоняли, меняли, убивали, но святыни кесаризма никто не касался» *, а другой путь вел в иную высоту — в Царство Божие. Итак, в византийском мире процветало земное государство самодержавных базилевсов, но расцветала и душа аскетов, ищущих спасения на небе... (Здесь я договариваю основные мысли Леонтьева, недостаточно точно выраженные.)

2. Запад

Западная Европа отошла от византийского христианства и в эпоху феодализма развила «преувеличенное понятие о земной личности», — утверждал Леонтьев. Позднее, в эпоху своего расцвета от XV до XVII вв., Запад выработал свою собственную деспотическую идею. Эта идея организовала централизованную власть могущественного папства и сильных монархий, как великих — при Филиппе II или Людовике XIV, так и малых, входивших в состав Германской империи. Эта же идея организовала олигархии Венеции, Генуи и Англии, которую Леонтьев называет аристократической республикой с наследственным президентом. В эту же эпоху, т. е. от XV до XVII и даже XVIII вв., на Западе процветали науки и искусства. Тогда Европа знала «аристократические пышные наслаждения мыслящим сладострастием, “бесполезной” (!) отвлеченной философией и *вредной* изысканностью высокого идеального искусства...» **. Определение это очень яркое и очень леонтьевское!

3. Россия

Россию организовали деспотические идеи Византии — православие и самодержавие; а ее собственная, деспотическая же, идея выразилась в поземельной общине — в мире. Но цветение России начинается поздно — только с Петра, утверждает Леонтьев. Европейские начала, по его мнению, не подорвали ни византийского православия, ни византийского самодержавия и внесли в рус-

* Там же, 121.

** Там же, 221.

скую жизнь то разнообразие, которого прежде не было... Полный расцвет России он относит к царствованию Екатерины II. Это она вела Россию «к творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем ее главная заслуга. Она охраняла крепостное право <...> давала льготы дворянству, уменьшала в нем служебный смысл и потому возвышала собственно-аристократические его свойства — род и личность..... *, и тем самым Екатерина подготовила литературный расцвет, связанный с именами Державина, Карамзина и позднее — с Жуковским, Батюшковым, Пушкиным, Гоголем...

4. Славянство

Как мы уже знаем, Леонтьев многое у славян любил, в особенности их старый, уже угасающий эпический быт, их «первоначальную простоту». Славянство многочисленно, писал он, но нет славянской идеи, нет славизма.

Языки славян родственные, но культура разная. Поляков воспитало католичество, которое у них проявляется сильнее, ярче, чем у других западных славян-католиков; их дворянство, говорит Леонтьев, до сих пор представляет нацию и возглавляет национальное движение — в этом оригинальность Польши.

Чехи ненавидят немцев, словаки — мадьяр, болгары — греков, но по воспитанию, по быту, по типу они очень похожи на своих угнетателей. Украинцы многое заимствовали и у поляков, и у русских.

Сербия не единая нация: хорваты-католики испытали влияния итальянские, немецкие и венгерские; сербы-мусульмане немногим отличаются от турок, а православные сербы живут в двух княжествах, сербском и черногорском, и имеют мало общего со своими собратьями по языку, но не по вере, по культуре. Итак, единой организующей идеи славяне не выработали. Византийская религия могла бы объединить только православных славян, а не католиков. Одно у них общее: они легко европеизируются, и не только в цивилизованной Австрии, но и в «отсталой» Турции. Леонтьев пишет: «Вообще юго-славяне очень легко переходят в быту в общих понятиях своих из простоты эпической в самую крайнюю простоту современной либеральной буржуазности» **. Из эпических крестьян и разбойников они быстро превращаются в épiciers западного образца. Для Леонтьева — это переход из многообещающего примитивного состояния в пери-

* Там же, 134.

** Там же, 172.

од смесительного упрощения, т. е. в смерть. Следовательно, славянам так и не удастся достичь расцвета в среднем периоде развития. Все эти леонтьевские рассуждения, конечно, очень раздражали русских славянофилов и не нравились Каткову.

5. **Единство в сложности или разнообразие в единстве** *: так Леонтьев определяет каждую эпоху расцвета в исторической форме, организованной деспотической идеей. Напомним, что ту же формулу мы находим в романе «В своем краю», где красноречивый Милькеев говорит: красота — это «единство в разнообразии» **. А для самого Леонтьева обе эти реальности — исторического расцвета и земной красоты — совпадали, но в очерке «Византизм и славянство» он предпочел воздержаться от эстетических суждений; свою эстетику он прикрывает здесь объективной научностью. Он слишком хорошо знал: эстета в 70-х гг. читать не будут; так, может быть, прислушаются к речам натуралиста! Но, как я уже говорил, отклика не было, а ему так хотелось борьбы во имя красоты, которую он теперь отождествляет с эпохой расцвета и которая была для него синонимом живой жизни; и по его убеждению, этой живой жизни теперь угрожает неминуемая гибель.

6. **Революции своевременные и несвоевременные.** По учению Леонтьева, единство (в разнообразии или в сложности) создается сильной государственной властью. Но, утверждает он, необходима и некоторая оппозиция этому единству.

«Церковник» Леонтьев говорит, что великие ереси придавали «столько жизни и движения византийскому миру» ***, а после их уничтожения в Византии начинается эпоха упадка, в IX и X вв. (При этом он забывает, что и позднее там были религиозные движения и волнения — исихастов, а также православных, не признавших Флорентийской унии [67].)

Монархист Леонтьев одобряет протестантскую революцию (при Кромвеле), которая создала величие Англии, укрепила ее аристократическую конституцию. Он сочувствует тем пуританам, которые отказывались подчиняться англиканской церкви «не из прогрессивного равнодушия, а из набожности» ****. Пуритане Англии не ослабили и внесли разнообразие в ее жизнь — в эпоху расцвета; и они же населили Новую Англию в Америке.

---

* Там же, 254–255.

** Л I, 420.

*** Л V, 245.

**** Там же, 184.

Леонтьев, сторонник византийско-русского самодержавия, одобряет прежние русские бунты — разинский и пугачевский: они укрепляли царскую власть в период ее усиления! Он говорит, что никакая пугачевщина не может «повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция» *. По его мнению, был необходим и раскол, который произошел внутри нашего византийского православия и внес в него разнообразие. Как мы знаем, он вообще сочувствовал русским сектантам и находил среди них яркие личности вроде изувера Куртина или суевера Кувайцева.

Леонтьев утверждает, что в эпоху расцвета «*все прогрессисты правы, все охранители не правы*. Прогрессисты тогда ведут нацию и государство к цветению и росту. Охранители тогда ошибочно не верят ни в рост, ни в цветение или не любят этого цветения и роста, не понимают их» **. Об этом он постоянно твердит: без великих волнений не может прожить ни один великий народ. Но есть разные волнения. Есть волнения *во́время,* ранние, и есть волнения не *во́время,* поздние. Ранние способствуют созиданию, поздние ускоряют гибель народа и государства. После волнений плебеев Рим вступил в свой героический период; после преторианских вспышек и после *мирного движения христиан* Рим разрушился. И якобинская *поздняя* революция французов стала залогом их падения. Казалось бы, здесь Леонтьев высказывается с достаточной ясностью, но очень часто эта его теория своевременных и несвоевременых ересей, бунтов, революций не учитывается при изложении его взглядов.

Леонтьев — консерватор в XIX веке, но он бы им не был при Екатерине или при Петре: «До дня цветения лучше быть парусом или паровым котлом», — говорит он, а «после этого невозвратного дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору...» ***

К этим взглядам Леонтьев пришел в 70-х гг., но в начале 60–х гг. он думал иначе: вспомним, что его любимый герой Милькеев («В своем краю») сделался революционером, чтобы вызвать отпор со стороны консерваторов!

7. **Вторичное смесительное упрощение.** По учению Леонтьева, после периода сложного цветения наступает период вторичного смесительного упрощения. Если живая жизнь полна разнообразия, неравенства, то смерть устанавливает безличное равенство

* Там же, 141.

** Там же, 208.

*** Там же.

между трупами, скелетами. Это печальный эпилог триединого процесса развития и в природе, и в истории.

Леонтьев издевается над учеными и публицистами, которые верят в беспрерывный прогресс и в отвлеченные идеалы свободы, равенства, благоденствия. По его убеждению, эта новая вера противоречит всем данным науки. Эгалитарно-либеральное движение не продолжает, а заканчивает прогресс. Оптимизм прогрессистов ненаучен; этот оптимизм — эмоция, которая прикрывается лженаучной догмой.

Леонтьев обращается к читателю с риторическим вопросом: «Где эти недогматические, бесстрастные, скажу даже, в прогрессивном отношении, пожалуй, безнравственные, но научно честные исследования? Где они? Они существуют, положим, хотя и весьма несовершенные еще, но только именно не для демократов, не для прогрессистов» *.

Как мы уже знаем, сложность, разнообразие обусловлены деспотическим единством организующей идеи. В эпохи процветания это деспотическое единство часто оспаривается, отвергается, и тем лучше, «*ибо гармония не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством, по временам и жестокая борьба*» **. Тогда бунты и ереси «своевременны»... И деспотическое единство монархии или олигархии остается в силе. А современный демократический и научный прогресс разрушает деспотизм и государства, и сословий, и цехов, и монастырей, и богатства.

Сложность в наше время обманчива: сложность машин, администрации, судов, прессы, научных методов, экономических потребностей; это сложность толчеи, в которой личность стирается, смешивается.

Идеал либералов — безличный, средний буржуа. Социалисты тоже стремятся к тому же идеалу. Прудон хочет обратить «*всех людей в скромных, однородных и счастливых, не слишком много работающих буржуа*» ***.

Идеология смесителей-упростителей — это рационализм, материализм в философии, либерализм, социализм в политике, утилитаризм, эвдемонизм в психологии и экономике, реализм, натурализм в искусстве. Это идеология чуждого жизни, духовно оскопленного, пошлого человечества, обреченного на вымирание, на гибель... Позднее — в других статьях — Леонтьев еще лучше разовьет и уточнит свою теорию вторичного, или смесительного, упрощения общества.

---

* Там же, 200.

** Там же, 223.

*** Там же, 235.

8. **Возраст цивилизации.** В «Византизме и славянстве» Леонтьев пространно рассуждает о долголетии государственных организмов. Их средний возраст — 1000–1200 лет. Египет и Китай существовали дольше, но их история слабо исследована, говорит он, состоит из разных периодов, не имеющих много общего...

Все современные европейские государства, включая Россию, прожили около тысячи лет или более; и все они скоро погибнут: их уничтожит либерально-эгалитарный прогресс, ведущий к естественной смерти этих цивилизаций. Вместе с культурными народами смесятся — упростятся и так называемые отсталые народы во всем мире, а также и славянские Балканы. Балканский национализм, как и итальянский или германский, не приведет к самобытности, ибо он связан с демократизацией, которая сведет всех к одному и тому же буржуазному общему знаменателю.

Несколько строк (в примечании) Леонтьев посвящает Америке. Он не прозревал ее великого будущего, как Токвиль и Герцен. «*Соединенные Штаты*, — пишет он, — *это Карфаген современности*», старая английская цивилизация, но «в упрощенном республиканском виде на новой, девственной почве». Я уже говорил, что он с одобрением отзывался о пуританах, покинувших родину по религиозным мотивам. Еще более он одобряет разнообразие быта на аристократическом рабовладельческом юге. «Если они (Соединенные Штаты) расширятся, как Рим или Россия, на другие несхожие страны, на Канаду, Мексику, Антильские острова, и вознаградят себя этой *новой пестротой* за утраченную *последней* борьбой (т. е. гражданской войной) внутреннюю сложность строя, не потребуется ли тогда им монархия? Многие, бывшие в Америке, так думают» * (sic). Известное же американское выражение «melting pot» [68] привело бы его в ужас! Смешение всех в одном котле уничтожает личность, самую жизнь — воскликнул бы он...

А Россия? Ее молодость сомнительна, говорит Леонтьев. Ей должно скоро исполниться девятьсот лет (со времени крещения и объединения в 988 г.). А ее расцвет он относит к XVIII веку, к эпохе Екатерины. В конце своего очерка он подводит печальные итоги русской цивилизации: «Мы прожили много, *сотворили духом мало* и стоим у какого-то страшного предела» **. А в другом месте он пишет: Россия «беднее умом» прежней Англии... ***

* Там же, 233.
** Там же, 258.
*** Там же, 254.

Он сомневается в том, что Российская империя, объединив славян, создаст новое разнообразие в единстве.

Ему хочется, чтобы Россия спасла у себя и на Западе «Церковь, какую бы то ни было, *государство,* остатки поэзии, быть может... и *самую науку!..* (Не тенденциозную, а *суровую, печальную!*» *. Замечание это очень леонтьевское — и по мысли, и по тону. Здесь — в этом очерке, претендующем на объективность, — он невольно проговаривается в своей неизменной любви к красоте: сильная церковь, могучее государство, поэзия — скорее всего яркая, романтическая, и, наконец, суровая, печальная наука: все это он находил прекрасным и всем этим он постоянно восхищался. Но и в этой миссии России Леонтьев сомневается. Иногда ему даже кажется, что на его родине старые устои слабее, чем на Западе. Как и Аполлон Григорьев, он не раз утверждал, что семейное начало не развито в России; и он приводит немало спорных, но очень ярких примеров. Так, русские сектанты совсем не семейственные и «колеблются между крайним аскетизмом (скопчеством) и крайнею распущенностью» (он, вероятно, имел в виду хлыстов). Семейственный прудонизм имел мало успеха у русской нигилистической молодежи, «ей нравились более утопии сладострастия, фурьеризм, вольные сходки в хрустальных дворцах, чем атеистическая рабочая семья Прудона» **; и мы знаем, Леонтьев об этом не горевал: в нашей семье, даже очень счастливой, он видел пошлость, обывательщину; а прежде лелеял что-то вроде матриархата, в котором отцы излишни... Его пугало другое: иногда ему казалось, что дух охранения в высших слоях общества на Западе был всегда сильнее, чем на его родине. Позднее он предскажет, что именно Россия породит революционного Антихриста... Теперь же пророчит, что весь европейский прогресс закончится анархией, которая может «довести до крайне деспотического коммунизма, до юридического, постоянного насилия всех над каждым или, с другой стороны, до личного рабства» ***. Люди сами будут «везде продавать или отдавать себя в вечный пожизненный наем из-за спокойствия, пропитания, за долги и т. д.». Об этом же он будет говорить и в других своих статьях.

9. **Критические замечания.**

1) *Григорьев и Данилевский.* Как мы уже знаем, в начале 60–х гг. Леонтьев прошел через сферу влияния Аполлона Гри-

* Там же, 252–253.

** Там же, 130.

*** См. предыдущее примеч.

горьева. Но философия истории их разная: для Григорьева каждая отдельная эпоха была своего рода «организмом», но это только метафора. Он также не находил, да и не искал законов развития в природе, в истории.

Леонтьевская философия истории ближе Н. Я. Данилевскому (1822—1885). Он тоже с недоверием относился к славянофильскому идеализму, не верил в общечеловеческую миссию России. Его славянофильство основано на натурфилософии, без всякой примеси метафизики. Этот зоолог, ботаник и специалист по рыболовству подчиняет историю тем же законам, которым подчинена природа. Его исторический натурализм оказал известное влияние на Леонтьева, который и сам это подтверждает.

В своей книге «Россия и Европа» (1869) он различает десять культурно-исторических типов замкнутых цивилизаций-организмов. По его убеждению, нарождающийся одиннадцатый культурно-исторический тип — славянский — более высокий, чем все предыдущие. Здесь историк-естествоиспытатель впадает в субъективность, он отдает явное предпочтение славянству. В нашем веке теория изоляциониста Шпенглера во многих отношениях напоминает учение Данилевского. Также и Тойнби более или менее изолирует те цивилизации, о которых он писал в своей всеобщей истории.

По замечанию Бердяева, Леонтьев воспользовался научным аппаратом Данилевского, но все же у них было мало общего. Леонтьев отрицает наличие изолированных культурно-исторических типов. Как я уже указывал, Леонтьев утверждал, что Россия достигла расцвета в XVIII веке, когда на русской почве рядом со старыми византийскими насаждениями (православием и самодержавием) появились свежие побеги западной цивилизации. Такое истолкование русской истории было совершенно неприемлемо для всех славянофилов, как для идеалиста Ивана Аксакова, так и для натуралистов Страхова и Данилевского. Сам же Леонтьев никогда не был славянофилом, хотя и сочувствовал иногда некоторым славянофильским идеям, преимущественно консервативным. Славян же он знал лучше, чем все славянофилы вместе взятые...

Пафос Данилевского низменный, узконационалистический. Он проповедовал, что «идея славянства должна быть выше свободы, выше науки, выше просвещения»!* А у Леонтьева пафос эстетический.

---

* *Данилевский Н.* Россия и Европа, 453–454.

По остроумному выражению Вл. Соловьева, теория националиста и натуралиста Данилевского ползучая*. Что-то ползучее было и в натурализме Леонтьева (в «Византизме и славянстве»), но эстетика его крылатая. К тому же он никогда не грешил национализмом (как Данилевский).

Он едко осуждал современную европейскую цивилизацию, но был влюблен в великое прошлое Запада (как и Григорьев, Достоевский).

2) *Природа и история*. В конце XIX века Вильгельм Виндельбанд и Генрих Риккерт утверждали, что естественно-научные методы неприменимы к гуманитарным наукам. Если исследователи природы устанавливают общие законы, то историки изучают единственные и неповторимые факты человеческого общежития (сплошные исключения, а не правила). С этой точки зрения должны быть одинаково осуждены и либералы вроде Герберта Спенсера, и консерваторы Данилевский и Леонтьев: все они подчинили историю естествознанию. Об этом говорит о. Василий Зеньковский в своей «Истории русской философии»; он же верно замечает, что русские мыслители XX века чаще исходили из Риккерта и отвергали натурализм в философии истории**. Тут же еще раз напомним, что Леонтьев, в противоположность Данилевскому, был не только натуралистом, а более всего — эстетом.

3) *Христианская ли философия истории?* Леонтьевское учение о триедином процессе развития неприемлемо для христианской философии, которая утверждает свободу и Бога, и человека, а также отрицает в истории природную необходимость. Ведь если следовать методу Леонтьева, то пришлось бы признать, что христианство, как и атеизм, всецело предопределено законами органического развития. Метафизика, мистика для него драгоценные яркие цветы, появляющиеся на древе культуры в весеннюю пору жизни, в период «сложного цветения». Именно поэтому учение Леонтьева было осуждено многими выдающимися христианскими философами — Владимиром Соловьевым, о. Сергием Булгаковым, Н. А. Бердяевым, С. Л. Франком, Г. П. Федотовым, о. Василием Зеньковскими, о. Георгием Флоровским и другими. Но, по верному выражению Бердяева, мысли Леонтьева стимулируют «духовные импульсы» ***.

---

* *Соловьев В. С.* Собр. соч., V, 76–78.

** Wilhelm Windelband (1848—1915); Heinrich Rickert (1863—1936). См.: *о. Василий Зеньковский*. История русской философии (1948), т. 1, 453–454.

*** *Бердяев,* К. Л., 262.

В истории гордый Леонтьев склоняется перед государственной властью, перед Кесарем. На это он мог бы возразить: в самом главном, в спасении души, и Кесарь ничем не поможет: здесь только Церковь помогает. Но в «Византизме и славянстве» он только твердит, что все земное обречено на гибель — и не по закону Божиему, а по закону природы.

4) *Леонтьев-шестидесятник*. Он ненавидел европейских радикалов всех толков, ненавидел и русских нигилистов любого типа, но в одном он был им близок: в своем подходе к истории он был натуралистом, даже материалистом. В этом смысле он «дитя века», шестидесятник. Но было и немало существенных различий между ним и всеми радикалами, нигилистами. Многие из его противников были более эмоциональны и идеалистичны: их трогали человеческие страдания, они хотели принести пользу человечеству и оптимистически верили в беспрерывный прогресс. Леонтьев все эти эмоции и идеи отрицает. Однако и у него была своя идея-эмоция — эстетическая: он всегда хотел красоты, но, как мы уже знаем, в очерке «Византизм и славянство» об эстетике он не говорит, а только проговаривается... Ему, видно, хотелось побивать врагов их же оружием — естественными науками, которые, по его убеждению, подтверждают его пессимистические выводы; он ведь всюду научно обосновывает не прогресс, а дегенерацию. О другой идее-эмоции Леонтьева я уже говорил: это его вера в личное спасение в Церкви; и об этом он тоже в своем полемическом очерке умалчивает.

Итак, Леонтьев — шестидесятник по воспитанию; но шестидесятник-еретик, который ополчился против подавляющего большинства своего поколения: против «ортодоксальных» атеистов и материалистов; и по соображениям тактическим он на время предпочел утаить от противников свои собственные вкусы и верования, очень противоречивые: свою эстетику и свою религию (любовь к земной красоте и веру в небесное спасение).

5) *А декаданс?* По верному замечанию Бердяева*, Леонтьев не знал, что для периодов смесительного упрощения характерен тот эстетический декаданс, о котором писал забытый поэт пушкинской эпохи Тепляков:

Потом — изящные пороки,
Глухое варварство потом...

*(1829)***

---

* Там же, 124.

** *Виктор Тепляков* (1804—1842). Из «фракийских элегий» // Поэты 1820—1830 гг. (1961), 233. Эти стихи цитировал Пушкин в статье о Теплякове.

Изящные пороки проповедовал и Леонтьев. В его «Египетском голубе» есть декадентская атмосфера, есть душевная истома нежности и похоти. Он был сам декадентом: и именно так его расценивает критик Серебряного века Грифцов*. Но он декадент бессознательный... И он ничего не знал о Бодлере, Теофиле Готье, Барбье д'Оревильи или о Гюисмансе...

Декаданс или «конец века» — это не только пороки, как изящные, так и неизящные. Это также творческая переоценка прошлого, предчувствие нового расцвета, мечта о ренессансе — эстетическом, а иногда и о религиозном. Русские поэты-символисты и русские светские богословы (перед революцией) жили этими мечтаниями и искали вдохновения в пророчествах или лжепророчествах Достоевского, Вл. Соловьева и Ницше; но первого Леонтьев ненавидел, во втором он разочаровался после страстного увлечения, а третьего не знал...

6) *Стиль*. Леонтьев не любил свои писания обрабатывать, отделывать. Но у него было чувство стиля и был свой стиль — камерного монолога, произносимого в небольшом кругу друзей. Общий план очерка и основные ходы мысли он выяснял заранее и затем писал — рассказывая; а увлекшись темой, он любил оживлять изложение полемическими выпадами и особенными шутками — фантастическими по содержанию и патетическими по тону. Серьезность не мешала ему забавляться... Вот как в «Византизме и славянстве» он описывает вторичное смесительное упрощение. Под деревьями здесь подразумеваются цивилизации: «Дуб, сосна, яблоня и тополь недовольны теми отличиями, которые создались у них в период цветущего осложнениях и которые придавали столько разнообразия общей картине западного пышного сада; они сообща рыдают о том, что у них есть еще какая-то сдерживающая кора, какие-то остатки обременительных листьев и вредных цветов; они жаждут слиться в одно, в смешанное и упрощенное, среднепропорциональное дерево» **. Описания этого рода ему еще лучше удавались в романах и, в особенности, в письмах.

Иначе у Данилевского: искусством слова он не владел. Его проза была самой топорной работы; фразы — неотесанные обрубки, кое-как сколоченные... Это же отмечает и Леонтьев: он говорит, что «Россия и Европа» — великая книга, которая очень дурно местами написана ***.

---

* *Грифцов*, указ. соч., 88.

** Л V, 225–226.

*** Там же, 433. См. мою вступительную статью к новому изданию «России и Европы» Н. Я. Данилевского (1966).

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ XIX ВЕКА

По убеждению Леонтьева, культуру погубит средний буржуа, который казался ему опаснее среднего пролетария. Здесь он обнаруживает прозорливость; я уже говорил, что буржуа был для него не столько классовым, сколько психологическим типом; и он верно указывал, что буржуа и пролетарий «смешаются» и в итоге дадут того успокоенного и самодовольного среднего человека с буржуазной, вернее же, с мелкобуржуазной психологией, которого мы часто встречаем во всех современных демократиях: это и капиталисты, и рабочие, а также представители новой социальной группы — директора и служащие. Процесс обуржуазивания наблюдался и в коммунистической России — в короткий период нэпа — и наблюдается теперь...

Леонтьев был убежден, что и в буржуазном, и в коммунистическом обществе личность погибнет, творчество иссякнет. Но это его пророчество спорное. Если и согласиться с тем, что у Пикассо или Корбюзье, у Пруста или Джойса человек, человеческое — исчезает в геометрических формах или же разлагается в потоке сознания, то нельзя ведь сомневаться, что в этих и в других произведениях современного искусства есть стиль, выражающий творческую личность. Не умерла и религия: пусть она часто обслуживает лицемерных мелких буржуа, но были в XX веке и святые и мученики; были и поэты, писатели, вдохновленные верой, хотя бы в той Франции, которую Леонтьев считал духовно погибшей, отпетой... Это Леон Блуа, Пеги, Клодель, Бернанос, Мориак. Не будем приводить здесь других примеров; и так очевидно, что Леонтьев во многом ошибся, и несущественно, какие именно его предсказания осуществились. Важно другое: Леонтьев увидел ту опасность смешения-упрощения (общей нивелировки), на которую позднее указывали Шпенглер, Ортега-и-Гасет, Тойнби и многие другие. Эта опасность вполне реальна, как и водородная бомба.

Заметим, что задолго до Леонтьева интеллектуальное и физическое вырождение в эпоху развития техники мерещилось еще Баратынскому в «Последней смерти» (1829):

> И по земле с трудом они ступали,
> И браки их бесплодны пребывали... * —

говорит поэт-философ о последних людях на земле.

---

* *Баратынский Е. А.* Стихотворения (1957), 197–199.

Леонтьев постоянно жаловался на свое одиночество; но он не был бы так одинок, если бы знал всех своих современных единомышленников: их и было не так уж мало.

Леонтьев — выдающийся представитель той великой контрреволюции XIX века, которая защищала

качество от количества;
даровитое меньшинство от бездарного большинства;
яркую личность от серой массы;
дух от материи;
природу от техники;
истину от рекламы и пропаганды;
творческую свободу от плутократии и бюрократии;
искусство от прессы.

Гете, Шопенгауэр, Ницше, Э. фон Гартман, Жозеф де Местр, Токвиль, Флобер, Гобино, Доносо, Карлейль, Д. С. Милль, Кьеркегор, Ибсен, Хомяков, Достоевский, Вл. Соловьев и многие другие так или иначе в этой контрреволюции участвовали. Философия этих мыслителей и художников — очень разная; они очень отличались друг от друга и по своему пафосу; но все они так или иначе отрицали нивелирующее равенство, утверждаемое прогрессистами разного толка. Правда, очень немногие из них открыто защищали неравенство, как духовное, так и политическое (де Местр, Карлейль, Ницше, Леонтьев). Замечательно, что эти и другие антилибералы и антисоциалисты обнаружили больше свободомыслия, больше творческого размаха, чем многие защитники политических свобод или доктринеры социалистического равенства.

Герцен отстаивал политическое и экономическое уравнение в правах и потребностях, но и его ужасала бездарность, пошлость буржуазии, как отчасти и рабочего класса; и именно поэтому реакционер Леонтьев так высоко ценил революционера Герцена.

Эту широкую тему я здесь только намечаю. Одно же несомненно: леонтьевскую философию истории и его эстетику следует истолковывать и расценивать как теорию или гипотезу одного из самых выдающихся представителей контрреволюции XIX века.

ГОБИНО

Из выдающихся контрреволюционеров XIX века выделим двух — Гобино и Доносо; их можно сравнивать с Леонтьевым, хотя между ними было не так уж много общего.

Граф Жозеф Артур Гобино (Gobineau, 1816—1882) — философ, филолог, романист и дипломат. С 1864 по 1868 г. он был французским посланником в Афинах. Леонтьев, вероятно, слы-

шал о нем в дипломатических кругах, но из книг его упоминает только одну — «Историю Персии» (1868)*. По-видимому, других произведений Гобино он не читал: иначе он не мог бы на них не откликнуться. Он нашел бы в его писаниях мысли близкие, знакомые. Ему импонировала бы личность этого французского аристократа, который проводил на Балканах одиозную для него политику Наполеона III, но сам нисколько не походил на тех épiciers Второй империи, которых он ненавидел не менее Леонтьева.

В XX веке более всего известна книга Гобино о неравенстве человеческих рас («Essai sur l'inégalité des races humaines», 1853—1855). Вот основные положения Гобино.

1. Расы — устойчивые, но все же не постоянные биопсихические единицы.

2. Каждая раса стремится к завоеваниям, которые, однако, приводят к смешению с другими расами, к метизации.

3. Самая благородная раса — германская, создавшая европейскую цивилизацию в средние века и отчасти в новое время; она подчинила себе огромные пространства, на которых начала скрещиваться с другими, «низшими», расами; это смешение приведет ее к неизбежной гибели в современной демократии, основанной на принципе равенства.

Немецкие расисты ценили Гобино, которого в Германии прославил его друг Рихард Вагнер, способствовавший созданию Gobineau-Gesellschaft[69]. На самом же деле нет ничего общего между расовой доктриной нацистов-демагогов и аристократическим расизмом мечтателя Гобино, который бредил ярлами и викингами и вместе с Дон-Жуаном помещал их в своем воображаемом раю. Несомненно, он пришел бы в ужас от своих почитателей в Третьем Рейхе. Но несомненно и другое: обе эти теории основаны на ложнонаучных выкладках — это мифы.

Гобино был пессимистом стоического типа; он был убежден, что человечество ухудшается и его дегенерацию предотвратить невозможно. Для него золотой век — в невозвратном прошлом. Все же в романе «Плеяды» (1847) он пытается найти каких-то идеальных героев в современном мире. Это история возвышенной дружбы трех лучших представителей «германской расы»: немца Ланца, француза Лодона и англичанина Нора. Все они именуются сыновьями короля (fils du roi). Вот исповедание одного из них: «Я отважен и великодушен; я чужой — для людей заурядных; мои вкусы не соответствуют моде; чувства, которые я испытываю — мои собственные; я не умею любить и ненавидеть

* Л V, 248 («Византинизм и славянство»).

по предписаниям газет; независимость ума, абсолютная свобода в убеждениях — вот непоколебимые привилегии моего дворянского рода. Небо одарило меня ими подобно тому, как во Франции сыновьям короля жаловали голубую ленту Святого Духа; я буду хранить их до самой смерти...» *

Все эти сыновья короля — безупречные рыцари, но они герои безжизненные. Они схематичны, и их нельзя назвать существами высшего порядка (по замечанию Жана Лакретеля) **. Они не индивидуальные характеры, а только — индивидуализированные типы (Arnold H. Rowbotham) ***. Все же во Франции Гобино многим импонировал: не как идеолог расизма, а как писатель. Его поклонниками были Пруст, Жид, Жакоб, Бенда, Алан, Радиге, Кокто ****. Есть четкость и есть динамизм в его повествовании. Он избегает тех привычных реалистических деталей, которыми изобиловали романы прошлого столетия: и это может нравиться.

Жизнь Гобино была интересной, насыщенной. В юности он занимался историей и филологией. В 1849 г. благодаря стараниям влиятельного друга — Токвиля начинается его блестящая дипломатическая карьера с первыми этапами в Берне, Ганновере, Франкфурте-на-Майне. В Тегеране он продолжает научную работу — занимается персидской историей и расшифровывает вавилонскую клинопись. Далее — Афины, Рио-де-Жанейро, где он подружился с ученым-императором Педро II. Наконец, в Стокгольме он находит близких единомышленников — графа Филиппа Эйленбурга и графа Залесского (поверенных Германии и Австрии): их тройственный союз, может быть, напоминает «антанту» сыновей короля в «Плеяде». Уже на закате жизни он подружился с Вагнером, который посетил его в Риме.

Леонтьев, в противоположность Гобино, отрицал всякий вообще расизм. В «Византизме и славянстве» он писал: «Что такое племя без системы религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что

---

* Les Pléiades (1924), 21.

** Цитирую по книге: *Spring Gerald*. The vitalism of count de Gobineau (1932), 198.

*** *Rowbotham Arnold H*. The life and works of count de Gobineau (1929), 156.

**** *Riffaterre Michel*. Le style des Pléiades de Gobineau (1957), 4–5.

любишь свою, близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови» *. Здесь Леонтьев высказался с достаточной ясностью. Не только в своих философических очерках, но и в романах он часто восхищался «неарийцами», будь то евреи, арабы или турки. А в том же очерке он заявляет: «Слияние и смешение с азиатцами <...> или с иноверными и иноплеменными гораздо выгоднее уже по одному тому, что они еще не пропитались европеизмом» ** (т. е. не демократизировались, не упростились в третьем периоде развития!) И позднее он высказывал такие же «евразийские» мысли. Кстати заметим, что и с современной научной точки зрения Леонтьев лучше разбирался в антропологии, чем все расисты, включая Гобино. Наконец, «метисы» ему импонировали эстетически...

Хотя Леонтьев и подчинял христианство законам органического развития, оно вместе с тем было для него абсолютной и спасительной истиной — не в истории, а для души человеческой. Между тем Гобино мечтал о возрождении древнегерманского язычества!

Оба они пессимисты: но Гобино стоик и отчасти сноб. Он както высокомерно отмахивался от вырождающегося человечества; и Леонтьеву казалось, что «человечество устарело», но он пытался «лечить» его реакцией, а потом даже революцией... Стоического равнодушия он не знал, а от снобизма рано отказался. Он беспокойный человек, полный тревоги, христианской тревоги...

Все же оба часто совпадали во вкусах: их восхищала свободная и властная личность, тип отчасти рыцарский, отчасти разбойничий и враждебный современной буржуазии и интеллигенции. Леонтьева могли бы восхитить романтические «бредни» Гобино об Одине, о Валгалле. Он мог бы увлечься и его романом о сыновьях короля. Их также сближает любовь к Востоку.

В рассказе Гобино «Акриви Франгопуло» *** английский капитан женится на провинциальной барышне — дочери греческого нотабля и обретает с ней счастье на одном из островов Архипелага. К тому же стремился и леонтьевский консул Розенцвейг, который мечтал о женитьбе на простой критянке Хризо (в рассказе того же названия). И сам Леонтьев был женат на русской гречанке из мещанской семьи. Это не народническое опрощение, а своего рода брачный союз культуры с примитивом или полупримитивом. При этом обе стороны не теряют своих особенностей: культура не снижается, а примитив не просвеща-

* Л V, 146.

** Там же, 182.

*** *Gobineau J. A. de*. Akrivie Phrangopoulo. Trois nouvelles (1932).

ется! В такой семье — культура, представленная мужем, господствует, но и любуется подчиненным ей примитивом в лице жены. Замечательно также, что некоторые балканские рассказы Леонтьева напоминают эту повесть Гобино: в них та же сухость, чистота, четкость, линейность стиля; и оба они обходятся без тех мелких деталей, которые Леонтьев позднее называл мухами натуральной школы...

Наконец, оба любили говорить «возмутительные вещи», любили дерзать и дерзить назло буржуазии... и Леонтьев мог бы оценить остроумие Гобино, который возмущался тем, что Сервантес осмелился высмеять благородного рыцаря в своем Дон-Кихоте!

Более углубленное изучение Гобино, вероятно, дало бы больше материала для сближения его с Леонтьевым: не во взглядах, а во вкусах. Именно этим двум контрреволюционерам было о чем поговорить, поспорить. Иногда бывает обидно, что людям, давно уже умершим, не удалось встретиться на этой земле; тогда невольно поддаешься искушению — и хочешь их познакомить после смерти, и именно здесь, а не там!

ДОНОСО КОРТЕС

Доносо Кортес маркиз Вальдегамас (1809—1853), испанский мыслитель и дипломат. Он один из самых замечательных представителей духовной контрреволюции XIX века. К нему опять пробудился интерес в наше время. Герцен писал о нем в своих записках («С того берега»), но Леонтьев, по-видимому, его не знал.

Здесь я даю только схему воззрений Доносо, которого знаю только по некоторым переводам и по немецким и французским комментариям *.

1. Буржуазия слаба, и победит социализм. Авторитарная социалистическая диктатура заменит буржуазно-демократическую дискуссию. Буржуазию Доносо презирает, но социализм, в котором он видел смертельного врага, вызывает в нем уважение. Социализм напоминает вавилонского царя — высокомерного и жестокого человека-зверя.

2. Социалистическая революция победит не в Англии (вообще не на Западе, как многие тогда думали, включая Маркса), а в России.

---

* *Герцен А. И.* Собр. соч. (1955), т. VI. гл. VIII: Доносо Кортец... 132–142 (1850). А. В. Королев в статье «Культурно-исторические воззрения К. Л.» сопоставляет Доносо и Леонтьева (Памяти К. Л., 355–356).

3. Мы все плохие христиане, и поэтому зло (социализм) одержит естественную победу над добром (христианством). Только покаяние, самосовершенствование или сверхъестественное вмешательство Провидения может спасти мир от социализма *.

Пророчества Доносо совпадают с позднейшими пророчествами Леонтьева, который утверждал, что социалистический Антихрист родится в России и ее покорит. Но, в противоположность испанскому мыслителю, Леонтьев не верил в спасение этого мира ни человеческим покаянием, ни Промыслом Божиим; он постоянно твердил, что миру суждено погибнуть, и только душа может спастись — и не здесь, а там. Догадки их оказались правильными; крайний социализм — коммунизм одержал победу и установил диктатуру в России, а не на Западе. Но, как и многие социалисты прошлого века, включая Маркса, они не учли сил буржуазной демократии в XX веке; не предугадали они и творческого декаданса в культуре и искусстве.

Доносо и Леонтьева сближает универсальность их мышления: Испания или Россия, Европа или Восток рассматривались ими как герои или героини мировой трагедии христианского мира. Вместе с тем у них не было иллюзий универсалистов другого типа, иллюзий романтиков-мессианистов с их оптимистической верой в провиденциальную роль отдельных народов — германского, польского или славянских. Они умели прямо смотреть в глаза враждебной им исторической правде — тотальной революции и диктатуре. Они хорошо знали, что нельзя отводить Богу ту роль в истории, которая им желательна; они не решались выдавать свои собственные мысли за Божии, как это делал Гегель. На Бога они надеялись: Доносо в плане историческом (в случае общего покаяния или Божьего вмешательства); а Леонтьев — в плане трансцендентном (спасение души в Царстве Божием). При этом мышление Доносо яснее и вызвышеннее, чем леонтьевское; Леонтьев подчинял законы истории законам природы; тогда как для Доносо Кортеса история определяется человеком и Богом (этикой и религией).

ГЕРЦЕН

Леонтьев никогда с Герценом не встречался, но постоянно его читал, даже в келье афонского монастыря; и он часто о нем упоминает, считает его своим союзником — не в политике, а в эстетике.

---

* Просмотренная литература о Donoso Cortés: *E. Schramm* (1935); *Carl Schmidt* (1950); *J. M. Höcht* (1953); *J. Chaix-Ruy* (1956). Мне же, к сожалению, с его трудами познакомиться не удалось.

Наиболее исчерпывающую характеристику «своего» Герцена он дает в посмертной статье «Средний европеец» (начатой им еще на Афоне).

«Герцену как гениальному эстету 40-х гг. претил прежде всего самый образ этой средней европейской фигуры в цилиндре и сюртучной паре, мелконастойчивой, трудолюбивой, самодовольной, по-своему, пожалуй, и стоической и во многих случаях, несомненно, честной, но и в груди не носящей другого идеала, кроме претворения всех и вся в нечто себе подобное <...> Герцен был настолько смел и благороден, что этой своей аристократической брезгливости не скрывал. И за это ему честь и слава. Он был специалист, так сказать, по части жизненной реальной эстетики, эксперт по части изящества и выразительности самой жизни...» И именно поэтому ему так нравилась скитальческая жизнь Байрона.

«Герцен — самая лучшая антитеза Прудона».

«Прудону до эстетики жизни нет дела; для Герцена эта эстетика все».

«Как скоро Герцен увидал, что и сам рабочий французский, которого он сначала так жалел и на которого так надеялся (для возбуждения новых эстетических веяний в истории) — ничего большего не желает, как стать поскорее по-прудоновски самому мелким буржуа, что в душе этого рабочего загадочного нет уж ровно ничего и что в представлениях ее ничего нет оригинального и действительно нового, так Герцен остыл и к рабочему и отвернулся от него, как и ото всей Европы, и стал верить больше после этого в Россию и ее оригинальное, не европейское и не буржуазное будущее» *.

В письмах к Владимиру Соловьеву Леонтьев говорит, что, читая Хомякова, Аксакова, даже Каткова, «в голову бы не пришло ненавидеть всесветную буржуазию (в которую, в сущности, стремится перейти и работник западный); Герцен же издевался прямо над этим общим и подавляющим типом человеческого развития. И, последуя за ним по сродству “природы”, я придумал, позднее и выражение “средний человек, средний европеец” и т. д.» **. Так что здесь Леонтьев сам говорит о влиянии на него Герцена, которого он «в начале 60-х годов ненавидел и даже не уважал...»

Характеристика Леонтьева — блестящая, но спорная; Герцен не сознавал себя эстетом, хотя и чувствовал — воспринимал эстетически. Леонтьев, многое в нем верно угадав, очень уж его

* Л VI, 28–29 (в статье «Средний европеец...»).

** Там же, 336 (очерк «Письма к Вл. С. Соловьеву...»).

стилизовал — сделал героем своей поэмы жизни, как и Аполлона Григорьева. Замечательно также, что никого из других современных русских писателей или деятелей он в герои не возводил! В письмах и записках он издевался над Аксаковым, Катковым, Победоносцевым; в Тургеневе, кумире юности, он разочаровался и не любил Гоголя, Толстого, Достоевского, Лескова...

Статья П. Ф. Преображенского о Герцене и Леонтьеве (1922) * малоинтересна: он их характеризует как философов культурного умирания... Очень значительна другая статья — о. Георгия Флоровского — «Тупики романтизма» (на немецком языке) **. Он утверждает, что Герцен и Леонтьев сродны друг другу: у них обоих одностороннее эстетическое восприятие жизни. При этом Леонтьев был в вере — неверующим скептиком и эстетом, который томился по истинной вере, но бессилен был возродиться (ohnmächtig blieb für eine Erneuerung), тогда как Герцен был религиозен и в неверии и, несмотря на свои кощунственные сомнения, никогда не мог угасить в своей душе (in seinem Innern) таинственные тревоги (geheimnissvolle Unruhe). Но ведь и в томлении Леонтьева по вере — тоже была таинственная тревога, было беспокойство, и мы увидим, как он духовно мучился, рвался...

Существенно также, что Герцена и Леонтьева роднит их открытость — при всех своих «убеждениях», «тенденциях» они свободны, открыты всем новым впечатлениям бытия. Они сходны и по стилю — неровному, иногда даже неграмматичному, но всегда очень выразительному. Наконец, можно утверждать, что по сравнению с другими русскими мыслителями XIX века они наименее провинциальны, наиболее универсальны: их тревожила судьба если не всего мира, то всей Европы, включая Россию. Цели, упования были у них разные, непохожие, но они часто видели вблизи то же самое: нивелирующие процессы в современном буржуазно-пролетарском обществе, социальную энтропию, которой они оба противились.

---

* *Преображенский П. Ф.* А. Герцен и К. Леонтьев // Печать и революция, 1922, 87.

** *Florovskij G.* Die Sackgassen der Romantik // Orient und Occident, 1930, IV, 14–37.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

Леонтьеву хорошо жилось на острове Халки, откуда он часто наезжал в Константинополь. Все же он решил вернуться в Россию. Тоски по родине у него не было. Но он считал свое возвращение необходимым для устройства разных неотложных дел. Ему очень хотелось тогда добиться литературного признания, а для этого нужен был контакт с литераторами и, в особенности, с публицистами, которых он недолюбливал. Его подстрекало не одно честолюбие. Он был убежден, что ему есть что сказать в литературе. В своих же способностях он никогда не сомневался. Но в 50-х и 60-х гг. он жизнь ценил больше искусства, которое только отражает действительность; и ему тогда везло в жизни: он упивался бытием — и в Крыму, и позднее на Балканах; он на самом деле жил тогда по гетевскому завету, данному ему Тургеневым: Greift nur hinein ins volle Menschenleben (Faust)*.

Литературные неудачи в те счастливые годы его особенно не тревожили. Еще успею, думал он, и с упоением служил и Афродите Простонародной, и той, которую я называю Афродитой Промежуточной (распаляющей и не утоляющей). Тогда же консул Леонтьев весело, дерзко и счастливо укреплял престиж — как Российской империи, так и свой собственный!

После кризиса в Эпире, после обращения в Салониках он оставался все тем же Нарциссом со вкусами Алкивиада. Очарование жизнью и самим собой было все то же. Но ослабели силы: он чувствовал, что стареет, дурнеет, устает физически. С рокового для него 1871 г. и до самой своей смерти он всегда чем-нибудь болел, постоянно недомогал. Но силы духа не оставляли его, и он продолжал свою борьбу за красоту и за бессмертие.

Константин Николаевич всегда помнил о своем клятвенном обещании стать монахом: ему этого совсем не хотелось, но он знал, что в конце концов ему придется сдержать данное им слово. Монахи на Афоне не разрешили ему постричься, и, вероятно, он этому радовался. Все же нельзя было до бесконечности откладывать постриг. В июле 1873 г. он решил поступить в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, основанный патриархом Никоном. Настоятелем этой обители был тогда ученый о. Леонид (Кавелин, 1822—1891), известный своими трудами по археологии и археографии. По-видимому, Леонтьев встречался

* См. примеч. к гл. «Тургенев», ч. 1.

с ним в Константинополе. Губастов вспоминает, что архимандрит «не особенно благоволил к моему другу, — Леонид был человек властный, мелочный и обидчивый» *. Все же Константин Николаевич пожелал поступить в монастырь, им возглавляемый. С острова Халки он написал ему очень ультимативное письмо, которое могло бы раздражить и необидчивого игумена:

«*Я желаю жить при монастыре в России, и особенно в одном из подмосковных...*» — подчеркивает Леонтьев. «*Я желаю приехать прямо в Новый Иерусалим...*» На Афоне он не мог остаться из-за «бури», поднятой в греческих и турецких газетах, которые придавали политическое значение его пребыванию в Русике... Монахи отговорили постригаться, и «Игнатьев почти вынудил меня уехать...». «С женою я брачно не живу уже около трех лет», и она дала позволение на постриг... ** Ответ о. Леонида был отрицательный: монашеский искус несовместим с жизнью в монастырской гостинице и литературными занятиями.

Итак, Константин Николаевич вернулся в Россию, с тем чтобы *сдержать слово,* данное им Божией Матери, и чтобы *сказать свое слово* в литературе. Для этого ему нужно было стать монахом или полумонахом и одновременно литературным генералом... Еще он думал тогда об устройстве разоренного имения — Кудинова.

В Москву он прибыл весной 1874 г. на деньги, занятые у друзей, и в сопровождении слуги-грека Георгия. Летом он живет в Кудинове, в августе впервые посещает Оптину Пустынь, потом полгода проводит в Николо-Угрешском монастыре, потом опять — Москва, Кудиново и другие разъезды. Все события и настроения этого времени он подробно описывает в письмах Губастову и в воспоминаниях («Моя литературная судьба»). Но не всегда ясна датировка и поэтому лучше всего «разделить» его жизнь в 1874—1875 гг. на три главы — по роду деятельности: *Литературные дела; Хождение по монастырям; Дворянское оскудение*.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДЕЛА (КАТКОВ, ПОГОДИН, ИВАН АКСАКОВ)

1. Катков

В Москве Константин Николаевич едет поклониться Иверской Божией Матери. Он пишет: «Я просил (конечно!) о продлении *моей земной жизни* и о том, чтобы в *делах литературных*

* Памяти К. Л., 223.

** Письмо о. Л. Кавелину от 8 июля 1873 г. // Русское обозрение, 1893, IX, 320–322.

мне суждено было наконец *узреть правду* себе *на земле живых*» *. О том же он просил у Божией Матери и в Салониках (во время болезни).

В литературном портфеле у него было три работы, которым он придавал большое значение: очерк «Византизм и славянство», первая часть романа «Одиссей Полихрониадес» и повесть «Две избранницы» («Генерал Матвеев»).

Более всего он надеется на М. Н. Каткова (1818—1887), редактора «Русского вестника». В 70-х гг. в этом толстом журнале печатались «Бесы», «Братья Карамазовы», «Анна Каренина», «Соборяне» и леонтьевский «Одиссей». Все эти произведения хорошо известны: это великая литература, это мировая литература! За исключением «Одиссея», которого затмил даже роман Мельникова-Печерского «В лесах» (опубликованный в том же «Русском вестнике»).

В юности Катков дружил и спорил с Белинским и Бакуниным, изучал Гегеля, слушал Шеллинга; в 50-х гг. он был профессором философии при Московском университете и, кажется, именно тогда Леонтьев с ним познакомился. В годы Великих реформ Катков имеет репутацию умеренного либерала, но после польского восстания 1863 г. он очень «правеет». Именно в это время его журнал «Русский вестник» и, в особенности, газета «Московские ведомости» становятся весьма влиятельными в правительственных кругах. К голосу московского публициста прислушиваются и на Западе. Либералы упрекали его за отсутствие твердых убеждений и определенной программы; они обвиняли его и в прислужничестве властям предержащим. Действительно, догматизма в политике Катков не проявлял и этим скорее гордился. Несомненно и другое его качество: независимость в суждениях. Недаром Александр II называл его цензором своей политики...

Катков прежде всего утверждал Государство Российское — самодержавное и великодержавное. Ко всему же остальному его отношение менялось, как у английских тори, которые очень ему импонировали. Поклонник Петра Преобразователя, он одобрял Великие реформы Александра Освободителя. Но иногда он находил нужным сдерживать правительственных реформаторов. Для борьбы с революционным движением он предлагал разные меры, например — укрепление ослабнувшего дворянства и классическое образование в гимназиях (для наведения порядка в умах, расшатанных нигилистами).

---

* Лит. насл. XXII, 433.

Леонтьев очень ценил Каткова-публициста и позднее даже предлагал ему поставить при жизни памятник! Но личность московского трибуна вызывала в нем отвращение, ненависть. Напомним, что Константин Николаевич всегда судил о людях не столько по их убеждениям, сколько по их личным качествам, даже по внешности. У него был художественный подход к каждому человеку. Так, еще в 50-х гг. он проникся антипатией к Дружинину — эстету по содержанию (взглядам), но не по форме (манерам)! Теперь же его возмущает, что умный, но *серый* Катков проживает в старом Михайловском дворце, в котором он предпочел бы встретиться со своими изящными константинопольскими друзьями — Хитровыми, Губастовым и другими. Для него уже то было преступлением, что Катков не годился в герои той великой поэмы, которую он слагал всю свою жизнь; и он злорадно повторяет герценовский отзыв о Каткове: «московский публичный мужчина» * (т. е. оппортунист)! Эстетика же отводила Леонтьева и от Победоносцева, о котором он позднее говорил: «старая “невинная девушка” и больше ничего!» (но и его он считал «полезным», как и Каткова).

Наконец, Константина Николаевича раздражало, что редактор «Русского вестника» отказался напечатать его очерк «Византизм и славянство». Почему именно, мы не знаем. Но не очевидно ли, что для Каткова многое в этой статье было неприемлемо, например предсказание о близкой кончине 1000-летней старушки-России, которая никогда ничем в истории не блистала, разве что в чужой одежде — в византийской парче или во французских кринолинах! Вот что враги России вычитают из леонтьевского очерка... мог бы сказать Катков! Революционеры, по крайней мере, верили в другую — новую Россию, а тут свой брат — консерватор выносит ей смертный приговор. Губастов как-то справедливо и остроумно заметил, что за этот диагноз сенильности Николай I сослал бы Леонтьева или же объявил его сумасшедшим, как Чаадаева **. Между тем Константин Николаевич, по семейной традиции, очень этого государя почитал...

Катков охотно помещал в «Русском вестнике» повести и другие статьи Леонтьева, но все же не доверял ему и в глаза сказал: «Вы договариваетесь до чертиков!..» *** Положение еще осложнялось тем, что Константин Николаевич задолжал Каткову 4000 рублей; и он отдал ему свой роман «Одиссей Полихрониа-

* Там же, 436.

** Памяти К. Л., 230.

*** Там же, 445.

дес» в счет погашения этого долга. Однако на что-то надо было жить, и Леонтьев просит дать ему какую-нибудь постоянную работу. Но в редакции «Русского вестника» его только кормили обещаниями или же третировали как интеллигента-пролетария. Он с горечью замечает: в Министерстве иностранных дел или же в константинопольском посольстве куда лучше обращались с новичками... Не нравились ему и сотрудники Каткова — его однофамилец П. М. Леонтьев, Н. Н. Воскобойников, Н. А. Любимов. Из московских литераторов ему импонировал только Ф. Н. Берг (Боев), который после смерти Каткова стал редактором «Русского вестника». Но и он не оценил «Византизма и славянства».

2. Погодин

Приятной неожиданностью был прием, оказанный Леонтьеву историком М. П. Погодиным (1800—1875). Был это человек тяжелый, неуживчивый, но умный и с богатым жизненным опытом; кого только он не знал — в молодости московских любомудров, Пушкина, потом Гоголя, а позднее около него прошумела «молодая редакция» «Московитянина», Аполлон Григорьев, Островский. Старик как-то сразу на глаз оценил Леонтьева. Правда, он отказался прочесть неразборчивую рукопись («Византизма и славянства»), но внимательно выслушал устные комментарии автора.

«Что вам сказать! — заметил Погодин. — Я так подавлен обилием и разнообразием ваших мыслей, что не нахожу вдруг вам и ответа»; и позднее он не дал отзыва, отговариваясь тем, что готовится «в дальний путь...» * Все же он больше других помог Леонтьеву. По-видимому, благодаря его рекомендации очерк «Византизм и славянство» был наконец опубликован в «чтениях» (в 1875 г.) известного филолога О. М. Бодянского.

Погодин же дал записку к И. С. Аксакову. Леонтьев приводит ее содержание по памяти: «Это человек примечательный; он мог бы, я думаю, стать редактором славянофильского журнала; но, мне кажется, *его необходимо придерживать за полу*». Леонтьева это замечание нисколько не задело: «Я посмеялся, — пишет он, — поблагодарил и поехал к Аксакову» **.

3. Иван Аксаков

Леонтьев никогда славянофилом не был, но иногда славянофилам сочувствовал. Позднее он так определит свое отношение

* Там же, 442.

** См. предыдущее примеч.

к славянофильству: «...Я находился под влиянием книги Данилевского “Россия и Европа” (в 70-х гг. — *Ю. И.*). С учением Хомякова и И. С. Аксакова я был уже давно знаком в общих чертах, и оно говорило, так сказать, сильно моему русскому сердцу. Но я отчасти видел, отчасти только *чувствовал* в нем что-то такое, что внушало мне недоверие <...> оно казалось мне и тогда уже слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы *достаточно отделять* нас (русских) от новейшего Запада <...> другая же сторона этого учения, внушавшая мне недоверие и тесно (впрочем) связанная с первой, — была какая-то односторонняя моральность. Это учение казалось мне в одно и то же время и не государственным и не эстетическим. Со стороны государственной меня гораздо больше удовлетворял Катков уже тем одним, что не искал никогда, как Аксаков, чего-то туманного-возвышенного в политике, а пользовался теми силами, которые находились у нас под рукой. Со стороны же неисторической и внешнежизненной эстетики я чувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам. Разумеется, я говорю не о Герцене “Колокола” <...> но о том Герцене, который издевался над буржуазностью и прозой новейшей Европы» *.

Формулировка эта очень ясная, предельно отчетливая; а теперь в ней больше всего поражает *последовательность* Леонтьева, а также и его *свободомыслие,* та его внепартийность, за которую он так горько расплачивался: ему даже почти не возражали, т. е. казнили молчанием.

Ивана Сергеевича Аксакова (1823—1885) он видел еще в детстве, а позднее встретился с ним в Крыму, у гостеприимного помещика Шатилова. В Москве Аксаков принял его радушно, взял на прочтение «Византизм и славянство» и пригласил на свои *четверги*. На одном из вечеров ему пришлось вступить в спор со славянофильским *мужем совета* — князем В. А. Черкасским, который укорял его за эллинофильство и противление реформам. Константин Николаевич сказал ему, что не умеет дискутировать на собраниях и поэтому не находит нужных возражений. Черкасский же ему понравился: энергичным татарским лицом, веселой улыбкой и хитрыми глазами **; по-видимому, он сразу признал в нем человека своей породы — хищника... и в отличие от себя — хищника не только по мыслям, но и по поведению; в Польше Черкасский жестоко подавлял все проявления национализма и вместе с тем наделял крестьян землями из владений помещиков...

---

* Л VI, 335–336.

** Лит. насл. XXII, 450.

Аксаков сперва очень благожелательно выслушивал рассуждения Леонтьева, расхваливал его своим друзьям, всем рекомендовал читать его «восточные повести». Но очерк «Византизм и славянство», который он читал очень медленно, вызвал в нем возмущение. Замечательно, что он как-то легко «прощал» Леонтьеву его выпады против славян; но не мог ему «простить» другое: культа сильной личности, культа сильного государства, «язычества». Он говорил Леонтьеву: «...вы относитесь к христианству не как к вечной и несомненной истине, а как к обыкновенному историческому влиянию» *. По существу — это тот же главный аргумент, который позднее выдвигали Бердяев, Франк, о. С. Булгаков: Леонтьев подчиняет христианство законам истории или, что для него было то же самое, законам природы. Леонтьев не стал спорить с Аксаковым: тут он понял, что «честный» и «глупый» Аксаков с ним никогда не согласится. Возмутили Аксакова и леонтьевские гимны неравенству, и выражение quod licet Jovi, non licet bovi: это же языческая поговорка! — воскликнул он. Леонтьев приводит свои возражения в воспоминаниях (о той беседе с Аксаковым): «Христианин, оставаясь христианином вполне, может рассуждать и мыслить вне христианства, за его философскими пределами о сравнительной красоте явления точно так же, как он мыслит о сравнительном законоведении или ботанике...» Да, конечно, может, но христианская история, как и всякая другая, имеет другие «законы», чем природа; история делается не животными, а людьми и (для верующих) также и Богом **. Мирный, добрый, «травоядный» Аксаков как-то сразу отскочил тогда от Леонтьева.

Самое же главное в «Византизме и славянстве» прошло незамеченным. Это — указание на *опасность* (по Леонтьеву же — даже на *неизбежность*) всеобщего спасительного упрощения (нивелировки).

Итак, в делах литературных Леонтьева постигла неудача: его *новое слово* все пропустили мимо ушей, а «восточные рассказы» и «Одиссей» печатались, но успеха не имели. Он литературным генералом не стал... Были у него и другие неудачи.

ХОЖДЕНИЕ ПО МОНАСТЫРЯМ

После возвращения в Россию Леонтьев продолжает думать о поступлении в монастырь. В августе 1874 г. он посещает Оптину Пустынь, где знакомится со своим будущим духовником, стар-

* Там же, 454.

** Там же, 454–455.

цем Амвросием, и о. Климентом Зедергольмом, с которым он позднее сблизится. Но в Оптиной он не задерживается. Его выбор падает на Николо-Угрешский монастырь, расположенный всего в 15 верстах от Москвы; и это было для него очень существенно: ведь еще в Турции он мечтал о поступлении в подмосковный монастырь. Настоятелем был архимандрит Пимен — из купеческого рода Мясниковых (1810—1880); он написал «Воспоминания», но о Леонтьеве в этой книге не упоминает.

Сперва Константин Николаевич живет в монастырской гостинице, а потом переселяется в келью. Все ему как будто по душе. Он пишет Губастову из Угреши:

«Наконец, добрый мой Губастов, я у пристани. Монастырь красив, архимандрит ко мне милостив, келья опрятна и просторна. Я уже брат Константин, а не К. Н. Леонтьев...» * Но, как мы увидим, ему пришлось скоро разочароваться...

Возможно, что уход в Угрешу отчасти объясняется желанием избавиться от житейских забот, но было и другое: он ведь постоянно думал о своем клятвенном обещании постричься.

От мирской суеты он, однако, не мог отойти. В том же письме Губастову он перечисляет свои заботы: Катков, банки, мировые расчеты с братьями, жена, Кудиново...

В монастыре же, по назначению игумена, он носит воду, а зимой дежурит у ворот. Трудно себе представить Леонтьева с коромыслом или с колотушкой... На Афоне он постился, молился, но его там не заставляли делать черную работу. Здесь брат Константин смирился, но ненадолго. В неизданной «Исповеди» он пишет: «Телесно мне через 2 месяца стало невыносимо, потому что денег не было ни рубля, а к общей трапезе я никак не мог привыкнуть... Ел, только чтобы прекратить боль в желудке, а сытым быть — и забыл, как это бывают сыты... Отец Пимен звал меня дураком и посылал на постройки в сильный мороз собирать щепки... Братия была груба и завистлива. Старались подвести и нарочно очень худо говорили об игумене, а я защищал его и просил оставить эти разговоры» **.

Весной Леонтьев покидает Угрешу: так и вторая его попытка поступления в монастырь окончилась неудачей. Все же он сдержит данное Божией Матери слово, но еще очень не скоро, только через шестнадцать лет.

По-видимому, уже после выхода Леонтьева из монастыря Губастов навестил его в Москве, в Лоскутной гостинице. Констан-

---

* Русское обозрение, 1894, IX, 364–365 (письмо от 4 нояб. 1874 г.).

** Лит. насл. XXII, 488–489.

тин Николаевич был в полумонашеском платье, пишет Губастов, очень постарел за последние полтора года и все говорил о своей размолвке с архимандритом Пименом. Но его продолжает тянуть в монастыри. Летом 1875 г. он опять был в Оптиной Пустыни, и там старцы ему сказали, что он еще должен заниматься литературой и жить в миру. О себе же Леонтьев пишет: «...*покоряюсь и учусь насильственно* благодарить Бога за боль и скуку» *. Итак, нет радости и нет утешения...

Леонтьев читает «великую религиозную поэму» — книгу Иова и глубоко задумывается о каких-то неявных, непостижимых винах, за которые Бог иногда наказывает. «*Но где ж тебе... тебе!.. смертному, постичь цели Божии*... Почему ты знаешь, зачем Он так мучит тебя... Разве ты можешь считаться с Ним?!!» ** — повторяет он слова молодого Элиуя, поучавшего Иова... Что-то схожее было и в его судьбе: и он, Нарцисс-Алкивиад, будет долго болеть, мучительно тосковать и вопрошать, подобно Иову. Может быть, он втайне догадывался, что ему легче бы жилось без Бога; но после обращения ему уже от Бога не уйти.

В октябре 1875 г. он опять проводит несколько дней в монастыре, в Мещевской обители, расположенной в 35 верстах от Кудинова. Вероятно, бывал он там и в детстве, в юности. А в следующие годы он будет все чаще наезжать в Оптину Пустынь — и там он найдет утешение и ободрение. Но свет, мир так и не снизойдут в его растерзанную душу. Даже в предсмертной агонии он с кем-то боролся, тягался.

ДВОРЯНСКОЕ ОСКУДЕНИЕ

В июне 1874 г. Леонтьев приезжает в родное Кудиново. Многое изменилось за годы его отсутствия. Снесли старый дом с очаровательным эрмитажем. — Мать, Феодосия Петровна, «которая плакала не легко, плакала горько и зажимала уши, когда рубили на своз наш старый большой дом... А для чего она продавала его? Чтобы увеличить тот небольшой капитал, который был мне нужен для уплаты другим братьям моим...» — вспоминает Леонтьев. В уцелевшем флигеле, в комнате племянницы Маши, он находит последний портрет Феодосии Петровны, скончавшейся в 1871 г.: «На сморщенном лице, прежде столь открытом и надменном, в потухающих глазах, во всем видно столько уныния, столько немого отчаяния, такая мольба о пощаде, что я боюсь

* Русское обозрение, 1894, XI, 367 (письмо от 12 авг. 1875 г.).

** Лит. насл., XXII, 461.

подходить к тому уголку, в котором висит этот ужасный для меня портрет» *.

Вот говорят, что Леонтьев не знал жалости, «русской жалости»! Да и сам он подтверждал это мнение своими парадоксами: красота-де ему дороже страданий! Он часто высказывал очень «жестокие» мысли — и в эстетике, и в политике. «Все болит у древа жизни» — и эта «боль» необходима для развития, для сложного цветения цивилизации, а также и для искусства, для трагедии, для поэмы... Но он же отрицал жестокость в быту, в личных отношениях. Он жалел отчаявшуюся мать, горбатую тетушку, больную жену, бедную племянницу, старых слуг, а также и молодых... Самого же себя *узнавал* в Иове, сидящем на гноище: и все это вместе — и цветущая красота, и тупая тоска, и режущая боль, и пронзающая жалость — звучало, пело в той великой «рапсодии» его жизни, которая с трудом восстанавливается по отдельным его записям.

Вот что он увидел в разоренном Кудинове:

«В одичалом саду на липах вьют гнезда скучные и шумные грачи: в аллеях трава по колено; и на узорных когда-то дорожках двора племянница моя тоже давно косит траву, и мы даже рады этому клоку сена для тех 3–4 коров, которыми теперь богата наша дворянская нищета...»

Некоторое отступление: все мы, дворяне и недворяне, знали другую, настоящую нищету. Изведала ее и племянница Константина Николаевича — Маша, Мария Владимировна, дожившая до 1927 г.; 3–4 коровы — это было неслыханное богатство в годы гражданской войны, да и позднее! Леонтьев настоящего голода не знал: правда, он недоедал в Угреше, но только потому, что монастырские харчи были ему не по вкусу...

Трагедия дворянского оскудения — не в относительной бедности, а в ощущении ненужности, в приговоренности, в творческом кризисе, который переживался и в искусстве, и в жизни. Дед Леонтьева — Карабанов или даже его (паспортный) отец-неудачник были *на своем месте* в Российской империи: государева служба, управление поместьем, охота и балы, обедни и молебны и многое другое — составляли их *место* в жизни; и на этом же *месте* росла культура — поэзия, вольтерьянство, масонство... Но у Леонтьева, а также и многих других «оскудевших» дворян этого *места* уже не было, у них почва уходила из-под ног... Некоторые же дворяне сознательно уходили из своего *места,* сливались с оппозиционной или революционной интел-

* Лит. насл. XXII, 460.

лигенцией. Но еще и в начале XX века дворянство не сдалось и проявило себя творчески, как в политике (Столыпин), так и в литературе (Бунин). Проблема эта, конечно, очень сложная, и я ее здесь только намечаю. Для Леонтьева же дворянское оскудение было не только проблемой, но и одной из главных тем его жизни, его мысли; и, несомненно, в ту эпоху он был одним из самых достойнейших представителей дворянского сословия: был благороден, честен, независим, прямодушен и, роковым образом, никому не нужен.

Вернемся в Кудиново... Брат, Владимир Николаевич, незадолго до этого скончался за границей, куда бежал от кредиторов. Наследниками Кудинова были теперь — его дочь Мария Владимировна и Константин Николаевич. Другие братья, в особенности же опустившийся Александр, требовали отступного, и Константин готов был его дать, но денег не было. Имение еще при матери было сдано за 400 рублей в аренду; но из них 360 рублей нужно было вносить в банк в счет погашения долга по залогу. А тут еще старые слуги, которых надо было поддерживать. Тут и крестьяне, которых Леонтьев бесплатно лечил и покупал им нужные лекарства. Из Константинополя приехала душевнобольная жена Елизавета Павловна, о которой он всегда нежно заботился: и вот опять расходы, связанные с ее переездом и устройством. От всех этих забот он попытался скрыться в монастырь, где не имел ни рубля наличными. Но и там он должен был доставать рубли для жены, для братьев, для слуг! А верная Мария Владимировна, кажется, и тогда уже подрабатывала в чужих семьях: ей, помещице, совладелице Кудинова, пришлось стать гувернанткой.

После возвращения из Угреши Константин Николаевич в продолжение целых четырех лет мечется между Кудиновым и Оптиной, между Калугой и Москвой: ездил он и в Петербург. Никогда не было денег, и всегда их нужно было достать сию же минуту! И всегда хотелось съездить в монастырь, но не хотелось там навсегда остаться!

МЕЧТЫ О ЦАРЬГРАДЕ

Между 1875 и 1878 гг. Леонтьев постоянно мечтает о возвращении в Константинополь. Ему тогда казалось, что это лучший выход из его положения. «Лучше бедность на Босфоре, чем богатство здесь», — пишет он Губастову; «только разнообразная жизнь Константинополя (где есть и *отшельники* на острове Халки, в лесу, и гостиная Игнатьевых, и политическая жизнь, и *поздняя обедня,* и бесконечный материал для литературы... Толь-

ко эта сложная жизнь могла удовлетворять моим *нестерпимо* сложным потребностям». А в другом письме Губастову он говорит, что рвется мечтой то на Босфор, то в Герцеговину, то в Белград, а здесь (в Мещевском монастыре) он только заглушает тоску «по жизни и блестящей борьбе» *.

О том же Леонтьев позднее писал своему константинопольскому приятелю М. К. Ону и его жене. Константин Николаевич все еще надеется получить там какое-нибудь, хотя бы и очень скромное, место, например второго драгомана, и обещает подучить турецкий язык (а греческий он уже хорошо знал). Но из этого ничего не выходит.

Между тем за него многие хлопочут, и не только Губастов, а и более влиятельные лица. В 1878 г. граф Игнатьев, с которым он так резко разошелся в так называемом греко-болгарском вопросе, предложил Государю назначить Леонтьева губернатором в Филиппополь или Тырново. А у князя Горчакова за него хлопочет его новый друг, товарищ государственного контролера Т. И. Филиппов. Старый канцлер ценил «наблюдательный ум» Леонтьева, но будто бы не прощал ему отъезда на Афон и говорил: «Нам монахов не нужно...» Калужский губернатор Шевич добивался назначения Леонтьева вице-губернатором в Калугу — в родную губернию (по Коноплянцеву). Но все эти хлопоты сановников ни к чему не приводят.

Наконец, в том же 1878 г., Катков делает Леонтьеву чрезвычайно заманчивое предложение: это назначение на место корреспондента «Московских ведомостей» и «Русского вестника» в Константинополе. Хотя он и думал, что Леонтьев иногда договаривается до чертиков, а все же, как и многие другие москвичи, включая Аксакова, очень ценил его как выдающегося эксперта по Балканам и всему Ближнему Востоку. Константин Николаевич это предложение принял, но по дороге его «растрясло» в поезде, он заболел и из Киева вернулся в Кудиново. Это все произошло вскоре после окончания русско-турецкой войны **.

Итак, после возвращения в Россию Леонтьеву во всех отношениях не везло.

СУДЬБА ЦАРЬГРАДА

Из леонтьевских статей 70-х гг. выделим одну — «Храм и Церковь». Здесь Леонтьев провозглашает примат религии над

---

* Русское обозрение, 1894, IX, 367 (письмо от 12 авг. 1875 г.); там же (письмо от 1 окт. того же года), 369.

** Там же, 1895, XI, 351–353 (письмо К. Губастову от 1 июня 1878 г.). Другие данные по биографии А. Коноплянцева (Памяти К. Л.).

национальностью: «На почве православия “нет ни эллина, ни иудея”, ни русского, ни болгарина, ни грека, и *вселенский,* так сказать, храм Св. Софии должен стоять на берегах Босфора как бы внешним символом всевосточного православного единения» *.

Все же нет равенства между отдельными православными народами. Русские политически сильнее остальных славян, а у греков крепче церковные устои. Именно поэтому Леонтьев утверждает их господство в Константинополе.

Тютчев всеславянству отдает предпочтение перед всеправославием! А в мечтаниях Достоевского и то и другое как-то сливалось... У Леонтьева же: *сперва* православие, потом — россиянство и эллинство, и затем уже — славянство, которому он не доверял. Как мы уже знаем, он предполагал, что из «первичного» (эпического!) состояния славяне скоро перейдут и уже переходят в состояние «вторичного» упрощения, т. е. превращаются в европейских буржуа второго сорта. Все же, наперекор своим мрачным предсказаниям о гибели всего человечества, а не одних только славян, он еще верил тогда или же порывался верить в неожиданный расцвет греко-русского православия под сенью царьградской Софии. При этом он пророчески-грозно предупреждает Россию: «Если мы по-прежнему будем и при этом случае обладать лишь нравственным и государственным мужеством, не обнаруживая ни на каком поприще умственной дерзости, свойственной всем истинно культурным, творческим народам, то не будут ли хоть немного правы те, которые утверждают, что мы — нация, умеющая вести героические, блистательные войны и, пожалуй, еще управлять присоединенными странами, но что в области разума и фантазии мы способны только рабски подражать или Западу, или много-много своей собственной старине, да и то изредка и не всегда удачно» **. Здесь Леонтьев говорит как пророк... Народа своего не позорит, но поучает — любя! Вместе с тем он обнаруживает слепоту. Разве творческая Россия не дерзала в то время? Это же был «золотой век» русской литературы и музыки... И разве не было других пророков — Хомякова, Достоевского, Толстого, Вл. Соловьева? Позднее он их всех назовет лжепророками. Пусть так; но нельзя им всем отказать в *умственном дерзании!*

О Царьграде Леонтьев будет писать и в 80-х гг. Ему кажется: «Царьградская Русь освежит московскую, ибо Московская Русь вышла из Царьграда; она более петербургской культурна, т. е.

---

* Гражданин, 1878, № 10–12; Л V, 344.

** Л V, 344–345.

более своеобразна; она менее рациональна, менее утилитарна, т. е. менее революционна; *она переживет петербургскую...*» * Заметим здесь, что в «Византизме и славянстве» он ниже расценивал Московскую Русь и относил расцвет России к XVIII веку, когда в ней так удачно сочетались начала византийские, московские и европейские... Однако явного противоречия здесь нет. Теперь Леонтьев утверждает новую, Царьградскую Русь, но, как мы видели, он делает это с оговорками: если русские проявят *умственную дерзость,* если им удастся *эмансипировать мысль* от доктринерства либералов и социалистов.

Все это, конечно, одни только мечтания... Но Леонтьев был не только мечтателем в политике; он считается с возможностью того, что Царьград не станет русско-греческим православным центром; и тогда уж ему лучше быть «султанским городом»... (1882—1883) **. Ибо, живя в Турции, пишет Леонтьев в другом месте, «я скоро понял истинно ужасающую вещь; я понял с ужасом, что *благодаря только туркам* и держится еще многое истинно православное и славянское на Востоке» (1879) ***. Здесь он явно преувеличивает: турки его никогда не ужасали; и в отсталой, одряхлевшей Оттоманской Порте он находил больше разнообразия, чем в прогрессирующей и, следовательно, разлагающейся Российской империи.

ЕВРАЗИЙСКИЕ БРЕДНИ

Еще один выход из безнадежного положения мерещился Леонтьеву: выход *евразийский*. — Создание той российско-азиатской державы, которой бредил неистовый грек Хаджи-Хамамджи в романе «Одиссей Полихрониадес» ****.

В статье «Храм и Церковь» Леонтьев говорит об этом в сослагательном наклонении: «Если бы в каком-нибудь Тибете или Бенгалии существовали бы православные монголы или индусы с твердой и умной иерархией во главе, то мы эту монгольскую или индустанскую иерархию должны предпочесть даже целому миллиону славян *с либеральной интеллигенцией à la Гамбетта или Тьер,* должны предпочесть для прочной дисциплины самого славянского ядра!» *****.

---

* Там же, 426 (Письма о восточных делах // Гражданин, 1882—1883).

** Там же, 447.

*** Там же, 362.

**** См. гл. «Евразийский империализм», ч. 2.

***** Л V, 351.

Евразийские суждения мы находим и в «Византизме и славянстве», но с большей определенностью Леонтьев говорит о России-Евразии позднее, в начале 80-х гг.

1. Гипотетическая предпосылка: «В самом характере русского народа есть очень сильные и важные черты, которые гораздо больше напоминают турок, татар и др<угих> азиатцев или даже вовсе никого, чем южных и западных славян. В нас больше лени, больше фатализма, гораздо больше покорности властям, больше распущенности, добродушия, безумной отваги, непостоянства, *несравненно больше* наклонности к религиозному мистицизму (даже к творческому религиозному, к разным еретическим выдумкам), чем у сербов, болгар, чехов и хорватов» *. Все это, конечно, очень уж спорно; все же очевидно, что эта размашистая леонтьевская характеристика русского народа куда живее, конкретнее, чем у Достоевского или в «Русской идее» Бердяева...

2. Гипотетическое заключение: «...ибо только из более восточной, из наиболее, так сказать, азиатской — *туранской* нации, в среде славянских наций может выйти нечто от Европы духовно независимое; без этого азиатизма влияющей на них России все остальные славяне очень скоро стали бы самыми плохими из континентальных европейцев, и больше ничего. Для такой жалкой цели не стоило бы ни им "свергать иго" (турецкое. — *Ю. И.*), ни нам предпринимать для них и за них самоотверженные крестовые походы. Не для того русские орлы перелетали за Дунай и Балканы, чтобы сербы и болгары высиживали бы после на свободе куриные яйца мещанского европейства à la Вирхов, à la Кобден или Жюль Фавр. Это было бы *ужасно!*» ** И здесь Леонтьев на самом деле ужасается! Туретчина его зачастую восхищала, тогда как западное мещанство он люто ненавидел.

Заметим, что так называемые евразийцы (в русской эмиграции) не раз цитировали именно эти леонтьевские изречения ***[70]. Все это бредни, но есть здесь и нечто очень *реальное*: другая Россия — коммунистическая, тоталитарная, разочаровавшись в европейской революции, поставила на Азию, не помышляя еще о тех разочарованиях, которых она не ждала (в красном Китае!). Все же, с переменным успехом, большевики продолжают свою очень даже реальную политику и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Вопрос же этот в леонтьевском духе следовало бы поставить так: могла ли бы некоммунистическая неведо-

* Там же, 386 (Письма о восточных делах).

** Там же, 387–388.

*** См.: *Boess O.* Die Lehre der Eurasier (1961).

мая Третья Россия распространять в бывших колониальных странах не большевизм, а православие? Хватило ли бы у нее «туранской» выдержки? Хватило бы *умственной дерзости*? Может быть, пессимист Леонтьев дал бы отрицательный ответ; он ведь подчинял законы истории законам природы! Но вместе с тем он ставил религию выше национальности, выше расы, хотя и связывал ее с сильной государственностью. Если же вера в Бога на самом деле выше, сильнее всех законов, как натуральных, так и юридических, то *новый расцвет* столь же возможен, реален, как и *конец мира*.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

В России в 70-х гг. Леонтьев мало пишет: очень уж ему досаждают и хлопоты, и тоска, и постоянные переезды-метания. Он как-то не может сосредоточиться даже в разоренном, но тихом и милом его сердцу Кудинове. Правда, в эти годы он продолжал работать над монументальным романом «Одиссей Полихрониадес», но так и не закончил его. По-видимому, в это же время он написал восточное сказание «Дитя души» и повесть «Сфакиот»; но, возможно, он задумал их еще на Балканах.

В 1878 г. Леонтьев хочет написать новый роман «Против течения». Главный его герой, сообщает он Губастову, — пессимист. «Будет там, — намечает он, — спиритизм, православие, немного (вдали) нигилизм, Гартман, Шопенгауэр, Ц-ев и многое другое». Но, по-видимому, замысла своего он не осуществил *.

О философии Шопенгауэра и, в особенности, Эдуарда фон Гартмана Леонтьев будет потом часто упоминать в своих статьях. В их пессимизме (очень произвольно истолковываемом) он искал и находил аргументы против оптимистов, верящих в прогресс, и против «розовых христиан» (Достоевского и Толстого), а также подтверждение своего учения о смесительном упрощении, о неизбежной гибели всего человечества.

Ц-ев — это князь Цертелев. Но неясно, кого именно он имеет здесь в виду. Он знал двух братьев Цертелевых. Старший — князь Алексей Николаевич (1848—1883) — дипломат, сторонник игнатьевской агрессии в Турции. Г. А. де Воллан в своем дневнике называет его «карьеристом с недюжинными способностями, но политическим шарлатаном». Позднее он помешался: разослал по телеграфу приглашения разным высокопоставленным лицам на вечер, устраиваемый в римском Колизее... ** Младший брат —

* Памяти К. Л., 102–103.

** Лит. насл. XXII, 476.

князь Дмитрий Николаевич (1852—1911) — увлекался Шопенгауэром и Гартманом, и это могло способствовать их сближению: известно, что они переписывались... [71]

Может быть, «Против течения» — это тот роман, который Леонтьев обсуждал в письмах к своим молодым друзьям Карцовым. «Будет тут что-то вроде Цертелева», — писал он Ольге Карцовой; и она сама должна была «играть большую роль» в этой задуманной им повести *.

Наконец в 70-е гг. Леонтьев написал несколько статей о панславизме, славянах, греках; он обсуждает в них проблемы местного политического значения, дает пристрастные, но очень яркие характеристики балканских народов и находит новые доводы, подтверждающие его теорию триединого процесса развития в природе и в истории **.

В 70-х гг. появляется несколько отзывов о балканских рассказах и о романе «Одиссей Полихрониадес». Их авторы — забытые теперь беллетристы А. О. Авсеенко, Евгений Марков, Всеволод Соловьев. По сводке А. А. Александрова, критики хвалили Леонтьева за объективность изложения; В. С. Неклюдов, приятель Константина Николаевича, писал, что в его восточных рассказах «автора почти и не видать» (но выше я утверждал обратное: везде очень даже «видать» автора...) ***. И. Аксаков и дипломат Г. И. Жомини ценили в леонтьевских повестях этнографию, а Тургенев в последнем письме Леонтьеву советовал ему писать не романы, а этнографические и исторические сочинения (в 1876 г.) ****. Товарищ государственного контролера Т. И. Филиппов «впивался» в его статьи и восхищался «Одиссеем»: «Зелено и свежо, как молодые всходы хлебов...» *****

Катков издал три тома леонтьевских очерков («Из жизни христиан в Турции», 1876), но в его журнале «Русский вестник» отзывов о Леонтьеве не было, а рецензия Неклюдова о сборнике появилась только в его газете «Московские ведомости».

О «Византизме и славянстве» была только одна критическая заметка (Н. Н. Страхова в «Русском мире»).

---

* Памяти К. Л., 299 (письмо О. С. Карцовой от 12 нояб. 1878 г. О Карцовых см. ниже).

** Этот материал я уже использовал в главе «О триедином процессе развития» (см. выше, ч. 2).

*** *Александров А.* К. Н. Леонтьев // Русский вестник, 1892, IV, 250–285.

**** См. главу «Расхождение с Тургеневым» (ч. 1).

***** Русское обозрение, 1896, XI, 443 (письмо К. Губастову от 4 июля 1885 г.).

Имя «этнографа» Леонтьева стала известно в 70-х гг., но его художественное творчество, его философия истории никем оценены не были. «Литературным генералом» он не стал.

В конце 70-х и в начале 80-х гг. Леонтьев пишет ряд рецензий о пьесах А. Н. Островского и забытого Н. Я. Соловьева, о рассказах А. Ковалевской и А. Сливницкого, о романе Б. М. Маркевича («Перелом»), которого он сравнивает с Толстым... Есть провинциализм в таких его литературных оценках и суждениях; но это не помешало ему написать замечательный этюд о стилистике Толстого.

Реализм, пишет Леонтьев, — это то натуралистическое «хамство», которое он находил и в русской живописи, и в литературе: «что-нибудь пьяное, больное, дурнолицее, бедное и грубое из нашей русской жизни». «Мы уже не смеем просить идеализации, мы просим только правды. Мы не решаемся уже требовать от искусства, чтобы оно возносилось выше жизни (хотя бы и не забывая ее вполне), нет, мы умоляем только не быть ниже, не быть пошлее, грубее, глупее, пустее действительности» *.

В «Анне Карениной» Леонтьева раздражают «вовсе ненужные и противные выходки, от которых никто из наших писателей со времен Гоголя избавиться вполне не мог. Я предлагаю вспомнить о том, как *цирюльник бреет* Облонского, как *раздался носовой свист* (как это пошло, гадко и, главное, не нужно) мужа Карениной... как граф Вронский *надвигал фуражку на свою рано оплешивевшую голову* <...> Но в “Анне Карениной” все эти выходки наперечет; их можно простить за дивную художественность и поэзию всего остального. Но чтобы вполне понять, о чем я говорю, стоит только перечесть эти прославленные “Записки охотника” и для контраста отрывки из писателей, не испорченных Гоголем. Хотя бы “Капитанская дочка” Пушкина, или иностранцев: “Вертера”, “Manon Lescaut”, “Рене” Шатобриана...» («Моя литературная судьба 1874—75 гг.»). Далее Леонтьев самого себя укоряет за грязный натурализм в «Подлипках». Ему более нравятся восточные повести, в особенности «Хризо». Там он находил ту эпическую простоту, которой, по его мнению, не было в его русских повестях **.

Итак, Леонтьев ориентировался или на романтическую прозу с лирическими отступлениями («Рене»), или — на прозу сухую, «протокольную», как в «Капитанской дочке». А в сентиментальных повестях («Вертер», «Манон Леско») ему, по-видимому, нра-

* Л VIII, 72–73.

** Лит. насл. XXII, 463–464.

вилось четкое изложение фактов и отсутствие «грязных» деталей, которыми «реалисты» как-то даже хвастались... Здесь Леонтьев «старомоден», но вместе с тем и «оригинален» в своей еретичности. Толстой после 1880 г. тоже готов был отказаться от натуралистической «мелочности»; он тоже искал простоты, сухости, сжатости: и все эти качества, признаки мы находим в его народных рассказах. Но простые эпические повести едва ли удались Леонтьеву. А свой настоящий стиль — свободный, неровный, даже грамматически неправильный, но очень выразительный он выковал в эпистолярной прозе и в воспоминаниях. Но этого он как-то не осознавал. Леонтьев *нашел себя* в письмах, в заметках, но, по-видимому, не придавал значения этим своим «опавшим листьям». В том же стиле написаны и лучшие страницы его романов и статей...

В своих рецензиях Леонтьев высказывает ряд суждений, которые имеют мало общего с разбираемыми им авторами, например о Д. С. Милле, которого он всегда очень ценил, хотя тот и принадлежал к либеральному лагерю. В трактате «О свободе» его восхищает утверждение «что *однообразие людей убийственно для человеческого духа*» *. Там же Леонтьев излагает свои любимые мысли о цветущей сложности, о смесительном упрощении, о христианском пессимизме. И некоторые его как бы случайно «опавшие листья» куда интереснее его литературной критики: «Если мне весь нынешный "цивилизующий" процесс так противен, если мне турок нравится больше славянского либерала, если я курда и друза считаю в некоторых случаях более полезными для человечества, чем Вирхова или Эдисона (т. е. для *моего человечества,* живущего в виде теней в темном «Элизиуме моей души»)...» Это уже не скучные рассуждения, а афоризмы и *воскликновения,* достойные пера Леонтьева: все его «*мне нравится*» или «*мне не нравится*» — это стансы-строфы, из которых слагается его поэма живой жизни.

Продолжаю эту цитату: «С одной стороны, я уважаю барство; с другой — люблю наивность и грубость мужика. Граф Вронский или Онегин, с одной стороны, а солдат Каратаев и кто?... ну, хоть бирюк Тургенева, для меня лучше того "среднего" мещанского типа, к которому прогресс теперь сводит мало-помалу всех и сверху и снизу, и маркиза и пастуха» **. Заметим, что то же самое «уважал» и «любил» Толстой, хотя и по другим причинам (не эстетическим или же — не только эстетическим!). Сред-

* Л VIII, 97 (в статье «Еще о Дикарке гг. Соловьева и Островского»).

** Там же, 95.

ние же люди мещанского типа, под которыми Леонтьев подразумевал буржуа, пролетариев, интеллигентов, как-то выпадали из поля зрения Толстого. Но Леонтьев их видел и, стоя с ними лицом к лицу, их ненавидел, проклинал, с ними боролся и в конце концов признал свое поражение...

КАРЦОВЫ

В самом начале 1878 г. Леонтьев проводит несколько недель в Петербурге, где живет в меблированных комнатах вместе с К. А. Губастовым. Оба они часто бывают у Карцовых и с ними сближаются. Семья эта состояла из матери — Екатерины Сергеевны и ее троих детей *. Дочь — Ольга Сергеевна, позднее вышла замуж за Колодеева. Сын — Юрий Сергеевич; ему тогда было лет двадцать. О нем мы больше знаем, чем о других. Года за два до этого он уехал добровольцем в Сербию, в армию генерала Черняева. В 1878 г. он служил в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, а через год был назначен секретарем генерального консульства в Константинополе. В 1906 г. появилась его книга воспоминаний «Семь лет на Ближнем Востоке (1879—1886)». В этих мемуарах мелькают знакомые лица — Хитрово, Ону и другие константинопольские приятели Леонтьева; посольские нравы, вообще вся атмосфера изображены Карцовым не хуже, чем в записках и письмах Леонтьева. У Юрия был еще младший брат Андрей, собиравшийся поступить на военную службу.

После всех хлопот, неудач и метаний Леонтьев как-то свободно вздохнул в радушной семье Карцовых. Губастов сообщает, что Константин Николаевич вел политические споры с Юрием, а свои мистико-эстетические теории «развивал» Ольге. Другие же гости сражались в винт **.

Юрий Сергеевич вспоминает, что Леонтьев любил блистать парадоксами после обеда, за чашкой кофе... Его любили слушать, но нелегко было с ним дружить. Карцов говорит, что надо было стать либо адептом Леонтьева, либо, «привязавшись к нему как к человеку, терпеливо выносить его парадоксы, капризы и выходки» ***. Карцовы его последователями не сделались и любящего терпения не проявили. Леонтьев пишет, что ему приходи-

* Н. А. Бердяев в своей книге пишет, что Катерина Сергеевна — сестра Юрия и Ольги (у них были те же отчества!). Но, судя по письмам, она их мать.

** Памяти К. Л., 218.

*** Там же, 251.

лось выслушивать от Юрия «невеликодушные вещи», а Ольга сказала ему, что на нем «какое-то каторжное клеймо»!

Несмотря на все свои неудачи, Леонтьев привык к поклонению или, по крайней мере, к терпеливому вниманию... А у Карцовых умная молодежь ему дерзила! Между тем он так привязался и к Юрию, и к Ольге — к обоим «*старшим тигрятам*». Пусть они его иногда раздражали; но ему и нравилось, что оба они чуть-чуть хищники, т. е. истинные герои слагаемой им поэмы...

В Петербурге, куда Леонтьев приехал хлопотать о назначении на Восток, жить было очень дорого, и вскоре он переселяется в Любань (Новгородской губернии), нанимает там домик, а в мае или июне переселяется в Кудиново и в продолжение целого года переписывается с Карцовыми (до января 1879 г.). Эти письма — лучшие образцы его эпистолярной прозы. Свои «последние мысли» он изложил в предсмертных письмах Розанову; Губастову он писал о текущих делах, жаловался на неудачи, описывал свою жизнь и редко философствовал. Переписка с ними, а также с Александровым очень существенна, но не драматична; этих своих корреспондентов он как-то не видит, хотя и был к ним привязан. С Карцовыми все совершенно иначе: это роман в письмах, это борьба за дружбу! По-видимому, он проецировал себя в Юрия, хотел жить в нем, за него; это новое перевоплощение Нарцисса в alter ego. А от Ольги он ждал влюбленной дружбы (amitié amoureuse).

В те годы Леонтьев, кажется, уже распрощался с Афродитой Простонародной, которая влекла его к болгаркам, гречанкам, турчанкам, а может быть, и к болгарам, грекам, туркам и, в особенности, к албанцам. Он отошел и от Афродиты Промежуточной, томящей тело, душу и никогда не насыщающей. Такую любовь он испытывал в жизни к Зинаиде Кононовой, а в литературе к Маше Антониади (в ненаписанном еще «Египетском голубе»!). Здесь же царила Афродита Небесная (Урания). Это тоже эротика, и очень страстная, но чистая; он никак не мог налюбоваться на тигрят Карцовых, на своих возлюбленных детей — детей души; он в них обоих платонически влюбился и, прощая им все дерзости, требовал от них внимания, понимания, полного доверия.

В апреле Константин Николаевич просит Юрия навестить его в Любани, умоляет приехать «на один день во всей вашей и моей жизни». Он имеет в виду какое-то литературное дело, хочет даже просить его совета. «Только в вас, мой юный и хитрый тигр-поэт, я нахожу сочетание тех качеств и пороков, которые мне

нужны для этой моей цели», — пишет он. Из «тигра» он хочет переливать «драгоценное розовое масло», но куда... он не говорит! В задуманного литературного героя? Может быть. Но прежде всего он, конечно, этого тигра обожает, хочет его у себя увидеть; и не надеется, что тот просьбу исполнит. Леонтьев пишет Юрию, что для других он только «славный малый», но для него «вовсе не славный малый (т. е. не добрый), а совсем другое нечто, что вы сами угадываете» *.

Из письма Катерине Сергеевне мы узнаем, что тигр все-таки навестил его в Любани, «говорил удивительные вещи, давал удивительно верные советы», а было ему тогда лет 20, Леонтьеву же — 47. В другом письме Катерине Сергеевне он пишет, что хотел бы подготовить Юрия так, чтобы он мог «не сморгнув расстреливать картечью во славу Божию и все с тем же томным и несмеющимся взглядом темных очей, который нам так известен» **. Такие пожелания наводят жуть... Но ведь все это — поэма, или жизнь, переживаемая как поэма. Не представляю себе Леонтьева в роли палача... Я уже не раз говорил, что он Нарцисс, который хотел стать Алкивиадом, а иногда даже — Атиллой, Тамерланом, но это — мечты, поэзия. И Юрий Сергеевич никого не расстреливал, а стал либералом; в своих воспоминаниях он обвиняет иностранное ведомство в том, что оно вместо беззаветного служения интересам русского народа выполняет волю придворных сфер... Этого уже Леонтьев не мог бы одобрить и, верно, сказал бы, что хищный реакционный тигренок превратился в смирного либерального кота!

Другой обожаемый тигренок — Ольга. С чем только он ее не сравнивает: она и тютчевская «сияющая бездна» (хотя у Тютчева бездна — *пылающая*) ***; она и «восхитительная скала из яшмы дикой, с белыми и розовыми жилками, поросшая жасмином и розанами, на которой петь только персидским соловьям». Ее «милый, хитрый, русский образ», т. е. портрет, он поставил на письменный стол, прислонив его к memento mori [72], к черепу, по которому когда-то изучал анатомию! И, «занимаясь», пишет он, «я вижу *вас*, а не *образ* смерти» ****.

Заметим, что и Юрия, и Ольгу он награждает эпитетами *хитрый, хитрая,* как и многих других своих любимцев — Зинаиду,

---

* Там же, 266–268 (письмо Ю. Карцову от 8 апр. 1878 г.)

** Там же, 271, 302.

*** Там же, 271. У Тютчева: «И мы плывем пылающей бездной со всех сторон окружены...» (Стихотворения (1957), 65).

**** Там же, 277, 285–286.

Машу Антониади, Одиссея Полихрониадеса... *Хитрый* на его языке не имеет отрицательного значения и значит — лукавый, с огоньком.

В одном из писем Ольге Леонтьев начертал целый план платонической дружбы между пожилым, измученным человеком, у которого иногда «сердце пробуждается при виде “прекрасного”» и молодой, умной, красивой и страстной девушкой: «...ей с ним весело и легко, гораздо веселее, чем с большинством молодых людей, которые ее окружают. Они переписываются, они смеются вместе, жалуются друг другу откровенно, понятно и подробно <...> они рассуждают о Боге, о любви даже, о любви вообще. И это длится годами. Она выходит замуж по любви или иначе, но поэтическая дружба остается от этого нерушимой» *. Однако из этого ничего не вышло. Ольга писала холодные, скучные письма, сообщала светские новости, до которых ему дела не было. Позднее она согласилась было переводить на английский язык восточные повести Леонтьева, но из этого тоже ничего не получилось. А Юрий замолк еще задолго до Ольги. Но позднее он написал о Леонтьеве статью-предисловие к его письмам. Карцов сравнивает леонтьевскую эстетику с флоберовской и называет его великомучеником идеи красоты **, что верно, но лучше было бы сказать короче: *великомученик красоты;* ведь красота для Леонтьева — не идея, а жизнь, поэзия жизни.

Очень хороши леонтьевские письма и к Катерине Сергеевне Карцовой. В драматических посланиях к тигрятам Леонтьев чуть ли не впервые забывал иногда о самом себе! Письма к их матери — спокойнее; и с ней он беседует на все свои любимые темы. Может быть, она ценила и понимала его лучше, чем ее тигрята. Есть общее и во всех посланиях к трем Карцовым: их писал не гордый Леонтьев, а несчастный Леонтьев и вместе с тем странным образом счастливый — большое дитя: и такого Леонтьева мы еще не знали. Ниже составляю маленькую антологию из его писем Катерине Сергеевне (К. С.) и Ольге Сергеевне (О. С.).

Россия. «Презираю ли я или чту свою родину? И боюсь сказать; мне кажется, что я ее люблю как мать и в то же время презираю как пьяную бесхарактерную до низости дуру» (К. С.) ***.

«Я люблю Россию царя, монахов и попов, Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию Кремля и проселочных дорог, благодушного деспотизма (К. С.) ****.

---

* Там же, 295.

** Там же, 254.

*** Там же, 275.

**** Там же, 282.

«Да! Царьград будет скоро, очень скоро наш, но что принесем мы туда!». Далее идет перечисление: поэзию Некрасова, семиэтажные дома... «Господство капитала и реальную науку, панталоны; эти деревянные крахмальные рубашки (и) сюртуки! Карикатура! Карикатура! Холопство ума и вкуса, о позор!». Далее он пишет — либерализм хуже социализма: «В социализме есть идея серьезная: пища и здоровье. А свобода! Нельзя прибить кого-нибудь. Нет, нет, вывести насилие из исторической жизни — это то же, что претендовать выбросить один из цветов радуги из жизни космической» (К. С.)*.

Лет двадцать «еще позволено будет законами русскими помолиться...» (К. С.). А за год до этого он писал Губастову о том, что царство Антихриста близко. Кажется, это были его первые, очень неясные, прорицания о русской революции **.

Дружба. «"В любви" жалею его (друга) самолюбие, его страдания, его заветные мечты» (К. С.)***. Это верно, он многих жалел, старался помочь, но, кажется, только в каждом из Карцовых он увидел и понял единственную и неповторимую личность.

«Все-таки я никогда не забуду ни Вашей дружбы, ни Вашей доброты, ни Вашего блестящего уменья разговора, ни Вашей лампы, ни Андрюши милого и лукавого, ни крапа атласной мебели, пополам с серой, с красными пуговками, ни Ваших двух старших тигрят, ко мне все-таки, грешному, столь ласковых, ни арфы, ни котлет, ни всенощных моих бдений на Миллионной...» (К. С.).

«Если помнишь сердцем какую-нибудь местность в любимой деревне, например лужок или цветник («Гюлистан», как говорит про Вашу гостиную Г-в — Губастов), то с улыбкой симпатии вспоминаешь даже тряпку, которую обронила мимоходом между фиалками и розами прохожая старая баба» (К. С.)****.

«Несмотря на тысячи оскорблений, которым я постоянно подвергался на Миллионной от Вас и тигрят, все-таки

Я лил потоки слез нежданных
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей».

---

* Там же, 274–275.

** Там же, 274; Русское обозрение, 1894, XI, 392–393 (письмо К. Губастову от 2 авг. 1877 г.).

*** Там же, 272.

**** Там же, 276.

«Вы говорите — забыть Вас, детей Ваших, красную гостиную <...> Разве это возможно? Эти 3–4 недели, которые я провел исключительно с Вами и детьми Вашими в Петербурге, были истинным оазисом каким-то во мраке всей этой зимы» (К. С.)*.

О себе. «Я раз видел в Крыму очень породистую собаку, которой переехало зад телегой. Глаза ее дышали умом, и вся она полна была как будто жизнью. Она рвалась к прохожим с выражением ласки, страдания и любви. Мы ее кормили, гладили и уходили. Я, сознаюсь, жалел ее больше, чем многих людей. Ее кормили, и она долго жила. Я уехал в Россию, и она так и осталась там у стенки в Симферополе. Не лучше ли было ее убить? Она сама себя бы убила, если бы понимала, что это можно сделать. А человеку, который верит в загробную жизнь и уставы Церкви, нельзя этого делать. А, напротив, нужно молиться, чтобы пожить и иметь время здесь сказать, что нужно. И надо жить, биться на месте с переехаанным задом» (О. С.)**.

«Мне нет судьбы <...> ни в чем» (К. С.)***.

«...Мне ничего не проходит даром» (О. С.)****. После трех счастливых недель в Петербурге, когда Леонтьев ходил к Карцовым, он долго болел в Любани. У него были в то время какие-то «мелкие невралгические боли», которые ему очень досаждали.

«Есть минуты очень трудные, но они проходят, и я опять радуюсь и живу, “день за днем”, как птичка Евангельская, как птичка гетевская («Ich singe, wie der Vogel singt, der auf dem Zweige wohnet»[73] — кажется, так? спросите у тигрят)» (К. С.)*****.

Кудиново. «Скоро я буду наконец у себя, в моей милой деревне, где петухи даже не смеют кричать громко, когда я пишу “Одиссея”, ибо люди бросают за это в них камнями; где племянница обходит задами флигель мой, опасаясь нарушить поэзию мою тем, что, может быть, что-нибудь в походке ее мне в эту минуту покажется некрасивым и мое созерцательное блаженство будет чуть-чуть нарушено» (К. С.)[6]*.

---

* Там же, 278–279. Стихи из послания Пушкина к митрополиту Филарету (1829).

** Там же, 259. Это напоминает Тургенева: «...я страдал, как собака, которой заднюю часть переехали колеса» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. (1963), V, 219. («Дневник лишнего человека»)).

*** Там же, 269.

**** Там же, 296.

***** Там же, 281.

[6]* Там же, 272.

«Пока в роще есть грибы и мальчики, стерегущие лошадей, поют русские песни и вовсе не враждебно трепещут гласа моего (я люблю, чтобы в доме моем меня трепетали, любя однако). Пока приходят ко мне лечиться после обеда больные и я могу серьезно иногда помогать им или даже на катковский гонорарий (какое скверное слово!) покупать им лекарства; пока в прохладном флигельке моем, окруженном акацией и бузиной, теплится лампадка перед афонским образом юноши — мученика Пантелеймона, образом, обделанным мною в золото и серебро и убранным рукою моей искусственными фиалками, розовыми бутонами и зеленью... Пока есть Оптина Пустынь, такая прекрасная, в сосновом бору недалеко отсюда; есть друзья, подобные Вам или детям Вашим, Н-вым (Неклюдовым) и Губ-ву (Губастову), друзья, не жалеющие денег, чтобы узнать, где я... Пока все это есть, хотя на два месяца... И есть искусство, и есть молитва, и есть отличный кофе, который подает мне фаворитка моя в сарафанчике и в красной рубашке (honni soit qui mal y pense [74] — ей 13 лет). Зачем я буду на стену лезть, согласитесь» * (т. е. добиваться должности). Фаворитка — это Варя, о которой речь впереди; и она леонтьевское «дитя души»...

СТИЛЬ

Далеко не всем приоткроется прелесть этой леонтьевской поэмы в прозе — этих афоризмов и *настроений,* очень уж прихотливых, но высказанных безо всякой претензии в письмах к Карцовым. Но одно несомненно: так писал только Леонтьев; в русской литературе он явление исключительное. Это его стиль; он один (рысак или бабочка!) умел так перескакивать или порхать с одного предмета на другой; от искусства и молитвы — к «отличному кофе»; или от арфы, котлет — к всенощному бдению! Позднее Розанов тоже любил смешивать свои *опавшие листья:* если в одном говорилось о Боге, то в следующем, скажем, о сушеных грибах... Но в «Уединенном» другие интонации — мещанско-чиновничий говорок и немало притворства, юродства наряду с гениальными озарениями («Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин жалости») **. У Леонтьева — дворянская манера изложения, благородный язык, но не выверенный, подсушенный, а небрежный, очень живой. У него нет никакой фальши, нет той манерности, которая была у Розанова в его ужимках и прыжках. Леонтьев при всей капризности своей натуры

* Там же, 281–282.

** *Розанов В. В.* Избранное (1956), 236.

очень прост, проще даже Толстого! И при этом как-то *естественно изящен;* и у него было утерянное со времен пушкинских и гоголевских «чувство слова-звука» (*самовитого слова,* как позднее говорил Хлебников!). Для него неприятно звучит *гонорарий* (!), потому что напоминает названий дурной болезни. Карцовы писали ему: не хандрите, Константин Николаевич! — а он сердился и говорил, что *хандра* звучит так же отвратительно, как *севрюга!*

Розановский стиль восходит к языку добровольных шутов Достоевского (в особенности же к Лебедеву в «Идиоте»), к подьяческой вульгате в записках Погодина [75] и к старомосковскому «вяканью» в Житии Аввакума.

Леонтьев скорее сродни Герцену, с его небрежным и очень метким красноречием, но у него больше задушевности, больше души, вздохов души.

Лучший Леонтьев — это Леонтьев фрагментарный, состоящий из писем, записок и отрывков, которые хочется вырезать из его растянутых романов и статей. Леонтьевский жанр — это жанр записной книжки, который пытался создать князь П. А. Вяземский: казалось бы, ему, другу Карамзина и Пушкина, было что рассказать, но глубины, высоты в его ампирной causerie не было...

Следовало бы в истории русской литературы выделить в одну главу все записки, заметки с одним монументальным героем-рассказчиком или же составить объемистую антологию: сюда вошло бы Житие неистового протопопа Аввакума, а также и «Старая записная книжка» блестящего и холодного князя Вяземского, «Записки» чудака-ученого Погодина, «Былое и думы» барина-революционера и эстета Герцена, «Избранное» Леонтьева — барина-эстета и консерватора с темпераментом революционера, наконец «Уединенное» и «Опавшие листья» Розанова — гениального обывателя (по выражению Бердяева). Сюда вошло бы и многое другое: записки Фонвизина, дневники Толстого...

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

А собака, изуродованная собака, с которой он себя сравнивал? О его мучениях мало кто знал; он так тревожился, страдал оттого, что красота, его красота, уходит из современного мира и все на свете смешивается — упрощается. То, что он называл красотой, — это живая жизнь, истинное бытие — и здесь, на этой прекрасной земле. Но земной воздух, которым Леонтьев дышал, редел, убывал, и он задыхался от своей духовной астмы.

А насилие, зло, которое он эстетически оправдывал как один из цветов радуги? Но это ведь говорилось от возмущения и от-

чаяния, со зла-горя, это полемический выпад против буржуазно-пролетарского Среднего Человека, который его переехал и которого ему самому хотелось бы переехать!

На самом же деле Леонтьев не хотел ни того, ни другого, ни страдания, ни насилия.

Если была бы его вольная воля — он разводил бы розы в восточном саду и курил бы там наргиле в обществе паши, говорящего по-французски; скакал бы по горам с разбойными албанскими беями или с кротким красавцем-болгарином Велико; читал бы стихи или рассуждал бы о Фламмарионе, о сродстве душ с милой и хитрой Машей Антониади; или же — играл бы с детьми души — с дерзкими, веселыми, но и ласковыми иногда тигрятами-Карцовыми; наконец, выстаивал бы позднюю обедню в домовой церкви или раннюю — в суровой Оптиной Пустыни, осененной мачтовыми соснами.

Вот чем Леонтьев восхищался и что сумел изобразить в своей поэме жизни — в пережитых им моментах счастья (т. е. экзистенциально-напряженно). Однако стареющий Константин Николаевич хотел растянуть блаженство до бесконечности, хотел его подморозить в холодильнике реакции. Но разве счастье-блаженство — это сибирские пельмени, закапываемые в снег, или архаические мамонты, сохранившиеся в древних ледниках? Леонтьев и сам понимал, что остановить время невозможно и, может быть, даже знал, что это и не нужно. Именно поэтому он усиливал в себе страх Божий, чтобы, распростившись с земной жизнью, спасти хотя бы одну только душу! Но души без тела он не любил, не мог любить.

Символ веры он, конечно, знал наизусть и не мог не помнить этого обетования: Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, т. е. воскресения во плоти; но эта тайна ему не открылась. Как и очень многим другим — в Бога ему легче было верить, чем в бессмертие, в воскресение.

ОПТИНСКИЕ СТАРЦЫ

Оптина Пустынь (Калужской губернии) существовала еще в XVI веке, но прославилась гораздо позднее, с первой половины XIX века. Именно здесь утвердилось старчество. Первые старцы были учениками отца Паисия Величковского (1722—1794). Некоторое время о. Паисий прожил на Афоне, где приобщился мистическому опыту Византии, а потом переселился в Молдавию и там много занимался переводческой деятельностью. Он и его многочилсенные ученики в России возобновляют прерванную было традицию Св. Нила Сорского и заволжских старцев

(о. Г. Флоровский). Но вместе с тем было немало новизны в этом духовном движении прошлого века. Центром старчества становится Оптина Пустынь. Первым выдающимся старцем был отец Леонид (из купеческого рода Наголкиных, скончался в 1842 г.). Второй великий старец — о. Макарий (из дворян Ивановых, 1788—1860) много занимался переводами. В сотрудничестве с другими монахами он перевел книги Максима Исповедника, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова и других. Со старцем Макарием постоянно общались и помогали ему славянофилы — братья Киреевские. У него бывали Гоголь, С. П. Шевырев, Т. И. Филиппов.

Третий старец, о. Амвросий (из духовной семьи Гренковых, 1812—1891), обладал дарами провидения, исцеления и глубокого понимания человеческой души. Ему тоже приходилось переводить, но он прежде всего не книжник, а сердцевед, наставник. Его скит находился в сосновом бору — это несколько домиков и хибарок, которые напоминают скворечники; они живописно лепятся около небольшой церкви со стволом-колокольней. И сюда со всех сторон России стекались к нему «всех чинов и званий люди» (Аполлон Майков).

Оптина Пустынь прославлена, но написано о ней мало. Кое-что я заимствую здесь из книги о. С. Четверикова *. По устным рассказам, одна крестьянка со слезами просила о. Амвросия научить ее, чем кормить порученных ей господских индюшек, и старец дал ей соответствующее наставление. Когда ему говорили, зачем он теряет с нею время, он отвечал: «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь!». О. Амвросий — евангельский человек, для которого не существовало моральных прописей, он был равно открыт для всех, и в каждом человеке он провидел образ и подобие Божие. С простой «бабой» он говорил об индюшках; но совсем о другом, о «последних вещах», он беседовал с Достоевским, Вл. Соловьевым, Леонтьевым.

Христианство старцев евангельское — свободное, любящее, но и церковно-православное. Их поучениям, беседам предшествовала дисциплина, аскеза по строгим уставам и заветам византийских подвижников. Они судили людей «не по букве», а в духе истины, но всегда — в пределах исторической церкви, не нарушая догматов, канонов и традиции. При этом старцы не всегда выполняли приказы свыше. Так, о. Леониду запретили принимать посетителей, но он дверей своей кельи не запер и сказал настоятелю: «Что хотите, то и делайте со мною! Хоть в

---

* *Прот. С. Четвериков*. Оптина Пустынь (1927).

Сибирь меня пошлите, я останусь тем же Леонидом!». Старцу Амвросию уже ни в чем не мешали. Утром он отвечал на письма и потом до позднего времени принимал посетителей. В церкви он редко бывал, и келейники прочитывали ему утреннее и вечернее «правило». «Он был довольно высокого роста, немного сгорбленный, худощавый, бледный, с довольно длинной, редкой бородой, с живыми, добрыми и проницательными небольшими глазами, в ватном подряснике и в ватной камилавке на голове, с четками в руках. Когда он снимал камилавку, открывался большой умный лоб, увеличиваемый лысиной».

ОТЕЦ КЛИМЕНТ ЗЕДЕРГОЛЬМ

Леонтьев впервые посетил Оптину Пустынь в августе 1874 г. и, как мы уже знаем, позднее часто туда наезжал. Сперва он более всего общается с отцом Климентом — самым ученым оптинским монахом.

О. Климент Зедергольм — сын реформатского суперинтенданта, жившего в Москве. Он занимался классической филологией в Московском университете и написал диссертацию о Катоне Старшем. В 1853 г. он перешел в православие, а лет через десять поступил в Оптин монастырь. Некоторое время он провел и на Афоне.

Вскоре после кончины о. Климента (в 1878 г.) Леонтьев написал о нем небольшую книгу (1879). «Скитские ворота, — пишет он, — имеют вид как бы небольшого храма розового цвета, с одной белой главой наверху. Самый выбор этих цветов чрезвычайно удачен. Это так “тепло” и красиво, летом в густой зелени леса и зимой в снегу...» * Здесь Константин Николаевич часто навещал о. Климента. По леонтьевскому описанию, был он «невелик, плешив» и без клобука много терял; он был красив в мантии. Он отличался вспыльчивостью, любил «порядливость» во всем и часто досаждал своими наставлениями младшей братии. Он не мог быть наставником, даже исповедником. Его сухость, его «немецкий педантизм» мешал и общению с ним. Но Леонтьева к нему тянуло. Ведь он уже годы мечтал о пострижении и, может быть, ему хотелось понять, проверить на о. Клименте: как живется в монастыре человеку из его культурного мира.

Константин Николаевич часто с ним спорил и, кажется, иногда его раздражал. Так, Леонтьев защищал католичество. А о. Кли-

* *Леонтьев К.* Отец Климент Зедергольм. (3-е изд., 1908), 7.

мент, возражая, говорил, что только для начала можно уважать всякую религию, но надо идти дальше «и чувствовать духовное омерзение ко всему, что не православие». Но Леонтьев и позднее никогда этого «омерзения» не испытывал: он мог восхищаться и католичеством, и сектантством, и мусульманством; и не из либеральной «терпимости»; он эстетически восхищался и папами, и дервишами, и сектантами вроде изувера Куртина.

Могло о. Климента раздражать и то, что его светский друг читает Вольтера и смеется его шуткам над Давидом. А Леонтьев утверждал: «*Я люблю силу ума; но я не верю в безошибочность разума*»; именно поэтому он не подчиняется ни Вольтеру, ни Боклю, ни Дарвину, хотя и читает их, а Вольтера даже с наслаждением. Поэтому же вольтеровские шутки нисколько не мешают ему соблюдать церковные обряды, «как любая нищая старуха» *. И тут, конечно, примешивалась эстетика. В причитаниях нищенки он находил больше поэзии, чем у всех «прогрессистов», и больше, чем в вольтеровской «Орлеанской деве»!

Есть что-то недоговоренное в самом конце леонтьевской книги об о. К. Зедергольме.

«Вечером на Распятии горит лампадка в красном фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте и знаю, *что такое там, около этого пунцового сияющего пятна*... Иногда оно кажется мне кротким, но зато иногда нестерпимо страшным во мраке посреди снегов!.. Страшно за себя, страшно за близких, страшно особенно за родину, когда вспомнишь, как мало в ней таких людей и как рано они умирают, не свершив и половины возможного...» **

Есть жуть в этом описании, и оно запоминается...

Чего же боялся Леонтьев? По-видимому, ему тогда страшно было не столько за близких, за родину, сколько за самого себя; он боялся умереть, ему не верилось в воскресение. Но такие настроения проходили, он забывал и о смерти, и о бессмертии и опять беззаботно распевал песни, как та гетевская птичка, — опять восхищался земной прелестью мира сего.

Духовному водительству старца Амвросия он отдался только после кончины о. Климента. Когда Климент умер, пишет он, «и я сидел в зальце о. Амвросия, ожидая, чтобы меня позвали, — я помолился на образ Спаса и сказал про себя: "Господи! наставь же старца так, чтобы он был опорой и утешением! Ты знаешь

* Там же, 89.

** Там же, 108.

мою борьбу! (Она была так ужасна, ибо тогда я еще мог влюбляться, а в меня еще больше!)"» *.

Роман его с О. С. Карцовой был самый невинный, и он добивался только «влюбленной дружбы». Но могли быть у него и другие увлечения. Его соседями по имению были Р-ие: в этой семье была молодая девушка, к которой он будто бы почувствовал «более, чем простую симпатию» (сообщает биограф Коноплянцев) **. Может быть, это одна из девиц Раевских, очень красивая, лет 18-ти; о ней он писал Губастову: на именинах Маши (племянницы) эта Раевская «была одета по-русски, в голубом платочке, и плясала по-русски же, восхитительно, с одним простым 17-летним мальчиком, брюнетом и красавцем, в красной рубашке» ***. Может быть, он только восхищенно любовался этой *голубой* барышней, пляшущей с *красным* пареньком — любование это очень леонтьевское, поэтически-живописное. А как именно он тогда увлекался и кто был в него влюблен, мы не знаем.

В 1879 г., когда Леонтьев писал книгу об о. Зедергольме, он часто наезжал в Оптину Пустынь из Кудинова, и, по-видимому, вопреки всем «мирским соблазнам» он все более склоняется к монастырскому патриархату: становится духовным сыном духовного отца Амвросия и ничего без его совета не предпринимает. Но, судя по многим записям, к этому старцу он не был сердечно привязан, как к своему афонскому наставнику отцу Иерониму.

ВАРШАВСКИЙ ДНЕВНИК

С конца 70-х гг. главный покровитель Леонтьева в правительственных кругах — это Тертий Иванович Филиппов (1825—1899), товарищ государственного контролера и позднее государственный контролер. В молодости вместе с Аполлоном Григорьевым он был членом т. н. молодой редакции «Москвитянина». Этот сановник-славянофил мечтал о восстановлении Московской Руси, твердил о самобытности, но леонтьевская жестокая критика славян его не отпугивала, он очень ценил его статьи и художественные произведения, всегда готов был ему помочь. В конце 1879 г. Филиппов предложил Леонтьеву место цензора в Москве — с окладом в 3000 рублей. Другое предложение сделал ему князь Н. Голицын, редактор «Варшавского дневника», русской офи-

* Русское обозрение, 1894, X, 818.

** Памяти К. Л., 103.

*** Русское обозрение, 1895, XI, 355 (письмо К. Губастову от 6 авг. 1878 г.).

циальной газеты в Царстве Польском. Его условия были более выгодные: 4200 рублей и построчная плата за статьи. Константин Николаевич был «весь в долгах» и согласился стать помощником редактора «Варшавского дневника». Эта газета успеха не имела, и князь Голицын надеялся ее «оживить» с помощью нового сотрудника. Леонтьев поехал в Варшаву, но прожил там недолго — до апреля 1880 г.

С 9 января в «Варшавском дневнике» начали появляться передовые статьи Леонтьева, он помещал в этой газете и фельетоны (его варшавская публицистика почти целиком заполняет седьмой том его собрания сочинений). Он взялся за новое дело всерьез и имел какой-то успех — число подписчиков при нем увеличилось. Все его варшавские писания производят жалкое впечатление. Леонтьев не мог быть неискренним, он и теперь писал, что думал, но не всегда то, что чувствовал, а также о многом умалчивал. Отсюда — ощущение связанности, неловкости — что отразилось на его стиле, он как-то растрачивал себя по мелочам и только изредка «бросал» свои жестокие афоризмы в лицо противникам... Или же — «заушал» либеральное общественное мнение, предлагая облегчить наказание растратчице — игуменье Митрофании и советуя высечь Веру Засулич, покушавшуюся на жизнь генерала Трепова*.

Редактор русской газеты того времени должен был защищать какие-то политические позиции, и Леонтьев старается быть идеологом. Он утверждает старую уваровскую формулу — «Православие, самодержавие, народность»; при этом он всюду подчеркивает византийское происхождение первых двух основ, а третью основу определяет как поземельную общину. Крестьян, живущих «миром», он называет «умеренными и монархическими социалистами» (31 марта). Замечательно, что Леонтьев тут же подрывает все эти три основы своим неверием в будущее России, своими мрачными прорицаниями... Как и в предыдущих своих статьях, он говорит, что у русского народа, еще верного своему государю, есть склонность к буйному безначалию, к анархии, которая может закончиться новым рабством «*в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству*», и что каким-то неведомым социалистам понадобятся охранительные начала: «Им нужен будет *страх,* нужна *будет дисциплина*...» **

* Л VII, 191.

** Там же, 186 и 217.

Крамола сильнее, чем многие думают: «Да! Нигилисты, по крайней мере, последовательны и смелы в своей преступной логике, в своем отвержении! Они жаждут разрушения, жаждут крови и пожарищ и отдают за это зверское безумие жизнь свою... А вы, вы (т. е. охранители. — *Ю. И.*), не идущие на столь опасную игру?.. * Это грозное обличение своих же единомышленников: здесь Леонтьев говорит, как ветхозаветный пророк, но в противоположность Иеремии он не верит в успех своей проповеди.

С отчаяния он предписывает очень опасное лекарство:

«...надо *подморозить* хоть немного Россию, чтобы она не "гнила"...» **

Но из письма Т. И. Филиппову мы знаем, что он осудил другого подмораживателя — Победоносцева: «Человек он очень полезный; но как? Он, как мороз: препятствует дальнейшему гниению, но *расти* при нем ничего не будет. Он не только не творец, он даже не реакционер в самом тесном смысле слова; мороз, я говорю, сторож; бездушная гробница; старая "невинная девушка" и больше ничего!» ***.

А Леонтьев хотел роста, цветения, но знал, что жизнь на земле отцветает и холодильник не поможет! В своих передовых он опять твердит, что надо даже радоваться тому, что на земле все плохо кончится, земного рая не будет, нас всех ждут новые испытания. Он здесь ссылается на блаженного Августина; утешая римлянок, изнасилованных «готфами», он говорил: *зато вы* войдете в Царствие Небесное... ****

Попытаемся представить себе русского читателя «Варшавского дневника», офицера или чиновника: он находит в леонтьевских передовицах варианты знакомой уваровской формулы; и вот вдруг оказывается, что все три основы уже расшатаны, тонут все три кита, на которых Россия держится; крамольники сильнее охранителей, победит социализм, и, может быть, именно в России, которая всегда была бедна мыслию *****; тут же непонятная эстетика и пугающая эсхатология... Уж очень это крутая пища для облеченных в мундиры русских читателей «Варшавского дневника»! Все же странные речи нового редактора имели некоторый успех, хотя его парадоксы не утешали и едва ли пробуждали от спячки консерваторов-рутинеров.

---

* Там же, 218.

** Там же, 124 (1 марта 1880 г.).

*** Памяти К. Л., 124 (Т. И. Филиппову).

**** Л VII, 232.

***** Там же, 76.

В одной статье Леонтьев впервые задевает Достоевского — за веру в то, что славяне научат все человечество всечеловеческой любви, которую «не могли безусловно утвердить в людских сердцах ни Св. Отцы, ни Апостолы, ни даже сам Божественный Искупитель»; и все это Леонтьевым резко отвергается как «розовый славизм»... *

Леонтьев предлагает открыть подписку на памятник Каткову, которого он ценил как политического публициста, хотя, как мы уже знаем, его личность вызывала в нем отвращение («московский публичный мужчина»). Далее он договаривается до утверждения, что Катков в публицистике это то же самое, что Пушкин в литературе! ** Но это не лесть: льстить Леонтьев не умел. Своим катковским памятником он хотел раздавить ненавистных ему нигилистов, либералов, которые, по его мнению, задавали тон на пушкинских торжествах! Но никого он не сокрушил и только поставил себя в смешное положение.

В то время Леонтьева занимали и другие проекты памятников — один в Филях, на месте сгоревшей «избы Кутузова» (это было еще в 1877 г.), а другой — императору Александру II, по случаю двадцатилетнего юбилея царствования ***. Избу он предлагал построить из гранита или мрамора, а в памятнике-храме Царю-Освободителю он хочет воздвигнуть изображение из слоновой кости с золотом или из дерева, а одежда должна быть из серебра с эмалью... У Леонтьева было изумительное чувство краски, подобно Державину, он замечательный колорист в литературе, но, увы, жил он в самую антихудожественную эпоху европейской и русской культуры. Правда, именно тогда романы и оперы писались гениями, но изобразительные искусства были в упадке, всюду царила безвкусица. Это эпоха академизма, эклектизма или передвижничества, это бесстильность Виктории, Вильгельма I, Третьей Республики и позднее Александра III. Проекты Леонтьева (но и других!) никуда не годятся, мраморная изба — это все равно что народная песня, переложенная гекзаметрами... А импрессионистов в то время мало кто замечал, даже парижанин Тургенев о них не упоминает. Может быть, когда все сооружения того времени покроются паутиной, они будут выглядеть иначе и отношение к ним будет пересмотрено, но сейчас все еще нам кажется, что во второй половине XIX века эклектика исказила, обезобразила готический, барочный и ампирный облик всей Европы.

---

* Там же, 207, 236.

** Там же, 211.

*** Там же, 458.

О многом Леонтьеву-редактору приходилось умалчивать. Так, мы знаем о его пристрастии к полякам, но в варшавских статьях он о них почти не упоминает. Едва ли он одобрял русификацию, которая била по ксендзам и панам: ведь его восхищал их фанатизм, их гонор. Но на страницах официальной русской газеты неудобно было восхвалять шляхту и католичество. Все же «латинство» он защищает: оно оплот полонизма, но вместе с тем орудие против всеобщего безбожия (в статье «Православие и католичество в Польше», написанной в Варшаве, но опубликованной только через два года, в «Гражданине») *. Леонтьев прославляет войну, но не с Германией: ему хочется отвести немцев от их Drang nach Osten [76] и направить их на Францию, с тем чтобы Россия могла расширяться и воевать на Востоке и Юге, захватила бы Царьград... Он гордится русской армией в Царстве Польском, военные его всегда восхищали, но по чисто эстетическим соображениям он мог бы любоваться не только русскими фуражками, но и польскими конфедератками! Мы знаем, что на Балканах лихих польских врагов России он предпочитал русофильски настроенным «купчишкам» из болгар или греков!

Политика Леонтьеву не удавалась, и это хорошо понимали «мужи совета» из его же лагеря, Катков или Победоносцев; его жаловал только чудаковатый Т. И. Филиппов. В поэзии жизни он был куда счастливее; и леонтьевская поэзия пережила леонтьевскую политику.

Может быть, из всех писаний в «Варшавском дневнике» Леонтьеву более всего удался этот веселый, дерзкий фельетон. Выписываю его полностью.

«Полезно ли самоуправство на улице?

На днях по Вержбовой улице проходила, сгорбясь, нищая старушка. Она хотела перешагнуть через грязь, как вдруг какой-то молодой парень простого звания, смеясь, подшиб ее ногою, и старушка упала в воду. Увидевши эту сцену, один из тех варшавских комиссионеров, которые носят красные фуражки, подскочил к молодому негодяю, схватил его и побил тут же весьма основательно. Публика (в том числе и мы, грешные) остались очень довольны этой карой, столь быстро последовавшей за подлым поступком.

* Там же, 254.

Теперь — философия. Во-первых, философия *утилитарная*. До Бога высоко, до мирового судьи далеко; городовой тоже не всегда может вырасти из земли, а великодушный человек в красной фуражке был близко.

Значит — "легальность" *и в наше время* не может еще вполне уничтожить *живую* правду не только на всем земном шаре, но даже и в Варшаве.

Во-вторых, *философия художественно-историческая*. Грязи на улице, положим, нет; пауперизма и тем более; малый ноги не подставлял, комиссионер его не бил. Публика не смеялась и не радовалась. В "Варшавском дневнике" не был бы весь этот случай описан... Что же бы более? — "Нирвана" какая-то. Абсолют! Германские мыслители говорили: *достижение абсолюта есть прекращение истории*. Что значит абсолют? Уж не то ли это царство правды и сплошной любви, которую нам проповедуют некоторые органы и русские и западной печати?

Нет, бедная старушка, падай лучше в грязь! Нет, молодой негодяй, бери на себя, так и быть, неблаговидную роль порока!.. И ты, добрый комиссионер, бей его крепче! Мы предпочитаем сложность и драму *истории* бессмыслию земного абсолюта...» («Сквозь нашу призму»)*.

Кажется, Гете говорил, что каждый эпизод можно «подать» по-разному. О невозможности царства правды (социализм), любви (по Достоевскоему) и о желательности живой правды Леонтьев постоянно твердил: и в филиппиках своих статей, и в монологах супергероев; то же самое, почти пародируя самого себя, он рассказал в газетном фельетоне (который следовало бы когда-нибудь включить в самую избранную антологию русской публицистики). Здесь — весь Леонтьев! Уже один этот газетный пустячок объясняет, почему именно он по-донкихотски ломал копья или бил стекла (как сказал о нем Толстой). Этот калужский дворянин был ламанчским рыцарем красоты и правды *живой жизни!* Вот что он защищал, охраняя от гибели! Но и знал — никакая защита не поможет.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

После Варшавы Леонтьев опять мечется-мыкается: едет в Петербург, потом в Кудиново: там он простудился и до половины июля не выходил из дому. Князь Н. Н. Голицын, редактор «Варшавского дневника», не мог выплатить причитающихся ему гонораров, и он опять весь в долгах. Константин Николаевич

* Там же, 547–548.

заявляет племяннице Маше и слугам Варе и Николаю: «Я ничего не знаю и знать не хочу, и пусть они сами обо всем — и в том числе обо мне — заботятся...». Сказано было это «в сердцах»: он продолжает о своих домочадцах заботиться, но на время удаляется в Оптину Пустынь. Он хочет там писать статьи, повести для Каткова: это необходимо для покрытия расходов, долгов. Но ему не пишется... Он говорит Губастову, что «постоянно завидовал одной здоровой черной свинье, которую я видел проездом в ту минуту, когда она с таким восторгом чесалась об угол сруба» (Оптина Пустынь)! *

Друг-сановник — Т. И. Филиппов его не забывает и пишет ему о проектируемой консервативной газете, в которой будут участвовать он сам, Победоносцев, но главная роль в ней предназначается Константину Николаевичу. Однако из этого начинания ничего не выходит. Наконец Тертий Иванович во второй раз предлагает ему место московского цензора. Леонтьев соглашается и отвечает Филиппову: «...а еще лучше цензорства и 300 рублей в Москве здесь каких-нибудь 75 рублей серебром в месяц *до гроба и ровно ничего не делать*. Вот блаженство!.. Вот счастье!.. Ни газет не читать, ни *сочинять* ничего к сроку и за деньги. Ни монашеского послушания, ни борьбы, ни честолюбия мирского. В субботу всенощная, в воскресенье поздняя обедня; издредка в Козельском трактире закусить чем-нибудь получше...» (Козельск — ближайший к Оптиной Пустыни город.) «Раз в неделю 1/2 часа беседы с духовником» (отцом Амвросием); «вечером поиграть в бирюльки (из серных спичек) с мальчиком, который мне давно служит (Николаем? — *Ю. И.*), и послушать рассказы о том, как кто в Козельске подрался и как кто женился, и какой монах там проштрафился, и что сделал о. игумен и т. д. Отлично! Иногда горло болит, иногда мучает; разложение организма идет своим чередом, но и с роздыхами... Один день скорбный почему-то, а другой ничего; и хотя я на молитву не так стал ретив, как и на все другое (кроме курения табака и бирюлек), но совесть шепчет мне, что Господь простит мне и помилует в день Страшного Суда. И отлично! Беда в том, что восхитительная Нирвана, более животная, однако, чем аскетическая, — есть для меня один волшебный миг забвения...» Но одолевают заботы: он должен писать повесть Каткову... (10 октября, Оптина Пустынь; вероятно, он имеет здесь в виду роман «Египетский голубь») **.

---

* Русское обозрение, 1896, 1, 422–423. (К. Губастову, от 3 сент. 1880 г.).

** Памяти К. Л., 115–116 (письмо Т. И. Филиппову от 10 окт. 1880 г.).

Итак, прозябание и усталость, приятное ничегонеделание, игра в бирюльки, гоголевские сплетни, а еще лучше быть свиньей, которая чешется о забор! Ни честолюбия, ни боголюбия...

19 ноября 1880 г. Леонтьев назначается московским цензором (и остается в этой должности до 1887 г.). Через месяц он пишет Губастову в другом тоне. Его уже многое сильно радует, трогает, обывательская Нирвана кончилась. О жене он говорит: «Я никогда ее так еще не любил и не жалел» *. Он все более привязывается к Варе. Впервые она упоминается года за три до этого: ей было тогда двенадцать лет. Варя — дочь кудиновской прислуги Агафьи; она как-то особенно хорошо умела подавать ему утренний кофе. С ней он ходил по грибы и пел песни... Леонтьев — барин, да еще крепостник по воззрениям, но и добрый (хотя и не добродушный) патриарх... А теперь он пишет о Варе уже пятнадцатилетней: она «такая прекрасная, верная, сериозная *дочь*, что поискать таких». Далее говорит с гордостью: «Оптинские старцы ее уважают» **.

Герцен или Тургенев хорошо обращались с дворовыми. Толстой уверял, что он многому научился у крестьян и у крестьянских детей. Но такой настоящей дружбы с услужающими у них не было.

Леонтьев привык к тому, чтобы его любили больше, чем он сам любил; но и он привязывался: и, судя по письмам, не делал никакого различия между образованной племянницей, необразованной женой и полуграмотной прислугой, которую называет дочерью. То же письмо Губастову он заканчивает так: «Я счастлив теперь в *семье и не боюсь более смерти* — чего же больше человеку желать?.. <...> Благодарю Бога — и за место, за "хлеб насущный", и за примирение с душой, и за Варю, и за *равнодушие* мое и к России и к собственной славе, и за друзей, которые меня не оставляют» ***.

После восхитительной «животной» Нирваны — некоторое душевное просветление, но и резиньяция (отказ от поприща — от России и от славы Алкивиада-Нарцисса!). Однако впечатление это обманчивое. Никак нельзя сказать, что стареющий Константин Николаевич угомонился! Как будто в 80-х гг. он уже не влюбляется; но, несмотря на болезни, усталость, временное равнодушие, он опять ненавидит, восхищается, опять горит, борется! Все же в это последнее десятилетие жизни новые темы им не

---

* Русское обозрение, 1896, I, 425 (письмо от 20 дек. 1880 г.).

** Там же.

*** См. предыдущее примеч.

намечаются. Свою философию истории и эстетику он определил в пору своего духовно бурного кризиса в Салониках и на Афоне (1871—1872), а потом в продолжение последних двадцати лет разрабатывал и повторял все те же мысли. Тогда же он писал свои замечательные воспоминания и критические этюды; а после красочного «мужского» романа «Одиссей Полихрониадес» он написал только «Египетского голубя» — самое тонкое и музыкальное свое произведение, хотя и работал над этой повестью без увлечения.

НИКОЛАЙ И ФЕНЯ

В 1882 г. Леонтьев продал родовое Кудиново крестьянину. *Случай* этот для той эпохи очень типичный: дворянство оскудевало, а крестьянство богатело... Но кудиновская жизнь продолжалась и в Москве, где Леонтьев-цензор поселился со всеми своими домочадцами. Свое московское житье-бытье он подробно описывает в замечательном письме Губастову (от 1 января 1883). Он тогда жил в Малом Песковском переулке, на том тихом дворянском Арбате, где в 40-х гг. спорили западники и славянофилы и где уже подрастал Боренька Бугаев (Андрей Белый): в начале 90-х гг. он и Сережа Соловьев увидят здесь *зори* (новой эры)[77], а через 20 лет он посвятит Арбату поэму «Первое свиданье». Г. П. Федотов назвал *Арбатом* главу в своей драматической «Судьбе русской интеллигенции»; в эмиграции об Арбате напомнят М. О. Осоргин и Б. К. Зайцев; арбатские переулки промелькнут и в «Докторе Живаго» Пастернака... А в 80-х гг., в благополучное царствование императора Александра Третьего, здесь было тише, спокойнее и, пожалуй, скучнее (но такой скуке мы теперь иногда завидуем).

Новое лицо — слуга Николай, о котором Леонтьев только вскользь упомянул. Может быть, проживая в Оптиной Пустыни, он именно с ним играл в бирюльки... У Николая и Вари был «роман», и их любовь, пишет Константин Николаевич, «была моей последней сердечной мечтой», но все кончилось ссорой. С одним из них пришлось расстаться; «помолясь Богу и заглянувши в Евангелие», он отпускает на время Варю, которая уезжает в тот Орловский монастырь, где племянница Мария Владимировна обучала тогда «мирских детей».

Фаворит Николай, говорит Леонтьев, «годится в герои романа», и это в его устах — величайшая похвала. Как мы уже знаем, редакторы и И. Аксаков для этой роли не годились... «Из того веселого ветреника, которым вы его знали, — пишет Леонтьев Губастову, — он — под влиянием чего, не знаю: болезни ли

головного мозга, которую в нем находят доктора, или неудачного выбора в любви, — превратился в мрачного, ежеминутно сердитого и даже опасного человека». За какие-то «шалости» Леонтьев его изгоняет. Николай недолго прослужил дворником в монастыре, а потом оказался без работы. Константин Николаевич тогда тяжело болел, и священник на исповеди посоветовал ему опять принять Николая. Блудный слуга, которого Леонтьев сравнивает с Дон-Жуаном («не Байрона, а Пушкина») вскоре же влюбился в кудиновскую девочку Феню. «Она — красивенькая, вроде куклы, и характером напоминает С. П. Х., только потише и повялей, холодная и лукавая кокетка» (С. П. Х. — это София Петровна Хитрово, константинопольская приятельница Леонтьева)*.

Феня забеременела, и Николай должен был на ней жениться. Константин Николаевич хочет дать им приданое, но денег у него нет. Знакомый архиерей сказал, что не надо стыдиться бедности, и посоветовал устроить сбор. Два архиерея, графиня Толстая (вдова обер-прокурора) и дипломат Ионин собрали 225 рублей, а Константин Николаевич взял на себя устроение свадьбы.

Почетные свадебные гости: друг-враг М. А. Хитрово, муж Софии Петровны, новый знакомый проф. П. Е. Астафьев и еще один профессор — болгарин Ст-в: все они «проспорили о душе и о Боге до 3 часов ночи». Но Леонтьев в споре не участвовал и занимался «хозяйственной эстетикой»: «...странное было сочетание, — пишет он, — оборванных обоев и коленкоровых занавесок моих приемных комнат с изяществом и нарядностью как самих молодых, так и поэзией маленькой комнаты, которую я около залы убрал им недорого, конечно, но в русском вкусе. Невеста была удивительно мила, совершенно фарфоровая куколка; одета была хоть и “по-немецки”, но со вкусом и не бедно, на жертвованные деньги; а он был в красной рубашке шелковой — его вы знаете. По церкви ходил шепот, что деревенский мужичок берет барышню, и Николаю это очень понравилось. Но ничего из этого не вышло хорошего!

Понимаете — все пластическое, живописное и плотское было прелестно, но увы! душевное вышло все прескверно — так что мне остается только тому радоваться, что моя совесть в этом деле чиста и что это случилось вопреки мне и моим вкусам. Я бы такую холодную и лукавую девочку никогда не выбрал. Она его не любит, уступила в минуту какой-то слабости и даже его физическую привлекательность ничуть не ценит, тяготится его

* См. гл. «Константинопольские дамы», ч. 2.

ласками и никак не может понять, что мы в нем находим особенного. А что мальчик он особенный, то лучшее доказательство этого — то, что даже вы при всей своей сдержанности и осторожности отличили его... Он бесится, ревнует ее целые дни, не верит ей, — и тяжелое впечатление, глядя на них, смягчается разве только тем, что они оба молоды и милы. Иначе это было бы ужасно». Николай все чаще падает в обморок или впадает в бешенство: он «стал браться и за ножи»...

«Главная беда в том, что он на самых любимых лиц стал раздражаться — на меня и на жену и нравственно стал для меня невозможен; последний месяц я не имел дня покоя <...> Доктора советовали удалить его от этих двух любимых лиц; но в Москве по всем больницам тиф и другие заразы, так что его нельзя было здесь отдать, и я, снабдив их чем нужно, отправил их на родину: его в Оптинскую больницу, а ее в Козельск — к его матери, — и буду им давать денежную помощь, пока могу. Болезнь — болезнью, но, мне кажется, и помимо того, вследствие неудачного брака и характер у него ужасно испортился. Я полагаю, что мое воспитание для него кончено, а теперь уж пусть воспитывает его сам Бог и обстоятельства. Что ж? надо быть благодарным и за прошлое: видел я от него много и полезного, и приятного. Вот и все про Николая» *.

Цитата эта длинная, но существенная. Здесь *весь Леонтьев* — в домашнем быту; он все тот же «эстет», но неожиданно и патриарх, хлопотливый посаженный отец, который, сломя гордыню, собирал деньги на свадьбу возлюбленного слуги — дитяти души! Но было и другое: все та же леонтьевская проекция в alter ego. Напомним, что в юности он и его супергерои Нарциссы проецировали себя в ровесников-солюбовников, а позднее — в годы консульского служения — в молодых балканских слуг. Наконец, Старый Муж «переживал» себя в сопернике — любовнике жены. Теперь объект «вживания» — красивый непутевый слуга-неврастеник. Но, конечно, здесь не только «проекция», а и очень человеческие отношения, настоящая душевная привязанность. Иногда создается впечатление, что многие из услужавших Леонтьеву «веревки вили» из своего ворчливого барина-крепостника, который ругал их, даже изгонял, но и очень любил: это и бронзовый араб Юсуф в Тульче, теперь в Москве — Николай, а позднее Варин муж — Александр. Варя («серьезная дочь») по благородству характера едва ли сама «наседала» на Константина Николаеви-

* Русское обозрение, 1896, III, 394–397; оттуда же другие цитаты в этой главе (письмо К. Губастову от 1 янв. 1883 г.).

ча; и к тому же женщинам он никогда не позволял над собой верховодить, но и она для него много значила.

Все в том же письме, ничего не объясняя, он как-то наивно-беспомощно признается, что почти целый год боролся с Таисией Ивановной («моей кухаркой») за преобладающе влияние над Варей и наконец «возобладал»! В политике (государства) Леонтьев утверждал жестокое социальное неравенство, но в домашней жизни социальные различия никакого значения для него не имели. Он это и проповедовал: будем свирепы в политике и добры в быту...

То же самое письмо Губастову заканчивается чем-то вроде завещания: Константин Николаевич просит его («когда умру») помочь Маше «приобрести что-нибудь изданием моих сочинений и воспоминаний» (и Губастов это завещание исполнил: в 1911 г. он субсидировал издание леонтьевских сочинений; может быть, помогал он и Марии Владимировне). Далее Леонтьев пишет: «Моя личная жизнь и все особенности моей борьбы» известны только Губастову и Маше. Об этом он и прежде говорил, а здесь наряду с ними называет еще имена двух «молодых простолюдинов» — Николая и Петраки (не грек ли это Георгий, с которым он приехал из Турции в Россию, но потом с ним расстался?). Почему именно они? Какие его тайны были им известны? — многое Леонтьев здесь не договаривает; «обнажаться» он не любил, и нам незачем тревожить его тень нескромными догадками. Достаточно и этого: как в причудливых письмах к «тигрятам» Карцовым, то дерзким, то ласковым, так и в этом очень простом описании домашних перипетий, мы Константина Николаевича видим и слышим его голос.

АЛЕКСАНДР И ВАРЯ

Вскоре после свадьбы Николая и Фени, в том же 1883 или в 1884 г., Леонтьев отпраздновал другую свадьбу в Мазилове, где он тогда жил на даче. Константин Николаевич выдал замуж свою «сериозную дочь» Варю за крестьянского сына Александра Пронина. Помолившись в Москве у Иверской Божией Матери, он на другой день, и это был Троицын день, пошел с Варей к обедне в Кунцеве, по соседству с Мазиловым. На паперти, вспоминает он — «*мы увидали Александра, и его красота поразила нас*». Признание это очень леонтьевское: и остается неясным, кто из них был более поражен: барин-«отец» или услужающая ему «дочь» *.

* *Александров А.* Памяти К. Н. Л. (1915), 34 (письмо от 5 февр. 1888 г.).

Молодой друг Леонтьева, лицеист Г. И. Замараев, был приглашен шафером и позднее рассказывал: «Наш свадебный “кортеж” и пир произвели большую “сенсацию” среди мазиловских мужиков и баб» *.

После свадьбы Александр остался у Леонтьева на положении слуги, но летом иногда уезжал в свою деревню на молотьбу. Константин Николаевич своими «детьми души» любовался, баловал их, читал им русских «классиков» и обучал хорошим манерам... Д. И. Стахеев вспоминает, что Леонтьев учил хорошему тону даже нищих. «Не нужно так низко кланяться, сгибать спину, кланяйся легче, изящнее, голову наклоняя чуть-чуть», — наставлял он одну нищенку. «Не нойте, не протягивайте певуче своих просительных слов», — он же внушал нищей братии. «Старайтесь сохранять и в самой бедности сознание человеческого достоинства»!.. **

Пронины были к Леонтьеву очень привязаны, нежно и умело за ним ухаживали. В начале 1885 г. у Вари родился мальчик, который вскоре умер. «Варя не горюет, — писал он Губастову, — а я, разумеется, и подавно» ***. А в следующем году он с неудовольствием сообщает ему же — Варя во второй раз беременна. Он не выносил маленьких детей и еще в Константинополе сетовал, что их слишком много у его приятельницы Ону. Он жаловал только подростков, с которыми уже можно разговаривать. Все же Вариным детям, а их было несколько, неплохо жилось в доме Леонтьева, и с ними очень любила нянчиться его блаженненькая жена Лизавета Павловна. Одно время он подумывал о помещении ее в лечебницу для душевнобольных, но вскоре же от этой мысли отказался. Г. И. Замараеву он говорил, что она ему не мешает. Когда Константин Николаевич занимался, она уходила в свою комнату играть на гитаре... А Губастову он писал, что все более к жене привязывается: «...право, *ей,* бедной, и *только ей,* я нужен и незаменим» ****. Так они и жили, барин-умник и барыня-дурочка, с красивыми молодыми слугами-детьми. Но брак Вари и Александра оказался непродолжительным: они разошлись; однако это произошло уже позднее, после выхода Леонтьева в отставку и отъезда его в Оптину Пустынь. В Москве же они были счастливы и очень о Константине Николаевиче заботились, а он о них.

---

* *Замараев Г. И.* Памяти К. Н. Л. // Русская мысль, 1916, III, 101.

** *Стахеев Д. И.* Группы и портреты // Историч. вестник, 1907, т. 107, с. 89–91.

*** Русское обозрение, 1896, XI, 452 (письмо от 18 июля 1885 г.).

**** Там же, XII, 1016 (письмо от 30 янв. 1886 г.).

ЦЕНЗОРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Леонтьев-цензор быстро справлялся с работой, и у него оставалось достаточно времени для размышлений, писания, а также для друзей и домочадцев. Все же новый род занятий ему не нравился: цензорство, пишет он, это «стирка и ассенизация чужого, большею частью грязного, белья...». А иногда он в своей «прачешной» забавляется: так чей-то стих — «воруют даже генералы», он заменяет другим стихом — «воруют даже либералы»!

Как-то Константин Николаевич получил анонимную записку в два слова: «г..., брат». Это послание он положил в специальный конверт и долго хранил его в письменном столе, чтобы «не зазнаваться»! * И это тоже вроде забавы...

Однажды к Леонтьеву явился купец с жалобой на одного литератора, который в своем романе описывал «любовную ошибку его дочери». Автор потребовал у него 2000 рублей за прекращение печатания. Это вымогательство Леонтьева очень возмутило, и он сказал, что все устроит. Обрадованный купец предложил ему взять 300 рублей: это тогда называлось «благодарить»... Константин Николаевич еще более возмутился: «Если ты еще раз осмелишься сказать мне это, я вышвырну тебя вон... Иди... Все будет сделано». Со следующего дня роман в газете «оборвался» **. Такие анекдотические случаи, конечно, вносили оживление в бюрократическую работу цензора-ассенизатора. Вообще же о его цензорской деятельности нам мало что известно.

НЕДОМОГАНИЯ

Леонтьев получал 3000 рублей годового содержания за цензорство, и этих денег ему не хватало. Ему приходилось много тратить на лечение жены, на слуг. Он писал Т. И. Филиппову: «Просто ума не приложу, что, например, есть завтра» ***. Все же жить ему было легче, чем в 70-х гг., когда он не имел никаких определенных доходов. В это последнее десятилетие ему более всего досаждали не долги, а постоянные недомогания.

В 1882 г. Константин Николаевич очень мучается: у него сужение мочевого канала и ему угрожала серьезная операция. Были и другие немощи: катар горла, болезнь спинного хребта, невралгические боли, сыпь, язвы на ладонях и подошвах. В 1884 г. он серьезно болеет катаральной дизентерией. В 1886 г. он близок к

* Памяти К. Л., 117.

** Русское обозрение, 1898, 1 (Воспоминания Н. Миляева).

*** Памяти К. Л., 118 (письмо Т. И. Филиппову от 23 апр. 1881 г.).

смерти: у него гнойное заражение крови и воспаление лимфатических сосудов на правой руке. Он было поправился, но сразу же заболел гриппом в острой форме. Заботливый Т. И. Филиппов перевозит его в особом вагоне в Калугу, а оттуда в Оптину Пустынь, и там он выздоравливает. Передают, что именно в этот свой приезд он собирался постричься, но опять отложил «зарок», данный им Богородице еще в 1871 г., в Салониках. Может быть, отец Амвросий отговорил Леонтьева: этот великий сердцевед, видно, понимал, что его духовный сын еще не созрел для иноческой жизни.

Судя по письмам к Губастову и Филиппову, настроения его в эти годы — очень переменчивые. По-видимому, его душевная «погода» менялась в зависимости от состояния здоровья.

В письме к Филиппову Леонтьев сам над собой подшучивает (что он и прежде любил делать): цензура кое-как кормит, и я «только и думаю (как слабый и худой монах): как бы пОесть, пОспать и, вздОхнувши о гресех (очень искренно), Опять пОспать! Скучно, очень скучно! Задушили!» Ему же он пишет: во время заболевания знакомые говорили, как вы стали «светлы» (просветленны); и он тогда не боялся и говорил, что смерть от постоянного изнурения, вызванного язвами в кишечнике, — «прекрасная смерть» *.

Губастову: «Я нахожу, что я мало читаю духовного, мало *боюсь* Бога, мало *люблю* Бога...». Ему же он пишет, что испытывал ужасное уныние в Салониках, на Афоне, в Угреше, в Оптиной, а в Москве ни разу, но мы знаем, что он унывал и там, но, может быть, ему в тот день полегчало и он сразу ожил... **

Филиппову: после двух острых болезней он «возненавидел все свое прошедшее, не только давнее полубезбожное и блудное и гордое, самодовольное, но и ближайшее, когда уже (15 лет тому назад) я на Афоне стал мало-помалу озаряться светом истины, но вера и страх Божий и любовь к Церкви не могли по гнусному непотребству моему искоренить вдруг все тонкие и глубочайшие корни пороков: легкомыслия, тщеславия, гневливости, самооправдания и литературного празднословия». Но благодаря карающей деснице Божией он за последние два года как будто «пообчистился» и даже не просит исцеления от главных недугов

* Там же, 129 (письмо Т. И. Филиппову, 8 марта 1882 г.) 121 (ему же, 1884 г.).

** Русское обозрение, 1896, XI, 447 (Губастову, июль 1884 г.); XII, 1017 (ему же, 30 янв. 1886 г.).

(сыпи и язв): «боюсь, не стал бы я, окаянный, опять прежним в неблагодарности моей» *.

Губастову — о московской жизни в 80-х гг.: «Вот где был "скит"! Вот где произошло "внутреннее пострижение души" в незримое монашество!.. Примирение со всем, кроме грехов и своего страстного прошедшего» **.

Все же не мог он примириться и с физическим одряхлением. Старость для Леонтьева — это прежде всего безобразие. Он сетует, что стареет и дурнеет племянница, Мария Владимировна (ей в 1887 году исполнилось 40 лет); о себе же он пишет Губастову: «Очень старею, мой друг, и очень своей физиономией недоволен: жреческого в ней мало, а больше хамская стала» ***. Сохранился карандашный портрет Константина Николаевича (набросок Е. С. Селивачевой) ****: К. Н. Леонтьев читает на вечере графа С. А. Толстого (в 1884 г.). Ему тогда было 52–53 года, но на этом рисунке он выглядит уже стариком: впалые щеки, вытянувшийся нос, ниспадающая писательская «грива» и глаза, опущенные на рукопись; и здесь он неожиданно напоминает интеллигента, «пострадавшего за свои убеждения» и только что выпущенного из тюрьмы... Пусть Леонтьев интеллигенцию люто ненавидел и както раз «обложил» ее нецензурным словечком, а Губастову писал: если бы я был министром, то всякие Стасюлевичи, Спасовичи, Бильбасовы «даже бы и не доехали до Камчатки» *****. Все же Г. П. Федотов вводит «византийского изувера» Леонтьева в пантеон русской интеллигенции. «Изувером», правда, он был больше на словах; но ему присущи те две основные черты, которые Федотов находил у русских интеллигентов: *идейность и беспочвенность*[6]*. Действительно, Леонтьев жил идеями, хотя бы и антиинтеллигентскими, и свои идеи страстно отстаивал. Верно и другое: почвы под ногами у него не было. Народ ему нравился эстетически, а свою родовую усадьбу он истощил и продал... Контакта с какой-нибудь *средой* у него было меньше, чем у любого радикала или консерватора (а в интеллигенцию, по федотовской концепции, входили и «левые» и «правые»); и за беспочвенность, а также за свободомыслие приходилось ему расплачиваться; его замалчивали, «душили», как он сам выразился.

---

* Памяти К. Л., 130–131 (Филиппову, 18 апр. 1886 г.).

** Русское обозрение, 1897, I, 399 (Губастову, 2 февр. 1887 г.).

*** Там же, 1896, III (Губастову, от 11 янв. 1883 г.).

**** Лит. насл. XXII, 481.

***** Русское обозрение, 1896, III, 394 (от 1 янв. 1883 г.).

6* *Федотов Г. П.* Новый Град (1952), 15–16.

Но были у Леонтьева и другие черты — не интеллигентские. В его причудливой личности вообще не так много русского или, по крайней мере, современно-русского. Позднее же в его пестром эстетизме, странно совмещавшемся с мрачной эсхатологией, находили нечто декадентское. Именно поэтому его сравнивали с Гюисмансом и Леоном Блуа. Все же он был всегда сам по себе. При всем пессимизме была у него радость бытия, и в своем творчестве упоение жизнью он выражал убедительнее, чем все свои страхи и скорби; недуги не мешали ему восхищаться; он одряхлел телом, но не духом; и, неожиданным образом, именно в 80-х годах его кое-кто оценил из молодежи.

ПЯТНИЦЫ АСТАФЬЕВА

В Москве Леонтьев сближается с Петром Евгеньевичем Астафьевым (1846—1893). Он заведовал тогда университетским отделением Лицея Цесаревича Николая Александровича. Одним из основателей и директором этого учебного заведения был М. Н. Катков, и поэтому москвичи называли его Катковским лицеем.

Астафьев написал несколько книг по философским вопросам, но теперь он забыт. Он писал об ограниченности познавания разумом и выдвигал понятия воли и чувства. О его книге «Психический мир женщины» Леонтьев дал отзыв, а Астафьев прочел две публичные лекции, посвященные леонтьевской философии истории (1885). В какой-то мере он сочувствовал Леонтьеву, но глубокого понимания его основных мыслей не обнаружил. Позднее Астафьев высказывался о нем отрицательно, укоряя его в отождествлении национализма с революционным движением (1890).

Педагог и философ, Астафьев принадлежал к числу тех оригиналов, которые Леонтьеву нравились. В нем, по замечанию Константина Николаевича, было «сочетание метафизика с гусаром», который «*не прочь выпить!*». В Петербурге он как-то попал на шведский пароход и очнулся в Стокгольме, куда, за неимением паспорта, его не пустили; он «очень страстен», писал Леонтьев Губастову, «*ужасно занят* собственными идеями, *психологическими, метафизическими* и т. д., вечно нуждается в деньгах, гораздо более моего, несравненно более моего должает, бесится, восхищается, превозносится, падает опять...» *. Общение с новым неутомимым собеседником Леонтьева оживило, но понемногу его начали раздражать споры с ним: вероятно, этот московский

* Русское обозрение, 1896, XI, 449–450 (Губастову, от 4 июля 1885 г.).

философ был сильнее в диалектике и, плохо разбираясь в леонтьевских мыслях, все же без труда побеждал его в дискуссии. Они разошлись, но одно время Леонтьев постоянно бывал на астафьевских *пятницах*. Очень хорошо относилась к нему жена Астафьева, но он иногда ее пугал:

«...Вы знаете, Мария Ивановна... до чего я покоряюсь старцу (оптинскому о. Амвросию. — *Ю. И.*)? — Вот если он мне прикажет вас убить, то я нисколько не задумаюсь» *.

МОСКОВСКИЕ ЛИЦЕИСТЫ

По пятницам у Астафьевых собирались лицеисты университетского отделения, которые потом с благодарностью вспоминали собрания в доме чудаковатого и радушного профессора, который всегда страдал от «безденежья», но очень хорошо угощал. Эти пятницы имели для них педагогическое значение. В астафьевском доме Леонтьев познакомился с лицеистами и некоторых из них принимал у себя. Он жил тогда в деревянном темно-коричневом доме в Денежном переулке, на Пречистенке, куда переселился из Мало-Песковского. В квартире его было пустовато из-за недостатка мебели, но все было изящно и всюду «царствовали» образцовый порядок и безукоризненная чистота.

По утрам Константин Николаевич размышлял, писал, и никто из домашних входить к нему не смел. Может быть, позднее он шел в свой Цензурный комитет. На выходной двери висела записка: звонить только после 7 часов вечера. А во время приемов он не позволял смотреть на часы и говаривал:

«Оставьте вы в покое вашу европейскую машинку <...> Я скажу сам, когда вам надо будет уходить». Своих молодых гостей он обыкновенно изгонял в 10–11 часов вечера **. Константин Николаевич курил, но из опасения увидеть не совсем чистые ногти, не любил, когда ему подносили спичку ***.

Иногда Леонтьев сам себя называл пророком и, как мы уже знаем, споров не любил. Его речи производили большое впечатление на молодежь. Он вообще прекрасно импровизировал, но в небольшом обществе, среди сочувственно настроенных слушателей. С кафедры он едва ли мог бы говорить (Губастов) и отказывался от чтения лекций. Константин Николаевич очень ценил непривычное для него внимание мыслящей молодежи. Но странным образом из всех этих лицеистов и студентов как-то «ничего

---

* Памяти К. Л., 387 (воспоминания Е. Поселянина).

** Там же, 147 (воспоминания А. Александрова).

*** Русская мысль, 1916, III, 100 (воспоминания Г. Замараева).

не вышло», творчески они себя ничем не проявили, как и «тигренок» Ю. С. Карцов.

Одним из леонтьевских любимцев был начинающий поэт Иван Иванович Кристи (Ванечка). Из лицея он поступил в Духовную Академию, хотел стать священником и говорил, что спасение души для него существеннее, чем проповедание леонтьевской «идеи». Леонтьеву это не понравилось, хотя ведь и он душеспасение ставил выше всего остального. Здесь он проявил эгоизм, естественный эгоизм идеолога... Но все вообще планы Ванечки Кристи не осуществились, он рано умер, вероятно в начале 90–х гг *.

Леонтьев очень жаловал и другого лицеиста, Григория Ивановича Замараева (Гришку), который оставил о нем замечательные посмертные воспоминания. Константин Николаевич, кажется, даже прощал ему пристрастие к спорам... Он писал рассказы, но ему не удалось проявить себя в литературе. Позднее он служил в Туркестане, Орле и Петербурге, где был редактором в Статистическом комитете и тоже сравнительно рано умер (в 1902 г.) **.

Поклонниками Леонтьева были два приятеля — лицеист Денисов и студент московского университета Н. А. Уманов; они написали сочувственный отзыв о нем в «Русском деле» (1887) под общим псевдонимом П. Волженского. О судьбе первого ничего не известно, а второй был позднее членом окружного суда в Пензенской губернии.

Лицеист Анатолий Александров (1861—1930) — филолог, поэт, приват-доцент Московского университета. Едва ли он особенно выделялся среди других лицеистов, но зато, кажется, всю свою жизнь посвятил Леонтьеву. Он написал о нем интересные воспоминания, несколько статей и опубликовал его письма с примечаниями. Читатели Леонтьева многим обязаны этому неутомимому труженику. Он Константина Николаевича очень ценил и любил, но творчески себя не проявил и не был безусловным его сторонником. Так, Александров не хотел отдавать на растерзание Леонтьеву своего кумира — Достоевского!

К этой же молодежи примыкал студент-юрист Иосиф Иванович Фудель (1864—1918), перешедший в православие и принявший священство. Он — автор книг и статей о приходских школах, о народном образовании в православном духе. Очень интересна его статья о Леонтьеве и Вл. Соловьеве. Константин

* Там же, 97–98.

** Там же, 96.

Николаевич с ним переписывался, ценил его, но им не восхищался. Это человек «без блеска», педант... (говорил о нем В. В. Розанову)*. Все же из Фуделя что-то «вышло»; и он лучше, чем все другие молодые друзья Леонтьева, разбирался в его литературном наследии, но «леонтьевцем» не стал.

В ту же эпоху Леонтьеву был близок немолодой уже писатель Н. Я. Соловьев (1846—1899), которому он очень помог и написал сочувственный отзыв о его драмах. Это был человек «дикого характера», склонный к скандалам, и иногда он Константина Николаевича раздражал. Как-то — на именинах Маши, — он «сперва завизжал, как восхитившийся зверь, а потом начал кричать: "Азия! Азия! Здесь нужна Азия!.." Пришлось остановить его и напомнить, что азиатцы веселятся *истово* и тихо, а визжат только тогда, когда идут в кавалерийскую атаку» **.

Из молодых друзей Леонтьева его московский быт и стиль жизни лучше всего описал Г. И. Замараев (1860—1902). Иногда Константин Николаевич людей поддразнивал и обижал... Как-то в разговоре он обозвал европейским хамом того французского консула, на которого замахнулся хлыстом на Крите... Один из его сослуживцев по Цензурному комитету, чиновник из семинаристов, господин с брюшком и в дешевом модном костюме, полюбопытствовал узнать, что такое «хамство» в его понимании.

Леонтьев ответил: «Ну, вот вы, например, хам, потому что на вас не ряса и даже не кафтан, не поддевка, а европейский некрасивый, кургузый пиджак. Разве вас, например, художник захочет перенести на полотно? А какого-нибудь старого боярина, черногорца, грека в феске перенесет, и будет красиво».

Другой эпизод: явился к Леонтьеву мальчуган лет пятнадцати, в огромнейших сапогах; он пешком пришел из Тульской губернии и целый день бродил в Москве по разным учреждениям, начиная чуть ли не с казенной палаты, чтобы показать свое «сочинение» и посоветоваться. Леонтьев спросил этого «Ломоносова», есть ли у него деньги, и тот заявил — да, семь копеек, на все хватит! Константин Николаевич приказал немедленно накормить его и отвести ему ночлег. Рукопись оказалась неинтересной (рассказ из деревенского быта), и ему пришлось вернуться в свою тульскую деревню, но уже не пешком, а по железной дороге ***.

---

* Русский вестник, 1903, IV, 645 (примечания Розанова к письму Леонтьева).

** Русское обозрение, 1895, XI (письмо К. Губастову, 6 авг. 1878 г.).

*** Русская мысль, 1916, III, 97 и 101 (воспоминания Г. Замараева).

Оба этих эпизода очень характерны. Леонтьев — «хищный эстет» — оскорбил ни в чем не повинного «пиджачника», а паренька обласкал и чем-то ему помог. Все «народное» он находил более эстетическим, чем все «чиновное» или «интеллигентское». Но была здесь и простая сердечность: Леонтьев не только проповедовал доброту в личных (но не в государственных) отношениях, а и на самом деле был добр в кругу друзей, домочадцев и даже чужих людей...

Замараев рассказывает и о бедности Леонтьева, о покупке им у него же старой шубы, о его русском одеянии, которое он начал носить еще в Константинополе (что-то среднее между поддевкой и подрясником). Варю и Александра он тоже одевал по-русски...

Позднее Леонтьев и Замараев переписывались (1884—1889). В последнем письме Константина Николаевича много горечи. Он рассказывает, что Варя спрашивала, уж не съел ли нашего Григория Ивановича (Замараева) тигр в Туркестане?.. «Бог милостив, — отвечал Леонтьев, — и тигр не съел, и нас он не забыл, а сказано — *русский человек*. Лень и невыдержка у всех или беспорядок и легкомыслие! Русские люди не созданы для свободы. Без страха и насилия у нас все прахом пойдет». Далее он пишет: «Я уверен, что каждого из вас (лицеистов. — *Ю. И.*) я могу во многих отношениях поймать и доказать, что вы пропустили случаи для действия *уже и теперь* 20 раз <...> Александрова и Кристи я не раз уже ловил. Все вы ждете "журавля в небе", а не берете "синицу в руки", когда она около вас. Первое дело, отчего вы *все* не ведете *систематической* пропаганды между молодыми людьми? Во столько лет Денисов прибавил только Уманова, а Уманов — Фуделя». И он продолжает упрекать бывших лицеистов и студентов за нерадение в распространении тех идей, которым они пламенно сочувствовали: «Мало говорите, мало *твердите* людям. *Молодая речь,* не бойтесь, в молодой же среде часто сильнее нашей. Вам еще больше поверят, чем седому человеку» *.

Так оно и было: стареющий Леонтьев разгорелся в кругу пылких юношей, которые, однако, быстро потухли... Гораздо лучше поняли его «люди нового религиозного сознания» — В. В. Розанов, позднее Н. А. Бердяев, о. С. Булгаков, С. Л. Франк и некоторые критики: Б. А. Грифцов, А. Закржевский и другие.

В те же годы, приблизительно в 1883 г., и, может быть, на астафьевских пятницах Леонтьев встретил наконец равного себе «совопросника мира сего» — Владимира Сергеевича Соловьева

* Там же, 113–114 (письмо Г. Замараеву от 12 апр. 1889 г.).

(1853—1900), который воспламенил его более, чем кто-либо другой в жизни. В июне 1885 г. молодой философ гостит у Константина Николаевича на даче, в Мазилове, и позднее они нередко встречались *.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Леонтьев не очень высоко расценивал поэтические опыты лицеиста Александрова, но все же его могли тронуть стихи, ему посвященные:

Поклонник красоты — всего другого прежде,
За прозу пошлую он с веком враждовал,
В религии, в характерах, в одежде,
В истории — прекрасного искал.

(Чародей, 1884).

В том же стихотворении он уверяет, что Леонтьев видел в России «великого Мессию, грядущего народы обновить». Здесь уж юный энтузиаст явно искажает образ своего учителя: Леонтьев всегда резко отмежевывался от славянофилов-мессианистов, в особенности же от Достоевского, которому поклонялся Александров, внесший достоевщину в леонтьевщину... В другом стихотворении он сравнивает Леонтьева с орлом, которого он видел в московском зоологическом саду («Орел», 1887):

Ослабшие висели эти крылья,
И силы не было ни в клюве, ни в когтях,
И — след неволи долгой и бессилья —
Повытерлися перья на боках... **

У Александрова был некоторый талант. В одном стихотворении 90-х гг. он прислушивается к *чугунным песням* железной дороги, это неожиданно напоминает блоковские *каменные песни* (в «Новой Америке»). Вообще же его стихотворство — своего рода надсоновщина или «гражданская поэзия» *наоборот,* не либеральная, а консервативная ***. Революционные ямбы Пле-

---

* Их сложным взаимоотношениям посвящена особая глава, см. ч. 4.

** Памяти К. Л., 157–158, стихотворения Александрова «Чародей» и «Орел» (там же помещены еще 3 его стихотворения, посвященные Леонтьеву, и акростих кн. М. Вл. Вяземской, написанный по заказу Леонтьева).

*** Русское обозрение, 1894, I, 209. Стихотворение Александрова «Железная дорога». Последние строки: «Грохотали вагоны мне чудные сказки / И гремели *чугунные песни* свои». У Блока в «Новой Америке»: «Голос *каменных песен* твоих...». А в стихотворении «На

щеева: «Вперед! без страха и сомненья...» — он перелагает в благочестивые дактили: «Други! вперед, осенившись крестом...» * Чувство языка и ритма было тогда ослаблено или же вовсе утрачено. Стихотворцы 80-х гг. как-то не замечали тех газетных шаблонов и интеллигентской фразеологии, которая обезличивала их стихи; и у Александрова сплошь и рядом находим разные клише: след неволи, жажда подвигов, взор огненный, дикий или царственный (в «Орле»). Тогда уже писали т. н. модернисты, будущие символисты: но и их стихотворная речь была засорена, и не только у Мережковского, Минского, но даже у Сологуба. Анненский же сочинял только для себя; да и он, по-видимому, нашел «свое лицо» позднее, уже в 90-е гг. Всем им было тогда далеко до «стариков» — Фета, Полонского или до Случевского.

Другой литературный портрет Леонтьева, набросанный в прозе, находим в книге И. Колышко «Маленькие мысли» (1900); в юности, в 80-х гг., он встречался с Леонтьевым в Москве.

«Сухой, жилистый, нервный, с искрящимися, как у юноши, глазами, он обращал на себя внимание и этой внешностью своею, и молодым звонким голосом, и резкими, но всегда грациозными, движениями. Ему никак нельзя было дать 50 лет. Он говорил или, вернее, импровизировал, о чем — не помню. Вслушиваясь в музыку его красивого ораторского слога и увлекаясь его увлечением, я едва успевал следить за скачками его беспокойной, как молния сверкавшей и извивающейся мысли. Она как бы не вмещалась в нем, не слушалась его, загораясь пожаром то там, то сям, освещая далекие темные горизонты в местах, где менее всего ее можно было ожидать. Это была целая буря, ураган, порабощавший слушателей. Мне даже казалось, что он рисуется, играя своим обаянием, но не слушать его я не мог, как не мог не поражаться его странной силой логики, огненностью воображения и чем-то еще особенным, что не зависело ни от ума, ни от красноречия, но что было, пожалуй, труднее того и другого... Это что-то я иначе не могу назвать, как благородной воинственностью его духа и блестящей храбростью ума». И здесь избитые метафоры, но кое-что Колышко верно угадал: своенравие мысли, воинственность духа, храбрость ума... Все же очевидно, что ни он, ни другие молодые восьмидесятники из кон-

---

железной дороге»: «Тоска дорожная, железная / Свистела, сердце разрывая...» (*Блок*. Собр. соч., III, 269 и 261). Все курсивы мои. — *Ю. И*.

* «Вперед! без страха и сомненья...» (*Плещеев А. Н*. Избранное (1960) 25). Стихотворение Александрова в «Русском обозрении» (1892).

сервативного лагеря Леонтьева понять не могли; он им всем был не по силам, не «по зубам» *.

ГЕРОЙ ПИСЕМСКОГО?

Роман Писемского «Тюфяк» произвел «удручающее, отвратительное впечатление» на Леонтьева-студента. Ему казалось, что это еще хуже, чем «преувеличенная карикатура» в «Мертвых душах», — хуже потому, что жалкий, некрасивый Тюфяк ближе к действительности, реальнее гоголевских героев... ** Но позднее Леонтьев согласился с другом юности Георгиевским, утверждавшим, что в некоторых отношениях Тургенева надо поставить ниже Писемского... ***

А что думал о Леонтьеве Писемский? И встречались ли они? Об этом мне ничего не известно. Но есть *леонтьевщина* в рассуждениях главного героя Писемского в его романе «Мещане» (1877). Это Алексей Иванович Бегушев, идеалист 40-х гг., барин-романтик, скучающий в Москве 70-х гг. Начинается война с турками, и Бегушев уезжает на фронт. — «Меня одно в этой войне радует, — говорит он перед отъездом, — что пусть хоть на время рыцарь проснется, мещанин позатихнет» ****. На Кавказе он умирает смертью храбрых... А вот что он говорит в самом начале романа:

«Это бессмыслица какая-то историческая <...> разные рыцари, что бы там про них ни говорили, и всевозможные воины ломали себе ребра и головы, утучняли целые поля своею кровью, чтобы добыть своей родине новую страну, а Таганка и Якиманка ***** поехали туда и нажили себе там денег... Великие мыслители иссушили свои тяжеловесные мозги, чтобы дать миру новые открытия, а Таганка, эксплуатируя эти открытия и об-

---

* Отзыв И. Колышко цитирую по статье А. Коноплянцева в «Русском биографическом словаре», X, 243.
И. Колышко, род. в 1862 г., ум. в Париже, в 30-х гг. Журналист, был в окружении кн. Мещерского, редактора газеты «Гражданин», в 1916 г. вел переговоры о сепаратном мире с Германией («Чемпион сепаратного мира» Г. Аронсона: «Русская мысль», 1 февр. 1964 г.). См. также его книгу «Россия накануне революции» (1962), 102–104. Характеристика Г. Аронсона в письме от 17 марта 1964 г.: Колышко — негодяй, обладавший литературным талантом.

** Л IX, 111–112.

*** Там же, 95.

**** *Писемский А. Ф.* Собр. соч. (1959), VII, 318.

***** Улицы Якиманка и Таганка в Замоскворечье — символы богатеющего торгово-промышленного класса.

считывая при этом работника, зашибла и тут себе копейку и теперь комфортабельнейшим образом разъезжает в вагонах 1-го класса и поздравляет своих знакомых по телеграфу со всяким вздором... Наконец, сам Бетховен и божественный Рафаэль как будто бы затем только и горели своим вдохновением, чтобы развлекать Якиманку и Таганку или, лучше сказать, механически раздражать их слух и зрение и услаждать их чехвальство» *. Эта длинная речь Бегушева по самой своей структуре напоминает известный монолог Леонтьева: «Не ужасно ли и не обидно ли думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи <...> *для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа* <...> благодушествовал бы "индивидуально" и "коллективно" на развалинах всего этого прошлого величия?..» ** Есть немало сходства в этой великолепной риторике, в этой периодической речи с союзом *чтобы*... Но вместо чехвальства Леонтьев сказал бы *бахвальство* или, что всего вероятнее, — просто *хвастовство!* Просторечие, культивируемое «натуральной школой», он тогда глубоко презирал (хотя и сам иногда пользовался в 60-х гг.).

Заметим — роман «Мещане» Писемский закончил в 1877 г., а знаменитую свою речь — обвинительный акт против всей современной Европы — Леонтьев «выковал» в начале 80-х гг. *** Но подражания здесь нет, хотя это едва ли совпадение. Писемский, вероятно, знал другие леонтьевские статьи и романы и мог написать монолог Бегушева в леонтьевском стиле.

Писемский рекомендовал художнику Микшеину придать Бегушеву черты Бестужева и Герцена, но редактор собрания сочинений Писемского отрицает наличие сходства между Бегушевым и этими двумя возможными прототипами ****. Едва ли этот герой списан и с Леонтьева. Но если «стиль есть человек» (по Бюффону), то нельзя не заметить некоторое сходство между фразеологией (а также и отдельными идеями) Бегушева и Леонтьева.

КАРИКАТУРА БОБОРЫКИНА *****

Эпизодический герой романа П. Д. Боборыкина «Перевал» — «суровый византиец» Козьмин. «Испитое бурое лицо и беспоря-

* *Писемский,* указ. соч., 12.

** Л V, 426.

*** Тот монолог Леонтьева был опубликован в «Гражданине» (1882—1883), в его «Письмах о восточных делах». См. гл. «Племенная политика», (ч. 2).

**** *Писемский,* указ. соч., 422–423 (примечания Ф. И. Евнина).

***** *Боборыкин П. Д.* Собр. соч. (1897), VIII, цитаты на с. 101, 321, 327.

дочная бородка делали его наружность суровой и жуткой по впечатлению на всякого свежего человека». В Москве он заходит к своему молодому приятелю Боярцеву и бранит религиозного философа Угличева (Владимира Соловьева), который кокетничает с тем, что теперь в моде, — с социализмом, радикализмом... Прогресс и наука для него — современные ереси...

Козьмин проповедует: «Все, что пропахло западным ерничеством <...> то уже прогнило: все эти культурные сербы, болгары, хорваты, лужичане, венды. О чехах, — презрительно выговорил он, — и говорить нечего! И им не очиститься... Они ушли из Византии, от того уклада жизни, которому теперь учиться можно только в одном месте во всей вселенной.

— Где же? — спокойно и тихо спросил Боярцев.

— На Афоне, любезнейший Роман Денисович, на Афоне. И нигде больше. Как я там пожил, вся эта маниловщина с меня слетела... Ничего хорошего для западного славянства я не предвижу. Ничего! — повторил он и поморщился, точно его кольнули внутри».

Козьмин — это карикатурный Леонтьев. Боборыкин неплохо имитирует леонтьевские речи, но в них не вникает и заботится только об успехе своего шаржа. Этот подражатель Тургенева и Золя не хотел, да и не мог понять Леонтьева. Его герой напоминает мартышку, передразнивающую тигра...

Козьмин — мрачный *фанатик,* тогда как Леонтьев — *фантазер,* который иногда разыгрывал изувера. В беседе, в писаниях он любил заострять свои мысли, ему нравилось эпатировать европейских буржуа и русских интеллигентов; он иногда с наслаждением раздувал костер, на котором сжигал все, чему поклонялись не только радикалы, но и многие консерваторы. Если же говорить на языке того времени, то были у Леонтьева и т. н. «положительные идеалы»: это то «сложное цветение» культуры, которое, правда, он находил преимущественно в прошлом; но и в настоящем его охватывала радость бытия. Из леонтьевской поэмы жизни Боборыкин выхватил одни «черные» страницы, а были в ней и «пестрые»: его ярких красок, его «букетов» он не заметил. Религия Леонтьева мрачная, свет во тьме ему не светил, в потемках своей души он очень мучился, вздыхал и взывал, подобно Иову на гноище... Все это было непонятно Боборыкину, болтливому либералу-беллетристу, который иногда неплохо описывал нравы, типы, бойко обсуждал кое-какие модные в то время идеи, но никогда и ни во что не углублялся. Заметим, что не только он, но и такие замечательные мыслители, как С. Л. Франк

или Г. П. Федотов, тоже были слепы к Леонтьеву: и для них он был «изувером»...

Наконец, неверно, что Леонтьев отрицал науку: он был против прикладного знания, но высоко расценивал чистое, «бесполезное», научное исследование природы...

Роман «Перевал» печатался в «Вестнике Европы» в 1894 г., и в том же году некто «W», увидев в Козьмине пасквиль на Леонтьева, заявил, что боборыкинский портрет неверен: Леонтьев был всегда изящен, у него было чувство юмора и он нисколько не походил ни на аскета, ни на фанатика... * Вообще же карикатуры имеют все права на существование и иногда способствуют лучшему пониманию прототипа!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ МОНАРХИЯ

В собрании сочинений Леонтьева была впервые опубликована его «Записка о необходимости большой газеты в С.-Петербурге». На обложке рукой Константина Николаевича приписано, что статья была послана Филиппову, Победоносцеву и еще кому-то: «Редактором я сам не хотел быть, а имел виды на князя Голицына (Ник. Ник.), бывшего редактора "Варшавского дневника"...»

В скобках приводится дата написания: 1882—1883 гг. ** Значение этого леонтьевского проекта как-то не учитывалось его биографами и комментаторами.

В этой записке он наполняет содержанием тот свой «культурно-политический идеал», который он намечал во многих статьях и в письме к И. И. Фуделю (1888):

«1. **Государство** должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и с осторожностью подвижно. Вообще *сурово,* иногда и до свирепости.

2. **Церковь** должна быть *независимее* нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должны *смягчать* государство, а не наоборот.

3. Быт должен быть поэтичен, *разнообразен в национальном,* обособленном от Запада, *единстве* (или совсем, например, не танцевать, а молиться Богу, а если танцевать — то *по-своему:* выдумывать и развивать народное до изящной утонченности и т. д.).

4. Законы, принципы власти должны быть *строже,* люди должны стараться быть лично *добрее;* одно уравновешивает другое.

---

* *W* (о Боборыкине) // Русское обозрение, 1894, XI, 528–531.

** Л VII, 497.

5. Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей *пользе*» *.

А Владимир Соловьев, подводя итоги воззрениям Леонтьева, утверждает, что он считал достойными охранения три начала:

1) реально-мистическое, строго церковное и монашеское христианство византийского и отчасти римского типа;

2) крепкую, сосредоточенную монархическую государственность и

3) красоту жизни в самобытных национальных формах **.

В этих «сводках» все уже достаточно знакомо и к тому же очень ясно выражено, но как-то отвлеченно. Между тем Леонтьев конкретному всегда отдавал предпочтение перед абстрактным. Он понимал, что, например, восстановление патриархата и все его декларативные «должно быть» ничего в мире изменить не могут. Он также учитывал все внутренние противоречия своего мировоззрения. Действительно, *возможен* ли этот идеал, с его же точки зрения? Разве можно вообще остановить неизбежный, по его мнению, процесс смесительно-упростительного развития, который уничтожит государство, Церковь, обезличит человечество, сотрет красоту с лица земли? Все это Леонтьев хорошо понимал, он не любил тешить себя иллюзиями, утопиями; не верил он и в им же самим предписанный рецепт *подмораживания* России; и вот неожиданно додумался до нового крайнего средства — медленного *разогревания!* Вообще же он был настроен пессимистически, не было у него настоящей веры в Россию, и, наконец, он постоянно утверждал, что всякое прочное земное строительство не только *невозможно,* но и *нежелательно* с христианской точки зрения. Истинный христианин должен прежде всего заботиться о спасении души в Царствии Небесном, а не об удобствах и даже не о творчестве в земной жизни. Все же до самой смерти о земных делах, о политике, об эстетике он *пекся* не меньше, если не больше, чем о душеспасении в вечности; за это противоречие его укорял «логист» Вл. Соловьев, не понимавший, что он жил и выражал себя в противоречиях — в своей поэме жизни... Это, однако, не мешало Леонтьеву хорошо разбираться в политике, вообще в современном мире.

«Политический» Леонтьев очень ожил с переменой царствования. Мы знаем, что он отрицательно относился к одобренному Александром II проекту конституции Лорис-Меликова (хотя пря-

---

* *Фудель И.* Культурный идеал К. Н. Л. // Русское обозрение, 1895, I, 268 (также: Памяти К. Л., 111–112).

** Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (Леонтьев, К. Н.).

мо, из уважения к монаршей воле, он об этом нигде не говорил). Он приветствовал поворот имперского корабля новым кормчим — императором Александром III. Казалось бы даже, что в 1881 г. началось царствование в духе некоторых леонтьевских принципов... В 1885—1886 гг. выходят два тома его статей «Восток, Россия и славянство», с посвящением Т. И. Филиппову. Книга эта, с закладками на отдельных страницах, преподносится Государю, который выражает автору высочайшую благодарность. Все же и теперь Леонтьев остается писателем непонятым, непризнанным, хотя в 80-х гг. о нем появляется довольно много отзывов в печати. Он так и не стал литературным генералом, а только «непопулярным полковником» *. А в правительственных кругах он вообще не имел никакого значения. Кое-что здесь объясняется тем, что *всесильный К. П. Победоносцев не любил менее влиятельного Т. И. Филиппова,* главного покровителя Леонтьева в высшей администрации. С этим Леонтьев мириться не хочет и в своей «Записке» делает некоторые очень существенные конкретные предложения, уточняющие его политическую идеологию. Здесь он довольно низко расценивает дворянство и очень высоко — армию и бюрократию: эти утверждения его скорее неожиданные: он ведь отстаивал дворянские прерогативы, не любил чиновничества (но армии всегда симпатизировал). Он говорит в «Записке», что «царские слуги» в мундирах, генерал или губернатор, куда понятнее народу, чем независимый «землевладелец-лорд», которого крестьяне всегда подозревают в каком-то злоумышлении и очень были бы рады отнять у него всю его землю **.

«*Надо стоять на уровне событий,* — поучает Леонтьев, — *надо понять, что организация отношений между трудом и капиталом* в том или другом виде есть *историческая неизбежность* и что мы должны не обманывать себя, отвращая лицо от опасности, а, взглянув ей прямо в глаза, не смущаясь понять всю силу ее неотвратимости в том случае, если сами не поспешим изменить радикально историческое русло народной жизни. Выбора тут нет между дальнейшим ходом либерального гниения, долженствующим разрешиться, вероятно, очень быстро торжеством нигилистической проповеди (ибо нет народа, которого нельзя развратить) и охранительно-прогрессивным или даже, вернее сказать, — *реакционно-прогрессивным* направлением...» ***

Далее он выражается с еще большей определенностью:

---

* Русское обозрение, 1887, I, 399 (К. Губастову, 2 февр. 1887 г.).

** Л VII, 506.

*** Там же, 501–502.

«...если *социализм* не как нигилистический бунт и бред самоотрицания, а как законная организация труда и капитала, как *новое корпоративное принудительное закрепощение человеческих обществ* имеет будущее, то в России создать этот новый порядок, не вредящий ни Церкви, ни семье, ни высшей цивилизации, — не может никто, кроме монархического правительства» *.

Итак, в своей «Записке» Леонтьев предлагает Верховной Власти ввести социализм, который *закрепостит* «общества» (т. е. крестьянские общины) и, может быть, рабочие артели.

Как мы знаем, марксисты (*слева*), а позднее Столыпин (*справа*) выступали против русского общинного землевладения. Столыпин хотел опереть монархию на независимое зажиточное крестьянство, а большевики, уничтожив старый русский «мир», опять *закрепостили* крестьянство в колхозах (а рабочих на фабриках), т. е. как будто по рецепту Леонтьева, но все же по совершенно другим соображениям — для Леонтьева неприемлемым: чтобы загнать население в «социалистическое общество» и там всех граждан «перевоспитать» на коммунистический лад, т. е. уравнять (что им, однако, не удалось, так как советский народ, повидимому, все более «расслаивается» на новые классовые группировки и «омещанивается»). Это более или менее преуспевающее мещанство, как и все еще всемогущую бюрократию в СССР, Леонтьев не мог бы одобрить... Сам он дорожил сильной властью, но ведь не всякой — не бюрократией (хотя по соображениям тактическим и защищал чиновничество в своей «Записке»). Ф. А. Степун утверждает, что в наше время Леонтьев предпочел бы восточный советский мир — западному демократическому миру **. Я же предполагаю: он ненавидел бы оба этих мира и разница была бы только в температуре его ненависти (более повышенной, лихорадочной к Западу, чем к Востоку...). Пусть патриарх Алексий считает себя леонтьевцем (по некоторым очень убедительным данным, известным Ф. А. Степуну), но его «каноссу» [78] Леонтьев не мог бы одобрить, хотя и сочувствовал иногда сотрудничеству царьградских патриархов с турецкими султанами — не христианами, но и не безбожниками (как коммунисты), а мусульманами (которым он вообще симпатизировал...). Скорее

---

* Там же. Близкие мысли высказаны Л. в письмах к Губастову от 15 марта и 17 авг. 1889 г. (Русское обозрение, 1897, V); к Александрову от 3 мая 1890 г. (Памяти К. Л. и Письма, 1915). См. гл. «Прорицания».

** Stepun F. Der Bolschewismus und die christliche Existenz (1962), 179.

всего, он мог бы защищать теорию и практику корпоративного государства в Португалии и в Испании, но и то без увлечения — едва ли бы он верил в прочность режимов Салазара и Франко...

От этих «если бы да кабы» вернемся к проекту Леонтьева. Ему, по-видимому, тогда казалось: может быть, хотя бы и на короткое время, удастся спасти земную красоту, живую жизнь в социалистической монархии... Но ни Победоносцев, ни Филиппов его проекту никакого значения не придавали и положили «Записку» под сукно. Иначе и быть не могло: трудно себе представить, чтобы в 80-е гг. нашлись люди, которые основали бы консервативно-революционную газету для пропаганды социалистической монархии! Леонтьева понимал только Лев Тихомиров, народоволец, ставший монархистом, но сохранивший темперамент революционера. Как мы уже знаем, не нашел он сторонников и среди московских лицеистов и студентов, составлявших его окружение в 80-х гг. Не сочувствовал ему и Владимир Соловьев.

Леонтьев плохо разбирался в революционном движении и только один раз называет Маркса, но он лучше, чем кто-либо в консервативном лагере, знал, где таится настоящая опасность. Его очень раздражало благодушное славянофильство Ивана Аксакова, «розовое» христианство Достоевского, а также недальновидность суровых трезвых политиков Победоносцева, Каткова. Он был зорче их всех и предвидел грядущие бедствия — революции, войны.

СРЕДНИЙ ЕВРОПЕЕЦ

Очерк Леонтьева «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» был опубликован уже после его смерти. Эту статью он начал писать еще в 1872 г. на Афоне и позднее продолжал в Москве, но так и не закончил. По верному замечанию о. И. Фуделя, редактора леонтьевского собрания сочинений, Леонтьев продолжает в ней мысли, уже высказанные им в «Византизме и славянстве» *. Но здесь он уже не скрывает, что основной его подход к истории — эстетический.

Многие современные социологи и историки, пишет Леонтьев, «ставят идеалом будущего *нечто* самим себе, т. е. этим авторам, подобное — *европейского буржуа*. Нечто *среднее:* ни мужика, ни барина, ни воина, ни жреца, ни бретонца или баска, ни тирольца или черкеса, ни маркиза в бархате и перьях, ни трапписта во власянице, ни прелата в парче... Нет, они ведь все очень

* Л VI, 3.

довольны тем мелким и средним культурным типом, к которому по положению своему в обществе и по образу жизни принадлежат они сами и к которому желали бы для общего незатейливого достоинства свести и снизу и сверху окончательно весь мир» *. Торжество этого среднего человека, которого, по его мнению, идеализируют и буржуа, и пролетарии, приведет ко всеобщему смешению-упрощению, к гибели красоты жизни. Это уже знакомая нам основная теза «Византизма и славянства»; и опять Леонтьев ссылается все на тех же социологов и историков, но называет и новые имена. Среди них — Герберт Спенсер, которого ему рекомендовал прочесть один из его друзей, «человек весьма ученый и умный» (может быть, П. Е. Астафьев). Казалось бы, этот английский либерал ничего общего с Леонтьевым не имеет. Но Константин Николаевич согласился все с тем же умным и ученым другом, что они во многих отношениях совпадают. Спенсер почти так же изображает беспрерывный *рост* общества, но, в противоположность ему, Леонтьев предсказывает неизбежное *вырождение* человечества в третьей стадии его развития — в предсмертном смешении всего сложного во имя какой-нибудь новой простоты идеала. Итак, у Спенсера прогресс *бесконечен,* а у Леонтьева — *конечен*. Исходят же они из общего положения: законы истории те же, что и законы природы, и это спорно; общество и природа не то же самое **; наконец, очень спорны все т. н. научные «законы», как исторические, так и натуральные.

О скучном однообразии в коммунистическом обществе Леонтьев судит главным образом по утопии Этьена Кабэ (1788—1854) «Икария», где торжествует принцип — от каждого по его силам, каждому по его потребностям. Он также опять ссылается на Прудона с идеалом анархии, которая тоже должна привести к смешению-упрощению. А Маркс и его жестокая критика французского утопического социализма были Леонтьеву неизвестны... В этом смысле он от своего века отстал, что, однако, не помешало ему многое верно угадать и даже предсказать.

Замечательно, что решающее влияние на Леонтьева-социолога имел Д. С. Милль — его книга «О свободе» (преимущественно глава третья), которой он хотел дать другое название: «О разнообразии» ***. Там английский мыслитель говорит об опасности коллективного ничтожества (collective mediocrity) в современ-

* Там же, 63; ср.: *Mill J. S.* On Liberty.

** См. гл. «Триединый процесс развития», ч. 2.

*** Л VI, 30 (и дальше).

ной демократии и о том, что *эксцентрики* должны оказывать сопротивление бездарному большинству. Эти, и только эти, понятия Леонтьев взял у Милля еще в начале 60-х гг. и позднее постоянно ими пользовался... Ссылки на А. де Токвиля и В. фон Гумбольдта, по-видимому, тоже заимствованы из книги «О свободе». Ему мог бы быть ближе противник Д. С. Милля — Томас Карлейль, но это имя в леонтьевских статьях встречается довольно редко... Чем-то близок ему был и Риль, автор замечательной книги «Land und Leute», в которой он «жалуется, что в *средней Германии умы, характеры и, вообще говоря, люди измельчали и как-то смешались во что-то неопределенное и бесцветное*» * (и это, конечно, вода на леонтьевскую мельницу!). Обличая среднего европейца, Леонтьев опять ссылается на Герцена. А у Шопенгауэра и Эдуарда фон Гартмана он находит подтверждение для своих пессимистических выводов о гибели человечества во всесветной демократии... Ту же тему Леонтьев развивает и во многих других статьях 80-х гг., например в «Письмах отшельника» (помещенных в «Гражданине»). Много внимания уделяет он и текущей международной политике. Иногда — ненадолго — он на что-то еще надеется — на Царьградскую византийскую Россию или на социалистическую самодержавную монархию, но чаще пророчит гибель, сулит смерть; однако этот пессимизм не мешал ему многим восхищаться и испытывать радость бытия...

ПЛЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА

Леонтьев 80-х гг. постоянно повторяет Леонтьева 70-х гг., но кое-что и добавляет или же по-новому заостряет. Он начал с атаки на либералов, социалистов, а теперь нападает и на националистов. Свои полемические тезисы он яснее всего изложил в статье «Племенная политика как орудие всемирной революции» (Письма к И. И. Фуделю — «Гражданин», 1888). Здесь Леонтьев утверждает: национализм XIX века не развивает самобытной культуры, а, наоборот, даже ускоряет процесс смешения-упрощения; и эту свою тезу он иллюстрирует многими примерами, пусть и спорными, но очень яркими. По стилю — это одна из лучших афористических статей Леонтьева. Он быстро развертывает разноцветную карту Европы и ее судит, обличает...

Объединенная Италия менее самобытна, чем та раздробленная Италия, которую воспевали Гете, Байрон, Мюссе, Гоголь... Прежде: «За Альпами начинался для англичан, французов, рус-

* Там же, 36. Wilhelm Heinrich Riehl (1823—1897).

ских, немцев какой-то волшебный мир, какая-то прелестная разновидная панорама...». Но после 1861 г. эта единственно неповторимая Италия все более походит «*на всякую другую европейскую страну*»... Не будет уже прежних процессий в Риме, прежних карнавалов в Венеции и «*прежнего* развратного и набожного, деспотического и ленивого, но обворожительного Неаполя»! Здесь выстроят много фабрик, начнутся стачки голодных рабочих и «обычный комфорт заменит живописный беспорядок старого папского Рима...» *. Если бы Леонтьеву сказали, что за объединение Италии было большинство итальянцев, то он возразил бы, что это большинство — коллективное ничтожество (по Миллю!). Но эстетически с ним многие согласятся. Торжествующая безвкусица памятника Виктору-Эммануилу II — этого символа новой Италии, действительно профиль Рима исказила, обезобразила (чего, однако, нельзя сказать о фашистском неоклассицизме Муссолини...).

Личность Бисмарка Леонтьеву импонирует (он герой его поэмы...), но ему не нравится его империя: Германия французов разбила, объединилась и «офранцузилась», потому что демократизировалась, обезличилась (и здесь он опять ссылается на Риля). В угоду «среднему хамью» (буржуазии) Бисмарк теснит католиков и угождает социалистам... «*Социализм же есть международность по преимуществу, т. е. высшее отрицание национального обособления.* (Значит, и тут национальная политика ведет ко всенародному, антикультурному смешению.)» **.

Франция еще более обезличилась в буржуазно-национальной Третьей республике. Замечательно, что не только Наполеона I, а также и Наполеона III, но даже и Робеспьера Леонтьев предпочитает серым и пошлым фигурам новой Франции — Гамбетте, Греви, Карно... Великий вождь Франции, диктатор или император, продолжает он, может теперь явиться «*только на почве социализма.* Для великого избранного вождя нужна идея хоть сколько-нибудь новая, *в теории уже назрелая,* на деле не практикованная; **идея, выгодная для многих;** идея грозная и увлекательная, *хотя бы и вовсе гибельная потом*» *** (как мы уже знаем, Леонтьев однажды высказался и за превращение России в социалистическую самодержавную монархию...).

А в Соединенных Штатах он оплакивает победу промышленного, более буржуазного и более эгалитарно-демократического

* Там же, 159–161.

** Там же, 179–180.

*** Там же, 186.

Севера над помещичьим, рабовладельческим и аристократическим Югом... *

Леонтьев разоблачает и русский национализм — не буржуазный уже, а консервативный. Он утверждает, что до польского восстания в 1863 г. «и Польша, и Россия, обе *внутренними порядками своими гораздо менее были похожи на современную им Европу, чем они обе стали после своей борьбы за национальность*». В этой и в других статьях он осуждает (хотя и не всегда явно) русификацию Польши, балтийских провинций и сожалеет, что русское общество поддерживает националистическую политику правительства и тем самым служит «все тому же *космополитическому всепретворению*» **.

Об обезличивающем национализме на Балканах Леонтьев постоянно твердил и в 70-е гг. Опять нападает он и на славянофилов: их национализм тоже обманчивый, они тоже служат обезличивающему прогрессу... Он заявляет: «Нужно теперь не славяно*любие*, славяно*творчество*, славяно*особие*. Вот что нужно теперь» ***. И надо понимать: все это возможно в новой византийской империи со столицей в Царьграде, который должен объединить всех православных — и греков, и славян. Но, как мы уже знаем, он сам плохо верил в эту эффектную декларацию славянотворчества, даже в том случае, если внести в нее принудительный социализм и (по замыслу Вл. Соловьева) объединить римского папу с русским царем!

Свою ненависть к либерально-буржуазному национализму, который все национальное обезличивает, убивает, Леонтьев ярче всего выразил в своем знаменитом риторическом вопросе:

«...ибо не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах *для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде* благодушествовал бы “индивидуально” и “коллективно” на развалинах всего этого прошлого величия?.. ****

---

* Там же, 171.

** См. предыдущее примеч.

*** Там же, 189.

**** Л V, Письма о восточных делах (в газете «Гражданин», 1882—1883 гг.); см. также гл. «Писемский».

Здесь — ненависть; но здесь же — и любовь ко всей нашей иудео-эллино-латинской культуре, которую он хотел спасти, возродить здесь, на земле; и обреченную землю он любил не сильнее ли, чем вечное небо, и о жизни-красоте он заботился не больше ли, чем о спасении души в Царствии Небесном, хотя и знал, что в конце концов вечному придется отдать предпочтение перед временем.

ПРОРИЦАНИЯ

Прорицания Леонтьева — самые мрачные. Он — чуть ли не единственный пессимист среди русских философов истории. Даже Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» пересмотрел и смягчил свое отрицательное истолкование истории России, которая будто бы не имеет ни прошлого, ни будущего («Философические письма»). От славянофилов и западников до Бердяева и Булгакова русская мысль жила верой в великое будущее. Наши властители дум видели Россию при свете лампад, в сиянии Нового Иерусалима, в зареве революционного пожара или при ярком электрическом освещении социального и технического прогресса. Пророчества их не совпадали; но грядущее их всех ослепляло. А Леонтьев все видел преимущественно в черном цвете, однако не сразу у него в глазах почернело... В 1872 г. он писал с Афона: «Я верю, что в России будет пламенный поворот к православию, прочный и надолго... Я верю этому, потому что у русских болит душа» *. Но позднее он утрачивает веру в Россию, да и на Афоне она едва ли была у него напряженной, действительной. В письмах Леонтьев был откровеннее, чем в статьях. Губастову он писал, что наш современный национализм (при Александре III) только «эфемерная реакция, от которой лет через 20–30 и следа не останется» (17 августа 1889 г.). Не одна Россия, все вообще человечество «без сомнения, очень устарело» (Александрову, 3 мая 1890 г.; ср.: Розанову, 5 июня 1891 г.) **.

Попытаемся в его прорицаниях разобраться.

1. Европа объединится в либерально-эгалитарную федерацию, в которой восторжествует крайний социализм. Германия еще может быть опасна для своих соседей и сильна на одну-две, даже на три войны ***. Азия скоро пробудится; тогда Россия окажет-

---

* Четыре письма с Афона // Богословский вестник, 1912, XII, 707 (письмо от 23 июля 1872 г.).

** Русское обозрение, 1897, V, 414 (Губастову); Письма А. Александрову (1915); Русский вестник, 1903, V, 174 (Розанову).

*** Л VII, 525.

ся между «свирепо-государственным исполином Китая и глубоко мистическим чудищем Индии» на Востоке и гидрой коммунистического мятежа на Западе... Далее Леонтьев спрашивает: «Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью и, подчиняя им европейский социализм, сумеем ли мы постепенно образовать новые общественные прочные группы и расслоить общество на новые горизонтальные слои — или нет? <...> Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно для того, чтобы окончательно смешавши всех и вся, написать последнее "мани — фекель — фарес!" [79] на здании всемирного государства...» *.

Здесь Леонтьев верно предсказал германский милитаризм, постепенное объединение Европы; все же остальное фантастично и неясно, хотя здесь и можно найти намеки на какой-то русско-евразийский социализм. К этому же можно еще добавить другое предсказание в той же статье («Средний европеец»): «Представим ли мы, загадочные славяно-туранцы, удивленному миру культурное здание, еще небывалое по своей обширности, по роскошной пестроте своей и по сложной гармонии государственных линий, или мы восторжествуем над всеми только для того, чтобы всех смешать и всех скорей погубить в общей равноправной свободе и в общем неосуществимом идеале всеобщего благоденствия, — это покажет время, уже не так далекое от нас...» **

2. В одной из своих последних статей («Над могилой Пазухина», 1891) Леонтьев говорит, что русский народ-«богоносец», от которого так много ждал «пламенный народолюбец Достоевский», станет мало-помалу, и сам того не замечая, «народом-богоборцем»; «...русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути *всесмешения,* и кто знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель *Новой Веры,* — и мы неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших недр, сперва бессловесных, а потом бесцерковных или уже слабоцерковных, родим того самого антихриста, о котором говорит еп. Феофан, вместе с другими духовными писателями» *** (здесь он, по-видимому, имеет в виду еп. Феофана, называемого «Затворником»). *И далее добавляет, что антихрист может быть русским евреем.* Этот вариант близок к первому, но окрашен в тона апокалиптические.

---

* Л VI, 47.

** Там же, 77.

*** Л VII, 425.

3. Наука, техника могут ускорить гибель человечества. От неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений и открытий, сделают наконец такую физическую ошибку, что и «воздух, как свиток, совьется» и «сами они начнут гибнуть тысячами»; и он грехом не считает «от всей души желать, чтобы они, средние всеевропейцы будущего, полетели вверх тормашками в какую-нибудь цивилизацией же ископанную бездну! Туда этой мерзости, этому "пиджаку" и дорога!» *. А в другом письме он говорит, что «всеземная катастрофа» будет вызвана посредством прогрессивного физико-химического баловства» **.

4. Прорицание, связанное с возможностью российской социалистической монархии, о которой Леонтьев говорил в своем проекте новой газеты. Об этом же он писал Губастову: «Чувство мое пророчит мне, что *Славянский Православный Царь* возьмет когда-нибудь в руки *социалистическое движение* (так, как Константин Византийский взял в руки движение религиозное) и, с благословения Церкви, учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот *социализм* новым и суровым трояким **рабством: общинам, Церкви** и **Царю**» ***. Видно, этот вариант социалистической и деспотической монархии его очень занимал, но в печати он о нем говорить не решался.

К сожалению, многие из прорицаний Леонтьева сбылись; но так ли это удивительно? Предсказания сбываются чаще, чем мы думаем... особенно же в тех случаях, когда они даются в разных вариантах!

Был ли Леонтьев пророком? Пророк — иногда и прорицатель, но это прежде всего — *совестный судья* своего народа; угрожая, пугая, он надеется на исправление и всегда готов просить Бога о помиловании; он ненавидит не ближнего, а грехи его. Это же говорил Леонтьев, и все же во многих его прорицаниях слышится злорадство. Очевидно также, что он слабо верил в исправление или излечение в неовизантийской империи или же в социалистической монархии. Ведь Леонтьев — детерминист, убежденный в том, что по законам природы (а на самом деле только по некоторым гипотезам) — земля, человечество и даже весь наш «космос» обречены на неизбежную гибель (это теория энтропии, или тепловой смерти).

---

* Русское обозрение, 1897, V, 401 (Губастову, 15 марта 1889 г.).

** Письма А. Александрову, 94 (5 мая 1890 г.).

*** Русское обозрение, 1897, 417. См. гл. «Социалистическая монархия».

Все же был у него темперамент борца. «Увы! Надо тревожиться и неустанно бороться» *, взывает он в незаконченной статье (1890—1891 гг.). Этой душевной тревоги, этого горения духа не было ни у умных консерваторов (Каткова, Победоносцева), ни у наивных славянофилов (И. Аксакова, Филиппова). Достоевский и горел, и тревожился, но мало считался с фактами, с опасностью именно русского социализма. В победу «Бесов» он не верил.

Что же касается леонтьевского проекта социалистической монархии, то он мог бы быть осуществлен, но — императором-преобразователем *ростом* с Петра Великого! Новые великие реформы могли бы предотвратить революцию; и для этого не нужно было бы созывать Думы; такая контрреволюция сверху вырвала бы инициативу у интеллигенции... Впрочем, все это очень гадательно: нельзя придавать значение утверждениям в сослагательном наклонении. Одно лишь несомненно: Леонтьев был трезвее, даже практичнее многих других тогдашних и позднейших истолкователей русской идеи, русской *стати*.

Существенно также, что за политикой Леонтьева — всегда одна и та же основная реальность: красота живой жизни, которую он изображал и защищал убедительнее, гениальнее, чем все свои политические проекты. В политике у него нечему учиться, хотя он и пытался быть идеологом и многое верно оценивал, угадывал. Если он чему-нибудь учит, то искусству жизни, а не искусству управления.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ОТСТАВКА

В феврале 1887 г. Леонтьев увольняется в отставку. Министр финансов Бунге хотел назначить ему небольшую пенсию в 1800 рублей. Этим не удовлетворились его друзья в правительственных сферах. Их было немного; Победоносцев Леонтьева недолюбливал, а также и его главного покровителя Т. И. Филиппова. Все же последний, при участии министра народного просвещения графа Делянова и товарища министра внутренних дел князя Гагарина, выхлопотал повышенную пенсию в размере 2500 рублей, из них 1500 выдавались на литературные труды. Между тем именно в царствование Александра III правительство должно было бы его «озолотить»... за правильный диагноз «болезней» императорской России (хотя она и казалась тогда очень

* Л VII, 530.

«здоровой»!) и за прописываемые им «лекарства», например за проект социалистической монархии, который едва ли мог бы быть реализован, но все же это был более действительный способ «лечения», чем предписанное Победоносцевым «замораживание». Как мы уже знаем, подхваченное и разнесенное П. Н. Милюковым * словцо Леонтьева о том, что Россию следовало бы «подморозить», не выражало его взглядов в целом; и напомним, что Леонтьев писал о Победоносцеве: «Он, как мороз: препятствует дальнейшему гниению, но расти при нем ничего не будет...» (Т. И. Филиппову) **.

Леонтьев продолжает сотрудничать в «Гражданине» князя Мещерского и в «Русском вестнике» Каткова (позднее Берга), и гонорары значительно увеличивали его заработок. А оптинский старец Амвросий советовал ему требовать побольше денег за статьи и книги.

В этот последний период жизни у Константина Николаевича средств было больше, чем когда-либо прежде, а на себя он тратил мало: не франтил, не разорялся на очередные увлечения и от многих прихотей отказался, но зато много помогал другим. Как и Вл. Соловьева, его одолевали просители, и оба они отказывать не любили. Как-то вместе они устроили вечер в пользу безработного корректора, но чаще помогали из собственных средств или же лично за кого-нибудь хлопотали, что отнимало много времени и очень утомляло. Так, Константин Николаевич устраивал выгнанного со службы станового, оплачивал расходы какого-то изобретателя «греческого огня»! Он же щедро раздавал милостыню и при этом учил нищих, как именно следует просить, — кланяясь не слишком низко и сохраняя собственное достоинство ***. Розанову он предлагал взаймы и ободрял его тем, что в молодости сам легко должал...

Наконец, Леонтьев собирал сведения о своих старых, «допотопных» кредиторах. Губастову он писал, что разыскивает московского портного Матвеева, которому в 50-х гг. задолжал 50 рублей... и каваса Яни в Янине, где он жил в конце 60-х гг. При этом он колебался; не знал, что сделать раньше, перевезти ли в Оптину Пустынь тела родных (матери и тетки) или же удовлетворить янинского Яни; и отдал предпочтение денежному долгу.

---

* *Милюков П. М.* Разложение славянофильства // Вопросы философии и психологии, 1893, V.

** Памяти К. Л., 124.

*** *Стахеев Д. И.* Листочки воспоминания // Историч. вестник, 1907, т. 107.

Здесь он следует своему испытанному принципу: в политике необходима иногда жестокость, а в личных делах — доброта, самопожертвование. Но дело не в принципах... Не очевидно ли, что «аморалист» Леонтьев не мог поступать иначе и, сочувственно увлекаясь чужими заботами, искренно любил ближних. Но всякое упоминание о евангельской любви его всегда раздражало, например у Толстого, а также и у Достоевского!

К тому же разыскивание кредиторов его очень развлекало, как и подарки. Теперь он часто получает денежные повестки (гонорары) и как-то по-детски радуется. Отдача долгов — уже «сильное ощущение» — пишет он Губастову. Или же придут деньги, и: «Лизавете Павловне что-нибудь дал — прыгает, несмотря на свои 50 лет, Варе подарок, платье, Саше бархатную поддевку, нищим роздал, Марье Владимировне послал, студенту бедному, но способному, 25 рублей на приезд в Оптину (вероятно, Александрову. — *Ю. И.*), себе новые книги купил, лошадь купил» *.

КОНСУЛЬСКИЙ ДОМИК

1

После выхода в отставку Константин Николаевич покидает Москву. «Сначала он уехал в Оптину Пустынь один и поселился на время в скиту ее; затем перебрался из него в небольшой двухэтажный дом-особняк с садом, расположенный сейчас же за монастырской оградой, который арендовал у монастыря до конца пребывания своего в Оптиной Пустыни. Сюда выписал он и супругу свою Елизавету Павловну и молодых верных слуг своих — Варю с Сашей, принанял повара не из дорогих <...> и мальчика из соседней деревни, Петрушку, в помощь Варе, у которой пошли уже дети, и Саше, которому прибавилась работа в саду и по уходу за купленной недорого лошадкой для катанья и редких поездок к соседям-помещикам <...> и зажил здесь совершенно своеобразно, какою-то полумонашеской, полупомещичьей жизнью, полною радостно-трогательной, тихой и милой поэзии и пленительной красоты патриархального старинного православно-русского уклада, добродушно-барского и в то же время удивительно изящного и чуткого к движению современной государственной, общественной и литературной мысли (Александров) **.

---

* Русское обозрение, 1897, III, 456, 458 (К. Губастову, 22 дек. 1888 г.).

** *Александров А.* Памяти К. Н. Леонтьева // Богословский вестник, 1915, II, 252. Из соседей-помещиков он упоминает кн. А. Д. Оболенского, кн. Вяземского, Н. М. Боборыкина, Кишкина.

Идилличность этого житья-бытья как будто подтверждается некоторыми замечаниями в леонтьевских письмах: «С тех пор, как я получил увольнение в отставку, я впал в какой-то блаженный квиетизм и стал, точно турок, который молится, курит и созерцает что-то» * (Т. И. Филиппову). А Губастову он сообщает, что не хочет больше писать статьи, а только письма, что куда легче и приятнее. Все же настоящей идиллии не было: к меду примешивалось немало дегтя (разные черные мысли)...

Уютно-помещичья пастораль нарушается литургическим псалмом: «От юности моея мнози борят мя страсти...». Да, Леонтьев все еще страстный человек: уже не любовник, но еще боец — неугомонный постаревший Алкивиад, еще мечтатель — неудовлетворенный, искушаемый Нарцисс. Другие темы его последней — оптинской поэмы жизни: полное отречение, монашеский постриг, размышления о смерти; и замечательно, что ни один из этих мотивов не исключал и не заглушал других, хотя, казалось бы, нет ничего общего между горацианской пасторалью и Давидовым псалмом, между каноном Андрея Критского и отголосками каких-то анакреонтических гимнов... Звуки — очень несходные, но, перечитывая его воспоминания, письма, чувствуешь, что все эти мелодии слагаются в одну симфонию. Общий музыкальный знаменатель всех этих различных, неравных числителей — единственная и неповторимая личность Леонтьева, не только полупомещика, полумонаха, но и неразгаданного гения.

Думается, что его жизнь в Оптиной Пустыни лучше всего показать с разных точек зрения, не в каких-то итогах, а в быстрой смене его переменчивых настроений.

Постараемся поближе ознакомиться с оптинским бытом Леонтьева. Об этом, и более подробно, чем Александров, рассказывает тот из его молодых друзей, который написал о нем воспоминания под псевдонимом Поселянина: это Евгений Николаевич Погожев, консервативный публицист, сотрудник «Московских ведомостей», разных церковных изданий и поэт. Его заметки — несколько наивные, не всегда верные, но все же незаменимые **.

2***

Двухэтажный дом, покрытый белой штукатуркой, — такие бывали и в помещичьих усадьбах, и в провинциальных городах,

---

* Там же. Памяти К. Л., 133 (Т. И. Филиппову, март 1887 г.).

** *Поселянин Е.* К. Н. Леонтьев в Оптиной Пустыни // Памяти К. Н. Л., 383–401. Ниже я использовал эти воспоминания.

*** Изложение преимущественно по воспоминаниям Е. Поселянина-Погожева (Памяти К. Л).

даже в Москве, в арбатских переулках. Никакого стиля, но много уюта — это веселый белый дом.

За домом сад, высокие клены. Золотая осень, шуршат листья. Молодой человек встречает в саду высокого, слегка сгорбленного старика. Это Константин Николаевич. Они входят в дом. За большой передней — просторная комната во всю ширину дома. С одной стороны виден осенний сад, а с другой — река Жиздра.

Хозяин садится в высокое кресло, напоминающее трон; начинается беседа. Здесь редко бывают гости, но здесь всегда рады новому собеседнику. Молодой человек остается погостить. По деревянной лестнице он подымается в кабинет. Отсюда дальше видно, чем в нижнем этаже: не только забор, проезжая дорога, река, но и заречный простор, луга, деревня. Над диваном акварельные портреты родных Леонтьева и его собственный, уже знакомый нам: это большеголовый тонкий юноша, затянутый в студенческий мундир *. Как-то Константин Николаевич признался, что этим своим портретом иногда любуется. Он и в старости был очень привлекателен, но, по его убеждению, — красивы только молодые, а все старики — безобразны!

Константин Николаевич говорит красочно, выпукло и лучше, чем Владимир Соловьев, с которым молодой гость прежде встречался. Иногда хозяин «задавал такую работу мозгам» собеседника, что тот переставал понимать и просил отпустить его на отдых... Все отвлеченное ему не запомнилось, но зато он хорошо передает воспоминания Леонтьева о прошлом и разные его мелкие замечания.

Вот что рассказывал ему Константин Николаевич о своем чудесном исцелении в Салониках:

«Я подошел к этой иконе (Божией Матери. — *Ю. И.*) и, в отчаянии ударив кулаком по столу, закричал:

“Божия Матерь, ты видишь, что мне умереть рано. Дай мне жизнь”» **.

Очень возможно, все именно так и было; и, видно, доходят не одни только смиренные молитвы, произносимые шепотом, на коленях.

На Афоне российского консула приняли очень торжественно: гудели колокола с московской шатровой башни; впереди братии стоял игумен с крестом. А на другой день салоникский консул вошел в келью духовника, «упал ему в ноги и зарыдал»... Это

* Лит. насл. XXII, 429.

** См. гл. «Чудесное исцеление», ч. 2.

уже меньше похоже на правду. Леонтьев тогда, с отчаяния, смирился, но, вероятно, рассказывал все иначе: проще, без упоминания о рыданиях, о припадании к ногам.

Другие замечания или наблюдения Поселянина:

1. Даже в 50-е гг., в пору самого напряженного отрицания, он готов был удушить такого человека, который стал бы что-нибудь говорить против пасхальной заутрени в московском Кремле.

2. Белое белье разнеживает тело, и он уже тогда (в конце 80–х гг.), обходился без простынь; и, может быть, спал помонашески, полуодетый.

3. Поездам он предпочитал экипажи: «...понравится мне какое-нибудь место, хочу полюбоваться видом: “Стой, ямщик”, — и стоит, сколько хочу. Захочу, могу выйти, раскинуть палатку и расположиться в этом месте на несколько дней».

4. За обедом гость протянул руку к солонке, стоявшей посередине стола.

«Ох, как это мне не нравится, — сказал Константин Николаевич, — утешьте меня, поставьте солонку на прежнее место».

«И потом он приказал стоявшему тут же слуге взять солонку и поставить ко мне». Может быть, это был Александр, Саша, которому он по вечерам читал «Войну и мир»... И тот на барина не обижался; Саша ведь был его «дитем души», но вместе с тем и слугой.

Все эти штрихи — драгоценные; в немудрых воспоминаниях Поселянина — Константин Николаевич оживает: мы входим в тот веселый белый дом, видим его, слышим его.

3

В леонтьевских «Записках отшельника» читаем:

«Перед окном моим бесконечные осенние поля. Я счастлив, что из кабинета этого такой далекий, покоящий вид.

Laudaturque domus, longos quae prospicit agros[80].

Я не знаю, какому древнему поэту принадлежит этот стих, но мне он нравится, и я выписал его из одной чужой статьи...» *

«Прекрасен тот дом, из которого вид на широкие поля, и в этом доме я, давно больной и усталый, но сердцем веселый и покойный, хотел бы под звон колоколов монастырских, напоминающих мне беспрестанно о близкой уже вечности, стать равнодушным ко всему на свете, кроме собственной души и заботы о ее очищении».

---

* Это из Горация — Первая эпистола, 10, 23; и я исправил цитату.

«Но жизнь и здесь напоминает о себе! И здесь просыпаются забытые думы и снова чувствуешь себя живой частью того великого и до сих пор не разгаданного целого, которое зовется Россия» *.

Казалось бы, все-таки «идиллия» в эрмитаже, как думали Александров и Поселянин, сравнивавший старого Леонтьева со стареющим Лаврецким «Дворянского гнезда». Господствующее здесь настроение горацианско-идиллическое и православно-монашеское. Но покоя не было. Его мучило самое слово «Россия»: он знал, что из недр ее может родиться Антихрист... Мучило и несовершенство духовное; и никогда не мог он примириться с телесным одряхлением; рассудку вопреки и наперекор недугам он оставался Алкивиадом — и именно в те годы читал французскую монографию о своем любимом герое (вероятно, книгу Henri Houssaye «Histoire d'Alcibiade») **. Наконец, он, неисправимый Нарцисс, все еще продолжал любоваться тем юным — акварельным Леонтьевым-студентом, который «висел» в его кабинете, над диваном; и досадовал, что московские лицеисты и студенты познакомились с ним — уже стариком. Константин Николаевич вспоминает в письме к Губастову (26 мая 1888 г.) о том времени, когда на Балканах он «носил сюртучок *цвета Бисмарк, парижский красный шарф,* вами же купленный, *и белые триковые панталоны* (помните?), и обмывался каждый день Vinaigre de toilette... [81]» И молодой Губастов так хорошо, по-дружески понимал тогда все его эстетические, честолюбивые и даже тщеславные претензии, а теперь он должен иначе держаться с молодежью; подобно тому как noblesse oblige, очень многое его теперь обязывает держаться иначе, избегать откровенности: «Expérience oblige, influence oblige, religion oblige, position oblige, réputation oblige!» ***[82].

Леонтьев никогда не мог примириться со старостью и все вздыхал по молодости. Розанову он писал: «Смолоду я был хорош, а теперь много мелких морщин на лице... У мужиков, у монахов "из простых" и у людей белого духовенства этого нет... Их старость гораздо благообразнее... Морщины *крупные,* кожа *свежее* нашей. Заметьте, это так...» **** Духом он был юн до самой смерти, но это его мало утешало.

Еще одна виньетка к этой главе. Весной 1891 г., уже готовясь к пострижению, он писал Губастову (которого звал к себе в гос-

---

* Л VI, 83.

** См. гл. «Мифология», ч. 1.

*** Русское обозрение, 1897, III, 445 (К. Губастову, 26 мая 1888 г.).

**** Русский вестник, 1903, IV, 649–650 (Розанову, 8 мая 1891 г.).

ти): «Еще не доезжая до оптинского парома, уже будет издали виден, от Калуги на левой руке, около леса, двухэтажный дом (к сожалению, хамски-белый!) с темно-красной крышей и с *маркизой* на среднем широком окне верхнего этажа. Если это будет до обеда (т. е. до 3 часов пополудни!), то вы можете быть уверены, что ваш старый (всячески уже старый!) друг *именно* за этой маркизой сидит в своем кабинете и, конечно, со дня на день ждет вас... Аминь!» * Свой консульский домик Леонтьев очень любил, но его «хамской» белизне он предпочитал разноцветную штукатурку на Балканах и, живя в Оптиной Пустыни, продолжал мечтать о возвращении в Константинополь.

ДРУЗЬЯ И ДОМОЧАДЦЫ

Поселянин, гостивший в консульском домике, познакомился и с женой Леонтьева, Елизаветой Павловной. По его описанию, это — «тяжелая, рыхлая, но вместе с тем быстро двигавшаяся старуха, с космами седых волос, выбивавшихся из носимого на голове платка. Она была совсем как ребенок, добродушный, незлобивый...» **.

Елизавета Павловна заболела душевно еще на Балканах, в середине 60-х гг., лет через 5–6 после замужества. Напомним: происходила она из мещанской семьи — дочь крымского грекалавочника. Леонтьев не раз говорил: образованной жены ему не нужно... и писал Губастову, что Елизавета Павловна выше всех баб и дам и что живут они в мире и любви. Но иногда ему было трудновато. Вот как он описывает свою домашнюю жизнь в письме к Александрову (из Оптиной Пустыни): жена «шляется целый день, нянчит Вариных детей; весела; почти всегда, видимо, счастлива; хотя и ворчит («муж — пьяница! сумасшедший! колдует целое утро у себя наверху!» и т. д., — т. е. занимается в своих покоях, на втором этаже консульского дома). «Видишь все это — и нет уж охоты ее принуждать, стеснять. Я был много перед нею грешен когда-то»; и далее — признается, что для него «крест» не ее слабоумие, а ее неопрятность ***. О ней же Леонтьев писал Александрову уже незадолго до смерти: «...то гневается, то помирает со смеху <...> А когда-то я любил ее, любовался ею... в ней была “самородная, своеобразная, безыскусственная поэзия...” а теперь безыскусственная грязь и неряшество» ****.

---

* Русское обозрение, 1897, VII, 423 (К. Губастову, 25 марта 1891 г.).

** Памяти К. Л., 389.

*** *Александров А.* Письма К. Н. Л., 44–45 (письмо от 30 июля 1888 г.).

**** Там же, 117 (письмо от 26 мая 1891 г.).

Племянница Маша, Мария Владимировна, иногда навещает дядю, но останавливается не в консульском доме, а в гостинице. В хозяйстве, по словам дяди, она «незаменима», но, кажется, Маша не ладила с Елизаветой Павловной; и, по-видимому, старец Амвросий не хотел, чтобы она жила у Леонтьевых, но обязал своего духовного сына выплачивать ей 20 рублей в месяц. Вообще же тут много неясного.

Мария Владимировна не только образцовая хозяйка, но испытанный друг, постоянный секретарь; она Константина Николаевича любила и увлекалась его идеями, а он не раз говорил, что лучше всего его понимают двое: Маша и Губастов. Теперь ей уже за сорок, замуж она так и не вышла. Прежде жила в гувернантках, а теперь учит девочек в монастырском приюте, в Орловской губернии. Женщина она была замечательная, душевно щедрая, и можно только пожалеть, что мы так мало о ней знаем. Кажется, Маше Леонтьев был обязан более, чем кому-либо в жизни.

Уже знакомы нам Александр и Варя, балованные слуги-друзья, на которых он часто «ворчал», но и читал им «Войну и мир». Разные народники и сам Толстой сближались с народом, но у кого из них «простолюдины» приняты были в семью? Стали «детьми души»? Кажется, ни у кого... Варя красотой не отличалась, а Александр — это тот красавец, которого они встретили на паперти после обедни и оба облюбовали... У них родилось пятеро детей, но двое умерли в младенчестве. Варя всегда долго кормила: ей казалось, что это убережет ее от новой беременности; и Леонтьев ей сочувствует: мы знаем, детей он недолюбливал.

В Александре же пришлось разочароваться. Он начал покучивать с товарищами и увез горничную из имения князей Вяземских. Константин Николаевич сердится, огорчается, но в письме к Александрову старается как-то «извинить» своего фаворита: все это одно молодечество...

Леонтьев выхлопотал ему место урядника. Александр был видный парень, его сразу же послали встречать губернатора, и тогда Константин Николаевич им очень гордился. Но Саша опять начал «гулять», становой приходил на него жаловаться, грозился рассчитать; и вот новые заботы: если он лишится места, но поедет к отцу в подмосковную деревню и, вероятно, вытребует к себе Варю, которой придется жить в грязной тесной избе, а она привыкла к чистоте и холе. Все эти нелады продолжались до самого отъезда Леонтьева из Оптиной Пустыни.

Московская молодежь, бывшие лицеисты — не забывали Леонтьева и навещали его. Прежде всего назовем поэта Ивана

Ивановича Кристи. Но, к сожалению, почти ничего не известно об этом его любимце, который помогал ему издавать книги. Константину Николаевичу очень нравился этот «вечно чем-то не всегда понятным» обуреваемый юноша... Ваня Кристи поехал потом на Кавказ, начал там «сбиваться, заговариваться» и рано умер. Леонтьев в Оптиной Пустыни постоянно о нем справлялся, беспокоился.

Анатолий Александрович Александров, тоже из московских лицеистов, и он писал стихи*. Несколько его стихотворений посвящены Леонтьеву, но тот находил в них мало «самобытности» и был прав: это бессловесная поэзия, рифмованные шаблоны. Александров тогда готовился к профессуре, и это Леонтьеву не нравилось. Он говорил, что поэзия и профессура несовместимы. Все же он за него хлопочет у графа Делянова (министра народного просвещения) и предлагает ему тему для диссертации: сравнение Жития преп. Дмитрия Ростовского с греческими житиями. «Конечно, выйдет для нас не слишком лестно, — пишет он, — ибо если святость равная, то уж творчество трудов подвижничества <...> будет все на стороне византийцев: наши Святые только повторяли их, так сказать, изобретения на аскетическом пути!» ** Мысль очень леонтьевская и уже нам знакомая.

Александров был домашним учителем Андрея, одного из сыновей Толстого, а позднее жил на кондициях у ярославского фабриканта Л. Н. Пастухова. Был он тогда очень беден и несколько раз гостил у Леонтьева. Александров, с благословения старца Амвросия, женился на простой девушке. Леонтьев тоже этот брак одобрил, и его ведь жена была из простых. Вместе с тем он дает своему молодому другу разные наставления: жена его не должна говорить «про́центы», и ей не следует «принимать в кофточке знакомых», а также бросать окурки на пол... ***

Навещают его и другие москвичи — рано умерший публицист Ю. Н. Говоруха-Отрок (1850—1896); принявший священство И. И. Фудель, впоследствии много писавший о Леонтьеве. Он также упоминает двух малоизвестных поэтов Е. Н. Погожева и Л. И. Пальмина.

Как-то к нему зашел некто Ф. П. Чуфрин, учившийся в семинарии, — атеист, обращенный старцем Амвросием. С ним Константин Николаевич проговорил 12 часов, с полудня до полуночи. Леонтьев писал об этой беседе Александрову: «Все-таки у

---

* См. гл. «Московские лицеисты» и «Литературные портреты», ч. 3.

** *Александров А.* Письма К. Н. Л., 109 (письмо от 20 сент. 1890 г.).

*** Там же (письмо от 7 октября 1888 г.).

него Евангелие, равенство, любовь...» и твердил гостю о страхе Божием, о собственном спасении и о том, что «правильная эстетика, даже и деспотическая, менее опасна для религии, чем чистая (безбожная и небогобоязненная) мораль» *.

Леонтьев не только горячо спорил, но и мирно развлекался. Так, Розанову он писал, что любит заниматься раскладыванием гранпасьянса. Один из его романтических героев, Милькеев («В своем краю»), сравнивал свою жизнь с быстрой игрой в штос, а жизнь матриархальной Новосильцевой — с медленным пасьянсом. Леонтьев знал и то и другое: на Балканах — риск, азарт, а в Оптиной Пустыни — «игру в терпение».

На Страстной неделе Константин Николаевич занимался раскрашиванием пасхальных яиц и считался мастером этого дела. Перед Светлым праздником он обычно давал подробные инструкции Александрову о покупке лучших красок — «не в плитках, а порошком, в пакетиках... труднее всего голубой и зеленый хороший найти...» **

Литературный дар Леонтьева — преимущественно живописный, и поэтому его всегда тянуло к живописи. Кажется, он занимался рисованием, как и его консул Благов («Одиссей Полихрониадес»). Того же Александрова он просил послать ему в Оптину Пустынь акварельных красок с кисточками. Судя по его замечаниям о картинах Айвазовского, его интересовала техника живописи: для изображения морской зыби нужны голубые овалы на гребне зеленоватой волны... ***

Иногда к нему приезжали соседние помещики, и не для одних споров. 30 июля 1889 г. у него собралось большое общество: князья Оболенские, Вяземские и другие знакомые. Было весело и уютно; один из гостей разыгрывал хироманта, гадал по рукам... Это опять похоже на идиллию, но далеко не все было столь же безмятежно-идиллично.

Леонтьев упоминает о других помещиках, приезжавших в Оптину Пустынь, и не к нему в гости, а для молитвы, даже пострига, к которому он сам постепенно готовился: «Недавно в наш Оптинский скит поступили послушниками двое молодых людей из лучшего нашего дворянства: Ш-ский и Чер-в. Они двоюродные братья. Оба женаты; супруги их молоды и красивы <...> И мужей и жен одели здесь, в Оптиной, в монашеское платье, и обе молодые дамы уже уехали в Воронеж, а мужья оста-

* Там же, 101 (письмо от 11 июня 1890 г.).

** Там же, 37 (письмо от 30 марта 1888 г., а также от 15 марта 1889 г.).

*** Л VII, 280.

лись в скиту». Присутствовавший при их разлуке «старый монах-гостинник, человек торговый и вовсе не особенно чувствительный, плакал, глядя на них, и восклицал: “Господи! Да что же это вы делаете! Да как же это вы, такие молодые, расстаетесь!..”». А для Леонтьева — это «добрые вести» (так называется этот его очерк); и он так комментирует этот случай: «Вот это — истинный христианский страх! Страх от избытка земного благоденствия. Это высшее проявление того аскетизма, без некоторой доли которого и в мирской жизни нет настоящего христианства» *. Ш-ский — это, по-видимому, Борис Вячеславович Шидловский, кузен С. А. Толстой; он посетил Льва Николаевича, когда тот был в Оптиной Пустыни. «Борис говорил, что цель мира и человечества — пополнение ангелов», — записывает Толстой (27 февраля 1890 г.). Шидловский ему нравился, но согласиться с ним он не мог... **

Леонтьеву хотелось, чтобы было побольше монахов из дворян. Но это не значит, что в нем «говорило одно классовое чувство», хотя оно у него и было развито. Существенно другое: он думал, что в эпоху торжествующего безбожия необходимы образованные монахи (и не только дворяне). «Надежды серьезные надо основывать на такой религиозности, которая в силах перерасти рационализм и отрицание» ***, — писал он в том же очерке («Добрые вести»). Об этом он твердил без устали и без успеха...

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

После переезда из Константинополя в Россию в 1874 г. Константин Николаевич написал ряд замечательных воспоминаний, с которыми мы уже ознакомились. Существенна и его очень сжатая интеллектуальная автобиография, которую находим там, где ее едва ли кто-нибудь стал искать, — в уже упоминавшейся статье «Два графа» (Алексей Вронский и Лев Толстой, 1888). Пора подводить итоги жизни и творчества Леонтьева, и поэтому лучше всего обратиться к этому источнику. Многие оценки и признания уже хорошо нам знакомы, но все же не мешает их напомнить в изложении Леонтьева.

Юность: «Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж. Санд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик, и почти нигилист. Романтику нравилась война; нигилисту прети-

* Там же, 380–381.

** *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч., т. 51, 23.

*** Л VII, 402.

ли военные. Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей» *.

Юношеский нигилизм в ранних рассказах Леонтьева не отразился. Но отразилось романтическое мечтательство, особенно в «Подлипках». Герой этого романа Ладнев напоминает жоржсандовских слабовольных денди и тургеневских лишних людей. От Белинского же Леонтьев никогда не отрекался и в очерке о Толстом хвалит его книгу о Пушкине, хотя совсем иначе Пушкина понимает и оценивает.

Революция: «*Даже и революция* мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооруженная борьба, сражения и "баррикады" и т. п. *О вреде* или *пользе* революций, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал. Я, сам того не не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не *штатскую* цель их <...> воинственные средства революции заставляли меня забывать — их уравнительные *пошлые* цели» **.

Так думал, чувствовал и Милькеев («В своем краю») — не нигилист, а эстет и революционер.

Перелом: «Время счастливого для меня перелома этого — была смутная эпоха польского восстания; время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских нот и блестящих на них ответов князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в моем уме была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые зимние петербургские ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья... Я *идеями* не шутил и нелегко мне было "сжигать то", чему меня учили поклоняться и наши и западные писатели...» ***

Это признание подтверждает, что сам Леонтьев — русский интеллигент, который идеями не шутит и с горечью сжигает, чему поклонялся: самый язык этот типично интеллигентский! Идейный и беспочвенный интеллигент — это удачное определение Г. П. Федотова — вполне к нему применимо ****.

---

* Л VII, 265.

** Там же, 265–266.

*** Там же, 266.

**** *Федотов Г. П.* Новый град (1952), 15–17.

Красота: «Эстетика жизни (не искусства!.. Черт его возьми, искусство — без *жизни!..*), поэзия *действительности* невозможна без того *разнообразия — положений* и *чувств*, которое развивается благодаря неравенству и борьбе...» *

Вот его почва, которую он обрел после отказа от интеллигентских идеалов, но не от интеллигентской идейности (зрелого Леонтьева можно определить как идейного врага интеллигенции, т. е. тоже интеллигента по типу...). Красоту же, основную его «реалию», ему отчасти помог открыть Аполлон Григорьев.

Переоценка политическая: «*Эстетика спасла во мне гражданственность* <...> для меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону всестороннего развития или на сторону лжеполезного разрушения. Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьевым-Виленским; я поехал и сам на Восток с величайшей радостью — защищать даже и православие, в котором, к стыду моему, сознаюсь, я тогда ни бельмеса не понимал, а только любил его воображением и сердцем» **.

Эта политическая (и историческая) переоценка была продумана и определена довольно поздно, вероятно в Янине, около 1870 г.

Переоценка духовная: «Государство, монархию, "воинов" я понял раньше и оценил скорее; Церковь, православие, "жрецов" — так сказать — я постиг и полюбил позднее; но все-таки постиг; и они-то, эти благодетели мои, открыли мне простую и великую вещь — что всякий может уверовать, если будет искренно, смиренно и пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании ее. И я молился и уверовал. Уверовал слабо, недостойно, но искренно» ***.

Эта духовная переоценка произошла в Салониках (1871) после чудесного исцеления Божией Матерью и позднее, на Афоне. Итак, у Леонтьева — две почвы: красота, поэзия действительности и веры, церковное православие; обе эти леонтьевские «реалии» — разные, не совпадающие; и он эту антиномию изживал в своей поэме жизни.

Выводы: «С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти "жрецы и воины" (епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в кото-

---

* Л VII, 267.

** Там же, 267.

*** Там же, 267–268.

ром первенствует “софист и ритор” (профессор и адвокат)... Первые придают форму жизни; они способствуют ее охранению; они не допускают до расторжения во все стороны общественный материал; вторые, по существу своего призвания, наклонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерасторжению...» *

Здесь соблазнительно легко было бы свести новое почвенничество Леонтьева к этой триаде: красота, вера и государство. Но этого сделать нельзя: понятие государственности у «этатиста» Леонтьева неравноценно первым, более существенным, «реалиям» — красоте и вере.

Наука: далее Леонтьев говорит о науке, которая должна «*свободно* и *охотно* служить не сама себе только и не демократии, а религии, как служит самоотверженная и честная служанка царице». Здесь он ссылается на «благородно порабощенные вере» книги — «Позитивную философию» еп. Никанора, «Критику отвлеченных начал» Вл. Соловьева и на Хомякова... **

Семья, школа и литература: «В семье *своей,* как бы ее ни любили, есть нечто будничное и фамильярное; самая хорошая семья действует больше на сердце, чем на ум; в семье мало для юноши того, что зовется “престижем”. В многолюдном учебном заведении — всегда есть много официального и тоже — будничного <...> Только одна литература из всех трех орудий влияния всемогуща; только она одарена огромным “престижем” важности, славы, *свободы и удаления*» ***.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: она престижем обладает, но, спрашивает Леонтьев, — «что делала русская литература с того времени, как Гоголь наложил на нее свою великую, тяжелую и отчасти все-таки “хамоватую” лапу?.. <...> Изображала правду жизни, скажут мне... Ах! Полно — так ли? Нет, не так! Жизнь, изображаемая в наших повестях и романах, была постоянно ниже действительности...» ****.

Я уже отмечал, что Леонтьев Гоголя не понимал... или же понимал его по Белинскому, Чернышевскому, для которых он был родоначальником обличительного направления, тогда как Пушкин — эстетического (по Дружинину). Обличителей же Леонтьев ненавидел за отрицание его новых святынь, красоты, веры и за разложение государственности.

---

* Там же, 268. Епископ Никанор (1827—1890).

** Там же, 268.

*** Там же, 271.

**** Там же, 272.

ИСКУССТВО: по Леонтьеву, оно не столько отражает жизнь, сколько меняет наш взгляд на жизнь, научает нас иначе видеть предметы. Так, кто-то ему сказал, что надо писать на картине голубоватую тень на снегу, и после этого он увидел эту голубизну в действительности*. Но эта эстетическая функция искусства тогда никого не интересовала. Критики, как левые, так и правые, думали, что литература должна правдиво отражать жизнь, а также и поучать, т. е. указывать идеалы, которые выше жизни. Но у Леонтьева рябило в глазах от «натуралистических мух» у писателей «гоголевской школы», и он не замечал их революционной героики (напр<имер>, у Некрасова).

Совершенно очевидно, что всего богатого материала жизни и творчества Леонтьева эта его интеллектуальная автобиография не исчерпывает. Здесь только схема его развития-становления и его общего мировоззрения: и в этом ее назначение.

Может быть, одновременно с этими заметками Константин Николаевич написал замечательное письмо молодому другу — И. Фуделю (6 июля 1888 г.)**, в котором он говорит уже не об интеллектуальном развитии, а о своем мировоззрении в целом; и на это письмо я буду ссылаться в последующих — завершающих главах этой книги.

ЧТЕНИЕ, ПИСАНИЕ

В своем консульском домике Леонтьев много читает. Через Губастова он выписывает новые труды по византийской истории (Рамбо, Папарригопуло)***[83]. Но его представление о Византии уже сложилось ранее, и он его более не пересматривает.

Леонтьев продолжает увлекаться Шопенгауэром и, в особенности, Эдуардом фон Гартманом. Шопенгауэровское учение кажется ему непонятным, слишком метафизичным. Он не умел, да и не хотел мыслить отвлеченно и, по собственному признанию, предпочитал писать, «слегка порхая по цветочкам чужого ума...» Оба германских «пессимиста» нужны были ему для подтверждения его собственного «пессимизма»; на земле будет все хуже, земной рай невозможен: ни коммунистическое общество, ни Новый Иерусалим! Именно в те годы он начал повторять: «Человечество, без сомнения, очень устарело» ****. Почему? По-

* Там же, 280.

** Русское обозрение, 1895, I; см. гл. «Социалистическая монархия», ч. 3.

*** Alfred Rambaud (1842—1905); K. Paparrigopoulo (1851—1891).

**** См. гл. «Прорицания», ч. 3.

тому что «сухой рассудок все растет и растет; и воображение, чувство, фантазия и даже воля — все слабеют и слабеют» *. Леонтьев не знал, что «устаревшее человечество» иногда неожиданно «расцветает» осенью — в эпохи декаданса; он ведь умер до появления русских декадентов и не читал Бодлера или Верлена, не слышал о Ницше и только где-то упомянул о Максе Нордау...

Одновременно Леонтьев изучает социалистические учения. Ему хочется узнать «последнее слово социализма», в будущность которого он верил (как, по его словам, и М. Н. Катков). Это же он хотел высказать в печати: «Социализм, так или иначе — *восторжествовать должен*» **. Как мы уже знаем, он считал, что победит социализм не либеральный, демократический, а тиранический — «феодализм будущего» (т. е. тот строй, который теперь называется тоталитарным), и торжество его можно ожидать не на Западе, а в России, думал Леонтьев. Здесь он опирается на авторитет еп. Феофана ***, но, по-видимому, высказывается ярче, определеннее. А для предотвращения социалистической опасности «необходим могучий Царь», опирающийся на дворянское сословие и крестьянские общины. Все эти мысли (но без упоминания о своем прежнем проекте социалистической монархии) Леонтьев изложил в очень яркой статье «Над могилой Пазухина» (1847—1891), консервативного деятеля и публициста 80-х гг. Статью эту читал император Александр III.

Константин Николаевич перечитывает Прудона, Луи Блана, знакомится с Лассалем и даже с «тяжелым» Карлом Марксом, но по всему видно, что его суждения о социализме основаны были преимущественно на изучении французских «утопистов». Азбуки марксизма он не знал, но это не помешало ему, и лучше Достоевского, описать ленинизм, большевизм! ****

По прибытии в Оптину Пустынь Леонтьев хотел писать преимущественно воспоминания. Его также увлекала тогда литературная критика (статьи о Толстом, Достоевском). Все же он продолжает заниматься философической и политической публицистикой и сотрудничает в газете кн. Мещерского «Гражданин». Но ничего нового во всех этих писаниях мы не находим: его философия истории, его политические взгляды вполне опреде-

---

* Л VIII, 416 (Над могилой Пазухина // Гражданин, 1891).

** Там же, 526 (из неопубликованной статьи 1890—1891 гг.).

*** Там же, 420. Здесь Леонтьев ссылается на книгу еп. Феофана «Отступления в последние дни мира»: Душеполезные размышления. 1881, вып. 7, 9–10.

**** См. гл. «Прорицания», ч. 3.

лились в 70-х и отчасти в 80-х гг., до приезда в Оптину Пустынь. Правда, была новизна в его последних мрачных прорицаниях о грядущей судьбе России. Лучшее из всего им написанного в консульском доме — это воспоминания и эпистолярная проза; в письмах тоже почти нет новых идей, но именно в них Константин Николаевич заканчивает свою вечно новую поэму жизни: Леонтьев-мыслитель все уже продумал и часто повторяется, но еще жив Леонтьев — лирический герой, Нарцисс, готовящийся к постригу и к смерти и до самого конца привязанный к земной пестрой жизни, которую он так любил.

В Оптиной Пустыни Константин Николаевич задумал несколько романов, но ни одного из них не закончил, а некоторых, кажется, даже и не начинал. В советском литературном архиве хранятся фрагменты его романа «Последний луч», о котором он дважды упоминает в письмах к Александрову (1889)*. Эта повесть должна была быть автобиографической. «Ибо разве можно найти форму иную для выражения пережитого, кроме прямой, подробной и откровенной биографии? По-моему, нельзя. Изменить немного обстоятельства (для приличия и т. п.) — и *чувства дорогие* глубоко изменятся». Признание — замечательные. Леонтьев выдумывать героев не умел — все его романы автобиографичны; и можно только пожалеть о том, что иногда он старался вымышлять, и почти всегда неудачно.

Губастову он писал (в августе 1889 г.), что хочет окончить давно начатый роман («помните, Маврокордато, *вроде* Ону, философствует в русской деревне»)**. Ону — дипломат, константинопольский приятель Константина Николаевича ***, который вообще в России почти не жил, и, весьма возможно, этот Маврокордато — сам Леонтьев, но с греческим именем... В другом письме к Губастову Константин Николаевич упоминает о романе «Подруги», который он начал зимой 1889/90 г. **** Обе повести предназначались для нового журнала кн. Д. Н. Цертелева «Русское обозрение», но рукописи их, по-видимому, не сохранились. Наконец, биограф Коноплянцев сообщает, что в Оптиной Пустыни он задумал два романа: 1) «Святогорские отшельники» — с изображением обращения современного человека к православной вере и 2) «Пророк в отчизне», начатый еще в 1879 г., «с описанием душевной драмы человека, у которого трагедия серд-

---

* *Александров А.* Письма К. Н. Л., от 15 марта и 20 окт. 1889 г.

** Русское обозрение, 1897, 418 (письмо Губастову от 17 авг. 1889 г.).

*** М. К. Ону, см. гл. «Константинопольские дамы», ч. 2.

**** Русское обозрение, 1897, VI, 908 (3 авг. 1890 г.).

ца идет вперемешку с проповедью морали...» * Возможно, что здесь упоминаются одни и те же повести, но под разными названиями. Розанову он писал, что до начала 70-х гг. считал себя «романистом гораздо более, чем публицистом» **, и стремился создать какое-нибудь замечательное художественное произведение; но лучшие свои романы («Одиссей Полихрониадес» и «Египетский голубь») он написал во вторую половину жизни, когда увлекался публицистикой. В последние же годы, в Оптиной Пустыни, он едва только приступал к исполнению новых художественных замыслов.

СЛАВА...

«...Мало обо мне писали другие, мало порицали и мало хвалили...» — жаловался Леонтьев в письме к Розанову ***. Обычно все ждут похвалы, а он мечтал даже о хуле! Отрицательные отзывы его не раздражали, например ехидная критика Лескова об очерке «Наши новые христиане» (Новости, 1883): Лесков «зовет меня инквизитором, говорит, что я хочу, чтобы профессоров "секли" (я этого *не говорил,* но не скрою от вас, что я против этого, *не шутя,* ничего не имею...)», — пишет Леонтьев и в том же письме говорит, что лесковские отзывы, хотя и не совсем добросовестные, но зато острые (Губастову) ****. Леонтьев также ничего не имеет против выпадов славянофила, генерала А. Киреева и профессора философии П. Е. Астафьева, который сперва пытался популяризировать его идеи в публичных лекциях, а позднее с ним спорил, его порицал. Розанову же Леонтьев писал о том, что Вл. Соловьев, Фет, В. А. Гринмут и даже Н. Н. Страхов почти превозносили его в частных письмах и в заглазных беседах. «А в печати — ни-ни!» ***** И это замалчивание его удручало. Это дало повод Розанову сказать, что «все сочинения Л-ва похожи на страстное письмо с неверно написанным адресом». Позднее же Б. А. Филиппов так назвал свой замечательный очерк о Леонтьеве («Страстное письмо с неверным адресом») [6]*.

---

* Памяти К. Л., 136.

** Русский вестник, 1903, V, 180 (13 июня 1891 г.).

*** Там же, IV, 646 (8 мая 1891 г.).

**** Русское обозрение, 1896, XI, 445 (4 июля 1885 г.).

***** Русский вестник, 1903, IV, 648 (8 мая 1891 г.).

[6]* Там же, VI, 431 (примечания В. Розанова); Б. А. Филиппов — Мосты, IX (1962) и X (1963).

Губастов говорил Константину Николаевичу перед отъездом его из Константинополя в Россию: попытайтесь сделаться литературным генералом! А я стал только «непопулярным полковником», — шутил Леонтьев *.

Розанов, комментируя леонтьевские письма, говорил: «Может быть, в истории литературы это было единственное по напряженности ожидание успеха; и природа, так сказать скучая произвести до утомительности подготовительный факт, просто ленилась подойти к этому кладезю ожидания и положить цветок в давно протянутую руку»... **

У Леонтьева было честолюбие, было и тщеславие, но и нечто большее — страстное желание что-то сделать, изменить и не менее страстное желание поделиться творческой радостью... Напомним здесь, что Гоголь, Достоевский, Толстой столь же откровенно жаждали славы, и она в конце концов «надоела» только самому прославленному из них — Толстому.

В 1889 г., в парижском журнале «La Nouvelle Revue» *** была опубликована статья о Леонтьеве за подписью Чернова. Это псевдоним Портье д'Арка, который долго жил в Петербурге и занимался там преподаванием французского языка. Леонтьев писал Губастову: эта «статья лестна для меня в высшей степени, но факты многие неверны и года даже перепутаны. Это, разумеется, не беда; во всяком случае, из "наших" никто так *пламенно* обо мне не писал» ****. Но статья эта «пламенной» не была... «Портрет» Портье д'Арка — занятный, хлесткий фельетон о малоизвестном странном писателе, который проповедует неравенство и красоту; его парадоксальные идеи не лишены интереса, но все же это только «une vrai chimère de poète» [84]. Впрочем, и у самого Леонтьева иллюзий не было: «одна коротенькая статья в Париже — это разве *слава*?» На нее могли бы отозваться немногочисленные поклонники графа Гобино во Франции и в Германии, но этого не произошло; а сам Леонтьев не знал автора книги о «Неравенстве между расами» *****.

Леонтьев утешал себя тем, что постоянное замалчивание — кара Божия за его грехи. «Наказывая *здесь*, Бог, быть может, помилует там» (пишет он Губастову). Но далее добавляет: «Те-

---

* Русское обозрение, 1897, I, 399 (2 февр. 1887 г.).

** Там же, 646.

*** *Tschernoff*. Un portrait littéraire russe: M. Constantin Leontieff, La Nouvelle Revue, v. LVIII, 754–764, Paris, 1889.

**** Русское обозрение, 1897, V, 416 (письмо Губастову от 17 авг. 1889 г.).

***** См. гл. «Гобино», ч. 2.

перь, и гораздо больше приди слава, я через нее авось либо при помощи Божией не зазнаюсь и не забудусь» *. Значит: все еще надеялся, все еще мечтал о награде здешней, а не тамошней...

Другое утешение: «...*нынешние формы* литературной славы мне ужасно не нравятся. *Некрасиво*. Я понимаю, что когда кто-нибудь из наших генералов *въезжал* верхом в Адрианополь, например с музыкой, — так это хорошо. Но ведь это *чувство* разделял с начальником и всякий неизвестный офицер и солдат. Ну, а литература?... Вошел *маститый* (!) юбиляр (?) в *черном фраке!*.. И к тому же все они такие дураки в этом отношении... *Пишут* поэзию, а сами ее *не соблюдают* в жизни. Натащут на юбилей старых своих жен и целое гнездо детей... и фраки, фраки, фраки. Очень некрасива *физически* нынешняя слава писателей. Вот слава и *жизнь* — это — Байрона... Этому можно и позавидовать, и порадоваться. Странствия в далеких местах Турции, фантастические костюмы, оригинальный образ жизни, молодость, красота, известность такая, что одной поэмы расходилось в 2 недели по *40 000 экз*... Сама ранняя смерть в Миссалонгах, хотя бы и не в бою, — венец этой прекрасной, хотя, разумеется, и нехристианской жизни» **, — заключает Леонтьев, оптинский «отшельник», духовный сын старца Амвросия (1888).

Фету он писал, — объясняя, почему именно он не поехал на празднование его юбилея: ему не хотелось облекаться во фрак!.. Далее он говорит о своем фанатизме «ярких красок и красивых линий, колорита и складок...», о том эстетическом фанатизме, «который я, как видите, безумно, упорно и бесстыдно готов исповедовать!..» Да, языческий Леонтьев все не сдавался в православной обители. Сколько нерастраченной силы и какое страстное «алкивиадство» вложено в эти три наречия: безумно, упорно, бесстыдно... В том же письме к Фету он блеснул еще этим — известным своим афоризмом: «...что же можно чувствовать, видя именно — *видя глазами*, что русские люди до сих пор еще и на балах танцуют, и свадьбы играют, и праздники такой радужной поэзии, как ваша, празднуют все в том же *куцем трауре, который Запад надел с горя по своему великому, религиозному, аристократическому и артистическому прошедшему!*» ***.

Итак, непрославившийся Леонтьев всласть поиздевался над современной чернофрачной славой, и эти его филиппики должны были бы войти в самую избранную антологию его творений!

---

* Русское обозрение, 1897, V, 416 (письмо от 17 авг. 1889 г.).

** Там же, 1897, III, 451–458 (письмо от 22 дек. 1888 г.).

*** Л VII, 496.

Здесь Леонтьев — мастер своего стиля: тут и забавная ругань: «натащут своих жен...»; и — пафос с особенными интонациями: «Вот слава и жизнь — это — Байрона....». У кого еще можно найти такой насыщенный синтаксис с этой градацией восходящих ударений на словах: *жизнь — это — Байрона*?!

Если фантазировать, то можно было бы сказать: Афродита, Афина или какие-нибудь богини избавили его от безобразного — буржуазно-фрачного — прославления и не воздели на него лавровый венок, как на Достоевского, одетого во фрак (на Пушкинском празднике в 1880 г.)... Леонтьев — Алкивиад и Нарцисс — достоин был другого, более живописного увенчания...

Что еще могли бы для него сделать небожители?! Устроить ему, белому генералу, триумфальный въезд в Царьград, Тегеран, Бомбей, Пекин? То, о чем мечтал леонтьевский герой Дели-Петро (в романе «Одиссей Полихрониадес»)? И о чем он, может быть, тоже втайне грезил?.. Но колесо Фортуны, несомненно, сломалось бы при таком резком повороте мировой истории...

Слава — вообще явление загадочное! По-видимому, особенный успех имеет одна вещь: соблазнительный образец для подражания. Примеры: байроническое поведение европейской молодежи в 10-х и 20-х гг. прошлого столетия; или же в нашем веке — поведение по Достоевскому: если для митрополита Евлогия идеалом был Алеша Карамазов, то для Альбера Камю — безбожный святой Кириллов... [85] Но, может быть, более всего соблазняет «достоевское» времяпрепровождение, «достоевская» атмосфера: споры русских мальчиков о Боге, и непременно в распивочной, а за неимением ее, в парижском кафе, в американском баре...

Можно ли подражать Леонтьеву? Его имперско-империалистические консулы вывелись... И едва ли кто-либо захотел бы стать таким безблагодатным монахом, каким был Леонтьев! Но леонтьевскими глазами можно видеть мир — живописно-яркий, линейно-извилистый, всегда обреченный на увядание, но сейчас все еще прекрасный. Это — мгновенный земной рай, который, по Леонтьеву, обрекает всех его анакреонтических или романтических жителей на вечную погибель, но тем не менее не теряет своего очарования и продолжает манить, заманивать! Более того — самое несовершенство этого обманчивого и рокового райского видения обостряет красоту, усиливает искушение и обосновывает то эстетическое исповедание, которое Леонтьев так «безумно, упорно и бесстыдно» утверждал в Оптиной Пустыни, хотя и старался всеми силами себя обуздать, угомонить, преодолеть.

ДВА ГРАФА: ВРОНСКИЙ И ТОЛСТОЙ

Многие критики и читатели укоряли Леонтьева за его пристрастие к Вронскому! Да, он этого толстовского героя всегда превозносил:

«Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации» *.

Далее он вступает в спор с молодым, даровитым и рано умершим критиком М. С. Громека (1852—1883). В 80-х гг. его нашумевшая книга «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого» (1883) выдержала три издания. Лев Николаевич как будто одобрил его истолкование «Анны Карениной». Громека этот роман продолжает... Вронский умирает на Балканах от тифа, а сам критик посещает постаревшего Левина в его имении и беседует с ним о всечеловеческой христианской любви! Леонтьев набрасывает другой эпилог. Вронский прославляется под Плевной, на Шипке и позднее назначется губернатором... Умирает «незначительная и практическая Китти; а Левина, который, как часто бывает с людьми исключительными, сильно привязан к этой весьма обыкновенной и не всегда приятной женщине, я, после этого удара, или заставил бы смириться перед Церковью, ездить по монастырям, поститься, поднимать икону Иверской Божией Матери и как можно *больше делать действительного ощутительного добра,* иногда даже весьма неохотно, принудительно, сухо, не всякий раз по искренному движению сердца, не всякий раз по доброте, по “любви человеческой”, а по “страху Божиему”, по боязни согрешить, *по любви ко Христу,* по любви к *послушанию* и т. д. Или, если уже оказалось бы, что он (Левин) решительно неисправим, что он помешан на любви только к *собственным сердечным движениям,* к своему “нравственному” равновесию, как иные выражаются, что для него по-прежнему не Бог — *любы* есть, а *собственная его любы,* его мгновенные добрые движения — *суть Бог* и больше ничего; если бы он (Левин) не только бы продолжал так упорно *веровать* в *себя* и *свое сердце,* но и открыто проповедовал это самообожание (наивное или притворное — не знаю); если бы он проповедовал эту безбожную автолатрию, а веру в учение Церкви разрушал бы явно без всякого сострадания к незрелым и шатким умам, — то поскорее назначил бы Вронского губернатором в ту губернию, где

* Л VII, 275 («Два графа; Алексей Вронский и Лев Толстой»).

Левин живет, и велел бы сперва зорко следить за ним, а потом заключил бы его надолго в один *из самых отдаленных монастырей*» * (заметим, что туда же Леонтьев хотел сослать и самого Толстого!).

Эпилог этот, конечно, очень не-толстовский, но очень леонтьевский, и спорить здесь не приходится: Леонтьев последовательно развивает свои, уже знакомые нам, мысли; и не всегда бьет мимо цели! Левин и Толстой часто были так поглощены своими «сердечными влечениями» (и мыслями), что забывали и о Боге, и (уже от себя добавим) о ближнем, и тогда любовь заменялась доктриной о любви. Но Леонтьев, конечно, прежде всего укорял Левина и Толстого не за поглощенность собой, а за их нецерковное христианство.

Розанов писал, что сам Леонтьев быстро соскучился бы с Вронскими, но не с Левиными, Раскольниковыми: пусть их искания его «бесили», но они какой-то правды искали, как и он сам, а Вронский редко задумывался... ** Может быть, это и так, но Розанов, как и многие другие, Леонтьева не дочитывал!

В плане политическом, идеологическом Леонтьев очень расхваливал Вронского, или Вронских, — тип способного, честного, блестящего офицера, который мог бы быть отличным администратором. Но самый идеальный герой его — совсем не Вронский, а князь Андрей Болконский ***, тоже имперский человек, но более глубокий, тонкий, задумывающийся, и именно с ним Константин Николаевич хотел бы и мог бы подружиться... Андрей — герой для души, а прославление Вронского — только полемический выпад! К тому же Вронский всецело поглощен страстью к женщине: этого Леонтьев-Нарцисс органически не понимал и этого не любил — ни одержимости страстью, ни семейного счастья. Тогда как князь Андрей был прежде всего поглощен своими мыслями, как и Леонтьев.

Как мы увидим, Леонтьев разбирал произведения Толстого, не только руководствуясь своими политическими воззрениями, личными симпатиями и не только со своей церковно-православной точки зрения. Не менее существенна была для него и эстетика.

---

* Л VII, 277–278.

** Русский вестник, 1903, VI, 430–431 (примеч. В. Розанова).

*** Лит. насл. XXII, 433 (о князе Андрее Болконском) см. также VIII, 272–273 (Болконский и Вронский).

«ВОЙНА И МИР» — «АННА КАРЕНИНА»

В 80-е гг., в особенности в последние два года жизни, Леонтьев опять занялся литературной критикой. Замечателен его критический этюд «Анализ, стиль и веяние» (О романах гр. Л. Н. Толстого). Отдельные главы печатались в «Русском вестнике» (1890) и прошли незамеченными. В 1911 г. книга вышла отдельным изданием, и тогда этой работой кое-кто заинтересовался (напр<имер>, критик Б. А. Грифцов). Недавно был опубликован труд Б. М. Эйхенбаума, одного из самых замечательных представителей так наз<ываемой> формальной школы литературоведов: «Лев Толстой» (70–е гг.); там он несколько раз ссылается на книгу Леонтьева * (а в американских университетах леонтьевский этюд включается в рекомендованную библиографию Толстого). Этот очерк упоминается и в других статьях, так что можно говорить о пробуждении к нему интереса.

При обсуждении «Анализа, стиля и веяния» часто возникают недоразумения. Обычно забывается, что свою эстетику Леонтьев наметил еще за 30 лет, в статьях о Тургеневе, Марко Вовчок, написаных в начале 60-х гг. (см. выше); забывается также, что это не только литературная критика, а и литературная программа: борьба Леонтьева за стиль.

Основной подход в этой книге исторический (веяние), психологический (анализ) и эстетический (стиль).

1. Исторические замечания Леонтьева правильные, но они менее всего интересны. Давно уже стало очевидным, что в «Войне и мире» Толстой часто проецировал 50–60-е гг. в эпоху Отечественной войны. Старый кн. П. А. Вяземский, ополченец 12–го года, друг Пушкина, был одним из первых критиков, указавших на неисторичность этого исторического романа! ** То же самое в 80-х гг. утверждал М. С. Громека (книгу которого Леонтьев цитирует). Все было в александровскую эпоху «побарельефнее» (т. е. выпуклее, проще), пишет Леонтьев, не знали тогда душевной сложности, той рефлексии, которая разъедала людей 50-х гг., включая молодого Толстого (а также и молодого Леонтьева). Менее всего историчен философствующий и колеблющийся Пьер...

Леонтьев приводит ответы Наполеону двух русских офицеров:

---

* *Эйхенбаум Б.* Лев Толстой, семидесятые годы (1960), 180, 185, 188, 219.

** *Вяземский П. А.* Собр. соч. (1883), VII, 197–200.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату (князь Репнин).

— Молодость не мешает быть храбрым (19-летний поручик Сухтелен)*.

«Это похоже», — справедливо замечает Леонтьев. Да, это барельефный русский ампир, когда Наполеона могли ненавидеть и все же видели в нем героя, прославляли в стихах (Пушкин).

2. Более интересны замечания психологические (анализ). Леонтьев утверждает, что иногда Толстой говорит о том, чего ни один человек знать не может; так, он описывает предсмертные переживания Проскухина («Севастополь в мае 1855 г.») и Ивана Ильича. Лучше же, по мнению Леонтьева, просто сказать «он умер» или же сообщить об этом через другое лицо. «Кончилось...» — сказала княжна Марья о смерти брата Андрея, любимого леонтьевского героя**.

Леонтьев часто укоряет Толстого за «психологические придирки» (за подозрительность, подглядывание). Так, многих из его матерей (Курагину, даже Ростову) мучает зависть к брачному счастью их дочерей. В этом он усматривает натяжку — или «стыд высокого», который заставлял Толстого и других «реалистов» унижать героев придирками и подозрениями***.

Всюду Толстой разыскивает и находит тщеславие, самолюбие; и преимущественно «*только у людей образованных классов*», тогда как, по мнению Леонтьева, мужики и солдаты не менее, если не более тщеславны, чем «господа»; «простолюдины в своем кругу гораздо больше нашего *из самолюбия боятся* нарушить приличия» ****; например очень уж боятся, что их осудят, засмеют за недостаточное угощение гостей, и они больше считаются с общественным мнением... Наконец, в наше «демократическое время» появился еще новый вид тщеславного карьеризма, не у *высших*, а у *низших*, — искательство (заискивание) у толпы. Между тем вековечное желание сравняться с высшими, получить доступ в их общество Леонтьев считает чем-то вполне естественным. Придирчивый психологический анализ Толстого и других «реалистов», утверждает он, свидетельствует об упадке прежнего религиозно-аристократического мировоззрения, которое преобладало во времена Гомера или Шекспира. Теперь же господствует антиэстетическое мировоззрение — ути-

---

* Л VIII, 345.

** Там же, 268.

*** Там же, 295–296; 311–312.

**** Там же, 302.

литарно-моральное с эгалитарной наклонностью. К тому же современное психологическое подглядывание иногда искажает действительность. В «Севастопольских рассказах» многие офицеры тщеславны, пишет Леонтьев, но это ведь не мешало им выполнять свой долг. Зачем же тогда к ним придираться и описывать какие-то микроскопические мелкие волокна, которые изображаются в виде крупных настоящих нервов и тем самым выставляются в неправильной перспективе?

Здесь, конечно, возможны многие существенные возражения. Толстой утверждал, что все люди попеременно бывают хорошими и дурными, и он стремился изобразить и то и другое и, наконец, — все мельчайшие «сцепления» обстоятельств и мотивов в человеческом поведении, в человеческой душе. В этом была новизна, и в этом — сила Толстого.

Другое соображение приводит сам Леонтьев. — Современные «корифеи» (включая Толстого) так уже воспитали читателя, что «при бородавке он больше поверит благородству, при сопении больше будет сочувствовать любви и т. д., а если еще при этом кто-нибудь "нервным движением налил себе рюмку водки", а потом не улыбнулся, а "осклабился", то доверие будет полное!..» * Замечу: это подтверждается замечанием Чичикова, который говорил — беленькими нас каждый полюбит; так попытайтесь же полюбить нас черненькими! Для Толстого же все люди — и черненькие, и беленькие; и некоторых его предельно правдиво описанных черно-белых героев читатели очень любят! Но у Леонтьева были другие вкусы и, как мы увидим, другая эстетика. Он любил «изящное», и именно поэтому ему так нравился князь Андрей, самый идеализированный из героев «Войны и мира», но как будто и менее «живой», одушевленный, если сравнивать его с другими лицами, там изображенными.

3. Эстетика (стиль). Свой подход к литературе Леонтьев определяет как субъективный (даже капризный), основанный на личном чувстве и вкусе, но есть в нем и объективность. Он приводит изречение Гете о том, что в литературе важно не только то, что рассказано, но и как рассказано **. Он говорит о языке в литературе, т. е. о стиле, манере, — это «самое видное, наружное выражение самой внутренней, сокровенной жизни духа». Его интересуют «внешние приемы» в искусстве, т. е. некоторые объективные языковые признаки ***. У него был тонкий речевой слух. Так,

* Там же, 237.

** Там же, 233.

*** Там же, 318–319.

Розанову он писал, что следует избегать множественного числа родительного падежа слова «черта»: потому что *черт* похоже на *чёрт!* * Такой «формализм» был тогда явлением необычным и казался очень уж старомодным... Не только в 80-х, но еще в 50–60-х гг. даже критики эстетического направления (Дружинин, Григорьев) разбирали героев романов преимущественно как живых людей. Ампирное чувство формы (в пушкинскую эпоху) было позднее утрачено, но его еще не был лишен Белинский.

По утверждению Леонтьева, для всей русской литературы от 40-х до 90-х гг. характерны натуралистические детали, снижающие героев, их окружение и выражаемые прозаизмами, вульгаризмами, всякого рода снижающими оборотами речи.

Это, конечно, признак вполне объективный, стилистический, но далее он переходит к оценке этого внешнего приема — к оценке очень субъективной. Леонтьев называет эти детали — мышиным дегтем, которым вымазывал свою прозу Гоголь, а за ним и все другие, в том числе и Толстой. Но не все неприятные ему, неизящные детали он осуждает. — Наташа радуется, что на пеленках проступает не зеленое, а желтое пятно: «хоть это и весьма некрасиво и грубо», замечает Леонтьев, «но оно здесь *кстати*», потому что Наташа, подобно многим русским женщинам, «распустилась замужем» и «забывает, за силой своего материнского чувства, как *другим-то,* даже и любящим ее семью людям, ничуть не интересно заниматься такими медицинскими наблюдениями». Но плохо (по Леонтьеву), «когда Пьер “тетешкает” (непременно *тетешкает*. Почему же не просто «нянчит»?) на большой руке своей (эти руки!!) того же ребенка и ребенок вдруг *марает* ему руки, — это ничуть не нужно и ничего не доказывает. Это грязь для грязи, “искусство для искусства”, натурализм сам для себя». Беззубый рот Пьера — это еще хуже: «безобразие ради безобразия»... Пьер еще не старый человек, почему же ему непременно быть без зубов? Это уже не здравый реализм; это «дурная привычка»... ** Замечу от себя: глагол «тетешкать», действительно, не к лицу Пьеру; он ведь не вполне усвоил русский язык и едва ли даже знал это народное выражение! Может быть, из любви к этому герою Толстой его здесь омужичил, заставил его не нянчить, а тетешкать ребенка... Конечно, нельзя «обвинять» Толстого в «безобразии ради безобразия», как это делает Леонтьев, но иногда создается впечатление, что Толстой своими снижающими приемами щеголяет! Леонтьев же везде продол-

* Русский вестник, 1903, V, 177 (Розанову, 13 июня 1891 г.).

** Там же, 308.

жает возмущаться какофонией и какопсихией «нашего почти всеобщего стиля». Он против «этого взбивания нечистой пены до самого потолка — взбивания, равносильного сладкой риторической пене прошлого века; равносильного *по излишеству,* но вовсе не равноценного *по достоинству;* ибо во сто раз лучше пена душистая и несколько даже слащавая, могущая при даровитости ритора возвысить ваши помыслы <более>, чем целая куча мусора или дряни, облитой бесполезными помоями» *.

Леонтьев также высмеивает звукоподражания в «Войне и мире» — *пити-пити* в бреду князя Андрея или *ожиг-жиг* в полусне Пети Ростова (звуки оттачиваемой сабли) **. Здесь тоже ему слышится жужжание натуралистических мух! Но тут он обнаруживает глухоту, особенно в последнем случае. Напомним: в эту последнюю ночь жизни Пети — все ночные звуки слагаются для него «в торжественно-сладкий гимн» ***. Этот славный и, казалось бы, ничем не примечательный мальчик вдруг становится гением-творцом, хотя и не мастером... Он совершенно беззащитен в своем блаженном исступлении, и за него делается страшно, чувствуется, что ему уже не жить после этого вдохновенного самозабвения, и на другой день он действительно погибает; какой-то темный рок наказывает его за испытанное райское счастье. Даже у Толстого немного найдется таких страниц, такого проникновения в тайны мира. То же прозрение неведомого мы находим в повторяющихся и похожих снах Анны и Вронского; их страсть с самого начала граничит со смертью; всего здесь понять нельзя, но это действительно так; здесь Толстой — великий провидец (с чем и Леонтьев соглашается, когда разбирает вещие сны в «Анне Карениной»).

Леонтьев обвинял Толстого в психологических «придирках», но зачем же тогда он сам к нему «придирается», к его стилю? Здесь он не только субъективен, но иногда как-то по-дамски капризен и высказывает неуместное привередничество педантичной старой девы... Но, как мы увидим, у него на это были своим «резоны».

Придирки не мешают Леонтьеву превозносить Толстого. Он повторяет слова Тургенева — «Левушка Толстой — это слон!». И даже — больше слона: ископаемый сиватериум во плоти, у которого «сверх клыков еще рога, словно вопреки всем зоологическим приличиям»! Или же огромный индийский идол с тремя

* Там же, 305–306.

** Там же, 246 и 257.

*** Война и мир, т. 4, ч. 3, гл. X.

головами, четырьмя лицами, шестью руками!* В другом месте он так выражает свое восхищение «Войной и миром»: «Какие контрасты: пожар Москвы и детские игры, детские милые выдумки в доброй семье Ростовых: эти столь различные и одинаково интересующие нас пары; морозы в поле и балы во дворцах, императоры и мужики в лаптях, деревенские охоты, военные попойки, солдатская болтовня! Целомудрие и чувственность, с одинаковой правдой выраженные» **. Кто под этим панегириком не подпишется?! Он Толстого понимал и лучше, чем книжный Мережковский и многие другие критики. Высоко оценивал он и психологический анализ Толстого и мелкие детали (например, тот гриб, из-за которого профессор Кознышев не сделал предложения)***. Все же он придирался и к толстовской «психологии», и к его стилистике, к его приему снижения героев. Почему же? Потому, что поэтика была у него другая.

БОРЬБА ЗА СТИЛЬ

Леонтьев сам себя жестоко укорял за «грязный» натурализм в ранних рассказах и повестях «русского» (добалканского) периода творчества. В его романе «В своем краю» находим немало эквивалентов толстовского глагола «тетешкать» — живмя живет, ядренее, бессеменка, неколка, шавера****.

На Балканах Леонтьев от этих стилистических украшений в виде «натуралистических мух» уже отказывается! Он добивается чистоты стиля, стремится к эпической простоте, избегает психологических глубин и хочет, чтобы читатель по внешнему поведению героев догадывался о том, что происходит в их душе. Детали, им описываемые, — радуют взор; это те яркие букеты, которые он разрисовывал еще и в русских своих рассказах (синие платочки, красные рубашки! а позднее — шаровары, фески!). Мне лично кажется, что эпос его не очень удачен, ведь эпического спокойствия у Леонтьева не было. Интереснее его незаконченные и ярко своеобразные романы; и здесь он собирает пестрые букеты (в описаниях нарядов, мебели, домов), однако внимание сосредоточивается не на красивых деталях, а на главном герое (супергерое), Нарциссе; в душе его автор не копается, не ковыряется, а намечает общие линии в характере, в

* Там же, 238–239.

** Там же, 243.

*** Там же, 251.

**** См. гл. «Милькеев», ч. 2.

настроениях, изредка высказывает заветные мысли и чувства в лирических отступлениях и дает лейтмотивы романа (голубиное воркование и панихидное пение в «Египетском голубе»). Все это очень далеко от ненавистного ему «натурализма» или «реализма». Здесь нет «мышиного дегтя», нет психологического подглядывания; нет всего того, что он находил и отрицал у Гоголя, Достоевского, Тургенева, Писемского, Решетникова и у многих других.

В очерке о Толстом Леонтьев дает очень длинный (и уже знакомый нам по прежним его статьям) список писателей и произведений, которым он отдает предпочтение перед «русской школой» натурализма-реализма (от 40-х до 90-х гг.): это Гомер, Софокл... Кальдерон, Корнель... философские романы Вольтера... «Павел и Виргиния» Бернардена де Сен-Пьера, «Манон Леско» Прево... Гете... Жорж Санд («Лукреция Флориани»), Альфред де Мюссе («Фредерик и Бенедетта»); а в русской литературе — это Пушкин («Капитанская дочка», «Борис Годунов»), отчасти Тургенев («Дворянское гнездо», «Первая любовь»), С. Т. Аксаков («Семейная хроника»), Лесков («Запечатленный ангел»), кое-что даже у Г. И. и Н. И. Успенских... это также прославляемые им и забытые теперь писательницы: Марко Вовчок, Кохановская, Евгения Тур, ее сын граф Салиас, Маркевич... наконец, жития святых, *Сказание* инока Парфения о святых местах... и народные рассказы Толстого (позднего периода, не «Поликушка»). Все эти, очень друг на друга непохожие и неравноценные писатели, по мнению Леонтьева, обходятся без «грязных» деталей и без психологических «придирок». Никто в их произведениях — не «разрезает беспрестанно котлеты, *высоко поднимая локти*»; никто не повторяет «тщеславие и тщеславие», «бесхарактерность и бесхарактерность». Нигде во всем перечисленном не коробит взыскательного ценителя ни то, что «Маша *зашагала* в раздумье по комнате»; ни «Тпрру! — сказал кучер, *с видом знатока глядя на зад широко расставляющей ноги лошади...*» Ни что-нибудь вроде: «Потугин *потупился,* потом *осклабясь шагнул* вперед и молча ответил ей кивком головы!» «*На всем этом* — и русском, и нерусском, и древнем и новом (в длинном и пестром списке Леонтьева. — *Ю. И.*) — одинаково можно *отдохнуть* после столь долголетнего “шагания”, “фырканья”, “сопенья”, “всхлипыванья”, “нервного наливания водки”, “брызгания слюною в гневе” (у Достоевского, например, брызгаются слюной леди слишком часто — *чаще,* чем в природе) и т. д.» *.

* Там же, 230–231.

Это шарж, карикатура, и уже не капризно-дамская, а желчно-сатирическая. В какой-то момент все идеально-красивое всем надоело, опошлилось и было заменено культом некрасивого, но и этот период тоже надоедает, опошляется и вырождается в шаблоны, которые Леонтьев едко высмеивает.

Апеллируя к хорошему вкусу, Леонтьев неожиданно ссылается на молодых мужа и жену (из крестьян), которым он вслух читал «Войну и мир» (предполагаю, что это были его слуги Александр и Варя). Ему было иногда стыдно и неловко за Толстого, и тогда он пропускал в романе все звукоподражания (вроде пити-пити) и «грязные» детали. вообще же роман их обоих очень восхищал и, добавляет Леонтьев, они совершенно забыли о крепостном праве (хотя сами были из крепостных) и очень сочувствовали героям-господам, в особенности Пьеру *. Замечу, что самого Толстого такая критика «простых» читателей, вероятно, очень бы заинтересовала.

В «Анне Карениной», по мнению Леонтьева, меньше «придирок» и «грязи», меньше всего случайного, чем в «Войне и мире»: этот второй большой роман Толстого объективнее первого, более субъективного романа. Композиция, стилистика — проще, чище. С этим соглашается и Б. М. Эйхенбаум, который в последней книге о Толстом объясняет это упрощение стиля влиянием Пушкина **.

В молодости (в 50-х гг.) Толстой находил, что «повести Пушкина голы как-то», что «в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий», а после «Войны и мира», пишет Эйхенбаум, он «отходит от психологических подробностей и обращается к событиям». Отсюда — интерес его к Пушкину (в начале 70-х гг.). Первый набросок «Анны Карениной» был начат совсем по-пушкински: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской». Действительно, слова эти были написаны под впечатлением пушкинского отрывка: «Гости съезжались на дачу графини...»; а в едва намеченной героине (этого отрывка) можно найти литературный прообраз Анны Карениной; о Зинаиде Вольской говорят: «В ней много хорошего и гораздо менее дурного, чем думают. Но страсти ее погубят». Далее Эйхенбаум несколько раз ссылается на Леонтьева и с ним соглашается, например с этим его замечанием: в «Войне и мире» Толстой «*сбыл с души своей* <...> огромный и разнообразный запас личного материала <...> чтобы дать нам в “Ка-

* Там же, 257–258.

** *Эйхенбаум Б.* указ. соч., 174–181 (и далее).

рениной" прекрасное содержание; и вместе с тем тяжесть запаса была уже настолько уменьшена, что с порядком, чистотой и правдивостью работы можно было легче справиться. Самый язык, даже и при громком чтении, стал ровнее и приятнее. Зеркало художественного отражения стало чище и вернее. Ни поэзия, ни ясность не утратились ничуть; стерлось только то, что засидели "мухи натуральной школы"» *. Можно сказать, что в 70-х гг. и позднее (когда Толстой писал свои короткие народные рассказы) толстовская поэтика часто совпадает с леонтьевской поэтикой (очищение словаря, упрощение композиции). Но есть и разница, более существенная, чем сходство. Может быть, литературный почерк Толстого стал четче, каллиграфичнее в «Анне Карениной» и, несомненно, в народных рассказах, но героем его осталась все та же правда, которая о красоте не заботится, даже ее уничтожает, хотя далеко не всегда (Анна Каренина, судя по загадочному эпиграфу к роману, не права, но остается прекрасной, нравится Левину...). А Леонтьев в своем отборном слоге стремился выразить одну красоту — наперекор и этике, и даже религии. Впрочем, тут следует заметить, что своей продуманной поэтике он далеко не всегда следовал на практике; его словарь отборный, но, как мы знаем, фразы его не всегда правильные, композиция очень нечеткая. Леонтьев восхищался пушкинской прозой, но его собственная проза на пушкинскую ничуть не похожа, как и толстовская. Все же оба они на нее «ориентировались»: Толстой, приступая к «Анне Карениной», а Леонтьев в своем очерке «Анализ, стиль и веяние». Оба хотели линейной простоты в повествовании, которая содержания совсем не обедняет...

В XX веке русские и европейские романисты не вышли «на более чистую, простую и трезвую дорогу» ** Леонтьева-критика и Толстого — автора народных рассказов. Психологический анализ стал еще мельче, придирчивее, изобильнее (Пруст, Джойс, Вирджиния Вулф), а натуралистические мухи стали еще чернее, грязнее, отвратительнее (например, в романе Селина «Путешествие в глубь ночи»). Линейность рисунка исчезла, все распадается, размывается в потоках сознания или искажается в гротескном хаосе (Кафки). Здесь можно было бы привести и другие, очень многочисленные, примеры... Но были и реакция на хаос, например в повести рано умершего Раймона Радигэ («Бал у графа Оргеля»), которого так превозносил Кокто. «Доктор Жива-

* Л VIII, 313.

** Там же, 324.

го» — роман очень изощренный, нечеткий и «избыточный» (как мог бы сказать Леонтьев), но его герой мечтает писать просто, четко, как Пушкин или Чехов, а сделать это ему не удалось! Чехова Леонтьев как-то раз упомянул, но им не занимался и едва ли бы одобрил. У Чехова все «просто», но и все пониже жизни, а Леонтьев хотел, чтобы искусство было повыше жизни* — героичным, но не риторичным, т. е. возвышенным, но и правдивым, как у Пушкина (например, в «Капитанской дочке»).

В очерке о Толстом Леонтьев повторяет ту же цитату, что и в своих воспоминаниях (но с некоторым изменением): «Мысль обрела язык простой — И голос страсти благородной...» ** Здесь лучше всего выражена его поэтика.

Возвеличивая простоту, благородную простоту, Леонтьев по складу характера, по душе своей прост не был и не был «здоров». Есть зыбкость, упадочность в его центральной теме — Нарцисса, и это также отразилось на его слоге — несовершенном, неправильном, но импрессионистически выразительном. Вкусы же этого Нарцисса — не декадентские, со смертью он не заигрывает; правда, в его эпосе есть неразгаданная двусмысленность; и все же он любит простое, здоровое, упивается прекрасной молодостью, яркими историческими зрелищами и тем самым усиливает аппетит к жизни.

ВОЙНА И МИР ПУШКИНА

Трудно исчерпать богатое содержание книги «Анализ, стиль и веяние». Многое в ней раздражает, но многое и заставляет задуматься. В ней затрагиваются, кажется, почти все вопросы, связанные с современными проблемами искусства; и нельзя писать о Толстом, не зная всех pro и contra леонтьевского разбора «Войны и мира», «Анны Карениной».

Выделяю еще одну тему, намеченную в этой книге. «Позволю себе здесь, — пишет Леонтьев в конце своего очерка, — ...вообразить еще нечто, уже невозможное как событие, но как *ретроспективная мечта* весьма, я думаю, естественное. Позволю себе вообразить, что Дантес промахнулся и что Пушкин написал в 40-х годах большой роман о 12-м годе. Так ли бы он его написал, как Толстой? *Нет, не так!* Пусть и хуже, но не так. Роман Пушкина был бы, вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обременен и даже не так содержателен, пожалуй, как “Война и мир”; но зато ненужных мух на лицах и шишек

* Там же, 319.

** Там же, 326. См. гл. «Беглянка», ч. 1.

“претыкания” в языке не было бы вовсе; анализ психический был бы не так “червоточив”, придирчив — в одних случаях, не так великолепен — в других; фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний наяву и полуумираний не была бы так *индивидуальна,* как у Толстого <...> но зато возбуждала бы меньше сомнений... Философия войны и жизни была бы у Пушкина иная и не была бы целыми кусками вставлена в рассказ, как у Толстого. Патриотический лиризм был бы разлит ровнее везде, не охлаждался бы беспрестанно *теофилантропическими оговорками;* и “Бога браней благодатью” был бы “запечатлен наш каждый шаг”. “Двенадцатый год” Пушкина был бы еще (судя по последнему, предсмертному повороту в уме его) произведением гораздо более православным, чем “Война и мир”...»

«Пушкин не стал бы (вероятно) называть *от себя* бегущих в каретах и шубах маршалов и генералов французских “злыми и ничтожными людьми, которые наделали множество зла...” как “в душе” не называли их, *наверное,* в 12-м году те самые героирусские, которые гнали их из Москвы и бранили их по страсти, а не по скучно-моральной философии. Тогда воинственность была в моде, и люди образованные были прямее и откровеннее нынешних в рыцарском мировоззрении своем».

«У Пушкина религиозное освещение было бы ближе к общенациональному; может быть и весьма *субъективное по искренности,* оно было бы менее индивидуальным по манере и менее *космополитичным* по духу, чем у Толстого. И герои Пушкина, *и в особенности он сам от себя,* где нужно, говорили бы почти *тем языком, каким говорили тогда,* т. е. более простым, прозрачным и легким, *не густым, не обремененным, не слишком так и сяк раскрашенным* то слишком грубо и черно, то слишком тонко и “червлено”, как у Толстого».

«И от *этого именно* “общее веяние”, общепсихическая музыка времени и места была бы у Пушкина точнее, вернее; его творение внушило бы *больше исторического доверия* и вместе с тем доставило бы нам более полную художественную *иллюзию,* чем “Война и мир”» *.

Эта леонтьевская фантазия чрезвычайно интересна. Нельзя не согласиться с тем, что пушкинский вариант «Войны и мира» («Двенадцатый год») был бы историчнее, более — в стиле александровского ампира. Однако трудно утверждать, как это делает Леонтьев, что эта эпопея была бы более православной! Но несо-

* Там же, 328–329.

мненно, если бы Пушкин пожелал в романе философствовать, то философия его была бы совершенно иной, не толстовской.

Существенны другие мысли, возникающие при ознакомлении с леонтьевской фантазией. Как Пушкин, «певец империи и свободы» (по замечанию Г. П. Федотова)*, отнесся бы к духу отрицания (нигилизму), если бы дожил до начала 60-х гг. (и писал бы свой «Двенадцатый год» именно тогда, а не в 40-е гг., как предполагает Леонтьев)? Его друг, князь П. А. Вяземский, только по-старчески ворчал — брюзжал на отрицателей, но от Пушкина мы ожидали бы чего-то другого: не «положительных идеалов», а какого-то мудрого понимания, которое могло бы оказать решающее и благодатное влияние не только на русскую литературу, но и на русское общество.

РОЗОВОЕ ХРИСТИАНСТВО ТОЛСТОГО

В статье «Страх Божий и любовь к человечеству» (1882) Леонтьев подробно разбирает народный рассказ Толстого «Чем люди живы?» (об ангеле, который за непослушание был превращен в человека; его принял в свой дом бедный деревенский сапожник; в конце концов ангел дает ответ на вопрос, поставленный в заголовке: «жив каждый человек не заботой о себе, а любовью»; а тогда Бог его прощает).

Леонтьеву очень этот рассказ нравился; как мы уже знаем, он высоко расценивал и другие народные рассказы Толстого, и прежде всего за чистоту стиля, за отсутствие в них тех «натуралистических мух» («грязных» деталей), которые его раздражали в «Войне и мире». Повесть «Чем люди живы», утверждает он, очень трогательная и, что для него особенно существенно, православная; все же ему кажется, что в ней нет высшей гениальности и настоящей святости. Почему же? Потому что Толстой слишком подчеркивает значение человеческой любви к ближнему. Это явствует уже из восьми эпиграфов из первого послания ап. Иоанна: все они «только о любви». Им он противопоставляет несколько выдержек из апостолов Петра и Павла о страхе Божием. Описанные в рассказе крестьяне Бога боятся, но, по его мнению, недостаточно... Далее он утверждает, что христианство любви без христианства страха есть розовое христианство Жорж Санд, сенсимонистов и других западных писателей, внецерковных либералов. Как мы увидим, в розовом христианстве он обвинял и Достоевского.

---

* *Федотов Г. П.* Новый Град (1952). Статья «Певец империи и свободы».

В этой же статье Леонтьев дает свое собственное определение христианства: «*Истинное* христианство тем и божественно, что в нем *все есть:* и высшая этика, и залоги глубочайшей государственной дисциплины, и *всякая поэзия;* и поэзия нищего в лохмотьях, поющего Лазаря, и поэзия владыки, сияющего золотом и "честным" камением...» * Определение — очень леонтьевское, но не церковное, и замечательно — в нем Леонтьев забыл упомянуть о страхе Божием... не потому ли, что сам он не был так уж одержим этим страхом, которым преимущественно стращал других, а сам жил красотой — и христианской, и языческой.

В заключение замечу: Леонтьев едва ли понял смысл и значение этого толстовского рассказа; все в нем очень просто, но уразуметь его нелегко; и сам Леонтьев признается в непонимании. Он не знает, что ответить на вопрос «умных детей» — читателей: «За что же Ангел был наказан, когда он пожалел эту женщину? Ведь это любовь...» **

ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

Леонтьев и Толстой несколько раз встречались. В августе 1883 г. Лев Николаевич сказал Г. А. Русанову: «Я знаю Леонтьева, он раза два был у меня в Москве, и мы не очень, кажется, понравились друг другу» ***.

Толстой бывал и в Оптиной Пустыни и беседовал там со старцем Амвросием (духовником Леонтьева), который ему сказал: «Ищите совершенства, но не удаляйтесь от Церкви». Эти его слова находим в записной книжке Толстого (от 15 июня 1881 г.); тогда же он записал: старец говорит, что и там (по-видимому, на том свете) будут чины, что и здесь, — генералы, полковники, поручики... И Амвросий «занят тем чином, к<оторого> он заслуживает, и верит болезненно, бедный». В 1890 г. Толстой опять беседует со старцем, спорит с ним о разных верах: «Я говорю, где мы в Боге, т. е. в истине, там все вместе, где в дьяво<ле>, т. е. лжи, там все врозь» (Дневник от 27 января 1890 г.). И там же: Амвросий «жалок своим<и> соблазнами до невозможности» (т. е. упоминаниями о соблазнах). По существу — им не о чем было разговаривать; и можно только удивляться, зачем вообще он ходил к старцу... Разве что по желанию сестры — монахини (Марии Николаевны). Тогда же Толстой побывал у Леонтьева, в его «консульском домике»: «Прекрасно беседовали. Он сказал:

---

* Л VIII, 172–173.

** Л VIII, 173.

*** *Толстой,* указ. соч., т. 85, 313.

вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны? Это выражает вполне наше отношение к вере» (Дневник, 28 февраля 1890 г.)*. Об этой встрече Леонтьев рассказывает в трех письмах. «Сейчас ушел от меня гр. Л. Н. Толстой. Был ужасно любезен, но два часа спорили. Он неисправим» (И. Фуделю, 28 февраля 1890 г.). В письме к Т. И. Филиппову он сообщает, что сказал Толстому: «Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фанатизма...», а то он добился бы, чтобы его сослали в Томск! Толстой ответил: «Голубчик, Константин Николаевич! Напишите, ради Бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта» (14 марта 1890 г.; и о том же он писал 10 декабря того же года Губастову)**. В заключение же приведу этот отзыв Толстого о Леонтьеве (по воспоминаниям А. Александрова): «Его повести из восточной жизни — прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием. Что же касается его статей, то он в них все, точно стекла выбивает; но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся»***. Это было в 1888 г., а незадолго до этого Толстой хотел поместить в сборнике «Посредника» леонтьевскую сказку «Дитя души», но все же ее не опубликовал****.

Леонтьев читал Евангелие в толстовском издании, возмущался «безбожной болтовней» Толстого. Иногда отзывался он и очень резко: «...Льву Толстому, между прочим, за его искания и “искренность”, стоит сотни две горячих всыпать туда... Старый... безбожник-анафема!»*****. Все же он не испытывал к нему той ненависти, которая была у него к Достоевскому.

При всем их различии «непротивленец» Толстой и «церковник» Леонтьев — великие жизнелюбцы по натуре, по вкусам, по неимоверному аппетиту. Достоевский для них обоих чужой человек, исковерканный разночинец, непонятный духолюбец, слепой к жизни.

МАРКЕВИЧ

Болеслав Михайлович Маркевич (1822—1884) — писатель теперь позабытый, но в свое время довольно известный. Маркеви-

* Там же, т. 48–49 (о посещении старца Амвросия в 1881 г.) 143–144; т. 51, 23 (о встречах с Амвросием и Леонтьевым).

** Письмо Леонтьева к И. Фуделю цитирую по книге Н. Н. Гусева «Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого» (1958), 752; письмо Т. И. Филиппову, там же, 753, а также в сборнике «Памяти К. Л.», 135; письмо К. А. Губастову — Русское обозрение, 1897, VI, 913–914.

*** *Леонтьев К.* О романах гр. Л. Н. Толстого (1911 г.), 7.

**** *Толстой*, указ. соч., т. 85, 308. См. гл. «Дитя души», ч. 2.

***** Письмо В. В. Розанову // Русский вестник, 1903, V, 179.

чи — польского или украинского происхождения, католики, но обрусевшие. Болеслав получил отличное домашнее образование, знал четыре языка и позднее учился в Ришельевском лицее. С 1848 г. он служил в Москве, а потом в Петербурге. Большой карьеры он не сделал, так и остался чиновником особых поручений. Он был львом петербургского света и полусвета, декламировал, острил, всех развлекал и сам развлекался. Писать он начал очень рано, но прославился поздно, в 70-е гг., когда в «Русском вестнике» начали появляться его романы — «Марина из Алого Рога» и трилогия «Четверть века назад» (50-е гг.), «Перелом» (60-е гг.) и «Бездна» (70-е гг.). В этих романах Маркевич обличал не только «нигилистов», но и либеральную бюрократию, которая, по его мнению, тоже ведет Россию к бездне. Его идеал — «сильная власть с открытыми глазами», т. е. самодержавие, которое ни на какие политические уступки не идет и опирается на дворянство и крестьянство. Он был противником конституционного проекта Лорис-Меликова и сочувствовал новому царствованию — Александра III. Один из его героев, граф Наташенцев (в «Переломе»), говорит, что крестьянам надо дать еще больше земли, чем они получили по наделам Великой Реформы, но все же их не следует выпускать из-под опеки помещиков. Иначе — их совсем оберут адвокаты, купцы, кулаки, и это, по-видимому, взгляды самого автора. Здесь он сходится с Леонтьевым, который его очень ценил.

Леонтьеву особенно нравился в трилогии Троекуров, севастопольский и кавказский герой, «помесь британского с лезгинским» — и это определение Маркевич заимствовал из одной леонтьевской статьи. Константин Николаевич встречался с автором «Перелома» и советовал ему не подчинять этого героя «сильной женщине», как это делал Тургенев, а «бросить ее к черту...» *. Замечание это — очень леонтьевское!

Положительные характеры (вроде Троекурова или Наташенцева) Маркевичу не удавались. Он лучше понимал и лучше описывал беззастенчивых жизнелюбцев, например полицейского пристава Акулина, взяточника и эстета (по определению Леонтьева). Этот Акулин восхищался Шекспиром, отлично сыграл Полония и составил замечательную коллекцию картин и «красного дерева»; его обстановку Маркевич описывает не хуже, чем это сделали бы в нашем веке знатоки старины в журнале «Старые годы»... [86] Еще более удалась Маркевичу дочь этого Акули-

* Русское обозрение, 1896, XI, 442 (письмо Губастову от 4 июля 1885 г.).

на — Ольга Ранцева, интриганка и вакханка: он эту «авантьерку» осуждает, но при ее появлении все в его романе-хронике оживает!

В жизни Маркевич «идеалистом» не был: его обвинили в получении большой взятки и по высочайшему повелению он был немедленно отрешен от должности. Либеральная печать торжествовала, а от художественной оценки критики того временеи, как левые, так и правые, обыкновенно воздерживались.

У Маркевича много шаблонов в описаниях. Так, у одной из героинь (княжны Шатуновой) «словно выточенная головка»; а влюбленный в нее дядя, князь Ларион, бросившись на колени, «стал покрывать» ее руки «жадными безумными поцелуями» («Четверть века назад»)*. Позднее Чехов остроумно высмеивал все эти «клише» в прозе некоторых современных ему писателей. Но не шаблонно и очень выразительно говорят в романах Маркевича эпизодические герои, например умный, но малограмотный московский «паша» (губернатор) или же старая фрейлина: в ее языке французские выражения забавно чередуются с народно-бабьими. Маркевич отличный бытописатель, способный фельетонист, но не психолог, не мыслитель. Сложные характеры, в особенности «положительных» героев, ему не удавались. Из них — убедительнее и оригинальнее других — гордая княжна Кира Кубенская: сперва она сочувственно внимает студенту-нигилисту, а позднее, после неудачного романа с Троекуровым, переходит в католичество. О ней много писал Леонтьев (в отзыве о романе «Перелом», 1882). Почему, спрашивает он, эта «самая твердая, самая независимая и к жизни требовательная из героинь Маркевича сделалась монахинею римо-католическою, а не нашею?». Здесь он с горечью ссылается на Герцена, который утверждал, что православная Церковь после таинства крещения оставляет человека в покое... Далее он говорит об оптинском старчестве и тем самым опровергает Герцена, но понимает и Киру Кубенскую, которая в католичестве нашла то, чего не могла найти в православии**.

(Заметим здесь, что сам Маркевич, и кажется, не без влияния Леонтьева, незадолго до смерти перешел из католичества в православие; и, следовательно, его нельзя обвинять в каких-то симпатиях к Риму...)

Леонтьев постоянно расхваливал Маркевича за то, что он не вымазывает своих романов мышиным дегтем натурализма-реа-

---

* Русский вестник, 1878, IV, 838; X, 704.

** Л VIII, 139–140 (отзыв о «Переломе» Маркевича).

лизма! Ему нравилась опрятность, изящество в «Переломе», а шаблонов в этом и в других романах Маркевича он не замечал... Как мы уже знаем, и по взглядам своим он был близок Маркевичу. В своей борьбе за стиль Леонтьев иногда ставил Маркевича в пример не только Тургеневу, но и Толстому... и оказывался в смешном положении! Кое в чем он был прав; ни один вообще стиль, хотя бы и гениальных писателей, не может стать окончательной нормой; поэтому нужна была реакция и на так называемую «натуральную школу гоголевского периода». Но в этой полемике Маркевич — аргумент слабый, сомнительный. Однако были у Леонтьева и сильные аргументы — это, например, Пушкин, которым он укорял ненавистных ему натуралистов-реалистов.

Все читатели 70-х и 80-х гг. без труда узнавали прототипы многих героев Маркевича (например, Горчакова, Милютина и других). В этом смысле такие романы, как «Перелом», представляют некоторую ценность для историков. Интересны и незаконченные воспоминания Маркевича. Тенденциозную хронику Маркевича, в которой журнально-фельетонная дешевка смешана с яркими и остроумными бытовыми описаниями, можно сравнивать с такими романами, как «Дым» и «Новь» Тургенева, «Обрыв» Гончарова, «Взбаламученное море» Писемского, «На ножах» Лескова. Это тоже — полужурналистика, полулитература.

ПОДПОЛЬНЫЙ ПРОРОК ДОСТОЕВСКИЙ

В письме к Розанову Леонтьев говорит, что у него не было ненависти к Достоевскому, хотя он с ним никогда не соглашался. Они встретились в Москве, за месяц до пушкинских торжеств (в 1880 г.), и Достоевский одобрительно отозвался о леонтьевских статьях в «Варшавском дневнике». На самом же деле Леонтьев ненавидел Достоевского, и эта ненависть его ослепляла.

В письме к молодому другу и почитателю А. Александрову Леонтьев называет автора «Карамазовых» подпольным пророком *. Константина Николаевича просто бесило, что его ученик, убежденный леонтьевец, не хочет отдать ему Достоевского на растерзание!

Герои Достоевского (по другим леонтьевским отзывам) постоянно «брызгают слюною», его «трагизм ночлежных домов терпимости и почти что Преображенской больницы <...> может, пожалуй, только разохотить каких-нибудь психопатов, живущих по плохим меблированным комнатам»; его анализ «одноро-

* *Александров А.* Письма, 97 (письмо от 3 мая 1890 г.).

ден в своей болезненной, пламенной, исступленной исковерканности» *. В статье «Достоевский о русском дворянстве» (1891) Леонтьев опять раздражается и жалуется, что не находит настоящих русских дворян в романе «Подросток»: это все какие-то «психозные» люди, которые в жизни не встречаются. Среди них он не узнает своих знакомых, которых встречает в произведениях Толстого, Тургенева, Писемского, Островского, Маркевича. «По другим писателям можно изучать нормальную жизнь; по Достоевскому можно изучать только ее психопатию, ее крайние уклонения, быть может (я говорю, быть может), а главное — можно изучать самого автора, его идеалы, его собственные душевные изворотливости, его собственные горести, борьбу и мечтания» **. У Достоевского все субъективно, болезненно, лирично, в этом его слабость, но и сила, пишет Леонтьев... Однако по всему видно, что силы Достоевского он не ощущал. Ему на самом деле нравились очень немногие книги ненавидимого им писателя: «объективные», по его мнению, «Записки из Мертвого дома» и «Дневник писателя» (за имперский монархизм и правильное понимание балканского вопроса).

Герои Достоевского, несомненно, ни на каких наших знакомых не похожи, и все же они живут в сознании миллионов читателей, прежде русских, а теперь преимущественно иностранных (если исключить эмигрантов): это герои-души, герои-идеи, и не столько XIX, сколько XX века. Леонтьев сочувствовал остроумным насмешкам Подпольного Человека над будущим благоустройством человечества (в утопическом Хрустальном Дворце), и все же его злит «бессильное раздражение» этой «непривлекательной личности...»!

Есть поэзия в мире Достоевского, в его «реализме, доходящем до фантастического», в его туманном, бредовом Петербурге, по которому блуждают герои-души и герои-идеи. Это поэзия современного городского ада, которая завораживает той же сумрачной красотой, что и поэзия бодлеровского Парижа в «Цветах зла». Но такой болезненной красоты и прелести Леонтьев не понимал. А мятежные мечты и бредни Раскольникова или Версилова в меблированых комнатах или в дешевых распивочных вызывали в нем только раздражение или недоумение...

Леонтьев обзывал героев Достоевского психопатами; вероятно, ту же кличку он дал бы всем современным почитателям и Достоевского, и Бодлера! Но по своей натуре Леонтьев-Нарцисс

---

* Л VIII, 231, 235 и 335 (в книге о Толстом).

** Л VI, 442–443.

был тоже личностью неуравновешенной. Грифцов, Закржевский, Бердяев находили в нем черты упадочные, так что и его самого можно было бы обозвать психопатом!

Бердяев был прав, утверждая, что Леонтьев «не особенно любил русскую литературу» (хотя иногда и находил в ней разные достоинства): «Его раздражает и отталкивает и морализм русских писателей, и их натурализм» *. Даже Пушкин не принадлежал к числу самых любимых писателей Константина Николаевича.

В письме к А. Александрову Леонтьев гневается — почему никто из современных писателей наших не выходит из рамки:

Гоголь
Тургенев [ ] Достоевский.
Толстой

Ему хочется эту рамку разбить... ** и это ему иногда удавалось — не столько в критике, сколько в творчестве. Там же он пишет: «Надо с себя хоть на время свергнуть иго гоголевской школы, от которого и Лев Толстой освободиться не мог. Постарайтесь достать “Лукрецию Флориани” Жорж Санд. Вот высокая простота рассказа. Хотя, конечно, совсем не христианская; но ведь и Венера Милосская не была иконой Богоматери — однако прекрасна». Выпады и выводы эти — очень леонтьевские... Что же касается до жоржсандовской «Лукреции Флориани», то «простота» этой повести в ее схематизме, шаблонности!.. Но натуралистического «мышиного дегтя» в ней действительно нет; Леонтьев же еще в 50-х гг. увлекался этой новеллой; и не потому ли, что узнавал себя в главном герое — князе Кароле (это тип Нарцисса).

Придираясь к Тургеневу или Толстому, Леонтьев все же их видел —понимал; и не только их, но и «грязного» Гоголя или «желчного» Салтыкова! Между тем все, что он говорил об искусстве Достоевского, будь то брань, ругань или скупые похвальные отзывы, не достигало цели, здесь он всегда промахивался. Леонтьев был слеп и глух к Достоевскому-художнику.

РОЗОВОЕ ХРИСТИАНСТВО ДОСТОЕВСКОГО

Леонтьев ненавидел и не понимал Достоевского-художника; он также ненавидел Достоевского-мыслителя, но в воззрениях

---

* *Бердяев*, К. Л., 16.

** *Александров А.* Письма, 36 (от 2 марта 1888 г.).

его хорошо разбирался и тем самым обнаруживал понимание своего главного противника в русской литературе. Он посвятил ему пространную статью «О всемирной любви» *.

Леонтьев утверждает, что полухристианские, полуутилитарные всепримирительные стремления Достоевского несовместимы с многообразным, чувственным, демонически-пышным гением Пушкина **. И здесь нельзя с ним не согласиться. Всечеловек Пушкин в изображении Достоевского на живого Пушкина не похож, это скорее один из новых героев «Идиота» или «Карамазовых»!

Если Леонтьев не понимал и отрицал искусство Достоевского, то он иногда высоко расценивал Достоевского-моралиста, хотя с ним и не соглашался. Ему даже кое-что в проповеди Достоевского нравится, например его призыв: «Смирись, гордый человек...» Но перед кем должен этот гордый человек (т. е. русский интеллигент) смиряться? — спрашивает Леонтьев. По Достоевскому — перед русским народом. Нет, возражает он: смиряться нужно только перед православной церковью, и здесь уже начинается резкое расхождение.

Достоевский — христианин, но христианство его недостаточно православное, утверждает Леонтьев; монахи в «Карамазовых» мало походят на настоящих, афонских или оптинских, старцев и говорят «совсем не то, что в действительности говорят очень хорошие монахи и у нас, и на Афонской горе, и русские монахи, и греческие, и болгарские» ***; Соня Мармеладова (будто она какая-нибудь молодая англичанка) читает только Евангелие, между тем, если она православная, то ей ведь следовало бы также читать жития святых (например, Марии Египетской), служить молебны, прикладываться к мощам, иконам и искать совета у духовников...

В чем же главное заблуждение Достоевского (по Леонтьеву)? Подобно Виктору Гюго, Жорж Санд, Гарибальди, Фурье, Прудону, Кабэ, он верит во всеобщую земную гармонию; правда, идеал его отличается от идеалов этих передовых французов, высмеянных Подпольным Человеком; все же это ересь, в которой церковное христианство смешивается со светской «гуманностью». Между тем это силы противоположные; и Леонтьев сравнивает

---

* Подзаголовок статьи «О всемирной любви» — «Речь Ф. М. Достоевского на пушкинском празднике»: Гражданин, 1880, № 162, 169, 173.

** Л VIII, 177.

*** Там же, 198.

их с поездами, которые выходят из одного и того же пункта, но вследствие постепенного уклонения путей придут «в сокрушающее столкновение» *.

Мы уже знаем, как Леонтьев, разоблачая розового христианина Толстого с его проповедью любви (по ап. Иоанну), «побивал» его цитатами из ап. Павла о страхе Божием; а теперь, укоряя розового христианина-утописта Достоевского, он приводит пессимистические пророчества о конце мира — из ап. Павла (1 Посл. к Фессал., 5, 3) и из Евангелия от Матфея (в гл. 24). Но цитаты эти случайные, неубедительные... **

Леонтьев также ополчается против «космополитической любви» Достоевского к Европе, которая впала в безбожие, но может быть спасена русским («достоевским») христианством. Нужно различать, говорит он, любовь-милосердие и любовь-восхищение (и это, несомненно, очень удачное определение). Современные европейцы не заслуживают ни той, ни другой любви (по Леонтьеву): очень уж они стали буржуазно-самодовольны, и поэтому их незачем жалеть; они уничтожают все прекрасное на Западе: католическую Церковь, дворянские привилегии, народные обычаи и развращают всех славян (которые, как мы знаем из других писаний Леонтьева, тоже обречены на гибель). Если уж кого жалеть, пишет он, то скорее всего недавно побитых турок; и если чем восхищаться, то все еще турецкими, пусть и отсталыми, но еще самобытными Балканами...

Можно следующим образом заострить то, что Леонтьев говорит в своей статье: христианство Достоевского — Зосимы, совсем не русское, не православное, а по существу своему французское, либеральное; это русифицированная версия гуманного христианства Жорж Санд, которая не верила в вечные адские мучения...

Главный же лейтмотив Леонтьева (в этой статье) — грозно апокалиптический. Изобличая Достоевского, Леонтьев всюду пугает грядущими бедствиями, ужасным концом мира, который современное человечество вполне заслужило. Это черная апокалиптика, тогда как у Достоевского — розовая. Вместе с тем Леонтьев не только пугает, но и радуется тому, что добро на земле никогда не победит зло. Если возможна какая-нибудь вообще гармония на земле, то это гармония света и тьмы, «*сопряжение вражды с любовью*» ***. Это «в высшей степени цельная, полу-

* Там же, 204.

** Там же, 182–183.

*** Там же, 186.

трагическая, полуясная опера, в которой грозные и печальные звуки чередуются с нежными и трогательными, — и ничего больше!». Это любимая тема Леонтьева. Далее он пишет: «Блаженны миротворцы», ибо *неизбежны распри*... «блаженны алчущие и жаждущие правды... ибо правды всеобщей здесь не будет... Иначе зачем же алкать и жаждать? Сытый не алчет. Упоенный не жаждет...» и т. д. И тут же он голословно и неверно утверждает: «Так говорит Церковь, совпадая с реализмом, с грубым и печальным опытом веков»! * Здесь Леонтьев забывает, что ни одна христианская Церковь (включая православную) этого не говорила и его «оперу» осудила бы... Но, как мы уже знаем, Леонтьев всегда совмещал свое черное христианство со своей пестрой эстетикой; стращая своих врагов, как христианских, так и антихристианских оптимистов, видением Страшного Суда, он прославлял прекрасное несовершенство обреченного мира, живописную борьбу добра и зла.

«Розовые» утопии Достоевского (и Толстого) очень потускнели в XX веке. Русский народ-богоносец не помешал приходу коммунистического антихриста, который, по предсказанию Леонтьева, должен появиться именно в России. Пусть победа эта — временная и, как мы знаем, неполная, а все же Антихрист до сих пор царствует в Москве, и Россия не просветила Запада православием (по Достоевскому); и в ней не было создано проповеданное Толстым анархическое царство добрых дураков... Все же нельзя обвинять Достоевского в ереси. Зосима, Алеша — идеальные герои для многих православных (например, для митрополита Евлогия). Митрополит Антоний очень высоко ценил Достоевского, а также и авторитетный православный богослов — отец Г. Флоровский **.

Это значит — православие оцерковило Достоевского, что очень удивило бы К. Леонтьева, как и то, что не только протестанты, но и некоторые католики Достоевского почитают и любят, как впрочем, и многие атеисты.

В конце своей «филиппики» против Достоевского Леонтьев противопоставляет его будто бы «ложное» христианство — истинному, церковному христианству Победоносцева. В письме Победоносцеву, с которым он незадолго до этого сблизился, Достоевский пишет, что находит в суждениях Леонтьева «много

---

* Там же, 194–195.

** *Прот. Георгий Флоровский*. Пути русского богословия (1937), 295–300. О немецкой статье Флоровского см. гл. «Герцен», ч. 2 (О Герцене, Достоевском и Леонтьеве).

любопытного», но все же он «в конце концов немного еретик», и об этом ему хочется лично поговорить с Победоносцевым *. В записи того же года Достоевский пишет, что леонтьевский пессимизм чрезвычайно удобен для домашнего обихода: «Уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо!» А в другой записи он заявляет, что ему не хочется отвечать на «завистливую брань» Леонтьева **.

Итак, если Достоевский для Леонтьева — еретик-утопист, «розовый» христианин, то Леонтьев для Достоевского еретичен своим пессимизмом, за которым будто бы прячется грубое «эпикурейство» («живи в свое пузо»!) и даже зависть. Константина Николаевича огорчали литературные неудачи, но зависти он никогда не поддавался... Вообще же между ним и Достоевским взаимопонимания не было, да и не могло быть: каждый рвался к своей правде и каждого своя правда иногда ослепляла. А церковник Победоносцев, по-видимому, более сочувствовал автору «Братьев Карамазовых», чем автору «Востока, России и славянства»! Наконец, добавим, что Леонтьев не переносил Победоносцева, которого в письмах называл «старой девушкой», но в полемической статье попытался им «убить» ненавистного ему «подпольного пророка» Достоевского...

Несомненно одно: и Леонтьев, и Толстой, а также миллионы других христиан, ученых и неученых, уже в продолжение двух тысяч лет склонны вырывать из Евангелия отдельные страницы, которые им особенно нравятся, забывая, что каждая евангельская истина есть истина данного момента, данной ситуации, и поэтому Христос, бичующий торгашей, нисколько не «противоречит» Христу, который не противился злу силой; также нет никакого «противоречия» между евангельскими текстами о свободе, любви и о страхе Божием. И это лучше всего понимал Достоевский. Он не только проповедовал наступление христианского мира в «богоносной» России, что вообще спорно... Святая святых Достоевского — не его христианская утопия, а сам Христос; он однажды сказал (в сибирском письме к Фонвизиной и в «Бесах», устами Шатова): если правда была бы не с Христом, то он был бы с Христом, а не с правдой ***. Это значит: абсолютная правда — сам Христос, живой Богочеловек. Но этого не понимали ни Леонтьев, ни Толстой.

---

* *Достоевский Ф. М.* Письма, IV (1959), 195 (письмо от 16 авг. 1880 г.).

** Он же. Полн. собр. соч., 1 (1883), 69.

*** Там же, 372 (запись 1880 г.). Собр. соч. (1957), т. VII, 264. *Мочульский К.* Достоевский, 125.

СОЛОВЬЕВ — ПРОРОК

Константин Николаевич и Владимир Сергеевич познакомились в феврале 1878 г. Стареющий Леонтьев с восхищением внимал молодому философу, называя его гением, пророком, говорил, что недостоин развязать ремень на его обуви. «Я его очень люблю лично, сердцем, — признавался он, — у меня к нему просто физиологическое влечение» *. Такая привязанность — явление исключительное в жизни Леонтьева. Афонских и оптинских старцев он ставил выше себя, но в его преклонении перед ними восхищения не было. Теперь же он и преклоняется, и восхищается; иногда он готов повсюду за Соловьевым следовать, но все же не выходит из подчинения духовному патриарху — отцу Амвросию, который указал ему путь личного спасения в Царствии Небесном. Он всегда помнил: со старцем как-то вернее, надежнее... Но привлекает его и Соловьев — юный воин Церкви.

Встреча Леонтьева с Соловьевым была для них обоих знаменательной, но они плохо друг друга понимали. Очень уж они были разные. Это Константин Николаевич учитывал. Он писал И. Фуделю: «Я же по складу ума более живописец, более художник, чем философ; я — не доверяющий вообще слишком большой последовательности мысли (ибо думаю, что последовательность жизни до того извилиста и сложна, что последовательности ума никогда за ее скрытою нитью везде не поспеть)» **. А Соловьев прежде всего блестящий диалектик: и если он часто приходил к совершенно противоположным выводам, то всегда ведь обосновывал их логически безупречно...

Соловьев не только философ, но и мистик. Были в нем черты неземные: иногда ангельские, иногда демонические; а Леонтьев был к «звукам небес» глух... Но несходство, а также несогласие и непонимание нисколько не мешали Леонтьеву восхищаться Соловьевым и иногда даже надеяться, что этот ангел или демон как-то изменит исторический ход событий, нарушит неизбежные исторические «законы триединого развития».

Константин Николаевич писал: «Одно то, что Владимир Соловьев первый осмелился так резко “поднять”, как говорится, целую бурю религиозных мыслей на полудремлющей поверхности нашего церковного моря, есть заслуга немалая! Эта буря не скоро уляжется... И не дай Бог ей утихнуть! <...> Мы будем свое отстаивать (т. е. православие. — *Ю. И.*): он только сильнее

---

* *Бердяев,* К. Л., 154 (м. б. цитата из письма к И. Фуделю).

** Русское обозрение, 1895, I, 267 (письмо И. Фуделю, 6 июля 1888 г.).

возбуждает нас к отпору... Свое, органическое, предопределенное возьмет верх; то, что в учении Соловьева не нужно, то будет всеми отвергнуто, а то, что было нужно (по-моему, например, нужна его теория развития Церкви), то останется и войдет в состав дальнейшего нашего мышления». (А под «теорией развития» он имеет в виду утверждение Соловьева, что «богословская работа Восточной Церкви еще не окончена» *.) Во всей этой цитате ударение падает на слово «буря»: воинственный Леонтьев мечтал о Церкви столь же авторитетной, сколько и динамической, т. е. революционной по духу, и поэтому, еще не раздумывая, а только восхищаясь, поддался бурному натиску идей Соловьева. О его еретической софиологии он ничего не знал и, конечно, ее не одобрил бы; и не потому, что это ересь, а потому, что поэзия и религия Вечно-Женственного не могла бы его вдохновить. У Леонтьева поэзия и религия Вечно-Мужественного (а юношеский матриархат был для него ранней и уже пройденной «фазой развития»).

В длинном и путаном очерке «Владимир Соловьев против Данилевского» Леонтьев последнего защищает (1888). В своих возражениях он ссылается на очерк Соловьева «Россия и Европа», где находим тезы против одноименной книги Данилевского. Соловьев разделяет философско-исторические теории на крылатые и ползучие. Крылато, например, учение Платона (в «Государстве»), которое порывает с прошлым, настоящим и осуществляется в будущем (здесь Соловьев соглашается с Леопольдом Ранке, который считал, что платоновская утопия реализовалась в средневековой Европе [87]). Ползучие же теории — кое-что идеализируют, но они всегда связаны с настоящим и никуда не возносят, как, например, учение Данилевского. Далее Соловьев обличает его в узком, неверно обоснованном национализме и укоряет за желание изолировать Россию от западного христианского мира **. Леонтьеву хотелось в печати заступиться за своего старого союзника — славянофила-реалиста Данилевского, но его аргументация — слабая, неясная, неубедительная.

В той же статье Леонтьев высказывается против католических тенденций Соловьева: «Зачем я пойду в Рим за Соловьевым? — спрашивает он в этой статье. — Мне ни для личного спасения, ни для процветания нашей отчизны этого не нужно» ***.

---

* Л VII, 288, 312 («Владимир Соловьев против Данилевского // Гражданин, 1888).

** *Соловьев В. С.* Собр. соч., 1-е изд., V, 76–128.

*** Л VII, 289.

Да, православие его вполне удовлетворяло, хотя он очень ценил католичество, а за Соловьевым, при всем увлечении им и его идеями, он все же не следует, но по другим причинам.

Откровенее он высказывался в письме к Губастову *. Он просит его выслать ему французскую книгу Соловьева «La Russie et l'Eglise Universelle» [88]. Следовательно, он ее еще не читал. Нет даных и о том, что он прочел изданную за границей соловьевскую «Теократию» [89]. Возможно, что со многими идеями Соловьева Леонтьев познакомился преимущественно в беседах с молодым философом... В этом письме он обсуждает соловьевский проект союза Римского Папы и Русского Царя, главы католическо-социалистической империи: «*Примирение Церквей, подчинение Папе, ограниченная только Церковью власть Русского Царя,* пекущегося о наилучшем *материальном* устройстве жизни (охранительный социализм)». Его этот проект тем пленяет, что в нем есть «метафизический полет», а также возможность практического осуществления. Далее Леонтьев пишет: по Соловьеву, «призвание-то России *чисто религиозное*... и только!» **. Здесь Леонтьев проговаривается. Очевидно, для него мало одного религиозного призвания России; ему еще нужно призвание политическое, нужно великодержавие, нужны войны, бунты, нужна красочная борьба вплоть до самого Страшного Суда, а не вечный мир в той земной теократии-монархии, в которую Соловьев тогда верил и во многом совпадал здесь с Достоевским (но, конечно, не в католических симпатиях!). Эсхатология и Соловьева, и Достоевского — оптимистическая, завершающаяся христианским общественным идеалом, красотой-гармонией, которая «спасет мир». А Леонтьев — апокалиптик, мрачный, трагический, и, что особенно существенно, эстетика у него другая, его идеал земной красоты — не гармония, а дисгармния.

Если идеализм Соловьева близок гармоническому Платону, то Леонтьев восходит к Гераклиту с его философией вечной борьбы.

Леонтьев постоянно говорил о смертной скуке в буржуазно-социалистическом раю будущего. Но ему было бы скучно и в христианском земном раю не только Достоевского, но и Соловьева!

Вывод: в восприятии Леонтьева Соловьев не мечтательный оптимист, каким был Достоевский, он куда его практичнее, ис-

---

* Русское обозрение, 1897, V, 405–407 (письмо к К. Губастову от 5 июня 1889 г.).

** Там же.

торичнее, но все же его конечный идеал вечного мира на земле ему глубоко чужд и даже враждебен.

При всем своем восхищении Соловьевым, при всей готовности за ним следовать Леонтьев отказывался идти за ним до конца пути: и не потому, что Соловьев «папист», а потому, что он утопист, если и не розовый, как Достоевский, то розоватый... хочет все и всех примирить, что, по убеждению Леонтьева, невозможно, да и не нужно...

Эстетика бросила Леонтьева в объятия Соловьева, но эстетика же заставила от него позднее отречься.

СОЛОВЬЕВ — ЛЖЕПРОРОК

Леонтьев долгое время находился под обаянием личности Соловьева и поэтому неохотно с ним спорил; всегда готов был простить ему «заблуждения» и постоянно смягчал все несогласия.

Как же относился к нему Соловьев? Он считал, что Леонтьев «умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского» *.

Летом 1885 г. Владимир Сергеевич был в гостях у Константина Николаевича в Мазилове и говорил, что хочет написать статью, в которой скажет: «Леонтьев прав в том смысле, что жизнь должна быть основана на религии, и еще в том, что верит в торжество социализма над нынешней буржуазией; но социализм его не либеральный, строгий...» ** Но этой статьи Соловьев не написал и уклонился от роли арбитра в споре Леонтьева с Астафьевым по национальному вопросу. Это невнимание Константина Николаевича обижало; он никак не мог понять, почему его друг часто с ним соглашается, но не хочет высказаться о нем в печати.

Толстой писал, что в каждой дружбе один подставляет щеку, а другой целует ***. Если это и не всегда так, то в данном случае — очень верно: первый друг — это Соловьев, а второй — Леонтьев. Молодой философ только «позволял себя любить» старшему другу, а сам оставался холодным, у него не было леонтьевской способности «восхищаться», и он загадочно отмалчивался (Бердяев) ****.

---

* *Отец И. Фудель*. К. Л. и В. С. Соловьев // Русская мысль, 1917, 26.

** Русское обозрение, 1896, XI, 450–451 (письмо К. Губастову от 9 авг. 1885 г.).

*** *Толстой Л. Н.* Отрочество, гл. XXVII («Начало дружбы»).

**** *Бердяев Н.* К. Л., 155.

Летом 1890 г. они опять встретились после долгой разлуки. «Мы не только не поссорились, — рассказывал Леонтьев о. И. Фуделю, — но все обнимались и целовались. И даже больше он, чем я. Он все восклицал: "Ах, как я рад, что вас вижу". Обещал приехать ко мне зимой. Да я не надеюсь» *. Кажется, это было их последнее свидание, за которым вскоре последовал разрыв.

В октябре 1891 г. Соловьев прочел доклад в Московском психологическом обществе «Об упадке средневекового мировоззрения». В этом реферате он обличает «мнимое» церковное христианство — и православие, и католичество. А то христианство, которое ему теперь кажется истинным, он сближает с гуманитарным прогрессом и либеральной демократией. Это был отказ Соловьева от долгой борьбы за теократическую идею: она неосуществима, потому что весь христианский (церковный) мир предает Христа.

Константин Николаевич ознакомился с содержанием этого московского реферата в Троице-Сергиевском Посаде и вознегодовал: он разрывает фотографию Соловьева, называет его «негодяем», «сатаной», требует высылки отступника за границу, хочет, чтобы духовенство произносило против него проповеди... ** Он умел восхищаться, но умел и ненавидеть! Это последнее и глубокое разочарование в его жизни; через несколько недель он умер.

Что же так раздражило Леонтьева? Как мы уже знаем, ему был близок и понятен соловьевский проект социалистической монархии, подчиненной католической теократии, сходный с его собственным проектом православной социалистической монархии; сходный в плане историческом, но не в окончательных целях; потому что Леонтьев отвергал тот идеал вечного мира на земле, к которому Соловьев всегда стремился. Но Константин Николаевич этих и других своих разногласий с Соловьевым не хотел заострять. Другое дело прогресс, демократия; они приводят к смесительному упрощению, к безобразию и к смерти: это его основное убеждение. Именно потому он и не мог простить Соловьеву перехода в лагерь своих смертельных врагов (прогрессистов, либералов); и в том, кого он готов был считать пророком, увидел лжепророка.

В XX веке, после многих катастроф — и в ожидании новых — вера в идеи значительно ослабела. Но в XIX веке идеями жили,

---

* Русская мысль, 1917, XI–XII, 25. См. также письмо Вл. Соловьева Т. И. Филиппову (27 сент.1890 г.): *Соловьев Вл.* Письма, III (1911).

** *Александров А.* Письма, 123–124 (от 23 окт. 1891 г.); Русский вестник, 1903, 127–128 (письмо В. Розанову от 31 окт. 1891 г.).

и идейные расхождения переживались как личная трагедия. Так, Ницше отрекался от Вагнера с тою страстностью, что и Леонтьев от Соловьева...

После смерти Леонтьева Соловьев написал о нем некролог (в «Русском обозрении», 1892) и обстоятельный очерк в Энциклопедическом словаре. Он сочувственно отзывается о личности Леонтьева: это был «добрый человек», который «не кривил душой»... Но, переходя к разбору писаний своего друга-врага, он обнаруживает непонимание его идейного наследия. Соловьев ловит Леонтьева на противоречиях: тот, кто более всего заботится о душевном спасении, должен быть равнодушен ко всякой вообще политике; если уж вносить эстетику в политику, то следовало бы предпочесть идеалы древнего язычества, средневекового рыцарства, эпохи Возрождения — идеалам византийских монахов и чиновников, особенно в их русской реставрации. При этом он не замечает, что все эти вскрытые им леонтьевские противоречия являются нераздельными элементами леонтьевского мировосприятия; к тому же, не во всякой ведь философии все противоречия снимаются; он также не понимает, что Леонтьев, мыслитель-художник, изживал все эти и многие другие антиномии в своей поэме жизни...

В некрологе Соловьев утверждает, что у Леонтьева не было «одной господствующей и определяющей любви, но была одна главная ненависть — к современной европейской цивилизации» *. Это уже похоже на клевету: у Леонтьева была одна любовь: к красоте.

В начале 90-х гг. Соловьев разочаровался в теократии, а в конце того же десятилетия — и в демократии (в идеале внецерковной христианской общественности). В нем неожиданно «начал побеждать дух Леонтьева, леонтьевский пессимизм по отношению к земной жизни, к истории» (Бердяев) **. О том же говорит Мочульский: «В скрытой трагической борьбе между двумя мыслителями внешне побежденный Леонтьев в конце концов вышел победителем» ***. За год до смерти Соловьев пишет «Три разговора» — книгу о победе зла на земле, о пришествии Антихриста, который как будто бы и делает добро, но не во имя Божие, а для собственного прославления. Все это — очень в духе Леонтьева. Но победа зла временная. В конце «Повести об Антихрис-

---

* *Соловьев Вл. С.* // Русское обозрение, 1892, I; Энциклопедический словарь (Брокгауза и Ефрона).

** *Бердяев Н.* К. Л., 157.

*** *Мочульский,* указ. соч., 153.

те» лжемессия разоблачен, происходит объединение церквей, обращение ко Христу евреев и наступает новая эпоха, не теократия, не демократия, а тысячелетнее Царство Христово на земле.

КАТОЛИЧЕСТВО

Леонтьев высказывался о католичестве еще до знакомства с Соловьевым, например в книге об отце Клименте Зедергольме, которого пугали католические, а также мусульманские симпатии Константина Николаевича...

И. Фуделю Леонтьев писал: «Я не скрою от вас моей "немощи"; мне лично папская непогрешимость ужасно нравится. Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не только что руку... Римский католицизм нравится мне и моим искренно деспотическим вкусам, и моей наклонности к духовному послушанию, и по многим еще причинам привлекает мое сердце и ум» *.

Полнее и ярче всего он высказывается в одной статье 1890—189 1 гг., опубликованной после его смерти (Московские ведомости — «О двоевластии»): «Искажено ли католичество или нет — это вопрос богословский, которого я здесь не хочу касаться <...> но когда мы хотим поставить вопрос на объективно-научную почву, как ставил его Данилевский, то нельзя брать за критериум или за основу суда <...> *субъективное верование.* Культурно-историческая точка зрения не есть, собственно, христианская; она может быть тесно связана с моим личным христианством; но, чтобы судить объективно, я должен уметь выходить и за пределы моей *личной религии;* я могу не только этой личной верой, по богобоязненности, но во многих отношениях даже и разумом понимать, что православие *правильнее* католичества в догматическом и душеспасительном отношении. Но когда речь идет *о развитии, о своеобразии, о творчестве культурно-религиозном, я не могу не видеть,* что после разделения Церквей православие в Византии остановилось, а в России (и вообще в славянстве) было принято оттуда *без изменения,* то есть без творчества (вредно или полезно — *все равно пока*). А европейская культура именно после этого разделения и начала *выделяться* из общевизантийской цивилизации. В истории католичества, что ни шаг, то *творчество,* своеобразие, независимость, сила <...> Католицизм — религия такая могучая и полная, какой, быть может, еще и не было на земле...» **.

---

* Цитирую по книге: *Бердяев*, К. Л., 245.

** Л VII, 522–523.

Далее Леонтьев оспаривает обвинения католичества в рационализме и осуждение двоевластия в католические средние века; тогда две власти (папы и императора) боролись за господство на Западе, и в эту борьбу включились постепенно другие социальные группы —аристократия, а позднее все сословия, что в конце концов привело к революциям и к демократии. И с этим ходом мышления Леонтьев соглашается, но и возражает каким-то им не называемым противникам (славянофилам, консерваторам): в России все было иначе, но именно поэтому у нас «почва рыхлее, постройка легче...» и, следовательно, сопротивляемость революции слабее, чем в современной Западной Европе. Он ведь постоянно твердил, что коммунизм скорее победит в России, чем на Западе...

В заключение Леонтьев говорит: «Немного этого двоевластия не мешало бы» *. Т. е. двоевластия Церкви и государства в России. Мы уже знаем, что один из пяти его основных тезисов (в письме к И. Фуделю):

«*Церковь* должна быть *независимее нынешней*. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна *смягчать* государственность, а не наоборот» **.

Независимость от светской власти, дисциплина, не мешающая развитию и допускающая своеобразие, непрестанное творчество, наконец, величие, красота папского Рима — вот что привлекало Леонтьева в католичестве. Все же об измене православию он не помышлял. Он мог сочувствовать католическим симпатиям Соловьева, но до известного предела. Он утверждал, что православию есть чему поучиться у гордого и властного Рима: католики «нам могут служить добрым примером» ***.

Славянофилы, включая Данилевского, Победоносцев или Катков, афонские или оптинские старцы относились к католичеству враждебно и во многом с Леонтьевым не согласились бы; но он всегда сохранял и защищал независимость мысли, и не только в спорах о католичестве.

Существенно же, что Константин Николаевич Рим ценил и Рим любил, но православие, византийское православие, он ценил и любил больше Рима.

---

* Там же, 530.

** Русское обозрение, 1895, I, 268 (И. Фуделю, 6 июля 1888 г.).

*** *Бердяев*, К. Л., 243.

ПРАВОСЛАВИЕ

Основные слагаемые леонтьевской религии: страх Божий, спасение души и греческое православие. Восточная церковь для него — авторитет абсолютного значения и единственный путь спасения.

Учение греческих отцов Церкви, догматическое творчество семи соборов Леонтьев знал слабо и больше доверялся катехизису митрополита Филарета Московского. Но он всегда подчеркивал: «Православие *создано* не русскими, а византийцами». «Русское православие есть *православие византийское*». Он почитает русских святых, но знает и помнит, что, например, Пахомий Великий, Симеон Столпник или Василий Кесарийский были «творцы, *инициаторы*», тогда как Сергий Радонежский, Филипп Московский или Тихон Задонский — только «ученики и подражатели», и, что особенно для него существенно: «Афонская жизнь, созданная творческим гением византийских греков, послужила образцом нашим первым киевским угодникам Антонию и Феодосию Печерским». Пусть «русские святые *сами по себе*, духовно, ничем не ниже древневизантийских. Но *жизнь* Византии была несравненно самобытнее и богаче содержанием, чем жизнь старой, полудикой и однообразной Руси». Наконец, старчество — явление новое в России (уже не «полудикой») — тоже ведь вдохновлялось греческим Добротолюбием *.

Леонтьев постоянно твердил: лучшее, что есть у русских и у южных славян, — это их византийская вера, их византийская Церковь. Его радует, что византизм вошел в плоть и кровь славянства, и огорчает, что византийское религиозное культурное влияние понемногу испаряется и в России, и на Балканах и уступает место национализму и социализму западного образца. Он осуждает современных греков за их подражание западным модам в политике и в быту, но все же он утверждает, что они более преданы православию, чем балканские славяне. Именно потому в борьбе болгарской Церкви за автокефалию он становится на сторону константинопольского вселенского патриарха-грека.

Для Леонтьева православная Церковь неизмеримо значительнее русского народа и любого из славянских. Нации рождаются, растут, расцветают и исчезают из истории, а Церковь остается непогрешимой и пребудет до конца мира. Церковь всегда права, даже в том случае, если служители ее — не на высоте. Право-

* Все цитаты в этом абзаце из очерка «Письма Вл. Соловьеву» (Л VI, 333–335).

славный священник может быть дурным пастырем. «Но не теряйте уважения к его сану» *, наставлял он московского студента.

«Церковник» и «византиец», Леонтьев не отказывался от критики Церкви в плане историческом. Мы уже знакомы с его тезисом о независимости церкви от государства в России. Это значит: синодальный период должен кончиться: прямо он об этом не говорил, но очевидно, что независимая русская Церковь не может управляться правительственным учреждением — Св. Синодом. Леонтьев также утверждает: «Ограничивать всю жизнь Церкви одним охранением того, что известно, понятно, общепринято и ясно, — было бы или равнодушием или упорством не по разуму; это значило бы обрекать Церковь, пожалуй что, и на полное бессилие» **. Наконец, Леонтьев с одобрением повторяет Вл. Соловьева: «*Богословская работа Восточной Церкви еще не окончена*» ***. Утверждения эти очень смелые, но, к сожалению, Леонтьев не решался их высказывать во всеуслышание, громким голосом. Тезис о независимой Церкви мы находим в частном письме (к И. Фуделю) и из двух вышеприведенных цитат — первая заимствована из недоконченной статьи, а вторая была помещена в примечании...

Леонтьев высказывался за независимое, творческое православие, но за него не боролся — и едва ли потому, что уже начал уставать. Скорее оттого, что ему негде было бы писать о восстановлении патриархата в России; и его духовный отец — старец Амвросий едва ли бы одобрил такую «кампанию». Но он сохранял внутреннюю независимость духа. В той же незаконченной статье Леонтьев писал: «...я позволю себе разделять мысленно нравственно-аскетический авторитет их (т. е. оптинских монахов) от отвлеченно-богословского и от церковно-исторического...» **** Далее он разъясняет, что если в плане богословском и историческом его ум и сердце иногда удовлетворяются мнениями Хомякова или Соловьева, а не взглядами оптинских старцев, то «даже и при полнейшей готовности подчинить *мою личную жизнь* воле избранного “духовного” старца, *ум мой* (я) оставлю свободным и свободно мыслящим в пределах известного и мне и другим общеправославного догмата и предания» *****. Для че-

* Богословский вестник, 1914, II, 233 (письмо Анониму о вере, март 1888 г.).

** Л VII, 534.

*** Там же, 312.

**** Там же, 532.

***** Там же.

ловека, добровольно подчинившегося старцу, запрещенные взгляды, мнения и книги все же «могут сохранять в глазах его свое общее достоинство, удовлетворяющее его уму. “Не теперь, так позднее это будет принято Церковью”, может думать про себя этот независимый мыслью человек, свободно подчинивший свою волю личной святости другого человека...» *

Так Леонтьев отстаивал независимость мысли от тех авторитетов, которые считал абсолютными, — от Церкви, от оптинских старцев. Но для чего? Конечно, не во имя каких-то либеральных принципов, а для борьбы за независимую, сильную Церковь, активную в плане историческом, а не только в плане духовном.

Константин Николаевич писал Александрову уже после пострига (20 сентября 1891 г.) о том, что монахи не учитывают, «какую историческую великую роль играет в XIX веке в России Оптина Пустынь и как важно для мирян ее идеальное влияние <...> Они все не ясно понимают, что кругом них на свете теперь делается; а живут мыслью все “по старинной простоте”...» ** Леонтьев же слишком хорошо знал, что на свете делается... он лучше, чем кто-либо другой, видел ту смертельную опасность, которая угрожала в России и Церкви, и царству.

Итак, Леонтьев признавал и утверждал абсолютный авторитет православной Церкви, но сохранял за собой право иметь свое особое мнение о своем историческом призвании, а также и о догматах, которые, оставаясь неизменными, могут в будущем развиваться или же, как он позднее определял, могут раскрываться, как во времена семи вселенских Соборов.

Старец Амвросий указывал ему вертикальный путь спасения в Царствии Небесном, а по горизонтали истории он видел лучше, дальше, чем все современные ему монахи, архиереи, богословы и прочие православные, но его плохо понимали даже ближайшие друзья, и его удручало не столько собственное бессилие, сколько ослабление самой Церкви в России и на Балканах.

Церковь оставалась непогрешимой, но погрешали даже вернейшие из ее сынов — кто нерадением, а кто неведением.

Существенно также, что Леонтьев любил православную Церковь не за одно только византийское благолепие; красоту он находил и в Риме, и в Мекке, и вне всякой религии... Спасение души под руководством старца — вот что крепче всего связывало его с православием.

---

* Там же, 533.

** *Александров А.* Письма, 108 (20 сент. 1890 г.).

СТАРЕЦ АМВРОСИЙ

Отец Амвросий — последний из трех великих старцев Оптиной Пустыни *. Сердцевед, прозорливец, он очень хорошо понимал Константина Николаевича, но едва ли выделял его из числа других многочисленных постоянных посетителей. У него была своя духовная мера для каждого человека, и ему, несомненно, в голову не приходило как-то использовать писательское перо раба Божия Константина для «пропаганды» оптинских «идей», хотя сам Леонтьев очень к этому стремился...

Для старца Амвросия не было различия между вернувшимся в Церковь выдающимся писателем и той женщиной, которая просила его научить ее, как ходить за индюшками. Или же — было различие, но не социальное, а духовное; и ему было ведомо, чья душа чище, возвышенней, совершенней, но он об этом никому не говорил.

Старец знал, что Леонтьеву очень трудно жить в Церкви, в Боге, но знал и то, что у его духовного сына была добрая воля к преодолению страстей. Старец не забывал и о данном Леонтьевым обещании постричься, но не торопил его и допускал для него разные послабления в исполнении обрядов. Так, Константин Николаевич иногда выслушивал всенощную, сидя в креслах. Старец понемногу отучал его от мясоедения, но не от курения. Леонтьев говорил ему, что не может писать без папирос, и он эту его «слабость» извинял. Отец Амвросий всегда советовал лечиться, ибо тело было создано прежде души, и именно поэтому о нем нужно заботиться в первую очередь, но сам лечиться не любил и щедро расточал слабеющие силы. Константин Николаевич болел уже лет двадцать, но в Оптиной Пустыни меньше страдал, чем до этого, в Москве. Все же он жаловался на постоянные невралгические боли и на главное свое недомогание (задержание мочи).

Константин Николаевич часто обращался к старцу — советовался с ним обо всем, например — ехать ли ему в Калугу для свидания с министром Деляновым; но, конечно, он совещался с ним и о более существенных предметах, о которых умалчивал. Судя по леонтьевским письмам, старец верно угадывал скрытые истинные желания своего духовного сына. Так, в Калугу он не велел ехать, и Константин Николаевич, хотя и проявлял интерес к поездке, очень этому обрадовался: ему на самом деле совсем не хотелось туда тащиться и тратиться. В 1891 г. отец Амвросий советовал ему поменьше писать, разве что для уплаты

* См. гл. «Оптина Пустынь», ч. 3.

долгов, и мы знаем, что в то время Леонтьеву надоело заниматься литературным трудом. Есть что-что детское, беспомощное в этих отношениях: Леонтьев, словно заблудившийся мальчик, держится «за ручку» старца, который выводит его из дремучего леса... Но впечатление это — обманчивое...

Его юность прошла в кудиновском матриархате, в зрелые годы он жил сам по себе, а на склоне лет вступает в оптинский патриархат. Здесь как будто обнаруживается его слабость; но была в нем и большая сила: естественная, хищническая, но и духовная, обнаруживавшаяся в стремлении преодолеть ветхого адама; ведь ему стоило неимоверного труда смирять в себе язычника, укрощать хищника... Леонтьеву, вероятно, иногда хотелось навсегда остаться в том дремучем лесу заблуждений, из которого, держа его «за ручку», выводил старец... Но он за ним шел, ибо знал — старец сильнее: не боится смерти.

Самое главное, поучал старец: спасение души для вечной жизни. То же самое твердил и Леонтьев, и его радовало, что Варя, дитя души, с ним соглашалась: «Да куда мне других спасать! — говорила она. — Себя-то спасешь ли от ада?» *.

Самоспасение Леонтьев определял как «трансцендентальный эгоизм». Но это далеко не всегда — самозамыкание. Старец, говорил он, тоже думает о своем спасении, «а скольких спас... и меня...»

Вероятно, отец Амвросий говорил с Леонтьевым и о страхе Божием, без которого нет спасения, а также и о неизбежном конце мира сего; но, несомненно, не только об этом. Судя по его поучениям и отзывам о нем, старец жил не одним страхом Божиим, а и любовью к Богу и к человеку.

Константин Николаевич был нетверд в Священном Писании, что, однако, не мешало ему очень произвольно истолковывать Новый Завет. Как и Толстой, хотя и иначе, руководствуясь другой тенденцией, он подчеркивал в Евангелии то, что ему особенно «нравилось»: так, он постоянно выискивал там тексты о страхе Божием и о конце мира, чего старец, постигший дух евангельской истины, конечно, никогда не делал.

Старца мало занимал вопрос о том, по каким леонтьевским рецептам следует лечить Россию, замораживанием, т. е. реакцией, или же — переливанием крови в социалистической монархии... Старец понимал жизнь, понимал людей, как-то соприкасался с вечностью, но был вне политики, вне истории. Однако, не заботясь о судьбах мира, он оказывал влияние на мир, на

---

* *Александров А.* Письма, 101 (11 июня 1890 г.).

паломников, приезжавших к нему со всех концов России, на Достоевского и совсем иначе — на Леонтьева...

Как мы уже знаем, далеко не все в Оптиной Пустыни удовлетворяло Леонтьева. Ему хотелось, чтобы монахи осознали историческое значение монастыря. После смерти архимандрита Исаакия он писал Александрову, что теперь нужен игумен образованный, понимающий, что на свете делается... Между тем иноки живут «по старинной простоте» — молятся, трудятся, занимаются хозяйством, а этого в наше время мало... Но своего старца Леонтьев за «неисторичность» не укорял: пока отец Амвросий жив, он «все будет озарять и согревать — но ведь и ему 79-й год!» *

«О. Амвросий по натуре и по уму склада более практического, чем созерцательного, — писал Леонтьев Розанову. — "Практического", разумеется, не в каком-нибудь мелком смысле, а в самом высоком и широком. В том смысле, например, в каком и Евангельское учение можно назвать в высшей степени *практическим*. И любовь, и жестокие угрозы, и высшие идеалы отречения, и снисхождение к кающимся грешникам. Прибавлю еще: он скорее весел и шутлив, чем угрюм и серьезен, — *весьма тверд* и строг иногда, но чрезвычайно благотворителен, жалостлив и добр... *Теорий моих* и вообще "наших идей", как вы говорите, он не знает и вообще *давно* не имеет ни времени, ни сил читать. Но *эпоху* и людей он понимает превосходно и психологический опыт его изумительный» **. Далее Леонтьев говорит, что старец одобрил одну из его статей в «Гражданине», в которой доказывалось, что «замораживание» России задержит приход Антихриста... Все же очевидно, что старец политикой, историей не интересовался (он «наших идей» не знает) и все его помыслы были обращены к Богу или же к человеку — к «конкретному» человеку, а не к «абстрактному» человечеству (и именно в этом обнаруживался его евангельский «практицизм»).

Розанову же Леонтьев писал о смерти отца Амвросия (уже после своего пострижения и отъезда в Троицкую Лавру): «Кончина моего старца о. Амвросия не застала меня врасплох; он был так слаб, что я дивлюсь, как мог он дожить до 79 лет. Я столько лет ждал со дня на день его смерти, что теперь ничуть этим не поражен. Понимаю, конечно, что встретятся еще не раз случаи, если проживу еще долго, когда я буду восклицать: "где о. Амвросий!"... Но что же делать! Воля Божия! Господь, *если нужно,* и другого человека нам пошлет!

* Там же, 108 (20 сент. 1890 г.).

** Русский вестник, 1903, VI, 423 (письмо от 14 авг. 1891 г.).

До получения известия я каждый день поминал его имя на молитве за здравие, а после стал упоминать за упокой. И только... Но для многих других, не столь приготовленных или по сердечному (не чисто духовному) чувству безгранично ему преданных, это очень тяжело. Я даже знаю таких, у которых их личное к нему чувство было сильнее самой веры в Церковь. Мое чувство к нему было более духовного оттенка; я его слушался, избегал делать что-нибудь важное без его благословения; видел от него много *всякого добра* (даже и *вещественного* в *прежние трудные времена*); но так страстно, как другие, привязан к нему не был. Я уверен, что есть люди (особенно пожилые монахи, которые надолго его не переживут, да есть и молодые мужчины, за *веру* и *будущность* которых я несколько боюсь; для них о. Амвросий был все» *.

Это письмо говорит о духовно трезвом отношении Леонтьева к старцу. Сердечен он был преимущественно с молодежью, в особенности же с внешне привлекательными молодыми людьми: это его балканские и русские слуги-друзья, все молодцы как на подбор, это красивые Карцовы (брат и сестра), кое-кто из московских лицеистов и студентов, а также и Владимир Соловьев, внешность которого ему очень нравилась... Ими всеми он увлекался — но не старцами.

Неожиданно здесь только одно: признание, что старец заменим, а до замены его Леонтьев может обойтись без наставника. Почему именно — мы не знаем, но, судя по его последним письмам, духовной победы над самим собой ему одержать не удалось.

РОЗАНОВ

Василий Васильевич Розанов (1856—1919) — писатель, гениальный по размаху, как и Константин Николаевич Леонтьев, но все же гениями они не были... Это значит: они были необыкновенно одаренны, проницательны, какие-то тайны мира им приоткрылись, однако свое высшее знание — тайновидение они не сумели полностью передать или выразить; но это удалось сделать Пушкину или Тютчеву, Достоевскому или Толстому.

В 1891 г. Розанов, провинциальный учитель словесности, был уже автором никем не оцененной философской книги «О понимании» (1886) и нескольких статей, которые были замечены: «Место христианства в истории» и очерки о Достоевском и Гоголе. Он прочел в «Русском вестнике» отрывки из леонтьевской

* Там же, 428–429 (письмо от 18 окт. 1891 г.).

статьи о Толстом, горячо заинтересовался самою личностью их автора и выписал его «Восток, Россия и славянство» через Говоруху-Отрока (писавшего под псевдонимом Ю. Николаев). Именно от него Леонтьев узнал, что его писаниями зачитывается молодой Розанов. Константин Николаевич послал ему свою брошюру об отце Зедергольме и короткое письмо (13 апреля 1891 г.). Между ними завязалась оживленная переписка, длившаяся неполных семь месяцев.

Лучшая эпистолярная проза Леонтьева — письма к молодым Карцовым (1878): в них обоих, и в сестру, и в брата, он на склоне лет платонически влюбился и ими вдохновлялся... Константин Николаевич увлекся и Розановым, но иначе — интеллектуально; его очень оживило, что вот наконец-то нашелся человек, который его мысли понимает неизмеримо лучше, чем П. Е. Астафьев, Вл. С. Соловьев или же его московские молодые друзья (Кристи, Замараев, Александров, Фудель). Самые близкие ему люди, Мария Владимировна и Губастов, понимали его душевно, сочувствовали его «учению», но такое «домашнее» признание его, конечно, удовлетворить не могло. Леонтьев всю жизнь ждал другого — творческого отклика и дождался его только в последний год жизни.

Розанов послал ему свой длинный и еще не законченный очерк «Эстетическое понимание истории» (Леонтьева), позднее переименованный («Теория исторического прогресса и упадка») и напечатанный уже после смерти Константина Николаевича *. Статья эта — скорее неудачная, скучноватая. Розанов попытался систематически изложить леонтьевское «учение», а делать этого он никогда не умел.

Ему легче было излагать мысли в афоризмах, в лирических фрагментах, в «опавших листьях», в которых он часто отрицал то, что прежде утверждал... Лучшие свои статьи и заметки о Леонтьеве он написал уже в нашем веке; можно утверждать, что Розанов до самой своей смерти страстно проспорил со своим оптинским корреспондентом.

Для Леонтьев же скучная и неясная статья Розанова была манной небесной... В ней он нашел не только изложение «закона о триедином развитии», но и «основы» своей эстетики; до этого никто о нем так не писал. Розановский этюд — первый настоящий критический отзыв, посвященный Леонтьеву.

«Неоцененный и *неожиданный друг*», — обращается он к Розанову в письме, в котором разбирает его статью о себе по

* Русский вестник, 1892, I–III.

пунктам. Несколько позднее он в шутку сравнивает себя с перезрелой разборчивой невестой; к 35 годам она «решилась давно уже не ждать той оценки, которая удовлетворила бы ее. Вдруг откуда-то неожиданно явился человек; он говорит ей *именно то,* что она уже 20 лет тому назад мечтала услышать... Все давно уснувшие в ней чувства пробудились... Конечно, уже не с той живостью, с какой могли бы пробудиться прежде, но все-таки проснулись...» *

По его просьбе Розанов посылает ему свою фотографию; Леонтьев пишет, что выражение лица и глаза напомнили ему консула Ионина; это, несомненно, комплимент: ведь Ионин был одним из прототипов леонтьевского «идеального героя» — великого консула Благова (в романе «Одиссей Полихрониадес»); но далее он вливает каплю дегтя в бочку меда: «Только носик ваш, кажется, не очень красив, — слишком *национален,* если не ошибаюсь...» ** Носик у Василия Васильевича был «картофельный», а вся его внешность, замашки — плебейские, мещанские... Позднее Розанов свою неказистость и пошловатость использовал для розановского «мифа», даже нарочно все вульгарное в себе утрировал и играл в русской литературе ту роль, которую ему подсказали «декаденты», «модернисты» — роль гениального обывателя (по выражению Бердяева). Но в начале 90-х гг., в пору творческого «становления», леонтьевское замечание о носике могло его задеть, обидеть и уж не потому ли он так и не съездил в Оптину Пустынь, хотя Леонтьев и очень уговаривал, даже умолял его приехать, предлагая ему дать деньги взаймы, и без отдачи. Чтобы как-то поощрить Розанова, Константин Николаевич тогда же писал ему, что в юности часто занимал, например у Тургенева, и не заботился о выплате долгов (и только в старости начал разыскивать своих многочисленных заимодавцев).

В юности Розанов женился на Полине Сусловой (1840—1918). В 60-х гг. она была возлюбленной Достоевского; это его «роковая женщина»! Роман их был мучительный, но и вдохновляющий; ее черты мы узнаем в героине «Игрока» (тоже Полине), а также и в других женских образах Достоевского. Суслова мучила и Розанова, но безо всякой «пользы» для его творчества. Через шесть лет она его бросила, но развода не дала. Василий Васильевич сблизился со вдовой, дьяконицей Варварой Дмитриевной, и с нею тайно обвенчался в мае или в июне 1891 г. Леонтьева же он уведомил о вступлении в законный брак. Константин Нико-

* Там же, 1903, VI, 411 (письмо от 30 июля 1891 г.).

** Там же, V, 168–169 (письмо от 13 июня 1891 г.).

лаевич сразу же стал его наставлять: встаньте первым на коврик, в семье муж должен господствовать, «жена да убоится мужа»... * В своих комментариях Розанов все эти леонтьевские наставления отвергает. У него был свой, ветхозаветно-патриархальный, идеал брака, но господствовать в своей семье он никогда не стремился. «Да супружества *нет вовсе*, если оно не каплет, как мирра, нежностью и благоуханием, взаимной уступчивостью. "Вступи ты первый (или: «ты первая») на коврик" — вот долженствующая, правильная психология супружества» **. Иначе в жизни Леонтьева: свою жену он любил, но все же был как-то между прочим женат...

В письмах к Розанову новых мыслей Леонтьев не высказывает, но именно в них он дает наиболее полное описание чудесного исцеления в Салониках, и для него он написал свои «безумные афоризмы», в которых отрекается от эстетики (см. ниже). В письмах к молодым Карцовым — больше блеска, фантазии, больше прихотливых изгибов в стиле, это письма поэта и влюбленного... В заочной беседе с Розановым он часто брюзжит, жалуется на всеобщее непонимание или же беседует на высокие темы, комментирует свое учение, но весь не высказывается. Везде он както усиливает свое христианство и скрывает свое язычество («алкивиадство», по розановскому выражению!). Между тем ему так и не удалось преодолеть в себе «ветхого Адама». По всему видно, что Леонтьев считал Розанова христианским мыслителем: он им тогда и был. Розановское антихристианство — явление более позднего времени. Лет через 8–10 Розанов иначе поймет и оценит леонтьевскую мысль о том, что «Древо познания иссушает мало-помалу Древо жизни» ***. Но рост этого последнего «древа» Розанов видел не в Элладе, не в Ренессансе и не в другие эпохи «культурного цветения», как Леонтьев, а в Ветхом Завете, в древнем Египте или Вавилоне.

ПОСТРИГ

Весной и летом 1891 г. Константин Николаевич сообщает друзьям о том, что в августе, по желанию старца, он переедет в Троице-Сергиевский монастырь, а жену оставит с Варей.

В это время он приглашает к себе старого друга К. А. Губастова, хочет с ним встретиться «после долгой разлуки» и чтобы

* Там же, V, 157 (письмо от 24 мая 1891 г.).

** Там же, 157 (примеч. В. Розанова к письму Леонтьева).

*** Там же, V, 181–182 (письмо от 13 июня 1891 г.).

«наговориться до обморока, до положения риз» *. Им было что вспомнить: Константинополь, молодость, разные приключения... Губастов — скептик, практик, «себенаумизмус» (как его называл Константин Николаевич!), последователем Леонтьева не был, но всегда сочувственно его выслушивал и по-своему желал ему добра — литературной славы, политического влияния и всяческого земного преуспевания. Леонтьеву очень хотелось, чтобы его скептический друг поговел успенским постом и встретился с отцом Амвросием, но Губастов, который был тогда советником посольства в Вене, не смог к нему сразу приехать. А о скором пострижении Константин Николаевич Губастову не писал. Не знали об этом и другие — Александров, Кристи, Розанов.

23 августа 1891 г. Константин Николаевич был тайно пострижен под именем Климента: это имя первого оптинского друга его, отца Зедергольма, умершего в 1878 г. А 30 августа он уезжает в Троице-Сергиевский Посад, где поселяется в лаврской гостинице.

Пострижение совершилось с благословения отца Амвросия. По-видимому, старец знал, что его духовному сыну трудно стать «явным» монахом, и, понемногу приготовляя его к постригу, постарался как-то облегчить ему переход из «светского состояния» — в иноческое — тайное.

Прозорливый старец знал и другое — отцу Клименту и ему осталось жить недолго и перед прощанием он сказал: «Скоро увидимся...»

Что же в конце концов привело Леонтьева к постригу? Двадцатилетней давности обещание Богородице? Страх смертный и страх Божий? Желание спасти душу в Царствии Небесном? Настоятельное требование отца Амвросия? — На все эти вопросы можно было бы ответить утвердительно, но все же многое остается открытым и ясного, окончательного ответа мы дать не можем.

Допустим грубую, оскорбительную догадку, необходимую, однако, для приближения к правде. Леонтьеву — Нарциссу и Алкивиаду — хотелось спасти душу, ибо, к сожалению, плоть спасти нельзя, т. е. не умереть в земной жизни; и вот он решил обеспечить себе место в Царствии Небесном, хотя ему еще очень хотелось пожить в несовершенном земном царствии... Но всякие такие расчеты были глубоко чужды Леонтьеву. Не был он и трусом, который спасает, что можно спасти, т. е. душу! Можно со-

---

* Русское обозрение, 1897, VII, 431–432 (письмо К. Губастову 14 мая 1891 г.).

мневаться и в том, что он испытывал тот возвышенный страх Божий, о котором он постоянно говорил. Не было у него и животного страха смерти, не было и той усталости, которая иногда приводит к уходу из мира в монастырь. В его письмах последних лет, да и в тех, которые были написаны после пострижения, столько еще жизни — неиспользованной энергии, неослабевшей динамики! И так ли часто он унывал, хотя и писал Александрову, что на него находит иногда особенное, беспричинное уныние, как-то связанное с мистическим опытом, которому оно предшествует... Это значит — Леонтьев стал монахом не по расчету, но и не по призванию, которое исключает все сомнения и приводит к коренному изменению всего состава человеческого, к духовному перерождению и возрождению... Если по языческой своей природе Леонтьев — Алкивиад и Нарцисс, хищный зверь и нежный цветок, то в христианстве он Богатый Юноша, который был богат не «капиталом», а «культурой» — мыслями, образами и, наконец, талантами, от которых его никто не принуждал целиком отказываться; но его культурное наследие, его воззрения, вкусы христианскими не были. В его мире — в его поэме жизни — не только политика, этика, но и религия были служанками эстетики; и его образ красоты — не райский, а очень земной и иногда даже «адский». Ему все хотелось, чтобы живописная схватка добра и зла продолжалась до самого конца света! Живя в Оптиной Пустыни, он неодобрительно отзывался об осторожной иностранной политике Царя-Миротворца и не раз говорил, что России нужна «хорошая война», сильная встряска...

За десять дней до пострижения он пишет Розанову (13 августа) о том, что эстетическое мерило наилучшее — в приложении его к истории, к жизни. Тогда как религиозное мерило приложимо не ко всему человечеству, а только к людям, исповедующим ту же религию. Эстетика — шире и вмещает в себя все религии и всякую мораль, если только они эстетичны... Далее, в дополнение к своему основному определению красоты как разнообразия в единстве, он дает другое, поясняющее первое: красота («эстетика жизни») «есть признак внутренней, практической, другими словами — *творческой силы*». А творчество ведь может быть и религиозное, моральное, и враждебное вере, добру...

В конце же письма Леонтьев неожиданно «бросает» Розанову те свои безумные афоризмы, в которых как будто отрекается от всего, чему прежде поклонялся:

«1. Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней *жизнеспособности* человечества, то уменьшение *их* должно быть

признаком *устарения человечества и его близкой смерти (на земле)*».

«2. Более или менее удачная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и подделываясь под него)».

«3. Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся *убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь*».

«4. И Церковь говорит: "*Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде*"».

«5. *Что же делать*? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетике, из *трансцендентного* эгоизма, по страху загробного суда, для *спасения наших* собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике» *.

Казалось бы, здесь все ясно: после полного исповедания своей эстетической веры Леонтьев опять повторяет, что необходимо бороться с безобразным прогрессом (демократией), но затем утверждает нечто новое: христианству нужно отдать предпочтение перед эстетикой. Это его последний вывод: окончательный по разуму, по логике, но едва ли принятый всем Леонтьевым, его душой, сердцем, всей его натурой. Судя по его письмам, он и после пострига продолжал жить теми же интересами, вообще ничем не изменился. Его отречение от красоты — вынужденное: это не самопреодоление, это акт насилия, совершенный над самим собой. То же самое пишет в своих комментариях Розанов.

Христанство не только монашеская религия, как утверждали Розанов и отчасти Леонтьев. Иначе думали Достоевский, Соловьев, а позднее Бердяев: и обе великие Церкви, как римская, так и греческая, сколько бы ни говорили о мирских соблазнах, мира целиком не отвергали и всегда стремились его охватить — преобразовать и этику, и эстетику. Но нельзя совмещать Христа с Алкивиадом, между которыми, по розановскому выражению, «качался» Леонтьев!

Света истины, света Христова не видно в леонтьевской жизни ни до, ни после пострижения. Но когда-то леонтьевский Ладнев («Подлипки») мечтательно вздыхал по Христе-Женихе, грядущем в полунощи. В Салониках Леонтьев отдал себя под покровительство Божией Матери и исцелился. Но в последние годы он почти ничего не говорит ни о Спасителе, ни о Богородице.

---

* Русский вестник, 1903, VI, 419 (письмо от 13 авг. 1891 г.).

Конечно, нельзя судить только по леонтьевским писаниям, хотя другого источника у нас нет! Может быть, ему и светил какой-то свет во тьме уныния, сомнений, соблазнов. Так или иначе, до самой смерти Леонтьев жил в парадоксе и до синтеза не дошел.

Леонтьевская радужно-ослепительная, но иногда и такая печальная, пепельная поэма жизни не завершается в эпилоге примирением, преображением или же полным отчаянием. Он так и не поставил в самом конце точки или восклицательного знака, а только — многоточие и вопросительные знаки...; он не свел концов с концами — концы эстетические и концы аскетические; но ярко изобразил, запечатлел всю жизнь в парадоксе — свое упоение красотой и самим собой, а также борьбу свою за вечное спасение. Его незавершенная поэма иногда восхищает, иногда возмущает, но всегда заставляет призадуматься и потрясает тоской по настоящей, живой жизни.

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА

Отец Амвросий сказал Леонтьеву: сразу после пострига он должен уехать из Оптиной Пустыни в Троице-Сергиеву Лавру; там «все лучше будет», говорил старец. Леонтьев думал, что эти слова духовного отца могли означать, что в земном смысле ему будет хуже, но зато лучше в «загробном». Напомним еще, что на прощание отец Амвросий сказал отцу Клименту: «Скоро увидимся». Месяца через два старец скончался, а Леонтьев пережил его на три-четыре недели.

В связи с переездом было много хлопот. Нужно было позаботиться о раздаче вещей. Он особенно ценил мебель, вывезенную из Кудинова, — материнское приданое 1811 г. Душевнобольную жену он оставляет на попечение добрых и верных друзей: это Варя, «дитя души», и, вероятно, племянница. Жена, Елизавета Павловна, скончалась в глубокой старости, кажется после революции, а племянница, Мария Владимировна, в 1927 г.

В Москве Леонтьев провел два дня; там его посетили друзья: Александров, Говоруха-Отрок, Гринмут и другие.

30 августа 1891 г. отец Климент приезжает в Троице-Сергиеву Лавру, но поселяется не в монастыре. Его водворению в обители что-то помешало, и он об этом не тужил. Ему хорошо было в Лаврской гостинице. Через несколько недель он переходит в так называемые графские номера: это просторная тихая квартира со средневековыми сводами, и здесь ему все нравится. Александрова он просит купить светло-голубую марлю для занавесок. Тот обегал чуть ли не всю Москву и, к своему изумлению и ужасу, нашел просимое в лавке гробовщика.

Наместником Лавры был тогда ученый монах, архимандрит Леонид Кавелин (1822—1891), калужский помещик, как и Леонтьев. Они встречались в Константинополе. В 1873 г. Константин Николаевич написал о. Леониду о том, что «желает» поступить в управляемый им Воскресенский монастырь, но тот не «пожелал» его принять. По отзыву Губастова, это был человек «властный, мелочный и обидчивый», и в Лавре он к Леонтьеву «не благоволил» *. Архимандрит Леонид скончался за несколько недель до отца Климента, 22 октября.

Если судить по леонтьевским письмам, то отец Климент — это все тот же Константин Николаевич: вкусы, суждения, занятия его те же, что и прежде. Он читает «духовное», но хочется ему и «светского» чтения, а в Лавре «светских» книг не достать, и он их выписывает через Александрова. Он и здесь всегда чем-то восхищается или же негодует. Спорит с Розановым о своем герое-фаворите Вронском: в случае религиозного переворота он стал бы простым православным, ездил бы к отцу Амвросию, стал бы даже примерным монахом... А «несносный» Левин ему так же «противен», как сам Лев Николаевич. Гневается он и на своего прежнего друга — Вл. С. Соловьева.

Два раза заходил к нему молодой еще о. Антоний (Храповицкий), ректор Московской Духовной академии (в Лавре), позднее архиепископ и митрополит. Через 20 лет он написал воспоминания о Леонтьеве. О. Антонию очень не хотелось идти к новоприбывшему о. Клименту. Ему не нравились споры Леонтьева и леонтьевцев о том, что спасение души важнее общественной работы: он считал, что их проповедь аскетизма, их церковность — несерьезная; на самом деле Церковь была нужна им только как оплот государственности. Его также возмущали леонтьевские нападки на любимого писателя — Достоевского. Из всех писаний Леонтьева его восхищали только балканские рассказы, которыми он зачитывался, когда ему было 14 лет. Но встреча их была мирной: отец Климент «говорил скромно», хотя многие его рассуждения едва ли понравились отцу Антонию: так, он утверждал, что сыны духовного сословия отличаются ученым трудолюбием, чистотою нравов... дворяне же менее образованны, часто развращены, но они творчески одареннее... Леонтьев тогда же высказался за восстановление патриархата, к чему стремился и о. Антоний. Между прочим, Леонтьев предлагал выбрать патриарха из светского сословия, например Победоносцева или Саблера: одного из них нужно «развести с женой, постричь в монахи и

* См. гл. «Возвращение в Россию», ч. 3.

в одну неделю провести через все иерархические степени» *. О. Антоний, несомненно, придерживался другого мнения (а в 1917 г. он сам был одним из кандидатов в российские патриархи). Вообще же он писал о Леонтьеве без доброжелательства, как-то неохотно и в очерке своем признавался, что делает это только по просьбе друзей покойного и не ручается за точность своих воспоминаний.

Отцу Клименту скучновато было в Лавре — без общества, без споров! Он опять приглашает к себе Розанова: «Есть вещи, которые я только вам могу передать» **, — писал он ему. Но тот так и не приехал. Зато его наконец навестил К. А. Губастов, который два дня провел у него в Старой Лаврской гостинице. Он Леонтьева любил, понимал, но всегда скептически относился к его набожности, а в воспоминаниях своих неодобрительно отозвался не только об архимандрите Леониде, но и обо всем монастырском окружении своего друга.

Леонтьева радовало, что к нему иногда заходили студенты Духовной академии, многие из них — священники или иеромонахи. Но они воспоминаний не оставили, и мы не знаем, о чем он с ними говорил, о чем спорил.

В Лавре он встретился с Елизаветой Степановной Кротковой. Она заведовала монастырским убежищем для престарелых и убогих. За сорок лет до этого они встречались в московском свете. Тогда она была красавицей. Леонтьев-студент любовался ею на балах. Им обоим было о чем вспомнить! ***

У Троицы он ничего, кроме писем, не писал, но много занимался подготовкой к изданию третьего тома «России, Востока и славянства». У него были литературные планы, но он их откладывал до следующего года, 1892-го. Он писал и Губастову, и Александрову, что первые годы каждого десятилетия имели для него особенное значение. В 31-м году он родился, в 51-м болел, в 61-м женился, в 71-м чуть было не умер, но чудесным образом исцелился. в 81-м узнал, что лишится Кудинова; а в 91-м году ему казалось, что он может умереть, но если выживет, то опять будет писать и проживет еще одно десятилетие ****.

На состояние здоровья он в Лавре не очень жалуется, хотя по-прежнему страдает от застарелых недомоганий, — задержа-

---

* Памяти К. Л., 315.

** Русский вестник, 1903, VI, 432 (письмо от 18 окт. 1891 г.).

*** Памяти К. Л., 401 (воспоминания Поселянина-Погожева).

**** *Александров А.* Письма, 83 (11 янв. 1890 г.), Русское обозрение, 1897, VII, (25 марта 1891, к Губастову).

ния мочи, гортанного кашля, но продолжает курить. Губастов писал, что в последнее их свидание ему трудно было много говорить.

Итак, он о смерти задумывался, но умирать не хотел и вместе с тем теперь, как и прежде, все еще был полон жизни. Поэтому создается впечатление, что он как-то не верил в реальность смерти; психология его была — особенная, смертонепроницаемая!

Отец Климент заболел в начале ноября; ему стало жарко в натопленной комнате. Он снял свой суконный кафтан (рясы он не носил), открыл форточку и сел за письменный стол, стоявший у самого окна. Позднее друзья удивлялись этой его неосторожности; он вообще был осторожен и о здоровье своем заботился.

Началось все с воспаления легких — та болезнь, которую он так подробно описал для изображения триединого процесса исторического развития («Византизм и славянство», 1875). 9 ноября ему было уже очень плохо. Он вызвал своего духовника, молодого иеромонаха Варнаву, которому хотел сообщить что-то важное. Тот его успокоил. Потом он два раза исповедовался и причащался. К нему часто заходил другой иеромонах, студент о. Т-н (вероятно, Трифон, позднее епископ), который начал его наводить на мысль о смерти. Это отцу Клименту очень не понравилось, он «выражал свое неудовольствие» и даже жаловался на него отцу ректору (т. е. Антонию)*. 11 ноября он очень мучается и теряет сознание. Всю ночь бредит; по воспоминаниям воспитанницы (т. е. Вари, которую к нему вызвали), он несколько раз повторял: «Еще поборемся»!..**.

12 ноября в 9 часов утра «я взошел к больному», вспоминает Ф. П. Чуфрин (это был тот обращенный атеист, который побывал у него в июне того же года в Оптиной Пустыни). «Он лежал на широком диване, без одеяла, руки сжавши в кулаки, и прижимал их у плеч; одна нога вытянута, другая согнута в колене: глаза открыты и зрачки подведены вверх, к самым векам; больной тяжело дышал, и всякое его дыхание сопровождалось громким стоном» ***. Началась агония. Никого в комнате не было, кроме воспитанницы (Вари) и прислуги. Потом пришли иереи-студенты, отцы Веригин и Трифон. Они его соборовали. Несколько позднее явился вызванный из Москвы Александров. Вскоре после совершения таинства он скончался.

---

* По воспоминаниям Ф. П. Чуфрина (Гражданин, 1891, № 392). Цит. по кн.: Памяти К. Л., 140.

** Памяти К. Л., 154 (из воспоминаний А. Александрова).

*** Там же, 141 (воспоминанияЧуфрина).

О погребении его рассказывает о. Антоний. По чьему-то распоряжению поминали не монаха Климента, а болярина Константина. Погребальную литургию и чин отпевания совершал о. Антоний, иеромонахи Трифон, Григорий и другие.

О. Антоний, желая быть искренним, отказался произнести надгробное слово. Его заменил о. Веригин: по отзыву о. Антония — это был избалованный барчонок, впоследствии ставший католическим ксендзом, и говорил он плохо, бестолково.

Тело усопшего быстро и сильно разлагалось. Е. С. Кроткова «насыпала много жареного кофе под гроб, чем значительно был ослаблен тяжелый трупный запах» *. После погребения у нее состоялся поминальный обед. Все это воспоминание похорон воспроизвожу по недоброжелательным воспоминаниям митрополита Антония.

Иначе относился к нему великий старец Амвросий, все его тайны знавший; много он от своего духовного сына не требовал; но его понимал и любил.

Верный, но не проницательный Александров писал, что в конце концов Леонтьев покорился и успокоился **. Последнее верно: он умер! А первое? На самом ли деле покорился? Нужна ли Богу одна покорность? Об этом мы ничего не знаем.

Отец Климент был погребен в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры, у церкви Черниговской Божией Матери.

КРАСОТА

Весь Леонтьев в трех словах: ничего, кроме красоты! Или же: есть только красота!

Красоту он определял как разнообразие в единстве. То же самое находил он в природе. Разнообразие в ней — это цветение и плодоношение, весна и лето. Единство — законы биологического развития, роста.

Природа, естественные науки интересовали Леонтьева только в юности. Его главная тема — философия истории. Но его историческая методология — натуралистическая. Цивилизацию он изучает по аналогии с изучением натуры. Его закон триединого развития цивилизаций обоснован биологически: сперва первич-

---

* Там же, 316–317 (воспоминания еп. Антония: «Искренняя душа»).

** Там же, 156 (А. Александров); о. С. Веригин (1868—1938), настоятель католической церкви Св. Лаврентия в Риме. См. воспоминания о нем и о семье Веригиных: *Зернова-Кеслер С. А.* На переломе, три поколения одной московской семьи / Под ред. Н. М. Зернова (1970), 106–116.

ная простота (рост), затем роскошная сложность (расцвет), наконец смесительное упрощение (увядание, смерть). Но его оценка этих явлений — эстетическая. «Прекрасное человечество» живет во втором периоде — сложного цветения, в лучшую пору истории. В эти эпохи единство — это могущественная авторитарная власть, монархия, диктатура, Церковь: она ограничивает чрезмерное разнообразие, подавляет мятежи, искореняет ереси, но не устраняет причин недовольства и разногласий и, заботясь о своем сохранении, крепнет в борьбе с мятежниками, еретиками и вдохновляет тех, кто ее поддерживает; но противники тогда тоже нужны, без оппозиции не было бы движения в деспотическом единстве.

Итак, красота в истории — это разнообразие (творчество, борьба) в единстве установленной системы. Это, например, средневековье, восточное, византийское, и западное, латинское: любимая эпоха Леонтьева. Тогда кесарей, патриархов, пап смещали или убивали, были мятежи, возникали ереси, которые Леонтьев одобряет, но обе империи и обе Церкви оставались незыблемыми твердынями, чему он тоже сочувствует.

В современном ему ненавистном буржуазном мире Леонтьев видел одно разложение — безобразное смесительное упрощение. В X1X веке «прекрасное человечество» вымирает; или же вообще «человечество устарело»; нет больше ни разнообразия, ни единства, т. е. красоты; в будущем он предсказывает победу авторитарного коммунизма, который установит равенство рабов. Такое единство без разнообразия (творчества, борьбы) — не красота, не жизнь, а смерть, всех уравнивающая — уничтожающая.

Современности Леонтьев не любил, но все же находил в ней некоторое своеобразие и обломки прежнего единства. Его восхищали живописные «отсталые» Балканы, афонские монастыри или восточные базары; кое-что нравилось ему и в России — дворянские гнезда или деревенские гулянки. Всякое разнообразие он описывает ярко, увлекательно. А все, что он говорит о единстве, как-то мало убеждает.

Сохранившееся единство — это русская или турецкая империи. Ему хотелось подморозить Россию реакцией или же разогреть социализмом, но сам он плохо верил в эти методы лечения российского самодержавия, знал, что оно обречено, как и турецкое.

Другое прекрасное единство — религиозное: православие и мусульманство. По натуре, по влечениям он был скорее мусульманином, чем христианином (Розанов); и, может быть, даже язычником. Но спасения ждал только от православной Церкви. Мно-

гие в его ортодоксии сомневались. Митрополит Антоний говорил, что Леонтьев плохо знал церковное учение, даже Св. Писание. Для о. Георгия Флоровского он христианин весьма сомнительный, не преодолевший романтических соблазнов. Правда, монахи, и афонские, и оптинские, его лучше понимали: для них он был православный человек. Иноки, его любившие, знали, как ему трудно было преодолеть страсти, непосильных жертв не требовали и постригли его только незадолго до смерти.

Сам Леонтьев со времени чудесного исцеления в Салониках, в православии своем не сомневался. Но христианство его было безрадостное, безблагодатное, без веры в Воскресение, без любви ко Христу. В детстве, в юности ему мерещился Жених, грядущий в полунощи, а позднее, «воцерковившись», он как-то забывает, что православная Церковь — Христова.

Убедительно одно только леонтьевское единство (сдерживающее, но и вдохновляющее разнообразие): это не самодержавие, не православие, не законы природы, а он сам, его причудливая личность. Это реальное единство его стиля и в жизни, и в творчестве.

Любимые герои Леонтьева — это романтический денди Байрон, легендарный Ахиллес и, в особенности, Алкивиад. Байронизмом и «алкивиадством» проникнута вся его философия истории, его эстетика борьбы, творчества, наслаждения и гибели в периоды цветущей сложности Эллады и Рима, византийского и латинского средневековья, Ренессанса или Людовика XIV. А Россия, ему казалось, расцвела в век Екатерины.

По натуре Леонтьев не деятель, а скорее созерцатель. Самовлюбленный, но никогда собой не удовлетворенный Нарцисс, любитель красочных зрелищ с Алкивиадом в главной роли. Поздний романтик-эгоцентрик в эпоху буржуазного бидермейера, последний «байронический тип» с чертами женственного, изнеженного Альфреда де Мюссе.

В детстве, в юности Леонтьев-Нарцисс жил в материнском матриархате, но в Крыму и потом на Балканах он мужает и живет сам по себе; позднее, после болезни и исцеления, его воля ослабевает, и он вступает в патриархат афонских старцев и наконец — Амвросия оптинского. В нем совмещаются черты женственные и мужественные; если начало женственное сильнее проявилось в утро и в вечер жизни, то начало мужественное — в середине его земного странствия.

По верному замечанию Бердяева, в Леонтьеве было нечто «андрогинное», не столько во внешности, сколько во внутреннем облике. Он тайный служитель Афродиты Промежуточной, полу-

небесной, полуземной. Он любил томиться и томить, как герой «Египетского голубя» — Ладнев. В этой эротической мути если и есть разнообразие, то нет завершения; это дурная бесконечность томления. Но здесь есть красота, хотя и упадочная, осенняя. Однако в своей «официальной» эстетике Леонтьев прославлял только красоту-силу, красоту-здоровье — Афродиту Простонародную; или же пытался служить красоте Афродиты Небесной, вдохновляющей монахов. Свои странности он утаивал или слегка приоткрывал над ними завесу в романах, в письмах. Своей близости к декадансу он не осознавал; но не догадывался, что гибели цивилизации часто предшествует прекрасный распад — золотая осень. Черты декадентские в нем обнаружили позднее, уже после его смерти (Розанов, Грифцов, Бердяев, Булгаков).

Наконец, Леонтьев еще тот евангельский Богатый Юноша, который с тоскою в сердце отошел от Христа. Ему жаль было расставаться со своим имением — золотом, виноградниками, овцами, а Леонтьеву — с духовными сокровищами — книгами, мечтаниями, настроениями. Незадолго до обращения что-то в нем треснуло, надломилось, он вернулся к Церкви, но не ко Христу.

Леонтьева иногда сравнивали с Ницше (Розанов, Франк, Бердяев). Но, в противоположность ницшевскому Заратустре, он не утверждал новой этики по ту сторону старых понятий добра и зла. Он допускал и то и другое, но не верил, что на земле добро одолеет зло, и не хотел этого; его так восхищало красочное зрелище вечной борьбы добра и зла. Ему было глубоко чуждо германское идеалистическое представление о красоте, которая исправляет человечество и даже спасает (Шиллер, шиллеровщина у Достоевского: «Красота спасет мир»). Леонтьевская красота губит и плоть, и душу. У Леонтьева (как у Мити Карамазова и у его возможного прототипа Аполлона Григорьева) идеал содомский иногда совмещается с идеалом Мадонны. Он это знал и незадолго до смерти в письме к Розанову принудил было себя отречься от эстетики. Но и после этого, до самого конца он оставался все тем же «хищным эстетом».

Замечательно, что во всем облике Леонтьева было мало русского (Бердяев). По типу — он космополит. Правда, такие космополиты бывали в России, и даже на Руси. Вот его приблизительная генеалогия: удельные князья-авантюристы, воевавшие на Западе (Мстислав Великий—Гаральд), в начале XVII века — поэт и еретик князь Хворостинин (дукс Иван)[90], в XIX веке — католичествующий Чаадаев, Печерин — сперва социалист, потом католик[91], или мистик Соловьев — с симпатиями и католическими, и либеральными. Все же были у него и русские чер-

ты — барина-чудака, а иногда даже и интеллигента — «беспочвенного и идейного» (по определению Федотова). Наконец, была у него русская тоска по абсолютному. Его образ красоты — синоним той живой жизни, которую очень по-разному утверждали Гоголь, Хомяков, Достоевский, Григорьев, Толстой и радикалы Белинский, Писарев, а также те особенно ему близкие космополиты Герцен, Соловьев.

На историческом фоне XIX века Леонтьев — один из наиболее ярких представителей той духовной контрреволюции, в которой принимали участие такие разные мыслители, писатели, как Токвиль, Гобино, Доносо, Д. С. Милль, Карлейль, Ницше, Достоевский и другие. Эта контрреволюция защищала даровитое меньшинство от бездарного большинства, творческую свободу от плутократии и бюрократии, качество от количества. В XX веке, после всех испытанных потрясений и разочарований, мы часто обращаемся к этим контрреволюционерам, и это оправдывает наш интерес к Леонтьеву. Едва ли мы найдем у них ответы на наши вопросы, но они умели спрашивать и уже формулировали проблемы современного мира.

Леонтьев — явление своеобразное, исключительное, «диковинное», по меткому определению Адамовича [92]. В его поэме жизни звучат мотивы Нарцисса и андрогина, Алкивиада и денди, Богатого Юноши и позднего романтика, а также и другие, еще не расслышанные, не понятые. Все эти мотивы слышатся и теперь, но раздельно, не сливаясь, как у Леонтьева, в его неповторимой личности (т. е. в его основном единстве). Это тоже сближает его с нашей эпохой.

Современное искусство — не есть ли искусство экспериментирующего Нарцисса, живущего в творческой изоляции, — Пруст или Джойс, Пикассо или Стравинский? Есть андрогинное, бесплодное томление в современной поэзии, почти исключающей тему большой любви. Алкивиадом, хотя и пуританско-спартанского типа, был Лоренс Аравийский. Денди-эстет (но без леонтьевской героической романтики) — это рассказчик в прустовских «Поисках утерянного времени». Богатые Юноши — это те мыслители, художники, которые еще со времени Ренессанса отходили от Христа, христианства, но не могли удовлетвориться своими светскими гуманистическими идеалами (герои фаустовской эпохи, по Шпенглеру). Они ищут чего-то абсолютного, но не находят и живут в состоянии страха, тоски, тревоги (Angst, anxiety, angoisse).

Леонтьевская эстетика крайностей (добра и зла) — более смелая, напряженная, чем все ницшеанство и вся григорьевщина

Мити Карамазова. Но Ницше и Достоевский прославлены, между тем Леонтьев, как и Григорьев, пребывают во мраке неизвестности. Можно было бы найти и другие примеры и всю эту тему расширить, развернуть и вместе с тем уточнить. Так или иначе, «диковинный» Леонтьев остается нашим современником в XX веке.

Стиль Леонтьева столь же своеобразен, как и его личность. Он «вышел» из Тургенева, но уже роман «Подлипки» непохож на произведения его учителя. Композиция леонтьевских повестей — слабая, неубедительная, но всегда ярок, неповторим главный герой, за которым скрывается автор.

Весь Леонтьев — это художественно-философический дневник в разных жанрах — повестей, рассказов, воспоминаний, статей, писем. Как Вяземский, Герцен, позднее Розанов, Леонтьев лучше всего выразил себя в отрывочных записях. Его литературные приемы разнообразны: это яркие описания костюмов, мебели, архитектурных ансамблей (колоризм его «букетов»); это прихотливые «декадентские» определения — «нечто едкое и душистое» в образе Маше Антониади; это смелые обороты — «целовал сонным султаном», «гремучие и мужественные лица»; изредка — ритмическая проза, как позднее у Андрея Белого; или — гротескная риторика говорунов, доктора Коэвино или негоцианта Дели Петро; злые, но и забавные филиппики против ненавистных ему современных буржуа «в куцем трауре» фраков; странные сравнения — исторического триединого процесса развития с воспалением легких. Все это неожиданно, иногда дико, но метко, выразительно и как-то весело-увлекательно. Осуждая грязь «натуральной школы», мышиный деготь у Гоголя или Толстого, Леонтьев-критик требовал изящества, простоты. Этого он и добился в своих балканских рассказах. Но лучшие его страницы лишены этих качеств. Прихотливость, причуды ему более к лицу, чем простота. Так или иначе, его стиль очень своеобразен и отличается от стиля всех русских прозаиков XIX века. В его «скачущей» речи можно найти черты импрессионизма и экспрессионизма; и это опять сближает его с XX веком.

Почти все русские писатели прошлого века (после Пушкина и начиная с Гоголя) чему-то учили; были или хотели быть дидактиками.

Чему же учит Леонтьев? — Ничему — ответил Розанов, и, утверждая свою религию пола, пытался Леонтьева продолжать.

Ничему — сказал и Бердяев — но зато он дает «духовные импульсы».

Ничему — повторяет и о. Булгаков, но восхищается его поэмой жизни — «рапсодией».

Леонтьевская философия истории малоинтересна. Очень сомнительны открытые им «законы» триединого процесса развития цивилизаций. Непригодны и его принудительные способы лечения современного «устарелого человечества» реакцией или монархическим социализмом (подмораживанием или разогреванием). Интереснее леонтьевская эстетика, противоречивая, но яркая. Очень спорно утверждение Леонтьева: эстетический критерий объективнее всех других критериев — религиозных, политических, социальных, научных. Между тем его собственное восприятие прекрасного — очень прихотливо-субъективное. Ему казалось, что люди могут жить одной красотой и за красоту умирать. Однако и это спорно, такая одержимость красотой — явление исключительное.

Всего существеннее основной принцип леонтьевской эстетики; то, что хорошо в искусстве, хорошо и даже еще лучше в жизни: вся эта увлекательная борьба добра и зла — в особенности если принимать в ней самое деятельное участие («алкивиадствовать»)! Существенны и антиномии Леонтьева: нужно отречься от мира во имя спасения души, но все же нет ничего прекраснее земной греховной жизни. Это не простое противоречие, за которое его упрекал Вл. Соловьев, а именно антиномия — мучительная, но и вдохновляющая.

Поучения, мудрости у Леонтьева нет. Но есть в его творчестве смысл, есть даже — предвестие.

Утверждая красоту не в искусстве, а в жизни, утверждая ее страстно, как никто еще в русской и, может быть, даже в мировой литературе, Леонтьев, сам того не ведая, прославлял в земном мире то, что достойно спасения, преображения в Новом Иерусалиме, в Царстве Божием или в какой-нибудь другой «утопии», без которой человечество до сих пор не соглашалось жить. Эти спорные выводы подтверждаются явленной им красотой Афродиты Земной — яркой молодости, пестрого юга, преимущественно балканского, а также красотой Афродиты Небесной — сумеречной, монашеской, в золоченых церквах византийского православия, и, наконец, даже красотой бесплотного томления в сфере Третьей — Промежуточной Афродиты, полудуховной, полуземной.

В видении Иоанна с неба сходит Град, украшенный, как невеста. Как он украшен? Вероятно, святыми, ангелами, самим Творцом. Но, может быть, в этом Новом Иерусалиме мы узнаем то, что многие художники предчувствовали и намечали в своем

искусстве. Леонтьев — мастер несовершенный, но ни у кого не было до него такого упора на красоту, такой диалектической, заостренной и антиномичной эстетики, объемлющей все темы и проблемы красоты.

Другой образ — это Град, построенный руками человеческими, без помощи Божией (социализм, коммунизм) или же с Божией помощью (Достоевский). И здесь тем более, хотя Леонтьев и не верил в земной рай, леонтьевская красота-разнообразие могла бы обновиться и восторжествовать.

В утопию ведут праведники и пророки, но райские сны видят не они, а грешники, созерцатели — одержимые искусством художники. Они часто от рая отводят, искушают, прельщаются и адскими видениями, но в звуке, слове, краске, камне или в движении смутно прозревают разные образы чистой красоты. Пусть красота в жизни и в искусстве неполноценна, все же она ободряет и вдохновляет. Без этой несовершенной земной красоты ни святые, ни пророки не стали бы призывать к окончательному спасению и никто бы вообще не захотел спасаться. Метафоры для всех утопий — и религиозных, и, в особенности, социальных — заимствованы из нашего мира, лежащего во грехе, но все же прекрасного (например, описание Нового Иерусалима в Откровении Св. Иоанна).

Самое существенное у Леонтьева: помимо своей эстетической доктрины, он явил яркие образы красоты. Их можно анализировать, можно и классифицировать по признакам трех Афродит... Но в эпилоге их лучше кратко перечислить. Эти образы объединяет Леонтьев — герой и автор неповторимой поэмы жизни.

Один образ красоты — яркий Адрианополь, которым он бредил в тускловатой России; серый дымок над крестами и полумесяцами мусульманского и христианского города, живописный юноша-болгарин, укрощающий строптивого скакуна, русский консул, романтик и Нарцисс, слегка влюбленный в свою черемуховую Нарциссу, воркование египетского голубя, а в эпилоге — византийская панихида.

Другой образ красоты, тоже балканский, но более грубый, — это Янина албанского деспота Али-паши и грека-мученика Георгия; мужское царство красочной борьбы пашей, консулов, разбойников; сколько здесь неистощимой энергии для преступлений, заговоров, подвигов; это роскошный романтический ад Байрона, но с лазейками в христианский рай; и как здесь хороши тонкие минареты над голубым озером и зеленым островом.

Красота русская у Леонтьева — куда бледнее, чем балканская или крымская; но его восхищало «море» разноцветных домов и церквей в Москве; ему нравились петербургские контрасты византизма, классицизма, барокко и мещанских пригородов; его изредка увлекали и русские люди — лихие кавалеристы или сектанты-изуверы; его омолодила недолгая дружба с молодыми Карцовыми; и не райское ли житье было в Кудинове, в эрмитаже любимой матери; и там, по оснеженному саду, проходил полунощный Жених и куда-то звал в русскую даль, на простор; но в Оптиной Пустыни, даже в его «консульском домике», рая не было, только — чистилище.

Леонтьев не поучает, хотя и поучительна его диалектическая эстетика со всеми ее антиномиями. Лучшее, что он дал, — это разные образы красоты, вся поэма его жизни и герой этой поэмы — ненасытный эстет и неудовлетворенный метафизик.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ЛЕОНТЬЕВСКИЕ МОТИВЫ У ФАЛЛЬМЕРАЙЕРА

Яков Филипп Фалльмерайер (Fallmerayer, 1790—1861) *, сын тирольского крестьянина, получивший превосходное образование. Он полиглот, автор «Истории Трапезундской империи», либерал, выбранный гражданами Мюнхена во Франкфуртский парламент в 1848 г.

Фалльмерайер замечателен тем, что никакой классификации не поддается: ни ученость, ни либерализм его богатой личности не исчерпывают. Может быть, он лучше всего выразил себя в путевых заметках — иногда парадоксальных и всегда очень ярких. Его раздражали современные ему европейские филэллины, и он удивил многих своими странными для того времени утверждениями: турецкие султаны — прямые наследники византийских базилевсов; незачем было преследовать ариан — их рационализм сделал бы невозможным появление ислама; нынешние греки — славянского происхождения. А теперь некоторые его теории подтверждаются.

---

* *Fallmerayer Jakob Philipp*. Bysanz und das Abendland. Wien, 1943. S. 110 и др. Он побывал на Афоне в начале 40-х гг.

Либерал-скептик, он осуждал статику византийской культуры, аскетизм афонских монахов, отсталость турок, славян, но его зоркие глаза, его страстная душа — всем этим умственным аргументам противились... Фалльмерайер с восхищением смотрел на молодого султана Абдул-Меджида. А в очерке, посвященном Афону, он, европеец-монахомах, неожиданно восклицает: «Чего стоят все европейские обиталища муз по сравнению с этой лесной академией Св. Горы... в душе моей меланхолия иноков, преодолевших все мирское и чарующий образ этого вечно зеленого рая оставили глубокое и неизгладимое впечатление; наивные болгары говорят: если Бог умрет, то мы выберем Николая Чудотворца на Его место... Как далеки они от берлинский философов во фраках и панталонах... и разве д-р Давид Штраус и немецкие периодические издания сделают их более счастливыми?». Все это, даже по стилю, напоминает Леонтьева.

Фалльмерайер думал, как полагалось думать передовому либералу XIX века, но если «поскрести» его, то в нем можно найти черты потенциального немецкого Леонтьева и нельзя не пожалеть о том, что Леонтьев никогда Фалльмерайера не читал, как и графа Гобино, Доносо Кортеса, тоже родственных ему по некоторым воззрениям или по эмоциональным реакциям (см. о них выше, в конце 2-й части).

2. СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ ОБ АФОНЕ

Лет тридцать тому назад на Афоне побывал Борис Константинович Зайцев. Все, что он видел и слышал, видит и слышит читатель: долгие стояния-бдения, бедный быт в вымирающем Русике, нищего духом русского отшельника, удивительные фрески Пансолина в Карее и многое другое; от всего этого веет прохладой и тишиной гор, лесов и древних обителей *.

Осип Мандельштам написал стихи об афонских имяславцах (русское правительство удалило их с Афона в 1913 г.):

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.
В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики,

* *Зайцев Б. К.* Афон. Париж, 1928.

Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски!
Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.
Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь *.

(1915)

Стихи эти — легкие, прелестные, но Афон — только повод, предлог для этого лирического стихотворения.

А иностранных современников, пишущих об Афоне, можно разделить на три группы.

1. К первой группе принадлежат враги Афона — позитивисты, скептики. К ним отнесем Михаила Хукаса **, американского грека, профессора Дартмутского колледжа. По мнению этого ученого-социолога, Св. Гора населена преимущественно тунеядцами, среди которых немало беглых преступников! Он также ссылается на памфлет Фемистокла Корнероса: он проник на Афон под видом рабочего и будто бы узнал все афонские тайны... К этой же категории принадлежит очень недостоверная и издевательская книга Р. Брустера ***.

2. Но, кажется, теперь у Афона больше друзей, чем врагов... Ко второй группе отношу эстетов с археологическими интересами. Здесь следует выделить молодого англичанина Роберта Байрона (1905—1941) ****. Может быть, из снобизма этот «окзонец» тщательно скрывает свою влюбленность в Афон. Леонтьев мог бы одобрить его необыкновенную цветочувствительность, его пестрые «букеты» в описаниях. Он очень убедительно сравнивает византийское чувство красок с чистым колоризмом современной живописи. Этот читатель Джойса и поклонник Ван-Гога — широко раскрытыми глазами взирает на афонское искусство и природу Св. Горы. Его основная мысль: античная Эллада умерла, а Византия все еще продолжает жить. Байрон не верит в то, во что верят афонские монахи, но ему понятен и близок византийский идеал совершенства, отрицающий движение, прогресс.

---

* *Мандельштам Осип*. Собрание сочинений. Нью-Йорк, 1955. С. 75.

** *Choukas M.* Black Angels of Athos (1934).

*** *Brewster R. H.* The 6000 Birds of Athos (1935).

**** *Byron Robert*. The Station Athos (1928).

3. Есть еще особые друзья Афона — это современные Богатые Юноши: они не только восхищаются Афоном, но и смутно чувствуют, что здесь, на Св. Горе, та правда, которая дороже всех их богатств, т. е. культуры, но все же принять эту правду они не решаются и в смущении от нее отходят. Сюда можно отнести сочувственную книгу Жана Декарро*. «Нам афонцы кажутся иногда людьми бесполезными», пишет он. «Они же равнодушны к нашим детским играм, иногда столь трагическим; они думают не о временном, а о вечном и свято верят, что по обещанию Богородицы — быть Афону до самого скончания света».

Еще более характерна в этом смысле книга Эрхарта Кэстнера, «Барабан времени» **. Фаусту здесь нет места, говорит Кэстнер, все фаустовское племя «кончается» у афонских скал. Здесь не исследуют, не властвуют, а живут в измерениях вечности. А тем, что исходит из этого уединения, многие позднее укрепляются в светской жизни. Афон для него «сердце мира». Он не только мечтательно философствует, он умеет видеть, вникать. Замечателен его рассказ о лаврском монахе Аввакуме: он простой носильщик и уже много лет не ходит в церковь. Ему этого и не нужно: он «францисканский человек» и в нем живет Христос... Кажется, именно Кэстнер особенно близок Леонтьеву, и недаром ведь он самого себя называет Богатым Юношей...

3. ЛЕОНТЬЕВСКИЙ СОН МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

О воспоминаниях митр. Антония, посвященных Леонтьеву, я говорил в главе «Троице-Сергиева Лавра» (ч. 4). Там он не скрывает своей антипатии к Леонтьеву, человеку и писателю. О своем несогласии с леонтьевскими воззрениями митр. Антоний писал и в статье 1892 г. (см. библиографию). Отдельные совпадения в их взглядах несущественны: так, оба они ратовали за восстановление патриархата и, хотя и очень по-разному, утверждали *византизм* в православии. Но, вероятно, Леонтьева, видевшего только *восход* молодого архимандрита Антония, пленила бы и восхитила личность этого выдающегося иерарха, если бы он с ним лучше познакомился и прожил дольше. Прямота, резкость, увлеченность митр. Антония, который называл себя архиереем-мужиком, а на самом деле был скорее архиереем-барином с чертами рыцаря и самодура — все это черты, которые Леонтьеву

* *Decarreaux Jean*. République des Moines (1956).

** *Kaestner Erhart*. Die Stundentrommel (1956).

всегда очень нравились. Однако митр. Антоний, вероятно, сказал бы, что ему такого поклонника не нужно! Он ценил только балканские рассказы Леонтьева, которыми в детстве зачитывался. Но замечательно, что леонтьевское «начало» отразилось в одном вещем «сне» митр. Антония. В статье 1897 г. * он превозносит греческое православие и заявляет, что готов признать гегемонию греческого народа как в охранении, так и в истолковании истинной веры и церковных канонов... Вдруг он видит очень леонтьевский «сон». «Греки в парижским пиджаках, с папиросками и тросточками, отражая в своей манере всю пошлость европейского нигилизма, толковали с великим оживлением о министерских кризисах». Заметив в нем русского, греки самодовольно его спрашивают: «Правда ли, мы ничем не хуже европейцев, и наши собрания не уступают Парижской палате?». Сновидец их тут же разоблачает: увы, паства Златоуста и Паламы подражает теперь жалким выродкам Запада, этим растлителям вселенной... Здесь создается впечатление, что пиджаки и тросточки греков-западников и их поголовное уничтожение стенобитными орудиями византийской патристики заимствованы из литературного хозяйства Леонтьева — это его идеи, его стиль.

4. СТИЛИСТИКА ЛЕОНТЬЕВА

В моей книге я несколько раз анализирую стилистику Леонтьева. Здесь же даю сводку его основных стилистических приемов и кое-что добавляю.

В очерке о Толстом Леонтьев говорит о значении стиля (т. е. манеры рассказывать) в литературных произведениях. Он обсуждает там *внешние приемы,* ритм речи, выбор слов **. Это его обсуждение стилистики было для того времени явлением необычным и позднее привлекло внимание т. н. формалистов, Б. Эйхенбаума и В. Шкловского: оба они очень высоко расценивали леонтьевский очерк, посвященный Толстому.

I. Натуралистические «мухи», или «безобразие для безобразия», — снижающие описания в романах писателей-натуралис-

* *Епископ Никон* (Рклицкий). Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого. Нью-Йорк, 1957. Т. II. С. 26–27. Оттуда цитата из статьи «Вселенская Церковь и народность», написанная вскоре после кончины иерусалимского патриарха Герасима в 1897 г. (ссылка на Полное собр. сочинений митр. Антония, т. II, 31).

** Л VIII, 318–319 («Анализ, стиль и веяние...»).

тов и реалистов (Гоголя, Толстого, Писемского, Тургенева). Леонтьева вся эта «грязь» возмущала. Так, ему не нравилось, что Пьер Безухов *тетешкает* ребенка... При этом он и себя самого тоже порицает за такие «низкие» выражения в повестях 60–х гг. Их особенно много в его романе «В своем краю»: блевать, шлюха, ядреный, шушлиться (возиться, вертеться), ходить расхлебасьей (расхлябанно) *.

II. *Колоризм, описания-букеты* — он их «подбирал» еще в 60-х гг., но их больше всего в его балканских повестях и очерках, написанных позднее (а также и в письмах Карцовым). Это, может быть, объясняется тем, что Леонтьев занимался живописью. К тому же — его восприятие мира преимущественно визуальное.

В романе «Египетский голубь» его супергерой Ладнев разгуливает в ярко-голубой шубке и подыскивает для своей возлюбленной дом того же цвета. Ладнев мечтает, что он, голубой всадник, будет ездить в голубое обиталище Маши Антониади... Здесь Ладнев сам — букет (васильков и незабудок!), а здание — ваза, в которую ему хочется себя «поставить» **.

III. Колоризму Леонтьева параллельна его *линейность,* описания, заимствованные из архитектуры. Так, Милькеев («В своем краю») говорит, что у графини Новосильской «готическое и стройное стремление вверх», она напоминает ему страсбургский собор ***. А старый Руднев жалуется: «Архитектурной постройки у меня на лице нет» ****. Позднее, в очерке о Толстом, Леонтьев философствует об архитектурном спиритуализме церковного христианства *****. Может быть, здесь сказалось влияние технической терминологии френологов, которыми так увлекался Леонтьев-студент.

IV. *Афоризмы* или афористические выражения, иногда с разговорными интонациями. «Если человек сумел прожить ярко, то никакая гибель не убьет его лица», говорит Милькеев («В своем краю») и продолжает (в том же декларативном монологе): «Я понял, глядя на Новосильскую, что можно самому жить à la Dickens и понимать тех, кто живет à la Sand». В той же главе (на следующей странице) помещик Лихачев «бросает» другой афоризм — но не декларативный, а небрежный, «разговорный»:

---

* См. гл. «Милькеев», ч. 1.

** Л III, 368. См. гл. «Маша Антониади», ч. 2.

*** Л I, 327.

**** Там же, 588.

***** Л VIII, 274.

«Брат мой — здоровый, густой портер, вот что такое мой брат! Пусть шипит медленно и густо, и (а? — *Ю. И.*) ваш Милькеев — шампанское!» *. Немало афоризмов и bon mots в других повестях и очерках Леонтьева.

V. *Декламация* — иногда гротескная, барочная, причудливая, например в речах ораторов-энтузиастов в романе «Одиссей Полихрониадес» — доктора Коэвино или безумного Петро — Хаджи-Хамамджи. Вот его фантастическая Индия: «Древние города, миллионами, триллионами населенные! Священные коровы... их держат святые люди за хвост... Океаны разноцветных зданий... Нагие баядерки... Слоны белые величиною с гору...» **. Не барочны, а скорее классичны великолепные тирады самого Леонтьева в его статьях, например этот знаменитый риторический вопрос: «...ибо не ужасно ли и не обидно ли думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи...» для того только, чтобы современные буржуа благодушествовали «на развалинах всего этого прошлого величия?..» ***.

VI. *Шуточная этимология.* Друзья Милькеева («В своем краю») добродушно поддразнивают его за обмолвку: вместо «Молдавия и Валахия» он как-то сказал «Малахия и Валдахия». Тут географическое название превратилось в имя ветхозаветного пророка, а несуществующую «Валдахию» можно, по аналогии, принять за лицо библейское. В том же романе подросток Сережа надоедает гостям игрой слов. Кто-то спросил: «Мак есть?», а он тотчас же спрашивает: «Какой мак? Мак-Дональд или Мак-Магон?» ****. Комизм этих этимологических упражнений оживляет атмосферу уюта в этом леонтьевском дворянском гнезде. Но, может быть, здесь проявляется и интерес к языковому эксперименту. Так, Леонтьева забавляло, что греки иногда вместо любой согласной в начале слова ставят «м». Этим выражается пренебрежение к данному предмету: Мофица (вместо Софица, София), монсул вместо консул... ***** Эти обмолвки или искажения соответствуют странным сочетаниям в гротескном орнаменте.

VII. Та же функция заметна и в неправильных или необычных выражениях: Лихачев целует свою возлюбленную полусонным султаном. Или — свалка жмурок («В своем краю») [6]*. Одис-

* Л I, 396–397.

** Л IV, 440.

*** Л V, 426. См. гл. «Пламенная политика», ч. 3.

**** Л I, 296, 378.

***** Л II, 204 (Пеликар-Костаки). Другой пример: мановой-становой (в речи крымских татар).

[6]* Л I, 400, 454.

сей Полихрониадес (в романе того же названия) пишет, что он ощутил присутствие всемогущего паши «по некоему особому полубоязливому, полупраздничному содроганию моих глубочайших внутренностей» *. Все эти странности — комические, но бывают и поэтические, волшебные: по вечерам в угловой комнате усадебного дома «звучала с лежанки чародейка Аленушка», рассказывавшая сказки о Правде и Кривде **.

VIII. *Причудливые описания* или рассказы, о с т р а н е н н ы е сопоставлением слов разных речевых слоев (словесные коктейли или стилистическая гурьева каша...). Вот что говорит кузен Володи Ладнева, Модест, о тетушке, хозяйке Подлипок:

«Тетушка, однако, важный малый, патриарх такой милый, bon enfant [93] в высшей степени! И знаешь, у нее есть поэзия» ***.

Здесь комизм, сочувственно-поэтический комизм, создается сочетанием просторечивого малого, библейского патриарха и дворянско-французского bon enfant!

Юрьев, друг Володи Ладнева, выдумывает забавно-фантастическую историю, как та же тетушка (в «Подлипках») ездила с Ноем в ковчеге: «Ты ступай, говорит (Ною тетушка. — *Ю. И.*), на Арарат!» — Нет, я на Гималай уж пойду!! — На Арарат — закричит, да как топнет; ну, Ной и сробел. "На Арарат, — говорит, — так на Арарат!" Он уж ныл, ныл... С тех пор и стали его звать Ной...» **** Здесь тоже все смешано: бытовая помещица и ветхозаветный миф...

IX. Детская *фантастика,* мифологизация быта в «Подлипках»: Володя Ладнев производит фамилии соседей-помещиков от формы пятен на ободранной стене — пятна эти были планы их имений... Одно напоминало чудовище, и поэтому владелец его назывался Зверев, другой был Колоколов, третий — Сковородкин *****. Тетушку он называл Юноной, брата то Марсом, то Аполлоном, гувернантку Минервой, юную Оленьку — Венерой [6]*.

X. *Нюансированная речь* в скоплениях прилагательных, отмечающих разные оттенки: по вечерам все предметы в комнате «получали смешанный, прыгающий, волшебно-одушевленный вид» [7]*. В Маше Антониади «таилось что-то изящно-растлевающ-

---

* Л IV, 590.

** Л I, 28.

*** Там же, 142.

**** Л I, 213.

***** Там же, 9.

[6]* Там же, 28. См. также гл. «Матриархат» и «Мифология», ч. 1.

[7]* Там же, 7.

щее, нечто тонко и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое, доброе и лукавое, тщеславно-милое...» *. О Тургеневе: «Не говорю уже о шершавых и топорно-аляповато-ярких, пучеглазых "Записках охотника"» **. Какие-то неуловимые нюансы (*несказанное* на языке русских символистов) передают и то, что Леонтьев называл *музыкой:* это одно из излюбленных его выражений (за тридцать лет): «музыка дальней смерти» в «Подлипках» (1861) и «общепсихическая музыка» в романах Толстого (1890) ***.

XI. *Стихотворения в прозе:* их немного, и едва ли они удачны. Это подражание песне Индейца у Шатобриана («Атала») — в эпилоге «Подлипок», хотя именно там звучит «музыка дальней смерти» и выражение это не шатобриановское ****. Еще — лжебылинный сказ в «эпосе» «Дитя души». Повесть эта, мне кажется, Леонтьеву совсем не удалась: читателя утомляет стилизация, растянутая почти что на полтораста страниц (но все же эта утопия-сказка очень существенна для понимания диалектики Леонтьева).

В одном отрывке (в «Египетском голубе») доминируют трехстопные размеры: «О дымок, дымок мой, серый дымок над нагими садами зимы...» ***** Этот зачин с восклицанием «о» напоминает раннюю тургеневскую манеру, например в «Записках лишнего человека» (1850): «О природа, природа...» Или: «О мой сад! О заросшие дорожки возле мелкого пруда, о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов...» [6]*. Напоминают Тургенева и другие эмфатические повторения тех же ключевых слов в «Египетском голубе»: «Безмолвие, блаженное безмолвие». Или: «Что за счастье, что за мучительное счастье» [7]*. Заметим, что, при всем «реализме» описания, Тургенев и Леонтьев вводят символические образы: в тургеневских «Записках лишнего человека» прыгающий воробей символизирует здоровье, силу, а у Леонтьева воркующий египетский голубь символизирует томление любви. Но лирический второй план в последнем леонтьевском романе сложнее, чем у молодого Тургенева

---

* Л III, 323.

** Л IX, 137.

*** См. гл. «Музыка», ч. 1.

**** См. гл. «Поповна», ч. 1 и «Дитя души», ч. 2.

***** Л III, 333–334. См. гл. «Адрианополь», ч. 2.

[6]* *Тургенев И. С.* Полное собр. сочинений (1963).

[7]* Л III, 433 и 276.

(голубиное ворокование в этой повести сменяется пением панихиды).

XII. *Резкие контрасты* — прием этот старый, известный всем художникам за все 8 или 10 тысяч лет истории искусства. Леонтьев пользовался им очень часто, и, кажется, чаще других современных ему русских писателей. Этот прием выражает его основное восприятие мира как яркого зрелища с контрастами пестрой красоты и черной смерти. Или же он сопоставляет образы разной красоты: так, истинное христианство для него: «и поэзия нищего в лохмотьях, поющего Лазаря, и поэзия владыки, сияющего золотом и "честным" камением» *. Но, как мы уже знаем, существенны для него и нюансы, переливы без резких контрастов.

XIII. *Кавычки* — их очень много у Леонтьева, но функция их обычная: в них заключаются редкие или устарелые слова («честное» камение), семантически богатые выражения (русское «ничего»), речевые шаблоны или одиозные для него слова — «интеллигенция», «интеллигентная» масса), а эллиптические фразы: послушание старцу важно в «загробном» отношении (т. е. для спасения души в другом мире, за гробом...)**.

XIV. *Курсивы* — их у него больше, чем у кого-либо из всех русских писателей, за исключением подражавшего ему Розанова: и именно он обратил на них внимание: «Нужно бы приложить снимки с *почерка* его — этого женского почерка, с едва заметным нажимом пера, лежачего (очень отлого поставленные буквы), с тонкими, почти острыми загибами букв, с *подчеркиваниями* слов или в слове иногда только слогов, которые будто слышались, как произносит он резким *отрывающим* голосом, будто женщина чешет косу, откидывая далеко гребень. Этот *почерк* был очень похож на *стиль* его (каллиграфически изображал его), нервный и острый, страстный и мучительный» ***.

Подчеркивание существительных имеет свою традицию — оно часто выделяет главное слово по значению его. А у Леонтьева подчеркнутое существительное иногда имеет еще особую интонацию. В письме к А. Александрову он говорит о своей душевнобольной жене: «Иногда — "ничего"; ну а иногда *и крест!!*» ****. Крест и так здесь под ударением, но в курсиве (т. е. подчеркнутое) это слово, да еще с союзом «и», передает крик души... Очень

---

* Л VIII, 172–173.

** Все примеры из писем к Розанову (Русские ведомости, 1903, IV, V).

*** *Розанов В. В.* Неузнанный феномен // Памяти К. Л., 171–172.

**** А. А. Александрову, от 26 мая 1891 г. // Письма К. Н. Л., 117.

часто Леонтьев подчеркивал прилагательные, наречия, местоимения. Значение этих подчеркиваний смысловое, но, по-видимому, иногда и интонационное. Встречаются у него и двойные подчеркивания, отмечаемые жирным шрифтом. Вот пример из письма Розанову; Леонтьев просит его прислать статью о нем: «Это было бы мне *большим утешением* в моем одиночестве. *Вы* (да еще двое-трое *молодых* людей) понимаете меня *именно так, как я желал всегда быть понятым*» *. Может быть, здесь двойные подчеркивания требуют какого-то особенного ударения, более сильного, чем простые, выделенные курсивом. Так или иначе, эта фраза должна прозвучать иначе, чем в обычном произношении.

Надо полагать, Леонтьев слышал то, что писал, прислушивался к собственному голосу. Однако всякие выводы здесь преждевременны. Следовало бы сперва учесть и проанализировать все вообще подчеркивания и Леонтьева, и Розанова. Я же только намечаю проблему леонтьевских и розановских курсивов и жирных шрифтов. По общему впечатлению, в письмах Леонтьева больше подчеркнутых слов, чем в статьях и их меньше всего в его рассказах, романах.

5. О РОЗАНОВЕ И ЛЕОНТЬЕВЕ

Я несколько раз указывал на связь между Розановым и Леонтьевым. Есть немало общего и в их стиле, и не только в курсивах и жирных шрифтах. Оба они писали импрессионистически небрежно, оба ориентировались на разговорную речь, в особенности в эпистолярной прозе, а также и в заметках «для себя». Но есть и разница: Леонтьев — барин-говорун, немного самодур и, при всех своих капризах, — человек прямой, откровенный, а у Розанова много притворства, уловок, у него язык дореформенного приказного, который способен иногда надерзить, но потом, испугавшись, «идет на попятный двор»; он сродни добровольным шутам Достоевского, Лебедеву, Лебядкину или старому Карамазову. Между тем гордый Леонтьев даже в минуты запальчивости не забывал об изяществе осанки, слога, ничего юродского в нем не было. Особый говорок, который Розанов начал культивировать лет через десять после смерти Леонтьева, едва ли пришелся бы по вкусу оптинскому отшельнику. Но, как мы знаем, Леонтьев все готов был простить Розанову за глубо-

* В. В. Розанову, от 24 мая 1891 г. // Русский вестник, 1903, V, 159.

кое, хотя иногда и искаженное, понимание своих основных мыслей и заветных дум *.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИБЛИОГРАФИИ КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА **

Источники библиографии до 1924 г.: библиографические указатели А. Коноплянцева в сборнике «Памяти К. Н. Леонтьева» (1911) и в его очерке в Русском биографическом словаре (1914), с дополнениями Н. Лернера в «Историческом вестнике» (1912, 130), И. В. Владиславлева («Русские писатели», 1924) и моими. Библиография после 1924 г. составлена мною, и по сравнению с предыдущим периодом она менее полная. Но, несомненно, имеется немало пробелов и в упомянутых выше библиографических указателях.

Сокращение: К. Н. Леонтьев — Л.

1. СОЧИНЕНИЯ ЛЕОНТЬЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ, повесть // Московские ведомости. Лит. отдел. 1854. № 6–9 и 10. Подпись — три звездочки.

ЛЕТО НА ХУТОРЕ, повесть // Отечеств. записки. 1855. Кн.V.

НОЧЬ НА ПЧЕЛЬНИКЕ, очерк // Московские ведомости. Лит. отдел. 1857. № 146. Подпись — К. Л.

СУТКИ НА АУЛЕ БИЮК-ДОРТЭ // Отечеств. записки. 1858. Кн. VII.

ТРУДНЫЕ ДНИ, комедия // Отечеств. записки. 1858. Кн. IX.

ПИСЬМО ПРОВИНЦИАЛА К ТУРГЕНЕВУ (о его романе «Накануне») // Отечеств. записки. 18<59>. Кн. V.

ВТОРОЙ БРАК, повесть // Библиотека для чтения. 1860. Кн. IV.

О СОЧИНЕНИЯХ МАРКО ВОВЧКА // Отечеств. записки. 1861. Кн. III.

---

* Розанов о Леонтьеве // Новое русское слово, 1963, 24 февр. Статья Юрия Иваска.

** Этот раздел печатается по книге Юрия Иваска «Константин Леонтьев (1831—1891). Жизнь и творчество» [Bern (Switzerland): Herbert Lang; Frankfurt/M. (BRD): Peter Lang, 1974].

ПОДЛИПКИ, роман // Отечеств. записки. 1861. Кн. IX–XI.

ДЖ. СТ. МИЛЛЬ. Статья по указанию Л. была помещена в «Современном слове» за 1862 или 1863 гг. (не разыскана).

В СВОЕМ КРАЮ, роман // Отечеств. записки. 1864. Кн. V–VII. Отдельное издание (1864).

АЙ-БУРУН (Исповедь мужа), роман // Отечеств. записки. 1867. Т. VII, кн. 14.

С ДУНАЯ, корреспонденции // Одесский вестник. 1867. № 201, 202, 223, 268. Подпись — Иван Руссопетов.

НАШ<Е> <ОБЩЕСТВО> И НАША <ИЗЯЩНАЯ> ЛИТЕРАТУРА, статья. По указанию Л. напечатана в «Голосе» за 1867 г. (не разыскана) <Голос. 1863. № 62, 63, 67>.

С ДУНАЯ, корреспонденции // Одесский вестник. 1868. № 27.

ХРИЗО, рассказ // Русский вестник. 1868. VII.

ПЕМБЕ, рассказ // Русский вестник. 1869. IX.

ХАМИД И МАНОЛИ, рассказ // Заря. 1869. XI.

ПАЛИКАР И КОСТАКИ, рассказ // Русский вестник. 1870. IX.

ГРАМОТНОСТЬ И НАРОДНОСТЬ // Заря. 1870. XI–XII. Подпись —Н. Константинов.

АСПАЗИЯ ЛАМПРИДИ, повесть // Русский вестник. 1871. VI–IX.

ПАНСЛАВИЗМ И ГРЕКИ // Русский вестник. 1873. II. Подпись —Н. Константинов.

ПАНСЛАВИЗМ НА АФОНЕ // Русский вестник. 1873. <III–>IV. Та же подпись.

ВОСПОМИНАНИЯ ОДИССЕЯ ПОЛИХРОНИАДЕСА, ЗАГОРСКОГО ГРЕКА // Русский вестник. 1875. VI–VIII; 1876. I–III; ч. IV: Камень Сизифа. 1877. VIII, X–XII; 1878. IX–X; Я купец. 1882. VIII.

ВИЗАНТИЗМ И СЛАВЯНСТВО // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1875. III. Очерк издан отдельной брошюрой.

ДИТЯ ДУШИ, повесть // Русский вестник. 1876. VI–VII.

ИЗ ЖИЗНИ ХРИСТИАН В ТУРЦИИ. Повести и рассказы. 1876. Т. I: Предисловие. Очерки Крита. Хризо. Пембе. Аспазия Ламприди; Т. II: Паликар Костаки. Хамид и Маноли. Капитан Илиа. Одиссей Полихрониадес; Т. III: Одиссей Полихрониадес (продолжение). Дитя души.

СФАКИОТ, рассказ // Русский вестник. 1877. I–III.

О ПАМЯТНИКЕ В ФИЛЯХ // Московские ведомости. 1877.

РУССКИЕ ГРЕКИ И ЮГО-СЛАВЯНЕ // Русский вестник. 1878. II.

ВРАГИ ЛИ МЫ С ГРЕКАМИ? // Русский мир. 1878. IX.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Напечатана, кажется, в той же газете около того же времени (Коноплянцев) <Гражданин. 1878. № 36>.

ХРАМ И ЦЕРКОВЬ // Гражданин. 1878. № 10–12.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ФРАКИИ // Русский вестник. 1879. III, V, IX. В сборнике «Восток, Россия и славянство» перепечатана гл. 5-я; также издана отдельно <М., 1879>.

ОТЕЦ КЛИМЕНТ (Зедергольм) <, иеромонах Оптиной Пустыни> // Русский вестник. 1879. XI–XII. Три отдельных издания: 1880, 1882, 1908.

ИЗ СТУДЕНЧЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ // Русский архив. 1880; Варшавский дневник. 1880. 65.

НАШЕ БОЛГАРОБЕСИЕ. Письма отшельника // Восток. 1879. № 7 и 8.

НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ Н. Я. СОЛОВЬЕВ // Русский вестник. 1879. XII. Подпись — К. Л.

СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ «ВАРШАВСКИЙ ДНЕВНИК» (1880):

О либерализме вообще. 9 и 10 янв.;

Религия — краеугольный камень охранения. 11 янв.;

Тургенев и Маркевич. 19 янв.;

Россия и Австрия. 25 янв.;

Двадцатипятилетие царствования. 26 янв.;

История города Петербурга. 26 янв.;

Панславизм. 28 янв.;

Культурная борьба в Германии. 1 февр.;

Почему мы нередко чужими мнениями дорожим больше, чем собственными. 7 февр.;

Взрыв в Зимнем дворце. 11 февр.;

Русские войска в Варшаве. 21 февр.;

Чем и как либерализм наш вреден? Февр. (46, 59);

«Голос» и французские якобинцы. 28 февр.;

Газета «Новости» о дворянском пролетариате. 1 марта;

Еще о «Дикарке» гг. Островского и Соловьева. Март (55 и 66);

Убийство Куммерау; Турция и Франция по отношению к России. 15 марта;

Журнал «Русская мысль». 22 марта;

Из студенческих воспоминаний. 22 марта (также в «Русском архиве». 1880. I);

Кошелев и московский журнал «Русская мысль». Март (69);
Колюпанов, земский деятель. 31 марта;
«В сорочке родилась», повесть г-жи Коваленской. Апр. (77);
По поводу поста в Париже. 9 апр.;
Неотчуждаемость дворянского участка и борьба с крамолой. 10 апр.;
О субсидиях. 23 апр.;
Как надо понимать сближение с народом. 93 и 107. Затем эта статья была издана отдельно;
Г. Катков и его враги на празднике Пушкина. 150, 155;
О всемирной любви. 162, 169, 173. Этот очерк с добавлением статьи «Страх Божий» был издан отдельно под заглавием «Наши новые христиане».

СКВОЗЬ НАШУ ПРИЗМУ. В этом отделе «Варшавского дневника» Л. принадлежат следующие статьи (в скобках указаны номера газеты): Благоразумные чехи (20); Японская дама (24); Наследство Хрущева (31); Полезно ли самоуправство на улице? (32); Мы «страну» сглазили (32); Ужасная взятка и возвышенная честность (44); Революционеры и прогрессисты (44); Свобода проповеди (44); Общество болгарских естествоиспытателей (61); Небывалое торжество (61); Одиночное заключение (62); Дама курит в церкви (73); Пророчество келецкого сапожника (75); Прозрачная щука (...); Человек в бараньей шкуре (99) и Волки в овечьих шкурах (99).

О ПАМЯТНИКЕ В БОЗЕ ПОЧИВШЕМУ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ (Варшавский дневник; затем статья эта была перепечатана в журнале «Восток». 1882).

ВЫГОВОР г. Суворину // Варшавский дневник. 1881. 128.

РАССКАЗ СМОЛЕНСКОГО ДЬЯКОНА О НАШЕСТВИИ 1812 // Русский архив. 1881. VI.

ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ, роман // Русский вестник. 1881. VIII–X; 1882. I.

Я КУПЕЦ, из воспоминаний загорского грека, не окончено // Русский вестник. 1882. VIII.

ПАСХА НА АФОНСКОЙ ГОРЕ // Русь. 1882. 22, 26. Подпись — К-в.

ПИСЬМА О ВОСТОЧНЫХ ДЕЛАХ // Гражданин. 1882. 85.

НАШЕ <НА>ЗНАЧЕНИЕ И НАШИ ВЫГОДЫ // Гражданин. 1882. 85.

ОПЯТЬ ГРЕКО-БОЛГАРСКИЙ ВОПРОС // Гражданин. 1882. 89.

<ВСЁ> ТО ЖЕ // Гражданин. 1882. 91.

ПРАВОСЛАВИЕ И КАТОЛИЦИЗМ В ПОЛЬШЕ // Гражданин. 1882. 101. Подпись — Н. К-в.

ОСТЗЕЙЦЫ // Гражданин. 102–103. Та же подпись.

РАЗОРЕННОЕ ГНЕЗДО // Московские ведомости. 1882.

ПЕРЕЛОМ Б. МАРКЕВИЧА // Московские ведомости. 1882.

СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ВОПРОСЫ // Современные известия. 1882.

ПИСЬМА О ВОСТОЧНЫХ ДЕЛАХ // Гражданин. 1883. 2, 5, 7, 16, 19, 20, 22, 23.

ПИСЬМО К Г. АСТАФЬЕВУ // Гражданин. 1883. 9. Подпись — м. В-ва.

ДВА БУРЖУА // Гражданин. 1883. 12. Подпись — В. К-в.

ПСИХИЧЕСКИЙ МИР ЖЕНЩИНЫ // Афиши и объявления. 1883. 14.

ЗНАКОМСТВО С ЛЕССЕПСОМ // Гражданин. 1883. 24. Подпись — Н.К-в.

МОЙ ПРИЕЗД В ТУЛЬЧУ, рассказ русского консула // СПб. ведомости. 1883. 325, 326.

ПОЛЬСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ НА НИЖНЕМ ДУНАЕ // СПб. ведомости. 1883. 332, 333, 334, 345, 348.

СТРАХ БОЖИЙ И ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ // Гражданин. 188<2. 54–55>.

Т. И. ФИЛИППОВ И от. СКЛОБОВСКИЙ, письмо в редакцию // Гражданин. 188<2. 91>.

ЗАПИСКИ ФЕОДОСИИ ПЕТРОВНЫ ЛЕОНТЬЕВОЙ, матери К. Н. Опубликованы им без исправлений и с предисловием // Русский вестник. 1883. X. XII; 1884, II.

РАЗБОЙНИК СОТИРИ // Нива. 1884, 19–21, рассказ перепечатан в «Русском вестнике». 1891. XI.

КОНСУЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ // СПб. ведомости. 1884. 13, 18, 19.

МАЙНОССКИЕ СТАРОВЕРЫ // СПб. ведомости. 1884. 260–262, 265.

ДВЕ ИЗБРАННИЦЫ, роман (вторая часть в ЦГЛА) // Россия. 1885. 1, 3–10.

ЯДЕС, рассказ // Нива. 1885. 26.

СВЯЩЕННИК УБИЙЦА, рассказ // Голос Москвы. 1885. 122.

ПОЕДИНОК, из воспоминаний русского консула // Нива. 1885. 41.

АРЕСТОВАННЫЙ, рассказ // Нива. 1885. 49.

ЕПИСКОП НИКАНОР О ВРЕДЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПАРА И ВООБЩЕ ОБ ОПАСНОСТЯХ СЛИШКОМ БЫСТРОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИЗНИ // Гражданин. 1885.

ВОСТОК, РОССИЯ И СЛАВЯНСТВО, сборник статей. Т. I (1885). Т. II (1886).

МОЯ МАТЬ ОБ ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ // Лит. приложения к газете «Гражданин». 1887. VI, VII. Тот же рассказ был напечатан с дополнениями и изменениями в «Русском вестнике». 1891. IV, V.

СДАЧА КЕРЧИ В 55 ГОДУ // Современные известия. 1887. 54, 60, 66, 70, 78, 101, 103.

ЗАПИСКИ ОТШЕЛЬНИКА // Гражданин. 1887: Невольное пробуждение старых мыслей и чувств (33); Сочувствие и содействие (41, 44, 45, 47, 53); Мой исторический фатализм (54, 60); Судьба Бисмарка и недомолвки Каткова (61, 64, 67).

ТУРГЕНЕВ В МОСКВЕ (1851—1861), из моих воспоминаний // Русский вестник. 1888. II–III.

ЗАПИСКИ ОТШЕЛЬНИКА // Гражданин. 1888: Два графа (15, 19, 24, 28); «Анна Каренина» и «Война и мир» (33, 37, 40); Владимир Соловьев против Данилевского (99, 102, 105, 107, 112, 115, 120, 128, 137, 140, 147, 152); Национальная политика как орудие всемирной революции (256, 257, 261, 262, 265, 269, 272, 275, 279; этот очерк был опубликован в 1889 г. отдельной брошюрой); Плоды национальных движений на православном Востоке (306, 311, 315, 327, 331, 334, 338, 342, 349, 353, 354, 363).

ПЛОДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА ПРАВОСЛАВНОМ ВОСТОКЕ // Гражданин. 1889. 7, 13, 41, 45.

КСТАТИ И НЕКСТАТИ, письмо А. А. Фету по поводу его юбилея // Гражданин. 1889. 80, 81, 83.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АРХИМАНДРИТЕ МАКАРИИ, ИГУМЕНЕ РУССКОГО МОНАСТЫРЯ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА НА ГОРЕ АФОНСКОЙ // Гражданин. 1889. 192, 193, 196, 207, 211, 243, 246.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ // Гражданин. 1890. 81, 83, 87, 95.

ОШИБКА г. АСТАФЬЕВА // Гражданин. 1890. 144, 147.

АНАЛИЗ, СТИЛЬ И ВЕЯНИЕ, критический этюд о романах гр. Л. Н. Толстого // Русский вестник. 1890. VI–VIII. Очерк этот был издан в 1911 г. с исправленными и дополненными текстами, согласно с поправками самого Л., сделанными его рукой в оставшемся после него печатном оттиске.

ПО ПОВОДУ МОИХ СТАТЕЙ. «АНАЛИЗ, СТИЛЬ И ВЕЯНИЕ» // Гражданин. 1890. 157, 158.
КАКОЙ УСПЕНСКИЙ — ГЛЕБ ИЛЬ НИКОЛАЙ? // Гражданин. 1890. 190.
НАД МОГИЛОЙ ПАЗУХИНА // Гражданин. 1891. 64–67.
СЛАВЯНОФИЛЬСТВО ТЕОРИИ И СЛАВЯНОФИЛЬСТВО ЖИЗНИ // Гражданин. 1891. 99, 100.
ДОСТОЕВСКИЙ О РУССКОМ ДВОРЯНСТВЕ // Гражданин. 1891. 204, 205, 206.
ОПТИНСКИЙ СТАРЕЦ АМВРОСИЙ // Гражданин. 1891. 305, 313.
ГДЕ РАЗЫСКАТЬ МОИ СОЧИНЕНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ? // Русское обозрение. 1894. VIII.
МОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ЖИЗНЬ НА СВ. АФОНСКОЙ ГОРЕ // Русский вестник. 1900. IX.
К. ЛЕОНТЬЕВ. Собрание сочинений. I–IX. Редакция, вступления, примечания о. И. Фуделя (т. X–XII изданы не были).
1912: т. I–VI, VIII, типография В. М. Саблина, Москва.
1913: т. VII, издательство «Деятель», СПб.; т. IX там же, дата опубликования не указана. Принятое сокращение для этого собрания сочинения — Л.
Т. I: К. Л. (о. И. Фуделя). Подлипки. В своем краю. Исповедь мужа.
Т. II: Предисловие Л. Очерки Крита. Хризо. Пембе. Хамид и Маноли. Паликар-Костаки. Аспазия Ламприди. Капитан Илиа. Ядес.
Т. III: Сфакиот. Дитя души. Египетский голубь.
Т. I V : Одиссей Полихрониадес. Воспоминания загорского грека.
Т. V: «Восток, Россия и славянство» с посвящением Т. И. Филиппову: Предисловие Л. От Редактора. Панславизм и греки. Панславизм на Афоне. Дополнения к двум статьям о панславизме. Византизм и славянство. Русские, греки и юго-славяне. Мои воспоминания о Фракии. Храм и церковь. Письма отшельника. Письма о восточных делах.
Т. VI: Восток, Россия и славянство: Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. Записки отшельника. Племенная политика как орудие всемирной революции. Плоды национальных движений на православном Востоке. Письма к Владимиру Соловьеву (о национализме политическом и культурном).
Т. VII: Восток, Россия и славянство: Грамотность и народность. Передовые статьи «Варшавского дневника», 1880 г.: Ко-

шелев и община. Чем и как либерализм наш вреден. Г. Катков и его враги на празднике Пушкина. Как надо понимать сближение с народом? Наши окраины. Записки отшельника. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой. Владимир Соловьев против Данилевского. Добрые вести. Над могилой Пазухина. Славянофильство теорий и славянофильство жизни. Достоевский о русском дворянстве. Статьи, воспоминания и отрывки. Сквозь нашу призму.

Т. VIII: Письмо провинциала к И. Тургеневу. По поводу рассказов Марко Вовчка. Рецензии. Наши новые христиане. Анализ, стиль и веяние.

Т. IX: Мое обращение и жизнь на св. Афонской Горе. Рассказ моей матери об императрице Марии Феодоровне. Рассказ смоленского дьякона... Воспоминание о Ф. И. Иноземцеве. Мои дела с Тургеневым. Письма к матери. Сдача в Керчи. Мои воспоминания о Фракии. Мой приезд в Тульчу. Польская эмиграция на Дунае. Консульские рассказы. Поединок. Арестованный.

СТАТЬЯ Л. ОБ АПОЛЛОНЕ ГРИГОРЬЕВЕ. Сообщение В. Княжнина // Русская мысль. 1915. XII.

ДВА СВОЕРУЧНЫХ ДОКЛАДА К. Л. в Московском цензурном комитете. Сообщение Е. Никитина // Русский архив. 1915. IX–X.

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ К. Л. / Редакция П. К. Губера. Отрывки из автобиографических записей, включенных в т. IX. Собр. сочинений К. Л.

МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА (1874—1875). Комментарии С. Дурылина // Литературное наследство. 1935. XXII –XXIV. Перепечатано: The Slavic Series, Johnson Reprint corp.. 1965 / Вступ. статья Б. А. Филиппова.

ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ. ДИТЯ ДУШИ / Предисл. Б. А. Филиппова. Нью-Йорк, 1954.

LEONTIEFF KONSTANTIN. I. THE EGYPTIAN DOVE / Introduction by George Ivask, translation by Georg Reavey (1969). Weybright and Talley. NYC. 250 p.

II. AGAINST THE CURRENT. SELECTED WRITINGS / Edited and with an introduction by George Ivask, translation by George Reavey (1969). Weybright and Talley. NYC. 286 p.

2. ПИСЬМА ЛЕОНТЬЕВА

К С. Васильеву (театральный критик «Московских ведомостей»), 1889 г. // Русское обозрение. 1883. IV.

К А. А. Фету, 1889 г. // Русское обозрение. 1894. X.

К архимандриту Леониду (Кавелину). 1873 г. // Русское обозрение. 1893. IX.

Письмо о старчестве // Русское обозрение. 1894. X.

К К. А. Губастову, 1867—1891 гг. // Русское обозрение. 1894. IX, XI; 1895. XI, XII; 1896. I–III, XI, XII; 1897. I, III, V–VII. Также в воспоминаниях Губастова, Памяти К. Л.

К В. А. П<опырников>ой, 1887—1889 гг. // Русское обозрение. 1898. 1.

К о. И. Фуделю, 1888 г. // Русское обозрение. 1895. I (в статье Фуделя). Два письма были изданы отдельно <: О Вл. Соловьеве и эстетике жизни> (1912). Некоторые письма о. И. Фудель цитирует в статье «К. Л. и Вл. Соловьев <в их взаимных отношениях>» (Русская мысль. 1917. XI–XII).

К В. В. Розанову, 1891 г. // Русский вестник. 1903. IV–VI.

К А. А. Александрову, 1887—1891 гг. Отдельные письма: «Новое время», 7 авг. 1900 г.; «Московские ведомости», 13 янв. 1911 г. Почти все письма были опубликованы в «Богословском вестнике», 1914, III, XII; 1915, I. Наиболее полное собрание писем появилось в книге Александрова: «I. Памяти К. Н. Л. II. Письма Л. к А. Александрову (1915)».

К матери — Ф. П. Леонтьевой, 1854—1857 гг. // Л IX.

К Т. И. Филиппову (80-х гг.). Отдельные письма и отрывки из них в статье А. Коноплянцева «Жизнь К. Н. Л.» [«Памяти К. Л.» (1911)].

К Карцовым (Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию Сергеевичу) 1878—1879 гг. // Памяти К. Л. (1911).

Четыре письма с Афона (неизвестной) <М. В. Леонтьевой?>, 1872 г. // Богословский вестник. 1912. X, XII.

<Отд. изд.: Л. К. Н. Отшельничество, монастырь и мир. Их сущность и взаимная связь (Четыре письма с Афона) (1913)>

Письмо о вере, молитве, о немощи духовенства и о самом себе (неизвестному), 1888 г. // Богословский вестник. 1914. II.

К Г. И. Замараеву, 1884—1889 гг. // Русская мысль. 1916. III.

К М. К., Е. А. Ону и М. А. Хитрово, 1867—1891 // Архим. Киприан. Из неизданных писем К. Л. Париж, 1959.

3. АРХИВЫ ЛЕОНТЬЕВА

Указания о сохранившихся архивах в книге: Главное архивное управление МВД СССР. Центральный государственный литературный архив СССР (ЦГЛА) *. Редакция Н. Ф. Бельчикова (1951). К.Н. Л. (с. 146–147). Фонд 290; единиц хранения 147; 1809—1916 гг.

Последний луч, рассказ. Моя литературная судьба, 1874—1875 гг. (опубл.: Лит. наследство. 1935. XXII–XXIV). Записки отшельника, статья. Львов — роман (или: От осени до осени). Стихотворения, 1864—1871 гг. Библиографические и биографические заметки, выписки из книг, черновые наброски статей и др.; записные книжки; путевые записки — Брюссель, Гамбург, Амстердам и др., 1853 (дата эта сомнительная. — *Ю. И.*). Всего 56 рукописей.

Письма К. Л. матери — Ф. П. Леонтьевой, 1854—1857 гг. (17); племяннице — М. В. Леонтьевой, 1877—1879 гг. (26); кн. К. Д. Гагарину, 1874—1889 гг. (22); К. А. Губастову, 1874—1891 гг. (54); гр. Н. П. Игнатьеву, 1869, 1871 гг. (2); Н. А. Любимову, 1877 г. (1); Н. Я. Соловьеву, 1876—1885 гг. (13); В. В. Розанову, 1891 г. (13 списков, а в розановском архиве всего 18 писем Л.); Н. А. Уманову, 1887—1889 гг. (11); И. И. Фуделю, 1889—1891 гг. (48) и другие, всего 26 адресатов и 262 письма.

Письма к Л.: Ю. Н. Говорухи-Отрока, К. А. Губастова, Е. П. Ковалевского, А. Н. Островского, Е. Н. Погожева, В. В. Розанова, А. А. Фета, Т. И. Филиппова, И. И. Фуделя, кн. Д. Н. Цертелева. Всего 48 корреспондентов и 98 писем.

Письма к И. И. Фуделю об издании произведений Л.

Метрическое свидетельство 1831 г. Купчие крепости. Духовное завещание 1890 г. Газетные вырезки с примечаниями Л. Фотография 1863 г. и другие материалы.

В той же книге имеется описание архива А. А. Александрова; воспоминания о Л., о Л. Толстом и 1500 писем.

См. также новое издание «Путеводителя ЦГАЛИ» (1963). Информация сокращенная. Но имеются и дополнения. Перечислены

---

* Современное название архива: Русский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ю. П. Иваск не указывает на наличие леонтьевских документов в других архивах — Государственном литературном музее (ГЛМ, ф. 196), Центральном государственном историческом архиве и др.

письма К. Л. — О. А. Новиковой, К. П. Победоносцеву. Упомянуты письма К. Л-ву Ф. Н. Берга, Н. А. Любимова, А. Н. Островского и Л. А. Тихомирова.

4. ОТЗЫВЫ О ЛЕОНТЬЕВЕ*

Историческая записка, речи, стихи и отчет Императорского Московского университета, читанные в торжественном собрании 12 января 1855 г., 22.

<*Дудышкин С. С.* Примечания к статье К. Н. Л. «Письмо провинциала к Тургеневу» // Отечеств. записки. 1860. V.>.

Салтыков-Щедрин М.Е. Рецензия на роман Л. «В своем краю» // Современник. 1864. X. Также в Полном собрании сочинений (1937), XVIII, см. главу «Критический отзыв Щедрина».

S. N. Les revues russes // Journal de St. Petersbourg. 1971. 31 Decembre (о повести «Аспазия Ламприди»).

А. О.: В. Г. Авсеенко (1842—1913), писатель, публицист. Очерки текущей литературы // Русский мир. 1875. 96, 125, 153. Высоко расценивает рассказы Л. (Александров).

L. V. Les revues russes // Journal de St. Petersbourg. 1876. 29 Fevr.

Литературная хроника. 9 марта 1876.

Вс. С-в: Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903), писатель, сын историка, брат философа. Современная литература: Русский мир. 1876. 98.

Неклюдов В. С. (1818—1903), камергер, сотрудник «Русского вестника». Литературная заметка. Из жизни христиан в Турции. Повести и рассказы К. Н. Л. // Московские ведомости. 1876, 24 апр. Описания Л. очень объективны. «Автора почти не видать».

Н. С.: Н. Н. Страхов (1828—1895) <«О византизме и славянстве»> // Русский мир. 1876. 137.

Вс. С-в: Вс. С. Соловьев // Русский мир. 1876. 203, 217.

<Заметка о повести «Дитя души» // СПб. ведомости. 1876. 230.>

Литературная летопись // Голос. 1877. 29 сент. О рассказах Л.: обилие деталей, как у голландских живописцев; авторская индивидуальность исчезает.

L. W. Русские журналы // Современные известия. 1877. 7 дек.

W.: В. Г. Авсеенко. Литературное обозрение // Русский мир. 1878. 15 янв.

---

* А. Коноплянцев сообщает, что при составлении библиографии Л. он пользовался его собранием рецензий, переданным В. В. Розанову.

Евг. Марков: Е. И. Марков (1835—1903), писатель, публицист. Литературная летопись // Голос. 1878. 28 янв. (о повести «Камень Сизифа», посл. часть «Одиссея Полихрониадеса»).

Крестовский В. В. (1840—1895), писатель. Из воспоминаний о минувшей войне // Русский вестник. 1879. V.

Соловьев Вс. К. Н. Л. // Нива. 1879. 14 мая.

Среди газет и журналов // Новое время. 1879. 14 июня.

В защиту современных либералов // Новое время. 1879. 25 июля.

Заметка по поводу статей Л. в «Востоке» // Русская правда. 1879. 26 июля.

Заметка о сотрудничестве Л. в «Варшавском дневнике» // Варшавский дневник. 1880. 7 янв.

По поводу статьи «Русского вестника» «Отец Климент» // Руководство для сельских пастырей. 1880. 16 марта.

Ссылка на «Византизм и славянство» в отделе «Среди газет» // Восток. 1880. 18 мая.

Оса. Ежедневная беседа // Газета «Петербург». 1880. 16 июля.

Заметка в отделе «Среди газет и журналов» // Новое время. 1880. 24 июля.

Голицын Н. Н., князь (1836—1893). Сквозь нашу призму // Варшавский дневник. 1880. 26 июля.

Московский фельетон // Русский курьер. 1881. 17 мая (о брошюре Л. «Как надо понимать сближение с народом»).

N. Заметка о той же брошюре: Русский курьер. 1881. 18 мая.

Булгаков <Ф. И.>. Оригинальное народничанье (о той же брошюре) // Исторический вестник. 1881. V.

<Н. М.>: Н. К. Михайловский (1842—1904), публицист, идеолог народничества: Отечеств. записки. 1881. IX. Также в Собр. соч. (1897). V (Записки современника).

> <«Послушаем умных людей».> Отзыв очень резкий, тон статьи — издевательский. Только сумасшедшие (гоголевские Фердинанды VII) могут, подобно Л., отвергать прогресс и социальное равенство. Писания Л. — публично практикуемый разврат мысли.

Соловьев Н. Я. (1845—1899). Рецензия на брошюру Л. «Как надо понимать сближение с народом» // Современные известия. 1882. 13 апр.

О. К.: О. А. Новикова, урожд. Кареева (1840—1925), писательница. Ральф В. Эмерсон // Русь. 1882. 19.

О. К. (см. выше). Une voix de Russie // Nouvelle Revue, 1882. 15 aout.

И. Кр.: Иван Кристи, умер в 90-х гг. Заметка об «Отце К. Зедергольме»: <Московские> ведомости. 1882. 314.

А. С. Что такое старчество? // Церковный вестник. 1883. I.

Новые сочинения К. Н. Л. // Афиши и объявления. 1883. 23 янв.

У-в: вероятно, Н. А. Уманов. Рецензия на брошюру «Наши новые христиане» // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1883. Март-апрель.

Лесков Н. С. Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи // Новости. 1883. 1 и 3 апр.

Миллер Ор. (1833—1889), историк литературы. О церкви в исторической жизни русского народа // Русь. 1883. 13 апр.

Соловьев Вл. С. (1853—1900). <«Несколько слов о брошюре г. Леонтьева “Наши новые христиане”»>. Заметки по поводу «Новых христиан» // Русь. 1883. 9.

Лесков Н. С. Золотой век. Утопия общественного переустройства. Картины жизни по программе Л. // Новости. 1883. 22–29 июня.

> В письме к Губастову (4 июля 1885) Л. упоминает об этой статье Лескова, а также и о другой (см. выше). Он считает, что лесковские статьи острые, хотя и не совсем добросовестные.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. СПб. (1883). Т. 1. Из записных книжек. О книге Л. «Наши новые христиане: Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский»: «...уж коль все обречены (как утверждает Л. — *Ю. И.*), так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо...» (с. 369). О нападках Л. на него лично: «Г-н Л. продолжает извергать на меня свою завистливую брань». Достоевский пишет: «...бедненький воображает, что я <от> его статьи буду беситься <...> В этой наивной идее есть что-то трогательное» (там же).

Передовая статья // Афиши и объявления. 1883. 3 окт.

Пономарев С. И. (1832—1913), библиограф. Любовь как начало единения // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1884. 1.

Анненков П. В. (1813—1887). Молодость И. С. Тургенева (1840—1856) // Вестник Европы. 1884. II. Также в книге «Литературные воспоминания» (1960), с. 393.

Передовая по поводу статей Л. в «Варшавском дневнике» // Афиши и объявления. 1884. 22 марта.

Миллер Орест. Церковь и византийство // Киевская старина. 1884. XI.

Передовая статья // Вестник литературно-политический, научный и художественный. 1885. 13 марта.

Рецензия в библиогр. отделе о книге «Восток, Россия и славянство» // Русская мысль. 1885. VII. «Публицист-мыслитель часто заслоняется художником... Статьи Л. написаны "нервно, страстно". В них немало парадоксальных крайностей».

Гиляров-Платонов Н. П. (?) (1824—1887), публицист. Передовая статья о книге «Восток, Россия и славянство» // Современные известия. 1885. 24 сент.

Сергиевский П.: Ив. Кристи. Что посеешь, то и пожнешь. О книге «Восток, Россия и славянство» // Гражданин. 1885. 17 окт.

Балканский Твердко. Славянство и К. Л. // Современные известия. 1885. 31 окт.

<*Л. С.*: Л. З. Слонимский.> Рецензия на том 1-й книги «Восток, Россия и славянство» // Вестник Европы. 1885. XII. «Книга Л. — печально-курьезная... бред больного ума. Это мистицизм на хищнической подкладке».

Астафьев П. Е. (1846—1893), философ. Смысл истории и идеалы прогресса, две публичные лекции // Чтения Общества любителей духовного просвещения. 1885. В том же году эти лекции вышли первым изданием, а в 1886 г. — вторым изданием.

Руская женщина: М. В. Леонтьева, племянница К. Л. Женщина — женщине о новой книге // Свет. 1886. 13 и 27 нояб.

Письма И. С.Тургенева Л. // Русская мысль. 1886. XII. Переизданы в последнем Полном собрании сочинений Тургенева.

Р. К.: В. А. Грингмут (1851—1907). К. Л. как беллетрист // Гражданин. 1887. 5 февр.

Васильчиков П. Письмо в редакцию // Новое время. 1887. 9 марта.

Филиппов Т. И. (1825—1899), государственный контролер, публицист. Заметка о литературной деятельности Л. в отделе «Дневник»: Гражданин. 1887. 36.

Политическая статья, направленная против газеты «Гражданин» и ее сотрудников, в том числе К. Л.: Московские ведомости. 1887. 2 дек.

«Дневник». Ответ на предыдущую статью: Гражданин. 1887. 4 дек.

Волженский: Денисов и Н. А. Уманов, публицисты. Еще русский мыслитель // Русское дело. 1887. 5, 12 и 19/26 дек.

N. Письмо к редактору «Московских ведомостей». 1887. 8 дек.

Аристов П. Л. и его гадания // Русское дело. 1888. 10 янв.

Славянофил. Австрия и Сербия // Гражданин. 1888. 11 окт.

Панаев И. И. Воспоминания (1888). 3-е изд. 398 с.

Передовая статья // Свет. 1889. 14 апр.

Киреев А. А. (1838—1910). Народная политика как основа порядка // Славянские известия. 1889. 28 и 29.

Рецензия на брошюру К. Л. «Национальная политика как орудие всемирной революции» // Русский вестник. 1889. VI.

П. Россия и греко-болгарская распря // Новое время, 1889. 12 июля.

A. Chernoff: Portier d'Arc. Un portrait littéraire russe: M. Constantin Leontieff // La Nouvelle Revue, 1889. T. 58. Автор — француз, живший в России. Статья — поверхностная. У Л. азиатский ум, он живет иллюзиями, его идеи — химера поэта...

Астафьев П. Е. Национальное самосознание и общечеловеческие задачи // Русское обозрение. 1890. III. О статье Л. «Национал<ьная политика> как орудие всемирной революции». Орудиями всемирной революции, возражает Астафьев, могут быть не только национализм, но и наука, искусство, даже религия.

Мнения печати: взгляд светского человека на современное монашество. Что могло бы внести дворянство в монашество // Церковный вестник. 1890. 12 апр.

Южный: М. Г. Зельманов (1869—1901), публицист. Литературно-критический фельетон. О романах гр. Л. Н. Толстого. К. Н. Л. // Гражданин. 1890. 8 июня; 1890. 13 июля.

<Ю. Николаев: Ю. Н. Говоруха-Отрок. Литературные заметки. Нечто о жизни и смерти. По поводу статьи К. Л. «Анализ, стиль и веяние». О романах гр. Л. Н. Толстого // Московские ведомости. 1890. 16 июня.>

Астафьев П. Е. Объяснение с г. Леонтьевым // Московские ведомости. 1890. 29 июня.

L. V. Chronique littéraire // Journal de St. Petersbourg. 1890. 22 Juil.

Фудель И. И. (1864—1918). Преемство от отцов // Благовест. 1890. 15 окт.

Фудель И. И. К вопросу о «национальном». «Самообман и ошибки» // Московские ведомости. 1890. 23 окт.

Николаев Ю.: Ю. Н. Говоруха-Отрок (1850—1896). Чему же учит Вл. С. Соловьев? // Московские ведомости. 1891. 2 февр.

Н.<: Н. А. Любимов.> Отголоски. По поводу «Записок отшельника» // Свет. 1891. 14 марта.

А-т <: В. К. Петерсен.> Заблуждение отшельника // Новое время. 1891. 20 марта.

Дневник // Гражданин. 1891. 24 марта.

Шевелев А. М. Н. Катков // Московские ведомости. 1891. 20 июля.

Розанов В. В. (1856—1919). Европейская культура и наше отношение к ней // Московские ведомости. 1891. <16 авг.> (Лернер).

Ю. Н.: Ю. Н. Говоруха-Отрок. Несколько слов по поводу кончины К. Н. Л. // Московские ведомости. 1891. 13 нояб.

Языков Дим.: Д. Д. <Языков> (1850—1918), библиограф. Краткий некролог и перечень сочинений К. Н. Л. // Московские ведомости. 1891. 13 нояб.

Некролог // Новое время. 1891. 14 нояб.

Субботин Н.И., профессор Москов. Духовной академии. К. Н. Л. — Из Сергиева Посада // Московские ведомости 1891. 316, 319.

Vox. Маленькие заметки // Московские ведомости. 1891. 319, 326.

Заметка в «Московском иллюстр. газете». 1891. 304.

Заметка в «Московском листке». 1891. 317, 320.

А. А. К. Н. Л. // Московская иллюстр. газета. 1891. 21 нояб.

Н.<: Н. А. Любимов/> Отголоски // Свет. 1891. 22 нояб.

Памяти К. Н. Л. // Гражданин. 1891. 317.

Южный: М. Г. Зельманов // Гражданин. 1891. 320.

Ф. Ч.: Ф. П. Чуфрин. Последние дни К. Н. Л. в Троице-Сергиевом Посаде // Гражданин. 1891. 322.

Заметки в «Московских церковных ведомостях». 1891. 47 и 48.

<*Соловьев Вс. С.* К. Н. Л.> Заметка в «Русском вестнике». 1891. 112.

Заметка в «Церковных ведомостях». 1891. 49, прибавл., с. 1768–1769.

Райский: Н. Г. Вучетич (?) (1845—1912) *. Поэт-воин // Гражданин. 1891. 332.

Александров А. А. (1861—1930). Заметка о Л. в журнале «Нива», 2 (Лернер).

---

* Вероятнее, что этот псевдоним принадлежал И. И. Колышко (1861—1938), печатавшемуся в Гр. с середины 80-х гг. и выпустившему в 1890 г. под псевдонимом П. Райский повесть «Записки юнкера». Колышко лично знал К. Л. и оставил о нем свои воспоминания (*Примеч. составителя*).

Соловьев Вл. С. Памяти К. Н. Л. // Русское обозрение. 1892. I.

Розанов В. В. Эстетическое понимание истории // Русский вестник. 1892. II. Теория исторического прогресса <и упадка>. Там же. II и III.

Архимандрит Антоний (Храповицкий, 1863—1936), позднее митрополит. Как относится служение общественному благу к <заботе о> спасении собственной души // Вопросы философии и психологии. 1892. III. <Кн. 12>.

Согласно христианскому взгляду, спасение души нельзя отделять от душевной и деятельной любви к людям, как это делает Л. Архим. Антоний также упрекает Л. в незнании Св. Писания — так, он приводит несуществующее изречение апостола: начало премудрости Божией — страх Божий, а плод его — любовь.

Архимандрит Антоний. Общественное благо с точки зрения христианской и с современной — позитивной // Богословский вестник. 1892. VI. Эта статья, так же как и предыдущая, вошла в Полное собрание сочинений архим. Антония. 2-е изд. (1911). Т. II.

Александров А. А. К. Н. Л. // Русский вестник. 1892. IV.

Первый опыт критической библиографии Л. В этой же статье воспроизводится разговор Л. у дома князей Белосельских (см. часть 2).

Трубецкой С. Н., князь (1862—1905). Разочарованный славянофил // Вестник Европы. 1892. X.

<*Ю. Николаев*: Ю. Н. Говоруха-Отрок. Новый критик славянофильства // Московские ведомости. 1892. 15 и 29 окт.>

-ь.: о. И. Фудель. Памяти К. Н. Л. // Русское обозрение. 1892. II.

<*Тихомиров Л. А.* Славянофилы и западники в современных отголосках // Русское обозрение. 1892. X.>

Милюков П. Н. (1859—1943). Саморазложение славянофильства // Вопросы философии и психологии. 1893. V. Также в сборнике «Из истории русской интеллигенции» (1902).

Статья посвящена Данилевскому и Л. Последний — пессимист по содержанию своих воззрений и беззастенчивый циник в их выражени. Подход Милюкова, а также С. Трубецкого, пишет Бердяев, это «типически либеральный и малоинтересный подход к Л.» (в книге «К. Л.», 265).

Киреев А. А. Наши противники и наши союзники // Протоколы общих собраний гг. членов СПб. слав. благотворит. общества. 1893. 12 и 19 дек.

Тихомиров Л. А. (1852—1923), консервативный публицист, в прошлом революционер. Новое заявление славянофилов // Русское обозрение. 1894. IV. С. 917–922.

Боборыкин П. Д. (1836—1921). Роман «Перевал» // Вестник Европы. 1894. I–IV. Один из героев этого романа (Козьмин) напоминает Л. См. главу «Карикатура Боборыкина», ч. 3.

Трубецкой С. Н., князь. Противоречия нашей культуры // Вестник Европы. 1894. VIII.

Если славянофильство пойдет дорогой Л., оно неизбежно погибнет, а если оно изберет дорогу Киреева, оно «никуда не доедет...»

Тихомиров Л. А. Русские идеалы и К. Н. Л. // Русское обозрение. 1894. X.

Л. не мечтал о реставрации Византии, как думает кн. С. Н. Трубецкой. Он не реакционер, а прогрессист. Он хотел, чтобы Россия опять встала на свои византийские основы. Он глубоко понял православие и как проповедник и как пророк. Л., смелый боец, скорее напоминает якобинца 1793 г., а не гр. Аракчеева, как утверждает ген. А. А. Киреев.

Языков Д. Д. Список сочинений К. Н. Л. // Русское обозрение. 1895. XI.

W.: В. Г. Авсеенко (?). В отделе «Летопись современной литературы» // Русское обозрение. 1895. XI.

Фудель И. И., свящ. Культурный идеал Л. // Русское обозрение. 1895. I.

<*Фудель И. И.*, свящ. Новое выражение русской культурной мысли // Русское обозрение. 1895. XII.>

Киреев А. А. Спор с западниками настоящей минуты // Русское обозрение. 1895. V. (Лернер).

М-ский: К. П. Медведский (1866— не ранее 1919). Философ-христианин // Русский вестник. 1896. I и IV. Поверхностный пересказ основных положений Л.

Хитрово М. А. (1837—1896), дипломат, поэт. Стихотворение, посвященное Л., — «Другу детства». Публикация В. В. Леонтьева, племянника К. Н.: Русское обозрение. 1896. VIII.

Соловьев Вл. С. Л., К. Н. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 34 (1896); перепечатано в Новом энциклоп. словаре. 24 (1914).

Леонтьевская теория исторического развития — вариация идей Гегеля, Сен-Симона, О. Конта, Г. Спенсера. У Л. презрение к этике, культ силы и красоты, предвосхищающий Ницше. У него не согла-

сованы идеалы монашеского христианства, греко-русской империи в Царьграде и его эстетика (здесь Соловьев повторяет мысли, высказанные им в статье «Памяти К. Н. Л.» в «Русском обозрении», 1892 г., см. выше). О романе «Подлипки»: стиль напоминает Тургенева, а идеи заимствованы у Жорж Санд.

Миляев Николай. Из воспоминаний о К. Н. Л. // Русское обозрение. 1898. I.

Розанов В. В. Поздние фазы славянофильства (О Л. и Данилевском). Литературные очерки (1899).

У Л. атрофированный вкус к этике. В эстетике он знал только Афродиту Земную и не понимал, что никто не будет проливать за нее кровь... Л. сбросил с себя ветхую одежду западных предрассудков, но не облекся в новую... Благородный и истинно великий писатель, он нес свои идеи, как тягость, как болезнь, но во всем ошибся...

Розанов В. В. Заметка в Торгово-промышленной газете, 1899 (Лернер, без точного указания).

Отец Иосиф <Литовкин>. Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский и К. Н. Л. перед старцами Оптиной Пустыни // <Душеполезное чтение. 1898. I.>

Колышко И. И. (1862—1938), публицист. Воспоминания о Л. в книге «Маленькие мысли» (1900). См. примечания о И. Колышко в главе «Литературные портреты», ч. 3.

<*Поселянин Евгений*: Е. Н. Погожев (1870—1931), публицист и церковный писатель. Л. Воспоминания (1900).>

<*Александров Анат.* Памяти Вл. С. Соловьева // Новое время. 1900. 7 авг. (об отношениях К. Л. и Вл. Соловьева).>

Мезиер А. В. Русская словесность <с XI по XIX столетие включительно>, библиография. (1902). Ч. II. К. Н. Л.

Е. В.<: о. Ераст Востропский.>. Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни (1902). С. 123–124, 127–128.

Розанов В. В. Из житейских и литературных мелочей // Новое время. 1903. 21 и 22 янв.

Берлинский листок / Изд. В. Ф. Пуцыковича. 1903. II. Отзыв И. Аксакова о Л. (Лернер).

Н. Апокриф: Ф. Э. Шперк (?) (1872—1897), философ, критик. Вера и современная мысль. Глава 1: К. Л. и гр. Л. Н. Толстой // Русь: литературно-политический сборник. 1903. I.

Розанов В. В. Предисловие и послесловие к письмам Л., а также примечания // Русский вестник. 1903. IV–VI.

Статья эта смелая, яркая, проницательная. Л. для Розанова — конь без узды, изгой без княжества, Кромвель без диктатуры, plus Nietzsche que Nietzsche même. При всем «алкивиадстве» были у него черты женственные: он «свободен, капризен, деспотичен, как царственная женщина в беспорядке своей уборной...» Л. «отличался вкусами, позывами гигантско-напряженными к ultra-биологическому, к жизненно-напряженному... его "эстетизм" был синонимичен или, пожалуй, вытекал или коренился в "антисмертности"», или, пожалуй, в бессмертии красоты...» Для Л. красота выражает творческий рост... Все же, со страху, он стал монахом, хотя монашеское христианство было ему органически чуждо. В послесловии Розанов говорит о новой секте — живучей, страстной, мистической. Здесь, исходя из Леонтьева, но отбрасывая его «черное христианство», Розанов уже намечает свою «религию пола». Можно сказать, Розанов — это Л. минус христианство. Но, всю свою жизнь проспорив с христианством, Розанов все же не смог от Христа отказаться.

В этой же статье Розанов утверждает, что «ницшеанство» Л. роднит его с современными эстетами, символистами, декадентами и очень высоко расценивает его стиль.

Предисловие Розанова, с некоторыми изменениями, было перепечатано в сборнике «Памяти К. Л.» («Неузнанный феномен»).

Большая энциклопедия (Мейера). 1903. Т.XII. Статья о Л.

Карцов Ю. С., дипломат. Семь лет на Ближнем Востоке, 1879—1886. Воспоминания политические и личные (1906). С. 5, 13, 78. См. главу «Карцовы», ч. 3.

Лобов<Л. П.>. Страничка из прошлого. К характеристике К. Н. Л. // Славянские известия. 1906. 8.

Бердяев Н. А. (1874—1948). К. Л. — философ реакционной романтики // Вопросы жизни. 1905. VII. Статья перепечатана в книге «Sub specie aeternitatis» (1907).

Соловьев В. С. 1) Национальный вопрос в России, 2) Замечания на лекцию П. Н. Милюкова. Собрание сочинений (<1-е изд.>, 190<3—1907>). Т. V.

Резкая отповедь Милюкову: Соловьев утверждает, что для позитивистов его типа «все корни, равно как и вершины, сокрыты в бездне непознаваемого» и не ему судить о Хомякове или Леонтьеве.

Икскуль К. Старчество по учению св. отцов и аскетов (1907). С. 14–15.

Бердяев Н. А. Наши богоискатели // Московские ведомости. 1907. 29.

Милюков П. Н. Славянские и русские «космополиты» // Речь. 1908. 20 апр.

Варварин В.: В. В. Розанов. Заблудились в трех соснах // Русское слово. 1909. 24 янв.

Отчет о докладе г. Янчевского (надо читать «Янковского») в Русском собрании на тему «О К. Н. Л. и его политических идеалах» // Речь. 1909. 25 янв.

Аггеев К. М. (свящ.). Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Н. Л. понимания христианства. Киев, 1909 (диссертация). *Его же:* К. Л. как религиозный мыслитель // Богословский вестник. 1909. IV–VIII.

> Основной тезис: миросозерцание Л. есть одностороннее и своеобразное христианство. Леонтьевской философии Аггеев не заостряет и оригинальных мыслей не высказывает. Работа эта ценна тем, что автор использовал неопубликованные тексты Л.

Франк С. Л. (1877—1950). Миросозерцание К. Л. // Критическое обозрение. 1909. XI.

П. В обществе мистическом // Новое время. 1909. 25 нояб.

Заметка о собрании кружка памяти К. Н. Л. // Новое время. 1909. 13 дек.

<*Тареев М. М.* Рец. на книгу свящ. К. Аггеева // Богословский вестник. 1909. XI.>

Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов русских писателей. 1909. Вып. XII (Лернер) // Известия Академии наук. 1910. 13.

> Н. Лернер сообщает, что наследники Л. предложили Академии свои издательские права, а несколько его почитателей готовы были бесплатно принять на себя редакторский труд, лишь бы Академия издала его сочинения в свою пользу. Но Академия ответила отказом, ссылаясь на тяжесть этих условий. См. ниже: *Лернер Н.* // Исторический вестник. 1911. Т. 126.

Мережковский Д. С. (1865—1941). Страшное дитя // Речь. 1910. 31 янв. (Отзыв о книге Аггеева).

Заметка о публичной защите свящ. К. Аггеевым диссертации на степень магистра богословия // Речь. 1910. 20 марта.

<*Розанов В. В.* Константин Леонтьев и его «попечители» // Новое слово. 1910. 7.>

Щеглов Ив.: И. Л. Леонтьев (1855—1911), писатель. Сестра-молитвенница // Биржевые ведомости. 1910. 3 нояб. (вечерний выпуск).

Первое хождение Л. Н. Толстого по монастырям // Русское слово. 1910. 4 нояб.

Черняева А. Паломники Оптиной Пустыни и Л. Н. Толстой // Новое время. 1910. 7 нояб.

Фудель И. И. (свящ.). Судьба К. Н. Л. // Московские ведомости. 1910. 12 нояб.

Заметка // Харьковские ведомости. 1910. 20 нояб.

История русской литературы XIX в. / Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. 1910. Т. IV.

Только беглые упоминания о Л. — консервативном публицисте из лагеря Каткова. С. 47–48, 329.

Е. В. <: о. Ераст Востропский.> Л. Н. Толстой и Оптина Пустынь // Душеполезное чтение. 1911. I.

Александров А. А. К. Н. Л. // Московские ведомости. 1911. 13 янв.

Искатель жемчуга: П. П. Перцов (1968—1947). Литературные ракушки // Новое время. 1911. 2 февр.

Александров А. А. Предисловие к книге К. Л. «О романах гр. Л. Н. Толстого» (1911).

И. Ф.: И. И. Фудель (свящ.). Рецензия об этюде К. Н. Л. «О романах гр. Л. Н. Толстого» // Московские ведомости. 1911. 28 апр.

Памяти К. Н. Леонтьева // Литературный сборник (1911).

Содержание: *А. М. Коноплянцев*. Жизнь К. Н. Л.; *А. А. Александров*. Из воспоминаний о К. Н. Л. и стихотворения, ему посвященные; *В. В. Розанов*. Неузнанный феномен (впервые в «Русском вестнике», 1903, IV); *К. А. Губастов*. Из личных воспоминаний о К. Н. Л.; *Ю. С. Карцов*. Письма К. Н. Л.; *Антоний, архиепископ Волынский*. Искренняя душа; *А. В. Королев*. Культурно-исторические воззрения К. Н. Л.; *Б. В. Никольский*. К характеристике К. Н. Л.; *Е. Поселянин* (Е. Н. Погожев). К. Н. Л. в Оптиной Пустыни; *А. М. Коноплянцев*. Сочинения К. Н. Л. и литература о нем.

<*Куклярский Ф. Ф.* (1870—1923). Рец. на сб. «Памяти К. Н. Леонтьева» // Логос. 1912—1913. Кн. 1–2.>

Соловьев Вл. С. Письма. СПб., 1911. Т. III.

К Л. (письмо без даты, вероятно 1891 г.). «Очень рад, что Розанов пишет о Вас: насколько могу судить по одной прочитанной брошюре, он человек способный и мыслящий». Далее он сообщает, что к 15 ноября предполагает закончить «интересующую Вас статью» (по-видимому, о Л.).

В письмах к В. В. Розанову (1895) Вл. Соловьев пишет, что его статья о Л. не может появиться в Энциклопедическом словаре Брок-

гауза, и просит Розанова сообщить ему биогр. и библиогр. данные о Л. для составления очерка о нем в том же Словаре.

В письме к Т. И. Филиппову (27 сент. 1890 г.) Вл. Соловьев рассказывает, что после 4-летней разлуки он опять встретился с Л. «Он (Л.) признался, что из злобы на меня однажды разорвал мою фотографию; при этом он продолжает вводить меня во искушение гордости преувеличенным представлением о моих способностях и сожалением о том, что я не нахожу равносильных противников для обличения моих заблуждений».

Басаргин А.: А. И. Введенский (1861—1913), ученый, критик. К. Н. Л. о Л. Н. Толстом // Московские ведомости. 1911. 7 мая.

Меньшиков М. О. (1895—1918). Письма к ближним. Фельетон // Новое время. 1911. 19 июня.

Розанов В. В. Неоценимый ум // Новое время. 1911. 21 июня.

У Л. та же мысль, что и у Карлейля в его книге «О поклонении героям»: человек прекрасен в цветущем возрасте (биографически) и в цветущую эпоху (исторически), т.е. во время, наиболее удаленное от смерти. С точки зрения Л.: «Пусть будут все врагами, потому что это гораздо лучше сохранит в каждом его физиономию, нежели предательская "любовь", предательское "обымем друг друга", при коем люди потеряют силу и красоту, обратившись в хаос нюнящих, противных, смешных и никому не нужных баб». Л. был противником натурализма и психологизма в литературе. Мир устроен проще, чем у писателей, натуралистов и психологов, страшнее, ответственнее, мучительнее, содержательнее... Розанов чувствует, что скоро придет время Л.

Н. Л.: Н. О. Лернер (1877—1934), пушкинист. Отзыв о книге Л. «О романах гр. Л. Н. Толстого» (1911) // Исторический вестник. 1911. Т. 126.

«Россия узнает и полюбит его — быть может, после того как на него ей укажет восприимчивая, всем интересующаяся, бесконечно жадная к идеям Европа». Л. еще засияет в истории русского слова и мышления всей своей "волшебно-сладной" красотой, и в его творческом лике, который «был гневен, полон гордости ужасной и весь дышит силой неземной, потомок прозрит более благородный лик самой Правды».

Лернер Н. Рецензия на книгу Л. «О романах гр. Л. Н. Толстого» // Речь. 1911. 27 июня.

<*Тихомиров Л. А.* Непризнанный пророк // МВ. 1911. 30 июня.>

<*Ч. В-ский*: [В. Е. Чешихин-Ветринский].> Заметка о той же книге... Лит. обозрение // Вестник Европы. 1911. VIII.

Стратиевская-Гросман С. Из истории славянофильства // Труды слушательниц Одесских высших курсов. Одесса, 1911. Т. 1, вып. II. С. 115–155.

Сергеев Юрий. К. Н. Л. // Россия. 1911. 1837.

Заметка о книге «Памяти К. Л.» // Россия. 1911. 1840.

Розанов В. В. К 20-летию кончины К. Н. Л. // Новое время. 1911. 12813.

А. Заметка в отделе «Книжные новости» // Московские ведомости. 1911. 260.

В. К-в <: [В. Н. Кораблев].>. Библиографическая заметка // Правительственный вестник. 1911. 244.

Е. В. Р. В русском библиографическом обществе // СПб. ведомости. 1911. 283.

Один из последних реакционных романтиков // Бюллетень литературы и жизни. 1911. 7.

<[*Горнфельд А. Г.*] Рец. на: «О романах гр. Л. Н. Толстого // Русское богатство. 1911. 9.>

Измайлов А. А. (1873—1923). Воскресшая память К. Н. Л. Убийственная биография. Мечта сослать Толстого в Сибирь // Русское слово. 1911. 267.

В. Р.: В. В. Розанов. Литературная новинка // Новое время. 1912. 12910.

Грифцов Б. А. (1885—1950). Библиогр. отзыв на сборник «Памяти К. Н. Л.» и издание сочинений Л. // Русская мысль. 1912. V.

<*Куклярский Ф. Ф.* Последнее слово. К философии современного религиозного бунтарства (1911). С. 92–96.>

Куклярский Ф. Ф. (1870—1923). Осужденный мир. Философия челове<кобор>ческой природы (1912).

Розанов В. В. К изданию Полн. собр. сочинений К. Н. Л. // Новое время. 1912. 13024.

<*Бурнакин Д. А.* (?—1932). К. Л. // Новое время. 1912. 13058, 20 июля.>

Н. Л.: Н. О. Лернер. Отзыв о сборнике «Памяти К. Л.» // Исторический вестник. 1912. Т. 130.

> Лернеру непонятно тяготение правых кругов к Л.: ведь его писания — похоронный звон над императорской Россией. В судьбе Л. чувствуется страшная трагедия. Еще не выяснено отношение его учения к его личной жизни и связь его учения с современными ему течениями русской и европейской общественой мысли. О сб<орни>ке «Памяти К. Л.»: статьи Коноплянцева и Королева слабые, стихи Александрова, посвященные Л., — плохие; лучшее в кни-

ге — воспоминания Губастова и Карцова. Все дополнения Лернера к библиографии Коноплянцева мною учтены и отмечены.

Лернер Н. О. Рецензия на т. II и III Собрания сочинений Л. // Новая жизнь. 1912. VI. 267–268.

Закржевский А. К. (1886—1916). <Воскресный писатель> // Огни. 1912. <30>.

Розанов В. В. Закржевский о К. Л. // Новое время. 1912. 13080.

Куклярский Ф. Ф. К. Л. о среднем европейце // Новое время. 1912. 13136.

Бурнакин А. А. Царьград и всеславянство <(Пророчества К. Л.)> // Новое время. 1912. 13163.

Заметка «В религиозно-философском обществе» // Русские ведомости. 1912. 6 нояб.

Парцевский А. К биографии К. Н. Л. // Известия Одесского библиогр. общества. 1912. VII.

Басаргин А. <:А. И. Введенский.> К. Н. Л. // Московские ведомости. 1912. 284.

Александров Анатолий. Стихотворения (1912). Включены стихи, посвященные К. Л.

Розанов В. В. Приостановка издания сочинений К. Л. // Новое время. 1913. 14 янв.

Фудель И. И. (протоиерей). О сочинениях К. Л. // Новое время. 1913. 13239.

Грифцов Б. А. Судьба К. Л. // Русская мысль. 1913. I, II, IV.

Розанов В. В. Опавшие листья (1913). 1.

Л. — Дон-Кихот своего «...эгоистического Я». Л. только «Великие Разговоры», а практически он желал того же, что и ненавистный ему средний европеец... Л. родился вне всякого даже предчувствия христианства. Он в мире природном, а не в мире благодати. Христианство для него только арсенал (оружия) против современной цивилизации... Л. — чистая душа, но «не во что вдуматься» в его книгах... Эти записи — антитезис Розанова в диалектике его сложных отношений к Л. Между прочим, там же Розанов утверждает, что Л. был незаконным сыном (как позднее и Бердяев).

Розанов В. В. Литературные изгнанники (1913).

Книга посвящена Н. Н. Страхову, но в ней немало внимания уделяется Л. Розанов цитирует письмо к нему Страхова (от 22 апр. 1892 г.): Л. — явление отвратительное... В религии он ценил только «священное волшебство»... В науке он был дилетантом. В искусстве услаждался всякою пакостью, мужеложством, роскошью, внеш-

нею красотою... У него то же нравственное уродство, что и у кн. Мещерского и Апухтина. В примечаниях к этому письму Розанов говорит о таинственной связи «содомитства» и гениальности (323–327). Розанов также рассказывает о том, как он видел Л. во сне (445–446).

Masaryk Thomas. Zur russischen Geschichts und Religionsphilosophie, L–LL (1913). Книга просмотрена в англ. переводе: The spirit of Russia (1919).

Мысли и стиль Л. напоминают Хаманна и Карлейля. Он художник по темпераменту, материалист по воспитанию, в юности был близок к либералам, позднее стал консерватором. У Л. две души — доктора Фауста и духовного раба... Вместе с тем у этого реакционера были черты анархические... У Л. не было настоящей веры, как и у Победоносцева, Каткова. У него заметны католические симпатии, как у Чаадаева, Печерина, Вл. Соловьева.

Коноплянцев А. М. К. Н. Л. // Русский биографический словарь (1914). X. Библиография до 1913 г. (вкл.).

<*Елецкий Александр*. По поводу издания сочинений К. Л. // Новое время. 1914. 13594. 15 янв.>

М. П.: М. Н. Покровский (1868—1932), историк-марксист // Энциклопедический словарь Граната (1914?). Л. —реакционер, но талантливый беллетрист, меткий критик.

< *Свящ. П. Флоренский*. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 253, 285–286, 653, 725, 761, 804.>

Александров А. А. I. Памяти К. Н. Л. II. Письма К. Н. Л. к Александрову. Сергиев Посад, 1915. Тот же очерк и часть писем были опубликованы в «Богословском вестнике» (1914. III, XII; 1915. I).

Розанов В. В. Опавшие листья. (1915). II.

Волжский: А. С. Глинка (1878—1940). Святая Русь и русское призвание (1915).

О философии истории Л., о его византизме и отношении к славянству. Изложение причудливое: Л. — природный капризник, а Вл. Соловьев — подозрительный паинька... «От эстетически-знойной, индивидуалистически-душевной дебелости <Л.> был обращен к вере, к духовной жизни» (63).

Никитин В. <Княжнин.> Опубликовал неизвестную статью Л. об А. Григорьеве: Русская мысль. 1915. XII.

<*Розанов В. В.* К. Л. об Аполлоне Григорьеве // Новое время. 1915. 9 дек.>

Козловский Л. С. (1877—...). Мечты о Царьграде (Достоевский и К. Л.) // Русский архив. 1915. IX–X.

Замараев Г. И. (<1860—1902>). Памяти К. Н. Л. и письма к нему Л. Сообщение А. Александрова // Русская мысль. 1916. III.

Закржевский А. Одинокий мыслитель // Христианская мысль. 1916. IV.

Статья спорная, но яркая. Л. — русский Петроний или русский Гюисманс, декадент. Он аморалист, у него совершенно отсутствует та сердечная трещина, сквозь которую просвечивает добро... Под черной отшельнической одеждой Л. можно разглядеть вампирный лик инквизитора и печать Антихриста... Красота в мире Л. — изводящая и нежно-жестокая. Романы Л. — самое замечательное, что дала русская беллетристика.

Булгаков С. (1871—1944), позднее священник. Победитель—Побежденный // Биржевые ведомости. 1916. 9, 16, 22 дек. Также: Тихие думы (1918).

<*Розанов В. В.* О К. Л. // Новое время. 1917. 22 февр.>

Фудель И. И. (протоиерей). К. Л. и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях // Русская мысль. 1917. XI–XII. Лучший очерк о сложных взаимоотношениях К. Л. и Вл. Соловьева. Использованы неопубликованные письма Л. к Фуделю.

Лернер Н. О. К собранию сочинений К. Н. Л. // Книга и революция. 1921. VIII–IX.

Зандер Л. А. (1893—1964). К. Л. о прогрессе // Русское обозрение. Пекин, 1921. V–VII.

Антиномий Л. Зандер не вскрывает и его противоречия сглаживает. Он высоко расценивает романы Л., в особенности его «Египетского голубя». В плане философском Зандер сближает Л. с Зиммелем (до Бердяева).

Розанов В. В. Письма его к Ф. Э. Голлербаху (1922).

В письме от 9 мая 1918 г. Розанов пишет, что карамазовщина Достоевского и эстетика Л. — явления антихристианские. Далее Розанов говорит, что он продолжает и Л., и Достоевского.

Губер П. К. (1886—1941). К. Н. Л. «Страницы воспоминаний». Предисловие и редакция Губера (1922). См. выше.

Еще в юности, в начале 90-х гг., Губер зачитывался «огненным памфлетом» Л. («Восток, Россия и славянство»), но не мог найти других его сочинений в Публичной библиотеке, и профессора его совсем не знали... Л. — не мудрец, но замечательный писатель-стилист. При всей близости к толстовской манере, он отличается

от Толстого «в выгодную для себя сторону». У него «больше искусства, больше небрежной грации и, несомненно, меньше преувеличенных крайностей психологического самоанализа, которыми грешили почти все люди его поколения».

Преображенский П. Герцен и К. Л. // Печать и революция. 1922. II.

Герцен и Л. — философы культурного умирания. Оба тяготели к религии, но настоящего обращения не испытали. У Л. религия — служанка эстетики. Леонтьевская теология — над христианством. Автор не охватывает всей сложности отношений Л. к Герцену.

<*Преображенский П.* Рец. на кн. К. Н. Л. Страницы воспоминаний. Пг., 1922 // Печать и революция. М., 1922. № 7.>

Гроссман Леонид (1888—1965). Этюды о Пушкине (1923).

В очерке «Пушкин и дендизм» Гроссман говорит и о Л., о его восхищении блестящими денди (Байроном, Онегиным). Замечу: есть черты дендизма у многих леонтьевских героев: у обоих Ладневых («Подлипки», «Египетский голубь»), у Благова («Одиссей Полихрониадес») и, судя по его воспоминаниям, у самого Л.

Бердяев Николай. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Берлин, 1923.

В этих «письмах» Бердяев осуждает не только большевизм, но и социализм, либерализм, демократию и утверждает консерватизм, национальность, одобряет монархию, войны, хотя и говорит, что всего этого не будет в Царствии Божием. Но есть неравенство и там. Вообще: «с неравенством связано все бытие». Л. упоминается не так уж часто, но его голос слышится во всей этой книге. В монографии, посвященной Л., Бердяев уже осуждает многое из того, что он от своего имени утверждал в «Философии неравенства». Отмечу, что в этой книге наряду с Л. Бердяев называет имена и других «духовных консерваторов» — Гете, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, Р. Вагнера, Карлейля, Рескина, Жозефа де Местра, Вилье де Лиль-Адана, Гюисманса, Пушкина, Достоевского, Вл. Соловьева. Философия неравенства, оправдывающая многие ценности «старого мира», — отчасти политический памфлет, но и динамическая апология духовной контрреволюции XIX и XX вв., защищающая качество от количества, личность от общества, дух от материи (см. главу о духовной контрреволюции в этой книге, ч. 2).

Владиславлев И. В.: Гульбинский. Русские писатели (1924). Библиография Л.

Miroglio Abel. La philosophie de Leontiev. Mélanges en l'honneur de M. Paul Boyer (1925). Travaux publiés par l'Institut Slave. Мирольо сближает Леонтьева с Лаландом (André Lalande).

Бердяев Н. А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж, 1926.

<*Бахтин Н. М.* К. Л. (Рецензия на книгу Н. Бердяева о Л.) // Звено. 1926. 28 марта. № 165.>

Зайцев Б. К. К. Л. Заметка о книге Бердяева о Л. // Дни. 1926. 4 апр.

Франк С. Л. Рецензия на книгу Бердяева о Л. // Руль. 1926. 8 сент.

<*Тихомиров Л. А.* Воспоминания. М.; Л., 1927. Упом. К. Л.>

Зеньковский В. В. (1881—1962). Русские мыслители и Европа <Критика европейской культуры у русских мыслителей. Париж, 1929. 2-е изд. — 1955.> Гл. VI о К. Л. и евразийцах. См. его очерк в «Истории русской философии» (1948).

Эйхенбаум Б. М. (1886—1959). Литература, теория, критика и полемика (1927). Высокая оценка очерков Л. о Толстом. Особенно оригинальна и неожиданна для того времени чисто литературная постановка вопроса, делающая эту книгу по духу совершенно современной (48–49).

Зайцев Б. К. Афон (1928). По мнению Зайцева, леонтьевские впечатления об Афоне схематичны и односторонни.

Струве П. Б. (1870—1944). 1) Николай Бердяев. К. Л. (рецензия) // Возрождение. 1926. 27 мая;
2) К. Л. // Возрождение. 1926. 30 мая.

Frank Simon. K. L. — ein russischer Nietzsche // Hochland. 1928—1929. H. 6.

Шкловский В. Б. (1893—<1984>). Материал и стиль в романе Л.Толстого «Война и мир» (1928). Ссылки на книгу Л. о Толстом (15, 45, 74, 101, 213).

Florovskij G. Die Sackgassen der Romantik // Orient und Occident. 1930. IV.

Трагизм Л. не моральный, а натуралистический, обусловленный страхом смерти. Основа его эстетики — биологическая или историческая сила, а не христианская истина. Для него христианство — религия конца, а не жизни. Он не верит в преображение жизни. Для Л. Слово не стало плотью. Герцен, при всем своем безбожии, внутренне религиознее Л. Но только Достоевский показывает выход из тупиков романтизма. Он преодолевает романтический натурализм и романтический эстетизм. Достоевский верил в духовную

сущность человеческой личности. В этом смысл христианского откровения и это — антитеза романтике. Для Достоевского христианство — великая творческая задача, осуществляемая в жизни и в истории.

<*Миролюбов А. Н.* Религиозные миросозерцания К. Л. Харбин. Б/г.>

<*Иванов Георгий.* Страх перед жизнью // Сегодня. Рига. 1932. 28 сент.>

Krag Erik. Kampen mit Vesten. Oslo, 1932. K. V: Leontjev.

Изложение учения Л. Трагедия его в том, что он совмещал в себе Дон-Кихота и Торквемаду.

Лучанский М. К. Л. Литературная энциклопедия. 1932. VI.

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений (1935). Т. 85. Толстой о Л.: с. 308 и 313. Также т. 51: с. 23, 83. См. главу «Встречи с Толстым», ч. 4.

Литературное наследство (1935). XXII–XXIV. К. Л. Моя литературная судьба, 1874—1875 гг.

Вступительная статья Н. Мещерякова «У истоков современной <реакции>». Автор следует партийной линии. Л. был полон страха и ненависти ко всякому прогрессу, как позднее Шпенглер, Кайзерлинг, Пауль Эрнст и др<угие> философы и социологи фашизма.

Чрезвычайно интересны комментарии С. Н. Дурылина (1877—1954), лучшего знатока литературного наследия Л. Дурылин использовал многие неопубликованые рукописи Л. Я часто ссылаюсь на его комментарии.

Stremooukhoff D. V. Soloviev et son oeuvre messianique. Paris, 1935. Несколько упоминаний о К. Л.

Мочульский К. (1892—1948). Владимир Соловьев. Жизнь и учение (1936), цитаты по 2-му изданию 1951 г. О Л-ве: 152–153 и др.

Флоровский Г. (протоиерей). Пути русского богословия (1937). О Л. в гл. VI.

Отец Г. Флоровский повторяет некоторые мысли, высказанные в немецкой статье 1930 г. (см. выше). Л. нельзя считать выразителем подлинного предания православной мысли. В его эстетизме чувствуются латинские мотивы, близкие Леону Блуа. Комментируя леонтьевский «безумный афоризм» (в письме к Розанову) о том, что христианству мы должны помогать даже в ущерб эстетике, по страху загробного суда, Г.Флоровский заявляет: «Какая ядовитая смесь от Ницше и от Кальвина сразу...»

Литературное наследство (1939). XXXV–XXXVI. Толстой. Ряд ссылок на критические суждения Л. о Толстом.

Литературное наследство (1939). XXXVII–XXXVIII. Толстой.

П. А. Сергеенко: «Записи о Л. Толстом». Сергеенко приводит малоправдоподобный рассказ Толстого о Л., который будто бы уверял его, что «будучи на могиле какого-то старца в Оптиной Пустыни, <он> приложился к могиле и в рот ему попало несколько песчинок, вследствие чего он почувствовал облегчение от желудочных болей».

Бразоль Б. Памяти К. Н. Л. Нью-Йорк, 1944.

Тхоржевский И. Русская литература. Париж, 1946. С. 410–412.

Бердяев Н. А. Русская идея. Париж, 1946. Гл. 3: Общая характеристика (см. книгу Бердяева — К. Л., 1926).

Л. предвидел возможный декаданс культуры; он многое сказал раньше Ницше, Гобино, Шпенглера. Гл. 5: о социологии Л., о его проекте социалистической монархии. Гл. 9: об апокалиптическом пессимизме Л. и Вл. Соловьева.

Рязановский В. А. Обзор русской культуры. 1948. II.

Зайцев Кирилл, свящ., ныне архимандрит <Константин>. Любовь и страх. Памяти К. Леонтьева // К познанию православия. Шанхай, 1948.

Зеньковский В. В. (протоиерей). История русской философии. Париж, 1948. 1, гл. XII (2-е изд. — 1989).

Ключ к пониманию Л. не в его историософии, к которой Зеньковский относится критически (с позиций Риккерта и Виндельбанда), не в его натуралистическом подходе к истории, заимствованном у Данилевского. «Вся умственная работа Л. шла в границах его религиозного сознания», хотя эстетика часто превалировала. «Он жаждал спасения души, в этом его этический пафос. Этика же его суровая, трагическая». Подход Зеньковского спорный: он не учитывает леонтьевских антиномий, не замечает, что в церковном христианстве Л. есть черты нехристианские, а это замечали такие разные богословы и мыслители, как митр. Антоний и о. Флоровский, Бердяев и Булгаков, а также Розанов.

Kologrivof Iwan von. Von Hellas zum Mönchtum. Regensburg, 1948. Обстоятельная книга, написанная преимущественно по известным уже источникам.

<*Kologrivof Iwan von.* Constantino Leontjev. La sua vita e il suo pensiero. Brescia, 1949.>

Mirsky D. S., prince. A history of russian literature (1949; 1-е изд. 1926). Высокая оценка стиля Л. Стиль этот неровный, заостренный, живой.

Meyer Hand. Abendlaendische Weltanschauung. Band V: K. L. (1949).

Schultze Bernhard. Russische Denker. Ihre Stellung zur Christus, Kirche und Papsttum (1950).

Тексты Леонтьева и изложение его воззрений по книгам И. Кологривова и Н. Бердяева (см. выше).

Lossky N. (1870—1965). History of russian philosophy (1951).

Л. уделяется всего пять строк. Его философия — дегенеративная форма славянофильства. Здесь Лосский неожиданно совпадает с П. Милюковым (см. его статью «Саморазложение славянофильства», 1893).

Hare R. Pioneers of russian social thought (1951). Oxford: Vintage edition, 1964. Ch. VIII: K. L. также: Portraits of russian personalities. Oxford, 1959.

Объективное изложение леонтьевской философии истории. Этот смелый мыслитель — предшественник Шпенглера и Тойнби. Теперь мы понимаем Л. лучше, чем его современики. По силе воображения, по качеству стиля Л. — «классик русской мысли».

Riasanovsky Nicholas V. Russia and the West in the teaching of the slavophiles // Harvard Historical Studies. 1959. Vol. 61.

Федотов Г. П. (1886—1951). <Трагедия интеллигенции. В сб.:> Новый Град. Нью-Йорк, 1952.

С. 16: «...гораздо легче византинисту-изуверу Л. войти в пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой-демоном, а не святым, — чем этим гуманнейшим русским людям...», т. е. таким почвенникам, как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский.

Slonim Marc. Modern russian literature (1953).

Леонтьев К., Египетский голубь. Дитя души (1954).

Предисловие Б. А. Филиппова. Общая характеристика Л. Анализ романа «Египетский голубь»: это почти дневник. Л. сближает жанры художественной прозы, высокой публицистики, очерка, частного письма. Фабула в его повестях теряет значение.

Иваск Юрий. Еретик К. Л. // Новое русское слово. 1954. 26 сент. Отзыв о книге «Египетский голубь», с предисловием Б. А. Филиппова (см. выше).

Lassithiotaki Kosta. K. L. Elliniki dimiourgia. Афины, 1954. 1–15 июля.

Изложение по французскому переводу книги Бердяева о Л. Отношение к Л. сочувственное.

Pfalzgraf Konrad. Die Politisierung und Radikalisierung des Problems Russland und Europa bei N. J. Danilevskij. Forschungen zur Osteuropaeischen Geschichte. Band L. Berlin, 1954. Danilevskij und Leont'ev: 188–193.

Жаба С. П. (1894—1982). Русские мыслители <о России и человечестве>. Париж, 1954.

Характеристика Л. в предисловии. Леонтьевские тексты на с. 205–220.

Cloutier H. H. Leontjev on nationalism // Review of Politics. 1955. April. Информационная статья.

Мандельштам Осип (1891—1938). Собрание сочинений. Нью-Йорк, 1955.

Из статьи: «В не по чину барственной шубе» (впервые в сб. «Шум времени», 1925). См. ниже.

Иваск Юрий. «Подлипки» К. Л. // Новый журнал. 1955. 40.

Harkins William E. Dictionary of russian literature (1956).

Lednicki W. Bits of table talk... (1956). Ледницкий высоко расценивает очерк Л. о Толстом.

Адамович Г. В. (1894—1972). Мракобесие // Новое русское слово. 1957. 19 мая.

Л. — реакционер, но его место не рядом с Катковым и Победоносцевым, а в соседстве с Чаадаевым и Герценом. Л. — человек даровитейший, несчастный, исключительно умный, исключительно искренний и бесстрашный в своих выводах. При истолковании его взглядов нельзя учитывать только логическое содержание отдельных фраз. Нужно вдумываться, вслушиваться в их психологическую сущность. Есть в его описаниях страстно-страдальческий привкус, как у Ницше. Адамович также отмечает, что в издании Большой Советской Энциклопедии нет статьи о Л. Начиная с 20-х гг. Адамович часто писал о Л. в статьях на разные темы.

Gasparini Evel. Le previsioni di Constantino Leont'ev. Venezia, 1957.

<*Gasparini Evel*. Scrittori russi. Padova, 1966. P. 675–709.>

Kurland Jordan E. L.'s views on the course of russian literature // American Slavic and East European Journal. 1957. 16. 260–274.

Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого (1958). О встречах Л. с Толстым.

Иванов Георгий. 1953—1958. Стихи. Нью-Йорк: Издание «Нового журнала», 1958.

А мы Леонтьева и Тютчева / Сумбурные ученики — / Мы никогда не знали лучшего, / Чем праздной жизни пустяки... (с. 65).

Hare Richard. Portraits of russian personalities. Oxford, 1959. См. выше.

Киприан (Керн), архимандрит (1899—1960). Из неизданных писем К. Л. Париж, 1959 (см. выше).

«Я не современник и никогда не буду у себя дома» — по мнению о. Киприана, эти слова Леона Блуа применимы и к Л. «Люди, подобные Л., чувствуют свое бессилие остановить исторический процесс, но они никогда этот процесс принять не могут».

Достоевский Ф. М. Письма (1959). IV. Упоминания о Л. в этом томе, а также и во втором (изданном в 1930 г.).

Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы (1960). Ссылки на Л. — критика Толстого. См. главы «Война и мир», «Борьба за стиль».

Ivask George (Юрий Иваск). K. L.'s fiction // Slavic Review. 1961. December.

Boess Otto. Die Lehre der Eurasier // Ost-Europa Institut. München, 1961. Bd XV, 9. О Л. и евразийцах.

Иваск Юрий. К. Л. Главы из книги // Возрождение. Париж, 1961—1964. Номера: 118, 121, 124–131, 133–135, 137–141, 146–151.

Stepun Fedor (1884—1965). Der Bolschewismus und die christliche Existenz. <München, 1959>.

Если бы Леонтьев жил теперь в Москве, пишет Степун, он мог бы одобрить современную советскую реализацию Третьего Рима. Все, что Л. любил, — величие и бездны истории, ее творческие мечты и ее безумие — теперь легче найти на подчиненном России Востоке, чем на Западе. Л. — русский европеец особого типа, у него немало общего с Ницше и Леоном Блуа, но (вместе с тем) он первый русский евразиец. Мучила бы его кровь, пролитая Сталиным? Кто знает: может быть, и нет, ибо он знал, что не было великой истории без кровопролитий. Возражение: вся леонтьевская эстетика есть отрицание большевизма. Л. одобрительно отзывался о диктатурах Кромвеля и даже Робеспьера, кровь его не пугала, но в коммунистической диктатуре он обнаружил бы элементы вторичного смесительного упрощения нашей, по его убеждению, вымирающей цивилизации.

Блок А. <*А.* (1880—1921)>. Собрание сочинений. <В 8 т. М.; Л.,> 1962. Т. VI.

«...Посошков и Чаадаев, Одоевский и Белинский, Герцен и Григорьев, Радищев и Леонтьев — вот вечные образцы нашего неистового прошлого, вот наши вечные братья-враги». «О списке русских авторов» — статья эта была написана для изд-ва Гржебина.

Филиппов Б. А. Страстное письмо с неверным адресом // Мосты. 1962. IX; 1963. X.

«Жизнь Л. — материал для романтической повести. Творчество Л. — его широко и страстно написанная автобиография». Оригинально и убедительно то, что Филиппов говорит о триедином процессе развития в учении Л. Если Шигалев (в «Бесах» Достоевского), исходя из абсолютной свободы, кончает абсолютным деспотизмом, то Л., исходя из полного деспотизма, прорывается к духовной свободе и даже к своеволию. При этом Л. постоянно твердит: смирись, такова воля Провидения, однако сам не смиряется. В конце очерка Филиппов замечает: «Л. звучит так современно, что при изложении его взглядов можно оркестрировать его мысль слишком модернистски. Поэтому лучше послушать его голос. И задача настоящей статьи была скромной: заставить самого Л. рассказать об эстетике жизни и истории». Г. В. Адамович считает характеристику Филиппова верной и убедительной. См. ниже.

История русской литературы XIX в. Библиографический указатель. Академия наук (1962) / Под редакцией К. Д. Муратовой.

Карташев А. В. <(1875—1960). Гл. «Халкидонская проблема в понимании русских мыслителей» в кн.:>. Вселенские соборы (1963).

Л., осуждая «розовое христианство» Достоевского, впадал в «практическое монофизитство».

Адамович Г. В. Литература и жизнь (передовая статья) // Русская мысль. 1963. 26 февр. (об очерках, посвященных Л. — Б. А. Филиппова в «Мостах» и Юрия Иваска в «Возрождении»).

Иваск Юрий. Розанов о Леонтьеве // Новое русское слово. 1963. 24 февр.

Moser Charles A. Antinihilism in the russian novel of the 1860's. Mouton, 1964. Упоминается роман Л. «В своем краю».

Utechin S. V. Russian political thought. Oxford, 1964.

У Л. новая версия учения о Третьем Риме. В противоположность Филофею, он верил не в Москву — Третий Рим, а хотел, чтобы русские и греки обновили Второй Рим (византийский).

Ильин В. Н. (1891—1974). Аполлон Григорьев — страждущий русский Дионис // Возрождение. 1964. VII и VIII. Несколько упоминаний о Л. — «двойнике» Григорьева.

Любимов Д. Н. (1864—1942) // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников (1964). II. Любимов вспоминает, как зимою 1880 г. в доме его отца, профессора Н. А., обедали Достоевский и Л.

Успенский Г. И. // Там же.

Очерк «Ожидание лучшего» (1883). Успенский порицает Л. за его нападки на пушкинскую речь Достоевского (в статье «О всемирной любви» — «Варшавский дневник», 1880). Отмечу здесь: Л., осуждая обоих братьев — Г. И. и Н. И. Успенских за грубость, тенденциозность некоторых их очерков, с одобрением отзывался о повести Г. И. «Пиджак и черт» и, в особенности, об «Очерках усадебной жизни» Н. И. (Л. VIII, 352–357).

Шкуринов П. // Философская энциклопедия (1964). III.

Giusti W. Un pensatore russo controcorrente: Constantino Leont'ev // Storia e politica. Milano, 1964.

Russian philosophy (1965). V. II. Some fragments of L.'s essay «The Average european...» / Translated by W. Schafer and G. Kline with an introduction (p. 271–280).

Данилевский Н. Я. Россия и Европа. О Данилевском и Л. во вступительной статье Ю. Иваска (XIII–XVII) // Johnson Reprint Corp. (1966).

Swoboda Eduard. K. L.'s Erzählung in «Egipetskij Golub» // Wiener Slaw. Jrl. 1966. 13. S. 83–99.

Мандельштам Осип. Собрание сочинений. (1966). Т. 2.

О Л. в очерке «В не по чину барственной шубе»: «Под пленкой вощеной бумаги к сочинениям Л. приложенный портрет, в меховой шапке-митре — колючий зверь, первосвященник мороза и государства» (с. 140). «Если мне померещился К. Л., орущий на извозчика на снежной улице Васильевского острова, то лишь потому, что из всех русских писателей он более других был склонен орудовать глыбами времени. Он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них» (с. 145). Б. А. Филиппов в примечании к этому очерку утверждает, что Л. оказал немалое влияние на Мандельштама, что возможно, но еще не выяснено (с. 565).

<*Дунаева Е. Н.* Тексты писем Тургенева к К. Н. Леонтьеву (Вновь найденные автографы) // Тургеневский сборник. М.; Л., 1966. Вып. 2.>

Lukashevich Stephen. Konstantin Leontiev. A study in russian heroic vitalism. New York, 1967.

Автор истолковывает Л., исходя из книги: *Bentley Eric*. A century of hero worship (1944). В противоположность либералам XIX века, которые стремились к уравнению в правах и верили в беспрерывный прогресс, героические виталисты утверждали неравенство, поклонялись героям и сомневались в исправимости человечества, утверждает Бэнтли. Героический витализм он находит у Карлейля, Ницше, Р. Вагнера, Шоу, Шпенглера, Георга, Д. Х. Лоренса, а Лукашевич добавляет к этому списку Л. Бэнтли сурово критикует героических виталистов и полагает, что в XX веке их последователи стали фашистами, нацистами или же эстетами, чуждыми жизни, а для Лукашевича реакционер и эстет Л. — жалкий неудачник, сомнительный литературный критик. Личность Л. истолковывается по Фрейду: он был влюблен в свою мать и все свои «комплексы» проецировал в философию истории и религию. Эта произвольная реконструкция Л. по учебникам современной психологии крайне схематична и неубедительна (об этой книге были отзывы).

Obolensky Alexander. Konstantin Nikolaevich Leont'ev. An expository study and analysis of his thoughts as reflected in his life and his writings (1967). PhO dissertation, University of Pennsylvania.

Розанова С. А. Краткая литературная энциклопедия. (1967). IV.

Konrad Alexander. Review of K. L.'s «Moja literaturnaja sud'ba» // Slavic and East European Journal. 1967. 11. 371–373.

Иваск Юрий. Янина. Стихотворение о жизни Л. в Янине. Июнь 1963 // Хвала. 1967. 17.

Иваск Юрий. Отзыв о книге Л. «Моя литературная судьба». Johson Reprint Corp. // Новый журнал. 92. 1968. 301.

Витте С. Ю., граф. Воспоминания. (1968). Т. 1.

На с. 535 ссылка на дневники славянофила и гос. контролера Т. И. Филиппова (1825—1898). Эти дневники опубликованы не были и хранятся в архиве ЦГЛА (фонд 728). В них, вероятно, упоминается Л., который был близок к Филиппову, обращался к нему за помощью и с ним часто переписывался.

Ivanov Allessandro. Il signolare KNL. Convivium 36. Bologna, 1968. 590–597.

Kline George L. Religious and anti-religious thought in Russia (1968). Ch. 2. Religious new-conservatives: L. and Rozanov, 35–53. Короткий основательный очерк о жизни и воззрениях Л.

Roberts Spencer E. Essays in russian literature. The conservative view: L., Rozanov, Shestov (1968).

Включен перевод очерка о Толстом (225–356).

<История философии в СССР. М., 1968. Т. 3.>

<*Левицкий С. А.* Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 1968.>

Beliaeff Anton S. Circling L. The conservative idea, Dartmouth // N. H. 1968. Dec. 6–9.

Criticism:

Simmons Ernest J. Belated bow of tsarist classic // Saturday Review. 1969. March 5. 31–32.

Two russian works noteworthy // Journal Herald, Dayton, Ohio. 1969. April 12.

Brown Clarence. Slightly to the right of the czar // The New Republic. 1969. April 17. 25–27.

D. F. Reeve // Washington Post. 1969. May 11. 12.

Fort Worth Press. 1969. May 11. 9–B.

Завалишин Вячеслав. Статьи К. Леонтьева в английском переводе // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1969. 25 мая.

L<uiz> M<arques>. Russian Narcissus // The Anglo-Portuguese News. 1969. June 14. Lisboa, Portugal.

The Minneapolis Tribune. 1969. June 29.

The Antioch Press, Yellow Springs. Ohio, Vol.29, No.2, Summer 1969.

Szulkin Robert. A 19th century russian with original views // Boston Globe. 1969. July 7.

Auden W. H. A russian aesthete // New Yorker. 1970. April. 133–138.

Strong Robert, Jr. // Books Abroad. 1970. April.

Zenkovsky Serge A. // The Russian Review. 1971. January. 81–82.

Gustafson Richard F. // Slavic Review. 1969. December. 678–679.

Berlin, Sir Isaiah // Four Essays on Liberty. 1969. 13.

Ivanov Alessandro. La contestazione di Leont'ev // Il Mondo Slavo. 1969. (Padova).

Иваск Юрий. Теофиль Готье в России // Русская мысль. 1969. 29 авг.

В своих путевых записках 50-х и 60-х гг. многим в России восхищался. Он видел ее глазами Л. — эстета-романтика.

В конце 60-х гг. имя Л. нередко упоминалось в советской прессе. В. Чалмаев скорее положительно отзывается о Л., Чаадаеве 60–80-х гг., который возмущается индустриальным прогрессом XIX века и осуждает победы буржуазного мещанства над дворянством и крестьянством (Молодая гвардия. 1968. 9). Но С. Покровский дает резко отрицательный отзыв о Л. (Вопросы литературы. 1969. 9).

Monas Sidney. Leontiev: A meditation // Journal of Modern History. 1971. September. 483–494.

Монас отмечает своеобразие Л. Он не был врагом социализма, как часто думают. Он заботился о сохранении благоприятной среды для развития жизни, и его можно назвать экологом в современном значении этого слова.

Фотиев К., протоиерей. По следам К. Л. // Новое русское слово. 1972, 2 янв.

Записки о недавнем посещении балканских городов, где жил К. Л.

Иваск Юрий. Подготовил для печати статью «Неизданный Л.» и его неопубликованный «Последний луч», рассказ монаха. У меня также хранится копия незаконченного романа Л. (с примечаниями) — «Львов».

В энциклопедических словарях имя Леонтьева редко упоминается. Может быть, раньше, чем в других, статья о нем включена в итальянскую энциклопедию: (1933), т. VI, а также и в новую (1957). Данные о нем имеются в энциклопедиях Чамберз (1953), XIII, Ларусс (1962), VI. Короткие статьи о Леонтьеве находим в литературных энциклопедиях Касселя (англ.) (1953), II, Лаффон-Бомпиани (франц.) (1964), III, Майерса (нем.) 1970 г., но и в некоторых других. Упоминания в русских энциклопедиях включены в мою общую библиографию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ Г. ДЕЙЛА НЕЛСОНА

Kurland Jordon. The history and destiny of Russia according to Konstantin Leont'ev // An unpublished M. A. thesis. Columbia University (1952).

Никитин С. А. Славянские комитеты в России в 1858—1872 гг. (1960).

Meyer Hans. Oswald Spengler und seine Vorläufer // Stimmen der Zeit. 1961/62. 169 (1).

Le Millenaire du Mont Athos (963—1963) (1963?) I–II / Essays by Igor Smolitsch and Antoine Emile Tachioas.

Thadden Edward C. Conservative nationalism in Nineteenth Century Russia, University of Washington. Seattle, 1964.

Lettenbauer Wilhelm. Das Problem der Europäisierung Russlands in der neueren russischen Literatur // Hist. Jahrbuch. 1965. 85 (1).

Янов А. Л. Славянофилы и Константин Леонтьев // Вопросы философии. 1969. 8. Английский перевод в «Soviet Studies in Philosophy» (1970).

Lavrin Janko. Russia. Slavdom and the Western world (1969).

Ritchie Galen B. The Asiatic Department during the reign of Alexander II (1855—1881). Unpublished Ph. D. dissertation, Columbia University, 1970.

Никитин С. А. Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50—70-е гг. XIX века. АН СССР. Институт славяноведения и балканистики (1970).

Nelson Dale L. K. Leontiev and the Orthodox East (Studies in progress).

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

ЧИТАЯ КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА

Юрию Иваску

В моей судьбе — монашеско-мирской —
Два сильные соперничают хора:
Девический под куполом собора
И к веществу прикованный мужской.

В одном — просвет в разубранный покой,
Где нектаром наполнена амфора;
Смолистая — в другом — дремучесть бора,
И оползни, и страстный гул морской.

То веянье бесплотное прохлады,
То нагота и смуглота Эллады —
На полпути двузначный антифон,

Мир столпников и бешенство желаний,
Платонов пир и подвиг слишком ранний —
Извечные Афины и Афон!

4 февраля 1973 г.
Рио де Жанейро

ПРИМЕЧАНИЯ

Л. А. Тихомиров

Тени прошлого. К. Н. Леонтьев

Печатается по: Литературная учеба. 1992. № 1–3. С. 140–150. Публикация Е. В. Ивановой и Г. Б. Кремнева по тексту автографа воспоминаний Л. А. Тихомирова (ГАРФ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 45). В прямых скобках даются восстановленные авторские зачеркивания.

Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) — активный участник народнического и революционного движения, член исполнительного комитета партии «Народная воля», организовавшей убийство Александра II, был арестован в 1873 г. и судился по «процессу 193-х». В 1882 г. эмигрировал за границу, где вместе с П. Л. Лавровым издавал «Вестник Народной воли». В 1888 г. подал прошение на Высочайшее имя о помиловании и выпустил брошюру «Почему я перестал быть революционером». Вернувшись в 1888 г. на родину, сотрудничал в консервативных изданиях, главным образом в МВ, редактором которых он стал впоследствии. Был членом Совета министра внутренних дел у П. А. Столыпина. Главным его трудом является исследование «Монархическая государственность» (1905. Ч. 1–4), посвященное осмыслению исторического и религиозного значения монархической власти, исследующее историю византийской и российской государственности. В книге имеется параграф, специально посвященный взглядам К. Н. Леонтьева. После кончины К. Н. Леонтьева Тихомиров записал в своем дневнике: «У меня еще не умирало человека, так близкого мне не внешне, а по моей привязанности к нему» (Воспоминания Льва Тихомирова. М.; Л., 1927). Над «Воспоминаниями» Тихомиров работал в последние годы жизни, находясь в Сергиевом Посаде.

Н. А. Бердяев

Константин Леонтьев (Очерк из истории русской религиозной мысли)

Впервые: *Бердяев Н. А.* Константин Леонтьев (Очерк из истории русской религиозной мысли). Париж, 1926.

События трех русских революций и вынужденный отъезд из России в 1922 г. заставили Н. А. Бердяева пересмотреть свое отношение к фигуре К. Н. Леонтьева и вообще к консервативно-реакционной традиции в рус-

ской политике и культуре. Уже в книге «Философия неравенства» (Берлин, 1923), которая есть своеобразная апология духовной контрреволюции, Бердяев утверждает правду консерватизма как «правду историзма, правду чувства исторической реальности, которая совершенно атрофирована в революционизме и радикализме» (цит. по: Русское зарубежье. Л., 1991. С. 96). «Консерватизм имеет духовную глубину, — утверждает Бердяев, — он обращен к древним истокам жизни, он связывает себя с корнями» (С. 91). В числе самых «больших людей XIX в.», наделенных этой глубиной, Бердяев упоминает и Леонтьева. Монография, посвященная собственно Леонтьеву, выходит в марте 1926 г. в Париже в издательстве «ИМКА-Пресс» и имеет большой резонанс в среде русской эмиграции, заставляет некоторых ее деятелей, писавших о Леонтьеве до революции, переосмыслить и заново высказать свое отношение к этому мыслителю.

Одним из первых на книгу Бердяева откликнулся в парижском еженедельнике «Звено» (№ 165. 28 марта 1926 г. С. 2–3) Н. М. Бахтин (брат литературоведа и философа М. М. Бахтина): «Появление прекрасной книги Н. А. Бердяева о К. Леонтьеве, — писал он, — в высокой степени своевременно. Я не знаю мыслителя более “своевременного”, более насущно нужного нам теперь, чем Константин Леонтьев. Бердяев — человек определенной доктрины, в Леонтьеве он ищет ответа на свои, определенные вопросы. И это, конечно, единственно правомерный подход… Однако можно прийти к Леонтьеву совсем иным путем, искать и любить в нем совсем иное, и все-таки книга Бердяева сохранит всю свою ценность. В ней есть нечто иное и лучшее, чем мертвая объективность: живое любовно-трепетное общение с мыслителем». В парижской газете «Дни» на книгу откликнулся Б. К. Зайцев (№ 927. 4 апреля 1926 г. С. 3) — писатель, отнюдь не равнодушный к Леонтьеву и собиравшийся как раз в это время в паломническую поездку на Афон. Интересно сопоставление характеров и творческих индивидуальностей Бердяева и его героя: «Внутренне близко ему и леонтьевское ницшеанство до Ницше — но оно преодолено для Бердяева христианским учением. Нелюбовь к демократизму, некая “парадность” Леонтьева тоже близки, но “византизм”, “подмораживание” — конечно, нет. Консервативно-охранительное чувство вообще чуждо Бердяеву. Напрасно его считают “правым”. Это неверно. Бердяев потому уже не может охранять, что он слишком для этого трепетен и нервен, в нем есть напор, устремление, он гораздо больше и охотнее глядит вперед, чем назад. Консервативны “созерцательные” люди. Бердяев не созерцательный, а динамический. При этом он не очень любит быт, склад (даже в этой книжке говорит, что эстет не может быть в быту, — утверждение неверное, если только под эстетом не разуметь сноба), недостаточно любит и замечает живое, плотское, а также и природу, он более погружен в идеи, а в идеях тоже прельщает его не неподвижное, а устремляющееся. Поэтому ко всему *пророчественному* у него большее тяготение, и Леонтьев ему тогда становится *уж очень дорог,* когда начинает говорить о грядущей революции, о надвигающемся кризисе, “закате Европы” и т. п. <…> Он недоволен и “натурализмом” Леонтьева, зато охотно с ним вместе при атаке на славянофилов (они для Бердяева опять слишком «бытовики», а ему нужен полет, отрыв, дух).

И, наконец, близка ему и общая позиция Леонтьева — уединенность, “дикость” и невнятность кругу публики. В этом они сходятся. Но это участь

почти всех, кто думает лишь за себя, не стоит ни в каких рядах и не носит в них тех или иных эполет».

На страницах «Возрождения» дважды к книге Бердяева обращается редактор газеты П. Б. Струве, в эмиграции заметно поправевший и ставший идеологом реставрации монархии в России, а отсюда — далеко не самый близкий Бердяеву публицист. В № 359 от 27 мая 1926 г. он пишет рецензию «Из духовного прошлого России» сразу на две книги — второй была книга барона Б. Э. Нольде «Юрий Самарин и его время», а в № 362 от 30 мая — публикует статью «Константин Леонтьев», написанную в связи с книгой Бердяева, в которой дает собственную, почти восторженную оценку Леонтьеву, разделяя, однако, безусловную ценность его идей философии истории и их конкретную применимость в практической политике: «Из философии силы и государства, из ясного понимания лествичного строения человечества, из иерархического развертывания истории не вытекает никаких политических выводов и никаких определенных исторических предвидений. Непонимание этого составляет ту "*ошибку короткого замыкания*" (посылок и выводов), о которой я уже говорил и в которую часто впадал и Леонтьев. Из того, что абсолютное всеобщее равенство невозможно и бессмысленно, не вытекает вовсе никаких выводов о формах относительного равенства. Поэтому, будучи настоящим учителем и для нашего времени в отношении метафизики и мистики общественно-государственного бытия, Леонтьев не может быть таковым в отношении конкретной политики и развертывающейся на наших глазах живой истории. Успехи "демократии" не опровергают философских идей Леонтьева, и успехи "фашизма" их не подтверждают. Историческая и политическая философия и не отливает пуль ни в каком смысле, и не изготовляет политических фейерверков» (цит. по: *Струве П. Б.* Дух и слово. Париж, 1981. С. 263).

В берлинской газете «Руль» (№ 1753. 8 сент. 1926 г.) о книге отозвался С. Л. Франк, в свое время писавший о книге о. К. Аггеева (его рец. «Миросозерцание Константина Леонтьева» см. в наст. сб.): «В наше время, когда пережитая нами национально-политическая катастрофа столь многому нас научила и заставила переоценить столько ценностей, многие идеи Леонтьева, ранее по близорукости нашей казавшиеся нам парадоксальными, теперь вновь оживают перед нами в своей глубокой гениально-пророческой правде. Жутко, но вместе и поучительно теперь читать страницы, предсказывающие неизбежное наступление социализма и попрание социализмом всех гуманитарно-демократических начал общественной жизни. Да и вообще, только теперь мы можем достойно оценить не только пленяющую гениальность этого безгранично смелого мыслителя, этого "русского Ницше", но и всю объективную значительность его парадоксальных идей…»

Неодобрительно воспринял книгу Н. А. Бердяева митрополит Русской Православной Церкви за рубежом Антоний (Храповицкий), всегда весьма настороженно относившийся к творчеству Леонтьева [см. его статью «Искренняя душа» в сб. «Памяти К. Н. Леонтьева» (1911)]. По всей вероятности имея в виду прежде всего книгу Н. А. Бердяева, митрополит Антоний писал в 1932 г.: «Кстати сказать, совершенно непонятно, почему К. Н. Леонтьев привлек к себе внимание публицистов Парижской ИМКИ, вероятно именно вследствие своей незаконченности и неопределенности, которою характеризуются названные современные "философы" разных возрастов и поколений. Во всяком случае, участь Леонтьева разрешилась

гораздо более благоприятно и достойно, чем его почитателей» (цит. по: *Митр. Антоний.* Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения. Монреаль. 1965).

[1] Среди французских литераторов-декадентов, обращавшихся в своем творчестве к религии, можно отметить следующих.

Гюисманс Жорж Шарль (1848—1907) — тонкий стилист, провозвестник современного искусства и декаданса в манере письма и в необычно перевернутом видении мира, где искусственное исправляет то, что отвергается в природе. Пройдя через искушение черной магией и сатанизмом, обратился в конце 90-х гг. в католицизм, ища совершенства в бесконечном.

Верлен Поль (1844—1896) — один из «проклятых» поэтов, находившихся под влиянием личности и творчества Ш. Бодлера. Заключенный в тюрьму после выстрела в своего близкого друга А. Рембо, обратился к Богу со всем пылом неофита. Затем снова вернулся к блужданиям, и творчество его, как маятник, раскачивается от дьявола к Богу и обратно, что позволяло ему выпускать одновременно сборники как религиозных, так и эротических стихов. См. о них: *Иванов Вяч. И.* Две стихии в современном символизме. Экскурс I. О Верлене и Гейсмансе // Собр. соч. 1971—1987. Т. 2. С. 563–565.

Вилье де Лиль-Адан Огюст (1838—1889) — выходец из знатного рода, разоренного революцией, был воспитан в строгих религиозных и политических традициях. Ненависть к буржуазии сблизила его с коммунарами. Нашел свой выразительный стиль в поэтической прозе, примиряющей мечту и логику, фантастику и реальность. Большая часть его произведений пронизана меланхолией и горечью, но не лишена едкого юмора.

[2] *Боткин* Василий Петрович (1811/12—1869) — литературный критик и очеркист, в юности — участник кружка Н. В. Станкевича, прошедший увлечение левогегельянством и шиллеровским бунтарством, друг и корреспондент В. Г. Белинского. Автор «Писем об Испании» (1841—1851). Позднее сблизился с Ап. Григорьевым, увлекся трудами Т. Карлейля и эволюционировал от радикализма к западническому либерализму, а затем к экстетезированному консерватизму и монархизму.

[3] Очерк «Мои дела с Тургеневым» вошел в СС (т. 9). Под заглавием «Тургенев в Москве (1851—1861), из моих воспоминаний» был опубликован в РВ (1888. 2–3).

[4] Противопоставление Афродиты Небесной и Афродиты Земной (Простонародной) восходит к платоновскому диалогу «Пир» (180c–181a). У Вл. С. Соловьева оно нашло отражение, например, в стихотворении «Das Ewig-Weibliche <Вечная женственность>. Слово увещательное к морским чертям» (*Вл. Соловьев*. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 120–122).

[5] Н. А. Бердяев указывает на интимно-романтический аспект софиологии Соловьева: София для него — не только важный элемент его теософии, но и небесная возлюбленная, с которой он мистически связан. См.: София. Первая триада // Логос. М., 1993. 4. Ср. также конец поэмы «Три свидания»(1898): «Подруга вечная, тебя не назову я, / А ты прости нетвердый мой напев!» (Указ. соч. С. 132).

[6] Своей популярностью этот термин обязан последователям Вл. С. Соловьева, рассматривавшим ветхозаветную Софию Премудрость Божию как философему, выражающую посредничество между божественным и тварным миром. Софийное состояние мира — это преображение его под знаком идеальной сущности вещей, их соответствия божественному замыслу о мире, это признание вопреки манихейскому и гностическому дуализму «онтологической божественности природы» (Г. П. Федотов). В числе наиболее важных трудов, раскрывающих понятие Софии и софийности мира, — «Философия хозяйства» (1912), «Свет Невечерний» (1917), трилогия «О Богочеловечестве» (30-е—40-е гг.) о. С. Булгакова, «Столп и утверждение Истины» о. П. Флоренского, «Миросозерцание Вл. Соловьева» (1913) и «Смысл жизни» (1918) Е. Н. Трубецкого. В эмиграции было учреждено Братство Св. Софии (1922), куда входил Н. А. Бердяев. Разработка софиологии была приоритетным направлением богословов, группировавшихся вокруг о. С. Булгакова в Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже. Заметим, что сам Бердяев не был софиологом, хотя и высоко ценил софиологию Я. Бёме, оказавшего большое влияние на русскую мысль.

[7] См.: Формулярный список о службе цензора Московского цензурного комитета статского советника Леонтьева // Русский архив. М., 1992. II–III. С. 387–391 (публ. А. П. Николаева): «Приказом по Министерству иностранных дел от 11 февраля 1863 года за № 4 определен на службу в Азиатский департамент канцелярским чиновником... 1863, ... 2» (С. 369).

Стремоухов Петр Николавевич (?—1885) — вице-директор, а затем директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел.

[8] *Клодель* Поль (1868—1955) — французский католический поэт, реформатор стиха, подражавший древнему версету, которым написана Библия. Один из провозвестников «католического Возрождения» в литературе XX века. На рубеже веков жил в Китае, работая в дипломатической миссии. Автор книги очерков «Познание Востока» (1900), отразившей восприятие восточной культуры европейцем. См. о нем: *М. Волошин*. Клодель в Китае // М. Волошин. Лики творчества. Л., 1988. С. 78–95.

Патер Уолтер (1839—1894) — английский писатель и критик, близкий к прерафаэлитам, ориентировавший свои эстетические принципы на культуру Ренессанса. Автор «Очерков по истории Ренессанса» (1873).

Прерафаэлиты — группа английских художников (Д. Г. Россетти, У. Моррис) и писателей, избравшая своим идеалом «наивное» искусство средних веков и раннего Возрождения. Использовали в своих произведениях стилизованные образы культур Дальнего Востока, критиковали с романтических позиций буржуазную культуру XIX века.

[9] Сардинский король Виктор-Эммануил II, в 1861 г. объединивший Италию, присоединил в 1870 г. к объединенной Италии папскую церковную область и сделал Рим столицею своего королевства, лишив тем самым Пия IX светской власти и предоставив в распоряжение папы т. н. город Льва, предместье Рима, где находился Ватикан и храм Св. Петра. Но Пий IX, не желая примириться со свершившимся, отказался вступить в соглашение с итальянским правительством, считая себя Ватиканским пленником. Его преемник Лев XIII последовал его примеру, и лишь Пий XII заключил в 1929 г. Латеранское соглашение с королевским итальянским правительством.

[10] Бердяев сближает судьбу итальянского живописца Сандро Боттичелли (1445—1510), пытавшегося на склоне лет обрести душевный покой у доминиканского монаха и проповедника Савонаролы, с последними днями жизни Н. В. Гоголя, сжегшего под влиянием своего духовника о. Матвея (Константиновского) второй том «Мертвых душ».

[11] *Фанариоты* — греки из знатных семейств, пощаженных турками при взятии Константинополя, занимавшие важные должности при турках. Название получили от Фанарских ворот в Константинополе, возле которых они жили. Леонтьев понимает под фанаристами цареградских греков вообще, отличая их от афинских и считая, что они справедливо предпочитают Порту либеральному Греческому царству [см.: Письма о Восточных Делах. IV. «Все то же (Т. И. Филиппов и о. Скобловский)»] // СС. Т. 5.

[12] Расхождение с И. С. Аксаковым началось по вопросу о греко-болгарской распре, вызванной желанием болгар получить автокефалию у константинопольского патриарха. Леонтьев принял сторону греков, считая, что независимость болгар может ускорить процесс их культурного и политического смешения с Европой. Характеризуя свое отношение к Аксакову в начале 70-х гг., Леонтьев писал: «Я находился под влиянием книги Данилевского “Россия и Европа”. С учением Хомякова и И. С. Аксакова я был уже давно тогда знаком в общих его чертах, и оно “говорило”, так сказать, сильно моему русскому сердцу. Но я отчасти видел, отчасти только *чувствовал* в нем что-то такое, что внушало недоверие. Оно казалось мне и тогда уже слишком эгалитарно-либеральным для того, чтобы *достаточно отделять* нас (русских) от новейшего Запада. Другая же сторона этого учения, внушавшая мне недоверие и тесно связанная с первой, — была какая-то одностороннняя моральность. Это учение казалось мне в одно и то же время и не государственным и не эстетическим. Со стороны государственности меня гораздо более удовлетворял Катков уже тем одним, что не искал никогда, как Аксаков, чего-то туманно-возвышенного в политике, а пользовался теми силами, которые находились у нас под рукой. Со стороны же исторической и внешнежизненной эстетики я почувствовал себя несравненно ближе к Герцену, чем к настоящим славянофилам» (СС. Т. 6. С. 335–336).

[13] Идею создания Восточно-славянского союза И. С. Аксаков стал исповедовать начиная с середины 70-х гг. под воздействием книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869), являвшейся своеобразным манифестом панславизма и отзвуком политических статей его тестя Ф. И. Тютчева. Рупором панславистских идей Аксакова стала издаваемая им газета «Русь» (1880—1886).

[14] *Игнатьев* Николай Павлович (1832—1908) — посол при Высокой Порте с 1864 по 1878 гг., в 1881—1882 гг. — министр внутренних дел. Интересную его характеристику приводит в своих воспоминаниях дипломат, знакомый К. Н. Леонтьева, Ю. С. Карцов: «В продолжение целых 12 лет (1864—1876) делами посольства нашего в Константинополе заведовал генерал Николай Павлович Игнатьев... Востоком канцлер А. М. Горчаков интересовался мало; поэтому в действиях своих Н. П. Игнатьев был почти полным хозяином. На всех событиях того времени отпечатлелась его личность, яркая и могучая. Политической деятельности он предавался

с увлечением, еще в полном цвету молодости, безбожных упований и неограниченного честолюбия. На всяком месте Н. П. Игнатьев явился бы выдающимся деятелем, — в Константинополе, где каждый человек на счету, он скоро приобрел преобладающее значение. Его называли: le vice-Sultan; да он и был им на самом деле: турецкие министры его боялись и были у него в руках.

Главною и неизменною целью игнатьевской политики было разрушение Турецкой империи и замена ее христианскими, предпочтительно славянскими народностями. Идеологическая окраска нашей политики отвечала после эмансипации охватившему Россию либеральному настроению и вместе с тем совпадала с politique des nationalités <политикой национальностей> наполеоновской Франции.

Умозрительным политиком Н. П. Игнатьев не был: с принципами и отвлеченностями он обращался довольно бесцеремонно. Политическому миросозерцанию его недоставало глубины, исторического чернозема. Однажды, по поводу болгарских церковных дел, советник А. И. Нелидов заметил, что православие Россия восприняла от Византии. “Совсем не от Византии, — возразил Н. П. Игнатьев, — а от славянских первоучителей Кирилла и Мефодия”» (*Карцов Ю. С.* За кулисами дипломатии. СПб., 1908. С. 4–5).

[15] *Архимандрит Макарий* (в миру — Михаил Иванович Сушкин; 1821—1889) — с 1853 г. духовник афонского Пантелеймонова монастыря, с 1868 г. - игумен. Значительно укрепил материальное положение монастыря, способствовал развитию издательской деятельности. См. леонтьевское «Воспоминание об арх. Макарии, игумене русского монастыря св. Пантелеймона на горе Афонской» (Гр. 1889. № 192, 193, 196, 207, 211. 243, 246). См. также: *Дмитриевский А.* Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности арх. Макария (Сушкина). М., 1895.

Иеромонах Иероним (в миру — Иван Павлович Соломенцев; 1803—1883) — духовник обители, проведший на Афоне 45 лет. Отличался властным, сильным характером.

[16] Основное сочинение Леонтьева по философии истории «Византизм и славянство» писалось летом и осенью 1873 г. и на Афоне и в Константинополе и вышло в свет в «Чтениях в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (М., 1875. III; отд. изд. — М., 1876). Работа была включена автором в 1-й том сборника «Восток, Россия и славянство» (1885). Леонтьев писал эту работу для МВ и даже получил от Каткова значительный аванс. Но, получив заказанные статьи, Катков испугался их резкости и отверг их. Объясняя суть этой самой значительной для него работы, Леонтьев писал о. И. Фуделю в письме от 10 июля 1891 г.: «...это слово “византизм” употреблено мною изо всех статей моих только в одной («Византизм и славянство»); опасаясь (тогда, в 72—73 г.) каких-то туманных и обманчивых либерально-славянских новшеств на старой греко-российской церковной почве, я захотел пояснее указать на то, что даже и помимо сферы личной веры того или другого из нас, православие (греками-византийцами развитое) имеет для России и культурно-государственное значение (просветительное, обособляющее и утверждающее). И только! После этого я нигде ни разу не говорил “византизм” (поищите-ка!), а всегда уже говорил “Православие”, “Самодержавие” и т. д., просто и как все».

[17] Под гностическим духовным типом Бердяев понимает такой тип верующей личности, для которой важно просветленным разумом мистически постигнуть тайны божественной жизни. Бердяев употребляет слово «гностический» не в узком смысле (как имеющий отношение к гностицизму, соперничавшему с ранним христианством II—III вв., проповедовавшему спасение через знание и имевшему демоническую космологию, особым образом решавшую проблему возникновения зла в мире), а в широком — как антитезу, с одной стороны, религиозному агностицизму, а с другой — рационалистическому натурализму, воплощением которого для Бердяева являлась схоластика. Для бердяевского понимания истинного гнозиса в противовес лжеименному важна глава «Теософия и гнозис» в кн. «Философия свободного духа» (М., 1994. С. 175–194).

[18] Основателем субъективной школы в социологии считают публициста-народника Н. К. Михайловского (1842—1904), выразившего в своем сборнике «Борьба за индивидуальность» и в других сочинениях своеобразную концепцию эстетического персонализма, основанную на праве личности жить и оценивать мир по своему представлению об идеале: этическая оценка является для Михайловского главной и определяющей в отношении человека к миру и человеческой деятельности. Сходные идеи высказывались К. Д. Кавелиным (1818—1885), П. Л. Лавровым (1823—1909), Н. И. Кареевым (1850—1931). Оценке этого направления Бердяев посвятил свою первую книгу «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Михайловском» (СПб., 1901).

[19] *Местр* Жозеф де, граф (1753—1821) — католический философ, страстный противник Французской революции. Разуму, столь ценимому философами и идеологами революции, противопоставлял здравый смысл, веру, интеллектуальную интуицию. Считал, что история движима Провидением и папа с Римской Церковью будут противостоять революционным идеям. В 1802—1807 гг. — сардинский посол в Санкт-Петербурге, где он общался с Александром I и высшим обществом. Автор трехтомного сочинения «Вечера в Санкт-Петербурге, или Беседы о мирской власти Провидения» (1821).

К французской контрреволюционной католической школе относятся также идеологи Реставрации граф Луи де Бональд (1754—1840) — философ, считавший общественную природу человека результатом божественного установления и отстаивающий единство гражданского и религиозного общества, которое поддерживается монархией, и Пьер Симон Балланш (1776—1846) — автор незаконченной работы по философии истории «Опыт общественной палигенесии», в основе которой лежит оригинальное учение об искуплении.

[20] Наиболее полное издание переписки Жозефа де Местра составило 9–14-й тома его Полного собрания сочинений: Correspondance de J. de Maistre. Lyon: Vitte et Perrussel, 1884—1886. 6 v.

[21] *Карлейль* Томас (1795—1881) — английский публицист и философ, романтик, находившийся под влиянием Гете, Шиллера, Гофмана, считавший, что историю творят герои. Историк Французской революции.

[22] *Блуа* Леон (1846—1917) — французский писатель. Придя в Париж молодым и бедным, он попадает в литературную среду и знакомится с Барбье д'Оревильи, который обращает его в католичество, Гюисмансом,

впоследствии ставшим его врагом, Вилье де Лиль-Аданом, П. Верленом. Его необычный язык, резкость его критических статей обеспечивают ему множество недоброжелателей и создают «заговор молчания», на который, как и Леонтьев, он жаловался всю жизнь. Главная тема его творчества — обличение буржуазного материализма, страсти к деньгам, безбожия, а также утешение мыслью о том, что «Бог готовится обновить все вещи и что совершение этого апокалиптического пророчества близко» («Размышления отшельника», 1916).

[23] Книга Освальда Шпенглера «Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte » (1918. Bd 1; 1922. Bd 2) <Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории> (рус. пер. I-го тома — 1923 г.) явилась отнюдь не первым, но наиболее ярким в европейской культуре, вышедшим в свет в канун поражения Германии в первой мировой войне, опытом органической интерпретации исторического процесса как совокупности изоморфных в своем развитии, локальных культурно-исторических циклов. Книга «Освальд Шпенглер и Закат Европы» (1922) — русский отклик на 1-й том, куда вошли статьи Бердяева, Букшпана, Степуна и Франка, послужила формальным поводом для высылки большой группы деятелей культуры за пределы России.

[24] *Траппист* — монах ордена траппистов, созданного монахом-цистерцианцем аббатом де Рансе в 1636 г. Для этого ордена характерны строгие аскетические правила, включая обет молчания, короткий сон, постоянные размышления о смерти. Одеяние траппистов состояло из деревянных башмаков, рясы с капюшоном и веревки.

[25] Бердяев имеет в виду книгу немецкого социолога-неокантианца и философа культуры Георга Зиммеля (1858—1918) «Ueber sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen» (Leipzig, 1890). <Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования> (рус. пер. Н. Н. Вокач и И. А. Ильина под ред. и с предисл. Б. А. Кистяковского. М., 1909). В центре этой книги — проблема взаимоотношения в обществе дифференцированных социальных групп, которая, по мнению Зиммеля, и является основной проблемой социологии, остающейся безразличной к конкретному содержанию общества. Дифференциация общества, образование партий, религиозных и военных групп совершаются в истории по принципу социальной экономии сил. Органический подход к обществу и интерес к динамике общественных форм сочетаются у Зиммеля с принципиальным отрицанием возможности социологического закона как такового.

[26] *Риккерт* Генрих (1863—1936) — немецкий философ, один из основателей баденской школы неокантианства. В своей классификации наук подразделял их на естественные (номотетические), открывающие общие законы, или априорные правила науки, и науки о культуре и истории (идеографические), описывающие единичные и неповторимые события.

[27] *Иеромонах Климент Зедергольм* (в миру — Густав Адольф Зедергольм, после принятия православия Константин Карлович; 1830—1878) — сын протестантского пастора, доктора философии, в 1853 г. принял православие, участвовал как переводчик и редактор в изданиях Оптиной пустыни, в 1862 г. поступил туда послушником, затем был рукоположен в иеродьякона, иеромонаха. Был близок к старцу Амвросию. Автор ряда сочинений

по религии и диссертации о Катоне Старшем. С 1874 г. до своей внезапной смерти от воспаления легких в апреле 1878 г. был духовником Леонтьева. Леонтьев — автор единственной книги о нем: «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни» (1882). После его кончины Леонтьев продолжал наездами бывать в Оптиной пустыни, исповедуясь у старца Амвросия. Окончательно он переселился в Оптину в 1887 г.

[28] *Колышко* Иосиф Иосифович (1861—1938) — литературный критик, начавший свою карьеру в Гр. в середине 80-х гг. В 90-е гг. вел там рубрику «Маленькие мысли», в которой касался социально-этической проблематики. Впечатления от знакомства с К. Н. Леонтьевым изложил в книге «Маленькие мысли» (1900. Т. I; всего вышло 3 т., 1900—1903). Автор нескольких романов и комедий, ставившихся в Малом театре, Колышко снискал славу политического авантюриста, беспринципного махинатора, выступавшего под разными псевдонимами в газетах разных направлений. Был доверенным лицом С. Ю. Витте и вел переговоры с немцами о сепаратном мире. В мае 1917 г. был арестован по подозрению в шпионаже. Умер в эмиграции.

[29] В двух выпусках сборника Вл. С. Соловьева «Национальный вопрос в России» собрано 15 статей, написанных философом в 1883—1891 гг. и посвященных идее соединения церквей и христианской миссии России в мировоим историческом процессе, критике славянофильской и националистической идеологии. Соловьевская публицистика 80-х гг. ознаменовала его окончательный отход от славянофильского лагеря (большинство статей 2-го выпуска печаталось в либерально-западническом «Вестнике Европы») и характеризовалась подчас чрезмерной, неоправданно резкой полемичностью. Утверждение Бердяева о том, что это единственная книга Соловьева, получившая признание и оценку, представляется неаргументированным.

[30] *Серафим Саровский* (в миру — Прохор Исидорович Мошнин; 1759—1833) — святой Русской Православной Церкви, особо почитаемый в народе. Под «белым» христианством Бердяев, видимо, разумеет благодатное откровение полноты Святого Духа в подвиге св. Серафима, ведь белый цвет в православии символизирует Святой Дух. См. о св. Серафиме: *Архиеп. Серафим* (Чичагов). Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря: В 2 т. СПб., 1903; *Нилус С. А.* Великое в малом. Записки православного. Сергиев Посад, 1911; *Ильин В. Н.* Преподобный Серафим Саровский. 4-е изд. М. Б/г.

[31] Точнее: mysterium tremendum et fascinosum — вызывающая трепет и восхищающая тайна (*лат.*). Термин употреблен Р. Отто в книге «Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Gottlichen und sein Verhältnis zum Rationalen <Священное. О иррациональном в идее божественного и его отношении к рациональному> (Бреслау, 1917).

Отто Рудольф (1869—-1937) — немецкий историк религии и философ, ставящий в центр своего феноменологического анализа религии понятие священного, которое открывается человеку как несказанное и невыразмое чувство иррационального и приобретает впоследствии, при формировании идеи божественного, рациональное, понятийное содержание.

[32] *Федоров* Николай Федорович (1828—1903) — русский религиозный мыслитель, библиотекарь Румянцевского музея, в проекте «общего дела»,

выдвинувший идею регуляции природы, которая должна привести к воскрешению отцов и осуществить тем самым, по его мнению, главную задачу христианства. В его «Философии общего дела» (при жизни вышли 2 т., 1906, 1913) совместились позитивистские и христианские идеи.

[33] *Филарет Московский* (в миру — Василий Михайлович Дроздов; 1782—1867) — митрополит, выдающийся проповедник и богослов, под началом которого был осуществлен полный перевод Священного Писания с церковно-славянского на русский язык. В эпоху Александра I принял активное участие в работе Библейского общества. В 1823 г. составил Православный катехизис, который по выходе был изъят из продажи из-за того, что текст ряда молитв был напечатан по-русски. В 1827 г. катехизис был переиздан. В 1861 г. митрополит Филарет составлял манифест об освобождении крестьян. Русской Православной Церковью причислен к лику святых.

«Катехизисом» русского философа-славянофила А. С. Хомякова (1804—1860) Бердяев называет, по-видимому, его богословское сочинение «Церковь одна», которому Ю. Ф. Самарин, включивший его во 2-й том Собрания сочинений Хомякова, дал произвольное заглавие «Опыт катехизического изложения учения о Церкви». На наличие в хомяковском богословии протестантских элементов указывал, например, о. П. Флоренский в брошюре «Около Хомякова» (1916). Бердяев резко разошелся в этом с Флоренским, упрекнув его в отрицании свободолюбия в православии и назвав эту книгу-рецензию скандалом.

[34] *Никанор Одесский* — см. примеч. 7 к статье Г. И. Замараева в книге 1 наст. изд.

Амвросий Харьковский (в миру — Алексей Иосифович Ключарев) — архиепископ Харьковский с 1882 г., духовный писатель, автор книги «Живое слово» (1882) о церковной проповеди, в разное время редактировал богословские журналы «Душеполезное чтение», «Вера и разум».

[35] *Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824—1887) — публицист, близкий к славянофильскому лагерю, издатель и один из основных авторов газеты «Современные известия». Полагал, что в историческом православии идея христианства не развилась еще во всей своей полноте.

[36] *Пашковская вера*. Религиозная секта пашковцев, близкая к протестантству, была учреждена в 1867 г. гвардии полковником В. А. Пашковым под воздействием проповедей английского лорда Редстока. Своеобразна его трактовка искупления: он считал, что человек своими делами бессилен достичь спасения. Спасение совершилось на кресте, и все уверовавшие во Христа спасены. Члены секты распространяли книги Священного Писания и духовно-нравственную литературу. В 1884 г. «общество» было закрыто Высочайшим повелением.

[37] «Философский словарь» Вольтера (1694—1778) был анонимно опубликован в 1764 г. в Женеве и неоднократно переиздавался при жизни Вольтера с новыми дополнениями. Был приговорен к сожжению судами Женевы и Парижа, папской курией включен в «Индекс запрещенных книг» за богохульство и подрыв авторитета монархии. Вольтер до конца жизни отрицал свое авторство.

[38] *Иеромонах Анатолий* (1822—1894) — с 1874 г. скитоначальник и духовник братии Оптиной пустыни.

[39] *Монофизитство* — христианская ересь, известная с V в., сутью которой является утверждение о том, что во Христе наличествует одна природа — божественная, а не соединение двух — божественной и человеческой. Тот же упрек в монофизитстве адресует Леонтьеву А. В. Карташев: «По сравнению со свободомыслящим, но халкидонцем — Соловьевым ультраортодоксал Леонтьев фактически оказался ревнителем монофизитского богословия» (Вселенские соборы. М., 1994. С. 293).

П. Б. Струве

Константин Леонтьев

Впервые: газета «Возрождение». 30 мая 1926 г. № 362. С. 2–3. Публикуется по: *Струве П. Б.* Дух и слово. Статьи о литературе. Париж, 1981.

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — в 90-е годы XIX в. один из лидеров «легального марксизма», глава «критического направления» в марксизме, отстаивавший идею эволюционного развития общества, автор первого манифеста РСДРП. В начале 900-х годов участвует в журнале «Мир Божий», является инициатором сборника «Проблемы идеализма». За границей редактирует журнал «Освобождение» (1902—1905 гг.), один из создателей «Союза освобождения», член ЦК партии кадетов (с 1906 г.). Борется за политические реформы, ограничение самодержавия, принятие конституции и создание правового государства. Член II Государственной думы от кадетской партии (1907 г.). Участник сборника «Вехи» (1909), принимает участие в деятельности Религиозно-философского общества (1909—1913 гг.). Защищает магистерскую (1913 г.) и докторскую (1916 г.) диссертации по политэкономии, в 1917 г. становится академиком Российской Академии наук. После ноября 1917 г. принимает участие в организации Добровольческой армии в Новочеркасске, становится инициатором издания сборника «Из глубины» (1918), в 1919—1920 гг. — член врангелевского правительства в Крыму. В эмиграции издавал «Русскую мысль», редактировал газеты «Возрождение», «Россия», в 1926 г. председательствовал на Зарубежном съезде, призванном объединить правые и монархические силы. С 1930 по 1943 г. живет в Белграде, являясь председателем Отделения общественных наук Русского научного института, отходит от политической деятельности. В 1941 г. был арестован немцами, выпущен после трехмесячного заключения. Последние два года жил в Париже.

Георгий Иванов

Страх перед жизнью
Константин Леонтьев и современность

Впервые: газета «Сегодня». Рига. 28 сент. 1932 г. № 286. С. 2–3. Печатается по: Континент. 1993. № 77. С. 240–247.

Иванов Георгий Владимирович (1894—1958) — поэт, мемуарист. Начал литературные занятия как эгофутурист, сблизившись с И. Северяни-

ным, затем с акмеистами, был завсегдатаем «Бродячей собаки», участвовал в Первом и вместе с Г. Адамовичем возглавля Второй, был деятельным членом Третьего «Цеха поэтов» и секретарем Союза поэтов (1920—1921 гг.). Выпустив до своего отъезда из России сборники стихов «Отплытие на остров Цитеру» (1912), «Вереск» (1916), «Сады» (1921), «Лампада» (1922), приобрел репутацию тонкого стилиста, «безупречного» поэта, в стихах которого, по словам А. Блока, «как будто вовсе нет личности». Настоящего расцвета поэтический талант Г. Иванова достиг в эмиграции, куда он вместе со своей женой И. Одоевцевой отбыл в октябре 1922 г. В сборниках «Розы» (1931), «Стихи. 1943—1958» чувство боли от утраты родины соединяется с особым лирическим настроением, сочетающим психологическую утонченность и восходящим к тютчевскому космизму. Автор мемуарных очерков «Петербургские зимы» (Париж, 1928; 2-е изд. — Нью-Йорк, 1952).

Свящ. Кирилл Зайцев

Любовь и страх
(Памяти Константина Леонтьева)

Печатается по: *о. Кирилл Зайцев*. К познанию православия. Шанхай, 1948. С. 103–157.

Священник Кирилл Зайцев [с 1954 г. архимандрит Константин (Зайцев), в миру — Кирилл Иосифович Зайцев; 1887—1975] окончил экономическое отделение Петербургского политехнического института и юридический факультет Петербургского университета. Покинув Россию с Белой армией, работал приват-доцентом русского юридического факультета в Праге. Редактировал в 1928—1934 гг. еженедельник П. Б. Струве «Россия и славянство». В 1936—1938 гг. — профессор политической экономии в Харбине. В 1945 г., в Пекине рукоположен во священство, а в 1949 г., после смерти жены, принял в Джорданвилле монашеский постриг. В 1954 г. возведен в сан архимандрита. Руководил журналом «Православная Русь» (1950—1975 гг.) — органом Русской Православной Церкви за рубежом. Профессор пастырского богословия и русской литературы в Свято-Троицкой духовной семинарии. Автор фундаментальных трудов: «Пастырское богословие» (Джорданвилль, 1960—1961. Т. I–II); «Лекции по истории русской словесности» (Джорданвилль, 1967—1968. Т. I–II); сборника статей «Чудо Русской Истории» (Джорданвилль, 1970). Републикацию статей арх. Константина, см.: Литературная учеба. 1993. № 1; 1994. № 2.

Ю. П. Иваск

Константин Леонтьев (1831—1891).
Жизнь и творчество

Впервые: Возрождение. 1961. № 118; 1962. № 121, 124–131; 1963. № 133–140; 1964. № 146–151. Печатается по: *Иваск Ю. П.* Константин Леонтьев (1831—1891). Жизнь и творчество. Берн; Франкфурт-на-Майне, 1974.

Иваск Юрий Павлович (1907—1986) — автор самой обстоятельной на сегодняшний день книги о Леонтьеве и приложенной к ней леонтьевской библиографии (доведенной до 1972 г. и наиболее полной из опубликованных, хотя отнюдь не исчерпывающей все материалы) — родился в Москве 13 ноября 1907 г. Его мать была из именитого московского купеческого рода (последнюю книгу стихов, которую он не успел опубликовать при жизни, Иваск озаглавил «Я — мещанин»). Учился в Эстонии, на родине отца, окончил юридический факультет Тартуского университета. Ушел из Эстонии пешком, вслед за отступавшими немцами. Вместе с поэтом Игорем Чинновым добрался до Гамбурга, где изучал философию в университете. В это время у него возникает серьезный интерес к творчеству Леонтьева. В 1949 г. он переезжает в Америку и в 1954 г. защищает в Гарварде докторскую диссертацию «Князь П. А. Вяземский — литературный критик». Его книга о Леонтьеве публиковалась первоначально в журнальном варианте в «Возрождении», отдельным книжным изданием она вышла в Берне в 1974 г. Преподавал в Канзасском, Вашингтонском и Вандербильтском университетах, читал лекции во Фрейбурге. Иваск — один из самых ярких поэтов русской Америки. Еще в молодости его заметила Марина Цветаева, сказавшая ему: «В Вас двое — стихолюб и архивист». В качестве поэта и литературного критика Иваск часто выступал на страницах «Нового журнала», «Опытов», «Воздушных путей», «Гнозиса», «Вестника РСХД». В 1973 г. он напечатал в «Возрождении» важную для характеристики его мировоззрения поэму «Играющий человек» (№ 240–242), в которой автобиографические строки и посвящения живым и ушедшим друзьям сочетаются со своеобразной философией культуры, согласно которой культура рождается вовсе не из необходимости, а из детской потребности человека в игре (в современной западной философии эту идею разрабатывал И. Хейзинга), а также культура освящается религией, а сама творческая деятельность человека становится религиозным актом, ведущим к теозису, обожествлению человечества. Иваску было близко учение Оригена об апокатастазисе, восстановлении всех, всеобщем очищении и искуплении, которое совмещалось в его сознании с учением восточных отцов о теозисе. В поэме предстает картина всеобщего ликования в раю, где люди и животные поют на языке, напоминающем сразу и первобытные возгласы мексиканских индейцев, и язык русского поэтического футуризма. Иваск был страстно увлечен Мексикой и Византией, ездил на Афон, постигал дух афонского монашества и работал в монастырской библиотеке, готовя книгу о Леонтьеве. В последние годы интересовался русским сектантством, хлыстовством. Особо почитал блаженную Ксению Петербургскую и незадолго до смерти побывал в Ленинграде. В тексте своего «Последнего слова», так и не произнесеннного, он написал: «Я навсегда остался без русского пространства под ногами, но моей почвой стал русский язык и моя душа сделана из русского языка, русской культуры и русского православия».

Несмотря на разногласия в отношении к культуре вообще и к русскому религиозному Ренессансу в частности (с которым у него было немало общего), Иваск был дружен и переписывался с прот. Г. Флоровским, выдержки из писем которого к нему он напечатал (Вестник РХД. 1979. № 130. С. 42–53). Показателен интерес Иваска к В. В. Розанову, том сочинений которого он переиздал со своим предисловием в 1954 г. в Издательстве

им. Чехова. См. также его статью «Розанов и о. П. Флоренский» (Вестник РСХД. № 42. 1956).

Иваск издал несколько поэтических сборников: «Северный берег» (1938), «Царская осень» (1953), «Хвала» (1967), «Золушка» (1970), «Завоевание Мексики» (1984), «Повесть о стихах» (1986). Незадолго до смерти он начал печатать в «Новом журнале» цикл статей «Похвала русской поэзии» (1983. № 150; 1984. № 154, 156; 1985. № 158, 159, 161; 1986. № 162; 1987. № 166). Умер Ю. П. Иваск 13 февраля 1986 г. в Амхерсте (США).

Книга о Леонтьеве, написанная ярко, с литературным изяществом, сочетающая черты жанра исследования и биографического романа, может показаться чересчур субъективной и психологизированной. Леонтьев для Иваска, безусловно, эстет, так и не сумевший преломить своей гордыни и скрыть тогу Алкивиада под монашеским клобуком. Но автор сам признается в предисловии к своей книге, что Леонтьев для него больше, чем герой романа со всею вытекающею отсюда условностью черт: «Леонтьева я истолковываю в мифах Нарцисса, Алкивиада и евангельского Богатого Юноши, но, конечно, в эту мифологию он целиком не вмещается — и тем лучше: дроби человеческой личности часто существеннее круглых чисел, и дробям этим я уделяю больше внимания, чем единицам».

Впервые печатное обращение к Леонтьеву Иваск совершает, еще живя в Эстонии. В 1939 г. он публикует в парижском журнале «Новый град» под ред. Г. П. Федотова статью «Апология пессимизма. К. Леонтьев и Ницше» (№ 14. С. 89–100), а в 1974 г. в своем ответе А. И. Солженицыну «Что Леонтьев чтил, ценил, любил» (Вестник РХД. № 123) Иваск, определяя свое отношение к Леонтьеву (и внося в его оценку черты собственного исторического оптимизма), дает его в виде формулы-афоризма: «Леонтьев — выдающийся представитель великой контрреволюции XIX века, которая защищала: качество от количества; даровитое меньшинство от бездарного большинства; яркую мысль от серой массы; дух от материи; природу от техники; истину от рекламы и пропаганды; творческую свободу от плутократии и бюрократии; искусство от прессы… Если будет XXI век (Алданов думал, что его не будет) — нераздробленный, разоружившийся, цветущий, свободный, праздничный — и еще не перестанут читать книги, — Леонтьев может возродиться, зазвучать, и новое “прекрасное человечества”, о котором он всегда мечтал, найдет в нем собеседника, друга, даже мудреца. Правда, будущее рисовалось ему в самых мрачных красках, но, вопреки всем приступам отчаяния, он оставался жизнелюбом и многое радовало его в нелюбимом им современном мире — чаще на Балканах, но и в России» (С. 180).

Рецензии на книгу Ю. П. Иваска: *Левицкий С.* — Новый журнал. Нью-Йорк, 1977. № 129; *Московитянин*. Новая книга о К. Леонтьеве // Вестник РХД. 1977. № 121; *Кобылин В.* — Голос Зарубежья. 1980. № 19.

Составленная Ю. П. Иваском библиография трудов К. Н. Леонтьева и отзывов о его творчестве (куда входят монографии и исследования, специально посвященные Леонтьеву, статьи о нем и отзывы на издания его сочинений в периодике, материалы мемуарного характера, упоминания о нем в различных источниках и т. д.) охватывает период с 1857 по 1972 г. Составители настоящего тома, решив сохранить библиографию как неотъемлемую часть книги Ю. П. Иваска, внесли ва нее, однако, ряд существенных изменений. Во-первых, купированы сделанные Иваском изложения

тех работ, которые включены в тома настоящего издания. Во-вторых, сделан ряд добавлений публикаций, не учтенных Ю. П. Иваском; все существенные дополнения к библиографии даются в угловых скобках. В-третьих, внесены исправления в названия статей, даты и места их публикации, годы жизни авторов, раскрыты некоторые псевдонимы — в тех случаях, когда удалось выявить ошибки в тексте ивасковской библиографии. Принцип оформления библиографических ссылок сохранен даже в том случае, когда это противоречит современным нормам. При всех изменениях библиография, несомненно полезная всякому исследователю леонтьевского творчества, отнюдь не исчерпывает со всей полнотой существующих источников и не отвечает требованиям, предъявляемым к научно составленной библиографии. Создание такого библиографического свода — дело будущего. Чтобы восполнить отсутствие у Ю. П. Иваска библиографических данных за период с 1972 по 1995 г., составителями приводится в Приложении I избранная библиография за этот период, за основу которой взята библиография, составленная С. Г. Бочаровым при участии Г. Б. Кремнева к статье С. Г. Бочарова «К. Н. Леонтьев» в третьем томе словаря «Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь» (М., 1994).

[1] Умопомешательство, букв.: вызывающее жалость состояние (*лат.*).

[2] Покинув старую колокольню моей деревушки, я отправился путешествовать (*франц.*).

[3] *Екатерининский институт* (другое название — Смольный институт) был основан указом Екатерины II в Смольном монастыре Санкт-Петербурга как первое государственное женское училище в России.

[4] Выдержки из «Старой записной книжки» П. А. Вяземского печатались автором в «Московском телеграфе», «Северных цветах», «Русском архиве» и «Девятнадцатом веке». Все опубликованное при жизни Вяземского вошло в VIII том Полного собрания сочинений (издание гр. С. Д. Шереметева. СПб., 1883). Неизданные книжки частично опубликованы в IX и X томах этого собрания (1884—1886). Опыт академического издания книжек за 1813—1848 гг. предпринят В. С. Нечаевой в серии «Литературные памятники»: *Вяземский П. А.* Записные книжки. М.; Л. 1963. Упоминаемое Иваском слово «сердечкин» в «Записных книжках» нами не обнаружено.

[5] Герб г-на Дурново и его ответ: Он был таков еще до знакомства с Вами (*франц.*).

[6] Она потухнет лишь вместе с жизнью (*франц.*).

[7] О, Луна! Задушевная подруга несчастных влюбленных (*франц.*).

[8] Надеюсь по возвращении видеть Вас совсем исправившейся (*франц.*).

[9] Прощай, дорогой! В добрый путь (*франц.*).

[10] «Творимая легенда» — название романа Ф. Ф. Сологуба, одного из наиболее ярких и спорных декадентских произведений. В журналах роман выходил под заглавием «Навьи чары» (Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник», 1907—1909) и «Дым и пепел» («Земля», 1912—1913), под единым заглавием опубликован в 18–20-м томах Собрания сочинений Ф. Ф. Сологуба (1914).

[11] Будем жить и дадим жить другим (*франц.*).

[12] Великолепный игрок, непобедимый дуэлянт, знатный спортсмен, знаток моды, острослов и интриган… Алкивиад следовал лишь одному путеводителю — частному интересу, избавляясь от угрызений совести и становясь над любым законом (*франц.*)

[13] *Библейское общество* — его Устав был учрежден в 1812 г. при деятельном участии Британского библейского общества. Первоначальной задачей Общества было распространение Библии среди иностранцев и инославных, но уже в 1814 г., приобретя статус Российского, оно приняло на себя издание и распространение славянской Библии и Нового Завета. Председателем Общества был обер-прокурор Св. Синода кн. А. М. Голицын. В 1816 г. Обществом было принято решение об издании русского перевода Библии, но вышел он лишь в 1858 г. Общество носило интерконфессиональный характер, важную роль в нем играли английские квакеры.

Пиетизм (от лат. pietas — благочестие) — религиозно-мистическое течение, возникшее в немецком лютеранстве в конце XVII — начале XVIII в. Пиетисты отвергали церковную обрядность и делали акцент на искренности веры, которой человек будет оправдан, на воспитании «внутреннего человека», внутреннем духовном созерцании. Влияние пиетизма на духовную жизнь России в начале XIX в. выражалось в преобладании в духовных школах «сердечного богословия» над моралистическим и рациональным истолкованием христианства, распространении книг западноевропейских мистиков Арндта, Эккартсгаузена и др.

[14] См. примеч. 33 к книге Н. А. Бердяева в наст. томе.

[15] Андрей Белый, создав в 1902 г. «Драматическую симфонию», открыл новый литературный жанр, по своей формальной композиции имеющий аналогии с музыкальными формами — симфонией, сонатой. В «Симфониях» Андрея Белого (всего их четыре) встречаются излюбленные культурой модернизма ницшевские темы «сверхчеловека», «вечного возвращения» и др. У Александра Блока дух музыки предстает силой, ниспровергающей культуру европейского гуманизма, силой, влияющей на ход истории (см. доклад «Крушение гуманизма», апрель 1919). В. В. Розанов говорит о музыкальности Ветхого Завета, в особенности Псалмов Давида, книги «Песни Песней», и об отсутствии музыки в христианстве, в Евангелии [см., например, «Апокалипсис нашего времени», гл. «Странность» (1918)].

[16] Музыка лица (*англ.*).

[17] Я дам плод ее чреву (*франц.*).

[18] Ты спрашиваешь, люблю ли я тебя?.. Ах! Я тебя обожаю… Но нет! Мне хотелось бы придумать другое слово (*франц.*).

[19] Она сыграла дурную шутку с бедным мальчиком (*франц.*).

[20] «…Но человек — прямой Нарцисс: всюду он рад видеть свое отражение; он точно фольга, которой готов устлать весь мир» (пер. А. В. Федорова); (*Гете И. В.* Родственные души. М.; Л., 1952. Ч. 1, гл. IV. С. 31).

[21] Неуловимая любовь, которую ты мне обещала / Проходит и, вздрогнув, разбивается, и улетает Нарцисс («Осколки Нарцисса») (*франц.*).

[22] *Бернарден де Сен Пьер* Генрих (1737—1814) — французский писатель, друг Ж.-Ж. Руссо, чьи идеи он упрощенно толковал в своих художе-

ственных произведениях. Известен своей идиллией «Поль и Виржиния» (1788), в которой прозвучали культурные и поэтические темы романтизма.

[23] *Солипсизм* — философское учение, признающее достоверным лишь существование мыслящего субъекта, а весь остальной мир рассматривающее как состояния или полагания его сознания. В последовательной форме солипсизм в истории философии практически не был выражен, но его элементы, в сочетании с объективно-идеалистическими предпосылками, имеются, например, у Дж. Беркли и И. Г. Фихте.

[24] В и для себя (*нем.*).

[25] Персонаж, от лица которого написан «Дневник лишнего человека» (1850) И. С. Тургенева (первая публикация — Отечественные записки. 1850. № 4).

[26] Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (*лат.*). По древнему мифу, богу Юпитеру приглянулась дочь финикийского царя Европа. Юпитер превратился в быка и похитил ее (или же послал за ней быка, доставившего Европу на о. Крит Юпитеру).

[27] Парвеню, выскочка (*франц.*).

[28] Ухоженные руки (*франц.*).

[29] Из гущи жизни загребайте прямо (пер. Б. Л. Пастернака) (*Гете И. В.* Фауст. Т. 1: «Театральное вступление»).

[30] Возможно, Иваск имеет в виду Правина из повести А. А. Бестужева-Марлинского «Фрегат “Надежда”» (1833).

[31] Комедия И. С. Тургенева «Месяц в деревне» была поставлена в Московском Художественном театре К. С. Станиславским в конце 1909 г. Весь спектакль, по отзывам критиков, был подчинен эстетической тональности «тонкого эстета» Ракитина, мастерски сыгранного Станиславским. Спектакль с большой лирической силой воскрешал на сцене поэзию ушедшего прошлого барских усадеб, делал акцент на красоте и благородстве внутреннего мира человека.

[32] *Руфь* и *Вооз* — персонажи ветхозаветной «Книги Руфи». Оставшись без мужа, Руфь становится женой его родственника Вооза.

[33] Ботанический сад (*франц.*).

[34] Мужчина (*греч.*).

[35] Плывем на Цитеру, или Ненадолго заглянем на Пафос (*франц.*).

[36] Цитата взята из стихотворения М. А. Волошина «Молитва о городе. (Феодосия весной 1918 года)» (*Волошин М.* Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М., 1991. С. 179).

[37] Две крайности (*франц.*).

[38] Любимое высказывание (*итал.*).

[39] Ап. А. Григорьев женился в 1847 г. на Лидии Федоровне Корш, после того как был отвергнут ее сестрой Антониной, в которую был безответно влюблен. Несмотря на то что у них родились два сына, супруги вскоре расстались. Аполлон Александрович Григорьев (1822—1864) — писатель и публицист, «почвенник», близкий к славянофилам, печатался в «Москвитянине», «Русском слове», сотрудничал во «Времени» братьев Достоевских. Неистовый и страстный, предтеча Леонтьева в эстетическом взгляде

на жизнь, он был, по мнению многих, прообразом Мити Карамазова в романе Достоевского.

[40] Тропарь утрени Великого Понедельника.

[41] Переводчик в русских консульствах на Востоке.

[42] Ничтожество... — А вы всего лишь жалкий европеец (*франц.*).

[43] Самоуправство (*франц.*).

[44] Выжженная Сиенская земля (*франц.*).

[45] В Константинополе жили католические священники — представители Ватикана. Приматом в католической Церкви обозначают высшее иерархическое положение папы римского, но здесь, по-видимому, это слово употреблено в ином, не выявленном нами смысле.

[46] Песнопение, исполняемое в православной Церкви на утрене.

[47] Любви нечего делать с тягостными и суровыми обязанностями брака (*франц.*).

[48] *Кельсиев* Василий Иванович (1835—1872) — публицист, политический эмигрант, один из деятелей революционного движения, переводчик на русский язык Моисеева Пятикнижья. В 1867 г. сдался русским властям, покаялся и стал сотрудничать в изданиях славянофильского и охранительного направления. См. о нем главу в «Былом и думах» А. И. Герцена (Т. 3, ч. 7, гл. II).

[49] Безделье (*итал.*).

[50] «Заря» — научно-литературный и политический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1869—1872 гг. под редакцией В. Кашпирева. Журнал был органом позднего славянофильства, в нем впервые была напечатана книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», сотрудничали Ф. М. Достоевский, М. П. Погодин, Н. Н. Страхов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. Ф. Писемский.

[51] Поверьте мне, дорогой мой консул, что русский и турок всегда скорее договорятся между собою, чем эти господа. Мы шире душою, великодушнее... (*франц.*).

[52] Собеседник (*франц.*).

[53] В этом французском выражении намеренно искажен ряд слов и словоупотреблений: Кто! Эта голова сделает все. Она пересечет... черт!.. как он у вас зовется... Гангес во главе иррегулярных войск и казаков. Клянусь именем Божиим!.. Это глава иррегулярных войск... Клянусь именем Божиим!.. Эта маленькая баядерка очень хороша. Ее фигурка совершенно канонична (*франц.*).

[54] Любовь (*др.-греч.*) По словам о. П. Флоренского, «ἀγαπᾶν указывает на любовь рассудочную, основывающуюся на оценке любимого и потому не страстную, не горячую и не нежную» (Столп и утверждение Истины. М., 1990. Т. 1. С. 397).

[55] *Добролюбов* Александр Михайлович [1876—1945(?)] — поэт-символист, ушедший в народ и обратившийся к сектантству, в 1906 г. образовал в Поволжье секту добролюбовцев. Учение его сводилось к отрицанию собственности, восхвалению нищего образа жизни, отрицанию книжной культуры, почитанию природы как одушевленного целого. Личность Добролюбова приковывала к себе внимание его прежних литературных соратников — Д. Мережковского, В. Брюсова, Вяч. Иванова и др.

[56] Даю, чтобы и ты мне дал (*лат.*).

[57] У Тертуллиана (ок. 160 — ок. 225), одного из крупнейших христианских богословов и латинских Отцов Церкви, это выражение звучит так: «anima naturaliter christiana» — «христианская по природе душа» (Apologeticum, 17, 6).

[58] *Святой Андрей Критский* (633—712) — архиепископ Крита, один из величайших церковных поэтов, автор Великого (Покаянного) Канона, читаемого Церковью в первые четыре дня Великого поста и на утрене в четверток пятой седмицы.

[59] *Антоний* (в миру — Алексей Павлович Храповицкий; 1864—1936) — митрополит Киевский, церковный писатель и богослов, глава Русской Православной Церкви за рубежом, Синод которой находился в Карловцах (Сербия), вышедшей из канонического подчинения Московскому патриархату. Оценку им творчества Ф. М. Достоевского см. в книге «Ф. М. Достоевский как проповедник возрождения», где собраны его труды разных лет о Достоевском (Монреаль, 1965).

Евлогий (в миру — Василий Семенович Георгиевский; 1868—1946) — архиепископ Волынский, сменивший на этой кафедре Антония Храповицкого, в эмиграции — митрополит, возглавлял Экзархат Западноевропейской епархии Вселенского Престола; под его духовным руководством действовали Свято-Сергиевский Богословский институт в Париже и РСХД. Автор воспоминаний «Путь моей жизни» (1947).

[60] Стихотворение Вл. С. Соловьева «Газели пустынь ты стройнее и краше...» — первое из посвященных С. П. Хитрово — написано в августе 1878 г. в Красном Роге, где Соловьев гостил в семействе Толстых. По словам Д. Н. Цертелева, выражение «Туранская Ева» обязано своим происхождением французскому критику Вогюэ, который жил в то время в Красном Роге и прозвал С. П. Хитрово «Eve Touranienne» [см. коммент. С. М. Соловьева к 6-му изд. «Стихотворений В. С. Соловьева» (М., 1915)].

[61] Всемогущество (*франц.*)

[62] Женщина высшего света (*франц.*).

[63] «Пари Паскаля» — это название получил следующий аргумент французского физика, философа и мистика Блеза Паскаля: «Между нами и Богом — бесконечность хаоса. Где-то на краю этой бесконечности идет игра, что выпадет — орел или решка. На что вы поставите? Разум говорит о равной вероятности орла и решки, однако, когда вмешивается “сердце”, становится очевидным, что, ставя “на решку” (означающую отсутствие Бога), мы теряем свою конечную жизнь, которая и так обречена, ставя же “на орла”, т. е. на существование Бога, мы можем выиграть “бесконечно счастливую бесконечную жизнь”» (*Паскаль Б.* Мысли // Библиотека всемирной литературы. М., 1974. Т. 42. С. 154).

[64] Приводим основные исторические работы указанных авторов и их русские переводы, которые могли быть известны К. Н. Леонтьеву

Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—1861). Всемирная история / Пер. под ред. Н. Г. Чернышевского. Т. 1–18. СПб., 1861—1869.

Гервинус Георг Готфрид. История девятнадцатого века от времени Венского конгресса / Пер. под ред. М. Антоновича. Т. 1–6. СПб., 1863—1888.

Вебер Георг (1808—1888). Всемирная история / Пер. В. Игнатовича и Н. Зуева. СПб., 1860. Кн. I; Всеобщая история. Т. 1–15. М., 1885—1893 / Пер. Андреева <Н. Г. Чернышевского>, В. Неведомского, Э. Циммермана; Курс всеобщей истории / Пер. с нем. Е. и В. Корша. Т. 1–4 (10 вып.). М., 1859—1861.

Прево-Парадоль Люсьен Анатоль (1829—1870): Prevost-Paradol Lucien Anatole. La France nouvelle. 2 ed. Paris, 1863 <Новая Франция>; Essais de politique et de litterature (1859—1863) <Очерки политики и литературы>.

Тьерри Амадей (1797—1873): Thierry Amédée. Histoire des Gaulois jusqu à la domination romaine (1828) <История Галлов до римского господства>; Histoire de la Gaule sous l'administration romaine (1840—1847) <История Галлии под властью римлян>.

Пихлер Алоисий (1833—1874): Pichler Aloys. Byzantinische Kirche (1864) <Византийская церковь>; Die Russische, Hellenische und die übrigen orientalischen Kirchen mit einem dogmatischen Theile (1865) <Русская, Греческая и остальные восточные церкви с их догматикой>.

Риль Вильгельм Генрих (1823—1897): Riel Wilhelm Henrich. Die burgerliche Gesellschaft (1851; рус. пер. — 1883) <Буржуазное общество>; Land und Leute (1853) <Страна и люди>.

Гобино Жозеф Артур де (1816—1882): Gobineau Joseph Artur de. Essai sur l'inégalité des races humaines (1853—1855) <Очерк о неравенстве человеческих рас).

Гизо Франсуа Пьер Гильом (1787—1874). История английской республики и Кромвеля (1649—1658) / Пер. под ред. А. Краевского и С. Дудышкина. СПб., 1860; История цивилизации в Европе от падения Римской империи до Французской революции / Пер. под ред. К. К. Арсеньева. СПб., 1860; История цивилизации во Франции с падения Западной Римской империи / Пер. под ред. М. Стасюлевича. СПб., 1861; позднее вышел пер. П. Г. Виноградова и М. Корсак. 1877—1881 Т. 1–4.

Маколей Томас Бабингтон (1800—1859). Полное собравние сочинений. Т. 1–16. СПб., 1860—1866. Основное его историческое сочинение: История Англии от восшествия на престол Иакова II // Полн. собр. соч. 1861—1865. Т. 6–13 / Пер. под ред. Душмина, Кулиша, Резенера, Н. Г. Чернышевского.

[65] *Бэр* Карл Максимович, фон (1792—1876) — русский естествоиспытатель, по происхождению прибалтийский немец, основатель эмбриологии, изучил эмбриональное развитие млекопитающих.

[66] *Рамбо* Альфред Николай (1842—1905) — историк-византинист. Сочинение, которое могло быть доступно Леонтьеву: *Rambeau A. N.* L'empire grec au dixième siècle: Constantin Porphyrogénète (1870) <Греческая империя в десятом веке: Константин Багрянородный>. Книга «Etudes sur l'histoire byzantine» <Исследования о византийской истории> вышла в свет лишь в 1912 г.

[67] *Движение исихастов* (священнобезмолствующих) возникло среди афонского монашества в XIV в. Во главе его стоял архиепископ Фессалоникийский св. Григорий Палама, произнесший в 1347 г. свои гомилии, в которых открывал учение исихазма всем верующим. В основе исихазма лежит духовно-аскетическая практика умной молитвы, совершаемой в чая-

нии узреть нетварный Фаворский свет, подобный тому свету, который изошел от Христа во время Преображения на горе Фаворской. Философским основанием исихазма является учение о божественных нетварных энергиях, неслиянных и нераздельных с Божеством, нетождественных божественной сущности, но через причастие их дающих возможность богопознания и обожения. Церковный Собор 1341 г. принял сторону Паламы в его спорах с византийскими гуманистами и аристотеликами, а Собор 1351 г. в Константинополе провозгласил анафему Варлааму и Акиндину, противникам Паламы, после чего исихазм окончательно стал церковно-признанным учением и оказал большое влияние на византийскую и русскую культуру.

Флорентийская уния — попытка соединения греческой и латинской Церквей, предпринятая на Феррарско-Флорентийском соборе в 1438—1439 гг. Под нажимом византийского императора Иоанна Палеолога греческие отцы уступили и подписали унию, признав вставку filioque в Символ веры. В числе подписавших унию был московский митрополит Исидор, впоследствии изгнанный за это из Москвы. Однако унию не подписал Марк Эфесский, вокруг которого объединились защитники православия. Вернувшись в Константинополь, греческие епископы отказались от нее, сославшись на принуждение.

[68] Тигель (*англ.*).

[69] Общество Гобино (*нем.*). Немецкий композитор Р. Вагнер (1813—1883) познакомился с «Опытом о неравенстве человеческих рас» весной 1881 г., в том же году Гобино провел несколько недель на вагнеровской вилле в Байрете. Итогом же споров явилась статья Вагнера «Язычество и христианство», в которой, расходясь с Гобино по оценке христианства и его роли в истории, Вагнер принимает его тезис об упадке человеческих рас в результате их смешения и о преимуществе белой (арийской) расы. Неизбежной необходимости эксплуатации низших рас Вагнер пытался противопоставить «обретение всеобщей моральной гармонии» [*Wagner R.* Samtliche Schriften und Dichtungen. Leipzig (Б/г.). Bd 10. S. 284–285].

[70] *Евразийство* — идейное и политическое течение в русской эмиграции, объединившее на первых порах экономиста П. Н. Савицкого, музыкального критика П. П. Сувчинского, богослова Г. В. Флоровского, лингвиста и этнографа Н. С. Трубецкого, выпустивших в августе 1921 г. сборник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев». К этому движению относились также философы Л. П. Карсавин, В. Н. Ильин. В программе евразийцев — установление в России автократического и идеократического (на основе идеологически понятого православия) государства, создание особой партии, сознающей идею миссии России в истории, основанной на тезисе об особом ее «месторазвитии». См. главу «К. Н. Леонтьев и евразийцы» в книге В. Зеньковского «Русские мыслители и Европа» (2-е изд. Париж, 1955). См. также: Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993.

[71] *Цертелев* Дмитрий Николаевич (1852—1911) — философ, поэт, друг Вл. С. Соловьева. Автор книг «Философия Шопенгауэра. Теория познания и метафизики» (1880), «Современный пессимизм в Германии. Очерк нравственной философии Шопенгауэра и Гартмана» (1885), «Спиритизм с точки зрения философии» (1885), «Эстетика Шопенгауэра» (1888) и т. д. В 1890—1893 гг. редактировал основанный им журнал «Русское обозре-

ние», в котором Леонтьев предполагал печатать работу «Письма В. С. Соловьеву о национализме культурном и политическом». Письма Леонтьева к Д. Н. Цертелеву по поводу подготовки этой не состоявшейся публикации см. в журнале «Начала» [1992. № 2. С. 74–78 (публ. А. П. Козырева)], сохранились также письма Д. Н. Цертелева Леонтьеву.

[72] Помни о смерти (*лат.*).

[73] Я пою, как птичка, живущая на ветке (*нем.*). Цитата из стихотворения И. В. Гете «Певец» (1783).

[74] Позор тому, кто дурно об этом подумает (*франц.*). Девиз английского ордена Подвязки.

[75] *Записки М. Погодина* — речь идет, по-видимому, о книге «Простая речь о мудреных вещах» русского историка и писателя М. П. Погодина (1800—1875). Этот сборник был задуман как своеобразный дневник для публичного чтения, собрание разрозненных заметок на философские, духовные и бытовые темы, текущих размышлений, не оформленных системно и не подчиненных академическим философско-богословским канонам.

Подъяческая Вульгата — афоризм, образованный, вероятно, самим Иваском от названия латинского перевода Священного Писания, наиболее авторитетного и канонически признанного в западной церкви, и названия сословия писцов-делопроизводителей приказной канцелярии в русском государстве XVI — начала XVIII вв.

[76] Натиск на Восток (*нем.*).

[77] Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) жил в доме № 55 по Арбату. В том же доме этажом ниже жила семья М. С. Соловьева. Дружба с его сыном С. М. Соловьевым нашла свое отражение в поэме А. Белого «Первое свидание» (1921), написанной как своеобразный поэтический отклик на «Три свидания» Вл. Соловьева. О видении Сереже Соловьеву зари в имении Дедово в 1905 г. А. Белый пишет в «Воспоминаниях о Блоке» (Эпопея № 2, М.; Берлин, 1922—1923. С. 259).

[78] *Алексий* (в миру — Сергей Владимирович Симанский; 1877—1970) — патриарх Всея Руси (1945—1970), в конце 80-х — начале 90-х годов учился в Московском катковском лицее, в 1898 г. окончил юридический факультет Московского университета и в 1904 г. — Московскую Духовную академию.

Каносса — замок в Северной Италии, где в 1077 г. отлученный от Церкви и низложенный германский император Генрих IV вымаливал прощение у своего противника римского папы Григория VII. Ю. П. Иваск намекает на сотрудничество патриарха с безбожной властью, восстановление патриаршества после посещения местоблюстителем патриаршего престола Сергием и митрополитом Алексием Сталина в 1943 г.

[79] Слова, написанные таинственной рукой на стене царского чертога Валтасара (ветхозаветная книга пророка Даниила): «И вот, что начертано: МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН. Вот и значение слов: МЕНЕ — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; ТЕКЕЛ — ты взвешен на весах и найден очень легким; ПЕРЕС — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (Дан. 5 : 25–28).

[80] Дом, перед которым полей простор открывается взору (пер. с лат. Н. С. Гинцбурга) (*Гораций*. Послания. Первая книга, 10, 23).

[81] Туалетная вода (*франц.*).

[82] Знатность обязывает... опыт обязывает, влияние обязывает, религия обязывает, положение обязывает, репутация обязывает (*франц.*).

[83] *Папарригопуло* Константин (1842—1905) — греческий историк. Во французском переводе при жизни Леонтьева появились следующие его монографии: Les évolutions de l'histoire grecque à notre époque. Athènes (1879) <Ход греческой истории в наше время>; Histoire de la civilisation hellinique. Paris, 1878 <История греческой цивилизации>.

Рамбо Альфред — см. примеч. 66 к наст. работе.

[84] Не что иное, как поэтическая химера (*франц.*).

[85] См. книгу писателя-экзистенциалиста Альбера Камю (1913—1960) «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде», главу «Кириллов» (см. в рус. пер.: *Камю Альбер*. Бунтующий человек. М., 1990).

[86] «Старые годы» — ежемесячник для любителей искусства и старины, выходивший в 1907—1916 гг. при Кружке любителей русских изящных изданий. Основателем журнала был В. А. Верещагин, издателем и с 1908 г. главным редактором — П. П. Вейнер. В журнале сотрудничали А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарь, С. П. Дягилев; публиковались статьи по вопросам отечественного и зарубежного искусства.

[87] *Ранке* Леопольд фон (1795—1886) — немецкий историк, автор книги «История романских и германских народов» (1824), установившей на долгое время принципы исторической науки для анализа переходной эпохи от средних веков к Возрождению. В своем предсмертном труде «Мировая история» (1881—1889) пытался доказать идею единства исторического развития народов на всемирно-исторической основе.

[88] Книга Вл. С. Соловьева «La Russie et l'Eglise Universelle» вышла на французском языке в Париже в 1889 г. и была в России запрещена духовной цензурой. В этой книге, написанной с прокатолических позиций, Соловьев отстаивал примат апостола Петра и римского папы как его преемника, излагая свои теософские воззрения, философски оправдывал filioque. Леонтьев просит К. А. Губастова прислать ему эту книгу в письме от 5–7 июня 1889 г. (см.: Избранные письма... С. 463). В письме к нему же от 17 августа 1889 г. он пишет: «Я согласен с Вами, что книга "La Russie et l'Eglise Universelle" слабее других его трудов, но все-таки в ней, особенно для религиозного человека, есть прекрасные и потрясающие страницы. Его критика наших синодальных порядков очень похожа на истину...» (Там же. С. 469). Критически Леонтьев высказывается о книге Вл. Соловьева в письме о. И. Фуделю от 4 декабря 1890 г.: «Вы не знаете, например, что он говорит против Синода нашего, даже и против Восточной Церкви вообще, в своем французском сочинении "La Russie et l'Eglise Universelle". В высшей степени дерзко даже. Но мы с Вами люди "православные"; пусть он "дерзает", как хочет, пусть за это отвечает перед Судом Божиим, как знает. Мы же с Вами должны чтить и ту, быть может и весьма несовершенно организованную, церковную власть, которую нам дал Господь (т. е. Синод)».

[89] Нет сомнений, что Леонтьев читал изданную в 1886 г. в Загребе по-русски «Историю и будущность теократии» Вл. Соловьева. См., например, письмо к К. А. Губастову от 5–7 июня 1889 г.: «Эд. ф. Гартману — далеко до него, Соловьева, во-первых, потому, что диалектика Соловьева гораздо увлекательнее и яснее, чем у него (его «История теократии библейской» —

верх блеска и ума!)» (Избранные письма... С. 463); к о. И. Фуделю от 24–31 января 1891 г.: «Жаль, что Вы не знакомы с той частью "Теократии" Соловьева (изданной за границей), где он объясняет как характер Авраама, Исаака и Иакова, так и отношение Божьей воли к этим характерам их. Я ничего подобного не читал в этом роде! И до чего хомяковский туман против этого слаб, я выразить не могу» (Там же. С. 545).

[90] *Хворостинин* Иван Андреевич (?—1625), князь — автор труда «Словеса дней и царей и святителей Московских, еже есть в России». Был окольничьим и кравчим в 1606 г. при дворе Лжедмитрия I, за что был сослан, после чего был воеводою во Мценске и Переяславле-Рязанском. Выражал недовольство строем московской жизни, заводил у себя латинские книги, проявлял показной интерес к католичеству, запрещал своим крестьянам ходить в храм. Вторично был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь; покаявшись, принял перед смертью монашество.

[91] *Печерин* Владимир Сергеевич (1807—1885) — классический филолог по образованию, в 1836 г. навсегда покинул Россию, некоторое время пытался наладить связь с революционерами, но в 1841 г. стал монахом-редемптористом, приняв в 1843 г. священнический сан. В 1848 г. был лишен российского подданства. В 1861 г. порвал с редемптористами и разочаровался в католичестве. Окончил жизнь в приюте в Ирландии. Автор воспоминаний «Apologia pro mia vita» (Замогильные записки).

[92] *Адамович* Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, переводчик, критик русской эмиграции, жил в Париже. См. его статью «Мракобесие» (Новое русское слово. 1957. 19 мая).

[93] Душка (*франц.*).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ЗА 1972—1995 гг.

I. СОЧИНЕНИЯ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
(публикация ранее не издававшихся текстов)

КТО ПРАВЕЕ? ПИСЬМА К ВЛАДИМИРУ СЕРГЕЕВИЧУ СОЛОВЬЕВУ.

Письмо третье. Революция по г. Астафьеву и революция по-моему // Наш современник. 1991. № 12.

Письмо четвертое // Новый журнал. Нью-Йорк, 1992. № 188 (публикация Г. Б. Кремнева).

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ДОНЕСЕНИЯ:

Записка о необходимости литературного влияния во Фракии. 20 октября 1865 г. Адрианополь. Донесения от 4 апреля 1867 г. (2 донесения), от 2 мая 1867 г. Все — Адрианополь // Русия и българското национално-освободително движение. 1856—1876. Документи и материали. Т. П. Януари. 1864 — май 1867. София, 1990 (документы № 102, 230, 231, 249).

II. ПИСЬМА К. Н. ЛЕОНТЬЕВА

К кн. Д. Н. Цертелеву. 1890—1891 (6 писем) // Начала. 1992. № 2 (публикация А. П. Козырева).

Избранные письма. 1854—1891. СПб., 1993 (публикация и составление Д. В. Соловьева). Наряду с ранее опубликованными ряд писем публикуется впервые, в частности письма, адресованные И. С. Аксакову, Н.Н. Страхову, К. Н. Бестужеву-

Рюмину, П. Мериме, гр. Н. П. Игнатьеву, В. В. Леонтьеву, П. М. Леонтьеву, кн. К. Д. Гагарину, Н. Я. Соловьеву, Вс. С. Соловьеву, В. Г. Авсеенко, М. В. Леонтьевой, О. А. Новиковой, Г. И. Замараеву, Е. П. Леонтьевой, И. И. Фуделю, В. М. Эберману, Л. И. Раевской, Э. К. Вытропскому, Н. А. Уманову, кн. Е. А. Гагариной и др.

III. ПЕРЕИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
(указываются только книжные републикации)

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 т. Analecta Slavica, 1975 (репринтное переиздание первых томов СС).

ЕГИПЕТСКИЙ ГОЛУБЬ. Роман, повести, воспоминания / Сост., вступ. статья и коммент. В. А. Котельникова. М., 1991.

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ. Цветущая сложность / Сост., вступ. статья и коммент. Т. М. Глушковой. М., 1992.

ЗАПИСКИ ОТШЕЛЬНИКА / Сост., вступ. статья и примечания В. Кочеткова. М., 1992.

ИЗБРАННОЕ / Сост., вступ. статья И. Н. Смирнова. М., 1993.

К. ЛЕОНТЬЕВ, НАШ СОВРЕМЕННИК / Сост., вступ. статьи Б. Адрианова, Н. Мальчевского. СПб., 1993.

ПИСЬМА К ВАСИЛИЮ РОЗАНОВУ / Вступ. статья Б. А. Филиппова. Лондон, 1981.

РОССИЯ ГЛАЗАМИ РУССКОГО. СПб., 1991.

ВИЗАНТИЗМЪТ И СЛАВЯНСТВОТО: Писмата на един отшелник: Русите, гърците и южните славяни: Опит за нац. психология. София: Славика, 1993.

IV. МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА

Формулярный список К. Н. Леонтьева о службе цензора Московского цензурного комитета, статского советника Леонтьева // История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Т. II–III. М., 1992 / Публ. и примеч. А. П. Николаева (Российский архив).

V. СТАТЬИ И УПОМИНАНИЯ О ЛЕОНТЬЕВЕ

Гайденко П. П. Наперекор историческому процессу (Леонтьев — литературный критик) // Вопросы литературы. 1974. № 5.

Голосенко И. А. К. Н. Л. // Социологическая мысль в России. Л., 1978.

Бочаров С. Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике (Л. о русской литературе) // Контекст-1977. М., 1978.

Бочаров С. Г. Эстетический трактат Л. // Вопросы литературы. 1988. № 12.

Бочаров С. Г. «Ум мой упростить я не могу» // Литературная газета. 1991. 18 дек.

Бочаров С. Г. Леонтьев К. Н. // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994.

Ильин В. Н. Арфа Давида. Религиозно-философские мотивы русской литературы. Т. I: Проза. Сан-Франциско, 1980.

Губанков Н. Н. К истории борьбы эстетизма с техницизмом в буржуазной культурологии // Искусство в системе культуры. Л., 1981.

Авдеева Л. Р. Философско-методологические аспекты консервативной социологии Л. // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1981. Вып. 9.

Авдеева Л. Р. Проблема «Россия и Европа» в воззрениях Н. Я. Данилевского и К. Н. Л. // Вестник МГУ. Сер. 7: Философия. 1982. № 3.

Авдеева Л. Р. К. Н. Л.: пророк или «одинокий мыслитель»? // Социально-политический журнал. 1992. № 8.

Гальцева Р. П., Роднянская И. Б. Раскол в консерваторах // Неоконсерватизм в странах Запада. М., 1982. Ч. 2.

Рабкина Н. А. Антигерой Достоевского и штрихи реальной истории // Известия ОЛЯ. 1984. № 4.

Рабкина Н. А. Византизм К. Л. // История СССР. 1991. № 6.

Рабкина Н. А. Литературные уроки (Тургенев и Леонтьев — история взаимоотношений) // Вопросы литературы. 1991. № 4.

Бажов С. И. Некоторые аспекты проблемы культурно-исторического самоопределения России в творчестве К. Н. Л. // Актуальные проблемы истории русской философии XIX в. М., 1987.

Лиливяли Н. В. К вопросу о сущности консервативного общественного идеала К. Н. Л. // Актуальные проблемы истории русской философии XIX в. М., 1987.

Лиливяли Н. В. Религиозно-философская концепция К. Н. Л. // Религиозно-идеалистическая философия в России XIX — начала XX века. М., 1989.

Абрамов А. И. Культурно-историческая концепция русской цивилизации К. Л. // Цивилизация: прошлое, настоящее и будущее человека. М., 1988.

Бибихин В. В. К. Н. Л. // Литературная газета. 1989. 5 апр.

Котельников В. А. Оптина пустынь и русская литература // Русская литература. 1989. № 4.

Салмин А. М. Политическая историософия Л. // Русская политическая мысль 2-й половины XIX в. М., 1989.

Садовской Б. А. Лебединые клики. М., 1990. Упом. К. Л.: С. 435, 446.

Глушкова Т. М. «Боюсь, как бы история не оправдала меня...» // Наш современник. 1990. № 7; К. Л. Цветущая сложность. М., 1992.

Соловьев В. С. Письмо К. Н. Леонтьеву (1885) (публикация Н. В. Котрелева) // Вестник РХД. 1990. № 158.

Лосев А. Ф. Вл. Соловьев и его время. М., 1990. С. 523–537.

Лесневский С. С. Писатель-инок: К 160-летию со дня рождения К. Н. Л. // Книжное обозрение. 1991. 25 янв.

Буданова Н. Ф. Достоевский и Л. // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1991. Т. 9.

Морякова О. В. Культурная традиция и политика в философии К. Л. // Человек и культурно-историческая традиция. Тверь, 1991.

Гачев Г. Д. Русская дума. М., 1991.

Корольков А. А. Пророчества К. Л. СПб., 1991.

Корольков А. А. К. Л. и его эстетическая картина эгалитарного прогресса // Философские науки. 1991. № 11.

Корольков А. А. Неуслышанный Леонтьев // Смена. 1995. № 6.

Дурылин С. Н. В своем углу. М., 1991. Упом. К. Н. Л.: С. 250, 225–226, 234, 260, 261, 270, 278–280.

Косик В. И. К. Н. Л.: реакционер, пророк? // Советское славяноведение. 1991. № 3.

Рубцова Т. Н. Концепция культуры К. Н. Л. // Вестник МГУ. Сер. 7.: Философия. 1991. № 4.

Куликов Ю. Склоняя голову: обретение могил К. Н. Л. и В. Розанова // Литературная Россия. 1991. 18 окт.

Сивак А. Ф. Всадник русского апокалипсиса // Литературная газета. 1991. 20 нояб.

Сивак А. Ф. К. Леонтьев. Л., 1991.

Багдасаров Р., Вовченко А. Возвращение Леонтьева // Литературная Россия. 1991. № 47.

Кремнев Г. Б. Л. и русское будущее //Наш современник. 1991. № 12.

Янов А. Л. Трагедия великого мыслителя // Вопросы философии. 1992. № 1.

Янов А. Л. Три утопии (М. Бакунин, Ф. Достоевский, К. Л.) // Искусство кино. 1992. № 9.

Козырев А. П. В. Соловьев и К. Л.: диалог в поисках «Русской звезды» // Начала. 1992. № 2.

Константинов В. К истории одной полемики (К. Н. Л. и В. С. Соловьев о проблемах христианской эсхатологии // Начала. 1992. № 2.

Иванова Е. В. К. Н. Л.: судьба и идеи // Литературная учеба. 1992. № 1–3.

Гагарин А. С. Кризис европоцентризма и судьба России: культурологические воззрения К. Н. Л. и О. Шпенглера // Культуры в диалоге. 1992. Вып. 1.

Кочетков В. Жизнь и судьба неузнанного гения // К. Л. Записки отшельника. М., 1992.

Смирнов И. Н. К. Л.: жизнь и творчество // К. Л. Избранное. М., 1993.

Жуков В. Н. Рец. на: К. Н. Л. Записки отшельника // Вопросы философии. 1993. № 6.

Пушкин С. Н., Шапошников Л. Е. Рец. на: А. А. Корольков. Пророчества К. Л.; А. Ф. Сивак. К. Л. //Вопросы философии. 1993. № 3.

Шестаков Н. А. К. Л. и русский либерализм //Вестник МГУ. Сер. 12.: Социально-политические исследования. 1993. № 2.

Черноглазов А. Формула воцерковления // К. Леонтьев, наш современник. СПб., 1993.

Кондратович В. По разные стороны баррикад (К. Л. и Н. Федоров) // Там же.

Булычев Ю. Вольнолюбивый певец деспотизма // Там же.

Адрианов Б. Иерархия — вечный закон человеческой жизни // Там же.

Мальчевский Н. Живое и мертвое в русской философии // Там же.

Носов С. Судьба идей Константина Леонтьева // К. Л. Избранные письма. 1854—1891. СПб., 1993.

Долгов К. М. Восхождение на Афон. М., 1995.

Ivanov A. K. N. Leont'ev. Il pensiero, l'uomo, il destino. Pisa, 1973.

Obolenskii A. Essai critique sur l' esthetique de K. N. Leont'ev // Canadian Slavonic Papers. 1973. № 15.
Rzhevskii N. Leont'ev's Prickly Rose // Slavic Review. 1976. № 35.
Ferrari A. La Terza Roma. Parma, 1986.
Mondry H. Another literary parody on Chernyshevsky in K. Leontiev's *In my own land* // Die Welt der Slaven. 1990. XXXV. 2.
Mondry H. A Husband's Confession: towards the typology of Leontiev's Writing // Die Welt der Slaven. 1991. XXXVI. 1.
Mondry H., Thompson S. Konstantin Leont'ev. An Examination of His Major Fiction. M., 1993.
Broda M. Najtrudniejsze z rosyjskich wyzwań? Zagadka Leontjewa i Rosja. Lódź, 1994.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Г. КРЕМНЕВ
КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ И РУССКОЕ БУДУЩЕЕ

«Столетие Леонтьева» (т. е. «русский XX век») — так называлась одна из недавних юбилейных публикаций, посвященных памяти мыслителя, поставившего перед собой на первый взгляд невыполнимую задачу: заглянуть в будущее — России и мира.

Это «будущее» (которое для нас — все еще не осмысленное прошлое, неподъемным грузом мешающее жить сегодня и застилающее наш собственный взгляд вперед — в *наше* будущее) было предсказано им со столь неправдоподобной точностью, что цитаты-доказательства могут показаться «подложными»:

«Вообразим себе, что лет через 50 каких-нибудь весь Запад сольется (мало-помалу утомленный новыми европейскими войнами) в одну либеральную и нигилистическую республику наподобие нынешней Франции <...> Положим, что и эта форма солидной будущности не может иметь, но так как всякое, хотя бы и преходящее, но резкое направление человеческих обществ находит себе непременно гениальных вождей, — то и эта общефедеративная республика лет на 20–25 может быть ужасна в порыве своем. Если к тому времени славяне, *только отсталые* от общего разрушения, но не *глубоко по духу обособленные,* со своей стороны, не захотят (по некоторой благой отсталости) сами слиться с этой Европой, а будут *только* или конституционным

царством, или даже и без конституции, *только,* как при Александре II, монархией, самодержавной *в центре* и равноправной, однообразно-либеральной *в общем строе,* то республиканская все-Европа придет в Петербург ли, в Киев ли, в Царьград ли и скажет: "Отрекитесь от вашей династии, или не оставим камня на камне и опустошим всю страну". И тогда наши Романовы, при своей исторической гуманности и честности, — откажутся сами, быть может, от власти, чтобы спасти народ и страну от крови и опустошения, и мы сольемся с прелестной утилитарной республикой Запада» (письмо к о. И. Фуделю от 6–23 июля 1888 г.).

«Либерализм, простертый еще *немного* дальше, довел бы нас до взрыва, и так называемая *конституция* была бы самым верным средством для произведения *насильственного социалистического* переворота, для возбуждения бедного класса населения противу богатых, противу землевладельцев, банкиров и купцов для новой, ужасной быть может, пугачевщины» *.

«Вообразим себе на минуту — что в 1881 году торжество нигилистов в России было бы полное. В России республика; члены дома Романовых частию погибли, частию в изгнании. Монастыри закрыты; школы "секуляризованы"; некоторые церкви приходские, так и быть, пока еще оставлены для глупых людей. Чернышевский президентом; Желябов, Шевич, Кропоткин министрами...» **.

«Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу *неподвижного равенства* должен рядом различных сочетаний с другими началами привести постепенно, с одной стороны, *к меньшей подвижности капитала и собственности,* с другой — к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и *принудительным* корпоративным *группам, законами резко очерченным; вероятно, даже к новым формам личного рабства или закрепощения*» ***.

«И для исполнения особого и великого религиозного призвания Россия должна все-таки *значительно разниться* от *Запада* и государственно-бытовым строем своим. Иначе она не главой религиозной станет над ним, а простодушно и по-хамски срастется с ним ягодицами демократического прогресса (родятся та-

---

* *Леонтьев К. Н.* Записка о необходимости новой большой газеты в С.-Петербурге (1881—1883 гг.) // СС. М., 1912. Т. 7. С. 500.

** «Культурный идеал и племенная политика» (1890 г.). Рукопись этой никогда не публиковавшейся статьи (находится в Гос. Лит. музее) подготовлена нами для печати.

*** *Леонтьев К. Н.* Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения (2-я пол. 1880-х гг.) // СС. М., 1912. Т. 6. С. 59–60.

кие уроды — ягодицами срослись)» (письмо к свящ. Иосифу Фуделю от 19 января – 1 февраля 1891 г.).

Подобная зоркость может быть объяснена не столько даже особым даром предвидения, сколько, думается, тем ускользнувшим от исследователей леонтьевского наследия обстоятельством, что мировоззрение его системно (хотя, конечно, *не есть* система) и — внутри себя — продуманно и логично до такой степени, что это позволяет «расчислить» («вообразить») все возможные варианты глобальных культурно-исторических процессов (самым трудным и мучительным оказалось определить степень вероятности или, как Леонтьев однажды выразился, «сбыточности» этих вариантов).

Леонтьевское мировоззрение — это хитросплетенный и весьма сложный синтез культурологии, государствознания, политологического анализа, историософской «мечты», которые все — как к своему увенчанию или концентру всех этих «окружностей» — устремлены к тому, что придется назвать *эсхатологической футурологией*: все сценарии будущего рассматриваются здесь в виду конца истории.

Утверждая (вслед за Данилевским), что история есть «смена культурно-исторических типов» *, и предположив (под влиянием статьи Вл. С. Соловьева «Россия и Европа»), что после рома-

---

* *Примеч. 1995 г.*:
Собственно говоря, это только *первый* постулат до сих пор никем не реконструированной леонтьевской философии истории. По сравнению с Данилевским оригинальность Леонтьева состоит в радикализации этого «первопринципа», сопряженного (эклектически или нет — это другой и далеко не столь простой, как может показаться, вопрос) у него с фундаментальными положениями святоотеческого богословия истории.
История здесь мыслится прежде всего историей Церкви (как Ветхозаветной, так и Новозаветной). Новозаветная история — это домостроительство спасения, «продолжающаяся Пятидесятница». История, однако, имеет конец, причем сроки его наступления неизвестны. Оба этих утверждения без труда можно найти в разных леонтьевских текстах (см., например: СС. Т. 7. С. 276–277, 423–424, 483). Следует лишь с особой силой подчеркнуть, что, несмотря на некоторую натурализацию (в чем Леонтьева, видимо не без оснований, упрекал Бердяев), леонтьевская эсхатология, в целом оставаясь вполне православной, радикально противостоит магистральной (хочется сказать: «генеральной») линии русской историософии: от Достоевского, Федорова и Соловьева до Бердяева, о. Павла Флоренского и о. Сергия Булгакова. Здесь в разных сочетаниях мы находим как неизбежное следствие ослабленной или вообще утраченной «сотериологической доминанты» — хилиазм, апокатастасис, настаивание на условном характере пророчеств Апокалипсиса.

но-германской культуры (вступившей со второй половины XIX века на путь «вторичного упростительного смешения») *новых* типов не будет, Леонтьев рисует такую, изумляющую прежде всего своими подробностями, картину всемирного «предсмертного смешения»:

«Однородное буржуазное человечество <...> дошедшее путем всеобщей, всемирной однородной цивилизации до такого же однообразия, в котором находятся дикие племена, — такое человечество или задохнется от рациональной тоски и начнет принимать искусственные меры к вымиранию (напр<имер>, могут только приучить всех женщин перед совокуплением впрыскивать известные жидкости, и они все перестанут рожать <...>); или начнутся последние междоусобия, предсказанные Евангелием (я лично в это верю); или от неосторожного и смелого обращения с химией и физикой люди, увлеченные оргией изобретений и открытий, сделают наконец такую исполинскую физическую ошибку, что и "воздух как свиток совьется", и "сами они начнут гибнуть тысячами"» (письмо к К. А. Губастову от 15 марта 1889 г.).

Хотя все — закономерно и неотвратимо — движется к буржуазно-утилитарной мировой республике, этот «эгалитарно-либеральный процесс» (в каких бы формах — насильственных или самых мирных и повседневных — он ни протекал), который Леонтьев везде именует специальным термином «революция», можно *замедлить, задержать,* в чем и усматривается главная задача «христианской политики». Поэтому, для Леонтьева, все, что препятствует этой всемирной революции, — благо; не только святоотеческое Православие и самодержавная Монархия (т. е. собственно, то, что скрывается за словом «византизм»), но и: крепкий сословный строй, крестьянская община, соединение Церквей, мистические секты (понуждающие Русскую, «синодальную», Церковь к активному им противодействию) или же «охранительный социализм» *.

---

* Только тот, кто знаком с леонтьевской концепцией «охранительного» — или, по его же собственному слову, «реального» — социализма (как деспотической социальной организации, призванной «приостановить излишнюю подвижность жизни (от 89 года XVIII стол<етия>)), может по достоинству оценить всю историософскую глубину и серьезность известной шутки Леха Валенсы: «Социализм — это просто самая длинная дорога к капитализму».

[*Примеч. 1995 г.*:

Особо отметим, что, по глубокому убеждению Леонтьева, отдаляет сроки пришествия антихриста (т. е. конца земной истории, которая

И, напротив, ослабление и истощение этих сдерживающих, «задерживающих» начал, торжество «принципов 89 года XVIII столетия» — это, по мысли Леонтьева, явные и непреложные культурно-исторические знамения «кончины века сего», симптомы все быстрее приближающихся «последних событий» (Вл. С. Соловьев).

Парадоксальность леонтьевской позиции заключается в том, что он, по своей натуре страстный боец, является не участником совершающейся у него на глазах (и понятной одному лишь ему) всемирной — но прежде всего русской — трагедии, а, по мере сил, беспристрастным (т. е. стремящимся не впасть в самообман, не выдать страстно желаемое... пусть даже за возможное) ее аналитиком; тем не менее он не столько свидетель, сколько врач, освидетельствующий *несомненно больной и старый уже* культурно-государственный организм России *.

не имеет для Леонтьева самодовлеющего значения, но ценна в конечном счете именно как сотериологический процесс; т. о. отдаление эсхатологических сроков и есть увеличение числа спасаемых душ) *именно — и только — Россия:* не только как Царство-«удерживающий» (см. 2 Сол., гл. 2), но и как потенциальное «месторазвитие» будущего — последнего, «славяно-туранского» — культурно-исторического типа (который она способна — «может быть!» — породить из своих недр по разрешении Восточного вопроса и освобождении Царьграда) (см. об этом письма 1888—1891 гг., особенно те фрагменты из них, которые напечатаны в кн.: Россия перед вторым пришествием. М., 1994. С. 64–68).

Оба этих аспекта (монархический и культур-историософский) связаны, для Леонтьева, очевидной взаимозависимостью: утратив все своеобычное (т. е. пресловутую «эстетику жизни», понятую как *культурное своеобразие*), Россия не понесет креста своей «государственной формы» и, после отречения от нее, умрет как культурно-государственный организм, что и откроет путь к власти антихристу (последнего не произошло, по нашему мнению, лишь благодаря *вселенскому чуду* явления 2 марта 1917 года Державной иконы Божией Матери).]

* А доживи Леонтьев до предсказанного им с такой точностью 2 марта 1917 года, он, несомненно, констатировал бы «летальный исход». Все дальнейшее — по логике этого предположения — представляется «постисторической» отсрочкой. (Причем было бы неверно, вслед за П. Б. Струве [см.: *Pipes R.* Struve. Liberal on the Right, 1905—1944. Cambr.; London, 1980. P. 403], утверждать, что коммунисты исполнили леонтьевскую мечту «подморозить Россию»: Леонтьев имел в виду нечто иное; кроме того, и сама сегодняшняя «разморозка» — как ни относиться к этому процессу — это все же «легализованное разложение» России послемартовской.)

Тем неожиданней голос светлой надежды, звучащий в одной из самых мрачных его работ, предсмертной статье (а по сути — духовном завещании) «Над могилой Пазухина»:

«Истинно мировое есть прежде всего *свое собственное, для себя* созданное, *для себя* утвержденное, *для себя* ревниво хранимое и развиваемое, а когда чаша народного творчества или хранения переполнится *тем именно особым напитком, которого нет у других народов* и которого они ищут и жаждут, тогда кто удержит этот драгоценный напиток в краях национального сосуда?! Он польется сам через эти края национализма, и все чужие люди будут утолять им жажду свою» *.

[*Примеч. 1995 г.*:
Вышеприведенный абзац (как и большая часть данной заметки) был написан в июле 1991 г. (и опубликован в декабре того же года). С наступлением эпохи бесцензурной стало возможным назвать все своими именами:
«Если — вслед за Леонтьевым — считать Самодержавие *живой душой* России, то 2 марта — это дата *смерти* русского *государственного организма, конца* русской истории. Тайный смысл "русской постистории" — Россия лежит в гробу и чает воскресения («на малое время», по слову св. Иоанна Кронштадтского) <...>» [г. «Град-Китеж». М., 1992. № 5(10). С. 27.]

* СС. Т. 7. С. 417.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пророк в своем Отечестве

Чем грубее и проще в наше время народ, тем легче лукавым и неверующим вождям увлечь его куда угодно.

К. Леонтьев

В Сергиев Посад попал я на Крещение. В неравном поединке с обильными снегами дворники отступили, и тротуары обозначались утрамбованными дорожками, падающими в грязную кашу перекрестков. Таксисты, ссылаясь на заносы, отказывались ехать к дальнему Гефсиманскому скиту, где погребен Константин Леонтьев.

Выходя из многолюдья вечерней службы Трапезного храма, я разговорился с семинаристом (духовная семинария рядышком), мы побродили, засматриваясь на кружение куполов, и на прощание, как бы в знак нечаянно возникшего духовного родства, семинарист посоветовал:

— Сходите завтра в Троицкий храм к пяти утра. Не поленитесь встать, такой службы вы не видели, будут только монахи.

Ошалелая от раннего пробуждения горничная выпустила меня из гостиницы в студеную темень города.

В Троицком храме разгорались, пощелкивая, свечи. Живое пламя, вздрагивая на образах, вершило тайну возвращения в тот спасительный для Руси четырнадцатый век, когда здесь перед «Троицей» молился преподобный Сергий Радонежский. Только здесь ощутилось, как выжигает электрический свет тайну и благодать, скрытые в старых русских иконах; неспешная утренняя молитва, в которой ясно звучало каждое слово, плотное монашеское братство уводили от сиюминутности, лики притягивали и просветляли, сила их оставалась той же, что и во времена Дмитрия Донского, благословленного на битву отцом Сергием; точно так же стояли перед этим иконостасом русские монахи и сто, и шестьсот лет назад.

Минуло около часа, служба близилась к окончанию. Приоткрылась боковая дверь, и я невольно обратил взгляд на вошедшего монаха, красивого, моложавого, хотя ухоженная тургеневская борода его сверкнула серебром проседи. Мы встретились взглядами, он не по-монашески иронично улыбнулся, колеблющаяся тень спрятала его лицо, пламя свечи отразилось в пенсне, и в этот миг смены света и тени лицо монаха показалось мне знакомым, почудилось что это он, Константин Леонтьев.

Открыли раку святого Сергия Радонежского. Цепочка монахов потянулась на поклон и целование к нетленным мощам. Я рассеянно оглянулся, надеясь увидеть Леонтьева, но чудо не повторилось...

«Поверьте, не нужно быть "малосведущим", чтобы не знать меня. Не вы первый "открываете" меня, как Америку...» — это строки из письма Константина Леонтьева, обращенные к Василию Розанову, который пытался как-то объяснить, отчего современники просмотрели самого значительного, по его мнению, русского мыслителя. Причины тому Розанов нашел колдовские: Леонтьев слишком напряженно ждал признания своих идей, и если бы он вдруг забыл, заспал возможность славы, если бы ослабла сила душевного ннапряжения в эту сторону, то слава тут же явилась бы к нему. Природа любит покуражиться над человеком, и, если мы чего-то чрезмерно желаем, оно не исполняется, а как только желание ослабевает, результат приходит сам собой.

Похоже, что узнавание Константина Леонтьева наступило именно сейчас, на излете XX столетия, с того часа в ноябре 1991 года, когда в церкви Петербургской Духовной академии отслужили молебен в память 100-летия со дня кончины монаха Климента, в миру Константина Николаевича Леонтьева. С тех пор как в 1912 году вышло неполное, но все же девятитомное собрание художественных, философских, публицистических сочинений Леонтьева, не было такого залпа публикаций его произведений, какой случился в последние два-три года. Всплеск интереса к Леонтьеву — в совпадении его размышлений, поисков нашим сегодняшним чувствам смятения перед шаткими идеалами, в угаданной им гибели государственной устойчивости, зыбкости национальной и личной судьбы.

Леонтьев первым проник в тайны всплесков жизни государств, культур, наций. Это он десятками исторических примеров обосновал, что у государств, как и у людей, есть возраст рождения, зрелости и смерти. Никому не дано избегнуть естественной ста-

рости, но неизбежность смерти люди могут собственными усилиями ускорить, и не всякие государства и культуры достигают отпущенного им тысячелетнего возраста. В XX веке много написано о цикличности культур, цивилизаций, но немногие при этом вспоминают о прозрениях Леонтьева. До октября 1917-го оставались еще десятилетия, а он уже предупреждал: «По мере возрастания равенства гражданского, юридического и политического увеличилось все больше и больше неравенство экономическое... Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу неподвижного равенства должен привести к новому юридическому неравенству, к новым привилегиям, к стеснениям личной свободы и принудительным корпоративным группам, вероятно даже к новым формам личного рабства».

Среди тех, кто на Западе писал о русской философии, утвердился штамп о Леонтьеве как о русском Ницше. Совпадения между двумя мыслителями удивительны, но все-таки скорее Ницше следовало бы именовать немецким Леонтьевым, хотя бы потому, что знаменитый немец родился на тринадцать лет позднее русского философа. Впрочем, Леонтьев настолько неповторим, что не нуждается в поддерживающих аналогиях. Его предельная искренность обескураживает, подталкивает к осуждению, но стоит нам заглянуть в себя столь же честно, мы вынуждены будем восхищаться глубиной леонтьевского проникновения в наши противоречия, в наши тайны тайн.

Это он создал стиль противоречивых исповеданий души, ставший столь распространенным в литературе XX столетия. Леонтьев — мыслитель, но он не имел охоты читать головоломные философские труды и тем более сам не стремился к созданию фундаментальных исследований. Его труды — дети вдохновенного порыва, поэтическая философская проза, самое сокровенное он сказал как бы походя — в письмах, заметках, статьях по поводам сиюминутным, подчас политическим. Его называют импрессионистом, экспрессионистом, экзистенциалистом, слов таких в пору творчества Леонтьева еще не употребляли, но он действительно предугадал многое и в мучениях личностного бытия, и в стилистике, и в извивах мировой истории, что другим открывалось только десятилетия спустя. Трагизм исторических катастроф терзал его больше, чем трагизм смерти отдельного человека. В прозе он изображал красивых людей на фоне великолепной природы, а в страстных философских проповедях клеймил распад европейских культур, неистово скорбел о надвигающемся либерально-революционном выборе России, который приведет к исчезновению ярких творческих личностей, ослабле-

нию государственности, уравнению и усреднению в иллюзиях стремления к демократии, прогрессу, личной свободе.

«Однообразие лиц, учреждений, мод, городов и вообще культурных идеалов и форм распространяется все более и более, сводя всех и вся к одному весьма простому, среднему, так называемому "буржуазному" типу западного европейца, смешение ведет к разрушению и смерти (государств, культуры)...

Мы, русские, должны опасаться этого, должны страшиться, чтобы и нас история не увлекла на этот антикультурный и отвратительный путь, мы поэтому должны всячески стараться укреплять у себя внутреннюю дисциплину, если не хотим, чтобы события застали нас врасплох, что мы не обязаны, наконец, идти во всем за романо-германцами».

Все, в чем прекращалась пульсация красоты, энергия цветения, не вызывало в нем восхищения, повергало его в тоску. Примечателен в этом отношении очерк «Пасха на Афоне» (1882 г.). Казалось бы, очерк для того и написан, чтобы нарисовать великолепие самого значимого для православия праздника. Вместо этого мы встречаем почти гнетущие ощущения от великого поста («Море голода и уныния, море усталости и насильственной молитвы»), а подлинная радость и живописность появляются не столько в описаниях литургии, сколько от случайных впечатлений, связанных с албанцами («Странный народ! Полный поэзии и бескорыстного рыцарства, продажости и злобы, простодушия, почти смешного, и самой коварной хитрости»).

Можно порой подумать, что Леонтьев не умеет надолго сосредоточиться на одном предмете, однако это не так. Последовательности и четкости его доказательств позавидует любой математик, но одно дело — последовательность в изложении идей и другое дело — описание мятежности, неугомонности души. В пору хождений к старцам на Афон он пытался соединить, примирить лирику Лермонтова и Байрона с псалмами Давида, и даже в Оптиной пустыни, когда Леонтьев называл Байрона и Лермонтова поэтами-развратителями, не переставал их читать, в нем клокочет по-прежнему юношеское непостоянство, когда от святоотеческих книг он вновь бросается к лирике, политической публицистике, философии.

Как никто другой, мыслитель знал: русская интеллигенция, а вместе с ней и все, кто читает книги, слушает лекции, буйствует в дискуссиях, свернули с дороги цельной веры отцов, критицизм и нигилизм все более поглощали души. «Самих себя, Россию, власти, наши гражданские порядки, наши нравы мы (со времен Гоголя) неумолкаемо и омерзительно браним. Мы

разучились хвалить; мы превзошли всех в желчном и болезненном самоуничижении, не имеющем ничего, заметим, общего с христианским смирением». Но читаем у него и другое: «Я верю, что в России будет пламенный поворот к православию, прочный и надолго. Я верю этому потому, что у русских душа болит».

В русской прозе этот мотив «душа болит» зазвенит во всей силе у Василия Шукшина. Леонтьев же почувствовал спасительную для русской культуры, для веры основу. Русские не смогут стать утилитаристами, не смогут жить только выгодой, наживой, сиюминутностью, ибо *душа болит*.

Всегда находились на Руси люди, в коих верх брали либо безудержная стихия языческого буйства, либо беззаветное следование святоотеческим преданиям. Константин Леонтьев удивительным образом проявил и силу языческих страстей, и светлое стремление к монастырю. Такое соединение противоречий высекало не искры, а пламя душевных терзаний, определило напряжение жизни, в которой было все: распутство, творчество, монашество.

Воспитанный в дворянской усадьбе Калужской губернии, где он каждодневно видел продуманно-прекрасные покои с незабываемым выходом в сад, Константин рано стал ценить красоту и нетерпимо, брезгливо воспринимать мельчайшую неряшливость, а тем более уродство, дисгармонию. Сильное влияние матери, образованной женщины, сказалось в женственности, поэтичности сына, но это не помешало ему после окончания медицинского факультета Московского университета отправиться в военные госпитали Крымской кампании. Потом — дипломатическая карьера. Она протекала на острове Крит, в Константинополе... Поначалу Леонтьев отдавался страстям, впечатлениям, тому, что он называл эстетикой жизни. Восхищенно писал приятелям о красоте и темпераменте восточных женщин, не скрывал своих увлечений и похождений, и в него влюблялись женщины, ибо он был по-мужски гармоничен: красивое лицо, аристократические манеры, обостренное чувство чести, побудившее его как-то ударить хлыстом французского консула.

Влюбленность в женщин — лишь одно из проявлений влюбленности Леонтьева в красоту мира. «Он не имел другого отношения к вещам и идеям, кроме влюбленного или... негодующего и презирающего до степеней едва вообразимых, — отмечал Розанов. — Но судьба — "почитателями" его сделались люди, неспособные даже к кой-какой любвишке... Влюбляющий и влюбленный — так хочется назвать его, как собственным и исключительным именем».

Кроме любви, жил в душе Леонтьева еще и страх, ставший первым мощным толчком к религиозности. И здесь, равно как в увлеченности его женщинами, не было примитивизма, голой чувственности, и это, к счастью, оценили богословы, писавшие о христианском мировоззрении Леонтьева.

Летом 1871 года Леонтьев тяжело заболел. Профессиональный врач, он понимал трагизм ситуации — все симптомы холеры. Наступило ожидание смерти. И вдруг в одно мгновение вспыхнула вера в силу Божьей Матери, образ которой стоял перед ним в зашторенной комнате. Он обратился к ней с самой сердечной, горячей молитвой: «Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне! Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно-грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду в Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...»

Молитва была услышана. Леонтьев в тот же день выздоровел. Ему было отпущено еще ровно двадцать лет жизни для творчества, достойного его способностей, для спасения молитвами и покаянием. Не сразу созрел он для монашества, может быть, он так и остался бы около церковных стен, но духовный перелом наступил, и мысль о монастыре стучалась все настойчивее в сердце Леонтьева, и вовсе не случайно последние четыре года жизни он прожил в «консульском доме» Оптиной пустыни, а скончался в Сергиевом Посаде.

Путь русского народа от язычества к православию — это и путь Леонтьева, и оттого что путь этот был сжат тугой пружиной, каждый шаг его жизни таил немыслимое напряжение. Он ждал от жизни чего-то несбыточного, верил в свой литературный гений, в свои провидения. Бывало, что он жаждал признания своих талантов, страдал от бесчувственности и недомыслия современников, но бывало, что успех у женщин радовал его больше, чем успех литературный; наступало время, когда он становился безразличен и к тому, и к другому. Импульсивность, непостоянство, замешанные на романтизме, соединенные с элитарным скепсисом, как бы предвосхищают умонастроения поколения молодых конца XX столетия.

Как будто о сегодняшних бренных днях державинские строки:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

«Река времен»... У талантливого нашего писателя Бориса Зайцева есть рассказ с таким названием. Удивительна связь между деталями этого рассказа, давшего наименование книге, и судьбой Леонтьева. Дело не только в том, что у героя рассказа, архимандрита, на стене висит портрет красавца Леонтьева, но в неслучайности совпадения названия рассказа с огромным романом Константина Леонтьева «Река времен», сотни страниц которого погибли в огне по воле их автора: он принес в жертву лучшее свое литературное создание, желая спасти душу от соблазнов, коими долго жил.

Русские доверяют сердцу, первому впечатлению, чувственному порыву. Оттого-то у нас высочайшая поэзия, но вечные проблемы при столкновении с практическими, рассудочными задачами. У нас и философия мало похожа на европейскую: художественные интуиции и образы врываются в тексты, страсть проповедника и публициста незаметно переходит в тончайший анализ с формулами-афоризмами. Какой бы предмет ни обсуждал русский мыслитель, всегда просвечивает неслучайность выбора темы, сердечная привязанность к предмету. Как Святой Владимир, плененный красотой православной литургии, совершил точный выбор истинно русской веры, точно так же эстетическое начало ведет почти всех наших философов, о чем бы они ни писали, о логике или морали.

Обостреннее всех выразить эстетизм русского сознания удалось Леонтьеву, это ему часто ставят в вину, приписывая невнимание к типичным для русской литературы этическим сюжетам.

Подлинная нравственность, по убеждению Леонтьева, никогда не расходится с красотой. Беду русского сознания, представленного литературой критического реализма, он усматривал в принижении красоты русской жизни. Желание изобразить мерзости жизни уводит художника от культуры, приближает мрак бунтов, революций, расшатывания красоты национального бытия.

Русские писатели слишком принижают русскую жизнь, в отличие, например, от французов, кои любят поднимать все собственное на каблуки и ходули. «Сама жизнь лучше, чем наша литература. Все у наших писателей более или менее грубо: комизм, отношение к лицам; даже “Война и мир”, произведение, которое я сам прочел три раза и считаю прекрасным, испорчено множеством вовсе не нужных подробностей». Безусловным исключением из этого ряда, символом гармонии, меры был для Леонтьева лишь Пушкин.

Со своим первым литературным опытом юный Леонтьев не случайно обратился к Тургеневу, даже внешность великого писателя имела для Леонтьева существенное значение, аристократизм, достоинство, красота Тургенева соответствовали образу подлинного писателя.

По чисто эстетическому неприятию внешних манер поведения, неряшливости того или иного человека Леонтьев мог навсегда отшатнуться от него. Константин Николаевич курил, но не любил, чтобы ему подносили спичку, не желая ненароком увидеть рядом грязные ногти. Он не стеснялся обидных слов, коль речь шла об убийстве красоты. Один сослуживец полюбопытствовал, что Леонтьев подразумевает под словом «хам», на что услышал такое разъяснение:

— Ну, вот вы, например, хам, потому что на вас не ряса и даже не кафтан, не поддевка, а европейский некрасивый кургузый пиджак. Разве вас художник захочет перенести на полотно? А какого-нибудь старого боярина, черногорца, грека в феске перенесет, и будет красиво.

Леонтьев не идеализировал спасительную миссию красоты, его эстетизм — это восхищение перед стихией вечной борьбы добра и зла, его никак не удовлетворила бы унылость абсолютной победы добра над злом. Отвергая кошмар революции, он способен был найти красоту в самом революционном порыве. Красота — в многообразии жизни, красиво все особенное, неповторимое, прекрасны самые острые противоречия действительности — оттого он одновременно мог стремиться к монашескому аскетизму, к молению о спасении души и вместе с тем бесконечно любить все земное. Никакое искусство не может создать той красоты, того великолепия, какие дает жизнь.

Красота — единство разнообразия. Цветение культуры — разнообразие, скрепляемое державным единством с уверенной властью, церковным авторитетом, сословным обществом. Понятно, что подобные представления о зрелости общества и культуры совсем не устраивали либерально-демократическую и революционную интеллигенцию, которая бредила идеями равенства, бессословности, демократических свобод. Пик цветения общества, государства, культуры приходится на эпоху средневековья, а вовсе не на желанное для прогрессистов время промышленного и научно-технического подъема. Для красоты цветущей сложности одинаково губительны и социализм, и капитализм, ибо один откровенно провозглашает социальное равенство, другой ведет к уравнительности потребностей, вкусов, околокультурных стандартов. Коммунистическое равенство рабов и буржуаз-

ное сползание в массовую культуру — это смесительное упрощение, свидетельствующее о разложении, гниении, старении органического целого.

«Демократическая конституция (высшая степень капитализма и какой-то вялой и бессильной подвижности) есть ведь ослабление центральной власти, а демократическая конституция теснейшим образом связана с эгалитарным (уравнительным. — *А. К.*) индивидуализмом, доведенным до конца. Она подкрадывается неожиданно. Сделайте у нас конституцию — капиталисты сейчас разрушат поземельную общину; разрушьте общину — быстрое расстройство доведет нас до окончательной либеральной глупости — до палаты представителей, т. е. до господства банкиров, адвокатов и землевладельцев как представителей такой недвижимости, которую очень легко обратить в движимость когда угодно, ни у кого не спросясь и нигде не встречая препятствий».

В гибнущих, деградирующих обществах, по наблюдению Леонтьева, меняется психология людей, гаснет энергия жизнедеятельности, падает, как говорил столетие спустя последователь Леонтьева Лев Гумилев, пассионарность. Империи гибнут при внешне благополучных условиях, при какой-то расслабленности властей и народа. Граждане Трира наслаждались в цирке, когда стены их города дрожали под ударами таранов. Гонорий испугался лишь за судьбу любимого петуха, узнав о падении Рима. Немало поводов проследить в связи с этим апатию правителей, всех сограждан, сопровождавшую разрушение недавней мощи России, почти всеобщее одобрительное улюлюканье по поводу краха последней Империи.

Схема развития любого государства, культуры такова: рождение и созревание (первичная простота); цветущая сложность; вторичное смесительное упрощение, то есть упадок, приближение к гибели. Национальные государства не жили дольше двенадцати веков, меньше жили, но предел возможного возраста не перешагнул никто, как и человек-долгожитель все-таки неминуемо умирает. Македония прожила 1170 лет, Византия — 1128, Римская империя — 1229.

Леонтьев чувствовал приближение грозы над Россией, хотя и знал, что ей еще далеко до исчерпания своего срока жизни. Возраст России он, как и впоследствии Л. Н. Гумилев, исчислял от Куликовской битвы, от года объединительной миссии Сергия Радонежского.

Писатель сердцем, художественной интуицией прозревает порой проблему, о коей философы еще не догадываются. Россия всемирно прославила себя писательскими именами, но долго

незамеченной оставалась важнейшая особенность русской школы философствования — вчувствование в предмет, отчего столь часто писатель и философ в России неразделимы. Рождение специфически русской философии с ее просветленной чувственностью отмечено в немалой степени как раз творчеством Леонтьева. Его мысли то и дело побуждают нас прибегать к вненаучным характеристикам: предугадал, предчувствовал, пророчески прозревал истину.

«Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» — именно так назвал К. Леонтьев свой неоконченный труд, хотя написание его заняло двенадцать лет, то есть мыслитель многие годы был сосредоточен на идее, которая еще никак не беспокоила ни одного философа в самой Европе. В самом деле, никто из научно ориентированных философов в XIX веке не мог писать о массовой культуре, о конформизме, о стереотипах мышления, о пагубе интернационализации ценностей, о социальной психологии. Никто не писал об этом, кроме Леонтьева. Он даже термин «социальная психология» уже употреблял, он описал разрушительную силу массового сознания.

Сегодня, когда так часто бездумно рассуждают об общечеловеческих ценностях, нелишне повнимательнее прочитать предупреждающие фрагменты леонтьевских работ.

«Тот народ наилучше служит и всемирной цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов развития; ибо одними и теми же идеями, как бы ни казались они современникам хорошими, человечество постоянно жить не может».

Без национального своеобразия «можно быть большим, огромным государством, но нельзя быть великой нацией».

«Культура есть не что иное, как своеобразие, а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей, наций».

Европа не погибает еще как цивилизация с ее научно-техническими достижениями, но она гибнет в своем культурном своеобразии, она усредняется и превращается в некое европейское сообщество.

Леонтьев осуждал и порицал не Европу как таковую, а разлагающийся культурный потенциал Европы. Он восхищался культурой Европы средневековой, он и в России ценил тот период расцвета в XVIII столетии, когда западная культура благотворно повлияла на нашу жизнь. Это, безусловно, отличает его от славянофилов, настроенных подчас изоляционистски, но это род-

нит его с Пушкиным и Достоевским, которые также дорожили вершинными достижениями Запада.

Задолго до нашумевшей книги Шпенглера «Закат Европы» Леонтьев установил диагноз болезни. Главная беда — обезличенность жизни при всех разговорах о личности, свободе, демократии, прогрессе. Нарастает однообразие, унификация, «бесцветная вода всемирного сознания». «Практику политического гражданского смешения Европа пережила, — писал Леонтьев в «Византизме и славянстве», — скоро, может быть, увидим, как она перенесет попытки экономического, умственного (воспитательного) и полового, оокнчательного упростительного смешения!... Она стремится посредством этого смешения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него еще далеко, должна будет пасть и уступить место другим!»

Всматриваясь в гибельные для России идеи, Леонтьев то и дело срывается почти на мольбу, уговаривая соотечественников остановиться, одуматься, противодействовать гниению, поразившему уже Европу.

Чтобы вразумить читателей, он не скупится на сравнения. Есть своеобразные дуб, сосна, яблоня, тополь, и вот в один прекрасный момент они вдруг стали бы жаловаться на ограниченность своего существования, на недостаток свободы, на сдерживающие вериги коры, на обременительность собственных цветов, листвы, плодов, им возжелалось бы стать неким среднестатистическим деревом, то есть просто деревом (просто людьми с общечеловеческими ценностями), без собственного цветения, без отличительных особенностей. Используя близкую ему медицинскую аналогию, Константин Леонтьев предостерегает: одинаковые организмы легче заражаются одинаковыми болезнями. «Приемы эгалитарного прогресса сложны, цель груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель всего — средний человек, буржуа, спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных».

Нелегко было Леонтьеву найти единомышленников при жизни, нелегко ему достучаться и до наших современников, опьяненных идеями либо социализма, либо рыночного процветания. Он обнажил шпагу перед самыми безусловными ценностями цивилизованного, но малокультурного мира: прогрессом, равенством, свободой, всеобщей образованностью. Потому-то он и оказался одиноким, непонятым, забытым.

Мир очевидностей, ходячих истин и предпочтений — это не леонтьевский мир. «В душе его было окно, откуда открывалась бесконечность», — писал Розанов. «Лишь один Леонтьев думал

иначе, чем большая часть русских», — замечал Н. Бердяев. Подлинных провидцев редко и мало слушают, пока не нахлебаются собственного печального опыта. А опыт этот повлек нас поначалу к разрушению монархической власти и сословного общества, потом к мигающим во тьме огонькам коммунизма, а теперь — к демократии и индивидуализму. Именно оттого, что мы не исчерпали блужданий, о коих предупреждал Леонтьев, нам его трудно слушать, или, точнее, мы слышим в нем лишь то, что уже согласуется с почерпнутым нами опытом, с нашими готовыми мнениями.

Теперь мы, конечно, с чувством интеллектуального превосходства по отношению к фанатикам социализма можем прокричать в прошлое: «Что же вы не слушали мудрого современника, который в десятках статей предупреждал — к какой беде катится Россия?!.» Запоздалой мудрости не бывает: мудрость всегда преждевременна, глупость и заурядность — современны.

О перспективах социализма Леонтьев высказался безошибочно тогда, когда еще пребывал в младенчестве вождь мирового пролетариата. «Социально-политические опыты ближайшего грядущего (которые, по всем вероятиям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важнейшим камнем преткновения для человеческого ума на ложном пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере для некоторой части человечества. Но, не говоря уже о том, сколько страданий и обид его воцарение может причинить побежденным, сами победители, как бы прочно и хорошо ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до блаженства и покоя».

Единицы прочитали Леонтьева, и даже прочитавшие не разнесли пророческую весть. Слушали других, вещавших о неизбежности социального прогресса, смене общественно-экономической формации, о равенстве и свободе. Теперь-то легче умничать, а на самом деле совершать не менее тяжкие ошибки, которые тоже провидел Леонтьев, но нашу близорукость осудят уже иные поколения. Нам же дана тонкая ниточка национального спасения, и крепость ее станет возрастать, если не перестанем вчитываться и вдумываться в строки искренних и проницательных русских мыслителей.

Попробуйте хотя бы сегодня заснуть не с мельтешением телевизионных картинок, не с короткими сиюминутными желаниями, а с мыслью Константина Леонтьева, обращенной к каждому из нас: «Все менее и менее сдерживает кого-либо религия, се-

мья, любовь к отечеству, — и именно потому, что они все-таки еще сдерживают, на них более всего обращаются ненависть и проклятия современного человечества. Они падут — и человек станет абсолютно и впервые “свободен”. Свободен, как атом трупа, который стал прахом».

Александр Корольков